

Б. А. Пильняк

Собрание сочинений в шести томах

Б. А. Пильняк

Собрание сочинений в шести томах



Б. А. Пильняк

Собрание сочинений
Том пятый

Рассказы

О'кэй. Американский роман

Камни и корни

Роман



ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
москва
2003

УДК 882
ББК 8 4 (2 Рос=Рус) 6
П32

Оформление художника
В. ОРЛОВСКОГО

Составитель
К. АНДРОНИКАШВИЛИ-ПИЛЬНЯК

Пильняк Б.

П32 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5: Рассказы; О'кэй. Американский роман; Камни и корни: Романы/ Состав., коммент. К. Андроникашвили-Пильняк: Послесл. Б. Андроникашвили-Пильняк — М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2003. — 544 с.

ISBN 5-275-00851-1 (т. 5)
ISBN 5-275-00727-2

Борис Андреевич Пильняк (1894–1938) – известный русский писатель 20–30 годов XX века, родоначальник одного из авангардных направлений в литературе. В годы репрессий был расстрелян. Предлагаемое Собрание сочинений писателя является первым, после десятилетий запрета, многотомным изданием его наследия, в которое вошли, в основном, все восстановленные от купюр и искажений произведения автора.

В пятый том Собрания сочинений вошли романы «О'кэй. Американский роман», «Камни и корни» и рассказы.

УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

ISBN 5-275-00851-1 (Т. 5)
ISBN 5-275-00727-2

Рассказы

ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЯ

Обстоятельства, определившие рассказ, возникли в годы от четырнадцатого до девятнадцатого. Безвестный человек — из Коломны, из Саратова, с фронтов — писал другу письма обо всем, что происходило с ним, по поводу чего он размышлял. В морозах Коломны и Саратова, в отдыхе на шпалах было много пустых часов за обвалами событий, — и, лежа на земле, сидя около печурок, человек писал:

«Дорогой Николай, вчера» — —

В Москве жил товарищ, друг, который получал письма. Письма приносили в Москву революцию и события российских весей и верст. Письма приходили в стальные события московских режимов и складывались в строгий архив.

Обстоятельства, создавшие рассказ...

Прошло пятнадцать лет.

Автор писем поселился в Москве. Автор писем стал писателем. Его имя прогремело по всем российским весям и на языках как союзных в социализме народов, так на языках феодальных и капиталистических стран, от Калькутты через Шанхай до Токио, от Токио через Сталинабад до Парижа, от Парижа через Буэнос-Айрес до Нью-Йорка и Лос-Анжелеса. В Москве жил веселый парень, который никогда не ходил, но всегда бегал, который писал свои повести с такой же легкостью, как некогда писал письма со шпал, как гонял по Москве, от Москвы до Ленинграда, от Ниагарского водопада до Голливуда, автомобиль, сидя за шофера, — как гонялся за тысячами километров от Пейпина через Шпицберген до того ж Голливуда, — как весело

читал самые злобные статьи о себе, с тем чтобы забыть о них через десять минут. Этот человек очень много терял в жизни — и всегда очень легко, в обретении нового; так потерял он зубы, так потерял он рыжие волосы, сменив их на белесую седину. Писатель знал, что судьба его определена революцией — и: «отсюда все качества», — именно это давало бодрость для дел и для жизни.

Тот, кому адресовались письма, — судьба того сложилась иначе. В стальном режиме московских дел пятнадцать лет подряд, как каждый дань, — каждый день этого человека был рассчитан с точностью до четверти часа. Это были просторы окон рабочего кабинета, в просторном свете, за которыми виднелись кремлевские стены, в просторе пространств, за которыми по всему социалистическому Союзу от фисташковых рощ в Каратегине до низкорослой березы в заполярных тундрах командовались социалистические леса, рубились, сплавлялись, штамповались, железными дорогами и реками свозились на строительство пятилетки, океанскими пароходами направлялись в Ливерпуль, Гамбург, Йокогаму, Сан-Диего для денег на пятилетку. Это были свинцовые сумерки заседаний. Это были экспрессы европейских и союзных дорог, к которым надо приезжать за пять минут до отхода поездов. Это была очень большая и сложная работа, где мысли, внимательность и расчеты должны были комбинироваться так, как винты, поршни и цилиндры комбинируются в двигателе внутреннего сгорания.

Писатель любил вваливаться не вовремя, неожиданно, шумно, с приятелями, — телефон и режим для писателя были обременением, телефон и режим никак не организовывали. Совершенно естественно, встречи у друзей иссякли.

Прошло пятнадцать лет.

Экспресс уходил на Ленинград. За пять минут до отхода в международный вагон сели два друга. Это было совершенной случайностью. Они не видались года три. Писатель засыпал друга новостями и пустяками. Проводник принес чай и сухари. Под полом вагона колеса и рельсы говорили нечто вроде: — вче-раве-че-ра! — Поезд уходил в таежную Ленинградскую область, в таежный мрак.

— До тебя нельзя дозвониться, — сказал Николай, — или ты в Нью-Орлеан, или ты спишь, или тебе забыли передать о моем звонке. Я тебе должен деньги.

— За что!? — весело спросил писатель.

— Ты знаешь, Бонч организовал литературный музей. Я продал ему твои письма, помнишь, те, которые ты мне присылал из Коломны, из Саратова и с фронтов. У меня они лежали бесцельно.

— И он — купил? — спросил писатель никак не весело.

— Купил, как видишь.

Поезд уходил в таежную область. Писатель лег на верхней полке и долго не спал, куря и грызя мундштуки папирос. — Пространства, время. Поезд отсчитывал: — вчера-ве-че-ра... Когда это было? — всего пятнадцать лет тому назад? уже пятнадцать лет тому назад?! — вчера?.. вчера-ве-че-ра... И это уже котируется, письма, содержание которых забыто, — котируется под смерть, под время, — котируется по курсу в смерть!? Действительно, содержание писем забыто, империалистическая война, провинция, русские веси, революция в весях, — но, стало быть, — но, стало быть, если письма уже покупаются, эпоха отлита в истории так, что ее пора уже хранить и охранять, как музейности? — письма, должно быть, уже желты, и чернила на них кое-где побелели... Конечно, они правы, этот рационализатор с нижней полки и Бонч, письма надо положить в литературный музей революции, — но я, я, я?!.. — я — история? — но я же — жив! — что же — история жива!? Вче-ра-ве-че-ра!.. Ленинград, классический город Российской империи и международной коммунистической революции, как сказано в учебниках физической географии, лежит —

Обстоятельства, определившие рассказ, изложены.

Ямское Поле,
14 марта 1934 г.

СОБАЧЬЯ СУДЬБА

Собака разродилась на кухне около мохнатой и древней печи. Это была весна, люди все время рылись в земле за домом, копали гряды, окапывали деревья, обрезывали сушняк, жгли мусор, и собака — еще недели за две до родов — всячески мешала хозяевам. То она подкапывалась под дровяной сарай, то подрывала корни смородины, то рылась под домом, уготавливая нору, где она могла бы разродиться. Хозяйка гоняла собаку и зарывала ее норы. Хозяйка махала голыми локтями, возмущалась, и собака смотрела на мир очень грустным и добрым взглядом.

К рассвету в день рождения с кухни понеслись писки щенят, из-под печки поползли слепые щенята, и обессилевшая мать выглядывала добрыми и счастливыми глазами. Хозяйка сказала хозяину:

— Всегда ты придумываешь какую-нибудь ерунду, по кухне нельзя пройти, — или надо утопить щенят, или выкинь их под дом.

Хозяин положил щенят в лукошко, отнес под дом и прогнал туда мать. Мужчина работал над грядками и около парников, дверь на кухню была открыта. Через час оказалось, что все щенята и мать — вновь на кухне, — осторожнейше в громадной пасти мать перетаскала слепых щенят на место их рождения. Между хозяйкой и собакой началась война, собака оказалась упорнее хозяйки. Люди были молоды, любили друг друга, детей у них еще не было. Хозяйка настаивала на том, чтобы муж утопил щенят в реке, — муж говорил, что собака породиста, что он обещал щенят друзьям. Хозяйка уступила хозяину. Муж хотел угодить жене.

Как только щенята прозрели, он решил раздать их. Приехала сестра и взяла первого щенка.

И через день сестра вернулась со щенком. Она была одинока, сестра, щенок все время пищал, когда она уходила на работу, мешая соседям, — щенок ничего не ел, даже из соска, — щенок был отнят от матери преждевременно. И сестра просила продержать щенка около матери еще несколько дней.

Щенок радостно заковылял к соскам матери. И: у собаки сделались злые и внимательные глаза, она злобно обнюхала щенка, она оскалила клыки, нюхая сына. Она откинула сына от своих сосков. Люди склонились над собакой. Собака зарычала. Хозяйка топнула ногой и закричала на собаку. Глаза собаки стали глазами рабыни. Она подчинилась. Щенок поел. Люди вышли из кухни, и сейчас же из кухни понесся страдающий визг, — собака отшвырнула щенка из одного угла кухни в другой, собака была свирепа. Хозяин, хозяйка, сестра стали увещевать и стыдить собаку. При людях собака была покорна. Хозяин решил, что щенок принес чужие запахи. Он выгнал собаку на двор, он перепутал щенят, потер одного о другого, чтобы их запахи спутались, он растащил щенят по разным комнатам. Собака бросилась разыскивать щенят, она подобрала их всех, стащила на свой матрасик в кухне, — она не тронула только отщепенца, хоть и подходила к нему несколько раз. Хозяин опять прогнал собаку на двор, опять перепутывал щенят, переселил матрасик с щенятами из кухни в прихожую. Собака собралась перетаскиваться обратно на кухню, ухватив матрасик клыками. Хозяин запретил, собака подчинилась. Женщины дежурили около собаки. Все пришло в должный порядок, люди успокоились. Так было до вечера. А вечером, часов в девять, когда хозяева, поужинав на крылечке, собирались спать, опять по дому понеслось свирепое рычание суки и вслед за ним отчаянный визг щенка.

У щенка были раздроблены — клыками матери — челюсти, ноги, грудная клетка, глаз вытек, изо рта, из ушей, из пустой глазницы текла кровь, кожа на спине была разорвана, и из-под нее торчали сломанные ребрышки.

Молодая хозяйка не любила собаки. Она настаивала, чтобы щенята были убраны из дому как можно ско-

рее. У молодой хозяйки не было своих детей. Собака-мать растерзала своего щенка. Щенок умер только наутро. Хозяйка просидела над щенком всю ночь. Она достала картонку, она закутала щенка ватой, все его раны она смазала иодом. По ее воле хозяин ездил в город к ветеринарному врачу. Ветеринар сказал, что щенок умрет. Жена кормила щенка молоком с ложечки и из соска. Женщина боролась со смертью, отодвигая ее. Глаза хозяйки были сухи. Она не спала всю ночь. Большая женщина, она ходила на цыпочках. Ее большие и сильные руки были нежны и ласковы. На обильных щеках ее был сухой румянец, как сухи были ее глаза. Когда щенок умер, хозяйка, эта здоровая, молодая и сильная женщина, по-детски расплакалась. Муж увидел ее слезы. Она смутилась, она отвернулась от мужа, виновато улыбнулась и закрыла мокрые глаза локтем в засученном рукаве. Она сказала сердито:

— Все вот так... ты... Ну, что же, пойди выкопай ямку под дальней елочкой, за скамейкой...

Хозяин пошел копать ямку. Роса была очень сильна, солнце светило сбоку, поднимались от земли лиловые туманы. Хозяин видел через окошко: хозяйка склонилась к суке на кухне, стала перед щенятами на колени, перетрогала их всех руками и налила в собачью миску кринку молока. Глаза собаки были — умными, грустными и виноватыми.

Подходя к крыльцу, хозяин нарочно кашлянул, ударил лопатой о крылечко и медленнее, чем следует, стал счищать с сапог землю.

Ямское Поле,
7 апреля 1934 г.

РАССКАЗ О ДВАДЦАТОМ ГОДЕ

Это было грозное время военного коммунизма. Удостоверения личностей тогда выдавались только на три месяца. Начало года уничтожало все допрежь выданные удостоверения и мандаты. Анатолий Васильевич Луначарский выдавал молодому писателю каждые три месяца удостоверение, — «Москва, Кремль, Кабинет» — «дано сие такому-то в удостоверение того, что он откомандировывается в личное распоряжение» — «Нарком» — подписи, печать. Смысл этого «личного распоряжения» знали только двое — нарком и писатель, — он означал, что писатель предоставлен на три месяца в вольную свою волю, может сидеть в Коломне и писать свои рассказы. Писатель и писал. Постучали у калитки, вошел военный человек с заиндевевшей винтовкой, осмотрелся, улыбнулся хитро, сел, сказал: — «покажь документы». — Писатель показал. Человек улыбнулся еще хитрее, закурил махорку со стола писателя, сказал не спеша: — «просрочены, — решай сам — либо, как дезертиру труда, вместе с буржуями чистить нужники, — либо становись на биржу». — Писатель предпочел биржу. — «А тогда идем, я тебя провожу», — сказал гость. Пошли. Пришли. Добрый человек с заиндевевшей винтовкой сказал, — «вот привел одного такого!» — и распрощался дружески. Писатель полагал, что состояние на бирже труда литературным его занятиям не помешает, ибо — куда в Коломне нужны писатели? Барышня весело опросила, трудолюбиво записывала анкету и — дала ордер на оберточной бумаге, со штампами, подписями и печатями: «профессия — пи-

сатель» — «направляется в редакцию газеты «Голос Коммуниста». Писатель оторопел, — писал и собирался писать рассказы на всероссийскую литературу, а тут — коломенский «Голос Коммуниста». Тем не менее — в редакцию пошел прямо с биржи. Шел по заснеженным улицам и разглядывал в недоумении небо, не кланялся встречным, а три четверти встречных были знакомыми, ибо знали в Коломне друг друга все полностью. Пришел. В редакторском кабинете сидел замечательный человек Михаил Егорович Урываев, директор коломенского машиностроительного завода и редактор одновременно. Михаил Егорович улыбнулся весело, сказал:

— Ага! пришел, добрались мы до тебя, садись.

— Это — как же так — добрались? — спросил писатель.

— А это я тебя подкараулил, чтобы на дело поставить, чтобы ты за Луначарского не прятался и не бездельничал.

— Михаил Егорович, — сказал писатель голосом, просящим сочувствия и страдающим, и чуть-чуть ироническим, — Михаил Егорыч, — ну какой я газетчик? — я лирик, я рассказы пишу, я интеллигент, я беспартийный... Отпусти меня к Анатолию Васильевичу, я свое рассказами отработаю. Какой я газетчик, ты сам посуди!..

Михаил Егорович прищурил глаз, улыбнулся, стал серьезен, сказал доверительно и строго:

— Ты дурака не валяй, рассказам твоим я не помешаю. А работать ты у меня будешь за спеца. Я сам тебе буду темы давать, идеи, материалы, — а ты валяй, приводи в порядок, чтобы было грамотно, фельетоны пиши, передовицы, обрабатывай местные корреспонденции. Темы и идеи я сам буду тебе давать.

— Я подписывать своим именем такие вещи не могу, вдвоем, что ли, подписывать будем?

— А ты и не подписывай. Ты подписывай свои рассказы в Москве, а здесь фамилия роли не играет, хоть каждый день новую подпись ставь. А материалы — на вот, получай, чтобы времени не тратить. Садись в соседней комнате и жарь до четырех часов. На вот, исправь мою передовицу для пробы.

Передовица была одобрена. В первый же день писатель сделал передовицу, фельетон и исправил с десяток деревенских корреспонденций. Газета выходила два раза в неделю. Писатель работал в газете — целую эпоху по тогдашним временам — месяцев восемь. Через месяц с начала работы половина газеты заполнялась писателем. Оформлял и корректировал газету — писатель. Работал писатель в газете весело, почти с увлечением, тратя на газету очень немного времени. Дома писатель в это время писал повесть, чтобы напечатать ее в Москве. Повести он отдавал гораздо больше времени, чем газете. Повесть была напечатана во «Временнике» Наркомпроса за подписью писателя. В газете имени писателя не было ни разу.

В дни напечатания повести в Москве под председательством директора Роста был конкурс провинциальных газет. Редакция коломенского «Голоса Коммуниста» получила первый приз, он прислан был в Коломну за подписью директора Роста. Там значилось: — «подбор, распределение и подача материала» — «своевременная передовая» — «фельетон» — «ответы читателю» — «оформление», — то есть, главным образом то, что делал писатель. И в это ж самое время в Москве появилась статья этого же директора Роста, камня на камне не оставлявшая от повести, подписанной полным именем писателя.

Культурное состояние писателя в газете и в повести, совершенно естественно, было одним и тем же, равно как и политические его взгляды, — и этот эпизод судьбы писателя остался для него притчею дел человека. Рациональное, мозговое познание вещей и утверждение мыслей всегда опережает эмоции. Повесть, разгромленная директором Роста, была записана образами и оперировала ощущениями. Должно было пройти десятилетие, чтоб это стало понятным писателю. Впрочем, здесь же может возникнуть рассуждение о том, что, как вычитал писатель в ирригационных книжках, «природа не знает и не терпит прямой линии», оставив абсолютную прямую математическим формулам, — и эта «абсолютная прямая» индивидуализма повести за полным именем — была коррегирована коллективом «Голос Коммуниста».

Для того ж, чтобы рассказ был закончен в традициях классических ощущений рассказа, следует сказать, что в том двадцатом году зима, кроме революции, была замечательна еще морозами и метелями. Морозы в тот год доходили до сорока градусов, ночами слышно было, как морозы х о д я т. Дома в тот год заметались метелями по трубы. Рассказать о двадцатом годе то, что тогда были громадные морозы и страшные метели, — это ничего не рассказать о двадцатом годе.

Ямское Поле.
8 мая 1934 г.

КАМЕНЬ, НЕБО

Глава первая

Камни обглоданы тысячелетьями и ледниками, бывшими до этих тысячелетий. Тысячелетья одели трещины каменьев в мох. На мху растут одинокие сосны, корявые, старые уже с молодости, и злые. Сосны держатся за камни корявыми корнями, которые злобно ползут по мху во все каменные трещины, точно громадная птичья нога, точно щупальцы спрута. За камнями, меж сосен, — озеро. Дальше еще озера. И еще дальше — море. И в море из воды выползают обглоданные гранитные глыбы, во мху и в соснах. И надо всеми этими камнями, и водою и соснами — низкое, пустое небо.

Среди камней, между сосен, на дерне из моха, посреди раскорчеванной поляны, на берегу озера стоит дом. Из дома выходит человек, высокий, тяжелоплечий, с белыми глазами, аккуратно бритый, писатель, слава своей литературы. Он идет к воде, он садится в лодку, он плывет вдоль озера, он повторяет слова старинной песни и те слова, которые он только что сказал жене:

— Камень подо мною — постель моя. Ветры вокруг меня — стены мои. Небо надо мной — крыша моя. Мое! мое!..

Он видит озерное дно сквозь студенейшую, прозрачнейшую воду — камни, обглоданные ледниками. Он переплывает озеро. Он идет замшелой тропинкой. Он недооценивает того места, куда он идет. Он идет на фабрику невест, которую так конечно никто не называет.

Это называется — женская сельскохозяйственная школа, — и это название неточно. Девушки всех роди-

тельских сословий, но главным образом дочери богатых хуторян, основы страны, приезжают сюда — по средствам родителей — на шесть месяцев, на год, на два, на четыре. Те, которые окончили среднюю школу и пребывают здесь четыре года, получают диплом высшего учебного заведения. В школе обучаются — быть примерными хозяйками и женами. В школе обучают: огородничеству, цветоводству, садоводству, полеводству. В школе обучают: умению впрок солить, мариновать, сушить, тушить, коптить. В школе обучают: животноводству, — умение кормить, доить коров и выпаивать телят, запрягать и кормить лошадей, объезжать их и править ими, откармливать свиней, стричь овец. В школе обучают: кулинарии. В школе обучают: ткачеству, — умению сучить основу и ткать полотна и ковры на прапрадедовских ткацких станах, где челнок подается рукою, а основа перемежается ногами. В школе обучают: шитью, вышиванию и вязанию. В школе обучают: материнству, — из сиротских домов из большого города привезены дети, подброшенные родителями, от грудного до семилетнего возраста, — и школьницы обучаются на них умению пеленать грудных, искусственно кормить, дать первое знание, первую грамоту, первую вежливость. В школе обучают девушек от шестнадцати до двадцати лет: вежливости, добросердечию, прекраснодушию, покорности, воспитанности. Девушки ходят в синих платьицах, в белых фартучках и в белых наколках, сотканных, выкрашенных и сшитых в школе же, руками школьниц. Каждая девушка готовится в школе так, чтобы она могла в любом необитаемом месте, на любой гранитной глыбе создать человеческий очаг, одежду и уют мужу — своими руками, без помощи соседа. В спальнях девушек узкие кровати под белыми покрывалами, со Христом в изголовье и с родительскими фотографиями.

Писатель идет в школу для того, чтобы послушать и проследить приготовления к национальному празднику. У нации есть праздник — певческий праздник, певческие недели. В июне, около Ивановой ночи, по приходам, по уездам и губерниям собираются певцы и певицы, чтобы хорами, иногда по нескольку тысяч человек, петь песнопения былинного эпоса. В четыре года раз эти песнопения добираются до столицы, перенося сто-

лицу в древность, превращая пение в национальное событие. Писатель идет в школу для того, чтобы проследить приготовления к певческому празднику всех учащихся страны.

Вечер бледен, бел. До завтрашнего утра, как все недели до Ивановой ночи, ночь не будет темнее вечера. Усадьба школы разместилась в зеленом парке. У пруда, под ясенями, горят факелы. Девушки одеты в национальные костюмы, которые давно уже переселились в музеи. Белые волосы девушек овиты венками из васильков и ромашки. Белая ночь пахнет туманами. Девушки стоят рядами. Приходский регент играет на скрюченной скрипке. Девушки поют старинные песни, похожие на псалмы. В креслах против девушек сидят преподаватели, местные помещики и местная интеллигенция. Почетное место занимает губернатор, которого называют генералом. За спиной генерала склонился директор школы. Генерала встречали кантатой. Девушки поют час, два, три. Девушки поют старинную песню викингов:

Камень подо мною — постель моя,
Ветры вокруг меня — стены мои.
Небо надо мною — крыша моя!..

На пении девушек с фабрики невест писатель встретил коллегу. Два писателя уходят с певческого праздника в зеленую муть мхов, сосен и гранитных глыб. Они переплывают озеро к дому около шхер. Они проходят заснувшим и совершенно пустым домом в кабинет писателя, в комнату стоика, где на деревянном самодельном столе разложены книги, где на нары положен самодельный, домотканный ковер. Хозяин достает из погреба — из гранитной расщелины — бутыль самодельного крыжовенного вина. Огня зажигать — нет надобности.

— Это пение девушек и вся эта школа, — разве это не реклама для хороших женихов, и не потому ли тратятся родители, чтобы сбыть с рук дочерей?..

— Ты знаешь судьбу Дана, — говорит писатель-гость. — В нашей стране заботятся о чистоте. В нашей стране не должно быть ни инфекций, ни насекомых, ни нечистот, ни болезней, об этом заботится государство.

В нашей стране все дома должны дезинфицироваться два раза в год. Это был замечательный писатель, Дан, наша национальная гордость, теперешняя наша знаменитость. Теперь подсчитано — за всю свою жизнь он получал от издательства только однажды, что-то на месяц жизни. Его книги никогда не оправдывались, и издатели ничего не платили ему. Это была последняя его книга, когда ему заплатили, и именно она погубила его, этого человека, о котором сейчас кричат все газеты, как о национальном гении. Я видел его последний раз в парке, в старом городе, около библиотеки. Он спал на каменной библиотечной скамье. Сторож не прогонял его, почитая в нем писателя, — сторож, должно быть, решил, что писатель чудит по профессии. Я разбудил Дана, он спал на библиотечной скамейке, за каменной стеной, где хранились его собственные книги, просто потому, что у него не было денег на ночлег. Дан получил гонорар, первый и последний, — и он снял себе комнату в меблирашках. В этих меблирашках жили люди, не имевшие дела с писателями и встававшие по команде традиций в седьмом часу утра. Дан отсыпался после библиотечной скамейки. Стены в меблирашках не доходили до потолка. В соседнем номере в восемь часов утра травили клопов. Их травили удушливыми газами. Никто не предполагал, что в соседнем номере существует поэт, который не встает в семь часов. В нашем государстве чистоты и чистоплотности отравили вместе с клопами замечательного писателя, который стал знаменитостью через день после своей смерти, знаменитостью и богатым человеком, очень богатым человеком, наследники которого, дети и внуки, могут жить рантье.

— Да, у нас признаются писатели только тогда, когда они мертвы, — сказал хозяин. — В нашей стране живой писатель не должен быть богат и знаменит, для этого он должен умереть.

— Ты знаешь историю Эдварда, — сказал гость. — Его книги выходили в семистах экземплярах. Ему надоело голодать и кормить голодом жену. Он решил перехитрить традиции. Ему помог журналист Пэнен. Эдвард ушел матросом в море и оказался на юге Франции. И оттуда пришло письмо Пэнена к матери. Пэнен писал, — «передо мною стоит урна с прахом Эдварда,

это все, что осталось от гениального человека и нашего соотечественника. Я выкупил этот прах за пять франков, и я повезу его за собою в своем чемодане... Как трагически погиб писатель и человек!..» — И все, больше ни слова. Через день после того, как пришло это письмо, газеты сошли с ума. На первых страницах печатались фотографии Эдварда, предположения и вариации предположений. Эдвард умер от голода. Эдвард покончил самоубийством. Повесился, застрелился, отравился. Отравился — цианистым калием, настоем из спичечных головок, газом. Эдвард был убит апашами в ночной матросской гулянке. Но это не главное. Две типографии, две крупнейшие типографии денно и нощно печатали переиздания книг Эдварда на роскошной бумаге и в роскошных переплетах. Не знать и не иметь на своих книжных полках книг Эдварда каждый обыватель считал для себя позором. Типографии не успевали печатать. Жена Эдварда, наследница, получала громадные гонорары. Критики не унимались утверждать гениальность Эдварда. Лучший критик стал лучшим другом жены Эдварда. И в газетах тогда пронесся кислый слух, что Эдвард жив. Это был скандал. Издатели срочно послали в Париж и затем по всей Франции адвоката, чтобы он установил истинность смерти Эдварда. И адвокат привез страшную весть — весть о том, что Эдвард жив и живет впроголодь на юге Франции, ожидая славы, денег, возможности работать. Это был невероятный скандал!.. — Как!? — обманывать общественное мнение!? — обманывать Бога!? — прикидываться мертвым!? — нарушать традиции! — позор! недостойно писателя! издевательство! против Бога и против человеческой — и совести, и традиции!.. Газеты хлестнули громадной волной презрения. Эдвард украл сам себя и опозорил звание писателя нашей страны. С тех пор прошло три года. Эдвард пишет прекрасные книги. Эдвард забыт. Его имя вычеркнуто из нашей литературы. Его книг нет в издательских портфелях. Я сам был свидетелем, как один адвокат, почтенный человек, у себя в бунгало, в деревне растапливал камин роскошным посмертным изданием Эдварда. Я крикнул: «что вы делаете!?» — и мой адвокат смущенно ответил: «неудобно, знаете ли, мы все попались на эту хулиганскую удочку!..» Эдвард голодает. Жена Эдвар-

да, получившая его гонорары, ушла от него с гонорарами к лучшему критику, который писал об Эдварде лучшие статьи. Эдварда больше нет в нашей литературе, он хотел перехитрить нашу традицию, когда писатель для того, чтобы стать богатым и знаменитым, должен умереть!..

Два друга пьют самодельное крыжовенное вино. Хозяин через окно смотрит на шхеры. Над пустым морем летают чайки. Говорит хозяин:

— Ты знаешь, большевики, собственно, большевистские женщины всех этих грузинских, татарских, узбекских, киргизских, русских, украинских, карельских и прочих республик — в один год поставляют большее количество человеческих душ, чем все население нашей страны. Представь — все наши ученые, интеллигенты, купцы, чиновники и все наши хуторяне, — всех их вместе меньше, чем молокососов, пруденящих под себя, в стране Советов в возрасте от трех дней до девяти месяцев. Наш язык знаем только мы. Он так же неизвестен миру, как язык этих прудельщиков. Моя последняя книга вышла в пятистах двадцати пяти экземплярах. Сегодня утром в моей оранжерее созрели абрикосы. Я хотел было сорвать один абрикос сыну, но жена сделала такие глубокие глаза, и я понял, что этот абрикос надо послать в город, в магазин, на продажу. Я ответил моей жене словами прекрасной песни викингов, — я сказал жене, улыбаясь: «Камень подо мною — постель моя. Ветры вокруг меня — стены мои. Небо надо мною — крыша моя! Мое! мое!..»

Глава вторая

Столицы этих стран стоят на фьордах, на шхерах, на островах, на граните и среди гранита. В столицах этих стран запрещены автомобильные гудки. В дни, похожие на сумерки, и в ночи, похожие на дни, по улицам безмолвно идут автомобили, уступая дороги нечастым прохожим, причем среди прохожих очень много стариков и очень много людей в трауре, ибо не только жены и братья, но племянники и дяди до третьего поколения в честь умершего сородича надевают на рукав и на шляпу черный креп. В столицах этих стран, на глав-

ных улицах, поют соловьи, и по улицам, из одного парка в другой, по асфальту перебираются белки, считающиеся дикими. По главной улице в определенный час, от национального театра (иль от библиотеки) до королевского (иль президентского) дворца проходит национальная сумасшедшая, которая вообразила себя принцессой и невестой принца-регента, — она в подвенечном платье, с громадной охапкой цветов, с глазами, подведенными синее, чем цвет василька, — про нее известно, что она везде, даже в кино, садится в первом ряду, как подобает ее рангу, и про нее известно, что ей шестьдесят семь лет. В столицах все знают друг друга, и все кланяются друг другу. В июле, когда будут ужасные — с точки зрения жителей этих стран — жары, столицы будут пустовать, ибо все зажиточные сословия, как буйволы на Кавказе, все свободное время будут сидеть в воде, в фьордах и бухтах. В столицах нельзя будет приезжему человеку постирать белье, ибо прачечные будут распущены в отпуск на дни солнца. Все человеческие зажиточные сословия и возрасты будут сидеть в воде от утра до ночи, высовывая из воды лишь головы, — и врачи будут устанавливать, что в воде пристоличных фьордов скапливается шесть процентов урины, человеческой мочи. В декабре, когда будут нормальные — с точки зрения жителей этих стран — многосаженные снега и морозы, все свободные часы люди будут проводить на лыжах, и в газетах будет подсчитываться количество поломанных ребер и бедер. И все жители этих стран — мужчины и женщины — мореплаватели.

Семнадцать лет тому назад над миром прошла мировая война. Иные из стран этих широт взяли штыки (иль вынуждены были взять штыки) и посылали своих сыновей умирать от штыков, от пуль, от осколков шрапнелей, от удушливых газов, от холода, от болот, от вши. Иным из этих стран приходилось отбиваться и от врагов, и от друзей, ибо друзья становились врагами. Иные из этих стран — торговали на пушечном мясе, на многомиллионном человеческом убое. Семнадцать лет загладили раны. Эти семнадцать лет не стояли даром. В тех странах, которые отбивались от врагов и друзей, тем, которые отбивались с винтовкой в руках, дали (иль вынуждены были дать) землю, — не больше сорока гек-

таров на каждого, подставлявшего свою жизнь с винтовкою в руках под пули. Землю дали не бесплатно, конечно, но под ссуды из банков, с тем, чтобы хуторяне трудолюбиво выплачивали эти ссуды и проценты по ним, — с тем, чтобы банки выросли в бред недоимок. Писатель командовал отрядом. Писатель был в окопах, спал на снегу и в воде. Писатель был ранен дважды. Ему казалось, что он борется за родину, за нацию, за национальную самобытность, за право петь свои песни, и солдаты тогда в окопах пели:

Камень подо мною — постель моя!.. —

вкладывая в эти слова глубочайший, как им казалось, смысл, тот смысл, что — пусть они бедны и у них есть только гранит, сосны и вода, пусть их немного, пусть их язык никто не знает, — пусть! пусть! — но они будут самостоятельны, потому что они — нация, потому что они пришли из веков, и они хотят быть самостоятельными. Они дрались, жестоко, направо, налево, кругом. Они умирали от пуль, от холода, от болот. Война кончилась. Писателю, как и его солдатам, всем, которые дрались, остались живы и были героями, — им дали землю, их передали в банковские расчеты, и им оставили оружие. Им дали землю от пяти гектаров, но не больше сорока. Вся страна покрылась хуторами. Во всей стране на хуторах, в красном углу налипли банковские квитки, и в изголовии постели повисли винтовка, шашка и военный мундир. И страна превратилась в страну кулаков, хуторян, земледельцев. Страна догнала после разорения войны соседей своих широт — именно этими хуторянами, которые возникли у соседей за счет военных нажив. Другие страны этих широт — не воевали. Они — торговали. Они продавали железную руду англичанам и немцам. Они продавали англичанам и немцам химические продукты. Они покупали химические продукты у немцев и продавали их англичанам. Они покупали у англичан канадский и аргентинский хлеб и продавали его немцам. Они помогали врагам убивать друг друга. Они наживались. Они мореплавствовали под нейтральным флагом, чтобы наживаться и помогать человеческой смерти. Они богатели. Они отъедались и жирели. Они строили фабрики

и заводы, чтобы помогать европейскому разорению. Они строили бумажные фабрики, чтобы делать целлюлозу, доказывая, что бумага — культурнейший двигатель человеческого знания, и скрывая, что та же целлюлоза есть страшнейшее взрывчатое вещество войны и разрушения. Они отстраивались на войне, приняв войну за благополучие. Каждый в этих странах становился кулаком. И в этих странах — в одних на человеческой смерти, в других от человеческой смерти — поселился человек, воспетый Гамсуном. «Индивидуалист». Хуторянин. Он антиколлективен и одинок, и он подозрителен, и ему страшновато. От человеческого убоя он пришел на голое место среди гранита и сосен, около озера. Он пришел один. У него были руки, топор и винтовка. Он раскорчевал землю и выстроил дом. Тогда он привел жену. Через год тогда появился первый ребенок.

Они, хозяева этих стран, муж и жена, просыпаются на рассвете. Он идет к лошади и на двор, в поле или в лес. Она идет к корове, к телку и в дом. В доме она затапливает печь и обстирывает детишек. В изголовье их постели висит винтовка. Хутор огорожен забором там, где может пройти человек, и водою, и камнем там, где человек не может пройти. Первое, что было построено на хуторе, — это были ворота, и на воротах надпись: «Приват», — частное, собственность, мое, никто не должен заходить. И никто не приходит. Муж и жена неделями никого не видят. Между ними все сказано, они понимают друг друга без слова. Это кажется нормой. От человека со стороны надо быть как можно дальше. Самое лучшее — совершенно отказаться от человека со стороны. Идеально, если муж может сделать на дворе все, что ему нужно, — плуг, подкову, гвоздь, хомут, телегу. Идеально, если жена может сделать в доме все, что ей нужно, — засолить редьку, соткать полотно, приготовить свечи, крыжовенное вино, лекарство, хмель, дрожжи. На воротах, около слова «приват», находится почтовый ящик, туда кладутся сельскохозяйственная газета и повестки от банка, от прихода — и очень редко письма. В письмах пишутся поздравления, — эти письма забываются. Но в письмах пишутся также и события. Хорошие события также скоро забываются, но плохие помнятся долго. И лучше б писем совсем не было. А банк! а приход! а

сообщения от муниципалитета!.. — ну пусть остается одна сельскохозяйственная газета, этого совершенно достаточно для познавания мира!.. Это познание мира в дни, когда приходят повестки из банка, приводит размышляющие взоры к винтовке у изголовья. Мир конечно страшен. Утром человек идет на конюшню. В запертой на ночь конюшне сперся конский запах, запахи конского пота, навоза, мочи, лошадь приветливо ржет. Хозяин дышит полною грудью довольства, он отвешивает овес. Конская моча есть отличнейшее удобрение, она стекает по желобу в лоханку, — хозяин сладостно тащит лоханку за конюшню в яму, где собираются конские и коровьи отбросы до весны и до осени. Жена за стеной собирает коровий помет, еще теплый, от которого идет пар. Жена задала уже жмыхов свиньям, и свиньи блаженно чавкают, хрюкают, пукают, взвизгивают, насыщаясь, пищеваря, воняя. Три недели тому назад хозяин зарезал одну свинью. Он резал ее у себя на дворе, собирая в таз для мытья головы свиную кровь. Он и жена ошпаривали мертвую свинью кипятком, чтобы собрать щетину для продажи. Бекон и окорока хозяин просолил, и хозяйка прокоптила для экспорта. Это было три недели тому назад, хозяин тогда ездил расплачиваться с банком. Сейчас свиньи отхрюкали и отвоняли над жмыхами, хозяин вылил лошадиную мочу, хозяйка убрала коровий помет. Они вернулись в дом и отмыли руки от свиного, лошадиного помета. Хозяин снял свой шарф и взялся за хомут, от которого также пахнет конским потом. Хозяйка подала на стол поджаренную резаную свинину, политую двумя яйцами, и ячменный кофе. Хозяин питается. За окнами сосны и тишина. Никто не придет. Никого не надо. Утро прошло прекрасно. Надо не забыть, пойти посмотреть, как причинает «швицка», — та «швицка», швейцарской крови в которой вот уже много поколений не осталось ни на грош, — и надо пойти перещупать кур, то есть слазить указательным пальцем в куриный задний проход.

Семнадцать лет не прошли даром! — В той мировой перетасовке экономических сил, которая прошла по миру, в Европе возникли новые социальные сплавы, ибо и Европа эти семнадцать лет не стояла на месте. Германия и Англия, даже Франция и Италия делали машины и все, что идет от машинной индустрии, лучше, чем стра-

ны этих широт. Германия и Англия в международной торговле покупали у этих стран свиные окорока, коровье масло, кожу, пеньку, коноплю и лес. Хуторянин этих стран производил именно пеньку, свиные окорока, масло, мясо и жил в лесу, на сплавных озерах и реках, около моря. Хуторянин оказывался хозяином, и он рассуждал хуторянски: он вообще не хотел покупать, но если уж был вынужден, он предпочитал купить — иголку, нитку, керосин, плуг — по самой дешевой цене, безразлично, свою национальную, иль немецкую, иль английскую. Немецкая стоила дешевле своей, и свои иголки перестали выделываться. В экономических справочниках стали появляться фразы по поводу иных из этих стран: «... если до мировой войны страна была аграрно-индустриальной, то теперь она становится чисто аграрной». Так писалось в экономических справочниках.

В столицах запрещены автомобильные гудки. В столицах поют соловьи. В столицах перезванивают средневековьем кирхи. У королевских и у президентских дворцов в столицах дежурные офицеры ставят почетные караулы из людей, расшитых золотом, с медвежьими ранцами и в медвежьих, в полметра высотою, шляпах, причем эти люди марширують около дворцов, как заведенные игрушки, не сгибая колен, и как хронометры, по которым можно проверять время. Но в семи километрах от столицы иных из этих стран был машинно- и кораблестроительный завод. На заводе работало тридцать тысяч пролетариев. Завод лежал на полуострове, на самом берегу моря, на гранитной скале. С трех сторон эту глыбу обмывало море. В штормы морская пыль перелетала через эту гранитную глыбу. Заводские доки упирались в воду. Заводские цеха пятились от воды. Рабочие казармы ползли на гору. У моря гремела заводская жизнь, дымили мартены, сверкали огнем горячие цеха, глушили кузнечные, клепальные и сварочные. В заводском поселке жили пролетарии, и там нарождалось пролетарское сознание. Завод этот закрыт с войны. Завод этот был продан впоследствии большевикам и увезен большевиками. На месте завода остались кирпичные корпуса с выбитыми окнами, заросшие бузиной, лопухом и крапивою, тишина, ветры, море, гранитная глыба. Впрочем три цеха переоборудованы: один превращен в кирпичный завод, другой — в лесопилку, в

третьем делают фанеру. Над заводом дуют просторные ветры. Летом там гоняют скотину. В белые ночи к морю туда приходят любовники. Заводской поселок заброшен, разрушен, там ютятся бродяги. Пролетарии исчезли отсюда. И министр торговли и промышленности с гордостью сказал однажды о своей стране: «у нас нет пролетариев!.. мы — крестьянская страна». В этой стране господином считается хуторянин, возлюбивший чавкание свиньи и коровий помет, читатель сельскохозяйственной газеты, обладатель винтовки, боящийся чужого человека и чужого глаза. Но сельскохозяйственная газета, — этого недостаточно для того, чтобы понять, что китайский рабочий из Учана, такой же китайский рабочий из Кульджи, американский рабочий и фермер из Перу соподчинены в судьбе своей друг другу, что он, этот «индивидуалист», возлюбивший одиночество, свой дом, свой огород, каждой своею, посаженной на своем поле, картофелиной подчинен и банкирам с Уолл-Стритт и из Лондон-Сити, и немецкому иль французскому (иль английскому) рабочему, не съевшему этой картофелины. Об этом не писалось в сельскохозяйственной газете, но англичане вдруг приказом кризиса сократили вдвое ввоз бекона из этой страны, а немцы в честь фашизма запретили вывоз своих марок, — и бекон пал вдвое в цене, застряв в государственных холодильниках. Хуторянин узнал об этом, когда поехал продавать очередную свинью, чтобы вырученные за нее деньги уплатить в банк, не продавал своих окороков и в банк не заплатил. Он вернулся домой еще в большем убеждении необходимости одиночества, и целый вечер он чистил и смазывал винтовку, рассказывая жене в тритысячеждый раз, как он дрался с этой винтовкой. Тот же министр, который сказал однажды с гордостью: «у нас нет пролетариев! мы — крестьянская страна!..», на заседании совета министров, этот министр предложил закрыть — один единственный в этой стране — инженерный институт, чтобы поправить бюджет, чтоб выправить цену бекона и потому, что инженеры этой стране не нужны. И не только инженеры, но и филологи, но и философы, и даже юристы, даже врачи. Их школы также сокращались. Хуторянину нужен был купец, и купец разместился в городах, где запрещены автомобильные гудки и где на главных улицах веснами соловьи утверждают феодальную любовь.

Но семнадцать лет не стояли даром и для тех стран, которые наживались на многомиллионной человеческой смерти, продавая врагам средства человеческого убоя, сделанные ими самими и купленные у врагов по воле вольной капиталистической конкуренции. Эти, ожиревшие на человеческом мясе, полюбившие мир во образе свиньи, разбогатевшие не только купцами и мореплавателями, не только делателями целлюлозы, не говоря уже о хуторянине и помещике, — эти поставили до будущей войны корабли на прикол, законсервировали военно-промышленные фабрики и собирались жить буйволиным обывательством. Но над миром пошел социальный сплав, именуемый кризисом. Кризис приказал стране перестать барствовать. В одной из этих стран застрелился человек, смерть которого шквалом закрыла двери сотен банков, пошедших в разорение не только в его стране, — застрелился капиталистический король Крэгер. К слову следует сказать, что на ночном столике в комнате, где застрелился Крэгер, лежал том русского писателя, только что прочитанный, роман Эренбурга «Единый фронт», в котором описывался сам Крэгер, в котором Крэгер застрелился раньше, чем он это сделал в жизни. На самом деле смерть Крэгера закрыла двери банкирских контор, и имущество Крэгера пошло с молотка. Крэгер был холост, он жил в прекрасном особняке. Квартира его распродавалась. В его шкафах и комодах найдены были сотни комплектов женских ночных пижам, рубашек, чулок, панталон, — достойная картина!.. Человек, король, Крэгер, обуютивший свою холостую квартиру женскими панталонами, своею смертью качнул не только страны своих широт, не только мировыми банковскими крахами, и не только мировыми деревообделывающими и целлюлозными предприятиями — и не только до железорудных своих рудников. Крэгер ставил страну на место своих широт. Страны человеческой смерти и страны на человеческой смерти — уравнивались. Банки лопались. «Индивидуалист» хуторянин все с большим страхом смотрел в город и на банковскую контору в городе.

Семнадцать лет не стояли даром! — чего доброго, они возвращали феодальный быт, на самом деле они принесли обнищание, на самом деле эти страны стали превращаться в пустыри аграрных огородов, пусть

одни из этих стран наживались на мировой войне, а другие перестраивались: мировой хор привел их на одни широты одного гранита, одних фьордов, моря, шхер, сосен, пустого неба. Семнадцать лет породили пустыри социального одиночества, распад, запустение, — моральным хозяином стал хуторянин.

Камни обглоданы тысячелетьями и ледниками, бывшими до этих тысячелетий. Тысячелетья одели трещины каменьев в мох. Среди камней, между сосен, на дерне из мха, среди раскорчеванной поляны, на берегу озера стоит дом. Из дома выходят двое, высокие, тяжелоплечие, с белыми глазами, аккуратно бритые. Они идут на скотный двор, где в ряд в стойлах, шесть, стоят коровы. Под коровьими хвостами проходит желоб, чтобы стекала моча. В конце коровника греется плита, чтобы варить и греть пищу коровам. Двое проходят коровник насквозь и выходят к сепаратору. За коровником и за конюшней сад. В оранжерее в саду созревали абрикосы.

— Вот это тот самый абрикос, — сказал писатель, — который я хотел сорвать для сына и не сорвал, потому что этот абрикос поедет в город, в фруктовую лавку и продастся там на дипломатический обед министра. Я буду на этом обеде и съем его там или в кармане привезу сыну, но моя жена купит на него иголок, ниток, карандаш, соль. Я бываю на обеде министра, но пять лет уже я никуда не могу поехать дальше нашей страны. А моя жена уже два года не выезжала дальше станции. Поистине, эти сосны — стены мои!..

Сосны держатся за камни кривыми корнями, которые злобно ползут по мху во все каменные трещины. За камнями меж сосен озеро. Дальше еще озера. И еще дальше — море. И в море из воды выползают обглоданные гранитные глыбы. Двое идут к воде, садятся в лодку. С порога дома жена машет мужу рукой. Писатели едут встречать иностранного гостя.

В столицах этих стран и в литературах, кроме соловьиной тишины и правила, что писатель может быть богат и знаменит только после смерти, есть и другие традиции и правила. Чего доброго, пьянство по понятиям этих стран никак не порок, но доблесть, и кабаки в этих странах — почетное место. В одной из этих стран, где якобы проживал Гамлет, по дороге к замку, в

котором якобы произошла трагедия Гамлета, есть кабак, куда каждую ночь является привидение Гамлета на коне и пьянствует со всеми кабачными пьяницами. В другой стране, в столице, в старом городе имеется кабак, организованный в семнадцатом веке пьяницей и веселым художником Михаилом Белльманом. Этот Белльман откупил подвал от бочек с дегтем и от канатов, расставил там бочки с элем, содержательствовал этот кабак, пил там и помер, оставив завещание, в коем значилось, что ни пьяниц, ни художников весельчак-пьяница-художник не забыл. Права собственности на кабак Белльман завещал Академии живописи с условием, что каждогодно Академия будет сдавать с торгов подвал специально и исключительно под кабак, дабы в кабаке пили и поминали хороших пьяниц, дабы арендная плата с кабака шла на стипендии молодым и талантливым художникам. Академический подвал существует поныне, в нем пьют министры, писатели, художники и туристы. В третьей столице писательский кабак именуется Клубом Красноносых. Почетные члены этого клуба — лучшие пьяницы от искусства — наделены грамотами на право именоваться красноносыми, грамотами, орденами и гербами, копии которых развешены в клубе.

В столице живут купцы и мореплаватели. Купцы реставрируют быт российского города Саратова времен девятьсот тринадцатого года. Мореплаватели ждут у моря погоды. Заводчики ждут войны. В городе цветет желтая акация, и мальчишки из стручков делают свистульки. Все знают друг друга и кланяются друг другу. Все помнят Крэгера. Все всё свободное время проводят в воде, как буйволы на Кавказе. В городах ничто не строится, но реставрируется, как реставрируются в национальном масштабе народные певческие праздники, и города пахнут Ганзой.

Глава третья

Десять лет тому назад в Берлине, в Прагер-диллэ, семь лет тому назад в Париже, в кафе Ла-Куполь, писатель встречался с другим писателем, писателем Страны Советов. Сейчас писатель Страны Советов проезжал

столицу этих широт. Клуб писателей этой столицы помещался в крепостной башне старого королевского замка; под амбразурами бойниц, откуда видны город и море, размещены были диваны; в башенном подвале, где раньше хранился порох, теперь стояли бочки с пивом и пустые бочки, за которыми пили.

Писатель Страны Советов остановился в доме посольства своей страны. Два старых знакомых встретились на чае в министерстве. Писатели за чаем, перед кофе, съели по абрикосу. Писатель Страны Советов в то утро был за городом, в домах двух фермеров, в доме губернатора, в сельскохозяйственной школе для девушек. Губернатор оказался просвещенным помещиком, на письменном столе его лежали Леонард Франк и Жан Жионо, уже прочитанными, и раскрытым лежал Джон Дос Пассос. Из кабинета губернатор повел гостя в коровник и в сепараторную. Эстетика коровника дополняла эстетику Марселя Пруста. В этих странах наряду с музейными древностями всегда показывали коровью современность. За завтраком губернатор сказал: «все, что вы видите на столе, это с моей фермы, все, даже вино и колбасы, даже водка, хотя это и маленькое нарушение закона!.. Я прикупаю к столу, кроме соли и корицы, только кофе, коньяк и сигары!..» — и губернатор заговорил о Леонарде Франке. И губернатор очень внимательно спросил о переоборудовании сельского хозяйства в СССР. Писатель за неделю до отъезда из Москвы был в деревне, в рядовом колхозе, и существеннейшее, что он мог сказать губернатору, это то, что колхозники почти не говорили с писателем ни о литературе писателя, ни о своих домашних делах, но потребовали, чтоб писатель рассказал о Японии и об Америке, о делах на Дальнем Востоке, это было существеннейшим для колхозников.

— Почему? — спросил губернатор.

— Помните, что, ковыряя землю и доя коров, колхозники и знают, и уверены, что они делают и общественное, и государственное дело, — сказал писатель, — и поэтому они полагают, что судьба каждого из них зависит не только от их поля и коровы, но и от того, что делается в Америке и на Дальнем Востоке.

— Это колхозники знают? — спросил губернатор.

— Да, господин генерал, это колхозники знают очень хорошо, в первую очередь. Это основа их миро-

ощущения и оправдание не очень эстетического занятия вроде уборки навоза.

— Не понимаю! — сказал губернатор, и сказал очень искренно, и спросил: — Позвольте узнать, когда мы осматривали школу жен, как пошутили вы, вы спросили, как оплачивается право обучения, и сообщили, что за право обучения в СССР — не то чтобы платили родители или учащиеся, но, наоборот, школы дают пособия всем учащимся. Так ли я вас понял?

— Да, именно так.

— Но почему? — спросил губернатор.

— Потому же, почему колхозники спрашивали о Японии, — потому что обучение в высшем учебном заведении есть общественное дело, и в людях с хорошими знаниями заинтересовано государство, а не только родители.

— Не понимаю! — сказал губернатор, и глаза его сделались лирическими и даже добрыми, то есть бессмысленными для губернатора.

Писатели, два старых знакомых, встретились на час в министерстве. Вечером в этот день в писательской башне устраивалось заседание в честь заезжего гостя. В подвале на бочках и за бочками писатели по непонятным причинам походили и на таких апашей, которых никогда не бывало, и на таких ганзейских купцов и феодальных рыцарей, которых также никогда и нигде не было. На самом деле было много выпито. На самом деле были тридцатые годы этого века. Гремело радио бигуинами и румбой. Алкоголь путал понятия и пространства, вываливал из сознания то, что лежит наверху сознания, и старый знакомый наблюдал, как женщины подходили к заезжему гостю, ломали язык, чтоб перелезть через заборы разноязычий, своими коленами охватывали колено гостя, притираясь животами к его бедрам, эти писательницы, журналистки, художницы и эти, с неопределенной профессией, пребывающие при искусстве, известные уже много лет, отношение к искусству из коих уже выветрилось. Глаза у женщин были совершенно доступны и ничего не прятали. Женщины терлись коленями и пытались друг у друга изучить русскую фразу, самую необходимую: «я люблю вас!..» — чтобы сейчас же выкрикнуть ее в ухо заезжему гостю. Пьянейший залез на бочку и, не то викингом, не то купцом, говорил:

— Вы знаете, как получил нобелевскую премию X!? — он назвал громчайшую писательскую фамилию. — Утром, по регламенту, он был с Академией на приеме у короля и получил грамоту. Как второстепенность, секретарь Академии передал ему чек на двести тысяч крон. Лауреата отвезли в его номер в гостиницу, и его оставили там одного с женой до вечера, до парадного обеда. Вечером приехали академики. Лауреата посадили между президентом Академии и Сёльмой Лагерлёф. Он был трезв, он ничего не пил за этот день, он выпил стакан вина, и он сразу опьянел. Это конечно была нервная разрядка. Он закричал. Он схватил за голову старуху Лагерлёф и растрепал ее прическу. Он кричал: «Ну что, старуха, как ты пишешь!? — вот, как надо писать, — как пишу я! — сам король поздравлял меня сегодня!.. я лучше всех пишу!.. ну что, старуха, как ты пишешь? — как вы все пишете! — а я, а я!..» — он полез в карман, и на лице его изобразился ужас, самый первобытный ужас скупости. Он не крикнул, он взвизгнул — о том, что пропал чек. Человек неистовствовал. Он был бессмысленен. Он требовал, чтобы сейчас же позвонили в банк, во все конторы банка, в редакции газет о том, что чек такой-то недействителен. Гостиница была оцеплена и поставлена вверх дном. Все было обыскано, номер, уборные, коридоры, мусорные ящики, ресторан. Чека не было. Чек найден был засунутым под обшивку дивана. Жена лауреата видела, как лауреат возился около дивана. Двести тысяч! двести тысяч! двести тысяч! — вы понимаете — две-сти ты-сяч!.. у лауреата был аффект, он сам запрятал чек под обшивку дивана, и он забыл это от счастья!.. Страшно? — невероятно?! — факт!..

За амбразурами древней башни проходила белая ночь. Женщина, которая сдавливала своими коленями колено заезжего гостя почти до боли, предлагала на английском языке — или пойти к ней, в ее мастерскую, или поехать на моторке по фьорду, вдвоем, без этих прокуренных людей.

Два старых знакомых вышли вместе, в город, пустой, как музей, и пошли из одного музейного переулка в другой. Ночь бледнела, как день. В тридцати шагах

сзади появился и пошел следом человек, зеленоватый в белой ночи.

— Шпик, — сказал гость.

— Шпик, — нехотя ответил писатель.

— За мною? — спросил гость.

— Конечно, — ответил хозяин.

— Боятся большевиков? — спросил гость, — не любят?

— Боятся, — ответил хозяин, — не любят, не понимают.

— А ты? — спросил гость.

Хозяин не ответил.

— Боятся, — сказал хозяин, — боятся, не любят, не понимают. Раньше всего боятся, до оцепенения, до бессмыслицы. Но это не я и не мы. Мы — завидуем. На какие средства ты путешествуешь? — тебе правительство помогает?

— И на свои, и помогает правительство.

— Почему? — это служба?

— Нет, не служба и не на жалованье. Я рассказал сегодня вашему губернатору, которого вы называете господином, который ездил со мною днем, а сейчас послал за мною шпика, что в наших высших школах не студенты платят за обучение, но студентам платят за то, что они учатся, и для того, чтобы они учились. По той же причине. Когда я ездил в Таджикистан, — в одну из наших республик на Памире, о Памире ты знаешь, но об этой республике, чего доброго, и не слыхал, — в Таджикистане таджикское правительство дало в мое распоряжение бесплатно — верховую лошадь, автомобиль, верблюда, аэроплан, осла и железнодорожную дрезину. Здесь сейчас я остановился в нашем посольстве, среди соотечественников и друзей, я не плачу за номер в гостинице, это тоже помощь. Ты был когда-нибудь в нашем полпредстве?

— Нет. Если бы ты не сделал визита в министерство, мы б не могли с тобою встретиться. Ты же знаешь, что пишут в наших газетах о вас и о вашем полпредстве в частности.

Они подошли к дому, на парадном которого была медная полпредская вывеска, очень небольшая, — «Полномочное представительство Союза Советских

Социалистических Республик», — к самому популярному и самому страшному дому в столице.

— Сколько сейчас времени? — два? — зайдем ко мне, — сказал гость, — я приготовлю кофе.

В тридцати шагах шел шпик. В белесой мути перед домом взад и вперед ходил зеленый полицейский. Была белесая ночь. За купами деревьев вдали виднелся фьорд. Писатель этой страны был широко- и тяжелоплеч, глаза его были белы. Глаза его стали суровы.

— Да, зайдем, — сказал он.

Позвонили. Дверь отворилась механически, электрическим рычагом. Хозяин и гость поменялись ролями. Гость ступил на порог, опустив плечи. Чего доброго, таинственный большевистский дом был ему страшен почти мистически. Прошли пустым коридором, вышли на внутренний дворик, пошли новым коридором до лифта. Все было совершенно обыкновенно и по-ночному тихо. Хозяин своим ключом отпер дверь. Обыкновенная комната, книги, на столе электрический чайник, в соседней комнате постель, опять книги, дверь в ванную. За открытым окном белела белая ночь. Вымыли руки, хозяин заварил кофе, и писатели сели друг против друга.

— Кулак! — сказал гость, хозяин этой страны. — Мужик, хуторянин!.. о нем уже все написано, нечего писать. — Глаза гостя стали тяжелыми, как его ж плечи. — Мужик! — ему нужны только хорошие свиньи и — чтобы окорока этих свиней кто-то где-то ел в расплату с банками. Ему страшно от людей, он хочет спрятаться в свой хутор. Ему не нужна литература, ему не нужны университеты, ему легче жить без них. Он думает, что Гитлер прав, когда утверждает, что немецкий пупок не похож на другие пупки, он не совсем согласен, что самый лучший пупок — это немецкий пупок, но он задирает свою рубашку и рассматривает пупок свой собственный, стремясь выискать в нем что-нибудь национальное. Мы уже придумали одну национальную особенность — наши певческие праздники в национальном масштабе. Мы реставрировали и узаконили в государственный праздник костры Ивановой ночи, ты увидишь эти костры, на ночь этих костров пустеют го-

рода и деревни, все идут в лес, на гранитные скалы, за озера и болота, жгут костры и прыгают вокруг них. Это во всех наших странах, — ты увидишь. Все наши земли будут пахнуть дымом в белой ночи, и все будут петь около костров. Ты спросил, был ли я в этом доме? — нет, никогда не был. Я пришел сейчас — не только к тебе, но именно в этот дом, сейчас, когда в сознании у нас суббота, но фактически вот уже третий час, как идет воскресенье, я пришел сюда в полночь, пусть провожали шпики. Я пришел спросить тебя — что я должен сделать, чтобы навсегда уехать в твою страну, навсегда работать в твоей стране? Нам, писателям, нечего делать на этих пустырях, поросших бурьяном былого и превращенных в свиноводческие пастбища для континента. Это не случайно, что в своей стране — в этом доме я гость, — я гость в своей стране!..

Глава четвертая

Непонятно — день или ночь. С белого неба падает мелкий-мелкий дождичек. Камни обглоданы тысячелетьями и ледниками. На камень ползет мох. На мху растут одинокие, корявые, злые сосны. Из дома выходят двое — хозяин и гость, писатель Страны Советов. Они идут к воде и садятся в лодку. Они переплывают озеро. Они идут замшелой тропинкой. Земля уже пахнет дымом сгоревшей хвои. Это — Иванова ночь. Писатели идут праздновать. Падает, падает с неба мелкий, мелкий дождик. Свет белес. На каменной глыбе сложен громадный костер, — на гранитной глыбе, совершенно лысой и гладкой. Вокруг костра ходят пожарные в страшных шлемах и с топорами в руках, полные гордости. За пожарным табором разместились люди в военной форме, с винтовками и с шашками, — хуторяне, приехавшие к празднику на своих фурах и в полных доспехах, полные гордости. На площадке, под каменной глыбой, приходский оркестр играет допотопный вальс, и парами прыгают девушки. За танцевальной площадкой расположились буфет и тир. Ровно в полночь зажигают костер. Он вспыхивает бенгальскими

огнями. И, когда он разгорается, рядами к нему подходят девушки из сельскохозяйственной школы, в венках и в национальных костюмах, — будущие образцовые жены поют:

Камень подо мною — постель моя!
Ветры вокруг меня — стены мои!
Небо надо мною — крыша моя!

Писатель склоняется к гостю и шепчет злобно:

— Действительно, камень, ветер да небо, — это их! — моя собственность! мое! мое! — смотрите, как усердно горят бенгальские огни! — смотрите на пожарников!..

Улица Правды,
23 сентября 1934 г.

БОЛЬШОЙ ШЛЕМ

Дом и все в доме, в семье, в благополучии, в жизни было сделано исключительно им, Владимиром Ивановичем Кондаковым. К тринадцатому году — садом антоновских яблонь и пихтовым парком — дом спустился до самой Волги. На Волге, у пристани, стояла яхта «Владимир Кондаков», с кают-компанией и салоном, с кухней, буфетом и погребом, с двумя спальнями, с ванной и душем. На этой яхте Владимир Иванович Кондаков инспектировал Волгу, от Астрахани до Рыбинска, все волжские нефтяные нобелевские торговые конторы и товарные склады. Дом разместился на горе, посреди города и между сосен одновременно. От города дом отгорожен был двориком и решетчатыми каменными воротами в барельефах львиных морд. За прихожей, прохладной летом и теплой зимами, одиночествовала гостиная, в морских пейзажах копий с Айвазовского. За гостиной немотствовал кабинет хозяина, отделанный черным дубом, с зеленым сукном громадного письменного стола посреди комнаты, с черными кожаными креслами около камина.

К тринадцатому году старший сын учился в Англии, в Кембриджском университете, на родину приезжал к Рождеству и на лето, курил трубку и с отцом разговаривал по-английски. Старшая дочь училась в Петербурге, на филологическом факультете Петербургского университета, курила русские папиросы «Сильва», говорила на четырех языках, на немецком, французском, итальянском и английском, любила Францию, Василия Розанова и презирала англичан, их язык и своего английского брата. Младшие — на серых, в яб-

локо, рысаках, под медвежьими покрывалами — ездили здесь же в городе в гимназию и реальное училище, — на этих же рысаках возвращались домой, и дома учились с гувернантками и домашними преподавателями — языкам, музыке, рисованию, почти не выезжая в город, кроме школы, развлекаясь дома же, на своем катке, на своей горе, домашним детским журналом, домашними спектаклями. Гости к детям — по тщательному выбору родителей — допускались раз в неделю, в воскресенья. Субботний вечер был вечером отца, когда к нему приезжали партнеры большого шлема, — родители тогда ужинали отдельно, и повар задерживался на кухне до полночи, бегая на мороз, посмотреть, хорошо ли проморозился мум. Сумерки в пятницу и вечер до семи принадлежали матери, когда к ней приезжали в гости дамы, в гостиные комнаты, которые подтапливались для этого и куда горничные в подкрахмаленных платьях приносили кэки, кофе и чай. Любимым произведением матери считался роман «Война и мир», но в досуге, а досугов у нее было много, она, прилегая на кушетку с коробкой шоколада, в рабочей своей комнате, читала Локка, писателя, который был моден в России к тринадцатому году. Дом не случайно был поставлен над Волгой. За Волгой, на луговой стороне, за невероятными и прекрасными просторами Волги и заволжских пойм, стояли богатырские леса, окутанные легендами, и такие, по которым на самом деле шла история России, начиная от Володимиро-Суздальских времен — через русский церковный раскол — до возникновения российского капитализма. Из этих лесов, наряду с разбойниками, на Волгу выходили миллионщики. И из этих лесов тридцать два года тому назад вышел тринадцатилетним мальчиком Владимир Иванович Кондаков, на самом деле создавший все в своей жизни своими собственными руками.

Это был год убийства императора Александра Второго, когда тринадцатилетний Владимир с отцом своим Иваном, весенним волжским разливом, пристроившись на беляне, мимо Нижнего, Казани, Саратова и Царицына, плыл с дугами до Астрахани. Сзади, в лесах, осталась канонная, старообрядческая семья дужников, сурового леса, тына вокруг усадьбы, исступленной моленной в задней половине дома, глубоких зим и дедов-

ского авторитета. Отец и сын плыли до Астрахани, везя на продажу зимний труд всего своего дугогнувного рода. В Астрахани были к июню. В Астрахани обожгла жара. Дуги продавали полтора месяца, и собирались уже восвояси. Но к середине июля в Астрахани поспевали арбузы, отец с сыном поели арбузов, отец умер в холерном бараке, сын выздоровел. Ни дуг, ни денег не оказалось. И только через девятнадцать лет навестил мальчик, уже нобелевским инженером, свою родную деревню. Год проскитавшись на астраханских и гурьевских рыбных промыслах, мальчик приехал в страшный город Баку, в город азиатских невероятностей, зноев и нищеты, нефти и огнепоклонников, миллионных человеческих гибелей и одиноких человеческих карьер. Однажды забил фонтан, — и счастье, и катастрофа, — черным дымом нефть рвалась в небо до облаков, сумасшедшими потоками нефть текла в разные стороны по песку, разбрасывая миллионы пудов и рублей богатств. Люди унимали стихии. Люди окапывали потоки. Нобель приехал командовать. Паренек лет семнадцати бросился в один из главных потоков, подставил потоку спину, уперся руками и ногами в землю, крикнул:

— Окапывай меня! —

Его стали зарывать песком, эту живую, из человеческого мяса, плотину. Инженеры установили, что паренек выбрал удачнейшее и правильнейшее место, где надо было перекапывать, подстать инженерам, знатокам математики. Нобель поразился мужеству. Перед Нобелем стал парень отличной мускулатуры, белый негр, с которого текла нефть, который дымился нефтью и у которого были белы белки да зубы.

— Молодец, — сказал Нобель, — ты кто же будешь?

— Работаю на ваших промыслах смазчиком, — ответил парень, — Владимир Кондаков.

Спросил старший инженер:

— А почему ты прыгнул здесь, а не повыше или не пониже?

— По рельефу местности, — весело ответил парень, — по ватерпасу здесь повыше, меньший нефтяной напор.

Парень ответил понятиями инженеров, Нобель распорядился:

— Зайдешь в контору, получишь на память серебряные часы.

Это было началом карьеры Кондакова. Владимир Иванович не стал капиталистом, но он проделал блестящую карьеру капиталистического инженера. Это был всячески талантливый человек. Он был здоров, он был красив. Он был приветлив и дружелюбен. Все в жизни ему давалось легко. Он не был стяжателем. Его страстью, спортом, делом жизни стала — нефть. К концу первого десятилетия своей нефтяной карьеры он был начальником промысла и был женат на дочери директора компании. К концу второго десятилетия он управлял всеми промыслами. К тринадцатому году он был лучшим в России специалистом по нефти, он получал от Нобеля шестьдесят тысяч рублей жалованья, получал проценты с прибылей, имел подарками нобелевские акции, Нобель подарил ему яхту его имени. Он работал в качестве нобелевского советника, эксперта и ревизора. Он на память знал все, что относилось к нефти, от закона об учреждении бакинского градоначальства (Свод законов, том XVI, часть I, издания 1892 года), от статьи 788-й Горного устава («В случае неисполнения в указанный торговыми кондициями срок обязательства поставки нефти...»), от закона 2 июня 1903 года («О вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев...») — до помесячных справок о вывозе какого-нибудь лигроина из Батума иль из Новороссийска за границу, до всех курсовых стоимостей нефти и нефтяных продуктов на всех биржах мира, до вопроса об уходе за компрессором, фонтанной арматурой и нефтяными насосами. Жизнь, чувства спорта, чести, тщеславия, а все эти чувства были у Владимира Ивановича, — все это было связано с понятием — нефть. Нефть была — карьерой и благополучием. Нефть была — честью и славой. Чтобы знать технологию нефти, Владимир Иванович переизучил, подкрепленный громадной практикой, множество инженерных книг. Чтобы знать экономику нефти, Владимир Иванович прочитал множество, и юридических, и экономических книг. Он изучил английский и немецкий языки. Он несколько раз был в Америке и Англии, изучая их практику нефтяного дела. Он работал — сначала у Нобеля, а затем с Нобелем, — то есть в одной из немногих российских компаний, которые ставили свое хозяй-

ство по последнему слову англо-американского капитализма, без всякого, прости-господи, рассейского лаптя. К тринадцатому году это был настоящий европеец в костюме английского покроя, в мягкой шляпе, в желтых толстоподошвенных ботинках, в желтых перчатках, пахнущий табаком своей собственной смеси и английскими мужскими духами. Он считал себя истинно-русским человеком. Он не прятал своего прошлого и считал себя демократом. Он не успевал читать книг, не имевших отношения к нефти. Он не успевал философствовать. Он не успевал думать о том, что называется душой, никогда не думал о религии, но по инерции от заволжского детства почитал себя старообрядцем, жертвуя на старообрядческую церковь в Нижнем Новгороде и раз в году под Пасху посещая старообрядческую моленную. Жена его и дети ездили в православный архиерейский собор. Домом управляла жена, прислушиваясь к воле и к традициям мужа. Она окончила некогда министерскую гимназию, полтора года училась на Лесгафтовских курсах. И дом она строила, как ей казалось, не в русско-квасных, но в англо-европейских традициях просвещенности, уважения к труду, демократизма, равенства, справедливости, борьбы с предрассудками. Отец хотел представить жизни своих детей сразу уже воспитанными не в русских, но в европейских масштабах, вооруженных европейским знанием, языками и готовых своими знаниями и своими руками пойти в жизнь. Отец был честен, прям, прямодушен. Он не был стяжателем. Он на самом деле очень много работал, этот человек, превыше всего ставивший дело и почитавший себя истинно-русским человеком.

Тринадцатый год был вершиной благополучия Владимира Ивановича Кондакова и всего его дома. Четырнадцатый год не пустил в Англию старшего его сына, и сын — доброволец, артиллерийский вольноопределяющийся — был убит в первые полгода мировой войны. Дочь не поехала тою зимою в Санкт-Петербург, и в день, когда пришло известие о смерти брата, в семейной истерике, дочь, на коленях перед отцом в безмолвном его кабинете, рыдая, рассказала, что она изнасилована раненым поручиком, который перед отъездом на фронт поил ее шампанским, и она больна венерической болезнью. Война закрыла Черное море и черноморские порты, нефть поползла сначала по Волге,

а затем захлебнулась в самой себе, стала агонизировать переработкой и недохваткой одновременно, отсутствием транспорта и транспортными пробками, отсутствием рабочих рук и ненадобностью рабочих рук. И через Моссул и Персию, через Анатолию к бакинской нефти потянулись пушки англичан и немцев. Громадное нефтяное хозяйство рушилось.

И пришел семнадцатый год. Октябрь. Нефть умерла в Баку, в Грозном и во всей стране. В доме вместо убитого старшего брата двое младших были офицерами, прапорщик и штабс-капитан. По хозяйству в доме матери помогала старшая дочь, за три года возрастом догнавшая мать. И была декабрьская ночь. Электричество не горело в городе. Дров в городе не было. Половина людей выбита была из дома войною, дворник и истопник покинули дом, став большевиками. Дом мерзнул, сдвигая жилье в тесноту. В городе шла новая волна арестов. В ночи слышны были пачки выстрелов. И под полночь, пробравшись в дом не с улицы, но с Волги, переодетые, пришли — два товарища сыновей, офицеры, с отцом, лесным инспектором, партнером Владимира Ивановича по большому шлему. Люди со свечками в руках, в шубах шли к кабинету Владимира Ивановича, в мороз и пустоту парадных комнат. На окнах тщательно были сдвинуты шторы. За шторою караульщиком стала младшая дочь. И первым заговорил штатский генерал, лесной инспектор и кирпичнозаводчик.

— Итак, нас никто не слышит, господа?.. — бежать надо, Владимир Иванович, — бежать! на юг! на Дон!.. В городе аресты!.. Знаете приказ Алексеева?.. И бежать надо сейчас же, не позже, чем через час. В городе аресты, каждую минуту могут прийти. Надо собрать драгоценности, золото, бриллианты, — деньги вы изъяли своевременно из банка?.. Зенетов достал вагон на юг, он предлагает места для вашей семьи, поезд уходит через два часа. Дом и вещи вы не увезете, их все равно разгромят, — надо спасать жизнь и силы, мои сыны и ваши сыновья вступят в добровольческую армию... Надо бежать, Владимир Иванович!

Заговорила старшая дочь:

— Совершенно естественно, папа, — надо бежать, надо спасаться. Ты знаешь, сколько людей уже погибло. Кроме насилия, от большевиков мы ничего не увидим. Надо спасать жизнь.

Заговорили офицеры:

— На Дону собирается добровольческая, мы получили приказ. Мы будем драться за родину.

— Бежать, бежать надо, — сказал заводчик и лесной инспектор, — мы переживем эти безобразия где-нибудь на Кавказском побережье. Весною все кончится. Деньги из банка вы взяли? — Зенетовы нас ждут, вагон готов, медлить нельзя!

Заговорил Кондаков:

— Денег из банка своевременно я не брал. Бежать я никуда не собираюсь. Да и бежать мне не от кого и не к кому. Я сам русский мужик и русского мужика я знаю. Стало быть, знаю русского большевика. А также знаю и русского барина. На Дону иль на Кавказе слаще не будет. Бежать нам от больной страны-матери некуда. А бежать от самого себя я не собираюсь, потому что ничего нечестного я не делал в моей жизни и делать — не буду. Против народа я не пойду. Буду хворать вместе с Россией.

— Вы — что же — с большевиками? — спросил штатский генерал, ставший вдруг генеральски желчным.

— Не шутите, Константин Андреевич, — сказал Кондаков. — Нет, не с большевиками, но — с Россией, а Россия — больна и с большевиками. Я политикой не занимался всю мою жизнь, — и политикой заниматься — не буду.

— Но вы же — нобелевский инженер, — все ваши сыновья — офицеры, один из них уже погиб за родину!

— Я служил — не Нобелю, но — делу, прошу не забывать! — крикнул, никогда не кричавший Владимир Иванович и сказал тихо, бессильно, ласково, как никогда: — Дети, жена, я никуда не пойду, бежать мне некуда и незачем. Против совести делать мне нечего. А вы... вы уже взрослые люди... решайте сами! Берите, что осталось, решайте, езжайте... с Константином Андреевичем...

Крикнула старшая дочь:

— Мама, ты должна уезжать, если ты не хочешь, чтобы твои дочери были изнасилованы большевиками и твои сыновья были бы расстреляны!..

Настала тишина раздумья. Вдалеке в городе рассыпалась пачка выстрелов. Из-за шторы наблюдала

за воротами и парадным младшая дочь. Небесные просторы и снега завалили город. В ледяном кабинете вздрагивали свечи. И младшая дочь крикнула:

— К воротам подъехал грузовик!.. солдаты с винтовками!..

Все бросились к окну. В лунной морозной ночи за каменными воротами со львиными мордами, за железной решеткой, с грузовика спрыгивали люди в шинелях и шли в калитку. И Владимир Иванович не попрощался со своими детьми. Свечи бросились вон из кабинета. Все это измерялось секундами. Дом замер такой тишиной, какой никогда не было в мире. Секунды выросли в вечность. Горохом шагов просыпалась лестница из мезонина, никогда раньше не слышанная. За окном были невероятные небесные просторы, тишина и лунный свет. На порог из спальни упала свеча и упал человек. Это была жена. Она шептала:

— Ушли, ушли, а я не могу, я всю жизнь прожила с тобой...

И тогда зазвонили в парадном. На пороге стоял бывший истопник.

— Вы, Владимир Иванович? — извините, исполком постановил разместить в вашем доме войсковую часть.

— Ты, Игнат Иваныч? — здравствуй, — размещайся, как удобнее. Дом пустой.

Нефть умерла для Кондакова на годы революционных метелей. Вместо нефти страна фонтанировала человеческой кровью, как фонтанируют иной раз нефтяные скважины. Бакинская нефть была отрезана от Волги, ее занимали немцы по воле Гинденбурга, ее занимали англичане по воле сэра Генри Деттердинга, который собирал в Англии, в своих сейфах, акции бакинских промыслов, дабы превратить впоследствии бакинскую нефть в акцию мировой политики. По стране шли войны, рушились железные дороги, фабрики, заводы, города, сельское хозяйство. Владимир Иванович Кондаков пребывал в нетях, вдвоем с женой и в страшном одиночестве, в мезонине своего собственного дома, в замороженной комнате, в шубе и в валенках на ночное белье, за кастрюлей пшенной каши и без света. Время принесло известие с юга, — оба сына-офицера были убиты, дочери многажды повыходили замуж,

одна из них умерла от тифа, две других, старшая и самая младшая, бежавшая подростком, уехали с мужьями во Францию, где Нобель, Манташев и Лианозов продавали бакинские акции «Стэндерт-Ойлю» — Рокфеллеру — Американским штатам, ища у штатов распродажей бывшей России защиты от большевиков. К двадцать первому году становилось ясным, что страна, дравшаяся со своими феодалами и капиталистами, и со всем миром, с немцами, с англичанами, с французами, итальянцами, греками, румынами, американцами, японцами, финнами, поляками, эстонцами, — дравшаяся, в частности, и за нефть, — победила волей пролетариата. Пролетарии складывали винтовки в цейхгаузы, чтобы на опустошенной земле, по разбитым дорогам, заводам и промыслам строить новую жизнь, новые дела и новые человеческие отношения, восстанавливая то разбитое, которое оказалось нужным, и перестраивая его так, как это казалось нужным. И в дом с мезонином над Волгой пришла телеграмма. Москва предлагала Владимиру Ивановичу Кондакову приехать для переговоров о работе в нефти. Природа дала Владимиру Ивановичу прекрасное здоровье. Ему шел пятьдесят пятый год. Ни морозы в мезонине, ни пшенная каша, ни потерянная семья не подорвали его и не сломали. И в Москве на вокзале автомобиль встретил сорокалетнего барина, едва седеющего, в толстоподошвенных башмаках, оставшихся от доистории, в английском пальто, тщательно бритого и пахнущего остатками английских духов. Автомобиль принял и провез Кондакова в высокопотолокий и широкооконный дом, где навстречу Кондакову вышел человек с громким революционным именем, одетый в военный френч, в пенсне на очень близоруких глазах, с растрепанными рыжими волосами и очень подобранный. Встретивший издалека протянул руку, чтобы поздороваться, весело улыбнулся, сказал:

— Идемте, Владимир Иванович, будем говорить по делу!

Они прошли в высокопотолокий кабинет. Стол хозяина был засыпан книгами о нефтяной промышленности. На стене висела нефтяная карта. Годам к пятидесяти, иной раз, у людей возникает некая ригористичность. В ответственные часы их жизни им кажется,

что они никогда в жизни не ошибались, всегда были правы и рассудительны.

— Итак, Владимир Иванович, надо делать нефть! — сказал хозяин. — Читаю эти книги, учусь. В книгах очень много написано о вас, да и вы писали немало, — ваши предложения, ваши нововведения, ваша экспертиза... Мы нашли вас, чтобы просить — пожалуйте, работайте, руководите!.. Вы на нас, на большевиков, очень сердиты? — чем вас обидели? — чем недовольны?.. Вы у Нобеля работали, Нобель сейчас в Париже, один из основных антисоветчиков, — вы конечно имели возможность оказаться в эмиграции, — почему не поехали?.. Давайте говорить и дружески, и по-деловому. Вы ведь из заволожских мужиков?

— Работал я действительно у Нобеля, но полагал и полагаю, что работал я не на него, а для дела и на Россию, на родину, — сказал Владимир Иванович. — То ли потому, что я из мужиков, и всю Россию видел от мужика до самой верхушки, то ли еще почему, — очень я над этим не раздумывал, — но Россию покидать и с народом драться я не считал нужным, остался в стороне, — и оказался правым. Нобель, как видите, в Париже, а мне там делать нечего. Бегать от моей страны я не хочу... Как вы меня обидели? — был у меня дом, была у меня семья, было у меня общественное положение... Дома у меня нет, семьи у меня нет, общественное положение... Но большевиков во всем этом виноватыми я не считаю. Так же они виноваты, как и тот же Нобель, зла от которого, впрочем, я никогда не видел. Виноватой считаю всю историю России. Тем не менее факт, — все у меня было, было шесть человек детей, были деньги, — и остался я вдвоем со старухой. Дело моей жизни — нефть. Ее я знаю. В поезде сюда, да и тогда, когда собирался к вам, я знал, зачем вы меня зовете. Видите — приехал. И буду с вами честен. Работать — хочу, и силы в себе чувствую. Но, как почитаю я, что работал я не на Нобеля, а для дела, — так и сейчас скажу, что на вас, на большевиков, работать я не собираюсь и не буду, а буду работать на Россию и для нефтяного дела. Спорить с вами сейчас мне необходимости нету. Политика — не мое дело. Нобель, говорите, продает сейчас Баку Деттердингу и Стандерту? — делает ошибку!.. Большевики сейчас с Россией, — и я с вами, давайте

делать общее дело. Обязуюсь — работать буду честно. Требую — доверия ко мне, во-первых, а во-вторых, свободы моих действий. А также прошу помнить, что я не политик и никак не большевик. В Бога, например, я верую и исповедую его по старой вере. Будучи сам мужиком, не согласен с вами, что каждый, если он пролетарий, — хорош, а каждый, если он буржуй, — плох. Если в чем-либо не буду согласен с вами, — приду и буду спорить. Если не сговоримся принципиально, — разрешите уйти. В чувства друг другу вмешиваться мы не будем.

— По рукам! — сказал хозяин.

— От политики вы меня устраните, — сказал Кондаков.

— По рукам! — повторил хозяин, этот рыжий, очень крепкий и очень подобранный человек.

Нефть! — все эти баррели нефти, мазута, керосина, бензина, лигроина, парафина, которые названы «жидким золотом»! Если девятнадцатый век командовался каменным углем, то на самом деле нефть наступила на каменный уголь мировым командиром, тем командиром, который дает движение, двигает подводные лодки, пароходы, паровозы, автомобили, аэропланы, который зажигает свет от электричества до парафиновых свечей, — это жидкое солнце, — и асфальтирует дороги, и строит города, и лечит больных, и подслащивает сахарином хлеб, и прочая, прочая, прочая. На самом деле нефть есть мировой экономический хозяин и мировой хлеб индустрии. На самом деле самые большие запасы нефти мира в Баку, в Грозном, в Майкопе, в Закаспии, на самом деле нефть есть мировая политическая акция. На самом деле в мировую войну докемалистские турки и немцы отдавали аравийские области для того, чтобы взять Баку и тем самым победить мир, а англичане шли знойными походами от Персидского залива до Каспия, таща за собою флот и человеческую смерть также для того, чтобы взять Баку. Владимир Иванович Кондаков вернулся к работе на нефти, когда в старинной итальянской гавани, в Генуе, собиралась первая международная конференция, на которую позваны были большевики, Чичерин, Литвинов, Красин и Раковский. На этой конференции ни словом никто не обмолвился о нефти, но на самом деле это была конференция нефти, где представлены были три мировых

нефтяных силы — формально, юридически не присутствовавшая американско-рокфеллеровская «Стэндерт-Ойль», вежливо скрывшаяся за Ллойд-Джорджа детгердинговская «Рояль-Детч-Шэлл», и — советская. И конференция провалилась потому, что Деттердинг не сговорился с Рокфеллером, этот джентльмен сэр Генри Деттердинг, который «не покупает краденого», но скупал довоенные нефтяные акции у бежавших от революции русских промышленников, чтобы стать собственником краденого, который «не имеет дела с бандитами», но писал Леониду Борисовичу Красину рукою чиновника английского министерства иностранных дел, а впоследствии посла Эсмонда Овея, за спиною английского премьера Керзона:

«Министерство Иностранных Дел

19 октября 1921-го года.

Господину Красину.

Сэр!

Маркиз Керзон оф Кедльстон получил сведения от полковника Дж. Бойля, что группа «Рояль-Детч-Шэлл» желает приобрести концессию от советского правительства... полковник Бойль обратился к вам по этому поводу с полного согласия и одобрения правительства его величества...»

Бойль, к слову сказать, был английским разведчиком, был в Баку и служил у Деттердинга. Американцев не было на Генуэзской конференции. Там были французы и бельгийцы. Во Франции жили Нобель, Лианозов, Манташев, прочие. Эти торговали не с Деттердингом, но со «Стэндерт-Ойль». И Викгем Стид, редактор лондонского «Таймса», был прав, когда он злобно телеграфировал своей газете из Генуи на третий день заседания конференции, о том, что:

«Генуя стала спектаклем для большевиков», — и когда через три дня он добавлял, что:

«они (большевики) стали арбитрами конференции».

Над конференцией висело понятие — нефть, то понятие, о котором ни слова не сказали дипломаты, но такое, которое разрушило конференцию, — но такое, где нефть и индустрия — братья, равно, как братья ж — нефть и война, ибо без нефти не пойдут дредноуты и подводные лодки, не поползут и танки, не полетят аэропланы. За нефтью оставалась мировая политика — со-

циалистов со стороны Советов, капиталистов со стороны всего остального мира. Рокфеллер и Деттердинг — не сговорились. Нобель ездил и к Деттердингу, и к Бедфорду, председателю совета директоров компании «Стэндерт-Ойль». Нобелевские инженеры и пайщики сидели по парижским кафе, не развязывая своих чемоданов, ожидая дня, когда Нобель вместе с французами, англичанами, бельгийцами и американцами прикажет им ехать в Баку, в Грозный, в Майкоп на крови большевистской смерти.

Владимиру Ивановичу Кондакову не вернули ни дома, ни шестидесяти тысяч золотых рублей, ни яхты, не говоря уже о семье и о годах. В Москве, в государственном доме, он получил трехкомнатную квартиру, по существу говоря, не очень отличную, хоть и такую, в каких живали наркомы. Он получил высокопотолокий государственный кабинет и штат людей, не меньший, чем до революции, и утром и вечером государственный автомобиль отвозил его из дома в кабинет и из кабинета в дом. Он получил правительственный паек. Он получал тысячу советских рублей в месяц, — больше, чем наркомы. Когда он уезжал в Баку или на Эмбу, он ехал в отдельном купе международного вагона. Дома, в квартире на шестом этаже, поселилась тишина двух одиноких стареющих людей.

Он работал от восьми до семи вечера. Ему предлагали поехать на Генуэзскую конференцию в качестве эксперта. Он уклонился от этой поездки, засвидетельствовав, что политикой он заниматься не будет. Но он ездил за границу: за закупками оборудования. Он не сразу собрался в эту поездку. Не одну и не две ночи проговорил он с женой о том, как ему быть при встрече с дочерьми. Он поехал вместе с тем бодрым и подобранным, близоруким и рыжим человеком, который впервые позвал его работать в советской нефти. Они были в Париже. Владимир Иванович написал своим дочерям, и в час, когда они должны были прийти к нему, он пригласил в свой номер рыжего своего спутника, большевика, который давно уже становился приятелем Владимира Ивановича. И разговор между отцом и дочерьми был недолог, безразличен, случаен и, конечно, очень труден. А через день позвонили в гостиницу, просили Кондакова, и в телефонную трубку заговорили по-русски:

— Владимир Иванович, сколько зим, сколько лет!.. живы!?. Мы узнали от вашей дочери, что вы в Париже. Нас никто не слышит?!. — говорил стариннейший знакомый нобелевский сослуживец, эмигрант.

Кондаков повесил трубку. Через минуту портье его вызвал вторично. Кондаков распорядился сказать, что его нет дома. Кондаков жил неподалеку от рю де-Греннель, и по утрам он ходил пить кофе на бульвар Сен-Жермен, в кафе «Де Мого» — «Двух Монголов», как раз против Сен-Жерменского аббатства, того самого, колоколами которого в ночь святого Варфоломея был дан сигнал к избиению гугенотов. Наутро у порога гостиницы, в уличной толпе, Кондаков увидел глаза, устремленные на него, которые показались ему знакомыми. Глаза исчезли. Кондаков знал, что это знакомые глаза, и не мог их вспомнить. Он пошел к «Двум Монголам», сел на улице около жаровни, заказал кофе и бриоши. И, когда кофе было подано, сзади к нему подошел, сел за спиной, за соседний столик, заговорил заговорщиком второй стариннейший знакомый, нобелевский сослуживец, также эмигрант.

— Владимир Иванович, нас никто не слышит. Вы никого не ждете? — кажется, здесь нет никого, кто следил бы за вами...

Владимир Иванович повернулся на стуле, сказал сурово и так, точно он продолжал разговор, прерванный вчера:

— Что вы от меня хотите? — если бы я искал встречи с вами, я нашел бы ее!..

И в тот же тон, точно продолжался вчерашний разговор, и по-прежнему заговорщиком сказал старый знакомый:

— Нобель сейчас находится в Париже, и он хотел бы встретиться с вами, не говоря уже о нас, о ваших старых друзьях и сослуживцах. Мы знаем, вы служите у большевиков, вы приехали принимать заказы, но мы же знаем, что вы не большевик... Нобель хотел бы встретиться с вами по делу...

Владимир Иванович ответил своими истинами и рассудительностью своих лет:

— Я служу не у большевиков, а у России, не большевикам, но нефтяному делу. Передайте это Нобелю. Я приехал сюда на прием и на выдачу новых заказов.

Большевиком я не считаю себя, но и бесчестным человеком — также. Я связан в моей работе с советским нефтяным синдикатом, а поэтому встречу с Нобелем я считаю неудобной. Как бы я выглядел, если бы, служа у Нобеля, я пошел бы по делу к Манташеву? — Передайте это Нобелю!.. Позвольте пожелать всего наилучшего!

Владимир Иванович отвернулся от собеседника, допил кофе, кликнул гарсона. Собеседник исчез. Еще дважды вызывали за этот день Владимира Ивановича по телефону. И вечером Владимир Иванович, злой и обеспокоенный, пришел в номер к рыжему своему спутнику, сказал:

— Со вчерашнего дня меня преследуют нобелевские агенты, звонили сюда, подкараулили в кафе. Нобель ищет встречи со мной. Сначала я просто повесил трубку. Затем я объяснил, что встречу с Нобелем я считаю неудобной. Как вы думаете, что мне делать в дальнейшем?

Рыжий, подобраннейший и сосредоточенный, сидел за столом, в бумагах, в толстейших стеклах очков, взлохмаченный. Он юношей выскочил из-за стола и весело крикнул:

— Молодец, Владимир Иванович!.. Что делать?! — пошлите их в следующий раз в телефонную трубку к раз...... матери, они эту старую русскую систему путешествий поймут лучше логики!..

Поездка за границу была зимой. В Париже лили декабрьские дожди. И настоящая зима великих снежных просторов и великих покоев легла лишь за Варшавой. В зиме лежала Москва. Вечером, дома, на шестом этаже, когда Владимир Иванович остался вдвоем с женою, чтобы рассказать ей о поездке, жена спросила о самом главном, о детях, и о самом главном заговорил Владимир Иванович, — рассудительно, тихо, ригористически:

— Дочери?.. видел их два раза, они приходили ко мне. Странная и страшная вещь!.. Каждый раз я не спал по две ночи, ночь до встречи и ночь после встречи. Вспоминал всю жизнь, громадное поле пройдено, вспоминал, как они родились, как я их лялькал на руках, воспоминал все горести и радости, радостей больше, чем горестей. А приходили чужие люди, спрашивали о нас, о тебе, и я понимал, что им мы безразличны. Ведь ни та, ни другая ни разу не обмолвились о том, как бы

конкретно организовать твою с ними встречу!.. Старшая — помесь русской полковницы с русской кухаркой, и выглядит пожилой, а ей всего двадцать пять лет. Младшая — не то французская кокотка, не то просто француженка из Парижа, к слову, она и не замужем уже, и нигде не служит. Старшая все время стремилась заговорить о политике, я запретил. Обе монархистки, а что такое русская монархия, и не нюхали. Обе недоучки. Уходили они, а я не спал, вспоминал дом на Волге, вертелся с боку на бок, и радости воспоминания не было. И оба раза мысли уходили — смешно сказать — в работу, в заказы, в приемку... Что делать! Время идет!.. я всегда любил работу, никогда не умел работать без любви к делу, — но работал для дома, все тащил в дом и отдыхал только в доме. А там, в Париже, тоже кусочек дома, — а мысли отдыхали на компрессорах и на американской стали. К дочерям я не пошел, потому что их среду мне стыдно было видеть. Они собирались приехать на вокзал, проводить, и не приехали... Новая эпоха, новые понятия семьи!.. чудеса в решете, — работа становится домом, дом становится...

Из-за фонтанирующих человеческою кровью скважин гражданской войны, из-за морозно-метельных и среднеазиатско-знойных геологий дней возникала новая страна, новые человеческие дела и человеческие отношения. По социальным лестницам и переулкам, по историческим большакам и проселкам пошли новые люди. Падали феодальные российские вертикали. Исчезли галуны, знаки отличия и формы. На Тверском бульваре в Москве, где гуливал Онегин, в Сокольниках, где каталась в лакированном ландо Анна Каренина, где дирижировал Скрябин, где только что гуляли офицеры мировой войны, — красноармейцы, фабричные парни, девушки с заводов и домработницы шлялись табунами, пели частушки, заливались гармошкой. Перестроилась человеческая одежда не только тем, что исчезли галуны, золото и знаки отличия, — но тем, что незаметно, небогато, бедно одетым быть было приличнее, во всесоюзном масштабе потекли красная косынка и бурая толстовка, сапоги, кепка, — картуз исчез вместе со шляпой. Возник новый русский язык, короткий, однофразный, короткосложный, — исчезли округлые русские периоды и слова. Возникло новое понятие вежли-

вости. Вежливой стала дружеская грубоватость, грубоватая прямота. Исчез прежний домашний быт и быт труда. Исчезла тишина послеобеденного часа, когда в старину рабочий день заканчивался в два или четыре и за этими часами человек принадлежал только себе, своей семье и дому, своим частным делам. Рабочий день упирался в вечер и возобновлялся вечером, обед сдвинулся на час театра. Общественные и частные дела перепутали свои понятия. Телефон, который раньше был точно дифференцирован, — до четырех по делу и деловые знакомства, от четырех до десяти друзья, после десяти никто, разве лишь катастрофа, — теперь телефон звонил до часу ночи и по делам, и дружбой. В директорские кабинеты пришли новые люди, необыкновенных биографий. Раньше было известно — директор, стало быть, — или коммерсант, или инженер, стало быть, — хорошая семья, воспитание, умение поцеловать ручку дамам, гимназия или реальное училище, высшее учебное заведение, серый костюм днем, черный костюм вечером, — и дальше лишь индивидуальные особенности, кто любит балет, кто большой шлем, кто ездит к Яру, в Ялту или в Ниццу. Биографии теперешних людей — если и были стандартны, то только своей нестандартностью, — токари по металлу, пастухи, ломовые извозчики, ткачи, дети токарей по металлу и ткачей, лишь изредка недоучившиеся студенты. Эти никак не учились в реальных училищах. Этим легче было говорить на «ты», чем на «вы». Они учились у жизни, на политграмоте. Нефтяное дело они грызли, работая на нем, не как самоцель, но как прикладное дело — к политике в первую очередь. Жены прежних обязательно читали романы, умели приготовить чай и домашний уют, ходили в шляпках и в тонком белье. Жены теперешних говорили, жили и поступали как мужья, обувались иной раз в сапоги, заявлялись иной раз в учреждение и заявляли, что они сами — инженеры и специализируются на нефти, комсомолки иль коммунистки, и сбивались с «вы» на «ты». С этими нельзя было поговорить о балете, о Сен-Жерменском бульваре, они не знали отдыха вечеров, они не имели представления о большом шлеме. В своих домах они жили, как на станциях, не понимали, что такое домашний быт, не научившись еще его понимать и не имея в нем нужды.

Владимир Иванович был облечен громадною нефтяною властью, доверием, режимом. Вокруг него ходили сотни людей. Инерция понятий всегда незаметна человеку и всегда тяготеет над человеком, чем больший возраст человека — тем больше. Владимир Иванович руководил технологией нефти, оборудованием промыслов, поисковыми работами. Около него ходили сотни людей. Большинство были эти, с расстегнутыми воротами, в смазных сапогах, молодежь, говорившая на «ты». Как щепки от разбитого корабля, уцелели нефтяные интеллигенты. Эти, с расстегнутыми воротами, говорили по делу принципами грубоватой вежливости, соглашались или не соглашались, свидетельствовали — «пока!» — и уходили в непонятную жизнь, в непонятную перегруженность делами, в непонятные жизненные стимулы и интересы. Об этих ничто не зналось: ни как они живут, ни как они отдыхают, ни кто у них жены и дети. Нефтяные интеллигенты начинали речи с вопросов о здоровьи, они могли вспомнить старину, пошутить, полиричествовать, посожалеть, посудить, — они соблюдали субординации. Прощаясь, они передавали приветы жене, говорили, что не всю же жизнь работать, надо и отдохнуть от дел, от современности и от политики, — они приглашали к себе в гости, очень просили, их можно было пригласить на винт. Винт у Кондакова возродился, по-прежнему, по субботам. На шестой этаж к нему собирались люди прошлого века, нефтяной инженер Ипполит Алексеевич Трэнер, экономист из Госплана Федор Александрович Осадков, другие знакомые, с женами. Мужчины садились за большой шлем, дамы до ужина рассуждали о театре, порицая Мейерхольда, о литературе, восхищаясь Пантелеймоном Романовым и Зощенкой. Играли до полночи, ужинали, выпивали водки и абрау-дюрсо. В свободные вечера и Владимир Иванович ездил в гости — и к Ипполиту Алексеевичу, и к Осадкову, и к другим, его угощали, он целовал ручки дамам, шутил. Владимир Иванович знал и испытывал удовлетворение: советская нефть росла, добычи удваивались, промысла переоборудовались. Если нобелевские промысла до войны выглядели европейскими по сравнению со всеми остальными,

то по сравнению с советским оборудованием нобелевские промысла оказывались древнейшей азиатчиной. Машина сменила человеческие руки. Машина на месте перерабатывала нефть, но не посылала ее на Запад полуфабрикатом, как было раньше, когда высокие нефтяные фабрикаты, сделанные из русской нефти, ввозились в Россию под германскими марками. Но работать было трудно. То, что было ясным, как день, Владимиру Ивановичу, не всегда было ясно его соработникам, и он не находил умения доказать свою истинность, ибо нет более трудного, как доказать аксиому. То, что было, по-видимому, ясным, как день, его соработникам, не всегда понимал иль понимал как глупость Владимир Иванович. Владимир Иванович знал — нефть! — организация добычи, оборудование промыслов, — бо́льшая добыча нефти — бо́льший экспорт — бо́льшая прибыль. Иногда возникали споры: правительством отпускалась сумма на промысел такой-то; Владимир Иванович понимал как аксиому, что деньги надо потратить на лучшее оборудование промысла, на бурение новых скважин, быть может, на нефтеперегонный завод, — бо́льшее количество нефти — бо́льший экспорт — большая прибыль; часть денег, конечно, следовало тратить на жалованье рабочим и инженерам, до той нормы, когда рабочий сыт, обут и трудоспособен; но соработники Владимира Ивановича говорили, что без малого добрую половину ассигновки надо потратить — на клуб, на красные уголки, на спортплощадки, на политучебу рабочих, на ликвидацию безграмотности среди рабочих и на политграмоту, на политпропаганду, — этого Владимир Иванович чистосердечно не понимал; он чистосердечно считал всякую политучебу и политпропаганду бездельем и моральным размагничиванием рабочих; красные уголки он считал полуприличными местами, где щупаются комсомолки с комсомольцами, чтобы не заниматься этим делом на морозе; все эти мероприятия ему казались глупостью, как спортплощадки, — ибо — какой еще спорт нужен рабочему после того, как он наломал спину около вышки!? — В дни таких споров Владимир Иванович приезжал домой злым, обедал, не замечая, Что он ест, и сокрушенно говаривал:

— Они, большевики. Боже мой, как они путают и осложняют — и жизнь, и работу. Ясно же!..

Но жизнь, вся жизнь Владимира Ивановича, была построена на труде, а труд всегда есть борьба. Владимир Иванович знал, что он всегда был честен. Он знал, что за ним идет репутация человека с негнущейся совестью. И он оберегал свое имя. Он работал и он боролся. Он был приветлив, он был приятен, даже ворчливость его не коробила. О нем знали, — человек, отказавшийся уйти к белым, потерявший у белых своих сыновей, один из первых пришедший работать в советскую нефть, никогда не жаловавшийся, неподкупный, прямолинейнейший работник, чуть-чуть от времени ворчун и моралист. Историю его поездки за границу и то, как он посылал к раз...... матери нобелевских сотрудников, знали. Кондаков умел управлять не приказывая. Умел подчинять людей. Умел проводить свою волю. Не считался по мелочам. Никогда не склочничал. Он был очень скромен, скромно носил английские свои костюмы, и запах его духов не был неуместным, хоть и никто, кроме него, не душился в высокопотолоких нефтяных покоях.

Пошли годы. И был новый декабрь. Был вечер. В неурочный час позвонил телефон. Говорил тот рыжий, близорукий и подобранный, который впервые приглашал Кондакова работать в советской нефти, который вместе с Кондаковым ездил за границу. Он просил сейчас же приехать, он посылал машину за Кондаковым. Наступал уже поздний час. Высокопотолокие нефтяные покои безлюдствовали. В высокопотолоком кабинете встретились двое. Дом пребывал в тишине. Рыжий пошел навстречу. Поздоровались, сели.

Заговорил близорукий и рыжий:

— Прежде всего скажу вам, Владимир Иванович, что, когда мы встретились впервые, вы сказали, что в чувства друг друга вмешиваться мы не будем. Я вмешиваюсь. Мы знаем друг друга уже не первый год, и тогда, в Париже, помните, когда вы познакомили меня с вашими дочерьми, когда вы рассказали мне о том, как бегали за вами нобелевские агенты — я полюбил вас, талантливого, доброго и хорошего человека. Вы из Заволожья, из дугогнувов. Вы лучше меня знаете, — взять хорошую березу, согнуть ее сразу в дугу, — сломается, не согнется, не сгодится. Гнут дуги медленно, каждый

день понемножку, размачивают, подсушивают, подтягивают. И позвольте еще раз вернуться к нашему первому разговору. Я тогда смотрел на вас и думал — дугогнув!.. — помните, вы сказали, — если не сговоримся принципиально, разрешите уйти. Мы уговорились быть честными друг с другом. И я поступаю по уговору. Все, что я сказал, — это предпосылки. Я думал — наше время перегнет ваши дуги. Теперь будем говорить по делу. Вы знаете, у нас есть учреждение, которое наблюдает за поведением и советских, и несоветских граждан. Это учреждение от времени до времени арестовывает тех, кого следует арестовать. И сейчас, когда мы с вами разговариваем здесь, арестовывается наш сослуживец, ваш приятель по большому шлему Ипполит Алексеевич Трэнер. Вы уклонялись от вопросов международной политики, но нефтяные политики не забыли о вас. Нам сейчас придется вновь говорить о Нобеле. К нам в руки попались два нобелевских документа. Первый — это список людей, инженеров в первую очередь, на которых Нобель рассчитывает опереться, буде он вновь захватит в свои руки прежние свои владения, на нашей крови конечно, сквозь строй виселиц, на которых мы, и я в том числе, будем висеть к удовольствию Нобеля. Второй документ — это график тех мероприятий, которые Нобель стремился руками своих агентов проводить на советской нефти. Ипполит Александрович Трэнер арестован потому, что он был штатным нобелевским агентом, на месячном жаловании. О Трэнере нечего говорить, с ним все ясно и все кончено. Но в списке инженеров, на которых Нобель рассчитывает опереться, одним из первых, гораздо раньше Трэнера, стоит — ваше имя, Владимир Иванович!..

Кондаков вскочил со стула, ударил кулаком по столу так, что повалилась чернильница, закричал:

— Как!? Что?! — ложь! не позволю!..

Близорукий и рыжий схватил руки Кондакова, очень приятельски, сказал спокойно, подобранно и дружески:

— Владимир Иванович, как не стыдно! — не волнуйтесь!.. Владимир Иванович, дугогнув!.. не предлагать же мне вам воды! — или предложить!?

Кондаков замолчал. Кондаков засопел. Кондаков твердо уселся в кресло, опустил голову. Тишина в кабинете удвоилась.

— Вот этот список, просмотрите, — сказал близорукий и рыжий.

Кондаков брезгливо взял, покойно прочитал.

— Владимир Иванович, — заговорил близорукий и рыжий, — это не главное и не важнейшее, что вы оказались в нобелевском списке. Нобель знает, равно как и я знаю, что вас нельзя купить, как куплена всякая мелкая сошка, тот же Трэнер, в частности. Но Нобель знал, как и я знаю, вашу позицию, когда вы утверждаете, что вы, служа раньше у Нобеля и теперь у нас, считаете, что вы служили и служите ни Нобелю, ни большевикам, но — делу и России. Если вы честно служили у Нобеля, а потом стали честно служить у большевиков, то Нобель вправе предполагать, что вы опять будете честно служить у него, если он вернется в Россию, в ту Россию, которой служите вы и которой на самом деле нет, как нет и никакого «нефтяного дела», оторванного от нас и от Нобеля, ради которого вы работаете, — как нет и такой чести, которая была бы одинаково приемлема нам и Нобелю, — и Нобель был вправе вписать вас в список людей, на которых он рассчитывал опереться в первую очередь. Вы сами подсказали ему эту мысль, передав ее Нобелю через того мелкого мерзавца, который подсаживался к вам в кафе «Двух Монголов». Должен признаться перед вами, Владимир Иванович, — в первую нашу встречу, когда вы говорили мне о вашей России и вашем «деле», я промолчал тогда потому, что вы — дугогнув. Я надеялся, что наши годы общего труда укажут вам на это. И гораздо более страшное должен я сказать вам, чем то, что вы находитесь в нобелевских списках, — эти списки вещь второстепенная. Вот, просмотрите эти три графика, первый, второй и третий. Первый — это график мероприятий, которые предлагали провести на нефти инженеры-коммунисты. Второй — это график мероприятий, которые через своих агентов стремился провести на советской нефти Нобель и его присные, вплоть до... А третий график — это то, что вы вашими знаниями, авторитетом и волей провели на советской нефти в жизнь, что сделано и построено вашими приказами и вашими руками.

На целый час в высокопотолоком кабинете замерла тишина. Проходила полночь. За окнами лежали просторы неба и снега, зима, мороз, ночь. Кондаков сверял график. Близорукий, подобранный и рыжий сидел неподвижно. Кондаков сложил график. Заговорил рыжий:

— Видите, Владимир Иванович, ваши мероприятия совпадают с графиками, почти совпадают с графиками Нобеля. Вам непонятно, как это получилось. Я тоже не сразу это понял, я ведь около вас учился. Но теперь я объясню вам, в чем дело. Оказывается, принципы капиталистического построения промышленности и социалистического промышленного строительства, — не одно и то же. Вы — инженер, сложившийся в капиталистическую эпоху, вы — капиталистический инженер. Принципы вашего строительства — принципы капиталистического промышленника. Когда вы уклонялись от политики, вы занимались именно политикой, хоть и бессознательно, и политикой капиталистической. — Близорукий развернул графики, положил их перед Кондаковым, стал около него. — Возьмите, ну, предположим, этот пункт. Коммунисты-инженеры предлагали широкую сеть клубов и красных уголков, настаивали на всеобщем охвате фабзавучами всей молодежи. Нобель предлагал — пять лишних скважин. Вы отстояли позицию Нобеля. Ясно — почему, — лишние скважины, лишняя нефть, — прибыли. Вы не подумали, почему Нобель был категорически против фабзавучей. Вам они казались излишней роскошью, в лучшем случае, иль просто глупостью. Нобель понимал, что если рабочие с детства будут учиться в промысловых фабзавучах, если они с детства будут политически грамотны, то есть будут не только считать, но и ощущать, но и обосновывать знанием, что промысел — их собственность, их дело, их общественное достояние, их право на жизнь, — что при таком пролетариате Нобелю не удастся получить обратно свои промысла, ибо такие рабочие будут драться за свой промысел, как за свою собственность, за свое право, за жизнь, — до последней капли крови, — не образно, но на самом деле. Нобелю такого рабочего не нужно. Но Нобель ничего не имеет против, чтобы нефтяная про-

мышленность пока что развивалась, как промышленность наиприбыльнейшая... Хотите еще примеров или достаточно?

— Достаточно, — сказал Кондаков.

— Теперь я объясню вам, как это получилось практически. Вы — нефтяной гигант. — Вы почти легенда. Вы — окружены доверием. Ваше слово — стопудово. К вам приходили коммунисты, они говорили на чужом для вас языке, они оперировали чуждыми для вас понятиями. К вам приходили — Трэнер и Осадков, Осадков тоже арестован, — они были ясны вам, они мыслили вашими образами, круг их понятий был вашим кругом понятий, они звали вас к себе в гости, вы приглашали их на большой шлем. Вы и они имели одни и те же взгляды на промышленность. Ваши жены связаны были бытом, покупками, воспитанием. Нобель не осмеливался купить вас, он знал, что вы непокупаемы. Но Нобель мог, и он это делал, — он приказывал Тренеру и Осадкову, и прочим, за винтом, через жен, за рюмкой водки, вообще за дружбой лирически заговорить о промышленности, восхвалить ваши дела, завести разговор о делах на нефти в тон ваших принципов, высказать свои высокие принципы во имя нефтяного дела. Понятно, можно дальше не разъяснять!..

Подобранный и рыжий замолчал. Молчал и Кондаков. Молчали кабинет, коридоры за кабинетом, ночь, великие декабрьские снега. Опять заговорил близорукий и подобранный.

— Но и это не все, Владимир Иванович. Ночь уже поздняя, да и разговор не частый, ночи этой спать мы с вами, как видно, не будем. Разрешите еще сказать — по тем же принципам, которые были нами условлены, — по принципам прямоты и доброкачественности. Я не солгал вам, что я вас люблю. Но я не солгу вам, сейчас подсчитано, что вы, ваша работа, ваши распоряжения — повредили советской нефти на несколько миллионов рублей и на год, на полтора работы заново на промыслах, попорченных нобелевским вредительством. На самом деле, — вы оказались растратчиком, — куда там разные бухгалтера и кассиры, которые все вместе наворовали тысячу пятьсот семьдесят пять рублей пятьдесят семь копеек!.. — все эти цифры я могу вам пока-

зать. Но я хочу сейчас говорить не об этом. Некогда вы сказали мне, что в чувства и в душу друг другу вмешиваться мы не будем. Я уже вмешался сегодня в чувства. Позвольте вмешаться в душу. Вы сказали мне однажды, что вы веруете в Бога по старой вере, что вы не верите в классовую сущность человеческих отношений, — быть может, слово «класс» и сейчас вас шокирует!? — А я думаю, что в Бога вы не веруете, потому что вы никогда серьезно об этом не задумывались и никогда не изучали вопросов религии, — равно как, говоря о классах, вы судите о вещах, которых вы не знаете. Ведь вы ж не прочитали по этим вопросам ни единой тощей книжки, заранее решая, — «а, ерунда, слыхали!» — когда на самом деле вы только слыхали, но не знаете, о чем идет этот слух. Вы отдали вашу жизнь нефти, и Бог остался у вас таким, каким приобрели вы его в детстве у вашей бабушки. Тогда же вы слышали о феодальном понятии «Россия», и оставили его себе за аксиому. Это самое главное, Владимир Иванович. Это именно то, что мы предлагаем знать фабзайцам. Именно это привело нас к сегодняшнему разговору. Вы сказали мне однажды — если не сговоримся принципиально, разрешите уйти. Теперь я должен сказать вам это. Знаете ли вы, почему вы не ушли к белым, потеряв вашу семью, и почему вы сейчас здесь, а не в Париже? — потому что вы из-за Волги, из семьи дугогнувов. Попомните это.

Рыжий и близорукий замолчал. Лохматые его волосы переутомленно упали на лоб. Подобранный, он сидел, чуть-чуть сгорбившись. В кабинете горел ярчайший свет. И кабинет наполнился такой тишиной, которая была до сих пор только однажды, в доме на Волге, в декабрьскую ночь, когда у парадного звонили красногвардейцы, а из кухни под откос к Волге убегали дети, — такой тишиной, которой никогда не бывает в мире. Молчали кабинет, коридоры за кабинетом, Москва за коридорами, лунная ночь, снега.

Кондаков оперся руками о ручки кресла, поднялся на руках, и Кондаков спросил:

— Почему меня не арестовали?

— Не надо. Мы уговорились с вами говорить прямо.

— Прикажете мне удалиться? — спросил Кондаков.

— Да, поздно. Поедемте, я подвезу вас, — сказал подобранный и добавил тихо: — Владимир Иванович!.. вы говорили о России, о деле. Нету никакой мистической России! — есть вот те миллионы людей, которые живут на землях прежней России, — подумайте о них!

— Вы меня не поняли, — сказал Кондаков, — я спрашиваю — вы приказываете мне оставить мою работу?

— Мы условились с вами разойтись, если не сговоримся принципиально, — ответил подобранный. — Приходите завтра или послезавтра, или через неделю. Будем говорить снова. Вы ж — дугогнув!..

Великие снега лежали на декабрьской земле. Великое небо покрыло Москву в морозе луны. Двое вышли на улицу в зеленую лунную ясность. Заиндевевший автомобиль подъехал к этим двоим. Автомобиль ушел в пустоту снежных улиц. У громады государственного дома эти двое прощались. И старший вдруг, по-отцовски и старчески одновременно, обнял молодого, бессильно опустил голову к нему на плечо, на сукно солдатской шинели.

Улица Правды.
14 октября 1934 г.

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Из Москвы позвонили: приедет и пробудет в доме дней десять, недели две прокурор Антонова. Она приехала вечером. Автомобиль свернул с гудрона на гравий, ехал лесом, в совершенном мраке. Огни дома показались возникшими в пустыне и в лесных дебрях одиночества. Дом был стар, оставшийся от помещиков и прибранный, по-помещичьи. Ее провели наверх, в угловую комнату, сказали, что ужин будет через двадцать минут, затем можно пойти погулять. Ванна будет в десять, в одиннадцать погаснет электричество. Ей улыбнулись и оставили ее одну. Она разложила вещи. В недрах дома прозвучал гонг. Внизу, в пустых комнатах, за стеной от гостиной щелкали бильярдные шары. Встретила хозяйка и провела гостиной и библиотекой в полутемную сводчатую комнату.

— В этой комнате у помещиков собирались масоны, эта комната была масонской ложей.

Людей в доме было очень мало, они уже сдружились. После ужина к ней подошли сожители, перезнакомились, пережали руку, сказали:

— У нас традиция, каждый приехавший вновь делает доклад. Вы должны рассказать о советской прокуратуре.

Она ответила, — хорошо.

Опять защелкали бильярдные шары. Она пошла гулять.

Ночь была очень темна, все кругом казалось пустыней и дебрями. В парке кричали совята. За парком из пустого мрака подул ветер и заморосил мелким дождем, в доме не слышны были даже бильярдные шары. Рядом с гостиной в пустой библиотеке у столиков горели

ненужные лампы. Она стала рассматривать книги и выбрала себе несколько книг. Два наугольных старинных окна наверху в ее комнате упирались во мрак. Она разложила бумагу, конверты, тетрадь, придвинула к печке кресло. По стеклам окон из пустоты мрака ветер ударил дождевыми каплями. Книги были стары, как дом, от них пахло тлением. Постучали, сообщили, что ванна готова, положили простыни. Зеркало отразило очень сосредоточенное лицо, а внизу, в ванной, женщина очень внимательно, сосредоточенно, почти печально и все же счастливо рассматривала в зеркале свое тело, свой новый живот. На момент зрачки провалились, женщина улыбнулась и, как живое и ласковое, погладила свой живот. И она неловко и осторожно стала опускаться в воду. Она не управилась к одиннадцати, на ночном столике долго горела свеча. И долго ветер бил по стеклам дождевыми каплями под шелест страниц. В восемь утра по недрам дома прозвучал гонг. За окном сияло солнце, синее небо, просторный пейзаж. Дом стоял на горе, в лесу, в соснах. Под горою протекала синяя река. Опустошенные осенью, за рекой лежали поля, деревня, лиловый лес, синее небо, просторно, совсем обыденно. Эта золотая осенняя обыденность и этот обыденный русский пейзаж оказались прекрасными. В старину помещики, отрываясь от масонских дел, гоняли борзыми по чернотропу в такие дни лисиц и волков. Ветер исчез. Заморозок подсушил землю. Под ногами шуршали опавшие листья. Лиственный лес поредел. Клены догорали запекшейся кровью. Воздух в легком морозце был просторнее леса. Надо было думать о журавлях, и на самом деле на юг пролетели журавли, треугольником, печальные, курлыкающие. А к вечеру опять заморосил дождь. Опять долго ночью горела свеча, шелестели страницы книг, и книга замирала в руках, когда там внутри, совсем под сердцем, начинал двигаться ребенок.

В мертвый час уже к закату, в парке она встретила сожителя. Он шел, опустив голову, старательно выбирая места, где больше лежало опавших листьев, и он смутился, увидав ее.

— Странное дело, — сказал он, оправдываясь, — с детства люблю этот шорох. Он успокаивает или ободряет, — не знаю уж, как сказать, — лучше, чем Большой театр или какая-нибудь лирическая поэма Пастернака. Могу часами ходить по листьям.

Они помолчали. Он отрекомендовался — Иван Федорович Суровцев, станкостроитель. Пошли рядом по листьям. Он сказал и опять смутился.

— Простите, надо полагать, что вы скоро будете родить.

Она ответила без смущения, даже с гордостью:

— Да, через двенадцать дней. Я приехала сюда отдохнуть перед родами. Здесь есть телефон с городом, все организовано, — и я прямо отсюда поеду по кремлевской путевке в родильный дом имени Клары Цеткин.

Станкостроитель заговорил о станкостроении, — все время в делах, на природу вырываешься даже не каждый год, даже забываешь ее вместе с детством. И станкостроитель усердно подгребал под ноги опавшие листья.

Вечером лил дождик. Она писала письма и в ту пустую тетрадь в тисненом венецианском кожаном переплете, которую она несколько лет тому назад привезла из Турции, из Константинополя, где она работала однажды на ревизии.

Она написала двоюродной сестре в Саратов:

«...Дела тетки Клавдии обстоят следующим образом. Я встретила ее на вокзале и отвезла в институт. У нее — рак, запущенный и неизлечимый. Встретилась она со мною, заплакала и стала целоваться, и тут же рассказала о кровотечении, о болях, о запахе. И заговорила, — «ты прокурор, ты все можешь, устрой меня обязательно стационарно». Тетка и врачам сказала, что я — прокурор. После осмотра я осталась наедине с врачами. Лечение лучами радия дает лишь уменьшение боли и, может быть, отодвинет смерть на два-три месяца, но смерть неминуема. Тетка настаивала на стационарном лечении, — врач мне сказал: «если мы дадим койку, тем самым отнимем возможность лечить человека, который может выздороветь». Я сказала тетке Клавдии, что хлопотать о стационарном лечении я не буду, потому что считаю неприемлемым для себя отнимать койку у человека, который может на ней вылечиться. Тетка заявила, что она позовет главного врача к себе на дом, хорошо ему заплатит, и он ее поместит в институт. Меня она сочла за выродка из рода. Я понимаю ее, она живет моралью, когда род был на самом деле основой, защитой, помощью. С ее точки зрения, я конечно, не права, человек из средневековья конечно б добивался для нее самых лучших, даже бессмысленных

условий, потому что она и он — одной крови, и, не заботясь о ней, он обескровливал бы себя. Я не живу этой моралью. Помочь тетке Клавдии я ничем не могу. Ты возразишь, — смерть, мучения, родная тетка, — понимаю, страдания видеть мучительно, — принимаю, как оно есть. Так же поступила бы я и с родною своей матерью. На ближайший месяц я выпадаю из жизни. Я не писала тебе: через десять дней я рожу ребенка, сейчас перед родами я в доме отдыха. И, стало быть, на этот месяц даже бытовых забот я не могу выполнить для тетки. Спишись с другими родичами...»

Она написала в Москву, в прокуратуру, товарищу по работе:

«Товарищ Томский!

Я уехала, не переговорив с тобою. Дела, не законченные мною, будешь вести ты. Меня беспокоит дело об убийстве одесского врача Френкеля. Кацапову грозит высшая мера. Посмотри внимательно».

За домом капал дождик. Ветер шелестел по стеклам дождевыми каплями. За окнами шелестел лес. В черных стеклах отражались — стол, книги и бумаги на столе, женщина за столом, лампа. Автомобиль потащил письма во мрак ночи. И она записывала в пустую тетрадь:

«Вчера мне показали в этом доме комнату, где собирались масоны, а в библиотеке я нашла масонские книги, оставшиеся от помещиков, как и весь этот дом. Я читала книгу, посвященную «гроссмейстеру, мастерам, надзирателям и братьям древнейшего и почтеннейшего братства франк-масонов Великобритании и Ирландии», стран, в которых, как оказывается, вообще родилось масонство, книгу о «соли земли, свете мира, огне вселенной», как некий Филалет называет масонов, мастеров «великих тайн», новых розенкрейцеровских братий. В этой книге очень много таинственных слов и намеков, половина слов пишется с больших букв: Братья, Он, Совесть, Свет, Ночь, Небо. Должно быть, все это было очень страшно и казалось премудрым. А мне все это кажется просто глупостью и набором неумных слов... Все это пусто, мертво, шлак. Но все это — жило. Сто лет тому назад в этот дом, может быть, приезжала какая-нибудь женщина для уединения перед родами. Ее на пороге встретили хлебом-солью, — или как там еще... С нею приехал законный муж. Какие-нибудь драные рабыни

бегали по всей усадьбе, разгоняли черных котов и петухов, чтобы они не перешли дороги. Местный поп, надо полагать, целый день сидел дома, чтобы невзначай не встретиться барыне, причем барыня была не просто барыня, а княгиня, графиня или баронесса. Зеркала в доме наверное переукреплялись наново, чтобы не упали и не разбились. Те же драные рабыни наверное по всему дому гоняли мышей, чтобы княгиня не увидала мыши и чтобы эта мышь не отпечаталась на тельце будущего ребенка. Комната масонских заседаний в этом доме — комната, как комната, отделана мореным дубом, надо полагать, «под готику», как я вычитала в масонской книжке, темная, в фашистских свастиках, ничего особенного, пыльно, а эту комнату барыня обходила со страхом, в трепете и ужасе, — помилуйте, в этой комнате проживает сам масонский разум с большой буквы!.. Демоны, приметы демонов, дела демонов окружали барыню со всех сторон, лезли из темных углов, из-под кровати, из окон, даже в самой барыне обязательно помещались двое — бог и дьявол, прописанные, как паспорт прописывается в отделении милиции. Барыня жила, придавленная этими вершителями судеб. Она даже во сне не имела покоя, — потому что — вдруг во сне она увидит черную кошку. А при барыне — барин, масон, полковник и, пока барыня беременна, спит с горничной.

«Да, да. Все это так. Все это умерло!..»

Постучали, сказали, что ванна готова, положили простыни. Дорога в ванну проходила мимо бильярдной. В бильярдной собрались все живущие, двери были открыты. Она прошла мимо дверей, стараясь быть незамеченной. И опять в одиннадцать нельзя было заснуть. Свечи горели за полночь. Шелестели лес, ветер и дождь. Она лежала без книги, с руками под головой, с неподвижными глазами.

Шофер привез из Москвы от приятелей вместе с книгами в портфеле — водку. После одиннадцати любители выпить забрались в масонскую ложу. Их было трое. Они пришли со свечами и в халатах. Они принесли с собою водку, свежих огурцов и соль. О масонстве и о месте собутыльничанья они не обмолвились ни словом, место избрано было потому, что здесь не было окон и, стало быть, ночной сторож не мог подглядеть с улицы и нажаловаться. Пили стоя и сплетничали шепотом, благодушествовали и мальчишествовали.

— Прокурорша Антонова, — сказал собутыльник, — гроза-бабочка, и пожалуйте — с животиком. Я о ней слышал в Москве, — на самом деле твердокаменная, дочь рабочего, бывшая работница, в партию пришла из комсомола, партия послала на учебу и в прокуратуру, прокурорша на самом деле свирепая, и самое главное — красивая женщина, молодая, а никакой потачки. Ее и за женщину не считали. И вдруг пожалуйте — с животом. Сегодня мимо бильярдной в ванну прошла, — стесняется.

— А кто ее муж? — спросил второй собутыльник.

— Неизвестно. Нету мужа.

Третьим собутыльником был станкостроитель, он разговорился лирически:

— Какая она там прокурор, — не знаю. Ничего о ней не слыхал. И какая у ней была жизнь, тоже не знаю. А тем не менее понятно, что что-то у нее неблагополучно. Неблагополучие я вывожу из следующего. Если бы у нее была семья, ее хоть кто-нибудь проводил бы. Если бы у нее был дом, уж никак она не поехала бы из дома на это время. А вывод я делаю тоже следующий. Мы все партийцы, надо быть с ней поласковей, оказать ей внимание и дружбу... Прелестная она и одинокая...

— Опрокинем по следующей? — спросил второй собутыльник.

— Будьте уверены, — сказал первый. — Станкодел уже в лирике.

Выпили. Выпивали. Затем потихоньку, чтобы не скрипнули лестничные половицы, прокрадывались наверх, по комнатам. Всю ночь лил дождь и шумел ветер, и шумел лес. Она долго лежала с руками под головой, с неподвижными глазами. Свечи отекли, мигали. Ночь была очень глуха.

И весь день поливал дождик.

Все утро она писала в константинопольскую тетрадь.

«Да, да. Все это так. Все это умерло!..»

«Моя жизнь прошла так, что, может быть, сейчас впервые я думаю, — как сказать? — о человеческих инстинктах и о моих собственных. Мне некогда было о них думать. И это уже на самом деле, что только сейчас я поистине свободна, потому что на самом деле мне было некогда все время. Как ни стыдно признаться, но и ребенок, для которого я пишу сейчас, у меня будет пото-

му, что мне было некогда. Серьезно я задумалась о ребенке только тогда, когда он начал двигаться!.. и это заставило меня думать именно об инстинктах, и эти мысли привели меня к воспоминаниям детства. Мне было десять лет, когда началась революция и отец с двумя наганами ушел обстреливать Кремль. Наш дом на Пресне превратился в районный штаб, где говорилось и делалось только для революции и где мы все голодали. В двенадцать лет я была комсомолкой и на общественной работе, я училась в семилетке, мои мысли были заняты учебой, очередными уроками и комсомольской работой, читать я не успевала ничего, кроме «Комсомолки», и то урывками, мне все время хотелось отоспаться. В двадцатом году под Перекопом был убит отец, я пошла на работу, очень глупо, к соседям в няньки, пока меня не приняли на Трехгорку. Там я училась в фабзавуче. И опять у меня не было ни одной лишней минуты. Комсомол снял меня от станка. Бюро райкома превратилось в мою квартиру, «Комсомолка» вычитывалась от корки до корки, потому что то, что писалось в «Комсомолке», я должна была проводить в жизнь. «Комсомолка» была справочником всего, что касалось моей жизни и моих дел. И опять у меня не было ни одной свободной минуты. Можно не писать дальше, — так было всю жизнь. Я всегда уходила с головою в мои дела, — будь ли это ударная неделя по мобилизации в деревню, будь ли это расследование о комсомольской пьянке, будь ли это — теперь — ревизия в Константинополе.

«Я не случайно написала вчера о барыне с богом, с чертом и с масонами. Мне неловко перед моим будущим ребенком, но я должна написать сейчас, — ну да о собаке товарища Б. Ребенок зашевелился во мне ночью, я проснулась. Это нельзя передать словами — это восхищение, доходящее до ужаса, это ощущение жизни и смерти одновременно, эту радость, доходящую до физического ощущения, — этот стыд, доводящий до слез и одновременно такой, что мне хотелось вскочить с постели и позвонить по любому телефону, чтобы любому человеку рассказать — о том, что сейчас, пять минут тому назад, во мне задвигалось новое человеческое существо, никогда не бывшее, неповторимое, единственное, которое будет жить в новую эпоху, в бесклассовом обществе, без классовых противоречий, борьбе с которыми я в частности отдавала свою жизнь. Это было под выходной день,

мне позвонили, что я должна ехать по срочному делу с докладом на дачу к товарищу Б., за сорок километров, за мной прислали автомобиль. Я приехала с утра и пробыла до обеда, товарищ Б. просматривал дело, а кроме этого, сердился вместе с домочадцами. Их собака должна была родить через несколько дней, и она мучила хозяев. Они только что устроились на даче, построили сарай и погреб, забор, рассадили цветы и деревья, — и собака подрывалась под дом, под погреб, под забор, под сарай, под клумбы, каждый раз в новом месте, готовя себе берлогу для родов. Собаку все время гоняли с места на место и закапывали ее ямы, собака смотрела на людей прибитыми глазами и вновь начинала рыться. На собаку кричали. И вдруг я вознегодовала на человеческую бесчеловечность, вознегодовала самым серьезным образом, не понимала, откуда у меня такая самая настоящая злоба, — и вот не забываю этой собаки до сих пор, до сих пор я помню ее глаза, и во мне поднимается злоба, когда я думаю об этих зарытых ямках.

«О собаке и барыне я записала не случайно. С того времени, как во мне ощутимо появился ребенок, я все время живу в жгучем стыде и в физическом ощущении радости. И еще. Каждый мой поступок, каждый поступок людей вокруг меня, каждую прочитанную строчку я предваряю вопросом: какими инстинктами стимулируется этот, тот, третий поступок? — Сначала меня задавило осознание этих инстинктов, они навалились на меня горою непонятного и неосознанного в самой себе. Я клала перед собою книги и с карандашом в руках, страницу за страницей, выписывала инстинкты, стимулирующие поступки персонажей. Их очень много, они очень разнообразны, но все же они систематизируются. Я проработала «Войну и мир» Толстого, начиная с первой страницы феодального рассуждения о международной политике и феодальной скупости Куракина. Оказывается, Толстой оперировал главным образом биологическими инстинктами, одетыми в феодальный наряд. Феодалы оставили больше инстинктов, чем капиталисты. И вот что оказывается, ради чего я пишу все это, — оказывается, что социалистических, коммунистических инстинктов еще очень мало. Я проработала одного-другого наших современных писателей, коммунистов, — оказывается, их коммунистические страницы, а стало быть, и они сами стимулируются иной раз такими вехами, такими

каменно-бронзово-пещерными инстинктами, что диву даешься, почему они коммунисты. Мало, мало еще коммунистических инстинктов, которые стимулировали б подлинно коммунистические дела и поступки. Это понятно, мы очень молоды, направо и налево мы живем в демонах моей княгини и масонов и не умеем отличить их от того здорового инстинкта собаки, который попирал товарищ Б., его детишки и жена. Мой сын должен будет жить без демонов и не боясь собак, — нет, точнее, — собачьих инстинктов. На самом деле мне стыдно до слез от непонятного счастья созидания человечка — и мне никак не стыдно крикнуть об этом на весь мир. Я сдерживаюсь по традиции приличий (тоже инстинкты), а на самом деле мне хочется всем, всем говорить о том непонятном и величественном, что называется рождением человека — и человека, и человечества, пусть эпохи человеческого развития одевают людей в каменный век, в феодальных масонов!..»

Кроме всех прочих случаев, дружбы возникают у людей потому, что в подсознании эти двое, сходящиеся в дружбу, чувствуют не только социальное, но и биологическое соответствие. Кройчмеровская теория, установленная, к слову оказать, до Кройчмера русским профессором Ганнушкиным, конечно, основательна. Дожди лили два дня подряд, все сидели дома, делали друг другу доклады, читали вслух новинки, концертировали, воевали на бильярде. Она, как предписали врачи, гуляла каждый день, не меньше пяти часов, по дождю и по мокрым листьям. Каждый раз ее сопровождал Иван Федорович Суровцев, станкостроитель. У них выработался маршрут, парком по листьям под гору к реке, оттуда вдоль реки полем до деревни и обратно. Пребывала природа в осенней усталости, в одинокой тишине, изредка лишь слышны были в лесу московки да гаечки. Деревня за рекою убралась в избы, в сараи, в овины. Они шли рядом, и говорил главным образом Иван Федорович. Он был лиричен, хотя это и никак не соответствовало громадным его плечам, очень сухим скулам и жесткой прическе, когда волосы казались колючими, как еж. Он шутил и никогда ничего не договаривал до конца. Он много рассказывал о станкостроении, о той области индустрии, которой не было в России, которая строит новые заводы, делая промышленность независимой ни от Европы, ни от Америки; он много рассказы-

вал об «умности» станка; он охотнейше рассказывал о своих поездках в Германию и в Америку, где совершенствовал знания, и охотнейше, с шуточкой вспоминал свои встречи с знаменитыми партийцами, передавал разговоры, характеризовал, подшучивал; но о нем самом узналось немногое: ему было восемнадцать, когда началась революция, и он был уже на заводе в Сормове; ему было двадцать два, когда он, комдив, демобилизовался из армии и поступил во втуз на рабфак; ему было двадцать четыре, когда он впервые прочитал Пушкина и открыл, что есть искусства литературы, живописи, музыки; ему было двадцать девять, когда партия поручила ему изучить станкостроение, наладить эту промышленность и съездить для этого, как езживали при Петре Первом, в Европу; он мельком обмолвился, что дважды был женат и оба раза неудачно. Они гуляли утром и вечером. Очень сиротливо по вечерам погружалась мокрая земля во мрак, когда казалось, что земля опускается в одиночество пустыни. Никаких внешних признаков дружбы не было. Едва ли даже это походило на возникновение дружбы.

Сожители настояли, и она делала доклад о советской уголовной политике. Все мероприятия советской власти сейчас же отражались на преступности. По преступности и по ее эволюции, по ее интенсивности можно проследить, как в кривом зеркале, все развитие советской власти, всю ее историю. Восемнадцатый год прошел грядой преступлений, когда после национализации земли, фабрик, заводов и банков — купцы, землевладельцы, фабриканты, дворяне — задним числом, датами от 1916-го, от 1915-го годов, подделывая нотариальные записи, продавали национализованные владения различным иностранцам, в том числе даже эстонцам и финнам, и тем, которые имели возможность патриироваться в Польше и Латвии. Введение продотрядов и заградительных пунктов посадило на скамью подсудимых большое количество железнодорожников, которые до тех пор никак мешочниками не были. Доклад слушали в гостиной, после ужина. Просили, после доклада, рассказать какие-нибудь необыкновенные случаи. Она рассказывала о бандитах, об их морали и жизни, об их «справедливости», об их делах, которые влекли высшую меру социальной защиты, и о том, как жалко было иной раз их расстреливать. Она рассказывала о вредителях, о том, как они вос-

питанны, грамотны, вежливы, как они говорили о морали и справедливости, — и о том, как совершенно не жалко и не трудно было требовать для них высшей меры.

Она записывала в свою тетрадь:

«...а старые инстинкты — изжиты, как старое платье не по мерке, не по сознанию, потому что их основа — сознание и социальное соотношение человеческих сил — умерла. Мне было девятнадцать лет, когда я впервые сошлась с мужчиной. Раньше женщины говорили о себе — «отдалась». Это слово мертво теперь, не имеет содержания. Я никак не чувствовала какой-либо девичьей или женской специфики, я была человекам, партийцем, работником, я командовала, если это требовалось по делу, и мужчинами, и женщинами одинаково, стариками с бородами и старухами, равно как и товарищами... Я стала женщиной позднее, чем мои подруги. Они мне рассказывали о своих связях. Я понимала, что в основном — это наслаждение и естественно-физическая потребность. Мне было любопытно, и во мне проснулась биология. Я решила сойтись с мужчиной раньше, чем это произошло. Я тогда училась, я была занята учебой и комсомольской работой до одиннадцати вечера. Мне нравился один товарищ, но он был очень занят, я его редко встречала. Он был вторым, с которым я сходилась. Он стал приезжать ко мне, когда я сказала ему, что я не девушка, нам обоим было совершенно понятно, зачем мы встречаемся. Но первым был товарищ по работе, старший по возрасту лет на пятнадцать, районный инструктор. Нам по дороге было домой, я позвала его к себе на минуточку, по делу, взять литературу, у меня все было решено, но три дня я отбивалась от него. Он приходил ко мне после одиннадцати. Три дня я ходила в бессоннице, в мыслях, точно они были облеплены пухом. На третью ночь, уже утром, когда рассвело, это случилось. Это было очень противно. Он пришел ко мне еще только один раз. Я его прогнала. И только через полгода я сказала второму, к слову, будто бы случайно, о том, что я — не девушка. Он ни о чем меня не спрашивал. Я ни о чем ему не говорила. Мы, конечно, не сказали никакого люблю. Мне с ним было хорошо, я его ждала, но он был очень занят, и он приезжал ко мне очень редко. Встречи с ним мне казались естественными. Я скучала без него.

«Все это так. Но — вот основное.

Мне очень оскорбительно было за мое человеческое достоинство. Я рассуждала: мужчина в тридцать лет, холост, — стало быть, или он дегенерат, или болен, или у него есть связи с женщиной или с женщинами и это его частное и никак не общественное дело — легализовать или не легализовать свои отношения с женщинами, дело его морали. Женщина в двадцать или тридцать лет, холоста, — времена женского рабства прошли, — я повторяла рассуждения о тридцатилетнем мужчине, — чем она хуже мужчины? — не доводить же себя до того унизительнейшего, оскорбляющего все сознание, что называется... противно написать это слово!.. О ребенке я не думала, принимая за правило, что ребенка быть не должно. Семья со «своими» «собственными» кастрюлями и занавесками у меня вызывала насмешку, — какие еще там клановые «свои» «собственные» углы и супруги, когда весь мир — мой!? Семья, как экономическая единица, — вещь мертвая. Быть в глупой «психологической» зависимости от мужа, как это бывало с моими подругами, быть под глупейшим контролем супруга и считаться с его «индивидуалистическими» особенностями, — это мне казалось ненужным ярмом. Во всех тех романах, которые я прочитала, во всем, что я видела кругом себя в людских семейных отношениях, — я видела в первую очередь — ложь, которую в наследие нам оставила старая семья и мораль, которые смердят падалью. Я не видела ни одной пары, чтобы они были совершенно правдивы друг к другу, большинство из них клялись в сексуальной верности и — лгали. Я не видела ни одной пары, которая принадлежала бы только друг другу. В лучшем случае они были верны друг другу в те годы, когда жили вместе, но у него или у ней до брака были связи, — а раз были, стало быть, могли быть и вновь. Мораль семьи оказывалась не только мертвой, но смердящей разложением. Ложь, рабство и утверждение того, чего нет, — это главное, что осталось в семье. Ложь и утверждение того, чего нет, — это никак не моя и не коммунистическая мораль. Я не хотела лгать и ставить себя в ложное положение. Потребность половых ощущений иногда приступает с такой силой, что человек делается почти маньяком, — каждый нормальный человек это знает. Жить здоровым телом — это мне казалось естественным. Не лгать — это мне казалось естественным. Не зависеть от другого человека и не ставить в зависи-

мое положение — это мне также казалось естественным. Тот, второй, бывал у меня очень редко. Я сказала ему, когда у меня появился третий, он принял рассказ, казалось, как нормальнейшее явление, но больше ко мне не приезжал ни разу. Я сочла его крепостником и не мучилась. Мне нечего было стыдиться. Конечно, это было наслаждение. Но не надо забывать, что все мы были очень заняты — каждый своим, а все вместе — громаднейшим делом революции. Если эти связи были нормальны, они не отрывали много времени и никак не заслоняли собою все. Основное место в моей жизни занимала общественная работа, — и потому, что это было естественным моим состоянием, потому что так я хотела, — и потому, что я была все время таким винтиком в большой работе, который нельзя было сразу заменить, не позволяли товарищи и долг коммуниста. Я гордо носила свою голову. Мои сексуальные дела были моим частным делом, в коих я никому не разрешала разбираться. Они занимали у меня мало места. Я помню, еще в начале революции, я была на собрании в Миусском трамвайном парке, организовывала там комсомольцев, — не помню сейчас уж, к чему, но выступил кондуктор с грозной речью и разъяснил мне: «Вот, товарищ организатор, я тебе скажу о нашем горе. Не можем мы жениться на наших женщинах. Уж чего бы лучше и им, и нам, живем рядом, одну работу делаем, а не можем. Научились они в трамваях командовать пассажирами, изучили все законы. Наши некоторые женились на кондукторшах и — страдают. Они с мужьями, как с пассажирами, — без малого что свисток и милиционера!» — Я тогда с гордостью подумала, что и я кондукторша, командир, человек!.. Демоны, которые окружили и даже, вроде бога и черта, жили в моей барыне, покинули нас — или, точнее, были выброшены нами. Христианские доблести «левой щеки», истощения «плоти», монашества — не были нашей доблестью. Если барыне было тесно от демонов, то она была свободна от дел, за нее работали мужчины, и она была предоставлена полу. О феодальной рабыне и говорить нечего, — она была задавлена и демонами, и делами, и мужчиной. Инстинкты конечно защищают человека. Я видела женщин, которые в годы революции были «защищены» прежними инстинктами. Они не понимали, что, подкрашивая губы, они делали из себя «товар», они не подозревали, что от капиталистических

времен в социалистических днях они оказывались предметом товарообмена. Женщины умершего класса в революции, на обломках его морали, боялись потерять жизнь, — по феодальным традициям на первом месте был пол, — и эти женщины спешили полом отстаивать право на жизнь и полом же наслаждаться. Пол, кроме товара, стал для них профессией. Их инстинкты губили их. Мы, женщины революции, никак не были «товаром». Мы были свободны от всяческих демонов. Моя учеба, мои дела мне давали в первую очередь знания, но не ощущения. Ни музыка, ни литература, ни живопись не были необходимыми элементами моего «я». Эстетический и эмоциональный мир мой был очень сужен, точнее — совсем не развит. От литературы по наивности я требовала только политической актуальности, агитации и описательства. От живописи я требовала фабрично-заводских картинок, точно фотографирующих быт. Музыка мне казалась тратой времени. К полу, к моей сексуальной жизни, по существу говоря, я подходила рационалистически, без малого как к санитарно-гигиеническому занятию. Иные даже из моих подруг и товарищей делали половое чувство предметом развлечений. Я понимала, что это удел женщин умиравшего класса. Этого никогда не было у меня. Прокурор и... не выходило, было ниже моих дел и моего достоинства. Впрочем я никогда и не думала об этом. И никогда я не думала о ребенке. Я з н а л а, что его не может быть у меня. Я не могла тратить времени на ребенка. Ребенок был вне моих ощущений. Это было аксиомой. Дважды я делала аборты. Это была очередная трехдневная болезнь. Это не вызывало особых ощущений. Я брала путевку в больницу и предупреждала товарищей, что выбываю на три дня, ложусь на аборт. Меня никто не расспрашивал. Все было естественно.

...О том, что я забеременела, я догадалась в поезде по дороге в Среднюю Азию, куда я ехала на расследование. Ташкент, Самарканд, а затем Алма-Ата взяли меня в работу, когда у меня не было ни единой свободной минуты. Я просыпалась в семь, в восемь я была уже на работе среди незнакомых людей, прокурор, — в двенадцать я приходила в номер и сваливалась замертво в сон. Иногда по ночам я вела допросы. Среднеазиатские поезда медленны, и если я отдыхала, то есть отсыпалась до того состояния, когда можно подумать о себе, то это было только в

поезде, — под вагоном тогда стучали колеса. Через два месяца я вернулась в Москву. Врачи мне сказали, что аборт уже опоздан, смертелен для меня. Через месяц во мне задвигался ребенок. Это было взрывом инстинктов, таких инстинктов, которых я и не подозревала в себе. Я стала перепроверять всю мою жизнь. Все, что я делала в моей общественной работе, осталось на месте. Но все, что было в моей половой жизни, или, точнее, — все, чего не было в этой моей жизни, — стало наново, на иные места, — все было перебрано памятью. Отец моего ребенка... — никогда я не испытывала большего оскорбления за человечество!.. Это была случайная связь, никого ни к чему не обязывавшая, «деловая», «товарищеская» связь в дни, когда мне особенно мешал пол. Вернувшись из Средней Азии и узнав, что я буду родить, я не позвонила ему. Он не был таким близким человеком, которого я посвящала бы в мои бытовые дела, — ни моральной, ни материальной помощи от него мне не требовалось. Он был очень молод, здоров, даже красив, и этого было совершенно достаточно, чтобы быть спокойной за физическое состояние сына. Но когда ребенок задвигался, когда на меня нахлынули ощущения необыкновенной радости, — я много раз клала руку на телефонную трубку, чтобы поднять ее и позвонить ему. Ведь это м о й ребенок! — ведь это е г о ребенок!.. Я не знала, имела ли я право утаить от него то счастье, какое было у меня. Ребенок для меня был так же случаен, как и для него. Я знаю, что такое смерть, — это ужасно, это противно естеству, я мучилась, видя смерть, и не могла есть, — понятно, об этом и написано многими, это и пережито многими в годы революции, — ну, так вот, как смерть противна человеческому естеству, мерзка, — так естественно человеческому естеству, радостно, счастливо — рождение, — радостно, счастливо, — эти слова слишком малы, потому что рождение — это огромная радость и огромное счастье. Я переносила мои ощущения на отца. Я не знала, имею ли я право скрывать от него это счастье. Ничего иного мне от него не было нужно. И я позвонила ему. За пустяковыми фразами я хотела услышать его тон, установить, какого тона отношений он ждет от меня, — не догадается ли, не заговорит ли сам о ребенке. Конечно, это было глупо, по-«бабьи». Он взял тон любовника. Тогда я сказала, что я беременна. Я видела через телефонные провода, как он растерялся. Он не сразу, чужим голосом, сказал, что он сейчас же приедет. Он при-

ехал, деловито поздоровался и стоял, расставив ноги и чуть покачиваясь, весь наш короткий разговор. Разговор наш был очень короток. Он почти злобно спросил, почему я так долго не звонила ему, три месяца тому назад аборт возможно было бы сделать совсем безболезненно, он спросил, на самом ли деле я беременна и точно ли я подсчитала, что отец — именно он. Он уже звонил какому-то знакомому медицинскому знахарю, и знахарь по дружбе брался делать аборт. Я поняла, что наша двойная смерть — смерть моего ребенка и моя — ему удобнее, чем рождение человека. Всей моей кровью, первый и последний раз в моей жизни с такою ненавистью, я сказала только три слова: — «пошел вон, мерзавец!» — Никогда в жизни меня не оскорбляли и не обижали так, как оскорбил и обидел он меня, и не только меня, но все человечество, так воспринимала я, — в лице того маленького, который еще не родился, но которому он — отец. Ведь его-то мать родила на свет!.. Слова «святой», «святыня», — дряхлые слова, — не нахожу других. Не потому, что это мое, — но потому, что во мне растет человек, я ощутила мое тело — да, именно святым. Но я-то, я — чем я лучше!? — в какую краску, в какой стыд, в какую боль непоправимости бросали меня воспоминания о «санитарно-гигиеническом»!.. Мое тело было чище, справедливее и мудрее моих дел, — было, и есть, ибо оно готовилось и готовится родить человека. Мне стыдно было за мои мысли и за мою память. Пол — это наслаждение? — да, рождением человека. Пол — это рождение человека. Не потому, что мне нужна материальная поддержка или поддержка разумным советом, не в клановом, не в феодальном порядке, — но мне нужен мужчина, муж, отец моего ребенка, который поймет все то, что я чувствую, которому одному я могу об этом рассказать, пол которого для меня будет так же свят, как и мой для него. Не может быть, чтобы для мужчины было безразлично рождение его ребенка!.. Собака подрывалась под все сараи, чтобы сделать себе логовище для родов. Именно потому, что у меня нет мужа, нет «логовища», я и приехала сюда на эти дни перед родами, в чужой дом, чтобы быть совершенно одной, чтобы не быть обремененной бытовыми заботами, никого не обременять и быть на людях, которые чужды, но все же товарищи. Это больше, чем наказание. Это природа мстит за себя. Как нужен, как нужен мне сейчас близкий человек, — как это сказать, — такой близкий, руку кото-

рого я могла бы положить на мой живот, без стыда и радостно, чтобы он ощутил, как двигается мой ребенок, и порадовался бы со мною, который любил бы этого будущего человечка вместе со мною. Я приехала в этот дом потому, что я совершенно одна перед лицом рождения того маленького, который двигается во мне. Я приехала, чтобы продумать себя, чтобы наказать себя...»

Погода переменилась. Из-за дождей вышли очень просторное и голубое небо, золотые поля скошенных жнитв, киноварь рябины и осин, тишина и покой. Ночи звездились громадными просторами неба. Лист шуршал под ногою, слышный на много шагов.

Она писала записки в город:

Первая:

«Катя, я себя чувствую очень хорошо, много гуляю, хорошо сплю, каждый день принимаю ванну, много ем фруктов, врач меня осматривает через день. Пожалуйста, напиши мне, готовы ли чепчики, такие, как мы говорили с тобой. Объявление в «Вечерней Москве» о коляске — читала, — ты уже купила коляску или еще нет? — если купила, напиши, какую».

Вторая:

«Катя, я чувствую себя очень хорошо, гуляю, сплю, ем фрукты, принимаю ванну, нахожусь под надзором врача. Здесь очень тихо и хорошие товарищи. Делала доклад. Прослушала два доклада — о съезде писателей и о советском станкостроении. Ты не написала мне, готово ли одеяло? — оно мне будет нужно, когда я буду выходить из больницы. Имя директора я оставила на записке. Не забывай почаще звонить мне в больницу и передачи делай только такие, какие разрешат врачи».

Третья:

«Товарищ Юрисова, милая, я все время отрываю Вас от работы, простите, пожалуйста. Я пишу Кате каждую почту о моем здоровьи. Все книги, которые я взяла с собою, о материнстве и младенчестве я перечитала и выучила. Список этих книг остался в моем письменном столе, в правом ящике наверху. Зайдите, пожалуйста, в Ленинскую, как мы говорили, если нельзя купить».

Четвертая:

«Товарищ Юрисова, милая, Вы написали, что маляры наконец приступили к работе. Я все-таки думаю, пусть это дороже, но мою спальню надо выкрасить масляной краской, в белый цвет. Это будет наилучшим

для ребенка. О родах я думаю совершенно спокойно. Боли я не представляю, совершенно не думаю о ней и не боюсь. До родов осталось пять дней, но мне хочется, чтобы это было хоть сегодня. Я совершенно готова. Я очень люблю моего будущего сына!.. Извините за то беспокойство, которое я доставляю Вам. Катюша ничего не пишет о няне...»

После доклада о советской преступности однажды произошел у нее следующий разговор с Иваном Федоровичем Суровцевым. Это был день, когда вернулось солнце, утром, в легком морозце. Они ходили по очерствевшим листам, в просторном лесу. Он наломал «татарских сережек», плод бересклета, и подарил ей. Для себя он сорвал гроздь рябины и ел, морщась. Он бросил рябину.

— Вы говорили о влиянии наших социальных изменений на преступность, — сказал он. — Попомните об одном обстоятельстве, знаменательном для нашей эпохи. Почти все наше мужское поколение было на войне и видело смерть. Тот, кто был под пулями и стрелял, когда стреляли в него, никогда этого не забудет. Когда человек стоит под пулями, он испытывает такое одиночество, какого нигде в другом месте нет. Память об этом одиночестве он затем приносит в жизнь. Это у целого поколения. — Он помолчал и спросил неожиданно: — У вас нет мужа?

— Нет, — ответила она.

— Очень милая вы и хорошая, вы простите меня, трогательная вы, — сказал Суровцев и смутился.

Они были у опушки леса. Она круто повернула обратно, на шуршащие листы. Он пошел за нею.

— Я два раза был женат... — сказал тихо Суровцев. Было понятно, что он готов рассказать большую и длинную историю. Она шла, опустив голову, казалось, не слушая. Он смолк. Шелестели листья под ногами.

И роды пришли неурочно, за четыре дня до срока. Схватки начались в одиннадцать вечера, сейчас же, как она легла в постель и потухло электричество. Она спустилась вниз и позвонила в Москву, чтобы прислали машину. В доме, куда она звонила, никто не подходил к телефону. Она позвонила к товарищу Юрисовой, там сказали, что Юрисова в театре. Она вновь позвонила в пустой дом и долго ждала у телефона, никто не отвечал. Она пошла к дежурной няне, попросила разбудить

заведующую. Заведующая жила во флигеле, няня ушла. Полураздетый, с лестницы сбежал Иван Федорович Суровцев и зазвонил в Москву, он кричал в трубку, голос его был грозен:

— Давай, давай срочно, без промедления, дорога каждая минута, срочно!..

Он позвонил в другой телефон, говорил непререкаемо:

— Василий Иванович, друг!.. Я вытребовал свою машину, она уже пошла, нужно совершенно срочно, беспокоюсь, вдруг прокол, авария, потом объясню, умоляю, пришли свою, срочно, моментально! Спасибо, жду! Если моя придет раньше, я верну твою с дороги, она пойдет следом!.. Спасибо!..

Он сказал ей:

— Машина будет через двадцать минут. Идемте одеваться.

Он говорил, распоряжаясь. Левой рукой он взял ее за левый локоть и правой обнял за талию, помогая идти.

— Я на минуту, собрать свои вещи, — сказал он, — я сейчас приду помочь.

Он совал свои вещи в чемодан, как попало, галстук его был повязан набок. Он вошел в ее комнату, поднял с пола ее чемодан, собрал со стола книги и бумагу, положил их на дно чемодана, открыл шкаф и ящики ночного столика, — не забыла ли чего. Он бросился к ее ногам и надел туфли, завязал их. Он подал пальто и пытался его застегнуть. Заведующая и нянька оказались не у дел. Он взял свой и ее чемоданы. Прожектор автомобиля издалека бросил свет на дом. Они вышли на крыльцо. Он сунул чемоданы к шоферу. Он обнял ее за плечи и прислонил ее голову к своей груди, гладил ее шапочку.

Он крикнул шоферу:

— В Москву, к Таганке, живо!.. о, черт!..

Шофер бросился на темноту, машину тряхнуло канавой. Он крикнул шоферу:

— Тише!.. о, черт!..

Всю дорогу они не молвили ни слова. Когда он видел, что она мучится, он прижимал ее голову к своей груди, бестолково, растерянно и нежно гладил ее шапочку. В вестибюле родильного дома ко всему на свете привычный, а главным образом к родам, степенный дед распорядился, сказал Суровцеву:

— Жену пока посадите на скамеечку. Сейчас скажу дежурному доктору, он ее возьмет в смотровую, а вы погодите здесь, я ее вещи вам верну. Давайте путевку.

Она протянула Суровцеву свою сумочку, он раскрыл и стал рыться в бумагах. Дед ушел. Дед вернулся и молвил сурово: — Пожалуйте.

Суровцев помог ей подняться со скамейки, обнял ее и поцеловал в лоб. Она обняла его. Она положила голову ему на плечо. Она подняла голову. Глаза ее светились слезами. Она поцеловала его. Дед повел ее по ступенькам вверх. Через полчаса дед вынес узелок с бельем и платьем, сумочку с документами и с деньгами, отдал пальто, сказал:

— Поместили в предродилку. Завтра ждите сынка или дочку. Позвоните по телефону или приезжайте часам к одиннадцати.

Суровцев позвонил в восемь часов утра. Ему сказали, чтобы он позвонил через час. Через час ему сказали, что родился сын, четыре килограмма сто сорок граммов весом. После больницы Суровцев приехал в большую свою, только что отстроенную квартиру, пустую и необжитую. Был уже третий час ночи. Суровцев разбудил свою старуху-мать, отдал ей чемоданы, сказал:

— Тут в одном чемодане женские вещи, просмотри, что надо, почисти, постирай, погладь.

Он отнес чемодан в комнату матери. Вскоре мать принесла стопку книг о материнстве и младенчестве. Среди них была тетрадь в тисненом венецианском переплете. Суровцев положил книги себе на письменный стол. Он открыл венецианскую тетрадь, прочитал строчку — и бережно спрятал тетрадь в ящик. На кухне он заварил себе кофе, Ждал, когда оно вскипит. Затем в кабинете он сел к столу и читал книги о младенчестве, курил и тут же пил кофе. Затем он писал. И не заметил, как наступило утро, рассвело. Было восемь. Он позвонил в больницу. В одиннадцать часов он был в больнице и передавал уже новому деду, помоложе возрастом, но столь же степенному, корзинку цветов и сверток с маслом, яйцами, хлебом, печеньями, яблоками и грушами, объяснив, что все это предназначено для роженицы Антоновой. Дед степенно сказал — «обождите» — и скрылся за дверями. По коридору в это время, за стеклом двери, вереница нянек пронесла новорожденных детей, каждая нянька по два человеческих

существа. Дед вернулся не скоро и принес записку. Она была написана на клочке бумаги неразборчиво, большими буквами:

«Милый, конечно, промучилась, сейчас счастлива. Сын, хоть и не дочь, все-таки мой явно! — черный. Люблю его. Спасибо за передачу».

И на другой стороне листка совсем детскими крупными буквами:

«Как только переведут из родилки в палату, напишу большое письмо обо всем. Привезите мыло, пасту, зубную щетку, бумаги...

Ваша Мария».

Суровцев приезжал еще раз, в четыре часа. Кроме мыла, пасты, бумаги, он привез термос с горячим кофе, по своей инициативе. Она ответила письмом:

«Спасибо, спасибо! я не знаю, куда девать всю эту гору еды. Сын и я побили рекорд — 10 ф. 140 гр. Такого за эту ночь никто не родил. О родах не рассказываю. Это совершенно бесчеловечное рождение человечества. Но сын есть, и он оправдывает все. Сегодня в двенадцать ночи буду кормить. Он красный с черными волосами. Термоса не возвращаю, потому что некуда перелить. Желаний у меня тысячи, лечь на бок, сесть, петь. Сына — обожаю, хотя он еще некрасивый, смешной и живет только семь часов и тридцать пять минут! Хочу домой и видеть Вас! отпустят только через восемь дней, как долго!..»

Суровцев приехал домой, опять заварил кофе, выпил целую кастрюлю, сел к столу, чтобы писать, и — заснул. Сонный перешел на диван, спал до пяти утра. В пять он сел за бумагу. Он писал со многими поправками, марая бумагу, много страниц он переписал набело:

«Товарищ Антонова, дорогой человек!

Всего о жизни своей не расскажешь сразу, да наверное и никогда не расскажешь, потому что, чтобы рассказать, надо жить заново. А кроме этого, очень многое в жизни, и даже самое главное, не узнается человеком посредством слов и словами никак не передается. Прожито много, ух, как много прожито, — оглянешься назад, тысячелетия позади!.. И каждый из нас, погляжу кругом, — патриархи. Всю прошлую ночь, вы уж извините меня, читал я ваши книги о воспитании детей. Почему полюбились вы мне, а сын ваш мне дорог, как родной, — этого словами сказать я не могу. Две вещи,

два обстоятельства были мне страшны в жизни. Об одном я обмолвился, разговаривая с вами, — об одиночестве. Как его объяснить? — я коммунист, то есть человек коллектива, все понятно, — а вот, как только я остаюсь один в четырех стенах и даже в лесу, когда под ногами опавшие листья, мне одиноко и мне страшно от моего одиночества. Мне без людей страшно, а я знаю, что человеку надобно иной раз побыть и одному, и одному чувствовать себя полно. И надо не чувствовать одиночества вдвоем с женщиной, потому что вдвоем с женщиной возникает то, что дает человеку ощущение бессмертия. Вдвоем с женщиной я тоже чувствовал одиночество, потому что я не чувствовал — верности. И вот ощущение неверности и есть второе обстоятельство, — вот что очень страшно было мне всю жизнь: ощущение неверности — вдвоем с женщиной, а отсюда — одиночество.

Я был женат дважды. Первая моя жена была товарищем, партийкой, мы дрались с ней вместе на гражданских фронтах. Вторая моя жена была осколком прошлого, музыкантша, вкрадчивая, как кошка. Первая оказалась красноармейцем и мужчиной больше, чем я, а вторую я заставал в различных постелях вместе с поэтами. Ни та, ни другая не хотели иметь детей, и обе были больны, и мне было скучно с ними, мне было одиноко, и я чувствовал только неверность. Неверность была фундаментом семьи, — у первой неверность перед биологией и рождением человека, а у второй и перед биологией, и перед человеком, и перед элементарной семейной честью. Обелять себя не собираюсь, — то, что я пишу сейчас, я знаю только теперь. Что касается меня самого, то по отношению к первой жене я оказался в том положении, в каком по отношению ко мне была вторая, а со второй женой произошло то, что произошло со мною по отношению к первой жене. Вот и все. Я наблюдал за вами и видел самого себя. Ребенок!.. Обе мои жены всегда абортировали.

У меня к вам конкретные предложения. Вы живете одна. У меня со мною живет мать, хорошая старуха. Я напрашиваюсь в отцы вашего ребенка. Детская комната у меня глядит на солнце. Мать будет помогать вам. Я возьму на себя бытовые заботы. Мы оба коммунисты. У меня нет детей. Я совсем один. Не осудите за дерзость, но я люблю вашего сына, равно, как люблю и

вас — мать. Повторяю, что словами я всех моих чувств объяснить сейчас не могу. Вы со мною совсем не говорили о себе самой, я только видел и ощущал вас. Именно поэтому я и думаю, что я не ошибаюсь, обращаясь к вам с этой просьбой. Ваш Иван Суровцев».

Иван Федорович запечатал это письмо в конверт, переписав его без единой описки в девять часов утра. Он поехал в больницу. Он вез с собою мыло, зубную щетку, бумагу, автоматическое перо, чернила — и этот конверт. Он отдал деду — мыло, пасту, бумагу, пищу, — но конверт три дня пролежал нераспечатанным в его кармане. И только на четвертый день, так же нераспечатанным, он вручил его деду для передачи товарищу Антоновой. Эти три дня Иван Федорович ставил вверх дном свою квартиру. За эти три дня на бумаге, привезенной Суровцевым, товарищ Антонова записывала:

«Родить повезли ночью. Впрочем времени не было. Сначала были только ночь и впервые в жизни мужские по-человечески ласковые руки, а затем белые круги циферблатов на каждой площади, которые говорили: скорей! скорей!.. Где-то далеко, уже совсем в прошлом остались старый дом, угловая комната, шум леса. Сейчас только одно слово «скорей», ощущение неловкости перед шофером и желание войти в те большие двери, которые должны открыться без минутного промедления и около которых какими-то тупыми буквами составлены слова «для рожениц».

«Потом все идет просто, и никому, никому не видно, что жизнь раскалывается на две, уже до конца, может быть, не совпадающие, самостоятельные человеческие половины. Да, именно распадение человека на две индивидуальности, на две судьбы, на два человека, один из коих сейчас — я, побеждает смерть.

«Какой-то молодой человек, врач, которому все равно, который не думает, что он присутствует при уничтожении смерти, при бессмертии, при рождении человека, щупает пульс и живот. Какая-то девушка записывает анкету, греет воду. Впрочем, они не «какие-то», потому что запоминаются до последних подробностей, до мелочей, до интонации. Запоминается все! — но и только. Потому что об этом не думаешь, этого не чувствуешь, это вне тебя, далеко, чужое и холодное. Слышно только свое «я», которое раздваивается, — слышно, как внутри, спрятанное от всех и от всего, вырастает с каждой минутой,

что сейчас случится, о чем никто не знает, что не расскажешь никому, но что заполняет собою весь мир, — реальное ощущение человека, который сейчас родится, которого никто, даже я, не знает, но которого я люблю и буду любить всю жизнь, который сменит меня.

«Боли было мало. Боль началась в предродилке. На девяти кроватях кричали девять женщин. Девять женщин пришли со своими радостями, горестями, мыслями, своими прошлыми годами, своим бытом. И от каждой выросли в ту ночь новые люди, новых эпох, новых поколений.

«Давно в детстве (сейчас кажется, что это было в детстве), в дневнике, в записной книжке, и я, как и все, мечтала о человеке, это было тогда, когда я еще могла влюбляться, и о товарище, и о мужчине. Товарищей было много. У меня почти не было того девичьего периода, когда человек искался, находился и воплощался в какой-либо профиль, в какое-либо имя, которое писалось сплошь большими буквами. У меня не было, как у других девушек, когда этот человек распылялся и когда в дневниках появлялись фразы: «человека нет, и самое бессмысленное занятие в мире — думать, что его можно найти». Такой «человек» мною никогда не искался. У меня были товарищи. Такой «человек» — за бытом, за встречами, за работой — проходил кусочками и так же кусочками терялся. Ничто не казалось удивительным, хотя и у меня в детстве были эти дневниковые страницы о «человеке», которые остались недодуманными и неопытными. Должно быть, это плохо, что у меня почти не было девичества. Я думала об этом в метаниях о железные прутья кровати, о безразличие сестры, обходившей всех нас по очереди. Мне хотелось одной, совсем одной справиться с болью и страхом. Тянуло книзу, к спине, подступало к сердцу. Как волна, нарастала боль, накатывалась и потом так же медленно уходила для того, чтобы опять подойти с большей силой, схватить, скорчить. И такая же скорченная вылезла в сознание остатком эстетики, от суден, от рвоты, от раскоряченности самой себя и соседок, ненужная фраза: — «в муках рождения» — и застревала в мозгу, повторяясь, как стук поезда, и обрываясь на полубукве, когда обессиленный мозг терял сознание, — на полсекунды, чтобы опять скорчиться, заметаться, — «в муках — в муках...» — и уже без слов, одним и двумя звуками: — «о-х! о-о-о-

о!..» — и сама себе: — «покойней! покойней!» — Ночь казалась вечностью. Рассвет пришел безразличием. При свете было больней и стыдней за свою боль, за беспомощность в этой, ставшей большой, комнате, — кровати пустели, увозили все чаще и уже увезли почти всех, и уже казалось, что ты одна во всем мире, и даже кричать одной было страшно и нелепо... и надулась шея, сошлись челюсти, потянуло книзу все тело, руки вцепились в кровать, стало страшно до безумия, до тупости. Крикнула: — «сестра!» — И уже не могла удержаться от крика, пока не подошли, не открыли, не посмотрели, пока не услышала покойные слова: — «молодец! хорошо, показалась головка, — ну, мамаша, черные волосики показались!» — И вдруг успокоилась, и вдруг поняла, что сейчас и только сейчас нужны силы, нужна уверенность, — и сама легла на каталку и видела потолок коридора, сходящий к синей стене, больничный лист на груди, высокие, неуклюжие столы родильной палаты, — и уже совсем спокойно и совсем собранно сказала акушерке: — «самое главное, чтобы ребенок был здоров!» — И уже не помню боли с этого момента, чувствуя ее только лишь, как необходимость, чтобы помочь ребенку вывести эту глупую волосатую головку, не торопясь, не слушая, что делалось кругом, своей волей командуя началом и силой схватки, собирая силы и дыша полной грудью, чтобы ребенку было покойнее. И вдруг потянуло так, что, казалось, сорвет, выкинет со стола, разорвет на части. Застучало в висках, в сердце, все превратилось в напряженную массу, — и потянуло легко, скинулся живот, и еще через закрытые глаза, через сжатые до беззвучия зубы, прорезался крик, резкий, здоровый, и я увидела маленький, сморщенный красный комочек, еще привязанный ко мне, еще сохранивший на себе пятна моей крови, моего тела. И первое понятие было, что из самого нечеловеческого родился человек, тот самый человек с большой буквы, не найденный в детских дневниках, а сейчас конкретно ощутимый — мой и — Человек. Если бы это видел отец! — если бы это ощущали отцы!..

И тогда, когда понялась широта рождения, или, может быть, раньше, когда было больно и страшно, или позже, когда слишком сильно кричали женщины, — справившись физически, не справилась с нервами, шумело в висках, вскакивал пульс, высыхали глаза, — тогда ночами, в нескончаемых криках женщин, путалось понятие

времени, путалось понятие самой себя, и казалось, что все это я, и вчера, и сегодня, и завтра, всегда все я рожаю, кричу, — все повторялось, повторяется и будет повторяться из века в век, всю жизнь человечества. И этот нечеловеческий крик — не крик, а вой, визг, мычание, и боль и страх, — и родившиеся маленькие, одинаковые, крикливые, — мне казалось, что все это — я. Я кормлю всех этих крикунов, мальчиков, девочек, черненьких, беленьких, и не уйти, не справиться, и не хватит сил. И по ночам сохли глаза, и постель вымокала моим молоком. И вставал по-новому образ женщины, человека, рождающего человека, и возникало ощущение несправедливости, — почему потрясает смерть и не потрясает рождение, почему социальна война, а рождение человека, человечества — мало достойный внимания физиологический акт или, по определению идиота, «физиологическая трагедия женщины»!

«И еще. За жизнью, за бытом, за нашей эпохой ушло и потерялось феодальное ощущение рода, крови, корней. Я боролась с ними. У феодалов женщина приходила к мужу, ее принимали в род. У меня этого не было. У меня нет рода, который своими корнями давал бы мне жизнь. И оказывается, — мой род не продолжается, — но — начинается, на-чи-на-ет-ся. Он замкнут узким, очень узким и очень тесным кругом, — моим сыном, у которого даже нет отца, — но у этого рода есть преимущество, — он смотрит —

«не назад, а — вперед!..»

Иван Федорович Суровцев отослал свое письмо товарищу Антоновой. В ЗАГС, регистрировать ребенка, дать ему юридическое бытие советского гражданина, будущего бесклассового общества, они ездили вдвоем, товарищи Антонова и Суровцев. Они ждали в очереди. Суровцев читал объявления. ЗАГС состоял из двух кабинетов и ожидальной. В одном из кабинетов регистрировали рождения и браки, в другом — разводы и смерти. Дома однажды, в глубокую ночь, покормив сына, товарищ Антонова пересматривала свои записи. Она вырвала из венецианской тетради все, написанное в доме отдыха, и сожгла эти листы. Написанные ж в больнице на бумаге, принесенной Суровцевым, она переписала в венецианскую тетрадь.

Улица Правды,
18 ноября 1934 г.

О'кэй.
Американский роман

1

4 июля 1776 года, в день объявления независимости, в день возникновения Соединенных Штатов, в Филадельфии, американская женщина Бетси Росс подарила Джорджу Вашингтону, первому американскому президенту, первое американское знамя. Это было полтораста лет тому назад. 7 ноября 1931 года, в годовщину Октябрьской революции, в Детройте, американская женщина, Бетси Росс, праправнучка первой Бетси Росс, передала коммунистическое красное знамя детройтской организации коммунистической партии.

2

За последние двадцать лет впервые в январе 1931 года я давал полуобязательство веровать в Бога и не быть бандитом, равно как и анархистом. Происходило это обстоятельство в Германии, в Берлине, в американском консульстве. Мне предложено было прочитать параграфы, написанные по-русски безграмотным языком, точнейшим переводом с английского, где сослагательным наклонением значилось:

— если вы не веруете в Бога —

— если вы едете с намерением заняться бандитизмом —

— если вы едете с намерением убивать представителей правительства и дипломатов дружественных держав —

— если вы едете нарушать законы —

Я попросил эту скрижаль на память. Мне отказали. Когда я прочитал эту картонную скрижаль, консульская леди, проникновенно сощурив глаза, сказала:

— Если есть пункты в этом билле, вы должны предупредить заранее... Вы прочитали внимательно? Если есть пункты, относящиеся к вам...

Консул, оставшись со мной с глазу на глаз, повторил вопрос:

— Вы прочитали пункты?

— Да, — ответил я.

— Есть пункты, относящиеся к вам? — спросил консул.

Когда люди теряются, они разводят околесицу: я собрался было учинить исторический экскурс в американское бытие о том, что американское население-де действительно слагалось из верующих бандитов, и ужели действительно-де и до сих пор много в Америке бандитов, и так это нормально, что бандиты чистосердечно, подобно верующим в Бога, признаются в своих намерениях, как явствует из билля?..

— Но вы же большевик! — сказал консул.

Тогда я протянул вперед мой красный паспорт, замолчав. Консул и я внимательно и молчаливо посмотрели на паспорт, оставив не вырешенной словами дилемму красного паспорта.

— Вы имеете доллары? — спросил консул.

— Да, — ответил я.

Я решил, что в визе мне отказано. Но визу мне дали, предположив, должно быть, что в Бога я верую, равно как и не бандитствую, и обязав меня не бандитствовать и веровать. Иного основания в выдаче мне визы представить невозможно. Став при получении визы экстренно верующим, я впервые осознал, что такое гипокритство, мысли мои опустив в раздумье о веровании и о бандитах.

Консул, передавая паспорт леди для дальнейших формальностей, сказал:

— О'кэй.

Если бы я знал, что такое значит «О'кэй», я, конечно б, повторил его консулу в эхо. И пусть будет здесь же дано объяснение этого слова. В начале девятнадцатого века президентами в Соединенных Штатах предпочти-

тельно бывали генералы, люди военные и ненаучные. И был президентом генерал Эндрю Джексон. Есть на английском языке два слова: «all correct», что значит — все правильно, совершенно верно. Президенту Джексону приносили на подпись законы, он визировал их двумя буквами: «о. к.», полагая по грамотности своей на слух, что он пишет первоначальные буквы слов «all correct», потому что «all correct» на слух произносится «олл коррект»; эти ж две буквы — о. к. — произносятся по-английски «о'кэй». Так и пошло по президентско-генеральской безграмотности это «о'кэй», распространенное и узаконенное в Америке, как «олл-райт» в Англии и «ма-манди» в Китае.

И больше, чем «олл-райт».

Разорился американец на бирже — «о'кэй». Расшиб американец автомобиль — «о'кэй». Свернули американцу скулу в футболе — «о'кэй». Ограбили бандиты — «о'кэй». Президенты теперь ставят «о'кэй» на законах из солидарности предшественному невежеству. И я говаривал «о'кэй», чтобы ничему не удивляться.

3

Некогда пионеры вслед Колумбу плыли до Америки месяцами.

Пароход «Бремен» ныне идет от Шербура до Нью-Йорка четверо с половиной суток. Описание этих океанских левиафанов, данное Иваном Буниным в повести «Господин из Сан-Франциско» и казавшееся несколько лет тому назад классическим, ныне устарело почти так же, как стимботы. Сравнивать с уездным городом пароходы типа «Бремена» нельзя, — это город уже губернский. Партер московского Большого театра меньше салона первого класса. Стамбульская Айя-София построена с меньшей роскошью, чем «Бремен». И прочее.

На пароходе каждодневно выходит газета, и ежесекундно радио американской биржи с Уолл-стрита — «тикер» — отмечает на бумажной ленточке температуру долларов капиталистических жульничеств.

Пароходы построены для пассажиров.

Советский пассажир есть человек особенный, и о нем особо.

Рядовому ж пассажиру первых классов полагалось пять раз на дню есть различные бананы, мяса, варенья, печенья, сыры, паштеты молочного, ракового, рыбьего, растительного и даже минерального происхождения. Полагалось по ассортименту пить коньяки, вина, ликеры и виски всяких невозможных комбинаций, называемых коктейлями. Полагалось в гимнастическом зале болтаться от получаса до сорока минут на электрической бабе для растрясения жира и мчать на подвешенном к потолку велосипеде для аппетита. Полагалось бегать по палубам, отдыхать на шезлонгах и фотографировать друг друга туда и сюда. Полагалось дважды в день брать ванны и менять одежду. После завтрака в два часа смотреть картину. После чая в половине шестого играть на скачках, где скачут деревянные лошадки по воле числа очков, брошенных очередной леди, причем совершенно понятно, что деревянные лошадки бесчувственны в силу своей деревянности и эту свою деревянную не то лошадиность, не то бесчувственность передают и тотализаторщикам, жертвующим и выигрывающим доллары.

После обеда, к девяти часам и за полночь, полагалось баловать (от слова «бал») фокстротами и тем количеством алкоголя, когда сердца размягчаются подобно ногам, сбрасываются препоны традиций и полов, и баловство (от слова «бал») заканчивается уже в полупригашенных переулочках кают, когда в мужском коридоре проюркнет вдруг женский халатик и взвизгнет за перегородкой шепот, когда на женском коридоре предательски вдруг заскрипят ночные туфли джентльмена, для осторожности расставившего ноги на манер опоенной лошади.

Все это полагалось под величие океана и под белую ленточку радио-морзе, ежеминутно сообщавшую долларовое тепло, благородство жульничеств, а также каблограммы для сердечно-едущих.

Утра на пароходе были туги, как океанские туманы, которые рвет пароход. Трубачи ревут своими трубами и коридорами кают. Но пассажиры не идут к брекфесту [1], требуя к себе в каюту орандж-джюс — апельсин-

---

[1] Завтрак (от *англ.* breakfast).

ный сок — иль грейпфрут, фрукт, который возник всего несколько лет тому назад, придуманный гениальным американским ботаником Бербанком, помесь лимона и апельсина. Бербанк, к слову сказать, создавший этот фрукт, который сейчас ест три четверти земного шара, имел неосторожность молвить однажды, что он не верует в Бога, и умер, затравленный американскими попами, как писалось в газетах.

Балы ж бывают различны (в официальной своей части), — обязательно бывает баварский вечер, когда все вооружены сосисками и кружками с пивом, когда на головах у всех надеты бумажные шляпы, пустые пространства заполнены воздушными пузырями, серпантином, во ртах у всех, кроме сигар, воткнуты свистульки, и балующие задают кошачьи концерты на мотив: «О, майн либхен Лизабетт, Лизабетт!» — Оркестр тогда переодет в баварцев. На пьянстве гейдельбергских студентов шутовские бумажные шляпы сменены шутовскими студенческими — корпорантскими, буршскими — каскетками.

И обязательно бывает так называемый американский вечер. Это в ночь перед Америкой, когда американцы вспоминают, что на родине у них «прохибишен», то есть сухой закон, и налегают на легальные алкоголи со всем американским размахом. Размах, действительно, получается грандиозный. Пьют грандиозно не только в салонах, но на всех лестницах и палубах, залезая для поэзии иной раз под вельботы. Пьют, не разбираясь ни полом, ни возрастом. Каютные дела выползают тогда не только на палубы, но и в салоны, в каютных переулках останавливая время в вечность бутылкой виски в рот из горлышка. С российским пьянством этот американский размах во всепалубном масштабе сравнить возможно разве лишь в ломовом порядке. Куда русским!

Советскому гражданину и пассажиру — прямо надо сказать — все это кажется свинством, в независимости от масштабов. Советский человек, оставивший за собой трудное, стальное величие его страны (а действительно, за пределами СССР, сейчас же за польским «кордоном», — необыкновенно, величественно начинает гореть звезда СССР, когда быть гражданином

СССР — величественно и гордо!), советский человек понимает, конечно, что тикер, фактический хозяин корабля и людей на корабле, понятен, к сожалению, немногим, — что нет такого американца, который мог бы съесть все то, что ему предлагается, но в подпалубных классах есть такие, которым не предлагается ничего, — что многие американцы тоскливо и подагрически ложатся спать до фокстрота, — что первый класс (и даже в первом классе люкс и ритц, где кобенятся миллиардеры за особую приплату, не желая есть с остальными), — тикер, водка, деревянные скачки, гимнастика и теннис на верхней палубе, «монкэй бизнес» («обезьянье дело» — то, что юркает женскими халатиками на мужских переулках и шлепает опоенными туфлями на переулках женских) — все это идеалы.

Советский гражданин держится в стороне, чуть-чуть ошарашенным. Ему хотелось бы пустить в эти верхнепалубные просторы тесноту подводных консервов и необходимостей третьего класса, советскому гражданину понятных.

Советский гражданин, автор этих строк «О'кэй», американского романа, ехал в качестве писателя. Он знал, что ему нужно было поехать, но он также знал, что для его страны американские комбайны и тысячетонные штамповальные станки нужней его поездки. Поэтому он не взял с собою советского золота и отъезжал от советской границы без единого цента.

В Варшаве он получил злоты, которых ему хватило до Берлина. В Берлине он получил марки, которых ему хватило до Парижа. На «Бремене» оный писатель, стаивая у форштевня, рассматривая океанские просторы горизонтов и светящихся фосфорически под носом корабля моллюсков, — соображал:

— от Варшавы до Берлина, от Берлина до Парижа, от Парижа до Нью-Йорка, — ну, а там как-нибудь образуется, поелику одна голова не беда, а и беда — так одна.

Но писатель был писателем, а в пароходной газете напечатан был список пассажиров. И в день выхода этой газеты — сначала этакая сухая леди, а затем этакий сонный мистер, торгующий в СССР пушниной, — справились, — что, мол, такой-то не такой-то ли? — Ба-

рышня заинтересовалась моими фокс-данными. Мистер потащил меня к маникюрщику, справляясь о точке моих зрений на виски «блэк-энд-уайт» и «скотч».

И в этот же день пришли радиограммы из-за океана. Приветствуем, дескать, встречаем, все о'кэй, но одна телеграмма гласила:

«номер приготовлен в отеле «Сент-Моритц» —

Я спросил сонно-пушного мистера, что это за гостиница. Мистер оживился, прочитав конфетно-изящную бумажку каблограммы, и сказал, что это одна из самых дорогих гостиниц в Нью-Йорке, в пятьдесят этажей, и находится между Пятой и Шестой авеню, против Сентрал-парка —

Единственную каблограмму я послал с океана моему издателю: не надо, мол, мне «Сент-Моритца»!

Вечером мне подали новую каблограмму:

«остановиться в «Сент-Моритце» необходимо стап номер бесплатно» —

Я подивился любезности издателя, хоть воспринял этот номер, как вставной зуб.

4

Океан был величествен. За ютом была Европа. Форштевень двигался к Америке. У русского человека есть такое:

— весна, завалинка, в валенках на завалинке сидит дед и блаженствует всем земным блаженством, — куры роются в пыли, тепло, девки-трактористки проехали на тракторах с пахоты в гараж, стрижи царапают закат, — деду нельзя как хорошо! — и дед говорит:

— Благодать-то, благодать-то какая!.. — и молчит лирически, и добавляет: — Зубы чтой-то давно не болели, — вон у Сидора Меринова вторую неделю болят...

— именно, — нельзя так! — нельзя русскому человеку, чтобы ему было хорошо, когда у Сидора Меринова болят зубы вторую неделю. И у каждого русского человека обязательно есть свой зуб. Под величие Атлантики, на путинах из Старого Света в Новый, открытых тогда, когда история человечества нащупывала пороги капитализма и лазила в подворотни открытых, и зарос-

ших уже бузиной, ворот средневековья, русский писатель думал:

— В веках, в громадных веках, быть может, в Атлантиде, в несуществующих теперь землях, возник первый человек. Где-то на берегах Атлантического и Индийского океанов, у Средиземного моря возникли первые вести о человеке, известные человечеству. Из небытия, из мрака времен, из непознанностей на берегах Средиземного моря возник тот ручеек истории человечества, который определил потом судьбы цивилизации земного шара. Этот ручеек Месопотамией, Палестиной, Египтом, Ассирией вести о человечестве вынес к грекам и римлянам, зародив историю Европы. От греков и римлян история полузаписана. Сколько народов, сколько цивилизаций, религиозных и философских систем, государственных образований возникало у человечества, жило, цвело и гибло! От римлян колымага истории известна, — известно, как эта история текла, — поистине текла, — происходила, случалась, — как обливалась кровью германцев, гуннов, галлов, — как костенела средневековьем, — как перестраивали ее пар и ткацкий станок, — как грозами шли по ней революции. Но старость не есть древность. И если Египет, Ассирия и Вавилон погибли от греко-гунно-алланов, то до братьев их, живущих до сих пор в Индии, Китае, Японии, гунно-европейцы добрались только в прошлом веке. Эти народы ведут свою историю от времен Артаксерксов, причем Япония свою историю сплела с Европой империалистическим равноправием разбоя. Все это происходило. И первая история, которая имеет свою дату возникновения, — это история Америки — не индейцев, конечно, но европейских колонизаторов. История Америки — молодая история. Мать американской истории — старуха Европа. Что взяли дети у матери? — дети победили мать? — молодая Америка западнее Запада? — действительно ль она гораздо больший Запад, чем Западная Европа? Великий океан есть громадный шов земного шара, где с одной стороны в океан обрывается древность Востока и с другой — молодость Запада, — недаром в Тихом океане есть черта, где корабли иль останавливают время на сутки, иль сбрасывают сутки со времени. Но: земной шар — есть шар, и, стало быть,

в тот час, когда на Востоке романтиков панствует древность ночи (помните, — «спит седой Восток!»), — на Западе тогда закатывается день, — и, следовательно, где-то есть утро. Это утро в Союзе Социалистических Республик, история которого имеет дату рождения — 25 октября 1917 года старого стиля — и история которого не происходит, но *строится, делается, конструируется.*

Писатель был в Японии, Китае и Монголии, чтобы видеть древность Востока. Писатель поехал в Америку, чтобы видеть самый западный Запад. Писателю хотелось решить, как надо сшить тот шов, который образован Пасификом, ибо писатель знал, что швы национальных культур лопаются один за другим, подобно обручам на сгнивших бочках.

— и все это писатель думал неверно, потому что думать так — романтика, писателям свойственная, но необходимости не имеющая. Все гораздо проще. Человеческая история растет. От надутых воздухом шкур барана, на которых в древности люди переправлялись через реки, человечество доросло до шестидесятитысячетонных кораблей, бороздящих океаны. По принципу надутых воздухом шкур барана человечество построило цеппелины, а нью-йоркские небоскребы, где живут люди, вершинами своими уходят в облачные дни за облака, похожие на бараньи шкуры. От каменного века и от первобытного коммунизма человек прошел дорогами средневековья, феодализма, абсолютных монархий, буржуазных революций, капиталистических демократий. Каждая из этих проистекавших эпох полагала, что она завершает достижения человечества, что она вечна, — и каждая из этих эпох умирала. На больших дорогах истории человечества это было всегда в первую очередь. Именно поэтому в человеческих закоулках и до сих пор отстали от времени центрально-африканский и самоедский бронзовый век, северо-индийский феодализм. И даже в Европе кое-где до сих пор воняет псиной монархий. Человечество сейчас переживает эпоху, когда на смену капитализму идет социализм, кто бы и как бы хотел этого или не хотел, — и социализм не проистекает, но строится. Бактерии тифа, чумы, холеры в изолированном виде в природе не

встречаются. Их можно найти только в бактериологических институтах. Там они совершенно чисты, помещены в бульон, разлиты по колбам и называются «культурами» — тифа, чумы, холеры. Капитализм в Европе, по существу говоря, в совершенно чистом виде виден трудно. То тебе глаза застят раскопки древних. То понятия твои спутала «вежливость» последних Людовиков. То ты потонул в английском дедовском кресле, ровеснике английских консерватизма, парламента, Вестминстера и ведьм, сжигавшихся некогда под Вестминстером и сжигаемых до сих пор речами консерваторов в парламенте. То в Шамборском замке ты видишь тени Мольера, которого играют до сих пор и который до сих пор звучит европейски. Америка начала свою историю самостоятельности на принципах французских энциклопедистов, сразу начав с буржуазной демократии, пионерами своими имевшая людей, главным образом сектантов, авантюристов и преступников, не укладывавшихся в европейский склероз средневековья. И не есть ли Америка теперь — Соединенные Штаты — культура капитализма в чистом виде, подобно бульону чумы в бактериологическом институте? — этакая колба на сто двадцать миллионов свободно-капиталистических американских граждан?!

Конечно, Америка лежит на столбовой дороге развития человечества.

Эта столбовая прокладывает новые тракты — в социализм.

Эти тракты в социализм конструируются в Союзе Социалистических Республик.

Ныне СССР и USA играют в шахматы сегодняшнего человечества.

— а океан, конечно, величествен, космос воды и неба! На пароходе со мной пожелал познакомиться и познакомился некий американский кишечный миллионер мистер Котофсон. Это был настоящий американец, он задавал на наших палубах американский тон. Он возвращался из Европы с дочерью, у которой был подвязан глаз и которая все время лежала с американскими журналами на палубах и в салонах. Он был энергичен, этот американец. Он крепко стиснул мою руку, подав ее широким американским жестом, ладо-

нью вверх. Мы обменялись «хэлло». Первые фразы нам пытался переводить пушной джентльмен, очень почтительный с кишечным миллионером. Фразе ж на десятой американец сказал:

— Ну, ладно, будем говорить по-русски. Я к вам за советом. У меня, изволите ли видеть, две дочки. Впрочем, не откажите, — стакан сода-виски? — Итак, у меня две дочери. Ради них я живу на свете. Одна из них сейчас осталась в Англии. Все-таки это самая приличная страна. Вторая возвращается со мною, я вас представлю ей. Она доктор философии. У нее от чтения на глазу появилась бородавка, и я возил ее в Германию, чтобы ей отрезали бородавку. Все-таки германская медицина самая приличная. С меня брали по пятьсот долларов за визит. Моя дочь пишет такие рефераты, что профессора ахают. Дать воспитание детям — это стоит копеечки. Итак, я хочу говорить о второй дочери. У нас в Америке хромает искусство. Моя дочь захотела стать писательницей. Говорят, что английская литература сейчас в застое, я в этом не специалист, но все же английская литература — самая приличная. Мне дали список самых лучших английских писателей. Я остановил свое внимание главным образом на писательницах. Так, изволите ли видеть, мне кажется, удобнее и приличнее. Я посетил этих писательниц в Лондоне, и я предложил им давать уроки моей дочери, чтобы она стала писательницей. Она очень талантливая девочка. Итак, что вы скажете по этому поводу? — У нас в Америке так мало настоящего искусства!

— Но откуда вы знаете русский язык?! — спросил я.

— Хэ! — если бы вы знали мою биографию! — Я круглый сирота. У моего дяди в Орле была своя бойня. Мальчиком лет десяти я был уже самостоятелен и ездил с дядей в Сибирь, в Семиречье к киргизам скупать кишки. Вы знаете, что русские кишки, свиные и овечьи, не сравнимы ни с чем в мире, особенно из Заволжья, из Западной Сибири и из Семиречья. Несравненные кишки! Ученые полагают, что это от континентального климата и от плохой вашей пищи для овец — такие несравненные кишки. Советское правительство не знает, какое у него имеется золото. Я давал ему через Амторг неплохие миллионы, предлагая сдать мне

монопольное право на русские кишки, — ведь у вас же монополия торговли, а я бы сам для этого дела тряхнул стариной! — Итак, шестнадцати лет я оказался в Одессе на морском пароходе и шестнадцати с половиною лет ступил на землю Нового Света. С тех пор я в Америке. Вы не знаете моей биографии! — никто в Америке не знает лучше меня кишечного дела! — Впрочем, вы разрешите, — я выпью еще стакан сода-виски? — Итак, что вы скажете по поводу английских писательниц и моей младшей дочери? В России у меня была фамилия — Котов. Теперь я — Котофсон. Итак, уэлл?[1]

Пушной мистер, когда мы остались одни, почтительно сказал мне, что мистер Котофсон — до сих пор неграмотен, не читает ни по-русски, ни по-английски, он может подписать только свою фамилию на чеке, но все дела читают ему его секретари. Вечером на баловстве (от слова «бал») за столиком Котофсона сидело большинство общества наших палуб, и Котофсон поил всех коктейлями.

— Философия истории!

5

Первое, что меня поразило в Америке, — это национальные флаги.

Статуи Свободы, с которой всегда начинают описание Америки, я не успел повидать, подплывая к Нью-Йорку. Меня сбили с толку пароходная шумиха и небоскребы Уолл-стрита. Статуи Свободы я не видал и впоследствии. И, чтобы не путать ею будущих путешественников в Америку, имею сообщить, что в голове этой Свободы можно расположить целую квартиру, а в части юбки ее сзади, под верхними складками, в течение долгого времени располагался тюремный каземат, — факт не менее поучительный, чем история «о'кэя».

У меня сохранились письма, написанные мною в первые мои американские дни на родину. Рефреном

---

[1] Ну (от *англ.* well).

этих писем были междометия — Ох, Америка! Ах, Америка! Ух, Америка! Ну, Америка!

Пусть читатель знает, что девяносто девять процентов советских граждан, несмотря на визы, не спускаются сразу в Америке на берег, Но арестовываются и отправляются на Эллис-айленд, в просторечии называемый Островом Слез, — в притаможенную тюрьму, где их, людей, судят американцы за право быть советским гражданином. Я не имел оснований вывалиться из процента, а тюремные операции на всем свете неприятны, — и, когда пароход входил в порт, вышеупомянутые прелести статуи Свободы меня интересовали меньше свободы моей собственной. Я не был арестован, но два моих соотечественника-инженера (один из них был с женой и ребенком) отправлены были вкушать пироги американской свободы Острова Слез, оставив мне размышления о естественной человеческой солидарности.

В Америке — прохибишен, сухой закон. В его честь все пароходное население пило всю приамериканскую ночь и утром ходило в обалдении катцен-яммера по буфетам, разыскивая, чем бы опохмелиться. Буфеты блистали печатями вместо бутылок.

Припароходные репортеры приехали на пароход вместе с полицией. Я ехал с «публисити», и, когда пароход пришвартовывался, репортеры, взяв меня крепко под руки, свели в детскую комнату первого класса. В комнате этой на стенах были нарисованы смеющиеся и плачущие дети в стиле русских кустарных игрушек. Стояли стульчики и столики для детей. Разложены были игрушки. На детские столики поставлены были бутылки с виски и пинты с пивом. Детины-репортеры расселись на детские стульчики, задрав ноги куда не надо. Был это народ ражий, плохо одетый, в стоптанных ботинках, причем каждый ботинок по пуду. Был это народ активный. Стал этот народ торопливо пить пиво и виски, вопрошать меня и ощупывать. В двухчасовых газетах сообщалось, что с таким-то пароходом приехал такой-то. Галстук на нем такой-то и башмаки такие-то, и остановится он в гостинице такой-то. И больше ничего. Разве лишь еще описание волос и прически. Волосы, оказывается, у меня — песчаные.

Порт, Гудзон и Ист-ривер, задавленные небоскребами Манхэттена и Бруклина, — грандиозны, ни с чем, ни

с каким сном не сравнимы — ни с какою татлиновскою фантазией.

Улицы, на которых пешеходов меньше, чем автомобилей, испугали национальными флагами, точно я приехал в табельный день, хотя были будни. Сразу в легкие вошел воздух невероятностей этого города, где в небо торчат стоэтажные дома, и ни единого листочка, ни единой травинки нет на бетоне города.

Отель «Сент-Моритц» повторил роскошь «Бремена». Мои чемоданы пришли раньше меня. Кроме моих чемоданов, в номере стояли ящики с виски и джином. Я знал уже цену американскому алкоголю по сухой расценке. Моего кошелька не хватило б, чтоб заплатить за эти ящики. Лакеи сервировали чай человек на сорок. Незнакомые люди раскупоривали виски и джин. Я должен был давать интервью.

Стали приходить журналисты, уже барственные и медлительные, мужчины и женщины. Они жали мне руки и называли не свои фамилии, но имена тех газет, от которых они приходили. Мне непонятные люди передавали журналистам «стэйтмент» — этакую хлестаковскую бумажку обо мне, где рассказывалось, сколько мне лет и кто мои папы, какой я такой-сякой и кто что обо мне сказал. Я был не я, но — материал для публисити. Собравшиеся солидно стали пить виски и допрашивать меня. Я говорил о колымаге истории. Мне задавали вопросы:

— как вам понравилась Америка?

— сколько стоит в загсе развестись и выйти замуж?

— сколько получает жалованья товарищ Сталин?

— как вам понравились американские женщины и Нью-Йорк?

Когда спросили, сколько получает жалованья товарищ Сталин, я ответил, что получает он, надо полагать, партмаксимум, около полутораста долларов в месяц. Народ трепетно поразился этакой мизерной оплатой, — что, мол, стоит Сталину из-за такой мелочи трудиться?!

Меня спросили:

— Кто же в таком случае сколько получает жалованья, и есть ли люди, которые получают больше, чем товарищ Сталин?

Поразив журналистов тем, что миллионеров у нас нет, понеже они изгнаны (есть еще такие в Америке, которые об этом плохо знают, даже среди журналистов), я сказал, что больше полутораста долларов в месяц зарабатывают квалифицированные рабочие, инженеры, люди свободных профессий, писатели, артисты.

Меня спросили:

— Ну, а вы?

Я ответил, что я зарабатываю раза в три больше в месяц, чем полтораста долларов. Наутро в «Нью-Йорк таймсе» было напечатано:

— «Пильняк предрекает гибель капитализма!» —

— «Самый богатый человек в СССР — Пильняк!» —

Этак в «Нью-Йорк Таймсе». Другие газеты сделали меня Рокфеллером. И много месяцев спустя, уже в Москве, один приятель, американский журналист, рассказывал мне, что он получил из Нью-Йорка от своего агента запрос, после тогдашнего моего интервью, почему и как Пильняк не Пильняк, а Рокфеллер?!

Кесарево — кесареви. Я четырежды упоминал об отеле «Сент-Моритц» (над сим «Моритцем» реял национальный флаг). Продолжаю американскую традицию — плачу с благодарностью. Бесплатный номер в этой гостинице и бесплатный алкоголь были даны мне не издательством, но самою гостиницей. Публиситимэн этой гостиницы рассчитал правильно, что обо мне будут писать в газетах с указанием, где я остановлюсь, а бесплатный номер дешевле, чем платная реклама. Да и реклама такого порядка меньше похожа на рекламу. Не от таких ли психологических комбинаций повела свою историю биржа, учреждение, конечно, психологическое, торгующее, кроме ценностей, также и психологической пустотой разных теплых слов, расцененных на доллары?! — Дорогой «Сент-Моритц», — тэнк ю![1]

Портной предложил мне бесплатно костюм с тем, что я сфотографируюсь в нем и напишу, что, мол, нет лучше костюмов, чем у фирмы такой-то!

На второй иль на третий вечер, не помню, меня повезли в театр. Было нас шестеро, сидели мы в ложе, смотрели, как негры представляют себе рай, как бог Са-

---

[1] Спасибо (от *англ.* thank you).

ваоф, наподобие янки, расхаживает в клетчатых брюках, в сюртуке, с бородою вроде ошейника. И пили мы в ложе из бумажных стаканчиков виски. После театра повезли нас в некий «клоб», в кабаре. Американцы берут масштабами, количеством. Если в Париже в этаком кабаке показывают пять голых женщин, то в Нью-Йорке — сто. «Клоб», в котором мы были, знаменит. Имя его я опускаю, дабы не делать ему публисити. Изощрялось в нем штук сто голых красавиц. Люди фокстротили и пили шампанское, коктейли и ликеры. Выл джаз, и выступали различные певцы. Все было ужасно роскошно, как у мистера Котофсона. Ко мне подходили какие-то люди, знакомились, уходили. И вдруг до моего сознания довели, что меня просят выступить и сказать хотя бы одно русское слово «здравствуйте» или «спасибо». Оказалось, что программа этого клуба в тот вечер передавалась по радио. Оказалось, что завезли меня и мою компанию в театр и в этот клуб, кормили и поили для того, чтобы я выступил в программе этого клуба по радио! — хорош был бы советский писатель, с корабля попавший на голопупый бал и радующийся в радио! — Ушел я из этого клуба совершенно без всякой вежливости, посредине блюд, а дома долго пил воду со льдом, дабы прогнать раздражение до дрожания рук, злобу и бессонницу. Публисити, реклама, черт бы их побрал!

6

Публисити! реклама! — честное слово, часто казалось мне, что люди в Америке существуют не к тому, чтобы быть людьми, но для публисити и для рекламы. Это мне казалось. Но я твердо знаю, что все американцы — суть жертвы рекламы, ибо реклама там важнее людей, дороже людей, важнее вещей и дороже вещей.

Вы взбрасываетесь пневматическим лифтом на шестидесятый этаж небоскреба — это реклама и чтение рекламы, кроме подъема. Вы едете в такси, за стеклом перед вашим носом около счетчика ползет кинолента заманчивейших информаций, — это реклама. Вы поднимаетесь на воздушную железную дорогу (на вто-

рые этажи нью-йоркских улиц), вы опускаетесь в подземелье сабвеев [1], — вас преследуют кока-кола, «шевроле», барышни Локки и Честерфильда, — это реклама. Вы едете за город, и вы ничего не видите направо и налево из-за заборов необыкновенных молодых людей обоих полов, прославляющих папиросы, автомобили, мыло, клизмы, кастрюли и самую природу, вроде Гранд-каньона, — это реклама, равно как и сам Гранд-каньон. Вы прячете ваши глаза в небо, но там реклама, расписываемая аэропланами и прожекторами. Вы лезете в ванну, и на коврике под ногами вы читаете рекламные прелести. Вы прячетесь в постель, вы тушите свет в комнате, и на стене около штепселя, чтобы его легко было найти в темноте, фосфоресцируют слова рекламы.

Вы прячете голову в подушки, но в ваши уши, через заводской вой и скрежет города, лезут слова радиорекламы.

Эти рекламы орут, мурлычат, напевают ариями, пугают, шарашат глаза и глаза успокаивают, сшибают с ног, караулят на перекрестках, в подворотнях, в сортирах, в альковах. Эти рекламы лезут в нос, в глаза, в уши, в пищу, в кровь, в сердце и — в карман, карман, карман! — ибо все они существуют к тому, чтобы орать:

— покупайте больше (и ломайте) автомобилей, зажигалок, рефрижераторов! — если вы сломали ваш прекрасный автомобиль, мы его починим в двадцать четыре часа, и он будет еще прекраснее, ибо мы нацепим на него два новых прожектора, лишнюю никелевую сетку, радио, зажигалку, часы, пепельницу, аптечку! —

— радио в вашем автомобиле будет услаждать ваш слух, когда вы будете проезжать поля Техаса и пустыню Аризоны! —

— покупайте больше штанов, сапог, посуды, мебели, галстуков, папирос, пилюль от кашля и прыщей! —

— ешьте больше мяса, ветчины, омаров! —

— ешьте больше хлеба и масла! —

— пейте больше кока-кола, кофе, чая! —

— больше! больше! больше! —

— самое хорошее! ни у кого, кроме вас, не будет! и самое дешевое! — вы не имеете права не есть, не пить, не иметь автомобиля! —

---

[1] Метро (от *англ.* subway).

(Об этом «больше! больше! больше!» речь будет впереди, в разговоре о кризисе, — это «больше» орет тогда, когда в стране десять с лишним миллионов человек безработных.)

Все запатентовано. Все покрыто тайной неизвестности.

На грецком орехе стоит клеймо продающей его фирмы. Машины, которые ставят это клеймо, их оборудование и их обслуживание стоят дороже орехов. Покупатель за клеймо платит больше, чем за орех. Все запатентовано. Бюро патентов сокрыло тайны патентов.

В аптеках в Америке, как известно, можно обедать, покупать мороженое, помидорный сок, спортивные принадлежности, книги и папиросы, кроме лекарств (а также каждая аптека — шинок). Аптекарям, фармацевтам совсем не надо висеть над унциями и граммами весов. Все запатентовано, и невозможно купить порошочка православной хины, а надо купить хину патентованную, убранную в тюбик, не горькую, а сладкую, причем эти стеклянный тюбик, сладость и красота стоят в десять раз дороже самой хины.

Но это еще не беда, хина, — это указывает на обстоятельство, что не качество товара, а уменье его продать решает судьбы предприятий.

Полбеды, что не покупатель ходит за товаром, а продавец насилует покупателя, ловит его всем, чем угодно, от кредитов, от присылки товаров на дом, — до судов. Полбеды, что покупатель должен бегать от продавца и пребывать во всегдашней зависти, потому-де что — пожалуйста, пожалуйста! больше, больше! так дешево и стыдно каждому американцу не иметь! — а десять миллионов безработствуют, а долларов у покупателя уже нет на самые первые необходимости, ибо ему всунуто радио для автомобиля, когда автомобиля нет, зажигалка для сигар, когда он не курит, и он купил женские туалетные патентованные тайны, но жениться еще не успел. Торговля, равно как и промышленность, свободны по священному праву капитализма. И полбеды, что каждую неделю вдруг выясняется, что некоторая железная вода, которую пил знаменитый боксер (фотография тут же за подписью), и этому знаменитому боксеру — вода и не что иное — дала возможность

разбить рожу другому знаменитому боксеру, — так вот эта вода, страшно железная, в упаковке фирмы стоила два доллара, а действительная ее цена две копейки, — и никакого железного чудодейства в ней нет. Бритва «жиллет», от тупых ножей которой страдают россияне, запатентованная в первые годы своего существования, стоила десять долларов. Ныне патентные права изжиты, и бритву «жиллет» дают бесплатно — в качестве приложения к десятку бритвенных «жиллета» же ножичков. Сколько миллионов долларов переплатил американский любитель побриться «жиллетом»?! — То есть полбеды заключается в жульничестве, проверить которое нет сил, ибо каждая проверка упирается в «священные» права свободы собственности и торговли капиталистических китов.

Беда (или полбеды?), что наибольшая статья расхода потребителя направлена на «амюзмент» (амюз — развлекаться), на наслаждения, когда действительно рядовой американец завален штампованными запонками, но не имеет лишних (и нужных) сапог, и всегда имеет радио, и всегда знает последнюю картину M. G. M.

Беда... — концерн лесных строительных материалов вступает в борьбу с концерном каменных (или железобетонных, или асбестовых) строительных материалов (или мясники хотят заставить есть мясо за счет молока, — или нефть решила положить окончательно на обе лопатки каменный уголь, — или синдикат, производящий искусственный шелк, решил убить шелк коконовый), — это в тайне, — это вооружено экономистами, инженерами, миллионами долларов, — это упирается в Уолл-стрит, в Белый дом, в республиканскую партию и в бандитские тресты — бедный мечтатель, желающий построить себе дачку на берегу Гудзона (или купить себе и своей «вумэн» «вайф» или «сюитхарт» — женщине, жене или сладкому сердцу — шелковое, а не «химическое» белье) — здесь он уже ни при чем, — здесь не только реклама, здесь — приказ, повеление, — здесь совершенно ясно, что и люди, и вещи дешевле самих себя, — и статистические выкладки знают, что не миллионы, а миллиарды долларов были отобраны у американцев таким образом — такими образами.

И над всем над этим — всюду, везде, на домах, на заводах, на перекрестках улиц, на церквах, даже на кладбищах, — американские национальные флаги, флаги, флаги, точно сплошной табельный день.

7

Знавал я в Нью-Йорке человека с Уолл-стрита, чувство к которому я передать не могу за отсутствием слов, передающих подобные чувства. Человек этот лет сорока, миллионер, сух и упрощен в движениях, как хороший перочинный ножик. Он не следует современной американской манере одеваться во все цвета радуги. Он придерживается традиций конца прошлого века, костюмов, символизирующих паровозную трубу. В его кабинете, рядом с тикером, ежесекундно связывающим его с Уолл-стритом, — телефонные трубки прямых проводов в Лондон и в Женеву (к его информатору с заседаний Лиги наций). Он не имеет никаких предприятий. Его метье: давать советы американским миллиардерам из дураков, куда и как вкладывать им свои миллионы, чтобы получать наибольшие барыши. Меньше чем миллионными суммами он не оперирует. Он очень неглуп, и он очень циничен, как полагается ему быть по его профессии. Он знает, если он будет давать плохие советы, безмозглые его пациенты найдут в себе мозгов для того, чтобы от него отказаться. Я увидел этого человека в минуту, когда он положил женевскую трубку. Меня и моего спутника, раскладывая перочинный нож правой руки, он встретил словами:

— Кризис, кризис и кризис! Я говорю моим пациентам, что придумать сейчас ничего нельзя. Иногда я говорю им, что самое лучшее и верное применение долларов, — это вкладывать их в вас, большевиков. По крайней мере, деньги будут целы до тех пор, пока вы сами не появитесь у нас!.. Или я говорю им, не плохо было бы организовать концерн по уничтожению советской власти. Собственно, не советской власти, — но создать акционерную компанию по доказательству, что кризис происходит благодаря советскому демпингу, большевистской агитации и заговорам. Открыть бы парочку

заговорчиков!.. — В тот и другой бизнес я дал бы по паре личных миллионов, своих собственных. Ручаюсь в доходности на первые шесть месяцев! — вы помните флоридские болота в двадцать шестом году?! — и не надо забывать, что ближайшее наше просперити создали — автомобиль, который стал для американцев каторгой, и прохибишен... При концерне против большевиков — какие публисити, хокум и амьюзмент![1] —

8

Что касается меня, то я, в отличие от королевы румынской (королевские дела — факт!), ничего под костюмом не подписывал и за костюм заплатил, равно как и из «Сент-Моритца», узнав его благодетель, сселился в квартиру, где я мог расплачиваться. И в первые десять дней моего пребывания в Америке я получил телеграмму:

«работать в Голливуде у фирмы M. G. M. стап договор десять недель стап столько-то долларов неделя» —

Я послал запросную телеграмму: как работать и что делать? — Ожидая ж ответа, я показывал эту телеграмму друзьям и знакомым. Друзья и знакомые оценивали телеграмму различно.

Один:

— Столько-то долларов мало.

— Но что же там делать?!

— Это безразлично. Меньше тысячи вам брать неудобно.

Второй:

— Ну, так и надо было предполагать.

— Что именно?! — я никогда не работал в кино и не знаю, что там делать!

— Это безразлично. А вдруг вы написали бы что-нибудь для Фокса или Парамоунта?! — лучше вам заплатить даже в том случае, если вы ничего не напишете, чем если вы напишете Фоксу.

Публисити! — реклама!

---

[1] Реклама, зрелища и развлечения (искаж. *англ.* publicity, hokum, amusement).

9

В Голливуд я ездил. Об этом ниже.

Кино — третья в USA индустрия, и эта индустрия — порядка амюзмента. Амюзмент — главная расходная статья американского потребителя. Кино, радио, автомобиль, прочее. Под Нью-Йорком, за Бруклином, есть учреждение массового, миллионного амюзмента.

Это — Кони-Айленд.

По летам, в праздник, там собирается до полутора миллионов нью-йоркцев для «гуд тайма» («хорошего времени») и амюзмента. Туда не ездят богатеи. Миллион людей — это Эстония, Литва, Латвия. Миллион людей — это массы.

Учрежденьице, называемое островом и городом, которое может собрать столько людей, — кроме того, что оно массовое, — оно любимое, и оно — не прыщ на пояснице, сиречь не случайно. Люди едут наслаждаться, наслаждаться во что бы то ни стало!

На десяток километров по берегу океана (а фактически, под другими именами, на сотню километров) тянутся балаганы, карусели, цирки, харчевни, музеи уродств, тиры, лотереи и прочее, прочее, прочее тому подобное, залитое электричеством, под национальными флагами. В один, в два, в три дня всего этого электрического наслаждения осмотреть нельзя. Московский парк культуры и отдыха не сравним никак, — хотя бы потому, что в Кони-Айленде нет ни одной травинки. Там: несколько саженей «бича» (пляжа), песка, залитого электричеством, перемешанного с апельсинными и бананными корками, с пробками от кока-колы, с газетными листами и прочими человеческими отбросами, — затем дамба и железобетон, засиженный, как мухами, автомобилями, десятками тысяч автомобилей, и заваленный людьми, как бич апельсинными корками. Ночь там так же светла, как день, — от электричества в небе, электричества на земле, электричества под землей.

Океана там не видно, и пахнет не океаном, но бензином, краской и горячими сосисками (называемыми «хотдогс'ами» — горячими собаками, что и соответствует истине). Пятьдесят, примерно, процентов людей,

переодевшись в автомобилях, валяются на бичах — бичуются — и ходят по набережной в купальных костюмах и в купальных пижамах самых невозможных цветов и оголений. Остальные народы наслаждаются зрелищами.

Эти зрелища воют, свистят, громыхают, мартирят, комарят, разливаясь трелями от гармошки до саксафона джаза, в экстатическом наслаждении. Эти зрелища жгут прожекторами, ракетами, фейерверками, всеми электрическими цветами и темпами. Орут живые и электрические клоуны. Гирляндами реют национальные флаги, братствуя с электричеством. Миллион людей — прет, хохочет, свистит, на ходу танцует, как на пароходе, со свистульками, с тещиными языками, в необыкновенных костюмах, — на ходу ест хотдогс'ы, целуется и обнимается. Веселье сверхъестественное! — веселиться во что бы то ни стало! — Веселье летит с каждого лица, с каждой руки, положенной на бедра, на талии, на плечи или на грудь соседа или соседки! — каждая нога ликует! — Галстуки мужчин развязаны. Женщины полуодеты, и очень большой процент женщин одет в белые иль цветные, предпочтительно полосатые брюки, широкие, как у матросов. Старозаветные американские традиции костюмов по принципу паровозной трубы, клетчатых брюк по принципу американского знамени, волосяных ошейников вместо бород, — исчезли. Американцы одеты во всяческие невозможные цвета, мужчины и женщины одинаково, в лиловые, зеленые, малиновые, желтые брюки, юбки и рубашки. И самый модный цвет — электрик!..

Пары и компании идут в Steeplechase, так скажем, в Сорок Одно Удовольствие, залитое электричеством и украшенное национальными флагами. Пары платят полдоллара за человека, на груди у каждого приколот жетон на сорок одно удовольствие.

Удовольствия начинаются сразу. Под электрическую музыку надо пройти сквозь трубу, которая вращается электричеством. В этой вращающейся трубе люди падают, хохочут и визжат. Вращающаяся труба не дает им встать, возникают невероятные позы, у женщин задираются юбки, если таковые имеются. Специально приставленные молодцы тащат веселящихся из трубы

за ноги. Дальше начинаются острые ощущения. Пары бросаются на электрические автомобили. Наблюдатель прокалывает на жетоне одно удовольствие. Шины на этих автомобилях надеты не на колеса, а вокруг автомобиля. Автомобиль на площадке приводится в движение электричеством. Автомобили летят друг на друга, стыкаются своими шинами, отлетают друг от друга, как мячики, налетают на третьи автомобили. Веселье сверхъестественное! Откатавшись, народы залезают на гору. Наблюдатель прокалывает на жетоне следующее удовольствие. Гора тщательно отполирована, со всяческими ухабами. Люди съезжают с горы на своей на собственной, парами иль шеренгами, держась за руки. Ухабы и горы разъединяют людей, неизвестно, где руки и ноги. Вокруг этой горы у парапета стоят зрители фантастических полетов. Иные оперлись о парапет. Вдруг через парапет пропускается электрический ток. Ток колет зрителей, иные обалдело вскрикивают, все хохочут. На тарелке, размером в цирковой ипподром (Америка известна размахами: так, в нью-йоркском цирке таких ипподромов три сразу, и на всех на трех сразу играют), — на этакую тщательно отполированную тарелку, на середину ее, забираются люди. Наблюдатель прокалывает на жетоне удовольствие. Тарелка начинает вертеться, вращаемая, конечно, электричеством. Один за другим люди срываются с середины тарелки и повисают на ее краях. Тот, кто сумел перехитрить центробежную силу и усидел на середине тарелки, имеет право повторить этакое удовольствие без жетонного прокола.

Качели всех сортов!

Карусели всех сортов!

Американские горы (которые в Америке называются русскими)!

Удовольствия! Наслажденья!!

Рядом с Сорок Одним Удовольствием — музей, где показывают самую толстую в мире женщину, самых маленьких карликов, самых страшных уродов, женщину и мужчину — рыб.

Рядом продажа национальных флагов, под которыми вопят армейцы спасения, завывая в свои трубы.

Рядом музей накожных заболеваний и зачатия ребенка (детям вход запрещен).

Рядом музей ужасов (детям вход не запрещен): здесь показывают те комбинации, которые застала или восстановила полиция при сенсационных убийствах. Бандиты зарезали женщину в постели, постель и женщина в крови, бандиты склонились над нею. Жена убила мужа в ванне, ванна полна крови, в руке полураздетой женщины нож. Муж зарезал жену в лесу. Сакко и Ванцетти на электрическом стуле, их лица искажены судорогой электричества. Все это сделано из воска в страшном изобилии ужасных выражений лиц и крови.

Рядом скелет кита, показывается за один цент.

Опять Армия спасения.

Рядом с гадальными учреждениями, куда заманивают гадалки, чтобы предсказать судьбу, стоит гадалка механическая, вроде автомата пригородных касс: надо опустить никель (пять центов), и судьба будет предсказана.

Рядом стреляют в тир, кидают мячи и кольца, чтобы выиграть тещин язык, свистульку, колпак, плюшевого мишку, пепельницу для автомобиля.

И есть в Сорок Одном Удовольствии одно удовольствие, которое покрывает все. На миллион людей всегда найдется сотня (или тысяча) дураков (или одураченных). Посреди Сорок Одного Удовольствия построены зрительный зал и сцена, украшенные национальными флагами. Зал всегда до отказа набит людьми всех возрастов и предпочтительно мужского пола. На сцене бессменно находятся два клоуна: урод-карлик, толстый, как паук, и урод-великан, сухой, как омар. Люди, ходящие по электрическим страхам, острым ощущениям, катающиеся на своей на собственной, в поисках дальнейших наслаждений национального флага, вдруг попадают в некий лабиринт, откуда нет обратного выхода. Они идут вперед. Иные понимают, в какую ловушку они попали. Другие ловушки не осознают. И это — безразлично, ибо отступления назад нет, на самом деле. Эти, попавшие в лабиринт, выходят на сцену. Зрительный зал гогочет от наслаждения. Из мрака лабиринта люди выходят в ослепительный свет прожекторов. Люди балдеют, совершенно естественно, эти мужчины и женщины, причем некоторый процент женщин, естественно, одет в юбки, причем женщины бывают молодыми и

старыми, худыми и полными. При виде женщин в юбках зал гогочет особенно вожделенно. Урод-паук и урод-жердь бросаются к оказавшимся на сцене в клоунской вежливости. Оба они вооружены палочками на проволоке, электрическими палочками, при прикосновении с которыми вспыхивает искра и которые больно электричеством колят. Урод-паук предлагает следовать за ним. И вдруг под ногами вышедших из лабиринта снизу вверх начинает дуть сжатый воздух. Музыка захлебывается разными пуками. Юбки женщин взлетают вверх, обнажая, что полагается и чего не полагается обнажать. Женщины судорожно хватают летящие юбки, стараясь собрать их и удержать на коленях. Но урод-жердь тыкает тогда электрической палочкой в их собственную. Женщины визжат от неожиданности и боли, хватаются за собственную, бросая юбки. Юбки вновь летят вверх. Иль женщины бегут куда попало. Тогда под ними начинает прыгать пол наподобие взбесившегося козла. Женщины теряют равновесие и хватаются за поручни. Но по поручням идет ток. Но воздух снизу их не подкидывает! — И никто, никогда, нигде, если он не был в Кони-Айленде, не видал таких выражений лиц, как у тех зрителей, которые сидят в зрительном зале этого удовольствия! — Зал хрюкает, хохочет, визжит, сучит и стучит ногами, — наслаждается! — За вечер таких зримых пройдет не меньше сотни, и сколько панталон, подвязок, а то и совершенно беспанталонья насмотрится этакий миллионный американский зритель! — С мужчинами поступается иначе, чем с женщинами. В тот момент, когда ветер срывает шляпу и мужчина за шляпу хватается, его тыкают сзади электричеством, и ловкостью рук урода-жерди, вместо канотье иль шляпы поддуваемого, нахлобучивается на его голову какой-нибудь шутовской головной убор. Поддуваемый и электризуемый замечает это лишь тогда, когда он выбрался из пытки обалдения. За шляпу он платил кровные доллары. Он секунду рассматривает то шутовство, которое оказалось у него на голове и о котором он узнал по хохоту окружающих. Он кидает это шутовство уродам и требует свою шляпу. Его шляпа лежит на троне среди сцены, ему говорят:

— Иди, бери!

Жалость к потраченным долларам и жалость к своему достоинству секунду борются, и человек идет за

своей шляпой. В тот момент, когда он протягивает за нею руку, шляпа летит в сторону, а вместо шляпы выскакивает из-под трона электрический урод, ужасно визжащий и пугающий шляпного обладателя.

Наслаждение невероятное!

Наслаждение сверхъестественное!

Зал гогочет, и музыка захлебывается, пукая.

Зал украшен национальными флагами.

Но самое замечательное заключается в том, — это по поводу секунды раздумья о стоимости шляпы и своего достоинства, — замечательно то, что зримые и одураченные выскакивали со сцены — веселыми, счастливыми, хохочущими, никак не обиженными. Ясно было, что ряд зримых проходил по этой сцене, украшенной национальными флагами, не в первый раз. Все, что полагалось, они проделывали со знанием и удовольствием, они получали удовольствие, одно из Сорока Одного!

Таких учреждений, как Сорок Одно Удовольствие, в Кони-Айленде несколько. Да и не только в Кони-Айленде. Они имеются повсюду, по всей Америке.

Часам к четырем ночи, под праздник и в праздник, Кони-Айленд пустеет. Тысячи людей прут в механическую вежливость сабвеев. В сабвеях нет контролирующих людей, во имя американской рационализации. Чтобы пройти на перрон к вагонам, надо опустить никель в крестообразный автомат, похожий на те крестообразные калитки, которые ставились в России на провинциальных бульварах, чтобы на бульвары не заходила скотина. Когда никель опущен, этот автомат рычит, вертится на четверть оборота, поспешно пропуская человека и подталкивая его для бодрости. Человек должен подпрыгивать, спасаясь от автомата. В поездах же сабвеев эти тысячи людей едут в тесноте и комбинациях, нашим трамваям не снившихся, хотя бы потому, что женщины у нас не ездят в трамваях на коленях своих друзей-мужчин. Но большее количество людей возвращается на автомобилях, знакомые, полузнакомые, познакомившиеся сегодня. И на автомобилях ездят также не по-нашему, ибо вот некая наяда со стрижеными волосами и в необъяснимом купальном костюме лежит на переднем крыле автомобиля, подставив раскинутые руки ветру, — иль экстренно влюбившаяся пара устроилась на крыше автомобиля.

Кони-Айленд горит заревами, фантастикой, фантасмагорией, обалдением электричества. Миллион счастливейших клерков, рабочих и работниц, домашней прислуги, приказчиков, портных расползается по своим этажам, разносимые электрическими лифтами.

10

По воскресеньям, когда миллион людей наслаждается Кони-Айлендом, иль даже полтора миллиона, — нью-йоркские газеты выходят на ста пятидесяти — двухстах страницах. Большинство этих страниц в газетах заняты объявлениями об американских чудесах. Но там в воскресном номере есть все для любого американца. Там сообщается о рейсах торговых кораблей, о курсе бумаг с Уолл-стрита, депеши из Чикаго о ценах на пшеницу, депеши из Нью-Орлеана о хлопке, а также о самой маленькой ножке самой большой красавицы. В номере напечатаны события, интересные только ирландцам. В номере есть страничка только для мужчин. В номере есть страничка только для детей. В номере есть страничка только для миссис и мисс, в модных картинках и интервью со знаменитыми красавицами. Литературные приложения. Театральная и математическая хроника. Хроника бокса. Иллюстрированные приложения.

И — страничка сатиры и юмора. Также иллюстрированная, в коей обязательно кто-то вылетает из окошка и попадает в бочку с водой. Или садится на бумагу для мух. Или вставляет в рот сигару горящим концом. Или муж прячется от жены под кровать. Или жена привязывает мужа на цепь к кровати. Это должно катать американца смехом. И обязательно анекдоты, вроде следующих.

«П е р е в е р н у л.

— Мой муж вот уже целый месяц не покидает меня по вечерам!

— Перевернул новый лист книги поведения?

— Нет, он перевернул автомобиль и теперь лежит в постели весь забинтованный!»

«З д р а в ы й о т в е т.

— Сколько тебе лет, милый мальчик?

— К сожалению, я не знаю. Когда я родился, мама говорила, что ей было двадцать шесть лет, а теперь ей двадцать четыре».

«П о с л е ф у т б о л а.

— Сегодня игра была совсем неинтересная.

— Да, ни одного курьезного пьяницы!»

«Ц е н и т а п п е т и т.

— Доктор, я ем свой обед без всякого удовольствия.

— Почему?

— Потому, что еда уничтожает мой аппетит!»

«Б о к с е р ы.

— Когда я наношу удар противнику, он чувствует тотчас же.

— А когда я наношу мой удар противнику, он чувствует только через неделю!»

«Х и т р а я в д о в а.

— Сударыня, вы не можете выйти замуж. В завещании вашего покойного супруга говорится, что если вы вновь выйдете замуж, то наследство целиком передается кузену вашего покойного супруга.

— Да, но я за этого кузена и выхожу замуж!»

«С и с т е м а о р у ж и я.

— Я хотела бы купить револьвер для моего мужа.

— Какой системы оружие ваш муж предпочитает?

— О, ему все равно. Он еще не знает, что я собираюсь его застрелить!»

«В м а г а з и н е.

— Я заметил, что ваш последний клиент ничего не купил, но ушел совершенно счастливым. Что он хотел видеть?

Продавщица: — Меня в 8 часов вечера!»

«С т а р а я з н а к о м а я.

Он (задумчиво): — Я, кажется, с вами знаком. У вас есть что-то такое, что мне кажется очень, очень знакомым...

Она: — Может быть, это мои панталоны? Я их взяла на эту ночь у мисс Морган».

«И с к р е н н и й с м е х.

— Мои подтяжки лопнули в самый разгар танцев...

— Воображаю ваше смущенье.

— Нет, я хохотал от души вместе с другими. Мои подтяжки были на моем друге Лоренсе!»

От этих сатиры и юмора — предлагается хохотать до упаду, как на поддувании в Кони-Айленде.

11

Очень много электричества!

Электричество по вторым этажам улиц Нью-Йорка и под землею развозит людей в пространство. Электричество растаскивает людей по этажам. Электричество запирает и отпирает двери квартир и домов. У иных домов, у подъездов, на стене около парадного, на доске против номеров квартир, находятся кнопки, рядом некое отверстие. Вы давите нужную вам кнопку, и из некоего отверстия вы слышите голос, спрашивающий, — кто звонит и кого нужно? — это хозяин квартиры вопрошает по телефону со своего этажа. Вы говорите. Хозяин говорит «о'кэй», и перед вами открывается парадное, запертое до сих пор. Это хозяин на своем этаже нажал соответствующую кнопку. Парадная дверь, открываясь, зажигает свет в коридоре. Вы входите в лифт. Лифт вспыхивает своими лампочками, и коридор проваливается во мрак. И так до двери в этаже. Электричество готовит и холодит кушанья, где есть электрическая плита и есть рефрижератор, производящий лед, этакий белый электрический ящик. Электрические: утюг, завивалка для волос, чайник, инструмент для поджаривания (и порчи — на русский вкус) хлеба для сандвичей. Швейные и пишущие машинки приводятся в движение электричеством. Белье стирается электричеством. В некоторых квартирах вы нажимаете этакую кнопку, и ваша кровать переворачивается в воздухе, лезет в стену, опускает стену за собою. В каждом автомобиле, совершенно естественно, есть аккумулятор, — но во многих имеется и радио. Гостиница «Сент-Морितц» построена по такому последне-электрическому слову техники, что я побаивался там касаться дверных ручек: тронешь ее, а в тебя электрическая искра, как в Кони-Айленде. Я долго добивался, почему это так. Толку не добился. Объясня-

ли это мне свойствами ковров. Не знаю. Но по поводу ковров и полов вообще должен сказать, что чистят их также электричеством.

Кроме электричества, очень много шума.

И такого шума, как в Нью-Йорке, нет нигде в мире. Стесненный Гудзоном и Ист-ривером с одной стороны, ставший на граните острова, то есть на крепчайшем фундаменте, со стороны другой, Нью-Йорк полез вверх, в десятки этажей, поставив рекорд стадвухэтажным Эмпайр-Стейт-Билдингом. Сто два этажа Эмпайра — это самая высокая точка в мире, построенная человеком, выше Эйфелевой башни и всех антенно-мачт и соборов. Внизу, под этими билдингами, остались улицы, сдвинув шумы домов, как гармошки. На Манхэттене десять авеню (авеню — это по-русски перевести — аллея!), идущих вдоль города, и без малого триста стрит (по-русски — улица), пересекающих город. На этих десяти аллеях четыре аллеи имеют вторые этажи, по которым ежеминутно мчат электрические поезда, мчат, сотрясая улицы и мозг, с воем и скрежетом. И нет в Нью-Йорке авеню, где не был бы слышен этот скрежет.

Все подземелья Нью-Йорка изрыты складами, сабвеями, подъездными подземными путями железных дорог, каналами городской пневматической почты, когда почтовые отправления развозятся по Нью-Йорку по районам с почтамта не людьми, но подземным воздушным конвейером. Громаднейшие в мире нью-йоркские вокзалы врыты в землю. Человек в Нью-Йорке, если он вздумает (но есть и такие, которых к тому побуждает судьба), — человек может неделями жить в Нью-Йорке, двигаясь по нему из конца в конец, проживая во множестве отелей, — может неделями не видеть — даже улиц, не только дневного света, — проживая под землей. И ни на секунду не перестает подземелье гудеть, выть, стонать этим своим поистине подземным чревом, выбрасывая шум на улицы.

В одном Нью-Йорке автомобилей больше, чем во всей Германии. Сейчас известно, что расстояние в три авеню и десять стрит пройти по Нью-Йорку скорее, чем проехать на автомобиле. Автомобилей на улице больше, чем пешеходов, в этом городе, автомобиле-непроезжем. Автомобили там идут колоннами, в метре

расстояния один от другого и в полуметре расстояния направо и налево. Автомобили больше стоят против сигнальных огней, чем движутся. Но автомобили шумят, как известно, пусть даже они ройссовских качеств. И эти шумы ежесекундно лезут в этажи и в нервы. Автомобили шумят круглые сутки, ночами больше, чем днем, ибо по ночам грузовики развозят все нужное этому миллионнолюдому городу.

Нью-Йорк — величайший в мире порт. И с Гудзона, и с Ист-ривера валят гулы и гуды тысяч океанских и десятка тысяч портовых пароходов, пароходишек и катеров.

Каждую минуту прорезывают вой города ни с чем не сравнимые полицейские сирены, сирены пожарных команд и карет «скорой помощи». Их сирены сделаны специально для того, чтобы заглушать все остальные шумы и приводить всех в онемение. Они и онемляют.

Я, покинув «Сент-Морнтц», поселился с моим другом Джо Фриманом на шестнадцатом этаже, на Второй авеню, почти на берегу Ист-ривера. И как в «Сент-Морнтце», и здесь я не мог спать. Я просыпался ночами и слышал, как воет радио, как за стеной сопит рефрижератор, вырабатывая лед, как свистит по нашим этажам рабочий элевейтор (лифт), развозя по этажам все нужное и развозимое по ночам для уездного города, нашего дома. Дом вздрагивал от пролетавшей мимо воздушной железной дороги. По мозгу чертой истерии проносились звуки подземки, проложенной под нашим домом. За окном, почти в уровень моего шестнадцатого этажа, были трубы нью-йоркской электростанции, говорят, самой большой в мире, и чуть ниже моего этажа в утробу этой станции валились вагоны с каменным углем, с грохотом и скрежетом грузоподъемных кранов. В облачные дни трубы электростанции и вершины небоскребов уходили за облака, и облака шли в уровень с крышей нашего дома, все выселяя из реальности в бред воев.

С Джо Фриманом, нью-йоркцем чистокровным, мы проехали на автомобиле всю Америку, от Тихого океана до Атлантического. Джо говорит по-русски, но говорит плохо. Я же на всех языках мира предпочтительно говорю только по-русски. И я стал примечать, что каж-

дый день к вечеру в нашем путешествии через Америку мы оказываемся в наивозможно большем по нашим дорожным местам городе и так устраиваемся, что обязательно у нас, если не под нами, или над нами, то рядом сбоку, либо поезда воют, либо заводы. Это хоть и не Нью-Йорк, но высыпаться плохо. Тогда я стал поступать по-своему. Едем к вечеру подальше от железной дороги, вижу гостиницу, — стоп, ночуем здесь, никуда дальше не еду! — Ночевали так ночь, ночевали другую, я спал отлично. А на третье утро Джо оказался совсем больным. Я его спросил, — что, мол, с тобою?! — Он ответил сиротливо и неохотно:

— Не могу спать, три ночи не сплю, птички мешают.

— Какие птички?

— Вот эти, на дворе, я не знаю их имени.

Названия птички я не добился, в силу плохого совершенства наших словесных общений. Поехали дальше. Увидели на поле стадо кур. Лицо Джо стало сердитым.

— Вот эта птичка, мужчина этих леди! — сказал Джо, указывая на петуха.

Когда мы подъезжали к Нью-Йорку, после перехода через Америку, — а был это субтропический июнь и ехали мы с полупленными от зноя носами, тщательно смазанными глицерином, — Джо ликовал в возможности нормально жить.

Я ж очень помню ощущение того заката, когда впереди стали дымы и горбы небоскребов нью-йоркского профиля, когда навстречу пошли шумы и бензины города. Я физически ощущал, что въезжаю в какую-то всемирную керосинку. Ведь если в Кони-Айленде нет океана, хоть он и рядом, то в Нью-Йорке на улицах надо дышать не воздухом, но перегорелым бензином, копотью машин и паровозов.

Ах, эта необыкновенная, механическая, сиротливая нью-йоркская грязь улиц, мусор газет и окурков в бетоне и удушье бензинового пота! — грязь, теоретизированная одним американским писателем, который говорил мне однажды ночью под мое удивление этими грязями и мусорами, в ночную нашу прогулку, — о том, что, мол-де, американцы — индивидуалисты, каждый

живет сам по себе и сам за себя отвечает, — поэтому, вы обратили внимание, в квартирах американцев чисто, но их не касаются улицы! — Ах, этот американский индивидуализм!

12

Но: кесарево — кесареви. Трюизмы бывают истинными очень часто, и трюизм истины, что доллар, только доллар, является хозяином, повелителем, мечтой, усладой американской морали — этот трюизм истины — истинен. И те, которые залезли за заборы долларов, кто имеет джаб (работу), бизнес (дело), — для тех — стандарты, несмотря на американский индивидуализм.

Это — для тех, которые залезли за заборы доллара. Европейский стандарт с американским не сравним. Для залезших за доллары и спрятавших доллары в благодетельность чековой книжки, оперщейся на тикер, для всех их в их квартирах обязательны мечты о радио, которое никак не положительно, об электрической кухне и о рефрижераторе. Залезшие за доллар мужчины и женщины должны спать в пижамах, утром каждый должен проходить в свою ванную, принимать душ или ванну, меняя ночное белье на дневное, — умывшись, люди уходят на работу, возвращаются после пяти, — мужчины должны менять дневной серый (или малиновый, или желтый) костюм и цветные ботинки на костюм вечерний, более темный, бриться, второй раз принимать ванну, — обедать, амюзментиться и ложиться спать, перед сном принимая ванну и надевая пижаму. Так должно быть. Очень немногие, даже долларствующие, имеют домашнюю прислугу, и дома они едят только брекфест, утренний завтрак, ланча (завтракая) около работы и диннеря (обедая) в порядке амюзмента. Работают, конечно, и мужчины, и женщины. Так утром, перед ванной, индивидуалист должен телефонировать в соседнюю лавочку, заказывая нужное ему для брекфеста, которое привозится ему рассыльным. Он должен уходить на работу. На несколько этажей имеется черная уборщица, негритянка, она подметает комнаты электричеством. Ланчит и

диннерит индивидуалист в городе, так положено бытом. И разнообразие столовых и ресторанов — невероятно, две из причин коего — алькогольная и национальная.

Разнообразие начинается от дрог-стори, сиречь аптеко-ресторанов, в которых можно лечиться, закусывая, и питаться, излечиваясь. По всем авеню расположены коробки так называемых кафетерий, механических столовых, где вдоль стен, за стеклами, стоят горячие и холодные едова, супы, салаты, мяса, рыбы, раки, закуски, сладости, фрукты, коки-колы, горячее и холодное. Желатель поесть идет вдоль этих стен, видит, что ему предлагается, решает о нужном ему. Каждое отдельное кушанье, которое он видит, стоит в автомате. Желатель, имеющий монеты, опускает монеты (разменные кассы, также автоматические, — тут же), и автомат преподносит ему ту самую порцию, которую он видел. В распоряжении едока мраморный столик, обслуживающий персонал убирает лишь грязную посуду. При этом в большинстве случаев часть посуды — стаканы, тарелки, ложки — тут же выбрасываются в утиль, — штампованные из бумаги тарелки, ложки, стаканы. И так как кафетерия, чистая и всегда белая, где можно пообедать до отказа сытно и вкусно за сорок — пятьдесят центов, в существе своем описана, то пусть будет речь о штампах. Тарелки, ложки, стаканы, не говоря уже о бумажных салфетках, — штампованы из бумаги, они употребляются всего один раз, и это гигиенично. Форд штампует свои автомобили. Но в порядке от штампованных «фордов» до тарелок расположены штампованные двери, рамы, кровати, столы, стулья, книжные шкафы, ножи, ложки, вилки, штампованные из железа, бронзы, бумажной массы, различных мастик, — штампованные в массовом порядке, и этот массовый штамп выбрасывает эти вещи на рынок миллионами и дешево, и эти штампованные — не только двери, стулья и заборные решетки, но и ножи для разрезывания книг, и лампы, и рамы для картин, и автомобили — сделаны отлично, изящно и удобно. И именно этот штамп дал возможность Вулворту организовать десяти- и двадцатицентовые магазины, очень брехать на кои не следует.

Каждый американец, судя по уверениям реклам, должен иметь свой автомобиль, — на самом деле этого

нет, — но тем не менее не говоря о богатеях, почти всякий мелкий буржуа, многие рабочие, четыре с половиною миллиона фермерских хозяйств (а всего их шесть) имеют свой автомобиль. Автомобиль стандартного американца, залезшего за доллар, управляется самим американцем, джентльменом иль леди, и содержится автомобиль за углом в публичном гараже, причем некоторые гаражи — в Нью-Йорке, в Чикаго, в Детройте — высотой этажей по десяти, где по этажам машины растаскиваются лифтами — причем автомобильные бани, предположим, построены в этих гаражах с не меньшим усовершенствованием, чем ванные для людей.

Дороги в Америке скорее похожи на заводские конвейеры, чем на дороги: конвейером по ним идут автомобили, и за работой на конвейере чувствуют себя на них шоферы. Дороги все в графиках «трафиков» правил движения. Федеральные дороги в иных местах имеют шесть, восемь полотен, то есть по ним проходит шесть-восемь машин сразу, четыре в одну сторону, четыре в другую. Не на обочинах дорог, и не на столбах, а на самом асфальте написаны белой краской — графики трафиков — «стап», «тихий ход», «лимит не больше шестидесяти километров», «лимит не меньше сорока километров», «школьная зона», «больничная зона», «через триста футов мост», «через триста футов овраг», «через триста футов гора», «через триста футов поворот», «железнодорожный переезд», — и кроме этих надписей, если дорога, предположим, в четыре полотна, эти четыре полотна разграфлены белыми линиями вдоль дороги для того, чтобы шоферы не зевали. Асфальт и гудрон дорог выверен по ватерпасу. Повороты, которые по-английски надписываются «curve», построены, как строятся трековые виражи — поворот налево — поднята правая сторона, поворот направо — поднята левая сторона, — когда не требуется менять на поворотах положения руля и нет оснований при быстрой езде слетать с дороги. Впрочем, все ж с дорог летают; в Америке наибольший процент автомобильно-человеческих смертей и увечий происходит не потому, что машины давят пешеходов, но потому, что машины сталкиваются или сваливаются с дорог; машины, которые слетели с дорог, которые разбились, — их не убира-

ют, они валяются по придорожным канавам в дополнение надписей на гудроне и в качестве памятников аварий; в год 1930-й от автомобильных аварий погибло американцев больше, чем в год мировой войны — тех же американцев на войне. На каждые десять-пятнадцать километров по всем американским дорогам, а в иных местах на полкилометра и лишь в пустынях штата Аризона километров на пятьдесят друг от друга, стоят автомобильные станции, бензинные колонки, починочные гаражи, шелли, ойли, «Дженерал моторс компани», «Форд моторс компани». Дороги заукрашены рекламными плакатами, и за плакатами попрятались отели. Американец, управляющий машиной, мотора своей машины не знает, да и вообще, кроме руля и тормозов, ничего не знает в машине; хорошо, если он умеет слушать мотор и чувствовать амортизаторы. Американцу предлагается ничего этого не знать: каждый раз, когда он набирает бензин, машина его, в плату бензина, инспектируется, а профилактика, как известно, очень полезна не только против малярии, но также против разрядки аккумулятора. Когда я менял масло в моторе, — было так раза два, — у меня записывали мой адрес, и я получал недели через полторы от автомобильной станции открытку, напоминавшую, что на моем счетчике было столько-то миль, когда я менял масло, дабы, мол, я не запамятовал сменить масло вовремя. Американец должен уметь лишь одно — вести машину. Это американцы должны уметь, и нынешнее поколение, должно быть, с этим умением прямо рождается: десятилетние мальчишки и девчонки за рулем — никак не редкость. Кроме управления машиной, американец должен знать правила езды, точнейшую сигнализацию, ибо он не просто едет по дороге, но соучаствует в конвейере езды. За каждое неисполнение этих конвейерных правил — штраф, но, если с вами случилась авария в поле, за вами приезжает автомобиль-мастерская. Российский шофер, если б он проехал по Нью-Йорку час времени с московскими правилами езды, — он был бы засыпан «тикетами», штрафными квитками, как снегом в метель, — и этого не произошло бы только потому, что его б угробили вместе с его машиной на нью-йоркских улицах в первые пять минут. Но мне од-

нажды угодилось сломать машиной в Нью-Йорке женщине плечо и руку; когда полиция расследовала этот «эксидент» [1], мне было сказано:

«Мистер Пильняк раздавил леди по всем правилам, виновата в эксиденте леди, а поэтому мистер Пильняк может требовать с леди стоимость разбитого об ее голову фонаря».

Дороги расписаны графиками трафиков и разукрашены памятниками разбитых автомобилей. Дороги загорожены рекламными плакатами, автомобильными станциями, гостиницами автомобильных клубов, туристских и спортивных обществ, отелями с различными названиями, вроде «Чикэн диннер» — «куриный обед». Все это залито электричеством и спутано телефонами. Дороги освещены по ночам за сотни верст от городов. Машины идут вереницами одна за другой в метре расстояния друг от друга, идут в иных местах со скоростью не меньше восьмидесяти километров. На иных спинах автомобилей висят плакаты, вроде следующего: — «Налетай, малый, разве ты не знаешь, что в аду есть еще место!» — Не только в городах, но и в полях, и в горах — не только надписи на асфальте, но и красные и зеленые огни, и перчатка полисмена сигнализируют машинам. Шмелями среди автомобилей, с акробатической ловкостью жужжат мотоциклы дорожной полиции. И американец едет по своим замечательным дорогам поистине в конвейере. Он ничего не видит, кроме кузова идущей впереди машины и крыльев машин, идущих справа и слева. Он должен следить за каждым своим жестом, чтобы он вел машину правильно, чтоб правильно шла его машина, — иначе — авария, смерть, — смерти в большем количестве, чем в мировую войну. Он должен следить за каждым сигналом на дороге. Он должен сигнализировать каждое свое движение, — например, «замедляю ход и хочу перейти к обочине», ибо у него прокол, — иначе на него налетят машины, идущие сзади его и сбоку. Машины и дороги — душат перегаром бензина. И индивидуалист, вылезший из конвейера дорог, увидав иной раз рекламу вместо природы, обалдело и блаженно стирает со лба пот конвейерного напряжения. Дороги, эти кон-

[1] Несчастный случай (от *англ.* accident).

вейеры, пересекли всю Америку вдоль, поперек, поперековдоль, вдолепоперек — железом, железобетоном и висячими мостами перекинулись через реки, через Колорадо, Миссури, Миссисипи, Потомак, Гудзон, — дамбами прошли по болотам и озерам, — тоннелями врылись в горы. И дороги там не имеют имен, но имеют номера, 66-я идет от Нью-Йорка, через Чикаго, до Калифорнии, 11-я — от Бостона, через Вашингтон, до Нью-Орлеана. Карты дорог раздаются бесплатно на каждой автомобильной станции и в каждом придорожном отеле. Маяковский в своих поэмах поражался Бруклинским мостом через Ист-ривер. Сейчас построены под Ист-ривер и под Гудзоном тоннели, чтобы разгрузить автомобильное движение. По осени 1931 года открыт мост через Гудзон, соединяющий штат Нью-Йорк со штатом Нью-Джерси: в первый день по этому мосту проследовали — около тридцати тысяч автомобилей, семь человек пешеходов и одна лошадь с коляской.

Если б автомобили в Америке были социализованы, то на каждого американца пришлось бы по сидению в автомобиле, и все американское население в одно необыкновенное утро могло бы на автомобиле ехать. Слово «поворот», «угол», по-американски изображается буквами «Curve», по-русски прочесть — «курве», по-английски произносится «кэрв»; эсэсеровский рабочий, практиковавшийся у Форда, естественно, обзавелся автомобилем, обучался управлять им и отписывал в письмах к жене, московской работнице, о своих успехах и неудачах; однажды он попал впросак и в руки полисмену, заехав куда не надо на каком-то повороте; он отписал жене и об этом, писал:

«...а еще у меня был «эксидент»: зарвался на «curve» и получил «тикет» от полисмена на трешницу...»

От жены из Москвы последовал строгий ответ: — ах, такой-рассякой, — разведусь!

Однажды в Калифорнии, в горах, я ехал с приятелями (на автомобиле, конечно), приятели затеяли спор о том, что правильно иль неправильно поступает штатное начальство, организовав работы для безработных, а именно постройку новой дороги в горах. Я спросил, где идут работы? Мне показали на дорогу вправо, уходящую в горы. Я попросил нашу драйвершу (шоферицу,

хозяйку машины и жену писателя) свернуть к работам, чтобы посмотреть безработных. Направо и налево вдоль строящегося асфальта, на километр стояли автомобили. Я спросил, — что за машины?

— А это приехали безработные на работу, — ответили мне.

Эк, подумаешь, какой в Америке стандарт, — безработные на автомобилях! — но дело-то в том, что автомобиль в Америке перестал быть предметом роскоши, стал первостепенной необходимостью, — машины старых марок стоят там двадцать пять-тридцать долларов, — рабочему они заменяют ноги, и безработный расстается с машиной в очередь последнюю, отрезывая от себя возможность передвигаться.

В горах Аризоны, в местах Майн Рида и Фенимора Купера, под скалами, работали два года тому назад, а теперь молчат по воле кризиса — заводы золотых приисков. Рабочие с гор и пустынь Аризоны, из мест «дикого» Запада и индейских традиций, разъезжаются на своих двадцатирублевых «фордишках». Сзади автомобиля привязана повозка. И автомобили и повозки набиты подушками, кастрюлями, радиоящиками, детишками, нищетой. Таких повозок ползет множество. Мы спускались с гор Аризоны к штату Нью-Мексико, запаздывали, спешили, было часов десять ночи (и было это во время нашего похода от океана к океану). На дороге фары нашего автомобиля осветили стоящий автомобиль, мужчину, роющегося в моторе, женщину, лежащую сзади машины на асфальте, кудрявые головенки троих детишек за стеклами кузова. Мы остановили нашу машину, чтобы узнать, в чем дело, и, быть может, помочь. Человек, роющийся в моторе, сказал о себе:

— «безработный; едет в Средний Запад, — непонятно, что случилось с мотором, — бензин есть, — а жена — у жены третий припадок эпилепсии за день, иссякли все деньги, и жена, и дети ничего не ели».

Мужчина был академичен. Детишки, несмотря на час, когда им пора было бы спать, весело болтали детскую ерунду про маму. Я смущенно дал рабочему два доллара. Джо укорил меня в скупости. Мы обещали из первого же гаража прислать механика.

Мы приехали в городишко и первым делом поехали в гараж. Человек из гаража не дал нам дорассказать о несчастии, которое мы встретили на дороге.

— Около моста? Милях в семи отсюда? — спросил он. — Так это наш Джон, наш нищий. — Ах, комик! — Он каждые два раза в неделю ездит на такую работу. Вы уже восьмой сегодня, который просит за него. Ах, юморист! — Сегодня он опять работает, значит, мне не дадут спать до часа ночи!

13

Америка — страна рекордов и техники. Был я в Среднем Западе на фермах. Был на молочной ферме. И — в коровьих квартирах на этих фермах коровам играет радио, чтобы коровы больше давали молока от успокоенных музыкою нервов. К каждой корове проведен свой собственный водопровод, чтобы коровы не питались из общей миски. Доят коров электричеством по конвейеру. Корова, коровы выходят на некоторую карусель размером в хороший ипподром, корова встает в стойлице. Карусель вращается по солнцу. Корова вместе со стойлом сдвинулась на размер стойла налево. В соседнее стойло входит вторая корова, а первой корове в это время душ льет мыльную воду под хвост, под живот, на вымя. Карусель передвинулась еще на стойло, корову поливает чистая вода, смывая мыло. Карусель передвинулась еще на стойло, корову под хвостом и в вымени сушит теплый воздух. Тогда в коровьи соски вставляется электрическая доилка. Когда корова привозится каруселью к первобытному своему месту, она подоена. Она подоена без прикосновения человеческих рук. Электрическая доилка гонит молоко по хитроумным трубкам, которые показывают химический состав молока, его водянистость, казеинность и жирность, которые стерилизуют молоко и разливают, герметически закупоривают его по бутылочкам, укладывая их в ящики.

Эти ящики везутся рефрижераторными автомобилями и поездами в города, к потребителю, где молоко прямо из коровьего вымени, без прикосновения человеческих рук, но стерилизованное, попадает в рот желающего попить молока.

Это — рекорд. Но был я в том же Среднем Западе и просто на фермах, где коровы доятся мужчиною-

фермером при помощи собственной его пятерни, не чище, чем нашими рязанскими бабочками, а проживают коровы в черных сараях под черепицей в традициях рязанских единоличных коров. И в том же Среднем Западе есть фермы, которые брошены фермерами волей кризиса и голода.

В том же Среднем Западе находится город Чикаго, а в городе — бойни. О чикагских бойнях написано множество. О чикагских бойнях, никак не отвлекаясь от темы, следует рассказать, что на них не механизировано только одно — предательство: на этих бойнях есть немеханизированные предатели — предатель-козел, предатель-боров, предатель-бык. Бойни вкопались глубоко в землю, там пахнет кровью миллионов скотин, там убитых. Гурты овец, свиней, коров, сброшенные поездами в подземелье с тем, чтобы через несколько часов в качестве филе, крайних мест, грудинок, колбас, консервов поехать в рефрижераторах по стране, — гурты в подземельях охватываются смертным ужасом. К обессиленным в смертной тоске выходит тогда спокойный боров (иль козел, иль бык), боров ласково толкает свиней, успокаивает и ведет за собою, успокоенных. Свиньи идут за ним, боров ведет их в узкий лабиринт коридора. В темном месте в коридоре, где свиньи идут гуськом одна за другою, боров вдруг отскакивает в сторону, исчезает, — но на свинью, на свиней, идущих за ним, набрасываются петли, и свиньи взлетают на механических канатах на конвейер, в смерть. А боров в спокойствии идет в новый загон, чтобы успокоить новый гурт!

Это уже не американская тема, — иль американская?! — но если вернуться к американскому молоку, то молоко попало в рот желателя попить молока прямо из коровьего вымени.

14

Все это — и молоко, и свиньи, и радиопринадлежности, — все это для тех, кто залез за заборы доллара.

Ах, доллар! — ох, американский индивидуализм! — эх, эти миллионы, которых поддувают в Кони-Айленде! — ну, Нью-Йорк! —

Впрочем, Нью-Йорк фактически на один этаж ниже, чем это указано цифрами: ни в одном нью-йоркском доме нет тринадцатого этажа, нет тринадцатой квартиры, нет тринадцатой комнаты. С крыш полунебоскребов я видел небоскреб Вулворта, пятый нью-йоркский по вышине, — того самого Вулворта, который по всей стране раскинул десяти- и двадцатицентовые магазины. В этих магазинах любая вещь стоит десять или двадцать центов, — стандарт американского индивидуализма. Десять центов ложка, записная книжка, носовой платок, чулок, ручка, чашка, стакан, зубная щетка и прочая, прочая, прочая. И: механический гадальный аппарат — десять центов! — который предсказывает будущее, построенный наподобие перронных автоматов. Этакие ж автоматы торгуют папиросами, спичками, почтовыми марками, шоколадом, мятными конфетами, чуинг-гомом (сколько его, этого чуинг-гома, сиречь жевательной резинки, пережевывают американцы, в подземельях сабвеев и на заводах некурящего Форда!), и прочая, прочая, прочая порядка американского индивидуализма. Механический же гадательный предсказатель будущего, подпертый отсутствием тринадцатых этажей, повторил мне мою американскую подружку, полузнаменитую актрису, которая каждые две недели ходила завтракать в цыганский ресторан на Пятую авеню, где в плату ланча включалось цыганское гаданье о будущем!.. —

И все это, механическое и цыганское гаданье, отсутствие тринадцатых этажей, все это упирается в:

— больше ешьте! больше пейте! больше! больше! больше! слепните от реклам! задыхайтесь бензином! глохните ревом города! давитесь автомобилями и радио! —

Когда можно лирически рассуждать, что город вместе с людьми сошел с ума, стал на дыбы, чтобы улезть в никуда и в нечеловечность, спутав всяческие перспективы.

15

И все у американцев — спорт. При этом понятия — спорт, рекорд, о'кэй — понятия равнозначащие. Костюмы у американцев — спорт (и рекорд, и о'кэй!).

Автомобили у американцев — о'кэй, спорт. На каждом пустыре в Нью-Йорке, и во всей Америке — гольф-площадки, размером в пинг-понг, — спорт, равно как и бокс, и теннис, и футбол, о'кэй, рекорды. В Чикаго, на крыше небоскреба, на мачте провисел человек целый месяц, на мачте пил, ел, спал, жил, — спорт, рекорд. В Чикаго же, в некоем дансинге, со дня открытия его, две тысячи часов непрерывно танцевали — спорт, рекорд (и публисити, конечно), о'кэй. Два паренька оттащили от своего дома автомобиль на десять шагов, без бензина, и проехали на нем, не купив ни капли бензина, выпрашивая у встречных по литрику, две тысячи миль, — спорт, рекорд, писали в газетах. Линдберг сел на аэроплан, никому не сказавшись, и перелетел через океан, — спорт. Его, Линдберга, коллега, позавидовав Линдбергу, влез в аэроплан и мотался на нем три недели над Нью-Йорком, пил там, ел, и ему туда с лету переливали бензин и масло, — спорт и рекорд, даже мировой, — о'кэй, газеты с ума сходили. Обувь — спорт. Поддуваться на Кони-Айленде — спорт. Замечательно спортивная страна! — все — спорт, даже бандитизм.

И — очень много национальных флагов! — в Калифорнии, в Нью-Йорке, в Санта-Фе, в Нью-Орлеане, в Буффало, — на поездах, на пароходах, на улицах, в ресторанах, на оберточной бумаге, на стеклах магазинов, в клубах, посреди полей, на вышках гор, — флаги, флаги и флаги! — флаги бессменно, точно сплошной табельный день скачущего штандарта и стандарта. Флаги даже на кладбищах!

Так много национальных флагов, что начинает заползать раздумье: не национальными ли флагами заменена нация? — Ведь можно построить парадокс и утверждать, что в Америке нет американцев. Следовало б коренными американцами считать индейцев, — но они — иль вырезаны саксами, иль ассимилированы испанцами, и: индейцы, проживающие в USA, в американских гражданах — не состоят! — американские индейцы даже не граждане американской республики Соединенных Штатов! Англичане — родоначальники Америки, — но Англию в Америке наибольше не любят, со дней войны за освобождение. Приезжает в Париж, в Москву этакий человек, за пять метров видно —

американец, человек неловкий, смущающийся и от смущения чуть-чуть угловатый, человек добродушный и пахнет, кроме французских духов, долларами, — так вот разговоритесь с ним, — не Котофсон ли он?! Город Нью-Орлеан — легкий французский город, его улицы названы генералами французской революции, и на этих улицах французская речь. Итальянцев в Нью-Йорке больше, чем в Риме, и самая большая итальянская газета в мире выходит не в Риме, но в Нью-Йорке. Штат Нью-Мексико своим названием говорит, что это штат мексиканский, в этом штате живут католики, мексиканцы и индейцы, и там говорят по-испански. Писатель Теодор Драйзер — американский классик — говаривал мне, что себя он считает немцем. В самые первые мои американские дни был я несколько часов сыном святого Патрика. Есть у ирландцев такой просветитель, коего ирландцы считаются детьми. В этот день по Пятой авеню ирландская мелкая буржуазия ходила с флагами и песнями, а вечером буржуазия крупная — Патриковы дети, капиталисты, адвокаты, инженеры, ксендзы, судьи, прокуроры, — обедали. Оказался случайно и я на конце этого обеда. Один миллионер, забыл фамилию, тряс меня за плечи, одновременно за плечи мои держась, силился и никак не мог собрать свои зрачки на моих очках и говорил:

— Ты Пильняк, мне говорили, — у тебя — голова!.. У тебя голова, а у меня миллионы, — давай вместе!

Двоегражданство ж американцев имеет ряд последствий. В Нью-Йорке и во всей Америке вы найдете рестораны французские, испанские, китайские, японские, английские, немецкие, итальянские, польские, русские, — но американского ресторана там не найдешь. За американским рестораном надо ехать в Токио, в Шанхай, в Париж (к Ритцу), в Лондон (к Ритцу) и в прочие ритцевые столицы, и даже в безвкусицу московского Гранд-отеля, бывшей Большой Московской. Разве лишь кафетерии, механическая вежливость, — есть американское изобретение, — но грейпфрут американцы едят по-английски. Американцы придумали мороженое «эскимо-пай». Но нью-йоркцы решают перед обедом о том-де, что следует сегодня поесть французской спаржи, а завтра протравить себя испанскими спе-

циями и текилой, мексиканской водкой, делаемой не то из кактусового, не то из агавового сока, самой жестокой в мире. Двоегражданство помогает, конечно, американскому ницшеанству. На фордовских заводах ставят рядом разнонациональных рабочих, чтобы меньше разговаривали один с другим. Наплевать мне на итальянца, раз я ирландец! — Американское двоегражданство надо помнить всегда, когда речь идет о быте, — и ни в коей мере не стоит отдавать предпочтение англичанам. Американская национальность возникает тогда, когда речь заходит о долларе, ибо —

— американский флаг!

И все — доллар! и все — в долларе! Человек окончил университет, и человек, читающий в газетах только об убийствах, один зарабатывает — университетский человек — доллар, а второй в это же время — пять долларов: уважаем тот, кто зарабатывает пять. Человек окончил университет, но другой бандит, — второй получает больше, и он уважаемее. Люди ученые, люди, занимающиеся гуманитарными делами, даже чиновники, — люди второго сорта. Если не можешь быть мэйк-манейщиком [1] — ну, так иди учиться. Хороший игрок в гольф — куда до него хорошему ученому! — Студентов следует спрашивать не о том, какого они факультета, но какой команды — футбольной, баскетбольной или хоккейной? — Заниматься теориями — ерунда, если их нельзя сразу же обернуть в доллары.

И — патриоты! — в восторге от самих себя, в восторге от своей страны (пусть у половины американцев даже отцы не родились в Америке)! — Америка — вершина человечества и цивилизации, венец творения! — и американцы — никак не космополиты: — что такое Европа или Азия?! — Афины, это где — в Мексике? — Москва, — ах, да, это, кажется, в штате Кентукки! — Одиссей, Вольтер, — это бондарь со Второй улицы? — но вообще это не важно, Америка никем, ничем и нигде не превзойдена и не может быть превзойдена! — впрочем, если европейцы там что-то придумывают, так это только для Америки! — все остальное — пустяки! — наш национальный флаг — даже на кладбищах!

---

[1] Зарабатывать деньги (искаж. *англ.* make money).

Впрочем, если послушать иных американских граждан, оказывается, что все, написанное выше, никакого отношения к Америке не имеет. Даже Нью-Йорк, оказывается, никакого отношения к Америке не имеет. Америку, оказывается, надо искать в Среднем Западе. Оказывается, Америка, как была сто лет тому назад, так и теперь живет в демократии, в пуританстве, в свободе слова, совести и вероисповеданий, в страшной добродетели, трудолюбии и целомудрии. По праздникам ездит в церковь, причем некоторые церкви построены так универсально, во имя свободы вероисповедания, что в них помещены подотделы — лютеранский, католический, методистский, еврейский и прочие. По понедельникам, дескать, Америка стирает белье. Живет в страшной нравственности полов и охраняет эту нравственность такими, например, законами, по которым не родственники и не муж и жена не могут вместе (в автомобиле, коляске, лодке) вдвоем переехать из штата Нью-Йорк в штат Нью-Джерси, то есть переплыть через Гудзон, и должны быть арестованы за прелюбодеяние, — а муж и жена имеют строгое расписание своих семейных обязанностей, разреестренных на год вперед. Населяют Америку, дескать, демократы, когда фордовский рабочий может похлопать Форда по плечу и сказать: — «Хэлло, Генри!» — (что касается Форда, то это самый недоступный в Америке человек, живущий в крепости, почти никого не принимающий, но действительно раз в году появляющийся среди рабочих, когда его соработники должны кричать ему — «хэлло, Генри!»). Не важно, дескать, — скажут вам, — чем ты зарабатываешь деньги, — и вечером на скамеечке около дома, в клубе иль в ресторане все равны, все кланяются друг другу, и — в провинции — жена бондаря знает, какая курица сегодня на обеде у жены шерифа.

И — действительно, свидетельствую — все это имеет основание до сегодняшних дней, не только для Среднего Запада даже, но даже для Нью-Йорка. Прошлый американский век пуританизма то там, то тут вдруг выползает из сна времен и приводит в недоумение, ибо с автомобиля современных американских скоростей вдруг попадаешь в кованную железом медленность пионерских фур. Это он путает очень многим по очень много количеству

пунктов мозги. Это он зажигает свечи и поручает интеллигентам строить коттеджи в стилях избушек дровосека. Это он из городов по деревням, а не наоборот, посылает крестьянские платья. — Это он свел меня с некоей женщиной в бронкском парке, в дожде —

16

Это он свел меня с моими соотечественниками-американцами и с Эйми Мак-Фёрсон, в Лос-Анджелесе, в Калифорнии.

Я прочитал:

Песнь 91

Любодейца в Содоме,
Живет она в Вавилоне;
Сидит она на престоле;
У ней чаша в руках;
Полна мерзости в устах.
Она сидит, укоряет,
Избивать всех желает,
«Святой боже, святой наш,
Отомсти ты ей при нас,
Чтобы очи наши видели,
Чего мы ожидали:
Чашу гнева ты излей,
С лица земли, ты избей:
К пропасти ее отведи».

И так далее.

Богу слава и держава,
Во веки веков. Аминь!

Песнь эту я прочитал в книге, которая называется: «Сионский песенник столетнего периода. Христианской Религии Молокан Духовных Прыгунов в Америке. Первое издание в Лос-Анджелесе 1930 года». Издана книжка отлично, в кожаном переплете. В отделе «от издания» я узнал:

> «Приступив к первому изданию Сионского песенника, объясняется. Содержание песен и на-

певы разделялись на унывные, торжественные и средние. Будучи пропеваемы соответственно обстоятельствам жизни: при страдании, печальном положении, с коленопреклонением, воздетыми руками и слезным плачем; а при благополучии — радостном настроении торжественные, с духовной пляской, попросту: бесформенным прыганием. Такие песнопения дают подкрепления плачущим и утешения торжествующим. Когда в собрании плачут, молятся, благодарят, славят своего господа, песнопения с прославлением святых, крайняя степень восторженного возбуждения, доходящая до исступления, до самозабвения, вызывает духовный пляс».

Я был у этих моих соотечественников-американцев.

Сумерки по субтропическим местам переходят в ночь стремительно. Надо было проехать центром Лос-Анджелеса, переехать через мосты железнодорожных путей, попутаться в переулках. И — Расея мать! — за палисадами белые избушки типа кавказских, кавказско-русских построек. На перекрестке — православная, прости, господи! — лужа, как у Гоголя, — но над лужей американский фонарь. У двух женщин под фонарем, очень дородных, в белых, похожих на ночные рубашки, платьях и в белых платочках спросили по-русски, — где находится молитвенный дом? — Ответили обе сразу, приветливо, крестьянски-русски напевно, — объяснили. Поровнялся с нами «форд» серии Т, высокоосный, остановился, — человек с бородою, как лес, в белой русской рубашке, спросил:

— А вы кто такее, братие, будете?

Объяснили, сказали, что, мол, вот один такой приехал недавно из Москвы, хочет побывать на молении. «Форд» поехал перед нами, показал дорогу. Я ехал за этим «фордом» и размышлял о том, что — надо ж было отмахать пол-земного шара, чтобы вот повидаться с соотечественниками и повидать прыгунство! — но я ж помнил о том, что в Берлине, в американском консульстве, мне предлагалось веровать в Бога, — и прыгунов я хотел повидать не только потому, что они русские, но и

потому, что они — американцы. Подъехали к зданию, похожему на сельскую русскую школу, поднялись на терраску, вошли в большую, человек на полтораста, комнату, освещенную электричеством. Слева в углу стоял стол, покрытый белой скатертью, на нем лежала Библия. От стола перпендикулярно друг к другу шли ряды скамей, — на скамьях от стола в глубь комнаты сидели женщины, на скамьях от стола к двери сидели мужчины. И мужчины, и женщины были в белом. Волосы женщин были повязаны белыми платочками. Мужчины были очень бородаты. Бородное зрелище в нынешней Америке — дело чудное. Моложе тридцати пяти лет ни мужчин, ни женщин не было. Женщины на подбор дородствовали. Александр Браиловский, который привел нас, научил, как надо кланяться. Мы поклонились, нам ответили. Я с наибольшим вниманием рассматривал электричество: прыгуны, как известно, удовлетворяют американским божественным требованиям, и американские власти поставили прыгунам одно лишь божественное условие — не тушить во время радений света, радеть при полном электричестве.

За столом, за скатертью сидели старейшины — плотноплечие старичищи — и вели духовную беседу, обращаясь с вопросами и за словом к председательствующему.

— А вот, Иван свет Карпович, видел я нынче сон: еду я на каре, припарковался по всем правилам около своей плантации, и вдруг вижу, идет моя Марфа с колерным, спикают, а в руках у негра факел, и негр смотрит строго, как я припарковался.

На русский язык перевести эту фразу надо со следующими поправками: кара — кар — автомобиль; парковаться — ставить машину в указанном месте, по правилам; плантация — поле; колерный — негр; спикают — говорят. Говорил старичище елейно, пошамкивая, напевно.

Иван Карпович молвил, расправив бороду и проникновенно:

— Мда, этта, конешно, — сон... В Священном писании сказано... мда, этта, колерный, конешно, диавол-вельзевул... А факел у него в руке, мда...

Одна из баб, сидевшая на женской скамье, подперла щеку и сокрушенно вставила словцо:

— И хвакел, заметьте, горит красным полымем, будто ойлевый-нехфтяной, а я спикаю, а что спикаю — не помню...

Иван Карпович молвил проникновенно:

— Не помнишь, сестра, про што спикала?.. Мда, — а я табе объявлю. Нес этот вельзевул этот факел, чтобы омрачить глаза духовных христиан. Попрыгать тебе надо, Марфа, как следует попрыгать, мда...

Другой старик завел другую духовную речь:

— А я хотел побеседовать, — кредитовался у меня на десять долларов один шабёр, имя его умолчим ввиду его духовного братства, надо ему прикупить силосу, обещал отдать на тоем молении и не отдал по сие время... духовно он поступил ай нет?

Иван Карпович молвил, проникновенно по-прежнему и опять поправив бороду:

— Мда, этта, конешно... в Священном писании сказано, мда...

Этак духовно поговорили еще тем на пять. Подобрался народ. Каждый приходящий кланялся поясным поклоном. Когда духовные темы иссякли, а народ подошел, Иван Карпович прочитал страничку из Священного писания, на славянском языке, — этакую страничку белиберды, вырвавшуюся из средневековья во американские утверждения, что Америка, как была сто лет тому назад пуританской страной, так и существует поныне, стирая белье по понедельникам, веруя в любого бога и пребывая в целомудрии, когда из штата Нью-Йорк с неженой нельзя проехать в штат Нью-Джерси. Читал Иван Карпович ритмично, почему-то задыхаясь, почему-то волнуясь. И, когда он кончил читать, я увидел, что собравшиеся уже экзальтированы.

— Попоем, братие, — крикнул Иван Карпович.

Отодвинули стол и скамьи, люди стали, мужчины и женщины, двумя группами, под прямым углом друг к другу, запели:

Мир вам, братцы и сестрицы,
Вы зачем сюда пришли.
  Дух, дух, дух,
  Вы зачем сюда пришли!..

Вы зачем сюда пришли,
Много казни принесли.
    Дух, дух, дух,
    Много казни принесли!..

Много казни принесли,
Вы какие труды несли.
    Дух, дух, дух,
    Вы какие труды несли!..
Вы какие труды несли,
Вы трудились ли о том,
Сознаете ли дух отцам...

Песнь очень длинна, выкидываю три четверти и привожу конец в сокращении для иллюстрации глупостей:

Мы не знаем, как нам быть,
На каком судне нам плыть,
А мы сядем на корабль,
Каждый будем богу раб,
А наш господь есть один,
Ему славу воздадим,
Богу слава и держава,
Во веки веков. Аминь.

Надо отдать справедливость — пели исступленно, восторженно, изуверски. Сумбур совершенно бессмысленных словесных наборов прыгуны пели, начав замедленными ритмами и ритмы затем все время ускоряя. К концу песни — была уже не песнь, но истерический, гипнотический, замкнутый круг ритмов, вой, когда непонятно было, как у этих людей хватает дыхания для этих, замыкающихся в истерию и в гипноз, все убыстряющихся, все нарастающих в исступлении слов.

Первым запрыгал тот самый, который духовно толковал о десяти долларах, ему не отданных вовремя. Это было просто страшно, и это вываливалось из ритма, и это —

— бородатый человек лет пятидесяти, широкоплечий мужик, чернобородый и черноглазый, в кованых сапогах, исказив лицо в бессмыслицу, вдруг запры-

гал, — прыгал он очень высоко и, казалось, прыгал затем, чтобы проломить пол, так остервенело он долбил его своими подковами сапог, — он приседал на корточки, откидывал руки назад, взлетал в воздух и свирепо подставлял каблуки полу, он делал это все быстрее и быстрее, — он закричал, переплетая свои откровения святого духа, сошедшего на него, со словами песни:

— Дух, дух, дух! — а кто взял десять долларов — не скажу! не скажу! — а мы сядем на корабль! — дух, дух, дух! не скажу!..

Он упал на минуту, повалялся в бессилии и поднялся бледным, ничего не понимающим, стал опять на свое место, продолжал петь. В это время прыгали двое других мужчин и одна женщина. У женщины сбился с головы платок, рассыпались волосы, ее белая рубашка-юбка взбилась выше колен.

Действительно, белье стиралось по понедельникам! — Надо ж было проехать ровно половину земного шара, когда я к Москве был вверх ногами, — — чтобы увидеть этакий бред, благословленный американским пуританизмом, что ли?! — Видеть прыгающих людей было попросту стыдно.

Средневековье неистовствовало, и его стыдно было видеть потому, что прыгали, искажая лица и тела, — люди. Когда я выходил из моленной, вслед мне вышел один из молящихся. По-домашнему просто он спросил меня, — «вы будете такой-то?» — я ответил. Собеседник сказал:

— Читал о вас в газетках. Ну, как на родине? — разрешите мне вас после моления попросить ко мне попить чайку, — не откажите, расскажите про СССР. Мы посылали в Москву к Михаилу Ивановичу Калинину ходоков, — собирались вернуться. Только вот — попрыгать, — от этого мы не откажемся.

Я ходил чай пить к этому человеку. Канонный русский мужик, канонный кулацкий быт. Отличие лишь в том, что рядом с коровой на дворе, вместо лошади, стоит «форд», да вместо русского «нет», он говорит английское «ноу». Приехали прыгуны в Америку лет двадцать-двадцать пять тому назад, поселились на пустых местах. Лос-Анджелес тогда сам был немного больше, чем их, молоканская, деревня. Занимались

сельским хозяйством. Сельское хозяйство сейчас на втором плане, главным источником существования сейчас является ветошничество, собирание мусора в Лос-Анджелесе, — дело, которое молокане монополизировали. Молокане ныне — совершенно естественно — американцы, граждане страны пуритан.

И там же в Лос-Анджелесе — городе Ангела — видел я Эйми Ферсон. Надо мне было побывать на вокзале, встретить Ала Люэна, моего супервайзера. Приехали на вокзал и: — толпища народа, кинодеи на заборах, сумятица, американские флаги. Цветы, автомобили, пренарядная толпа, и, предпочтительно, молодежь, люди до тридцати лет. Приезжала Эйми Мак-Фёрсон.

— Что такое, — спрашиваю, — за Эйми Мак-Фёрсон? кинозвезда?

— Нет, — рассердились, — святая!

Приезжала калифорнийская святая. Устроился с кинодеями на крыше автомобиля, чтобы рассмотреть. Святая ездила путешествовать по Европе. В Америке миллиардеры могут заказывать себе отдельные вагоны, — так вот на пороге такого вагона появилась женщина в наимоднейшем платье, возраста которой — изза наличия наличных красок — разобрать нельзя, не то семнадцать, не то тридцать семь, очень красивая. Женщину стали осыпать цветами. Заработали кинодеи. Изза нее и из-за цветов высунулся мужчина, — сразу видать — сутенер и любовник. Женщина изрекла, толпа перелистала ее слова до крыши моего пребывания:

— Будьте вечно молоды, мои христиане!

За женщиной, за сутенером из вагона полезли чемоданы и круглые для шляп картонки. «Ройсс» усадил женщину и сутенера в свое покойствие. Рассмотрел ее из близи: красивая женщина, уже потрепанная, раскрашенная, как актеры в гриме. Толпа неистовствует, всем весело, и все рады. Штандарт скачет.

Добивался толку, — в чем дело?! — и толка добиться не мог. Ездил на моление в честь приезда Эйми Мак-Фёрсон. Так, скажем, храм построен в стиле эллинских храмов, — этакий эллинизм по американским понятиям! — Все завалено цветами. Не знаю, как правильнее выразиться, — алтарь или эстрада: на эсталтраду вышла эта самая Эйми Мак-Фёрсон, преразна-

ряженная, и велела допрежь всего всем перецеловаться. Затем попели. Затем Эйми стала рассказывать о своей поездке по Европе, о Боге, о парижских модах и ритцево-божественных нравах. Так, скажем, храм набит был людьми в возрасте от двадцати пяти лет до тридцати пяти: клерки, магазинные продавцы и продавщицы, домашняя прислуга. Что такое?! — Игорь Северянин в юбке, что ли?! — Эта женщина, спрятавшись однажды у любовника, объявила себя украденной, — дескать, три дня проводила в пустыне, — как сообщалось в газетах, — и спаслась только по воле Христа. Эта женщина доказывает, что самое главное добро заключается в красоте, которую категорически требовал Иисус Христос, поэтому мужчины должны как следует причесываться, носить наимоднейшие костюмы и галстуки, женщины ж никак не могут отставать от моды и обязательно для-ради Христа должны краситься, пудриться, укорачивать иль удлинять юбки по мере сил и моды. Эта женщина доказывает, что все должны как можно больше целоваться и обниматься во имя Христа, поелику это красиво. У этой женщины легализованный любовник, под-Христос, что ли? — И все! Над храмом — американский флаг!

О госпоже Мак-Фёрсон рассказано в дополнение к молоканам, духовным прыгунам.

В те же самые дни однажды шел я по набережной Санта-Моника под пальмами.

— Борис Андреевич!

Оглядываюсь: — Перетц Гиршбейн.

С этим чудесным человеком, еврейским писателем, впервые я встретился в Японии, в свое время я написал о нем рассказ, который называется «Олений город Нара». Тогда, в первую мою встречу, меня поразило в этом человеке то, что он все время путешествует, — он объездил весь земной шар — Африку, Австралию, Азию, Америку. Тогда, до Японии, он путешествовал уже целый год, и мы уславливались встретиться через два года в Москве. Он должен был из Японии ехать в Китай, в Индию, в Палестину и — в Москву. Я спросил его тогда, почему он так много ездит, почему у него такая воля видеть? — он ответил мне, что он ездит не потому, что он хочет видеть, но потому, что он не хочет видеть

виденного. Поздоровались, пошли ко мне, удивлялись необычайностям наших встреч. Вечером ездили к прыгунской молодежи уже американской генерации.

И это было уже совсем отличное зрелище от того, что я видел, когда люди прыгали, — и было это не в моленном доме, а в школе. На скамьях сидели юноши и девушки, одетые и причесанные американцами. Речь была предпочтительно английской. Бородатые отцы на задних скамейках выглядывали недоразумением. Юноша в спортивном костюме произнес речь на английском языке, изредка вставляя в нее славянско-евангельские тексты. Старец говорил поучения, вроде тех духовных собеседований, которые рассказаны, — так его речь у молодежи вызывала смешки, особенно в особенно глупых местах. Девушка, опять на английском языке, прочитала по бумажке, страшно волнуясь, классное сочинение про прыгунского бога. Ни о каком плясе и помину не было, — так, диспут в колледже при родителях. Этак просидели часа полтора, и затем ребятишки валом и отдохновенно повалили из класса. Вторая генерация прыгунов — это уже американцы, плохо говорящие по-русски, спортсмены и люди, ходящие в школы и колледжи.

Пишется сейчас это во разрушение моих же утверждений, что в Америке нет американцев, — есть, оказывается: это те, кто собраны под американскими флагами. Я принял виденное у прыгунской молодежи к сведению — Джо этому порадовался, — и вдруг мы с Джо увидели, что очень опечален Перетц Гиршбейн, в большей степени, чем прыгунские старцы.

И по дороге домой, и дома заполночь у нас был разговор — о следующем. Джо говорил, что второе поколение евреев в Америке — уже не евреи, но американцы, что еврейские газеты умирают с каждым днем, что еврейские писатели в Америке, в этой богатейшей стране, вынуждены издавать свои книги в Польше. Джо и Перетц — писатели, оба евреи, — и Джо считал правильным, что он пишет на английском языке. Джо утверждал, что еврейский вопрос существует только там, где есть гонение на евреев; когда этого гонения нет, евреи перестают быть евреями, становясь американцами, — и не случайно поэтому еврейские издательства,

которые издают еврейских писателей, и Перетца в частности, находятся в Польше, одной из отсталейших стран. Джо считал не только закономерным, но и положительным ассимиляцию евреев, и он утверждал, что ему не важно — эллин иль иудей, но важен трудящийся человек, и он утверждал, что еврейский вопрос есть пережиток средневековья, он должен исчезнуть, и нет ничего страшного в том, что, мол, вот — Пильняк, немец по происхождению, состоит в русских писателях, и очень хорошо, что прыгунские дети не прыгают и чувствуют себя американцами, интересуясь комсомолом. Перетц не мог отрицать фактов, Перетц очень нервничал. Он говорил о прекрасной истории еврейского народа и недоумевал, почему следует сохранять историю английского или русского народа, и недоумевал, почему следует сохранять историю английского или русского языков, и надо уничтожить язык еврейский. И Джо, и Перетц перебирали судьбы еврейских колоний на земном шаре. Вдруг наново осветился передо мною образ Перетца, этого трагического человека и писателя. Я вспомнил мой киотский с ним разговор, когда он мне ответил, что он ездит по миру не для того, чтобы видеть, но чтобы не видеть виденного, — этот человек, положив себе в карман американский паспорт, ездит по земле, чтобы найти уходящее гетто, чтобы сберечь своего читателя, свой народ, который от него уходит. Гетто в Америке умирает со вторым поколением, как со вторым поколением умирает прыгунство.

Конечно, я не прав: капиталистическая Америка в первейшую очередь скидывает с людей средневековые обручи национальностей и сословий (об индейцах и о неграх — дальше). Америка затуманивает, замаскировывает перестраивания людей в классы, когда нет эллина и иудея и российского прыгуна, но есть трудящиеся и бездельничающие за счет трудящихся. Это — на пороге. Но пока — национальный флаг, вместо американской нации, и штандарт (или стандарт) скачет!..

Эйми ж Мак-Фёрсон, оказывается, — баптистка!

Итак, — американский флаг!

В Нью-Йорке, на углу Второй авеню и Десятой стрит, есть английская церковь, где раз в неделю, после проповеди священника, танцуют разные духовности

полуголые женщины. Делается это во имя Бога, как уверяет тамошний батюшка, изобретатель этих танцев. Другие полагают, что учинены эти танцы для поднятия посещаемости божьего храма, ибо вообще посещаемость церквей на земле падает. Во всяком случае, полиция никак не протестовала против этих танцеоголений, раз это требуется Богу. Возмущались лишь батюшки из соседних храмов. Танцевальный же храм посещался не меньше, чем любой бурлеск, американское публичное раздевание женщин, называемое также ревю.

О том, как разрешается веровать — рассказано. И рассказано, как исчезает двоегражданство: у наций, которые были угнетаемы на своих полусредневековых родинах, в первую очередь. Нации подобраны под американский флаг, под ликование американской демократии, под доллар.

17

Впрочем, если послушать иных американцев, даже Нью-Йорк никакого отношения к Америке не имеет, вместе с танцевальными храмами, не то что прыгуны и Эйми Мак-Фёрсон. Вам расскажут, что Америка, USA — пуританская, правоверная, законная страна, где законы превыше всего. Я, например, во утверждение этой истины, могу рассказать следующий эпизод, бывший в Детройте. Американский Детройт отделен от канадского Виндзора мостом. Съехал с моста, из Канады в USA, автомобиль и поехал дальше по всем американским правилам уличного движения. Полисмен заподозрил в шофере бутлегера, торговца алкоголем, контрабандиста. Полисмен на мотоцикле поехал вслед автомобилю. Автомобиль шел по всем правилам. Полисмен потерял терпение, остановил машину, учинил обыск, нашел несколько ящиков виски. И — по суду — алкоголь был возвращен шоферу. Праведный американский судья рассудил, что автомобиль шел по всем правилам, стало быть, полисмен не имел права его арестовывать. А раз полисмен не имел права арестовывать, то суду ничего не известно про виски вообще, — в частности ж все, что в автомобиле находилось, должно

быть положено в автомобиль обратно. Закон торжествовал, само собою разумеется. Как выше уже сказано, при переезде через Гудзон штата Нью-Джерси немужа и нежену следует арестовывать. Этот закон существует, равно как в штате Юта существует закон о многоженстве. Но разводиться американцы ездят в штат Невада, в город Рено. В штате Южная Каролина разводиться никак нельзя, ни по каким поводам, — в штате Нью-Йорк для развода требуются постельные доказательства прелюбодеяния стороны, — а в штате Невада ничего не надо для развода, кроме желания и гражданства. Нью-йоркцы и прочие народы ездят разводиться в Рено, столицу штата Невада. Раньше для этого они проживали там три месяца и один день. Теперь, в силу темпов, всего три недели и один день. Безвыездно проживавшие в штате три недели становятся гражданами штата. На другой день после обретения гражданских прав — разводятся. Срок сократился до трех недель в силу конкуренции с другим бракоразводным штатом, забыл, как называется, гостиницесодержатели которого добились также бракоразводных законов. Какие в Рено казино и отели! — буржуазия, разводясь, отдыхает! Закон, как видите, в силе.

— все время мне снился сон, все время хотел восстановить фантазией и знанием те корабли, которые везли в Америку пионеров, — этакий парусник, — этакие люди за столом в кают-компании, заросшие бородами, в свете чадных масленок — ибо в Америку ехали с единым желанием — хорошо жить, всячески хорошо жить, каждый по своему пониманию, — и ехали со всех концов земли, убегая от гнета европейской тогдашней властишки, от голода и бесправия, сектанты, бандиты, авантюристы, мечтатели. Волнами американского заселения можно проверять негативы европейской истории. Время олицетворило хорошее житие в доллары.

18

Ах, ох, ух, эх, Америка!

Надо вернуться в Нью-Йорк, чтобы поставить вещи на свои места. Я употребил сейчас «ох, ах, ух», — так же, как это было в первых моих из Америки пись-

мах, — и первые страницы я писал, чтобы передать американское обалдение.

Некогда в одном из моих романов я имел образ, который я наполнил новыми ощущениями в Нью-Йорке, — эти ж мои ощущения Нью-Йорка обязательны мне для всей Америки, для USA.

Я писал:

> «...на курганах у нас выкапывают иной раз каменных баб, — археологу баба та — красота прекрасная, — но мельчайшей букашке, которая ползет по щеке этой красоты, видны будут только комья грязи, камень да пыль: надо стать в рост красоты, чтобы видеть ее».

На самом деле, любуемся мы некою прекрасною дамой, видим, как все у нее прекрасно и на своем месте, а инфузория, которая в этот самый момент ползет по щеке данной дамы от рта ко глазу, — эта инфузория попадала в кратер ноздри, болталась по красным пескам пустыни Аризона, называемой щекою, видела пальмовые насаждения ресниц. Эмоциональная линия образов каменной бабы и раскрашенной красавицы с эмоциональной линией нью-йоркских ощущений не совпадает. И тем не менее —

С шестидесятого, сотого этажей Нью-Йорк — поразительный, неописуемый, необыкновенный, зловещий, зловеще-прекрасный город, — город торжества индустрии, размаха, человеческого умения, — ни одному Татлину и европейскому поэту-урбанисту не снилась такая необыкновенность, такое величие, такие конструкции, такие линии и грандиозность, единственные в мире, неповторимые. Для европейца Нью-Йорк с небоскребов скорее сон, чем явь, — и сон ни с чем не сравнимый, разве от детства осталось воспоминание фантазии, библейское воспоминание города Вавилона, которого никто не видел, и именно этой невиданностью Нью-Йорк похож на Вавилон. Нью-Йорк — нечеловечески-грандиозный город, нечеловеческий, зловещий, поразительная конструкция. С крыши Эмпайра (иль от грифов Крайслер-билдинга) океан, Гудзон, Ист-ривер, горы Нью-Джерси — ваши братья. Шестнадцати-, десятиэтажный Нью-

Йорк (а в среднем он и есть десятиэтажный, имея целый ряд районов трехэтажных) — этот Нью-Йорк лежит у ваших ног, в дыму, тумане и гуле улиц, лежит далеко внизу. И рядом с вами равноправными братьями стоят в облаках, а иной раз и над облаками, братья-небоскребы. Вдали равным братом и господином величествуют небоскребы Уолл-стрита, нечеловеческая красота!

Человек, стоящий на крыше Эмпайра, подпертый Эмпайром, есть человек, стоящий в уровень — нечеловеческих! — красоты и необыкновенности Нью-Йорка.

Но, если идти по улицам Нью-Йорка (идти или ехать в авто, по вторым этажам улиц, в сабвеях), Нью-Йорк — ужасный город, ужаснейший в мире, безразлично, на Парк-авеню или на Бауэри. Город оглушен грохотом. Город дышит не воздухом, но бензином. Город обманут проституичьей красотой электрических реклам. Улицы завалены мусором без единого листочка. Город превращен в громадную какую-то керосинку копоти и удушья. Взбесившийся город, полезший сам на себя железом, бетоном, камнем и сталью, сам себя задавивший. Город, в котором человеку жить невозможно, как невозможно в этом городе ездить на автомобилях, ибо автомобилям приходится ездить не по улицам, но друг по другу, несмотря на то, что в этом городе собрано наибольшее количество лучших в мире автомобилей и автомобильных марок.

Индивидуализм! — люди, идущие, едущие по улицам Нью-Йорка и наслаждающиеся радио, кино, бурлесками, Кони-Айлендом, — это те, которые ползут по прекрасной красоте каменной бабы, вырытой из раскопок очень-очень древних и очень примитивных — курганов!

Этот город имеет позор Бауэри, единственной в мире улицы люмпен-пролетариев, трэмпов, свалившихся с доллара (и этих горьковских люмпенов в Америке, конечно, больше, чем в Китае). На Бауэри в лавках продают башмаки, снятые в моргах с мертвецов-беспризорных. На Бауэри есть ночлежные дома, но люди спят там на асфальте тротуаров, подложив под себя мусор газет, поднятых на этих же асфальтах, потому что эти ночлежные дома работают в четыре смены. Через каждые шесть часов опрастывается помещение ночлежек

от людей, чтобы впустить новую людскую пачку — тех, которые ожидали очереди на асфальте тротуаров. Если в Америке нет восьмичасового рабочего дня, — то для людей с Бауэри крыша в ночлежке только на шесть часов. Эта улица всем своим полдолларовым населением — в башмаках с мертвецов — идет по ночам на угол Бродвея и Сорок Второй стрит, в нейтральнейшее место театров и рекламного сумасшествия роскоши, — идет для того, чтобы, стоя в очередях, в одном месте получить чашечку бульона и сандвич от армии спасения, а в другом — никель, пять центов, — чтобы слушать божественный бред армии спасения и видеть, как волны людей, повторенные Кони-Айлендом, идут из кино и в кино, американскую радость! — Бауэри повторена на Мотт-стрит, где в «ночной церкви» бездомники спят под вой батюшек. Этот город, как и вся Америка, имеет позор негритянского вопроса, упершегося в Гарлем. Этот город имеет упорную нищету, упорную тесноту и упорную волю не голодать и жить по-человечески, — грязную, и все же в белом воротничке, теснейшую и отчаяннейшую борьбу за существование Ист-Сайда. Индивидуализм! — никакой одесский привоз старых времен не сравнится с палатками и лотками переулков Ист-Сайда, где к громам города примешаны крики детишек, возрастающих на бетоне улиц под автомобильными колесами, и вопли лоточников, которые орут на всех языках мира:

— молоко!

— бананы!

— рыба!

— апельсины!

— электрические утюги!

Однажды с некиим бедным миллионером я пребывал на крыше полунебоскреба этого бедного миллионера. Было это этаже на тридцатом. Город разместился внизу. Сидели мы на диванах-самокачках, под зонтиками. Крыша была засажена пальмами и являла собою сад. Над крышей реял национальный флаг. Бедными миллионерами в Америке называются просто миллионеры, а не миллиардеры, вроде каких-нибудь там свиных, стальных или кишечных королей. Бедный миллионер указывал на небоскребы, разместившиеся вокруг

его полунебоскреба в синеве неба, и объяснял, что этот, мол, небоскреб принадлежит такому-то миллиардеру, тот — такому-то, третий... — так он мог насчитать небоскребов пятьдесят.

Я подошел к парапету и стал смотреть вниз. Рядом с полунебоскребом моего бедного миллионера, внизу, видны были крыши соседних десяти-семиэтажных домов. Крыши эти чернели от копоти. На веревках по крышам висела нищета стираных простыней, рубашек и прочего. Под бельевыми веревками бегали, играя, детишки. На одной крыше, сев на матрац, целовались двое влюбленных. На другой, подстелив газеты, спало несколько рабочих. На цементе крыш, так же как на улицах, валялся мусор апельсинных корок.

Я спросил бедного миллионера, прерывая его истории миллиардерских билдингов, — кому принадлежит дом, стоящий рядом с его полунебоскребом? —

Мой бедный миллионер ответил незнанием.

Закат был очень хорош.

Мне все стало понятным.

В Нью-Йорке есть сорок-пятьдесят человек, подпертых небоскребами в рост Нью-Йорка, для которых Нью-Йорк прекрасен, — эти люди называются миллиардерами, сиречь капиталистами. Они имеют видимые и невидимые кабинеты на Уолл-стрит.

Закат был прекрасен, — на крыше соседнего дома валялись апельсинные корки, брошенные туда, надо полагать, с крыши моего бедного миллионера, ибо легенда о манне небесной, равно как и о небесных апельсинах, законами физическими объяснена быть не может. Ах, как зловещ и нечеловечен Нью-Йорк с небоскребов! — ох, Америка! — ах, Америка национальных флагов, которые даже на кладбищах!

У бедного миллионера седели усы, подстриженные ницшеанско-макдональдовски. На нем бодрствовали лиловый костюм и красные полуботинки. Его рубашка, галстук, платочек во внешнем кармане и носки были сделаны в один и тот же рисунок и цвет. Движенья и глаза бедного миллионера пребывали лиричны и размягченны. Ах, американско-ницшеанский индивидуализм!

Выше рассказано о публисити. В «Нью-Йорк Таймсе» от 11 октября 1931 года появилась заметка, что по-

мер некий знаменитый американский публисити-мэн Гарри Райхенбах, помер и оставил после себя мемуары, в которых утверждал, что человек пятьдесят, не больше, и он принадлежал к ним, владели, заведовали и командовали вкусами всех ста десяти миллионов американских белокожих. Эти пятьдесят человек одевали, обували, раздевали американцев, укорачивали женские юбки и удлиняли их, раскрашивали мужские костюмы в индейские цвета, сажали людей в автомобили различнейших марок, поили их кока-кола, оглушали их радио, брили их «жиллетом» и прочая, прочая, прочая.

19

Впрочем, все эти благородства — для тех, кто — за долларом. Весь аховый и оховый Нью-Йорк в национальных штандартах и стандартах — для тех, у кого в кармане чековая книжка, и чем больше долларов за чеками — тем больше ахов. А те, кто свалился с заборов доллара — —

Именно это и есть американско-ницшеанский индивидуализм, как оказывается на самом деле. Доллар — вот кто самый главный американский ницшеанец. И именно этот ницшеанец толкует об индивидуализме и живет легендами о том, что Авраам Линкольн, лицо которого штампуется на долларах, начал свою судьбу в избушке дровосека, что Гувер — сын фермера, что каждый американец может, — у каждого американца есть возможность вырваться в индивидуализм просторов так же, как вырвались за облака небоскребы (и выписывать тогда себе из Нью-Йорка в Лондон любимого парикмахера ввиду того, что лондонцы бреют плохо!). О небоскребных историях Линкольна, Эмпайр-Гувера, о вещах и людях — пишутся исторические монографии, как, мол, взяли «бойс'ы» [1] да и свистнули в сотый этаж! — Но истории свала под доллар пишутся редко, а они суть продукт этого самого американского «индивидуализма», они естественнее небоскребов, и их больше, чем хижин Линкольна, в миллион раз.

[1] Мальчики (от *англ.* boys).

Закон американских — «свободных»! «индивидуальных»! — трудовых отношений гласит, что, мол, сегодня, в двенадцать часов пятнадцать минут, босс сказал рабочему (или рабочий сказал боссу, по закону это безразлично, кто кому сказал, хотя рабочие своим «правом» пользуются редко), — «пойди, мол, ты к миссис чертовой мамаше!» — и с двенадцати часов пятнадцати минут между заводом и рабочим никаких отношений нет, в субботу рабочий получит конверт с чеком, коим расплачивается с ним контора по сегодняшние двенадцать часов пятнадцать минут.

Приятель мой, рабочий X., русский по национальности, рассказывал мне о его работе на заводе. Поступил, дали джаб[1]. Работал на конвейере. Заняты были на конвейере у моего приятеля только две мышцы, только, весь остальной организм здорового человека бездействовал. Эти две мышцы посинели от переутомления. Мой приятель показал боссу посиневшие две мышцы, попросил, нельзя ли стать к другому станку, чтобы синели другие мышцы, а эти отдохнули. Босс (это — надсмотрщик) сказал, — о'кэй, завтра будет перевод. Мой приятель пришел назавтра. Босс дал ему записку к другому боссу. Второй босс показал на двери: там, мол, ждут. Мой приятель вышел за эти двери и оказался за заводскими воротами. В конторе его рассчитали по тот рабочий день, когда он показал посиневшие мышцы. До конца рабочего дня его продержали, чтобы не обрывать конвейера. Ко второму боссу его послали, чтобы не было лишнего шума на конвейерном производстве. Босс прав — «причина» посинения двух мышц лежала в самых мышцах, а стало быть, инициатива лежала в моем приятеле, — стало быть: свободные индивидуальные отношения! — И это тем паче, что безработных в USA сейчас миллионы, — а вообще, чем старше рабочий, тем больше он изношен, тем больше у него шансов свалиться под заводские и долларовские ворота.

В USA есть индивидуально-свободный закон, гласящий о том, что если ты, мол, взял в кредит некую вещь, стоящую, предположим, доллар, уплатил за нее девяносто девять центов, но последнего цента в срок не внес, так

---

[1] Работу (от *англ.* job).

вещь у тебя отбирается, а девяносто девять центов остается в пользу обиженного неполучением одного цента.

Мистеры Форды, ни Генри, ни Эдсель, — ни при чем, — они пуритане, они даже не курят и только изобретают и усовершенствуют. Генри Форд, как известно, сам даже не торгует. Он даже знать не может о моем втором приятеле, рабочем У., украинце по национальности. Сиживали мы с этим моим приятелем под детройтским открытым небом — на его квартире, — покуривали, и приятель мой покручивал недоуменно головою, в национально-украинском благодушии. Все фордовские рабочие должны иметь фордовский автомобиль. Генри Форд аргументирует эту необходимость тем, что рабочие его, дескать, комфортабельны, и им следует знать ту машину, над производством которой они работают. Когда мой приятель поступил к Форду, у него был автомобиль «шевроле». Босс сказал У., что он должен продать «шевроле» и купить «форда». Генри Форд не торгует. Босс указал знакомого диллера, машиноторговпа, который отпустил моему приятелю «форда» в рассрочку, взяв «шевроле» в качестве аванса. Второй босс сказал моему приятелю, что фордовским рабочим предпочтительнее жить в таких-то районах и в таких-то домах, построенных специально для фордовских рабочих. Генри Форд здесь ни при чем. Мой приятель взял себе прифордовскую квартирку в три комнаты, — у моего приятеля жена и двое детей, — взял квартиру в рассрочку, конечно, и с тем, что, когда он выплатит всю сумму долларов, он будет собственником. Было все это в конце двадцать девятого года. В январе тридцать первого года Форд выпустил новую модель. В январе тридцать первого года первый приятель-босс сказал, что он слышал, что, мол, мой приятель (кризис! кризис!) предназначен к сокращению, но что он может остаться на заводе, за него похлопочут, если он возьмет себе фордовскую модель тридцать первого года. Мой приятель, почесав по-украински в затылке, эту модель взял, сдав «форд» двадцать девятого года диллеру в аванс. Я был в Детройте в конце июня. Так вот в конце мая моего приятеля сократили.

В середине июня у него отобрали модель тридцать первого года (продать автомобиль он не мог, как не

окончательно выкупленный), — отобрали за неуплату очередного взноса. А в конце июня я помогал моему приятелю выволакивать из его коттеджа его добро, ибо его выселили, — также за неуплату очередного взноса. И, по-украински покачивая головой, на квартире господа бога, под кусточком, мой приятель недоумевал: было в его руках три автомобиля, и нет ни одного, была квартира — и есть небо — и почему не отбирают радио, помещенное под кустом, которое также куплено в рассрочку?! — остались только жена да двое ребятишек!..

Дорогие американские индивидуалисты! — на Бауэри ходят в башмаках, снятых с мертвецов! — Дорогая американская свобода! — ужели нет возможности построить не только эмоциональный, но и логический мост между заоблачно-брадобрейной «свободой» небоскребов и подземельно-спокойной работой боровов в Чикаго!?

Дорогой ницшеанец доллар! — какая разница в существе вещей между миллионами чикагского председателя бандитских трестов, короля бандитов Ал Капона и небоскребствами Эмпайра!? — разве Ал — не о'кэй!?

В Калифорнии, когда там открыли нефть, был такой эпизод. Жила-была индейская семья. Пришли люди из-за гор и предложили продать пустыню. Отец-индеец отказался уйти с земель своих отцов. Через несколько дней семья была вырезана. В живых осталась только одна девушка. Через месяц тогда на горизонте возник ковбой, он подъехал на своем коне, испанец, красавец, он попросил напиться воды, и он уехал за горизонт. Он приехал через три дня, опять просить напиться и опять уехал за горизонт. Через месяц девушка-индеянка любила испанца, испанец любил девушку. Они поехали в город к мэру, чтобы повенчаться. Они приехали в некоторую контору. Девушка была безграмотна. Ей сказали, чтобы она тут-то и тут-то поставила крестики, за нее расписались. И в тот момент, когда крестики были поставлены, американским спортсменским жестом — в спину башмаком — девушку выгнали из этой некоей конторы. Девушка подписала не брачный договор, но купчую на продажу нефтеносных

земель. Кто это вырезал индейскую семью, а девушку поддал носком бутца в любовь, — не нефтяной ли... Ойль?! —

Над землями этой девушки ныне — национальный флаг!

20

Совершенно естественно, что во всех странах люди иной раз сходят с ума, и в Америке в частности. В заболеваниях манией-грандиозой русские начинают представлять себя Петром Великим иль Буденным, французы — папою Пием или Наполеоном, немцы — Бетховеном, англичане — Шекспиром, про которого никто ничего не знает. Американцы ж, сходя с ума, представляют себя миллиардерами, Рокфеллерами, долларщиками.

В Европе, у нас, в СССР — всегда переполнены концерты всяческих знаменитых баритонов, теноров, рассказчиков, скрипачей, пианистов, их передают по радио, в них влюбляются, у каждого любителя есть свои любимцы. В Европе о них пишут в газетах, — как, мол, их здоровье, и что они разучивают заново. Так вот в Америке к этой категории людей надо отнести и математиков, физиков, конструкторов, инженеров. Их лекции воспринимаются, как концерты. Они любимы, как тенора. Их речи и формулы передаются по радио. Каждый день в программе радио есть математическая программа. Математические формулы суть материал для газетных сенсаций. Европейских математических знаменитостей выписывают, как мы выписываем Эгона Петри. Эйнштейн приехал в Америку, как знаменитый певец, приехал так, как он не приезжал ни в одну страну, забросив свое имя поистине в массы таким образом, когда известно, что Эйнштейн предпочитает сандалии, а не твердую обувь.

Это математическое мое познание привело меня к познанию так называемой «технологической» безработицы, сколь ни длинен логический мост от математических концертов до голода безработиц. Несмотря на «просперити» (процветание — противоположность кризиса), — в

самые лучшие годы последнего просперити — в Америке было от трех до трех с половиною миллионов безработных рабочих, и процент этот рос с каждым годом. Эти безработные не были безработными, рожденными кризисом, — но безработные — «технологические»!

По подсчетам статистиков, в самые лучшие годы Америки на каждые двенадцать рабочих тринадцатый не работал, совсем не потому, что американцы боятся цифры тринадцать. Всему миру на удивленье, переведя математику и механику даже в план эмоциональных, эстетических наслаждений, американцы усовершенствуют машины, которые заменяют человека, организуют труд, которые труд же и сокращают. Используем наши примеры: Сясь, бумажный гигант, построен по американским принципам, — бумаги он производит горы, на самом деле, — а работают на нем человек сто рабочих полуинженерного типа; — на Днепрострое, когда он будет закончен, будет работать человек сто двадцать, не больше, они будут караулить правильное поведение машин и воды. Американцы — изобретают. Изобрели электрическое доение коров — сколько рук на сторону? Изобрели, действительно изобрели, «мозг дельца», этакую машинку, которая абсолютно безошибочно работает сразу за бухгалтера, счетных барышень и кассира, — сколько сотен тысяч человек на сторону!? Изобрели телепишущую машинку (стоит на столе пишущая машинка, сбоку у нее вертушка, как у телефона-автомата, — человек вертит вертушку, набирает нужный ему номер и пишет затем нужное ему на своей машинке, — это ж самое будет напечатано и на той машинке, которая стоит за номером, им набранным; телепишущая машинка заменяет телефон и телеграф сразу, но не трещит как телефон и не мешает разговорам). Изобрели вот этакую Сясь, которая у нас. На пороге двадцатого века девяносто пять процентов американских машин двигались паром и руками, и только пять процентов — электрическими моторами, — в девятнадцатом году электричество двигало пятьюдесятью пятью процентами машин, в двадцать седьмом — семьюдесятью восьмью, в 1931 году, надо полагать, всеми ста процентами (хоть из этих ста процентов многие и безмолвствовали, ибо в 1931 году фабрики и заводы в Америке стали по воле кризиса,

но речь сейчас не об этом), — сколько истопников и кочегаров должны были искать новых профессий? — сколько людей было сброшено на сторону!? — Спросите десятого американского рабочего, — он расскажет вам о десятке своих профессий: — он было начал свою судьбу в Нью-Йорке закройщиком, был шофером, торговал в мелочной лавке, работал углекопом и кондуктором, был контрабандистом, — ныне он лифтер, — был он всем, — но главное, что он делал, — это он искал работы в уверенности, что завтра — он опять безработный.

Безработица, которая возникает за счет усовершенствования машин и изобретения машин новых, изобретения новых способов производства вещей (штамп, например, вместо поковки), организации наново труда и снижения себестоимости, — за счет трестирования предприятий, — такая безработица называется — «технологической».

Выработка на одного рабочего в автомобильной промышленности с начала века по двадцать пятый год возросла на тысячу двести семьдесят процентов — автомобилями американцы подавились.

Процент «технологической» безработицы сейчас уперся в десять с лишком миллионов безработных, которых считают уже не «технологическими», а кризисными. По-моему кризисный безработный или технологический — он одинаково хочет есть, и вообще изобретение «технологической» безработицы — словоблудие. При социалистическом строе государств безработицы быть не может, — при капиталистическом строе государств — даже «технологическая» безработица (экое словечко придумали!) — гонит на Бауэри и обувает в сапоги с мертвецов.

Есть в американских заповедях (наряду с той, что каждый, вроде Авраама Линкольна из его избушки дровосека, может угодить в Рокфеллеры иль президенты) заповедь о том, что-де:

— «...кто действительно хочет найти себе работу, тот ее найдет в Америке».

Ну, а «технологическая» безработица? — это и есть американский индивидуализм? — и не это ли самое рассуждение построило мост, гораздо более грандиозный, чем Бруклинский, — мост в американский банди-

тизм сверхамериканского масштаба?! — ведь каждый американец каждодневно встречается со знакомыми ему бандитами и общается с ними, когда бандитское дело в Америке поставлено так, что не мне уже, а читателю предлагается решить: Белый ли дом или бандиты являются правительством Америки?!

Познавание концертов «технологической» безработицы сообщило мне, куда растет технология. Сейчас в Америке миллионеров в шесть раз больше, чем в девятьсот четырнадцатом году (за два года — с 1927 по 1929 предкризисный — они почти удвоились). Населения в Америке — сто двадцать миллионов человек. Подоходный налог берется в Америке с женатых, когда они зарабатывают больше двух с половиной тысяч долларов в год, а с одиноких — когда больше тысячи пятьсот. Так, на сто двадцать миллионов населения в самый лучший год всеамериканского просперити, в год 1927-й, подоходный налог платило всего лишь два с половиной миллиона человек. Процентов девяносто пять из них зарабатывали до десяти тысяч долларов в год, и только двести восемьдесят три человека — больше миллиона. В последний год просперити американских капиталистов (причем год этот стал годом кризиса), в 1929 году, «зарабатывавших» больше миллиона стало пятьсот одиннадцать человек; двести восемьдесят один человек пришлось из них на Нью-Йорк; одиннадцать человек из них «зарабатывало» больше пяти миллионов. Это было в 1929 году — в год просперити и кризиса; на пятьсот одиннадцать этих миллионеров пришлось десять миллионов безработных. Как известно, в капиталистическом обиходе источниками долларовых благополучий служит не труд, а право собственности: — так четверть американского национального дохода — восемнадцать с половиною миллиардов долларов — пришлось в тот просперитный год на долю земельных собственников, акционеров и облигациедержателей.

«Технология» голода, оказывается, называясь «технологической» безработицей, имеет противоположный конец миллионерских карманов, — какой замечательный концерт! — Стюарт Чейз, американец и экономист, который по нашим стандартам был бы кадетом, пишет поэтически:

«Возвышаясь над всеми, собственники окопались, как диктаторы американской жизни и ее уклада. Они изгнали философа, учителя, государственного деятеля, редактора, проповедника в качестве умственных руководителей народных масс. Они управляют правительственной прессой, университетом, церковью, искусством. Они спокойно спят, возглавляя денежную систему. Взоры людей обращены к ним, как некогда были обращены к алтарю, к полководцу, к портику Академии. Боги впервые воздвигали себе храм из золота и мрамора... на рыночной площади». —

Штандарт — и стандарт — скачут!

21

Дорогой читатель, когда вы приедете в Нью-Йорк, ваш друг скажет вам, что он для вас «построил» вечеринку. Вы — советский гражданин, вы готовитесь к речам и готовите речь, придумывая старательно, как бы соблюсти вежливость и уложить в ваши слова неуложимое рядом — вашу родину и Америку, ибо вы, советский гражданин, конечно, думаете о социализме, но помните о «веровании» в Бога по консульскому предписанию. Так эту речь готовите вы зря. Когда «строят» для вас вечеринку — это значит, что гости придут к половине десятого, а вы приглашаетесь к шести. Вы с хозяином выпиваете по его достаткам и решаете, в какой ресторан вы едете обедать, к мексиканцам или японцам, ваш друг за вас платит. Вы возвращаетесь к вашему другу после обеда. Начинают приходить остальные гости. За руку здороваются немногие. Если дело происходит летом, мужчины, сказав «хэлло!» (здравствуйте), снимают пиджаки и немедля приступают к экстренной работе — фокстротят часов до трех под граммофон иль радио. Разговоров никаких не полагается. По достатку вашего друга — пьют алкоголь, ибо — если алкоголя нет, то и вечеринки не построишь. Часам к половине четвертого начинают развозиться по домам и вечностям. Если дом вашего друга побогаче, то коктейлят и фокстротят не под электричество, но под стеариновые свечи разных

окрасок и толщин. Советский гражданин, естественное дело, иль совсем не фокстротит, а уж если танцует, то у него получается не фокстрот — лисий шаг, — а бертрот — шаг медвежий. Трудолюбиво заготовленные речи расползаются в ералаш от трудолюбия полотеров, приглашенных в честь советского гражданина.

Вечеринок с речами у меня было мало, но все же были. Рей Лонг построил для меня обед в Метрополитен-клаб. Когда я просматривал список приглашенных, за именем каждого были многотомные труды и биографии: это были крупнейшие американские писательские имена, известные не только в Америке, но миру. В Метрополитен-клаб не допускаемы женщины. Мы пришли в смокингах. Стены и портьеры Метрополитен-клаба уничтожали шум города. В Метрополитен-клабе горели свечи, и в креслах из свиной кожи разлегалось покойствие. Нас было человек сорок — их, знаменитейших, и моих друзей со мною. Гости встречались за коктейлями. Гости сели за священнодействие обеда, за спинками стульев построились лакеи. Свечи величествовали. Рей Лонг сказал речь, торжественную, как Метрополитен-клаб. Вторым говорил я, речь свою я готовил дня три, с таким же трудолюбием, как излечивают флюс, — говорил я о заборах национальных культур, об СССР, о земном шаре, о том, что честь, оказываемая мне этим обедом, не есть честь мне лично, но той прекрасной литературе, прекрасной и молодой, которую создали зори социализма и грозы революции, — о молодости я говорил с особенным удовольствием, ибо действительно я да Люи Фишер, да Мендельсон, да Джо, — только мы и были на этом обеде молоды, хоть и относительно, конечно, — остальные ж рассчитывали свое время от пятидесяти, от шестидесяти и больше. За мною говорил Синклер Льюис, нобелевский лауреат, — он высок, узкоплеч, сероглаз, краснолиц. Он нашел меня своим взором, сосредоточил свой взор и сказал:

— Я ничего не буду говорить о Советском Союзе и о Пильняке, — и смолк.

Пауза была величественна, как Метрополитен-клаб. Синклер Льюис нашел глазами Теодора Драйзера.

— Я ничего не могу говорить о Советском Союзе и о Пильняке, — глаза Льюиса стали страшными, устрем-

ленные на Драйзера, — потому что один из присутствующих здесь украл у моей жены три тысячи слов, — сказал Льюис и смолк.

Пауза не походила на Метрополитен-клаб. Глаза Льюиса побрели по столу.

— Потому что второй сказал, что нобелевскую премию надо было дать не мне, а Драйзеру, и напечатал это в газетах, — сказал Льюис и смолк.

Глаза Льюиса побрели к третьему. Метрополитен-клаб никак не походил на паузу.

— Потому что третий напечатал, что я просто дурак.

Синклер Льюис торжественно сел за свои тарелки. Пауза после его речи была гораздо длительней, чем во время его информаций. В тот вечер Драйзер, уже после обеда и наедине, давал пощечину (или две) Льюису, — пощечину очень большого звука, ибо на другой день о ней писалось во всех газетах, телеграфировалось в Европу и Японию, сообщалось по радио, комментировалось в лекциях. Я при давании пощечины не присутствовал, уехав раньше этого дела. От репортеров на другой день я должен был прятаться, сознательно устранив себя от пощечинного публисити. Но прок мне вышел от этой пощечины не малый: в штатах Техас, Аризона, где, конечно, никто ничего не знал не только о моих писаниях, но даже об СССР, я объяснил про себя, — я, мол, тот-то, на обеде которого, — и все всё понимали сочувственно.

За день до моего отъезда в Калифорнию столкнула меня судьба с миллиардером мистером Z.

Я сознательно скрываю его фамилию, ибо она известна так же, как фамилия Рокфеллера иль Моргана. Этот человек, его семья и его банки принадлежат к первым десяти американским миллиардерским фамилиям. Если считать, а так и есть в действительности, что Америка сейчас командует капиталистическим земным шаром, в Америке же командует доллар, торжествуя национальным штандартом, — то этот человек один из десяти командиров Америки, богаче и сильнее английского короля иль французского президента. Человек этот сух, стар и слабомощен. Я стал говорить о том, что назавтра я еду в Калифорнию и по

дороге на сутки остановлюсь в Чикаго. Сейчас же за понятием Чикаго, как это всегда бывало, разговор пошел об Ал Капоне, чикагском короле бандитов. Я сказал, озорничая:

— Я был бы рад познакомиться с Капоном.

И мистер Z, человек более сильный, чем английский король, молвил любезно:

— Я вам устрою эту встречу.

Мистер Z позвонил. Вошел бестелесный секретарь, который понимал мистера Z астрально, без слов. Через полчаса секретарь сообщил, что он телефонировал в Чикаго, что мистер Капон занят в понедельник (в тот день, когда я должен был быть в Чикаго), — занят на выборах мэра города и поэтому, к сожалению, не может принять в этот день мистера Пильняка, — если мистер Пильняк задержится в Чикаго, мистер Капон к его услугам.

Я не видал Капона — но этот разговор о нем гораздо более значим, чем встреча: бандит не принял меня потому, что он был занят на выборах, а познакомить меня с ним хотел — законный миллиардер!..

22

Иные американцы скажут вам, что все написанное выше к Америке никакого отношения не имеет. Америку, дескать, следует искать не здесь и не там. И вместе с читателем сейчас я намерен пуститься в поиски Америки, в пространства, в безвестность дорог, чтобы найти, наконец, Америку. Я подписал договор с Голливудом, с M. G. M. И мы с Джо двинулись в пространства, отъехав от Нью-Йорка на «двадцатом веке» таким образом, что «двадцатый век» есть интродукция к Голливуду, Голливудом данная.

«Двадцатым веком» называется поезд, такой же конвейер, как автомобильные дороги, только много пыльнее, имеющий от Атлантического океана до Тихого всего две остановки, в Чикаго и в Санта-Фе. От Нью-Йорка до Чикаго рельсы идут в четыре полотна. Поезд стремителен до утомительности, отбрасывающий в час сто двадцать километров. Поезд идет в пыли и дыме

встречных и обгоняемых поездов. Поезд на ходу берет воду: в положенных местах между рельсов проложен желоб в полкилометра длиною, наполненный водой, — паровоз спускает ковш в воду, вода своим собственным напором лезет в фильтровые резервуары. За каждую минуту опоздания этого поезда пассажирам выплачивается по доллару. На каждого пассажира моего вагона положено было по отдельной кабине, с диванчиком, креслом, письменным столом, с двуспальных размеров кроватью ночью, с гардеробом и умывальником. В поезде было три обслуживающих вагона — вагон-обсервейшэн (сплошь стеклянный, с террастою, на которой нельзя сидеть от пыли), вагон-ресторан и вагон-салон с комнатой для вязания старухами джемперов, с комнатой для курения, с телеграфо-радиоконторой, откуда можно сообщаться с миром и куда с мира приходят телеграммы, и с баней, где можно помыться, где тебя побреют и причешут и где тебе вычистят обувь. Этот поезд предназначен для крупнокалиберных народов. Я отношу его за счет Голливуда. В поезде имеются все шумы, кроме человеческих слов, — негры, которые прислуживают, говорят шепотом. Поезд полупуст. Через города поезд жарит по улицам. Если в СССР, откуда ни глянь в небо, даже в метель, всегда видна Полярная звезда, то здесь за окнами поезда, также даже в метель, отовсюду торчат разные девушки и молодые люди рекламы, которые выстроились над шпалами, как у нас клоуны на крышах провинциально-ярмарочных балаганов. Воротничок хотелось менять каждые три часа, — и полоскать рот от гари и пыли — ежеминутно.

Так проехали от океана к океану, сохранив традиции и гари Нью-Йорка. От Нью-Йорка уехали в метель и в горы штата Пенсильвания. Метель — как у нас. Пенсильванские — Аллеганские — горы — вроде Валдайских. Когда глаз прорывался за рекламу, располагались за шпалами тверские земли. От Нью-Йорка до Чикаго, кроме реклам и тверской земли, путь заставлен был громадами корпусов фабрик, вышками каменноугольных шахт, пожарищами домен да мелкорослыми вокруг них домишками в палисадах, острокрышими и в черепице. Чикаго утвердил, что Чикаго и Нью-Йорк — одно и то ж, одного ж лица прекрасные детали: Нью-

Йорк — финансово-капиталистический центр, Чикаго — центр капиталистическо-финансово-промышленный. И Чикаго сломан пополам: на нищету, гораздо большую, чем нищета Бауэри, с лохмотьями в навозе человеческих отбросов и антисанитарией вшей на улицах, на дорогах, на каналах, в голой грязи полуголых, как в Шанхае, людей, — и на роскошь набережных Мичигана, похожего на море, забитого яхтами и гидропланами, университетских и музейных площадей, мест столь же колоссально-поразительных своею роскошью, как нищета. Немеханизированное на чикагских бойнях — боровы-предатели — служит для раздумий о капиталистической культуре, — раздумий о чумных бульонах. В серии американских банкротных крахов тридцать первого года Чикаго решающей своей роли не оставил, — чикагский муниципалитет обанкротился, — слово об этом будет дано Алу Капону, чикагскому бандиту.

За Чикаго поезд пошел в прерии, застрявшие в памяти от юношеских романов и географий. По эсэсэсеровским пейзажам — прерии — это Украина. Переезжали Миссури. Ехали штатом Канзас. Пиджаки днем надо было снять и по-американски расстегнуть жилет — от удушья. Лет пятьдесят назад в штате Канзас жили еще индейцы и шла национальная война, как ее называют американцы, но которую следовало бы назвать истреблением индейцев. За эти пятьдесят лет воды утекло много. В феврале 1931 года человек пятьсот фермеров, белые и негры вместе, вооруженные винтовками, приходили в штатный город и требовали дать им пищи, потому что они голодали. Это тем паче замечательно, что этот штат является пшеничной житницей и иные фермеры в этом штате и в этом году отапливались пшеницей.

За прериями возник Далекий (он же Дикий) Запад, штаты Нью-Мексико и Аризона. Прерии с ветряными водокачками и с башнями силосохранилищ около белых домишек сброшены были назад стадвадцатикилометровой стремительностью «двадцатого века». Поезд залез в горы, которые называются не то Скалистыми, не то Сиерра-Невада, — во всяком случае, прошел и те, и другие. И пейзаж за окном вагона стал точь-в-точь таков же, как в Средней Азии, — особенно в пустыне шта-

та Аризона. Пески, лишаи, безлюдье, зной. Изредка оазисы. И около оазисов — домишки из глины, плоскокрышие, с окнами внутрь двора. Что такое? Турция? Средняя Азия?! Эти домишки суть домишки мексиканской архитектуры, — не случайно в утро того дня был штат Нью-Мексико. Мексиканцы — испанцы — мавры — арабы — турки — Средняя Азия. Все понятно! Иль, быть может, и индейцы? Ведь найдено же в Сибири племя, антропологически совершенно похожее на американских индейцев, причем корни языка этого сибирского племени оказались корнями языков нескольких индейских племен. Так или иначе, но целый день мчали азиатскими пейзажами. Перед вечером тогда возник на горизонте отвесный перевал в снегах. Поезд притих и закряхтел. Столбики за окнами у рельсов показывали высоту. Похолодало. Все кругом заросло пихтами и соснами, которые в СССР называются американскими. Места опервобытились. Даже на шоссе вдоль железнодорожного полотна прервался автомобильный конвейер. Автомобили поползли в одиночку. Раза два видели индейцев, — они живут, еще живут в этих штатах. На перевале к вечеру стало совсем холодно и зазвенело в ушах. И на перевале видели ковбоев. Оказывается, это очень прозаично: «ков-бой» — коровий бой, коровий мальчик — пастух. Пастух, который охраняет коров верхом на лошади, в старину ловивший одичавшую скотину со своих мустангов при помощи лассо и постреливавший соседей-индейцев, а теперь оставивший себе от старины широчайшие панталоны, зонтикообразную шляпу да двустволку для зайцев. Видел под одной из скал в пихтовом лесу деревянный дом: точь-в-точь как у нас в архангельских землях. Ночью мерзли.

А утром — на рассвете свалились с гор к океану — в Калифорнию. Ехали рощами апельсинов и аллеями пальм, лиловыми перечными деревьями, кактусами и эвкалиптами. Кактусы — в три человеческих роста — неприятны, как крокодилы. Эвкалипты ободраны и вызывают жалость, как верблюды. Под пальмами разместились пречистенькие домишки и автомобилишки, ночевавшие против подъездов этих домишек. Все цвело. Впрочем, говорят, что здесь все цветет круглый год, и цветы и деревья мне известные и такие, которых я

никогда не видел. На Нью-Йорк это никак не походило. Надо было решить, что, мол, хорошо местный народ, сукины дети, устроился, — хорошие места подыскали и отняли — сначала испанцы у индейцев, затем американцы у мексиканцев. Приехали в Лос-Анджелес — в Архангельск, если перевести по-русски. В толпе на улицах много мексиканцев. Люди ходят в белом и в сомбреро. Пахло на улицах цветами, океаном и ленью южного безделья. Кроме нескольких небоскребов вокруг Балтимор-отеля, это — большая деревня под пальмами и эвкалиптами. Затем я узнал, что Лос-Анджелес не город, а — двадцать городов. От Лос-Анджелеса до Эптона Синклера — до Пасадены — сорок километров. До Голливуда — тридцать километров. До прыгунов — двадцать. До Лонг-Бича (лос-анджелесского Кони-Айленда) — сорок пять. До Санта-Моники — пятьдесят.

Я поселился в Санта-Монике. И за окном моего «Мирамар-отеля» были — последовательно — пальмы, обрыв, океан. Пальмы вычерчивались на сини океана. Птицы в саду пели так, что можно было предвосхитить страдания Джо по поводу петуха — мистера куриных леди. На океане у набережных плавали мои однофамильцы, гуся в три размером, с чемоданами для пищи под клювами, — пеликаны. Однофамильцы потому, что однажды в Берлине, когда я в смущении спрашивал: «Мне бы книгу Пильняка» — продавщица переспросила: — «Кого, Пеликана?!» — Пахло у меня в комнате эвкалиптами и розами.

Направо и налево от меня, вдоль океана, защищенные от севера горами, расположились города Калифорнии. Калифорния ж — это нефть, фруктовые сады, обыватель да Голливуд. Задолларовый обыватель съехался сюда со всех американских концов, построил под пальмами коттеджи и гаражи, украсил себя памятниками формы апельсина, формы чайника, формы босой ножки кинозвезды и живет под вечным солнышком, пищеваря и посещая различные божественные моления, вроде прыгунских, методистских и Эмми Мак-Фёрсон. Солнышко здесь светит триста шестьдесят дней в году, и в море можно купаться круглый год. Апельсинные рощи пахнут апельсинами. Эвкалиптовые рощи пахнут эвкалиптом. Кроме памятника апельсину и чайнику, на

одном памятнике изображена была доимая корова. Нефть, — она жила в тех традициях, о которых рассказано историей бутца в любовь индианской девушки, — подобных историй очень много рассказывает Эптон Синклер. Зачалась Калифорния — Дикий Запад, — как известно, — золотом.

23

Голливуд — он совершенно отличен от всей остальной Калифорнии, — двухэтажный так же, как Пасадена и Санта-Моника, но архитектуры такой, какую может выдумать только Голливуд, — один сплошной национальный флаг!

В Нью-Йорке однажды, в Бронкском парке, в проливной дождь и все же в дыму и копоти, мы встретили женщину. Я ехал с журналистом П., говорящим по-русски. Мы ехали на автомобиле. Около автобусной остановки, под дождем, без зонтика, безразличная к миру, стояла женщина. Лицо ее было мокро. Мы предложили женщине сесть в машину, чтобы укрыть ее от дождя.

Она села. Тогда мы увидели, что лицо этой женщины мокро не только потому, что замочил дождь. Женщина плакала. Было видно, что слезы ее застарелы. Эта женщина забыла о слезах. Этой женщине было лет тридцать, не больше, этой чистокровной янки. Мы заговорили в соучастии, как говорят люди, которые встретились в первый и последний раз. Она заговорила истерически. Она рассказала все, что могла рассказать. От нее ушел муж, такой же чистокровный пуританин, как она. У них был свой бизнес. Они не были очень богаты, но на курицу к обеду, слава Богу, у них всегда были доллары, и марки их автомобилей никогда не спускались ниже «бюика». У них был дом. Деньги для дела дали ее родители в качестве приданого. Муж честный человек, — он ушел от нее, не взяв ни копейки денег и не взяв из дома ни единой вещи. Восемь лет они жили отлично. Он возвращался домой в пять. В семь они обедали. Вечером они были в кино. В воскресенье они отдыхали. В воскресенье они были в церкви. В воскресенье, в час

между завтраком и чаем, они были в постели, иногда раз, иногда два, — так сказала эта женщина. Восемь лет дней их жизни были счастливы, как один. И все дни были одинаковы, равно как и все воскресенья. Они не пропустили ни одной знаменитой кинокартины. Ни муж, ни она ни разу не хворали. Она готовила семейный уют и очаг. Она вязала мужу джемперы.

— И он ушел. Он ушел, отказавшись от всего. И он ушел к женщине, которая курит табак и пьет вино. Почему он ушел? — почему он ушел! — Он ушел неделю тому назад, и с тех пор остановилась жизнь. Я не могу ездить на автомобиле, потому что слезы застят мои глаза. За эту неделю я ни разу не была в кино. Я, конечно, не пью и не курю, ибо я истинная христианка. Я была абсолютно верной моему мужу женой. Почему он ушел?

Эта женщина указала тогда нам место, где мы должны были ее высадить. Дождь еще не перестал. Женщина пошла в противоположную сторону той, которую она указала. И — все. И — больше ничего. Кингмен, Бостон — американские традиции пуританства — моя заволжская бабушка!..

Я получил, как сказано, телеграмму:

— «работать в Голливуде у фирмы M. G. M. стап договор десять недель стап столько-то долларов в неделю».

Приятель мне разъяснил:

— А вдруг вы написали бы что-нибудь для Фокса или Парамоунта?! — лучше вам заплатить даже в том случае, если вы ничего не напишете, чем если вы напишете Фоксу.

И я приехал в Голливуд.

В Голливуде, за очень малым исключением, живут люди только двух порядков. Или отменные красавцы, мужчины и женщины. Или уроды всех видов, типажи. Будущие, настоящие, бывшие актеры. Это я видел.

Голливуд подобен золотым приискам. Это я тоже видел. Например. Ехал режиссер из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, обдумывал новую кинокартину. Поезд проходил мимо полустанка. Рельсы перешла девушка с кулечком из магазина. Режиссер слез на следующей станции и вернулся на этот полустанок. Имени девуш-

ки режиссер не знал, он не знал, где она живет. Кинодей есть кинодей. Он поднял полустанок на ноги. Он нашел девушку, она служила горничной у адвоката. Кинодей предложил девушке сниматься в кинокартине, тысяча долларов в неделю, договор десять недель. Девушка снималась, ей делали «публисити», она была счастлива. Но больше не было картин, где подходил бы ее тип. И она никогда не снималась больше. Второй — и сотый — пример. Девушка, насмотревшись кинокартин, убежала в Голливуд из дома, чтобы стать актрисой. Она убежала от отчаяннейшей обывательщины, обыденщины, размеренности — в счастье.

На фабрике, где я работал, я наблюдал однажды за режиссером. Он сидел в своем офисе, курил сигару и сосредоточенно рассматривал кипу от пола до потолка альбомов с фотографиями так называемых «экстра», то есть актеров, имеющихся в запасе, зарегистрированных в Голливуде, но постоянно не работающих, — тех самых, которые отснимали свое счастье или приехали за счастьем. Режиссер рассматривал фотографии, отмеченные номерами, выписывал номера с тем, что канцелярия вызовет завтра эти номера на просмотр и окончательный отбор для нужной режиссеру картины. Тогда канцелярия наймет их на неделю, на две. Эти номера будут зарабатывать по пять долларов в день. Все это я видел.

Я видел знаменитостей, звезд, которые зарабатывают в неделю по пять тысяч долларов.

Я не видел следующего, что показывается в Нью-Йорке в одном из театров, в пьесе, посвященной Голливуду. На сцене там показывается прераспутнейший, препьянейший, публично-домообразный бал, и над сценой написано: «Голливуд, как он представляется американцам». Занавес опускается. Надпись над сценой меняется, сообщает: «Голливуд, как он есть на самом деле». Занавес поднимается, и на сцене то ж, что на первой картине, только лишь в гораздо больших размерах. Этого я не видел.

В Москву в редакцию «Moscow News» прислала письмо одна американская голливудская кинознаменитость. Она писала, что в американской кинопромышленности кризис, что она сочувствует пятилетке и желала

бы работать в СССР. А поэтому сообщает, что рост ее такой-то, вес — такой-то, цвет глаз и волос — такие-то, ширина в груди — такая-то, в бедрах — такая-то. И прочее о размерах. И больше ничего. Около тех фотографий, альбомы которых складывались от потолка до пола, всегда были написаны эти ж данные о цветах и ширинах. Номера этих фотографий были расположены по рубрикам: шатены, блондины, брюнеты, — великаны, карлики, уроды, — по типам национальностей, — акробаты, ковбои, трубочисты, — слепые, больные волчанкой, татуированные, — специалисты по футболу, — специалисты по еврейским, католическим, квакерским, методистским, православным богослужениям, — специалисты по военно-морским делам Англии, СССР, Японии, — дублеры, похожие на знаменитых артистов и на великих людей, — русский царь Николай, он же Георг английский, — этой двоицы несколько человек актеров.

В актерских договорах с фирмами пишутся данные о расцветках и размерах, и если какая-нибудь актриса или актер располнели на четверть килограмма, эта четверть килограмма есть повод для расторжения договора. Знаменитости поэтому, казалось бы, должны жить в посте и молитве. Так оно и есть!.. Я знал актрису, звезду, при которой постоянно был врач, которая ела по расписанию, которую по регламенту мыли, растирали и протирали, — она была любовницей миллиардера.

Голливудские люди начинают быть людьми, когда они зарабатывают от пятисот долларов в неделю и больше.

В Голливуде собрано до десятка крупнейших американских кинофабрик — «студио», как там говорят. Наикрупнейшие из них: М. G. М. (Метро-Голдвин-Майэр), Фокс и Парамоунт. И за заборами этих студий под субтропическим небом можно ходить по зимам канадских и арктических деревень, по деревням французским, английским, немецким и даже русским, — по океанам и кораблям, — по свежим метелям зим и по самумам пустынь, — по громадным площадям декораций, где снимают эпохи крестовых походов и заветы Христа, чикагских бандитов, мировую войну, автомобильные скачки, мексиканские идиллии, американский пуританизм — все, что хочешь. По

этим местам ходят средневековые рыцари, чикагские бандиты, пуритане-американцы, римские папы, пираты, индейцы, французы, американские пионеры, лопари — кто угодно.

Исторические эпохи, климатические и географические особливости — все собрано за заборами киночудес и под открытым небом и вываливается за заборы, делая Голливуд фантастическим, ибо артистический анархизм дает возможность славным разъезжать на своих «ройссах» в купальных костюмах, а экстра донашивает костюмы средневековых кинокартин.

Говорят, что Париж первенство в законодательстве мод передал Голливуду. Едва ли. Во всяком случае законодателем мод в Голливуде, портным на все кинофирмы работает портновско-художественная фирма Бернса. Этот Бернс имеет судьбу поистине голливудскую. В Сент-Луис на всемирной выставке 1905 года он, Бернс, выставлял десять индейцев в костюмах, сшитых им самим, которые не соответствовали тем костюмам, в коих ходят индейцы в Америке, но кои казались Бернсу наииндейскими. Эти десять наииндейско-дикарских костюмов Бернс повез в Голливуд, чтобы сдавать напрокат, подобно тому, как сдаются напрокат в Голливуде актеры. С этих десяти костюмов и пошли миллионы Бернса. Если Бернс и до сих пор придерживается этих наииндейских принципов, — он голливудец и американец чистокровный. Но говорят, что теперь у него можно достать мундир Вильгельма II — не то что точную копию, но снятый прямо с плеча Вильгельма, — если так, то он и парижанин, и сверхамериканец.

Я хаживал по этим зазаборным чудесам. В иных павильонах и складах вдруг менялись пропорции. На полках лежали игрушечные корабли и поезда. На столах располагались чаны с океанами и горные хребты в дремучих лесах, ледниках и снегах. На других столах располагался Верден, и из окопов выглядывали пушки с дымом. Стоял на полу в углу Собор Парижской Богоматери рядом с Вестминстерским аббатством. На проволоках у потолка висели эскадрильи аэропланов. Это все были декорации, за которыми снимаются живые артисты, пользуя законы перспективы и путая ими зрителя. Горные хребты будут пугать зрителя своими

снегами и просторами пропастей. В чане воды будут происходить бури и будут гибнуть на трепет зрителю дредноуты.

Летом тридцатого года на Памире я видел, как снималась одна русская киноактриса в роли таджички-комсомолки. Она должна была научиться ездить по-таджикски верхом на лошади, на таджикском седле. Она училась недели три, сбив себе все ноги. Она должна была по сценарию проскакать меж скалами и над обрывами с ребенком в руках. Она научилась. Она падала несколько раз с лошади. И в Америке, на скачках родео, я видел, как скачут ковбойские женщины. И видел я, как скакала за забором студии некая знаменитая звезда. Конь ее не был конем, а электрической игрушкой в лошадиный рост. Он не двигался с места. Актриса размахивала плетью и всем телом неслась на месте вперед. Делается это, оказывается, гораздо упрощеннее, чем скакание русской актрисы по Памиру. Объектив открыт только для одной, предположим, пятой части пленки, которая и фотографирует скачущую на месте актрису. В следующий раз на пленке, которая сняла эту скачущую на месте актрису, эта одна пятая будет закрыта для объектива, и объектив на остальные четыре пятых пленки нанесет те самые страшные горы и пропасти, которые стоят в вышеописанных павильонах на столах и полках. Стоит кинографический аппарат, а в метре перед ним стоит Собор Парижской Богоматери, а в метре за собором целуются-милуются двое актеров: на пленке получится, что эти двое чудаков целуются-милуются вовсе не в метре за картонной богоматерью, а на одном из портиков ее, за страшными химерами и в ясном небе прозрачных облаков, — ни в Париж, ни на Памир ездить не надо. А актриса на Памире, должно быть, потеряла в весе. Ее рассчитали б в Голливуде из-за потери веса и широт.

В иных павильонах за заборами здравствует ледяная тишина, ибо там снимаются тонфильмы, когда записывается звук тиканья карманных часов. Химические лаборатории за заборами и монтажные — поистине алхимичны.

Водили меня по этим местам, знакомили со всяческими знаменитостями, от которых мои спутники

приходили в ласковое состояние, на которых я смотрел, как баран на новые ворота. Познакомили меня с десятком звезд. Одна из них, страшно знаменитая, сказала мне, что я первый, который, знакомясь с ней, не говорит комплиментов, — с чем ее и следует поздравить.

Впрочем, все, что за заборами, окутано страшной тайной — тайнами конкуренции и патентных секретов. И не следует спутывать с актерами, одетыми во все эпохи и этнографии, полицию, охраняющую заборы: в Америке человек и предприятие могут нанять себе свою собственную полицию, чтобы она охраняла. В канцеляриях же, когда надо машинисткам переписать сценарий, каждый отдельный листок сценария дают отдельной машинистке, чтобы машинистки не знали содержания сценария и не выдали бы тайны. На съемках актеры также не знают содержания сценария — по тем же причинам, и актеры узнают о своих ролях вместе с прочими зрителями. По этим же причинам, когда актер не знает своей роли и за него играет режиссер, от актера и требуются лишь четверти фунтов его веса. Когда М. G. М. заключал со мною договор, в договоре был пункт, по которому я обязывался держать в строжайшей тайне мою работу до тех пор, пока фирма не найдет нужным тайну раскрыть в публисити.

Продукция американской кинопромышленности — известна. Пятьдесят примерно процентов посвящены бандитам и ковбоям. Остальное посвящается всему остальному американскому и мировому благополучию, где торжество добродетели обязательно и выражается предпочтительно в законном браке, где конец должен быть успокоителен и нравственен, где обязательно должен быть герой не старше двадцати пяти лет, где героиня должна быть не старше осьмнадцати лет, где обязателен низкий злодей и благородный преступник, предпочтительно комик. Пороки в американском кино называются категорически, оценкой пороков взят пуританский стандарт, но социальные перспективы обязательно заимствованы у Лидии Чарской. Кинокартины сняты, проявлены, смонтированы отлично. Кинематографическая техника — на превысоте.

Индейцы! ковбои! Голливуд помещается как раз на Диком Западе, и Голливуд не забывает своих праотцов,

начавших судьбу с первого фермера Калифорнии Иоганна Августа Сэттера. А поэтому — до двухсот фильмов в год из жизни Дикого Запада и ковбоев. Все они одинаковы. Благородный ковбой любит дочь такого же благородного старика ковбоя, — но имеется злодей, иногда также ковбой, иногда промышленник, иногда городской купец, который иль запугивает старика, иль заласкивает его обманными ласками, — всегда дело кончается похищением девушки, отчаянными конскими скачками, в коих всех обгоняет молодой и благородный ковбой, в силу чего он и женится, распутав злодейства соперника и обогнав всех лошадей.

Америка — страна с наибольшим количеством университетов. Студентов в университетах не должны спрашивать, какого они факультета, но — какой команды? — И студенческие фильмы стандартны, подобно ковбойским. Студент влюблен в ветреную девушку, она презирает, он страдает, — происходят спортивные состязания, — он победитель, хотя этого никто не ожидал, — рука девушки в его руке, — все — о'кэй! — Владимир Иванович Немирович-Данченко был в Голливуде, подобно Эйзенштейну и мне. Он предложил поставить в кино «Пугачевщину», картины из истории восстания русских заволжан против империи, возглавленного Емельяном Пугачевым. Владимир Иванович представил на утверждение сценарий, — «синопсис», как там говорят. Синопсис был одобрен дирекцией, и было предложено одно лишь исправление. Дирекция находила слишком страшным конец Пугачева и настаивала на том, что Пугачев, вместо плахи, встретился б с Екатериной, они б влюбились друг в друга и — о'кэй! — женились. — Не знаю, соответствует ли этот эпизод истине, мне его рассказывали в Голливуде, — но он, этот эпизод, как нельзя лучше характеризует голливудские традиции, тому я свидетель.

Это очень хорошо, что я был в Голливуде, — и не потому, что это замечательный материалец миллионов и нищеты, невероятных карьер и невероятных падений, доллара и страстей, которого не придумаешь, ибо только Голливуд придумал этакую социальную комбинацию пиротехники и искусства, — и не потому, что этот город более горячечен, чем Монте-Карло в Монако, —

город больших и не менее шалых денег, чем Монако, — город страстей тщеславия, страсти не менее жестокой, чем страсть скупости, — ведь босая нога той самой звезды, которой я не удосужился сказать комплимента, отпечатана на память векам на цементе одного из подъездов кинотеатров в Лос-Анджелесе!

Я — писатель, и дела мои — писательские.

Кинопромышленность — все эти чудеса бандитов и свадьбы Емельяна Пугачева за заборами, где рядом расположены тропики и Арктика, эросы древних и пуританизм современных, где сотни львов ходят с русскими белогвардейскими генералами, — все это по-американски называется кратко: «муви».

Голливуд — муви — третья, как известно, индустрия Соединенных Штатов. Предметом этой индустрии, само собою понятно, является искусство. Искусство создается мозгом. Предметом индустрии является мозг. Искусство создается талантами. Предметом индустрии является мозг талантов. Американская промышленность идет стандартами, иначе она не может конкурировать. Текстильная промышленность производит метры ситцев. Форд с конвейера бросает серии машин. Кинопромышленность — третья индустрия.

Писатели существуют, в частности, к тому, чтобы создавать сюжеты. Когда я приехал, меня спросили, нужен ли мне офис. Я не понял, в чем дело, и отказался. В договоре моем было сказано, что мои предложения войдут в силу, когда супервайзер — вице-директор — скажет: — о'кэй. О'кэй, — повторив в эхо, все же я заинтересовался, что такое писательские офисы?

За заборами муви я увидел некие длинные сараеобразные одноэтажные дома, соединенные внутри длиннейшими коридорами, направо и налево от которых идут малюсенькие комнатушки, похожие на конские стойла, — стул, стол, стул и больше ничего, кроме телефона. Эти денники называются офисами. В этих денниках сидят от девяти утра до пяти вечера — люди, которые предпочтительно ничего не делают, задирая ноги на столы, на подоконники, на спинки второго стула. Иногда они собираются по нескольку человек и беседуют. Иногда пьют виски. Эти люди с задранными в тоске ногами — писатели. Писатели, зарабатывающие

до двухсот пятидесяти долларов в неделю, должны сидеть в офисах обязательно. Писатели, зарабатывающие до тысячи долларов, должны быть здесь наездами. Писатели, зарабатывающие больше тысячи долларов, могут совсем не приезжать в Голливуд, — и даже лучше фирмам, если они приезжать не будут. В каждом таком баракообразном доме писателей человек по полтораста. У каждой крупной фирмы есть такие свои писательские бараки.

Писатели сюда собраны со всех концов — не только Америки. Где-то, в каком-то городишке писатель написал книгу, книга обратила на себя внимание. И писатель получает краткую из Голливуда телеграмму:

> «работать жить в Голливуде стап столько-то долларов в неделю стап пять лет отдавать все написанное для постановки в муви фирме такой-то».

И — все.

Пути господни неисповедимы, рассуждает фирма, человек талантливый, может быть, напишет еще что-нибудь такое, к нашему беспокойству, что выйдет из ряда вон, — лучше закупить его сейчас, чем платить ему впоследствии втридорога, и лучше, если он будет у нас, чем у нашего доброго соседа — конкурента Фокса или Парамоунта, или М. G. М. Да к тому ж, если он будет у нас получать жалованье, кривая его таланта очень нас беспокоить не будет, — а то есть некоторые такие, такое антибандитское завернут, что нос вянет, а публика — довольна. Таланты и имена измеряются долларами. И именно поэтому высокодолларным лучше и не быть в Голливуде. Например, Теодор Драйзер. Он куплен подобно всем. Фирма поставила в лето 1931-е его рассказ за его именем с некоторыми переделками вроде конца «Пугачевщины». Сделано, по понятиям фирмы, как лучше, а Драйзер начал судиться, требовал снятия его имени, если не уничтожения картины, иль переделки. Конечно, лучше было бы, если бы Драйзер ни в Голливуд, ни в кино не заглядывал, — тем паче, что вообще-то одно беспокойство, ибо на суде Драйзер проиграл, ибо — разве можно судиться с третьей индустрией?!

Писатели, оказывается, приглашаются не только для того, чтобы писать и выдумывать. Писать или не писать — они вольны. Если ж напишут, киноинсценировать будет их фирма такая-то по усмотрению и вкусам фирмы, подобно тому, как с Драйзером. Разве додвухсотпятидесятидолларовые иногда пишут за особую приплату и без подписи.

Уже не разделенные на стойла, а собранные в залах, за рядами столов, разделенные по национальным культурам — англосаксонские, германские, нормандские, славянские, — сидят специальные читатели и читают все новые книги, вышедшие на земле. Сначала они читают рецензии, затем книги. Читатели устанавливают, какие книги подходящи для фильма, и они делают краткие конспекты книг (они ж, прочитав нового автора, решают, купить иль не закупать его впрок). Конспекты (и предложения о покупке) идут к — скажем так — столоначальникам. Национальные столоначальники делают свои выборки и передают отобранные конспекты (и предложения) заведующему. Заведующие отдают свои заключения супервайзерам. Супервайзеры говорят или не говорят: о'кэй.

Если супервайзер сказал о'кэй, тогда рождается фильм, и машина муви приступает к тому, чтобы сделать картину, оставив рожки да ножки от того, что было написано писателем в его романе, повести иль драме, подобно историям Владимира Ивановича и Драйзера.

Это — один путь возникновения фильма.

Есть второй путь.

У каждой фирмы есть свои выдумщики и свои писатели, помимо тех из бараков, находящихся в запасе.

Сидят этакие специальные выдумщики, комбинируют так и сяк всяческие сюжеты и — выдумывают, что бы такое сыграть в кино, из какой жизни, из какой страны, из какого бытия, причем злодеем будет тот-то, а герой и героиня — о них сказано, им в среднем не больше двадцати двух лет. Выдумщики — народ апробированный и доверенный. Свои идеи они сообщают прямо супервайзерам без бюрократических пирамид читателей.

Когда по поводу сюжета сказан супервайзером о'кэй, этот сюжет одевают в кровь кинокартинного мяса, составляют «стори», как говорят американцы, и «синопсисы», разрабатывают сюжет и расписывают его по явлениям. Это еще не сценарий, это:

> «...молодой очаровательный блондин вошел в комнату. Навстречу ему вышла Таня. Николай здоровается с Таней и говорит ей о той опасности, которая предстоит Моргану».

Здесь не разработаны звуки и шумы, в которых идет картина. Здесь не обусловлены декорации. Здесь не даны персонажам слова.

Когда синопсис уже готов, приглашаются иной раз и писатели из стойл. Предположим, что такой-то писатель знаком с морской жизнью. Его приглашают. Ему таинственно поручают просмотреть синопсис и опустить его в морские детали корабля, матросских привычек и обычаев, капитанских повадок, штормов и штилей. Писатель в своем стойле пишет. Имя этого писателя не появится на картине. То, что писатель напишет, будет исправляться супервайзером, художником, музыкантом, опять супервайзером и — другим писателем, кинописательской какою-нибудь знаменитостью, одобренной кинозрителем. Этот писатель переработает совместно с режиссером все собранные до него материалы, этот писатель переведет их на язык кино и этот писатель подпишет картину.

> «...молодой очаровательный блондин входит в кабинет директора Николая. (Шум завода и отдаленные сирены. Близким планом лицо Моргана. Вид завода за венецианским окном.)
>
> Навстречу Моргану вышла Таня.
>
> (Морган улыбается. Глаза Тани строги, озабоченны и в то же время любящи. Шум завода стихает. Слышна музыка Бетховена. На первом плане лица Тани и Моргана на фоне венецианского стекла и завода.) Морган счастлив.

Николай» — — и т. д.

Но этот сценарий будет дорабатываться другими, безыменными. Диалоги, в частности, всегда пишутся отдельно, специальным безыменным писателем. В тридцатом году все киноэкраны мира прошел фильм M. G. M. «Биг хауз» — «Большой дом», — посвященный американскому тюремному быту: написал этот фильм писатель, бывший в тюрьме и имени своего не подписавший, исправлял его мой супервайзер Ал Люэн, подписала его моя соавторша — американская Лидия Чарская — Фрэнсис Марион.

Итак: если в кинофильме у американцев есть писательская работа, то — или писатель пишет и имени своего не имеет, или подписывает сделанное не им.

Писатели, хоть и проживают в кельях офисов, суть писатели, в судьбах своих имеющие нечто роковое, и в прощальную мою голливудскую ночь чудесный писатель Р., бывший моряк, матрос, говорил мне:

— Тты, Пильняк, — тты шутишь, — американская индивидуальность! Я от девяти утра до пяти вечера сижу в офисе и делаю как раз то, что по ночам, когда пишу для себя, а не для фирмы, я ниспровергаю в своих романах... Тты, Пильняк!.. но у меня дома всего-навсего лист бумаги да перо, да усталая за день голова, а у муви — аппарат, машина, миллионы денег и зрителей, которых муви стрижет своими картинами... Эх, тты, Пильняк! ты не хочешь с нами работать? ты уезжаешь? Голливуд мне платит деньги! — я приеду к тебе в Союз Советов, когда кончится договор!..

Второй разговор, бывший в ту ночь, я приведу дальше. Сейчас засвидетельствую, — я не встречал в Голливуде людей, которые не кляли б муви, — а я встречался с писателями. И слово здесь будет отдано понятию того, что американцы понимают в понятии — договор. Выше рассказывалась судьба рабочего Х., русского по национальности, работавшего принципами свободных посылок к миссис чертовой мамаше, — так бывает, когда нет договора. Когда же бывает договор, восстают — из гробов, казалось бы, в перспективе современности, но в Америке не из гробов, а именно из современности — восстают понятия рабства.

Договор! — актер или писатель — безразлично — заключает договор на пять лет. В договоре всегда оговорено, что фирма может порвать договор в любой час и может его пролонгировать, — но этого права нет у писателя (иль актера). В договоре всегда сказано, что фирма может перепродать свои права, — этого права, совершенно американски естественно, у актера нет. В договоре оговорено, что актер приглашается на такие-то роли и не может отказаться выполнять их или им подобные. Отказ от договора со стороны актера — это не только потеря куска хлеба и карьеры (ибо фирмохозяева, хоть в Америке и существует закон против трестов, тресты запрещающий, — картелированы), — но этот отказ от договора — и долговой хомут неустойки, и — возможно — долговая тюрьма. Это касается и кинозвезд, и писательских знаменитостей, и безыменных.

И в Голливуде можно услышать десятки историй о чудесных договорных комбинациях.

Писатель заговорен за фирмой такой-то. Он написал повесть. Его фирма не пользует этой повести для сценария. Соседняя фирма намерена повесть эту поставить. Супервайзер этого соседа не говорит с писателями, он телеграфирует супервайзеру, заговорившему писателя:

— Хэлло!

— Хэлло!

— Мы хотели бы поставить такого-то!

— Но мы тоже об этом думаем!

— Уступите!

— Разве только из дружбы!

— Сколько берете?!

— Сорок пять тысяч!

— Уступите!

— Разве тысячу, только из дружбы!

На тридцати пяти тысячах друзья сходятся. Писатель по-прежнему получает от своей фирмы свои двести пятьдесят долларов.

Писатель — туда-сюда — рукопись, а не человек. И вот с человеком:

— Хэлло!

— Хэлло!

— Нельзя ли нам недельки на две вашу звезду такую-то!

— Но мы сами намерены!..

— Уступите!

— Разве только из дружбы...

— Сколько берете?!

Писатели и актеры по договорам, так скажем, отдаются на подержание.

Молодой писатель (иль молодая актриса, иль актер) заключил три года тому назад договор на семьдесят пять долларов в неделю. Он пошел в гору. У него имя. Он получает прежние свои семьдесят пять долларов. Договор с ним, чего доброго, через два года будет пролонгирован.

Актеру иной раз хотелось бы проработать свою роль, хотелось бы роль себе выбрать, но у него есть договор, и роль выбирает не он, а супервайзер.

Режиссеров фирмы также дают на подержание.

Но актер не может проработать и выбрать себе роль, не только потому, что за него думают другие. Актер не должен даже знать сценария во имя промышленной тайны. Раньше с родео, с ковбойских скачек, выбирались лучшие для кино, — раньше кино собирало гимнастов вроде Дугласа Фербенкса, — теперь этого не надо, все заменено техникой, и никакой Фербенкс не прыгнет так, как скошенная перспектива.

В тех альбомах, которые лежали у моего приятеля-режиссера от пола до потолка, были альбомы дублеров, — экстра, похожих на знаменитых артистов. Некая бедная фирма берет на неделю на подержание знаменитость, фотографирует знаменитость в ответственнейших местах, — остальное ж за нее доигрывает дублер. Знаменитость получает три тысячи в неделю, экстра получает шестьдесят долларов. Некая богатая фирма ставит картину, где героине (конечно — звезда) надо прыгать со скалы в воду, вылезать из горящего здания, — там, где это дорого сделать фокусами, там звезду заменяет дублер, дабы звезда не мокла, не волновалась, не обжигалась и не ломала ребер.

Мужчины-актеры — не в счет, ибо они мужчины. Они сами должны сделать свои карьеры. Да их звездами и не называют. Что же касается звезд в подлинном

смысле этого кинодейного слова, то есть женщин, то надо засвидетельствовать, что подавляющее большинство их, за исключением трех-четырех (например, Греты Гарбо), создали свои судьбы не талантами и даже не красотою, но тем, что они — или жены кинодиректоров и супервайзеров, иль любовницы миллиардеров, акционеров кинофирм и вообще. Мужчины-актеры подлинно талантливые (есть, конечно, и такие — Чарли Чаплин, тот же Фербенкс) не укладываются в режим муви, — тогда они организуют свои студии и работают за свой страх и риск. Талантливая молодежь, экстра, которая иной раз много играет, дублируя знаменитостей, сейчас объединяется около журнала «Experimental Sinema», протестующего против традиций муви. Но перспектив не надо путать: Чаплин — исключение, а работа журнала — донкихотство.

И понятно, почему в Нью-Йорке показывается пьеса, где Голливуд показан таким, как он представляется американцам, — даже американцам! — и таким, как он есть на самом деле. Экстра никогда не будут звездами, это не выгодно, экстра могут дублировать звезд. Звезды нужны для популярности фильмов. Создать публисити и заставить зрителя полюбить звезду — выгодней таким образом, чтобы это было всячески выгодно, и какому ж директору не приятно к своему жалованью прибавить жалованье жены, а под мышкой у себя иметь звезду, — миру во поучение?! Звезды стареют, вместо них под их именами играют экстра. Экстра получают шестьдесят долларов в неделю, пока — пока не выпадет счастье. И Алекс Гомберг, старый американский волк и мой друг, был совершенно прав, когда он меня напутствовал в Голливуд следующими словами:

— Вы, Борис, пожалуйста, как можно осторожнее с экстра. Экстра еще могут подумать, что вы богатый или сильный человек в муви. Скандалов не оберетесь.

В Голливуде я понял, что значило это предостережение. У нас, в СССР, была волна алиментных дел, — так это волна на Москве-реке по сравнению с великоокеанскими волнами алиментных дел Голливуда! — Эти алиментные дела суть пути в звездочетство, ибо для экстра только один нормальный путь в славу — стать любовницей иль женой киносилуимущих, — иных же пу-

тей два — голод иль проституция, ибо из ста процентов экстра работали только пять, по кризисным временам. Все это — в американском понятии вещей. Договор есть мечта и:

— ...Тты, Пильняк, — американская индивидуальность!..

Что касается меня, то мои дела в Голливуде — лишняя иллюстрация к вышесказанному. Я имел отличие от остальных там работающих: я был советским гражданином, и в договоре у меня было оговорено право порвать сей договор в любые двадцать четыре часа. Выше же сказанное я расцениваю как любование капитализмом в собственные его глаза и иллюстрирую им американскую организацию — и труда, и промышленности. Муви — третья американская индустрия, — кто подлинный хозяин муви — супервайзеры? — дирекция? — акциидержатели? — Нет, конечно. Муви — замечательнейшая финансовая организация, не снившаяся ни одной податной фининспекции, ибо все обыватели Америки (и мира) платят ежевечерне, ежедневно, еженедельно добровольный подоходный налог муви. Хозяин муви — зритель, всеамериканский обыватель. Муви — индустрия. Форд конвейером автомобилей угождает покупателям. Текстильная промышленность вырабатывает метры ситца. Муви вырабатывает футы пленки. Таланты писателей должны уложиться в эти пленки футов. Когда супервайзеры ставят свое о'кэй, они ставят это о'кэй на вкусы и в угоду вкусов обывателя. Мой пароходный спутник, король от свиных и телячьих кишок, мистер Котофсон, — безграмотен.

Он в совершенстве знает кишечную технику, он любит все приличное, и он желает иметь совершенную технику кино, ибо намерен мирно спать, подобно героям Синклера Льюиса с Майн-стрита.

Итак: мне говорили в Нью-Йорке, что Америка — не в Нью-Йорке. Что же, Америка — в Голливуде?! Я установил в Голливуде, что и Голливуд, и Нью-Йорк — всё одни и те же прекрасные черты прекрасного лица!

Если ж сбросить со счетов муви, как таковое, и оставить писателей, к сословию коих я принадлежу, как таковых, и если говорить об искусстве американского ин-

дивидуализма, — старые истины! — искусство активно только тогда, когда оно создает новые формы, новые идеи, новые эмоции, когда оно будит, но не усыпляет, — ибо искусство будет искусством только тогда, когда оно революционно, и искусство будет искусством только тогда, когда оно убежденно. Искусство создается, в частности, писателями. Для того чтобы писатель мог работать, он должен верить в свою работу, в ее необходимость, в ее значимость. Это, разумеется, гораздо важнее денег: сколько гениальных произведений было создано на всяческих (и фактических, и психических) чердаках и в голоде? — И писатель подобен птице: птице легче лететь, когда ветер дует ей в грудь. И — подлинный хозяин футов американских талантов муви — господин капитализм, ницшеанец доллар.

Я приехал в Голливуд и пошел к моим супервайзерам, смотрел Наполеонов от обывательщины и обывателей от Наполеонов. Мне сказали, что меня пригласили «в качестве большевика», как мне дословно было сказано, чтобы советизировать фильм. Меня спросили, нужен ли мне офис. Мне сказали, что в моем распоряжении переводчица-секретарша. Мне дали право телеграфировать в любые концы земли за справками. Я мог отовсюду выписывать книги, мне нужные. Я должен был понять, что раз я получаю столько-то, я уже в компании эксплуататоров. Мне сказали, что некий выдумщик надумал поставить просоветский сценарий. Я и Фрэнсис Марион должны быть авторами картины, режиссером будет Джордж Хилл, помощником режиссера (и моим помощником) будет Борис Инкстер, русский человек, советский гражданин, отставший от группы Эйзенштейна. Супервайзером будет Ал Люэн. Директорствует Ирвинг Толберг, директор M. G. M., муж Нормы Ширэр, человек, получающий миллион долларов жалованья в год, голливудский Наполеон со скрещенными руками. Все перечисленные должны были составлять «конференс» — совет при картине. Я, кроме авторства, должен был быть и советником при фильме, дабы не было клюкв.

Понятие просоветский — следующее понятие. Америка, как известно, в 1931 году дипломатических отношений с СССР не имела. Те американцы, что были

против признания Советского Союза, назывались антисоветскими. Те же, что хотели восстановить международную дипломатию, назывались просоветскими. Так же разделялась и русская в Америке колония. Большинство эмигрантов, приехавших до революции, были просоветскими. Антисоветскими были те, кто предал родину, бежав от революции. Что касается меня, я был просто советским.

И что касается меня еще раз, — мне не пришлось побывать ни соавтором всезнаменитой в кинодействе Фрэнсис Марион, ни советником при фильме.

Но по поводу фильма я советовался несколько дней. О политике, избави Боже, до последней моей отъездной ночи мы не говорили ни слова.

К моему приезду основные черты сюжета были уже — так скажем — продуманы, и Фрэнсис Марион написала уже первоначальный синопсис, коий я должен был проработать в совете с соработниками и переработать в свете истины.

«...в кабинет директора вошел молодой очаровательный блондин...»

Содержание сработано было мадам Фрэнсис Чарской по всем американо-голливудским правилам. Герой — американский инженер Морган. Героиня — очаровательная Таня. Злодей — ГПУ. Добродетельный комик — директор строительства Николай, рабочий, герой пятилетки, коммунист. Дело происходит в СССР. Морган едет в СССР работать, дабы «изучить великие принципы планового хозяйства, чтобы впоследствии применить свои познания у себя на родине» (выписано дословно). Таня («очаровательная шатенка!») высылается из Америки, — депортируется, как там говорят, — потому что она коммунистка и руководила забастовкой в Америке. Между Таней и буржуазным Морганом — классовая вражда, но — «взгляды их встретились, и они любят друг друга, сами не подозревая об этом» (выписано дословно). Они едут на одном пароходе, в разных, конечно, классах. Они проплывают мимо статуи Свободы. Таня с нижней палубы шлет проклятья американской свободе. Морган на верхней палубе

насвистывает американский гимн. Глаза их опять встретились. И так далее. Сейчас же за советской границей начинаются чудеса. К Моргану сразу приставлен шпион (который впоследствии оказывается мужем сестры Тани, умирающей от чахотки и измен мужа). Этот шпион и неверный муж сразу влюбляется в Таню. Он, конечно, тайный чекист. Но кроме этого тайного чекиста, ходят по СССР чекисты и «явные» — они чернобороды, увешаны бомбами, они в валенках, и у них глаза горят, «как угли». Явные чекисты на глазах у всех арестовывают профессоров, отрывая их от жен, которые тут же умирают. В Москве делаются чудеса не меньше. Там строятся небоскребы «более высокие, чем в Нью-Йорке» (выписано дословно). Морган работает на строительстве завода «Сталь», «который будет самым большим в мире». На заводе работает директор Николай (будет играть комик такой-то), коммунист, герой пятилетки, бывший американский рабочий, некогда работавший с Морганом (хотя Моргану не больше двадцати двух лет). Таня, для-ради свежего воздуха, с умирающей от туберкулеза сестрою едет на родину в деревню, как раз около строительства «Стали». В деревне свежий воздух, большие, свежие, разукрашенные украинскими (хотя и на Урале) полотенцами избы, горами масло и яйца, кои поедают благоденствующие пейзане. По деревне в одно революционное утро проезжают танки, сравнивая деревню с землей, дабы на голом месте строить колхоз. Деревенскому батюшке обрезывают бороду. Коммунистка Таня возмущена. Но в Таню влюблен шпион, муж сестры, тайный чекист и злодей. Он доказывает, что двоеженство не есть порок, но что при настоящем коммунизме можно будет иметь хоть двадцать жен, и Таня, как коммунистка, немедленно должна ему отдаться. Но тут он догадывается, что Таня любит Моргана. Тогда он мстит Моргану, подводя его под уголовщину. Таня в это время возглавляет восставших крестьян совместно с бритым батюшкой. И над Таней, и над Морганом нависает гроза расправы ГПУ. Ни Таня, ни Морган об этом не подозревают, но об этом узнает Николай, красный директор и коммунист. Он зовет к себе Таню и Моргана и — он советует им бежать из СССР! — Они бегут. Их преследует

ГПУ. — Зрители должны захлебываться от волнения, — догонят? — не догонят?! — точь-в-точь, как в индейских картинах. Они, конечно, спасаются. Когда пароход проходит мимо статуи Свободы, очаровательная Таня протягивает к ней счастливые руки, а Морган поет американский гимн (около той самой Свободы, под юбкой которой много лет помещалась тюрьма). В этом месте Таня, совершенно американски естественно, отдает Моргану руку с сердцем и со всем прочим, — недостает только национального флага!

Когда меня спросили на конференсе, — после того, как синопсис был оглашен, — что я об этом думаю? — я совершенно чистосердечно сказал, что синопсис этот кажется мне совершенной ерундой. Моему утверждению, к удивлению моему, никто не удивился. И никого мое утверждение не обидело. Политики мы не касались, избави Боже, — при чистом-то искусстве! — но уроки политграмоты я давал несколько часов подряд. Со мной соглашались охотно. Я говорил, что если злодей необходим, то следовало бы за злодея взять русскую контрреволюцию. Рассказывал о саботажниках и о процессе Рамзина. Толберг попросил меня перерассказать ему еще раз, что такое саботаж. Выслушал и сказал:

— О'кэй, пусть вместо ГПУ злодеем будет саботаж!

Я рассказал, что такое колхозное движение. Толберг выслушал и сказал:

— Уэлл, не надо крестьянского восстания, — придумайте какую-нибудь волнующую, вроде бунта, картину! Щюр!

Я говорил, что американец не может бежать из СССР, ибо, если он бежит, значит он дурак, а дурак не может быть героем, а если он герой и не дурак, то он не побежит, ибо ни один американский инженер еще не бегал из СССР. «Уэлл» это значит: итак, стало быть, «щюр» — конечно. С этих слов американцы начинают фразы, когда хотят быть глубокомысленными.

— Уэлл, — сказал Толберг. — Но побег нам необходим как трюк. Придумайте, каким образом может быть побег правдоподобен для героя, потому что побеги очень нравятся американскому зрителю.

Я говорил, что можно, мол, придумать и такую комбинацию, когда на Гренландии будут созревать лимоны,

но Гренландия тогда будет не Гренландией, а Голливудом, — а меня приглашали быть автором и советником в фильме просоветском.

— Уэлл, — сказал Толберг, — мы ставим фильм именно просоветский, и мы пригласили вас как большевика. Но придумать побег необходимо! Щюр!

Следует сказать, что в картине работать я хотел, ибо понимал, какое громадное значение имеет кино в той же Америке, — и сделать картину, в которой было бы правдоподобия хоть на семьдесят пять процентов, это мне казалось — по моим размерам — делом большим. Приехав в Голливуд, я изложил дирекции мою программу. Она была проста. Я говорил, что для меня приемлемы условия работы только в том случае, если мне дадут возможность сохранить исторические перспективы, — СССР строит социализм, СССР ведется коммунистической партией, — это есть исторические факты и их, фактов, перспективы. Мне сказали: о'кэй, уэлл! Я имел тогда уже представление о Голливуде вообще и, прослушав синопсис, склонен был считать его глупостью больше, чем политикой, тем паче, что спасти ГПУ от злодейства, а колхозы от восстаний не стоило никаких трудов.

Ночи две голливудских мы с Джо не спали, так и сяк придумывали побег! — С Морганом ничего не выходило. Тогда мы решили, что бежит Таня, а Морган бегает за ней из-за любви. Таню мы исключили из партии. То мы комбинировали так, что Таня никогда и не была в Америке, а так, русская буржуичка, переводчица и прочее. То мы оставляли ее первоначальное пребывание в Америке. — Ничего не выходило! — Ничего не выходило и с Николаем, ибо невозможно придумать комбинацию, когда коммунист помогает побегу, оставаясь коммунистом! — Действительно, надо было, сидя в Голливуде, придумать произрастание апельсинов на Гренландии.

Придумали мы лишь одно: речь, которую я сказал на следующем конференсе.

Декарт однажды утвердил заповедь: «Я мыслю — стало быть, я существую». И европейская философия века полтора билась с этой формулой, путая философию, ибо по этой формуле чрезвычайно трудно прими-

рить человека с космосом и очень легко утвердить мир не как реальность, но как представление. Билась философия до тех пор, пока не пришел человек и не сказал, что корень зла находится не в примирении этой формулы с действительностью, а в самой формуле, ибо формулу надо переделать. — «Я существую — стало быть, я — часть природы». — «Я мыслю — стало быть, я существую» — в это самое у нас превратился побег. Гренландскими изысканиями заниматься не стоит. Лучше не в Голливуде придумывать сценарий и затем подгонять под него советскую действительность, но, наоборот, сценарий подогнать под действительность, опустив гренландские лимоны побегов. Так говорил я.

— Уэлл, — сказали мне, — но мы хотим поставить просоветский фильм.

— Именно поэтому я и не спал полторы ночи, — ответил я.

— Но просоветский фильм, — сказали мне, — это значит: пусть большевики делают у себя, что хотят, хотя бы и социализм. Мы признаем пятилетку и ваше строительство. Мы за признание Советов и восстановление дипломатических отношений, потому что нам выгодно с большевиками торговать. Но то, что происходит у большевиков, это никак не годится для американцев. В фильме надо показать, что у большевиков не могут жить даже американские коммунисты. Все это надо показать в фильме, который мы намерены крутить.

Я выслушал, понял, что это уже не глупость, но политика, хоть и очень глупая, вытащил мой договор, по которому я мог в каждые двадцать четыре часа порвать этот самый договор, и сказал: гуд-бай, до свидания! — выморочив имя свое из голливудских дел.

Мне сказали, что я могу откуда хочу выписывать и вытелеграфировывать книги и выдумывать, что я только вздумаю, лишь бы это было кинично и было чистым искусством. Напомнили мне, что я — привилегированный. И спросили удивленно: ужели я действительно не хочу работать? — ужели я на полпроцента не хочу отступить от истории, от той самой, перспективы которой я ставил условием своей работы?

— Нет, — сказал я, — я не предатель.

— Ну, а у нас, американцев, обмануть историю, а еще больше того государство, считается хорошим бизне-

сом! — это мне сказал Ал Люэн, надо полагать, всерьез.

С Алом Люэном я проводил последнюю голливудскую ночь. Я дружил с ним — главным образом не по службе. В мои голливудские дни у Ала Люэна гостил его друг, молодой американский поэт Чарлз Резников, очень талантливый человек. Резников не оказался на золотом крючке муви и служил приказчиком в Нью-Йорке, в шляпном магазине. У Резникова хорошие книги стихов, которые плохо идут, потому что они хорошие. Ал Люэн дал возможность Резникову приехать в Калифорнию для отдыха. Я был свидетелем, как Ал покупал книгу Резникова экземпляров по двадцать пять и, потихоньку от Резникова, раздаривал эти книги знакомым. Это он делал для того, чтобы поддержать тираж. Ал в совершенстве оценивал Марселя Пруста, Джемса Джойса, русского Гоголя и расспрашивал меня о Пастернаке (о поэте, к слову, которого сейчас чтут лучшим из живых на земле). Ал, почти единственный в Голливуде, хотел внимательно знать об СССР. В свое время Ал был профессором литератур. Мне он предлагал в распоряжение его дом и его «паккард», и мои книги, должно быть, он также покупает по нескольку сразу. Он — очень маленького роста, очень слаб физически, и у него внимательные, умные, чуть-чуть усталые глаза. Он — умный и культурный человек.

В последнюю мою голливудскую ночь собрались друзья, чтобы мы распрощались. И в то время когда Р. говорил: «Эх, тты, Пильняк! — американская индивидуальность!» — Ал Люэн сказал мне:

— Ты не хочешь муви уступить полпроцента? но как же муви уступит тебе полпроцента? Дело не в людях, Бор, но дело в системе!

Ал Люэн совершенно прав, — дело в системе, но не в людях. Ал Люэн — хороший человек. Выше рассказано было о хорошем американском бутце в любовь индианки, — это было в Калифорнии. Ниже рассказано будет о том, что Калифорния сыграла однажды роль ломового извозчика, который вывез Соединенные Штаты из лужи кризиса — калифорнийским золотом. Калифорния и Голливуд помнят историю заселения Калифорнии, Дикого Запада. Иоганн Август Сэттер имел большую американскую судьбу, этот первый калифор-

нийский фермер. Он родился в Германии, жил в Швейцарии, служил в Париже в гвардии, пока из гвардии его не выгнала Июльская революция. Он поехал в Африку купцом. Он приехал в Нью-Йорк трактирщиком. Сначала он искал счастья. Затем он стал искать покоя. Он поехал с семьей на Дикий Запад, чтобы уйти от людей. Из Сан-Франциско с двумя другими белыми, с семьей и с несколькими индейцами, — пионер, — на лодке он поплыл вверх по течению реки Сакраменто, где до него не было еще белых. Он хотел там жить Робинзоном. По законам пустынь он сделал заявки на земли, и земли стали принадлежать ему. Он построил ферму, которую назвал Новой Гельвецией, которую окружающие называли Фортом Сэттера. Сэттер фермерствовал и сплавлял вниз по Сакраменто леса. Он прожил десять лет в этих диких местах один с двумя своими товарищами и с семьей. Он обрел покой. Но его ж товарищ Джемс Маршалл 28 января 1848 года на его же, Сэттера, землях нашел золото. Золото! — то, ради чего и вообще-то европейцы поехали в Америку! — Через две недели тогда земли Сэттера превратились в лагери золотоискателей и брошены были в быт, описанный Джеком Лондоном. Через полгода тогда на земли Сэттера собралась вся американская гольтепа, создав поселки, которые теперь называются городами и носят старые названия — Виски, Копи Дикого Янки, Портвейн. Новая Гельвеция оказалась в центре города Сакраменто, ныне столицы Калифорнии. Сэттер был фермером и хотел фермером остаться. Сэттер обратился к суду с требованием, чтобы власти прогнали с его земель не прошенных им людей. Суд подтвердил его права, но суд был бессилен. Сэттер поехал в Вашингтон за помощью, — и только поэтому Сэттер остался жив. Золотоискатели поступили с приказом суда законами пустынь и «дикого» Запада. Все владения Сэттера были сожжены, один его сын застрелился, другого убили, третий бежал и пропал без вести, его дочь изнасиловали, и она сошла с ума. Сергей Эйзенштейн, приглашенный, подобно мне, Голливудом, фирмой Парамоунт, предложил поставить в кино судьбу этого первого фермера Калифорнии. Ему отказали. Тогда он предложил поставить «Американскую трагедию» Драйзера, которую

проработал вместе с Драйзером. С Эйзенштейном был порван договор, и порван был так, что Эйзенштейн должен был в двадцать четыре часа покинуть Американские Штаты.

В Америке много киносюжетов!

24

Итак, утверждение иных американцев, что Америку надо искать не там и не сям, — отбыло. Предаваться изучениям стран из окна вагона — даже и особенно «двадцатым веком» — дело по многим причинам неудовлетворительное. Я купил себе автомобиль, чтобы на нем переправиться от океана к океану и вплотную посмотреть Америку. Обучался управлять машиной я в Санта-Монике под пальмами. Совершенно ясно, в первые дни обучения, неожиданно наткнувшись на неожиданность, растерявшись, не сообразив выключить конуса левой ногою, правой ногой, вместо тормоза, стал отчаяннейше я давить на газ. Автомобиль, совершенно естественно, превратившись из автомобиля в танк, стремительно въехал в ту самую неожиданность, которая испугала меня и которая оказалась садовым заборчиком. Танк проехал этот заборчик и через второй, исковеркав обывательские клумбы и чудом повиснув над обрывом к океану, застряв в песке. Так я обучался американскому хладнокровию и юмору.

Все же, прежде чем покинуть Калифорнию, я ездил по ее достопримечательностям.

Я видел памяти соотечественников.

Я ездил по развалинам индейских поселков и по испанским миссиям («мишэн» — по-английски). Этими мишэнами испанцы завоевывали индейцев. Каждая такая мишэн — толстостенная, монастыреобразная — есть крепость, обязательно с громадным винным подвалом и с неменьшей братской столовой. В нескольких мишэнах сохранились испанские картины памяти индейских здешних времен. Эти картины в наивной безграмотности и безвкусице мастерства очень реалистичны. На иных изображено превращение индейцев в католическую веру: в воде стоят голые ин-

дейцы, над ними на берегу стоит со крестом толстый ксендз, сзади ксендза вальяжно постаивают испанские солдаты с фузелями, еще дальше под кустами командирствуют лошади и пушка. Так оно и было. Индейцев в веру загоняли порохом. Ну, так вот, в одной из мишэнов, в алтаре, в заалтарной каморке увидел я русский самовар, совершенно православный, ручной работы, красной меди, по всему — века семнадцатого. Самовар в католическом алтаре привел меня в недоуменье, я отправился в розыски и расспросы. Оказалось, что в семнадцатом веке здесь были русские, атаман русского корабля Резнов собирался даже жениться на некоей туземной принцессе, но не осмелился сделать этого без разрешения царской милости, поехал восвояси за этой милостью и обратно не вернулся. Испанское правительство, оказывается, имело из-за этого Резнова переписку с российскими приказными в страхе, что русские рыбаки и казаки заберут себе Калифорнию. Самовар остался от тех пор, и испанские монахи, не зная толкового самоварного применения, пользуются им как умывальником в богослужебное время. И крепости-мишэны строились, оказывается, главным образом не против индейцев, а против русских. Чудеса в решете, хоть и не к славе мне этакий патриотизм! — русские в Калифорнии, русские прыгуны!..

Видел я родео ковбоев.

В старину, то есть лет десять тому назад, с этих родео выбирали лучших ковбоев для кино.

Ехали в горы, за горы, к границе штата Аризона. С гор таборами семейств, от стара до велика, мужчины и женщины, приехали ковбои. Их кони — мустанги! — стояли у коновязей, красавцы, пришедшие на состязание. Ковбои рассматривали коней. В загонах мычали быки и коровы. Женщины, многие в ковбойских штанах, с пестрыми шалями на плечах, гуляли вокруг ипподрома, наслаждаясь праздничностью. Девушки перепроверяли подпруги седел у своих коней. Все от времени до времени ели горячие сосиски и пили кока-кола. Председатель ковбойского общества спортсменов, знаменитый ковбой и не менее знаменитый — ныне уже бывший — киноактер, распорядительствовал. Его костюм блистательствовал. От времени до времени он рас-

пускал свое собственное лассо, шпорил лошадь, и лошадь пропрыгивала через петлю лассо хозяина, — лицо киноковбоя не меняло ни единого мускула.

Начались состязания. Первым номером была езда верхом на диких быках. Быки неистовствовали в обалдении, прыгали, копали землю рогами, лягались, иные ложились. Уздечек, естественно, никаких не было. Всадники, если так можно выразиться о ездящих на быках, держались исключительно при помощи ног, эквилибрируя руками в воздухе для равновесия. Победителем был тот, кто свалился с быка последним. Затем то же самое было повторено с необъезженными лошадьми. Затем были гонки со всяческими джигитскими ловкостями. Гонялись и девушки. Их ловкость заключалась в том, что они, так скажем, везли эстафету. Проскакав круг, каждая девушка перескакивала на полном ходу с одной лошади на другую и мчала дальше. Одну девушку с поля свезла карета «скорой помощи». Прыгали девушки с одной лошади на другую на карьере замечательно: девушка-помощница разгоняла лошадь, и наездница с ходу прыгала с одной лошади на другую в тот момент, когда лошади равнялись. Гонящаяся девушка хваталась за гриву второй лошади, на момент распластывалась в воздухе и во второй момент мчала уже дальше, нашпоривая коня. Девушки не были стриженоволосы, и волосы их развевались по ветру. Затем были состязания с лассо. Из-за загона выпускалась корова, испуганная и бегущая. Ковбой должен был, стоя на коне, бросить на нее лассо, уронить на землю, соскочить с коня и связать ноги корове. Победил тот, кто сделал все это в наименьшее количество секунд. Надо сказать, что ковбоев и их коней, и их стад полудиких коров и быков было все же меньше, чем, скажем так, цивилизованных зрителей и автомобилей. Ипподром и скамейки для зрителей сколочены были наскоро из нетесаного теса, но в уборной была проведена вода и оборудована канализация, а над ипподромом для вечерних удовольствий висели электрические лампы. Часть ковбоев также приехала на автомобилях.

Со среднеазиатской байгой ковбойские развлечения сравнить нельзя, хоть, быть может, они и не ин-

дейского, но азиатского (испанцы — мавры) происхождения. Костюмы ковбоев продаются в городах, в магазинах, фабричного производства, равно как и испанские их седла. Состязанья ковбоев наполовину уже театр. Не случайно председательствует у них ковбоекиноактер.

И видел я золотоискателя, потомка тех, которыми заначалась Калифорния, которые нарушили некогда — и не так давно — покой Иоганна Августа Сэттера. Именно к таким старателям я и ездил. По существу говоря, я ничего не видел. Пасмурный и подозрительный человек вышел из пещеры, сухо сообщил, что делать нам здесь нечего. На нем была синяя рабочая блуза. В поры его лица и рук въелась земля. Он ушел в пещеру и, уходя, глянул на нас подозрительно. Не знаю, какими законами преломления лучей его глаза блеснули синей искрой, как иной раз у лошадей от света автомобильного фонаря, — зловещим, испепеляющим светом страсти и скупости, и — голода, запуганного, отчаявшегося, подозрительного, — так мне показалось. Около пещеры стоял «форд», окончательно изодранный, цена которому не больше двадцати пяти долларов. И непонятно было, то ли этот «форд» служит средством передвижения, то ли ночлежкой. На сиденье внутри «форда» шипел примус.

Лос-Анджелес, да и вся Калифорния, по воле Голливуда, украшена памятниками. Ножки звезд в цементе кинотеатров имеют прямую проекцию к громадным апельсинам, которые оказываются не апельсинами, но лавочками, в коих продается апельсинный сок, к громадным чайникам, которые оказываются не чайниками, но ресторанами. Это — и искусство, и памятники, и рекламы, и бизнес, вместе взятые и размещенные под пальмами, эвкалиптами и перечными деревьями.

25

В тот же час, как меня освободил Голливуд, не дожидаясь утра, в вечер, засучив рукава и нахлобучив на лбы белые кепи, включились мы в конвейер автомобильных дорог, чтобы искать ту самую Америку, кото-

рая есть ни Нью-Йорк, ни Лос-Анджелес. О дорогах рассказывалось. Дороги приняли нас в свой конвейер, когда надо было ощущать, что мы едем не по пространству, но по стандарту, ибо от океана до океана, повсюду, кроме природы, ничто не менялось. Всюду был один и тот же бензин, одни и те же завтраки и обеды, одни и те же отели. Менялись лишь пейзажи да климатические особливости. Но они не видны были из-за дорог, защищенные конвейером движения. Был у нас рекордный день, когда в день мы прошли на автомобиле расстояние, равное расстоянию от Москвы до Одессы.

Ехало нас трое: Джо, я и Исидор К., голливудский киноактер, перекати-поле, человек, отчаявшийся найти работу в Голливуде и помогавший нам вести машину за ночлег и хлеб, ехавший в Нью-Йорк, но готовый ехать куда угодно, американский гражданин. Всю дорогу Исидор пел американские гимны.

Так мы проехали всю Америку от океана к океану, с заездом в южные штаты, к Мексиканскому заливу, в штат Миссисипи, в город Нью-Орлеан. И на автомобиле ж я был у Великих озер, в Детройте у Форда, в Буффало на Ниагарском водопаде.

Два природных явления придавили меня, такие, которых доселе я не видел, которые замкнули мои пути по Америке началом и концом путей: кактусовая пустыня и Ниагарский водопад.

Кактусовая пустыня под горами Сиерра-Невада, в отчаяннейшем зное солнца, в желтом песке, никак не походила на реальную природу, но рисовала в фантазии мертвое морское дно, где кактусы, громадные и страшные, да юкки, дикие пальмы, казались морскими растениями и рифами морских животных. Юкка имеет не одну лиственную шапку, но несколько, — вдруг из голого и ободранного ствола торчит такая ж шапка, как на венце. Кактусы были различны: колючие, желтые, как дикобразы, гладкие, зеленые, как огурцы, небольшие, в рост прерийной собаки, и громадные, в рост трех рослых индейцев. И пальмы, и кактусы торчат из песка, который ползет под ними, точно они случайно и временно воткнуты в этот песок. В пустыне там мой автомобиль раздавил дикобраза. Видели мы однажды за кактусами стаю диких прерийных собак. И дикобраз, и

эти собаки похожи на кактусы. Конвейер дороги пересекал пустыню, отсекая километры автомобильными станциями, плакатами реклам, зоопарком животных пустыни да зоомузеями индейцев, — в этой пустыне, которая кажется морским дном и оживает только у оазисов.

Ниагарский водопад был завершением моих путей. Он, Ниагарский водопад, — поистине величественен, неповторим, мужественен, эта громадища воды, падающая с гранитных высотищ. Он неописуем, как всякие величественные своею простотою вещи и события. Падает с гранитных высот громадная река, падает отвесом, заглушает своим ревом все шумы фабрик и заводов, вокруг него поместившихся, создавая тишину грохота природы, когда человек, в частности, молчит около него, потому что человеческого голоса все равно не слышно, — и это почти все, чем можно описать водопад. Около него надо молчать, около этого механического (в отличие от вулканических, например) , механического проявления мощи природы, — колоссальной мощи завода геологии. Фабрики и заводы, построенные вокруг него, шумные городишки на берегах USA и Канадском — щенки около этого завода воды и гранита. Они немеют в тишине его рева, — именно немеют и именно в тишине, потому что человеческий слух — мерило — отказывается воспринимать звуки около этой падающей громады серой воды. Иного поражают в Америке небоскребы, самые высокие строения в мире. Иного поражают подземелья Нью-Йорка, в механической их вежливости и в размерах, в несколько раз больших, чем римские катакомбы, когда в этих подземельях можно прожить жизнь, не видя естественного света. Ниагарский водопад величественнее. И он проще, он очень прост: с гранитных высот падает громадная река, падает так величественно, что около падающей воды даже американцы не ухитрились поставить ни ресторанов, ни плакатов реклам. Он очень прост.

Читал я книжицу некоего моего соотечественника Павла Свиньина, изданную с дозволения цензуры в Санкт-Петербурге в 1815 году, «Опыт живописного пу-

тешествия в Республику Северных Американских областей». Сей Павел Свиньин описывает прелести Ниагарского водопада и пишет:

> «...Между дикими, населяющими окружности озер Онтарио и Эри, сохраняются многие странные и чудесные истории о водопаде Ниагарском. Я упомяну здесь об одном истинном приключении. За несколько верст выше от водопада проходил Английский Матроз одного военного корабля и, увидя на берегу спящую прекрасную Индианку, вздумал ее похитить. Индианка, проснувшись, хотела сокрыться в лодку, стоявшую у берега, в которой спал ее муж, но Матроз успел, прежде нежели она исполнила свое намерение, отрезать веревку, которою лодка была привязана к дереву; она понеслась мгновенно по течению и скоро попала в быстрину...»

Есть у американцев некоторое место, которое рекламируется во всех журналах и на станционных плакатах, — Гранд-Каньон, — по-русски перевести — Большой овраг. Делали мы четыреста километров крюку, чтобы побывать около этого оврага, размытого в свое время рекою Колорадо. Я б не стал поминать об этом овраге, если б он не был преддверием к индейскому племени зуни. Овраг действительно очень большой, в два километра глубиною, по дну которого течет река Колорадо. Средних лет около него деревья. Средних лет под деревьями в отеле американцы, — или спускавшиеся на ослах ко дну оврага, или собирающиеся туда спускаться. Примечателен этот овраг своею необоротностью: стояла бы среди ровного места гора в два километра высотою, это было бы как у всех, — тут же овраг в два километра глубиной, и для того, чтобы ощутить его глубину иль высоту, надо спуститься на его дно при помощи ослов. Места вокруг Гранд-Каньона — дикие места — населяют еще индейцы. Рядом с барственным отелем на краю Гранд-Каньона располагался индейский вигвам. В афишке сообщалось, что в такой-то день и час индейцы будут танцевать свои воинственные танцы.

Я не ездил на осле ко дну оврага. Индейские танцы можно повидать в Москве, полюбовавшись на цыган. Мы поехали в зоопарк племени зуни.

Христофор Колумб (еврей по национальности, как утверждают некоторые исследователи) добрался до первого американского острова 12 октября старого стиля в 1492 году. Некий парижский гражданин, издавший в Париже на русском языке в 1928 году книгу под названием «Америка», Р. М. Бланк (с твердым знаком на конце фамилии), в этой своей «Америке» пишет, с твердыми знаками:

> «Высадился Колумб на этот остров тотчас же после своего прибытия к его берегам, утром 12 октября. Туземцы ждали его на берегу в крайнем возбуждении. Они были уверены, что то прибыли к ним из-за горизонта, — оттуда, где «небо сходится с землей», — небожители... Они распластались у ног Колумба и его свиты с выражением глубочайшего благоговения и полной покорности».

Этот же Бланк выписывает:

> «следующий случай, отмеченный испанским историком XVI века, Геррера, в его «Historia des las Indias», изданной в Мадриде, в 1601 году»:
>
> «На острове Кубе стоял во главе одного индейского племени мудрый касик по имени Гэтуэй. Когда до него дошла весть о предстоящем прибытии в его княжество испанцев, он, имея уже вполне определенное представление об испанцах, на основании рассказов своих сородичей, созвал всех старшин своего племени и, положив посреди площади огромный слиток золота, обратился к собравшимся с таким воззванием:
>
> «Вот это (з о л о т о!) бог белых, преклонимся перед ним, выразим ему наше благоговение и попросим его, чтобы он внушил белым доброе отношение к нам».
>
> Горячо и страстно стали индейцы молиться «богу белых», выражая ему свое почитание всеми

доступными им способами: подарками, танцами, песнями и проч.

Но этот бог был неумолим, и как только испанцы прибыли, они первым делом схватили самого касика и подвергли, во славу божию, аутодафе.

Правда, когда этот злосчастный корчился на костре в предсмертных судорогах, к костру подошел католический патер и, поднося умирающему крест, предложил ему принять христианство, чтобы обеспечить себе царство небесное. Но индеец ответил, что если там господствуют христиане, он предпочитает быть подальше...»

Поучительный ответ! Поучительный приговор!

Мы поехали к племени зуни. От тракта надо было свернуть в сторону. Свернули и сразу попали в первобытность бездорожья, в суглинки и колеи, как, поди-небось, где-нибудь в Каракумах. Полила нас гроза, и автомобиль наш пополз, как корова по льду, норовя в канавы и не желая держаться в колеях. Так мы ехали и ехали — от канавы к канаве. Исидор даже бросил петь свои гимны. Прежде чем пускаться в окончательное бездорожье оазиса, в долину меж гор, где живут зуни, заезжали мы — уж не знаю, как выразиться, — в европейски или американски оборудованные белые, сытые, с теннисными площадками дома чиновников индейского департамента. Там у чиновника, разумеется не индейца, но американца, мы получили разрешение проехать к зуни. Чиновник посоветовал нам у зуни не ночевать.

Я видел в этот день в Америке нищету не менее страшную, чем нищета турецких деревень двадцатого года. Пейзаж был один и тот же, что в Турции, — около оазиса ханаобразные дома, всадники на низкорослых конях, грязь, антисанитария. Мы познакомились, и нас сопровождал индеец, человек лет сорока с длинною косою, в мокасинах. Он фотографировался вместе с нами, затребовав с нас за это семьдесят пять центов. Улиц в поселке зуни не было. Дома стояли как придется. И в дом можно было войти, забравшись на стену дома по переносной, из жердей, лестнице. Иных входов не было в

эти дома из глины, когда каждый дом — маленькая крепостица. Но печи для печения хлеба находились на улицах, за стенами домов. Эти печи, если их сфотографировать в упор, воспользовавшись голливудскими хитростями смещения перспективы, могут показаться магометанскими мечетями или киргизскими юртами. Они куполообразны, в них пекут маисовые лепешки (маис — гаолян — кукуруза, — это все одно и то же). Лазили по лестницам в дома. Хоть печи для лепешек только что описаны, я узрел в одном доме чугунную плиту, переносную, которая топится каменным углем. Видел швейную машину, никелированную кровать (без простыней, конечно). Вещи от индустрии были случайны, как в турецких деревнях. В каждом доме на полу женщины ткали ковры, протекал в углу арык и пребывала ручная мельница, где, растирая один камень о другой, изготовляют маисовую муку. Меня угощали хлебом, лепешками, тонкими, как писчий лист бумаги. Я купил за двенадцать долларов ковер. Женщина, которая продавала его мне, сказала, что она работала над ним три месяца. Кроме конных, все же я видел нескольких индейцев на автомобилях старых марок. Наш спутник, который снимался с нами за семьдесят пять центов, а дочери разрешил сняться за полтинник, этот потомок страшных людоедов и Ястребиных Когтей, был тихим, добрым и забитым человеком. Он предлагал нам его дом для ночлега, и, конечно, там с нами ничего б не случилось. Вокруг деревни зуни произрастала кукуруза. Национального флага над деревней я не видел, — он был над домом чиновников индейского департамента.

Итак, чтобы понять величие Гранд-Каньона американцев, надо спуститься на американское дно индейцев из кишлака зуни. Совершенно верно говорят американцы, что не только Нью-Йорк есть Америка, или — иначе — Америка не есть в Нью-Йорке. В Америке — просвещенность, свобода, все равны перед законом. А поэтому: индейцы не считаются американцами, индейцы не есть граждане USA, эти краснокожие, бывшие в Америке до американцев, должно быть, за тысячелетия. Индеец лишь может стать гражданином USA, если он захочет зарегистрироваться таковым, подобно поляку, приехавшему из Лодзи. Там, где колонизовали Аме-

рику европейцы-северяне, саксы в первую очередь, индейцев нет. Говорят, что они вымерли. Правильнее сказать, что они вырезаны. Там, где колонизовали Америку испанцы, индейцы остались чистокровными иль образовали индо-европейскую смесь, коею, например, являются мексиканцы. Испанцы ехали в Америку (Р. М. Бланк рассказал), говоря попросту, грабить, — и ехали без женщин, в расчете, понаграбив, вернуться домой. Они и грабили по мере сил. По мере надобности они приводили индейцев в христианское состояние. По мере темперамента они насиловали индеанок. Они спешили, до индейцев им многих дел не было, — ни им, ни испанским королям, подкрепленным папами из Рима. И индейцы кое-как уцелели, через изнасилованных женщин обретая испанскую кровь. Англичане ехали иначе, англичане ехали с семьями, ехали в пуританском благочестии на вечное житие. Англичане ехали по бессловесному уговору всячески хорошо жить. И там, где есть англичане, индейцев — нет. Хорошая жизнь англичан оказалась более смертоносной для индейцев, чем насилия испанцев. Войны с индейцами были еще в прошлом веке, и если индейцы кое-где еще остались, то живут они в карантине, как в зоологическом саду, во имя всяческого американского равенства. Индейцы живут вроде музейных экспонатов, на доньях гранд-каньоновских наоборотов. Во всяком случае в USA имеется индейский департамент, который охраняет индейцев.

Ниагарский водопад американских воль — величественен.

Еще раз вспомним Павла Свиньина.

> «...Между дикими, населяющими окружности озер Онтарио и Эри, сохраняются многие странные и чудесные истории о водопаде Ниагарском. Я упомяну здесь об одном истинном приключении. За несколько верст выше от водопада проходил Английский Матроз одного военного корабля и, увидя на берегу спящую прекрасную Индианку, вздумал ее похитить. Индианка, проснувшись, хотела скрыться в лодку, стоящую у берега, в которой спал ее муж, но Матроз успел, прежде, нежели она исполнила свое намерение,

> отрезать веревку, которою лодка была привязана к дереву; она понеслась мгновенно по течению и скоро попала в быстрину...»

Индеец, совершенно естественно, погиб, разбитый водопадом. Эк, карамзински пишет Павел Свиньин! — оказывается, глагол п о х и т и т ь можно употреблять в смысле и з н а с и л о в а т ь — а все вместе это есть «странная и чудесная история», равно как и «истинное приключение». Этакими «приключениями» индейцы загнаны сейчас в зверинцы и танцуют, наподобие цыган, во утверждение своей экзотичности.

Я продолжу выписку из Павла Свиньина.

> «...Индеец разбужен был колебанием лодки, схватил весло и с удивительною силою и искусством сделал оборот; но сила и искусство его были тщетны противу ярости волн. Увидя неизбежную смерть, он с удивительным хладнокровием положил весло, завернулся в кожу и опять лег в лодку, которая низверглась в пропасть и навек исчезла!» —

Действительно, если в христианском рае проживают христиане, как заметил на костре мудрый касик Гэтуэй, то лучше в этот рай — не надо! —

Об индейцах в Америке я слышал легенду от нескольких радикалов, которая, казалось бы, подтверждается фактами. Читатель знает, что десятая часть американского населения — негры — была привезена в Америку из Африки. Казалось бы, зачем колесить за рабами через океан, когда можно было б превратить в рабов индейцев!? — Радикалы утверждали мне, что индейцы не стали рабами, не подчинились белому человеку, не отдали ему своей свободы, эти Ястребиные Когти, умиравшие на Ниагарском водопаде, заворачиваясь в кожу с «удивительным хладнокровием». Легенда, что говорить, в порядке Майн Рида. Но каким же образом при таких обстоятельствах теперь индейцы находятся в зверином состоянии зверинцев, и они — даже не американские граждане!? — Войны с индейцами закончились лет пятьдесят тому назад. Об индейцах много пи-

салось, что они вымирают естественной смертью, подобно зырянам и самоедам при российских императорах. Имеются три цифры, которые любопытны; мне не очень ясно, каким образом возникла первая цифра, но, по логике вещей, она преуменьшена: в 1492 году индейцев было на нынешних землях Соединенных Штатов 846 тысяч человек, в 1789 году их осталось 76 тысяч человек, к 1930 году (когда за прошлый век их не так уж усердно резали) их стало 340 541 человек.

На дно Гранд-Каньона следовало опуститься для того, чтобы оттуда глазами индейцев глянуть на американцев. Ниагарский водопад действительно величественен! — индейцы ж похожи на кактусы с морского дна пустыни Аризона, если они — все же — живут, так же нереально, как нереальна кактусовая пустыня под горами Сиерра-Невада.

Америка — «страна великой демократии»! Исторический факт все же остается фактом: индейцы не были конституционными рабами, — рабами стали негры.

26

Кто знает в СССР о городе Даллас в Южном Техасе (иль Тэксэсе)? — Лет пятьдесят назад в этом степном городишке было тысяч десять жителей. Лет десять назад жителей было тысяч сто пятьдесят. Ныне — без малого триста. Этот город, о котором даже в Америке плохо знают, автомобилей имеет семьдесят с лишком тысяч, телефонов — шестьдесят пять с лишком тысяч, электрических счетчиков — шестьдесят с лишком тысяч. Новое строительство этого города за последние десять лет стоило триста двадцать с лишком миллионов. Банки в этом городе располагают четырьмястами миллионов долларов резервов. Последний просперитный год имел выпуск продукции в год на триста тридцать миллионов долларов и оптовый оборот — в миллиард шестьсот восемьдесят миллионов тех же долларов. На юг, юго-восток и на восток от этого города, упираясь в Мексиканский залив и в Атлантический океан, идут так называемые Южные, негритянские штаты. Прямо к северу от Далласа лежит штат Окла-

хома со штатным городом Оклахома-сити. Оклахома — это уже известный город, полезший в небо небоскребами и миллиардами. По геоэкономике этот город вроде нашего Днепропетровска: степь, хлеба и рядом с ними нефть, каменный уголь, индустрия, город заводов, шахт, нефтяных вышек, рабочих. И от Оклахома-сити на север и на северо-восток, до Чикаго, до Нью-Йорка — индустрия, индустрия, промышленность. Лет семьдесят тому назад, в дни гражданской войны, эти места были водоразделом Северных и Южных штатов.

Штат Миссисипи — он весь в субтропических зарослях и заводах, во множестве рек и речушек, заросших лесом, где почти не видно человека и где величествует в ложе своем река Миссисипи. Леса, — черт их знает, какие это деревья, — лианообразные ветви, поросшие седыми бородами мхов, спускаются до земли и путаются и запутывают все, что под ними.

Штат Теннесси поднялся от Миссисипи на пригорки. Это тот самый замечательный штат, где несколько лет назад суд постановил, что человек не происходит от обезьяны, присовокупив, что утверждение сего есть беззаконие, караемое тюрьмою.

Нью-Орлеан — порт, торгующий хлопком, тростниковым сахаром и бананами. Этими торговлями он на первом месте в мире. Хлопок в Америке съедается сейчас не червем, но кризисом. Город в свое время принадлежал французам, сюда бежали гугеноты, бежали враги, а потом друзья Наполеона. Из-под французской старины ползут американские небоскребы, заглушая узкие французские переулочки в решетках и жалюзи. Порт лег на Миссисипи, дымит, как все порты. Жилые переулочки тонут в цветах и проституции. Лавки завалились и развалились бананами, абрикосами, вишнями в грецкий орех величиной и прочими мне неизвестными фруктами, причем бананы, оказывается, растут, выражаясь точно, на бревнах. Улица Лафайета заросла небоскребами и залита огнями не хуже нью-йоркских, и там падают огненные ниагары и танцуют огневые ню.

Итак, мы — в Южных штатах, в землях негров. И в Далласе, и в Батон-Руже, и в Нью-Орлеане, в трамваях два отделения — для «колерных» и для «белых». На мелкокусочных полях среди лесов работают над хлоп-

ком негры. Белых, работавших на полях, я не видел. Белых, надсматривающих за работой негров, я видел многажды. Эти белые во всем белом — в белых шлемах, в белых крагах, и в руках у каждого из них — стек. Во всех штатах, в штате Теннесси особенно, до сих пор «работают» Ку-клукс-клан и суд Линча.

Ку-клукс-клан. В семидесятых годах прошлого века, после войны Северных и Южных штатов, — по существу говоря, войны южного, беглого из Европы дворянско-земледельческого класса, напуганного европейскими революциями, с северной индустрией, тогда уже народившейся, — войны, к слову сказать, начатой южанами, но не северянами, а стало быть возникшей никак не под лозунгом освобождения негров от рабства, разбитые Южные штаты организовали тайное общество борьбы с неграми, названное Ку-клукс-клан. Членами этого общества были рабовладельцы. С позволения сказать, общество, считавшееся, как подобает, полумистическим и тайным, занималось «глупостями», как уверяют кое-какие историки, вроде пугания по полуночам негров белыми балахонами, причем «глупостями» оказывались убийства негритянских общественных деятелей. «Общество» ставило своей целью доказательство замечательной истины о том, что белые превыше черных. Ку-клукс-клан изжил себя и помер было в середине девяностых годов прошлого века. В 1920 году, с началом сельскохозяйственного кризиса, Ку-клукс-клан возродился — в громчайших публисити, когда во всех одежных магазинах выставлены были куклукскклановские балахоны, а по городам ездили комиссионеры с распродажей куклукскклановских членских билетов. Ныне Ку-клукс-клан — организация уже не полумистическая, но просто фашистская, существующая для утверждения не только «белого» преимущества над неграми, но вообще белогвардейского преимущества, заботясь о бесправии всех «не-белых».

Суд Линча. Это суд без суда, самосуд, который до суда никогда не доходит, ибо в этих самосудах принимает участие и полиция, ибо убитого (или убитых) находят, но убийц не оказывается. Суд Линча «судит» только негров. Стандартным поводом для суда является утверждение белого, доказательств не требую-

щее, что негр такой-то, кажется, покушался на честь троюродной бабушки иль племянницы этого белого. Негра тогда избивают толпою. Это суд Линча. Негра тогда сажают на электрический стул. Это суд города Скоттсборо. Судить можно, как явствует по газетам, не только того, который «кажется», но и его соседа вместо него. Что касается покушения на «честь», к слову сказать, то каждый белый мужчина в Америке, склонный к распутству, негритянскою женскою «честью» обладал за два доллара. Негры ж мужчины американскими белыми «честями» обладают только в Париже. Со дней после войны повелся такой промыслец, когда некие белые мерзавцы нанимают негров для мужской проституции. Эти негры обслуживают в Париже прирнтцных американских леди. Нанимают же негров американских потому, что они говорят по-английски.

Американские университеты и школы для белых — в садах, в свете, в солнце. Начальная школа — обязательно лучшее здание в поселке. Университет — не университет, а монастырское уединение для науки. Какое оборудование! — какие научные пособия! — Это, конечно, не мешает традиции, той, когда студента надо спрашивать не о том, на каком он факультете и прочее. Так вот, был я в сельскохозяйственном колледже одного из Южных штатов. Колледж был для белых. Какие аудитории! — какая библиотека! — лаборатории — столовая — гимнастический зал, — какие опытные поля!

Нас сопровождали два профессора. Эти ж профессора поехали с нами на соседнюю ферму, обрабатываемую «кропперами» — неграми-арендаторами.

Дорогой в деревьях подъехали мы к барскому дому в зарослях сада, этакому французского стиля «шато». Хозяин качался на террасе в качалке под зонтиком, в американском изобретении, курил сигару. Он надел белый шлем и пошел с нами, добродушный толстяк.

Он объяснил, что у него тысяча акров земли, а в природе кризис, хлопок не дает никакого профиту, он намерен изменить принципы своего хозяйства, собирается вместо хлопка образовать куро- и кролиководческую ферму. Но пока что кризис есть кризис, он сеет по-прежнему хлопок, и у него работает двадцать семей кропперов-негров, которые живут на его земле и в его

домах, получают от него мула, семена хлопка, плуг и акры земли, — пашут, сеют, убирают, — и — отдают хозяину две трети урожая. Папаша-хозяин не утруждал негров продажей их трети — он ее продает за них. Он делает это заботливо и чистосердечно.

Папаша-хозяин сообщил, что иногда он прогуливается по полям, вроде случая с нами, да для того, чтобы посмотреть, хорошо ли работают негры. Я вспомнил мои ощущения в те минуты, когда я видел в полях надсмотрщиков.

И негры — работают! — Дети от пяти лет собирают на полях хлопок. Женщины, из дружеских побуждений, стирают у папаши на кухне и подрезают цветочки в его саду. Папаша был человеком явно пикнического склада. Я попросил повести нас по негритянской деревушке. Папаша охотно согласился. Профессора засмущались, зауверяли, что смотреть там нечего: негры, дескать, очень грязноплотны.

Сели на машины, поехали хлопковыми полями, приехали. Остановились около некоего деревянного ящика, оказавшегося негритянским домом, поистине «хижиной». Сделана была «хижина» из фанеры. Вместо окон воткнуты были картонки разных цветов. Против дома — глиняный чан с водой. К стене дома прилепилась дымовая труба. Над домом свисли ветви чудесного, мне не известного дерева.

Навстречу нам вышла древняя и глухая старуха. Папаша заприказывал ей тоном бога.

Профессора отошли в сторону. Старуха пребывала в беспрекословии. Хозяин желал зайти в свой собственный «дом». Вошли.

«Хижина» разделялась на два ящика. Оба ящика являлись спальнями с постелями без всякого постельного белья. В одном из ящиков, на земляном полу, было углубление очага, труба которого уходила в стену.

Я спросил, сколько человек здесь живет. — Папаша сообщил, что живет здесь пятеро взрослых, две семьи.

Я попросил показать другие дома. Папаша отсоветовал, сказав чистосердечно, что жарко и все дома однотипны. Трещины в стенах дома замазаны были глиной. Глина была в грязи и копоти. Старуха была поистине в лохмотьях. Папаша предложил нам

вернуться к нему, выпить сода-виски, — кризис, мол, кризисом, но виски для дорогих гостей у него всегда готово.

Мы поехали дальше, распрощавшись с пикническим папашей.

Я вызывал в профессорах инстинкты истинной учености. Они рассказали, что так именно живут 60 — 70 процентов черных кропперов, что прошлую зиму много кропперов перемерло в голоде. Молодой профессор впал в философическое настроение. Дескать, виноваты сами негры в своем свинском житии. Дескать, это почти не люди. Негры, дескать, все это находят нормальным, и все происходит от их нетрудолюбия, это их расовая особенность, — то, что они — полулюди.

Были мы в тот же самый день с теми же профессорами в негритянской школе. Опять фанерный ящик в одну-единственную комнату, заставленную допотопными партами, сохранившими на себе многие поколения школьнических перочинных ножей. Кроме парт, в — не то в классе, не то в ящике — помещался стол для учительницы, пустой книжный шкаф и российская лет военного коммунизма буржуйка для зимнего отопления. На столе учительницы пылал яркий букет цветов. Детишки встали перед нами безмолвием.

В этом классо-ящике обучалось пятьдесят девять детишек, все возрасты вместе. Обучала их и все классы сразу одна учительница, негритянка, конечно. На ногах учительницы были рваные чулки. Глаза учительницы были испуганы. Эта учительница имела высшее образование.

Мы отблагодарили профессоров, которые показывали нам замечательно оборудованный сельскохозяйственный институт.

Я был в другой американско-негритянской школе, около Нью-Орлеана. Нас встретил учитель-негр. Я протянул ему руку. Учитель растерялся, он отдернул было свою руку, затем крепко и чуть-чуть истерически мою руку сжал обеими своими руками. Ему, учителю, в первый раз в жизни белый человек подал руку!

В Южных штатах на меня напала малярия. Был однажды вечер, когда меня знобила лихорадка в удушье субтропиков. Сумерки в субтропиках отсутствуют,

день переходит там в ночь сразу. В тех примиссисипских лесах по ночам путались понятия космоса, потому что звезд на земле оказывалось больше, чем в небе, даже субтропическом. Звезды на земле, на полях, между деревьями начинали иной раз походить на космический буран, на космические катастрофы, звезды летели миллиардами. Это летали светящиеся, как звезды, ночные насекомые. Мы ехали глухим проселком. Машину вел Исидор. Исидор сказал, что кончается бензин, мы завернули в негритянскую деревушку, убравшуюся под деревья. Негритянские хижины пребывали во мраке. К звездам неба, к звездам под деревьями примешались красные огоньки очагов. Лихорадка ломала мне руки и ноги. Запахи субтропиков разламывали мой череп. Звезды на земле путали понятия космоса. Целую ночь, целую ночь напролет просидели мы тогда на бревнышке в этой негритянской деревушке. Целую ночь слушали мы, как пели негры хором. Мне думается, я никогда не слышал лучшего. Это пели те самые, которым белые не подают руки, которых белые оберегают Ку-клукс-кланом, но музыку которых, испохабив трактирами, виски и проституцией, выдают за свою национальную. Есть в России поэт, судьба которого предопределяет судьбу всей русской литературы. Имя этого поэта Александр Сергеевич Пушкин. Этого русского гения, Пушкина, почти не знают нерусские литературы, он не вошел, подобно Толстому и Достоевскому, в мировое искусство. В той негритянской школе, куда меня возили профессора из сельскохозяйственного колледжа, на стене я видел портрет Александра Сергеевича. Два народа в мире чтут Пушкина своим гением — русские и негры. И негры чтут Пушкина по праву: песни той ночи тому мне свидетель. Но Пушкину, если б он жил до сих пор и если б он сейчас приехал в Америку, — ему не подали б руки, потому что человек, имевший дедом негра, по американским понятиям, — не человек!

Радикалы из Нью-Йорка, которые чтут легенду о свободолюбии индейцев, верные заветам Авраама Линкольна, посылают в Южные штаты желающих посмотреть безобразные отношения к неграм. Делают это они зря, ибо в Нью-Йорке безобразий не меньше. В Нью-

Йорке, в частности, в гостинице, «Сент-Моритц», пришли ко мне коммунистические журналисты, среди них был негр-журналист. Администрация отказалась пустить его ко мне. Я заскандалил, намереваясь сейчас же выехать из гостиницы. Администрация объясняла, что не она, дескать, против, что, дескать, никто не будет жить в гостинице. Этот негр-журналист пробрался ко мне по черному лифту. Когда я жил в частном доме и у меня возникли друзья-негры, они — в Нью-Йорке — не приходили ко мне — писатели, артисты — потому, что они рисковали не получить лифта в «белом» доме, — а я был бессилен.

Какой талантливый, эмоциональный народ — негры! — Негры, конечно, отличаются от американцев именно своей эмоциональностью. И совершенно верно, что американский главный бог и ницшеанец — доллар — в понятиях негров не стоит ломаного гроша. Негры многажды клали свои судьбы на весы американской истории. Впервые негры были привезены американцами в 1619 году. Картина, изображающая этот эпизод, хранится в Филадельфии, в музее при «Доме Плотника». «Дом Плотника» — это тот дом, в котором 4 июля 1776 года Джорджем Вашингтоном была провозглашена независимость Соединенных Штатов. Негров привозили в обмен на ром. В 1713 году английская королева Анна торговлю рабами объявила своей монополией. Штат Вирджиния к тому времени сам уже занимался рабоводством. Декрет о королевской монополии был одной из (не решающих, но тем не менее) капель дегтя в медах английского королевства, побудившего американцев отложиться от Англии. Американский историк и государствовед, президент Вудро Вильсон утверждал, что Америка не знала феодальной и дворянской культуры, сразу начав свои судьбы буржуазной демократией. Наглядным тому доказательством является рабоводство, которое поставлено было научно, капиталистически теоретизовано, как сейчас, например, теоретизованы свиноводческие фермы и убой свиней в Чикаго. Наука рабоводства была разработана научно. Она применялась в действительности на латифундиях английских дворян, бежавших из Англии от революции Кромвеля, и

французских гугенотов, которые в свою очередь также наглядно доказывали отсутствие в Америке феодализма. Государственный историк и президент Вудро Вильсон рассказывал, что война Северных и Южных штатов, формально начатая из-за принципов единства штатов, по существу была войною за освобождение негров. Поэтому — исторические справки фактического порядка: войну начали не Северные штаты, но Южные, расстреляв форт Сэмтер; форт Сэмтер был обстрелян 12 апреля 1861 года, — и только через два года гражданской войны, с 1 января 1863 года президентом Авраамом Линкольном было отменено негровладельчество; война была закончена в 1864 году победой северян, — в дни, когда впервые был разбит главнокомандующий южных армий генерал Ли и когда сдался северянам укрепленный город Висбург, одна из цитаделей южан, — в эти дни в тылу у северян широчайшей волной, начатой в Нью-Йорке, прошла волна мятежей, протестов против северян, демонстраций сочувствия южанам, — в Нью-Йорке, в частности, громили воинские комиссии и охотились за неграми, как за дикими собаками, сжигая целые кварталы. Это — факты. В этой войне капитализм и индустрия северян дрались с дворянским феодализмом юга.

Вудро Вильсон, историк, писал:

> «...Замечательно, как мало мирный труд негров нарушен был критическими событиями того времени и отсутствием их господ. Как будто до сельских местностей не дошло и слуха об эмансипации. На поверхности народной жизни не было заметно ни малейшего отражения происходящей революции. С непоколебимым авторитетом царили в уединенных плантациях жены плантаторов в отсутствие своих супругов, сыновей и братьев, ушедших, стар и млад, на войну. Мирно и дружно продолжали толпы негров работать на полях, — пахать, сеять, жать, исполняя все приказы своих одиноких хозяек без устали, с тихим усердием, даже с преданностью и привязанностью. Никаких волнений, никаких бунтов, ника-

ких насилий. Как будто они не видели ничего несправедливого в своем положении и не желали никаких перемен».

Странное дело, как это американский историк и президент не знает, а я, иностранец, знаю, что негры Северных штатов обращались к Аврааму Линкольну с ходатайством принять их в армию, но президент отверг их ходатайство «с нравственным ужасом», как сообщалось в тогдашних газетах; как это историк запамятовал, что командный состав Северных армий относился к неграм не лучше, чем южане, и в цитадели северян, в дни побед северян, в Нью-Йорке, как только что было сказано, был негритянский погром? — историку неизвестны факты, известные мне, когда все же негры прикладывали свою руку, как это было в городах южан Бьюфор и Нэшвиль, уничтоженных неграми, причем негры в свою очередь так же были уничтожены, как эти города? — Историк Вудро Вильсон был бы прав, если бы утвердил, что неграм не давали права принимать участие в войне, когда даже свободолюбивый президент Авраам Линкольн «с нравственным ужасом» пресекал эти права. И историк был бы прав, если бы сказал, с другой стороны, что негры не принимали участия в войне и потому, что они были забиты до собачьего состояния, поистине до состояния дворовых собак.

От дней гражданской войны до 31-го года прошло без малого семьдесят лет, охраненных Ку-клукс-кланом, — и я встретил учителя-негра, которому я — первый не-негр — подал руку. Американцы из Ку-клукс-клана будут утверждать, что негры — вообще не люди. Американцы даже в Нью-Йорке ставят негров в полусобачье положение. Негры — семьдесят пять лет назад — были освобождены от рабства так же, как если бы хозяин прогнал со двора собаку. Как живет масса негров — рассказано. Негры были освобождены со стопроцентностью безграмотности.

За семьдесят пять лет негры, даже кропперы Южных штатов, сумели создать свою интеллигенцию, литературу, театр, адвокатов, врачей, инженеров. Белые ничего не делали для негров! Пушкину, если б он был жив и сейчас приехал в Нью-Йорк, ему б не подавали руки.

Та ночь, которую я прослушал в негритянских песнях, когда на земле был звездный буран и земля пахла субтропиками, — такие ночи перенесены в Нью-Йорк, в Гарлем, в этот чудесный и фантастический город негров в Нью-Йорке, который живет ночами и непонятно, когда спит, в музыке, веселии, смехе, песнях, танцах. Не знаю, расового порядка иль исторического, в порядке социальных законов иль биологических, но негры действительно имеют отличия от американских белых: — я сказал бы — своею гуманитарной одаренностью. Каждый негр — музыкален, в первую очередь. Главный американский бог и ницшеанец — доллар — никак не дороже часа хорошей музыки, замусоленных страничек негритянского журнала, хорошего танца, хорошего разговора с приятелем, — так есть для негра, и это непонятно для американца. И Гарлем, не такой уж многоэтажный, как остальной Нью-Йорк, и не столь уж залитый по переулочкам светом, — поет, хохочет, веселится, дымит сигаретами.

Я бывал у молодого драматурга Регины Анжул, ее пьеса шла в одном из гарлемских театров, ее муж был адвокатом. Она все же, несмотря на то, что пьесы ее шли, потому что пьесы ее шли в молодом, новаторствующем театре, — служила — в даун-тауне, сиречь в городе белых, в нью-йоркском сити — библиотекаршей. Когда я приехал к ней впервые, она, ее муж и их приятели играли около дома в мяч, стоя четырехугольником и бросая мяч друг другу. Когда я приезжал к ним, всегда повторялись традиции русского студенчества годов до тысяча девятьсот пятого. Люди оказывались на столах, на корточках у дверей, — за теснотою и за отсутствием чопорности. И разговоры были студенческими поистине. И какой это веселый, приветливый, товарищеский народ — негры! И безалаберный народ, потому что — тот-то забыл, этот опоздал, тот двое суток просидел у товарища, увлекшись книгой и отложив ради нее все прочее на свете. Это был уже круг дружбы, в котором нас, «белых», было трое. Ко мне, к стыду моему, мои друзья-негры не приходили, — мы встречались иль в Гарлеме, или в Гринвич-виллидж у Элен Винэр, журналистки. У Винэр можно было не застать хозяйку дома, но найти Волтэра и Томаса, двух

неразлучных друзей, актера и поэта, негров, с книгами и журналами (они — новаторы, они — Маяковский и Мейерхольд в молодости!). И дела у них: — надо переварить Джемса Джойса, ассимилировав его в негритянской литературе, — надо уничтожить врага такого-то, написав в своем журнале искусств и литературы памфлет и манифест одновременно, — надо выяснить точку зрения по поводу своего молодого поэта такого-то, который в поэзию переносит принципы «первоначальных ощущений» Марселя Пруста и хочет одновременно быть революционером. Быть же революционером, это — быть коммунистом. Быть коммунистом, это — в частности, вырабатывать мораль, это — вырабатывать принципы и правила поведения и правила отношения к людям. Это: часами решать, останутся иль не останутся при коммунизме, когда коммунизм пройдет по всему миру, останутся иль не останутся тогда негодяи? — Дел очень много! — Но, если вы оказались в Гарлеме, где-нибудь в подвале иль во дворе под открытым небом ресторанчика, — тогда почему не натанцеваться вдосталь и не попеть?! — и почему не разъезжаться потом по домам десятью человеками на четырехместной машине?

Деды Регины Анжул, Волтэра и Томаса — были рабами. Белые и теперь не подают им руки. Негры многажды клали свои судьбы на весы американской истории. Негритянская интеллигенция мне кажется интеллигенцией порядка не американского, но европейского. Ну, а если эта интеллигенция окажется в Америке — не негритянской, но — — в городе Далласе столько-то электрических счетчиков, столько-то телефонов и автомобилей; на заводах в городе Далласе работают негры, и на плантациях вокруг города Далласа живут кропперы — — десять процентов всех американских рабочих — негры — — совершенно естественно, что «белую работу делает белый, черную работу — черный» (Маяковский).

Однажды, в 1928 году, негритянская рабочая лига в городе Милуоки пригласила на свою конференцию для создания единого фронта милуокскую организацию социалистической партии. «Социалисты» ответили отказом, сообщив негритянской рабочей лиге, что движе-

ние негров не есть рабочее движение, но — расовое.

В Нью-Йорке ж, если вы захотите найти американский антиквариат, предметы искусства, то в сему соответствующих лавочках, в Гринвич-виллидже, вам покажут индейские ковры и индейские вазы. Если ж вы заинтересуетесь национальным американским танцем, национальной американской музыкой, вам покажут фокс и джаз, саксафоны, укулели и банджо.

Итак: Америка — «великая» «демократия», страна равенства национальностей, просвещенность и закон! — —

27

От золотомойных заводов в Скалистых горах (которые сейчас молчат), — от города Кингмена в тех же горах, через степные штаты (где хлеба, хлеба, хлеба, элеваторы на горизонте, силосные башни, ветряные водокачки, неимоверных конструкций и сооружений сельскохозяйственные машины, длинноухие мулы да степь, как скатерть), через города Альбукерк, Даллас, Ритлидж, от города Батон-Ружа через Вашингтон до Бостона, до самой северо-восточной точки USA — я видел одно и то же. Я видел это во всей Америке. Это в Калифорнии и штате Юта. Это в штате Мичиган, около Великих озер. Это в штате Флорида. Это в штате Коннектикут. Это — больше национального флага, того, который, как известно, состоит из звезд и матрасной материи. Но это — под национальным флагом. Это, должно быть, сильнее всех вместе взятых американских автомобильных и прочих двигательных сил. Это: —
о-б-ы-в-а-т-е-л-ь!

Я понял это в городе Кингмене, который находится на Диком Западе, в Черных горах, в тех самых золото-серебряномойных местах, которые окутаны романтикой романов о золотых приисках, о диких мустангах и ковбоях. Мы ночевали в том городе в отеле «Коммершиал», где я писал на моей машинке, сдвинув кровати, сидя на одной из них и машинку положив на другую. В этом городе было всего две улицы, пересекшие друг друга крестообразно. Жизнь происходила на перекрестке. Ресторацию

содержал китаец, который в Америке повторил анекдот Алексея Толстого о том, что: «что, мол, у вас имеется? — все у нас имеется! — а такое-то у вас имеется? — этого у нас не имеется. — А что у вас имеется? — все у нас имеется! — а этакое-то у вас имеется? — этого у нас не имеется!» — и так далее до бесконечности и до бифштекса. Самое большое здание на перекрестке — кино. Против кино — аптека, в окне которой выставлены открытки, швейные машины и рефрижератор. На улице — ни одной лошади, но против палисадов стоят автомобили, на скамеечках у калиток сидят вечерние собеседники. Около кино толпится десятка полтора людей всех возрастов, предпочтительно парами. Они слушают излияния киноактеров, слышных на улице, ибо кино — говорящее. А засим — все мертво, и город, и моя гостиница, и горы вокруг. До десяти часов слышны были разговоры около палисадов. После десяти все умерло дотла, вместе с кино. Я ходил по улочке от гостиницы до кино и делал открытия. В аптечном окне, кроме рефрижераторов и открыток, выставлены были брелки для часов. Я купил себе брелок и открытку. На раскрашенной фотографии за столом сидел молодой человек с усиками и с поднятыми вверх глазами, в раскрашенном костюме, сшитом у среднекачественного портного. Этот раскрашенный молодой человек с открытки курил, и из раскрашенного дыма его папиросы возникали женские качества и женская головка. Молодой человек смотрел в объектив фотоаппарата. Называлась эта открытка — «амор мио» — моя любовь. Я долго любовался этой открыткой и внимательнейше рассматривал брелок, подкову семейного счастья. Батюшки мои! — ведь я же знал, глядя на эти брелки, какой суп был сегодня вот в том доме за палисадом и вон в этом без палисада! — Батюшки мои! — ведь я все это знаю очень давно! — ведь это ж не город Кингмен в Америке, а город Катриненштадт за Волгой, город немцев-колонистов Поволжья дней дореволюции и моего детства! — ведь это ж Баронск! (он же Катриненштадт), родина моего отца, где в 1931 году умерла моя бабушка фрау Анна Вогау, чистокровная немка, русская в такой же мере, как она была б американкой! Мои предки — немцы — пришли в Россию, в Заволжье, при Екатерине Второй, после Семилетней войны в Германии, тогда же, когда также после этой Семилетней войны волны евро-

пейцев уходили в Америку. Я смотрел на брелки в окне аптеки города Кингмена, такие же брелки я видел в детстве, в магазине Карлэ в Катриненштадте, — и я знал: завтра в половине седьмого утра пробьет тощеголосый колокол на церкви, и вся колония сядет за свои столы питаться, — к Рождеству папа Джон подарит сыну-Джеку брелок к часам, — а на той неделе у свояченицы судьи был понос, потому что она после компота из бананов выпила стакан холодного молока!.. В двенадцать соборный колокол пробьет полдни, и вся колония четверть первого сядет за обед. И жена колесника сообщит мужу, что жена мэра купила себе сегодня две курицы. А жена мэра передаст по секрету мужу, что заводчик Теодор Бэккер опять был в кино с женой управляющего банковской конторой, не быть добру!.. В половине седьмого вечера соборный колокол тощим своим звоном возвестит вечер, вся колония будет ужинать. И после ужина колесник пойдет к калитке бондаря выкурить трубку отдыха и поговорить о том, что дела плохи. Жена мэра остановит на минутку свою машину против окон дома управляющего банкирской конторой и обсудит с женой управляющего вчерашнюю кинокартину, присовокупив невзначай, что дела заводчика Бэккера, кажется, в связи с кризисом, не очень хороши, впрочем, сам мистер Бэккер очень приятен, и не зайдет ли миссис жена управляющего конторой послезавтра к пятичасовому чаю, когда будет и заводчик Бэккер.

Мещанин, обыватель, мелкий буржуа! — Это он уселся за стандартами американского благополучия и за национальным флагом, состоящим из звезд и матрасного типа материи. Он всюду — в Калифорнии, в Юте, в Оклахоме, в Ричмонде, в Бронксе и Бруклине, в Бостоне. Это он написал при въездах в города остроты для едущих на автомобилях, вроде следующей, написанной при въезде в один из городов Техаса:

> «Добро пожаловать! Если вы хотите узнать прелести нашего города, вы будете ехать по всем правилам автомобильной езды! Если вы хотите ознакомиться с недостатками нашей тюрьмы, вы будете нарушать наши правила автомобильной езды!
>
> М э р и я».

Это он свел нас с женщиной в Бронкском парке, которая недоумевала, почему от нее ушел муж, когда она никогда не пила и не курила и была верной христианкой. Это он — обыватель, мещанин, мелкий буржуа, потребитель американской кинопромышленности, третьей американской индустрии, по поводу которой острят, что, если бы у американского рабочего не было б лишних десяти центов на кино, в Америке давно был бы уже социализм и не было б бандитизма.

Обыватель! — мещанин! — да, это самая большая Америка, которую я нашел в моих поисках Америки по предложению тех, которые говорили, что Нью-Йорк — не Америка. Это та самая Америка всяческих «миддлей» и «мейнстритов» — середин — обывателя, знающего, что на обед у соседа, читающего иль утверждающего, что он каждый день читает Библию. Не случайно по всей Америке, во всей Америке нет ни одного гостиничного номера, где не лежала бы у ночного столика Библия! — Это Америка мелкогрешащего, мелкожульничающего читателя Библии и заповедей американского пионерства, отца семейства в джемпере вязания его старшей дочери, сына с брелочными часами. Обыватель! — мещанин! — его гениально описал Синклер Льюис, этого американского обывателя. Он интернационален, этот обыватель. Читатель СССР знает о нем по громадной европейской литературе, которая проливала свои чернила на эту обывательскую воблу. Этот обыватель страшен, оболваненный под колодку воблы парикмахерскими бога, стандартов, полузнайства, мелкой сытости, мелких инстинктов, мелкого довольства, — и этому обывателю самому страшно, ибо за вобельными парикмахерскими стандартов он один, одинок в этой громадной стране одиночества, «индивидуальной» анархии конвейеров, которые называются Америкой.

Этот обыватель охранен стандартами американской «демократии», легендами об индивидуальной свободе, мечтами оказаться в миллионерах, страхом и храбростью одиночества, сытым здоровьем.

Еженедельник «Либерти», крупнейший в Америке, издающийся в Нью-Йорке, проделал однажды трюк, которым он хотел узнать американскую честность. Ста американцам — пяти конгрессменам, пяти еписко-

пам, пяти фабрикантам, пяти лавочникам, фермерам, рабочим и так далее — редакция разослала конверты с пятью долларами в каждом. Я сейчас сознательно, наряду с редакцией, рабочих ставлю на последнее место. Делалось все это конспиративно. Письма были разосланы по точным адресам. Конгрессмены получили эти письма прямо в руки, помимо секретарей. Каждое письмо было составлено так, что получивший его и получивший, стало быть, доллары, видел, что письмо и доллары присланы ему по ошибке. В каждом письме был обратный адрес, по коему можно было бы вернуть эти доллары. Конгрессменам, в частности, писалось: «Многоуважаемый такой-то — полное имя — на прошлой неделе вы мне, бедному человеку, помогли в дороге расплатиться за ремонт автомобиля, а поэтому возвращаю», и прочее. Конгрессмен в это самое число управлял государством. Редакция возвращением этих неправильно засланных пяти долларов намеревалась обследовать американскую честность, расписав ее на страницах своего журнала. На страницах «Либерти» никогда ни слова до сих пор не появилось об этих якобы ошибочно посланных долларах. Из ста человек только трое вернули свои пятерки. Это были — двое рабочих и один провинциальный мелкий лавочник. В порядке американской честности рабочие оказались... на последнем месте!

В походе своем через Америку, естественное дело, я перебывал в нескольких десятках почтовых и телеграфных контор. Телеграф в Америке — предприятие частное, конкурируют две компании. Но дело не в телеграфе, при помощи которого — телеграфом — можно пересылать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк почитаемым дамам и родителям к празднику цветы и галстуки, — пересылаются в таких случаях телеграфом не галстуки, конечно, и не цветы, но их фотографии. Дело в том, что в каждой почтовой конторе есть витрина, где в фас и в профиль помещены фотографии людей, которых излавливает полиция, федеральная в равной мере, как и штатная, и под фотографиями — надписи, что поймавшему — премии во столько-то долларов, от сотен до тысяч, в зависимости от преступлений тех, кого ловит полиция.

В походе своем через Америку, естественное дело, я видел множество провинциальных городов. Все они построены по стандарту. В центре — деловая часть — два или три небоскреба, автомобильные магазины, кино, банки, бензинное удушье, шум и теснота. Это называется — бизнес-секция. Вокруг же этой секции — двухэтажные коттеджики в цветниках и под деревьями, с террасами на улицы, с качалками на тротуаре, в мещанской, так скажем, уютности трафарета.

28

Так мы приехали в некоторую скалистую местность, называемую Нью-Йорком, где скалами в небо торчат небоскребы. В иных местах в природе у нас такие места есть в Сибири, земля выпирает наружу залежами, хранящими в себе гелиевые, ураниевые, радиевые соли. Там ничего не живет, — ни травинка, ни зверь, ни птица, убитые альфа-бэта-гамма-лучами радия. Там зимой тает снег, там смерть. На самом деле представить бы себе на минуту, что человек покинул Нью-Йорк, но Нью-Йорк живет так, как живет при человеке, — ни единый зверь, ни единый волк не пойдет в эту скалистую местность, скалистую и изрытую пещерами, такими большими, что эти пещеры идут под Гудзоном, — в эту местность, задохшуюся бензином, без единой травинки на бетоне и железе. Волку страшно на этих камнях. Волку душно будет от бензинного и каменноугольного удушия. Нервы волка расстроятся от грохота города и от миллионов тех радиоволн, длинных и коротких, которые опутывают город, проникая через все, опутывают рекламой, музыкой, речами президента Гувера о просперити. У волка, чего доброго, случится медвежья болезнь от всех событий этой скалистой противоестественной местности, расположившейся на индейском острове Манхэттене! Волк, надо полагать, подерет от этих местностей, что есть духу, из конца в конец Америки, просигнет единым махом через Канаду, окажется, с языком за ухом, в Аляске. Но в Аляске волк встретит быт и обычаи, описанные Джеком Лондоном и исправленные О'Генри.

В Нью-Йорке однажды вечером мы с Джо ехали по Шестой авеню, намереваясь проехать в Гринвич-виллидж, в нью-йоркский квартал антиквариата, искусства и богемы, на свидание с Майклом Голдом. Я вел машину по всем американским правилам, шел с нормальной скоростью, против зеленого света. Шестая авеню — эта ужаснейшая улица бензинного удушья — улица, как известно, двухэтажная. По второму этажу мчит воздушная дорога. Второй этаж опирается на первый шеренгой колонн. Улицы людям следует переходить в Нью-Йорке только на углах и только по зеленому свету. Из-за колонны, никак не на углу, вышла женщина, в двух шагах от фар автомобиля. Она шла против красного света. Я загудел. Женщина не слыхала. Все это произошло моментально. Я бросил машину и бросился помогать женщине. Я ж отвез ее в больницу. У нее были сломаны правая рука и ключица, лицом она ударилась о фонарь, и стекла фонаря изорвали ее лицо в клочья. Женщине было шестьдесят восемь лет, и она была глуха. Она не слышала моего гудка. Надо ж было быть такому! — я прожил империалистическую войну, революцию, гражданскую войну, исколесил все северное полушарие земного шара, не причинив никому ни одного синяка, а тут, на Шестой аллее — —

Доктор, который делал перевязки женщине и исследовал ранения, приходил каждые две минуты и сообщал:

— Сломана ключица.

— Сломана правая рука.

— Сейчас рентгенизировали череп, череп цел.

— Сейчас исследуем ноги.

Доктор сообщил, что он любит такие-то сигары — я послал за сигарами. Когда я, вместе с полицейскими, уезжал в полицию, доктор подставил свою руку, измазанную в крови, к моим глазам и стал большим пальцем быстро тереть по пальцам безымянному, среднему и указательному, — я дал ему денег. Полицейские были возмущены.

В полиции разбирали мой «эксидент», как там говорят по поводу автомобильных аварий, вернули мне мои автомобильные документы и сказали, как сообщалось уже, истинно по-американски:

— Мистер Пильняк раздавил леди по всем правилам, виновата в «эксиденте» леди, а поэтому мистер Пильняк может требовать с леди стоимость разбитого об ее голову фонаря.

Меня отпустили с миром и веселыми шутками. Один из полицейских попросил довезти его до поста и стал на подножку машины. Когда мы прощались, он проделал перед моим носом тот же самый жест, что и доктор.

Управлять автомобилем я научился главным образом в походе через Америку, и «лайсенс» — документ на право управления машиной — получал в Нью-Йорке. Собравшись обзавестись этим документом, я спросил, как это делается. Знатоки спросили меня в свою очередь, — хочу ли я сдавать экзамен на самом деле или хочу получить документ без экзамена? — Здание самоуправления города Нью-Йорка — сити-холл — здание величественное, со многими входами, и входы эти подперты колоннами эллинских традиций, равно как традициями не республиканской партии Гувера, но партии демократической. Так вот как раз против того входа, коим надо входить в отдел, где получаются лайсенсы, — с угла на угол, — помещается веселая лавочка, она и автомобильная школа, она и фотоателье, где в пять минут можно заполучить фотографию для лайсенса. Она и контора для поручений по всяким автомобильно-лайсенсным делам. Можно прийти в эту лавочку, выпить там кока-кола, взвеситься, отмерить рост, проверить зрение, заполнить бланки, сфотографироваться, уплатить двадцать пять долларов, поехать к себе домой и — получить по почте, без всякого экзамена и без хождений в мэрию, автомобильные документы, удостоверяющие, что ты есть драйвер, сиречь шофер, хотя ты можешь автомобилем и не управлять. В лавочку эту я ходил в любопытстве и всему вышеописанному — свидетель. Но платить четвертного я не находил нужным и поэтому держал экзамен, уплатив взяткою только лишь пятерку, — ту самую пятерку, которую платит каждый американец: эта взяткопятерка превратилась в силу своей массовости из взятки в чаевые экзаменатору.

В тот вечер, когда я раздавил женщину, до Гринвич-виллиджа мы не доехали. А там американские писате-

ли пьют водку. В Америке — прохибишен — сухой закон, — не какой-нибудь пустяковый закон, а такой, который внесен в заповеди американской конституции. Поэтому раза два приходилось мне, иностранцу, в незнакомых местах обращаться к полисмену и больше жестами, чем словами, объяснять, что мне с моими друзьями следует выпить. Полисмены во всех этих случаях отвечали одинаково:

— О'кэй, бой! — о'кэй, парень! — это, бессомненно, очень просто. За углом, второе крыльцо. Скажи, что тебя прислал полицейский Чарли! Щюр!

Брат одного моего приятеля-журналиста, выходец из западных российско-царских губерний, открыл было в Нью-Йорке канонно-еврейский ресторан, с различными фаршированными щуками, с обескровленными курицами, и — без алкоголя. Через месяц этот рестороновладелец вынужден был взять бандитско-бутлегерский патент на алкогольную торговлю: различные инспекции и полиция его доняли штрафами, — за безалкогольность, должно быть. Неамериканскому слушателю эта моя последняя фраза должна показаться бредом. Действительно, бред, — и тем не менее — факт! — человек поступал по законам, и полиция, охраняющая законы, заставила его эти законы нарушить. Факт — американский.

Дела ж такого порядка — дела размаха американского. Выше говорилось о разнообразии американских ресторанов, и, кроме причин сытости, указывались две причины — национальная и алкогольная. Об алкогольной причине говорится сейчас. Действительно, разнообразие невероятное, никак не стандартное, — мексиканские трактиры с текиллой, итальянские с кьянти, французские с бордо, японские с сакэ, шведские с ромом, китайские с ханшином, английские с джином и виски, русские с водкой, немецкие с пивом, — от миллиардерских роскошей до нищеты портовых притонов. В иных местах питухи сидят в старых ореховых стойлицах немецких традиций. В других — по-итальянски-испански — пьют из бочек и на бочках. Такие учреждения называются «спик изи» — «говори тихо», но шуметь в них можно по мере выпитого алкоголя. Это на континенте, но вокруг Аме-

рики на морях выросло целое государство вне государства — в двадцати милях от американских берегов. Воды морей и океанов являются, как известно, нейтральными. За пределами двадцатимильной полосы на морях действуют международные — или никакие не действуют — законы. И в двадцати милях от берегов Америки разноцветной гирляндой стали на якоря корабли, превращенные в плавучие распойные дома, где пьют, играют в карты и наслаждаются денежным соитием полов. Канада за реками и озерами против Ниагарского водопада, против Детройта, Чикаго — также в гирляндах ресторанов. Из Лос-Анджелеса ежевечерне автомобили мчат в Мексику, на мексиканскую границу. Мексиканская деревушка Тиаюна была просто нищей деревушкой. Она ею и осталась. Но рядом с нею и под ее именем возникли горбы ресторанов — горбы и гробы.

Бизнес размахов грандиозных, американских!

Несколькими ж фразами выше сказано — «бандитско-бутлегерский патент», — сказано совершенно точно, без всяких образообразований. Сложнейшая система, государство в государстве, армии людей, свои флотилии, свои короли, свои солдаты, свои пулеметы и пушки.

Рассказано выше, что банкир Z хотел познакомить меня с Алом Капоном. Ал Капон не мог принять меня в тот день, когда я был в Чикаго, ибо он был занят на выборах.

Ал Капон — бандитский король. Он дает интервью журналистам, в коих указывает, как надлежит произносить его фамилию — Капон, а не Капонэ и не Капони, ибо *е* на конце его фамилии — *е* немое. В одном из последних своих интервью он высказывался против коммунизма в СССР, призывая за собой своих последователей. Он ездил по Чикаго в блиндированном автомобиле, с мотоциклистами охраны. Если ему нужно было убрать нежелательных ему людей, — его молодцы убивали их не при помощи устарелых револьверов, но пулеметами. Однажды так Ал Капон расстрелял (человеческая жизнь у молодцов Ала Капона расценивается от двадцати пяти долларов и выше), — однажды Ал Капон расстрелял — днем, в гараже на

людней улице шестерых ему непокорных сразу, причем расстрельщики были одеты в полицейскую форму, и до сих пор неизвестно, то ли расстрельщики были переодеты, то ли носили форму по праву. Жизнь человека расценивается от двадцати пяти долларов и выше, но, если Ал Капон случайно подстреливает — шальною пулеметной пулей — посторонних, он шлет наследникам от тысячи до десяти тысяч долларов и венки на гроб. Ал Капон живет и работает точь-в-точь так, как это показывается в голливудских бандитских фильмах. Под озером Мичиган у Ала Капона была проложена труба, своего рода канализация, коя конвейером перекачивала из Канады в Северные штаты виски. Ал Капон выбирал губернаторов штата Иллинойс и мэров города Чикаго. Ал Капон не бывал на приемах президента, но его друг и ставленник, мэр города Чикаго мистер Вильям Томпсон, по прозвищу «Большой Билль», у президентов в гостях бывал.

Ал Капон сделал ошибку, не приняв меня: на этих выборах ставленник Ала Капона мистер Вильям Томпсон, по прозвищу «Большой Билль», провалился. Победил другой бандит. Ал Капон наказал Чикаго строжайше: он обанкротил самоуправление города Чикаго. Тогда чикагские власти привлекли Ала Капона к суду. Но привлечь Ала Капона к суду в качестве бандита чикагский суд не осмелился. Капон был привлечен как рантье, который не уплатил подоходного налога. Откуда у Ала Капона доходы, — это не интересовало суд. Ему предъявили миллионы. Ал Капон пришел на суд в качестве пострадавшей овцы. Журналисты гнали телеграммы и радио, и газеты сообщали, что мистер Ал Капон в неуплате подоходного налога виновным себя — признал. Но дел своих не покинул. В Нью-Йорке проживал бывший друг Ала Капона, бандит Дэймонд, по прозвищу «Длинноногий». Дэймонд командовал пивным трестом Восточных штатов. Дэймонда двадцать восемь раз судили за убийства — и двадцать восемь раз оправдывали. Несколько лет назад Ал Капон оповестил мир, что Дэймонд, по прозвищу «Длинноногий», не отдал Алу Капону семидесяти пяти тысяч долларов, данных Дэймонду для поездки в Монте-Карло. Летом 1931 года в Дэймонда стреляли неизвестные люди. Это

было в фешенебельнейшей нью-йоркской гостинице. Дэймонд был изранен, остался жив и стрелявших в него опознать отказался, — совсем как в кино. Стрелявшие найдены не были. В декабре 1931 года Дэймонда в бессчетный раз судили. Суд происходил в Олбани, в штатном городе штата Нью-Йорк. Штатный республиканский суд в бессчетный раз оправдал Дэймонда, по прозванию «Длинноногий». Друзья Дэймонда «построили» в его честь — в ночь после суда — банкет. В пять часов утра в номер гостиницы, где банкетировали бандиты, ворвались шестеро. Четверо из них стреляли в Дэймонда. Дэймонд, про прозванию «Длинноногий», убит. Убит Дэймонд, по сведениям знатоков, молодцами Ала Капона. Ал Капон пока подтвердительного «стейтмента» не дал.

Проживает в городе Гопуэл Чарлз Линдберг, знаменитый пилот, американский герой, перелетевший Атлантический океан. Женат он на дочери сенатора Морроу, недавнего покорителя Мексики. У Линдбергов родился сын, первый их ребенок. В марте 1932 года этого полуторалетнего ребенка украли. Укравшие прислали письмо, где требовали пятьдесят тысяч долларов выкупа. Линдберг — национальный герой. Он сообщил полиции о краже ребенка. Газеты загремели сенсацией. Было по этому поводу заседание кабинета министров. А ребенок — исчез. Линдберг, который отказался дать пятьдесят тысяч долларов, напечатал в газетах, что он даст полтораста тысяч долларов, если ему ребенка вернут. Кабинет министров заседал. Газеты неистовствовали. Полиция валилась с ног. А ребенка — не было. Ал Капон напечатал в газетах, что, во-первых, он даст нашедшему двести тысяч долларов, а во-вторых, если ему поручат, берется найти ребенка.

Ал Капон — большой человек! — у него в руках была алкогольная монополия на Средний Запад, у него в рабстве были десятки притонов-трактиров и притонов-публичных домов. Все это не только было, но и есть, судя по делам Дэймонда и Линдберга, несмотря на суды самого Ала Капона. Ал Капон — не один, он любит лишь популярность, но пока памятника ему не поставили. В Детройте же имеется памятник мистеру Скотту, не менее поучительный, чем заводы Форда,

Паккарда и «Дженерал Моторс компани». Памятник этот стоит по соседству с памятником Шиллеру. Над памятником развевается американский флаг. Мистер Скотт был бутлегером и притоносодержателем. За часы его проституток, растасканных по коленам его гостей, и за стаканы виски мистер Скотт скопил миллионы. Умирая, он завещал городу Детройту миллион долларов с тем, что часть этих денег потрачена будет на монумент, увековечивающий память мистера Скотта. Памятник мистеру Скотту поставлен. Над памятником реет американский флаг. У Ала Капона памятника еще не имеется.

Исследователь американско-бандитских дел К. пишет, что вопрос об отмене «сухого» закона поднимается в Америке на каждых новых выборах, на каждом открытии сессий штатных и федерального конгрессов. Сухой закон сверху донизу, вдоль и поперек пронизал Америку бандитизмом. Исследователь К. пишет, лирически, конечно:

> «Сухой закон существует 11 лет. За это время народились сильнейшие организации, имеющие в своих руках пружины, регулирующие движения отдельных влиятельных групп как среди демократов, так и республиканцев. Неограниченные денежные средства, возможность выдвигать своих людей на крупные муниципальные и федеральные посты, система безнаказанных убийств — вот чем располагают эти организации. Мы говорим о бутлегерах».

Так пишет исследователь К. Он дает также объяснение, почему сухой закон не отменен, — он констатирует:

> «В контрабандскую торговлю спиртными напитками с момента введения сухого закона перешли убийцы, взломщики и «политики». Сотни тысяч людей занимаются этой профессией. Америка платит им налоги. Америка содержит их в истинно королевской роскоши. Если упразднить сухой закон, то через 24 часа эта безработная ар-

мия, то есть сами бандиты и часть кадров полиции, займется основным своим ремеслом, от которого она частично отказалась за время бутлегерства. Сейфы будут вскрыты. Радикальная отмена сухого закона несет с собой призрак убийств и грабежей».

Совсем как в голливудском кино, где добродетель обязательно торжествует!

Примеров и историй можно рассказать множество. Бандиты и муниципалитеты живут в содружестве. Ал Люэн был прав, когда сказал мне, что обмануть историю и власть есть бизнес и вещь, по американским понятиям, моральная. Впрочем, история здесь не обманывается. В Нью-Йорке, в частности, бандиты бандитствуют, начиная только с 14-й стрит. На первых улицах, включая четырнадцатую, можно жить спокойно: там находятся банки. Или там тоже грабительствуют?

В Нью-Йорке, в частности, когда я приехал, в день моего приезда в Сентрал-парке нашли убитую женщину с веревкой на шее. Эта женщина за сутки до смерти пришла в следственную комиссию, приехавшую из Вашингтона, и указала на людей, на организацию, состоявшую из судей, полиции и бандитов, которые имели бизнес, учиняя его пуританскими американскими законами о браке и нравственности. Делалось это несколькими способами. Иной раз соблюдалась проформа, — то есть некоторый мерзавец, по аналогии с чикагскими боенными боровами, начинал ухаживать за женщиной, назначал свидания, зазывал к себе, приходил к ней. В минуты, когда женщина, должно быть, любила, появлялась полиция нравов, — и: — или суд, скандал, опороченное имя, или — плати доллары! — Не в американском кино, но в действительности имеются — частная полиция и частные сыскные, шпионские конторы, работающие не только на Америку, — крупнейшие из них Бернса и Пинкертона. Иной раз любовники выслеживались этой полицией, — опять полиция нравов, — опять — или суд, или деньги. А иной раз просто требовались деньги. Иной раз денег у женщин не было. Иной раз женщины не были повинны даже в любви. Иной раз их судили, об этом печаталось в газетах, женщин обвиняли в проституции

и — повинных только в любви или неповинных даже в этом — ссылали в тюрьмы на исправление. Та женщина, которую нашли в день моего приезда с веревкой на шее, пришла — к суду же! — чтобы рассказать, как она, ни в чем не повинная, три года просидела в тюрьме. Суд отложил ее допрос на завтра. Ночью она была убита. Это было в Нью-Йорке.

Банкир Z, по мощи равный английскому королю, имеет телефонную связь с Капоном. Капон «выбирал» в мэры Чикаго своего друга мистера Вильяма Томпсона, «Большого Билля» по прозванию. Чикагские фабриканты и купцы приглашали Ала Капона в компаньоны. Некий мистер Бэккер, владелец красильных предприятий Чикаго, пригласивший Капона в компаньоны, сострил журналистам, что он «нанял черта, чтобы избавиться от чертей». — Чем Ал Капон, председатель треста бандитов, отличается от прочих председателей трестов?! — Мистер Бэккер, красильщик, заключив договор с Алом Капоном, сообщил журналистам в интервью:

«Теперь мне не нужны ни прокурор, ни полиция, ни ассоциация предпринимателей. Я имею лучшую защиту в мире!»

У Ала Капона биг бизнес — большое дело! Ему надо собирать дань с покорных и расстреливать непокорных. Ему надо управлять своею промышленностью, — такою громадной промышленностью, как производство алкоголя, в коем заняты фабрики, заводы, конвейеры, рационализация и стандартизация. Ему надо заботиться о правильном распределении товара. Рационализация проституции — это уже подсобный бизнес.

Дел действительно много! — не надо думать, что Чикаго чем-нибудь отличается от Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. И не надо думать, что все дела ограничиваются только водкой и проституцией. В Чикаго, равно как в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, кроме бутлеґеров, водкоторговцев, работают — так скажем — рэкетиры, рэкетчики, занимающиеся промыслом, который называется рэкетирование.

Свободный американский бизнесмен, живущий в Нью-Йорке ниже 14-й улицы, собрался открыть на углу 27-й, предположим, улицы и 2-й аллеи молочную

лавочку, чтобы продавать покупателю как раз то самое молоко, которое препровождается в рот покупателю из коровьего вымени без прикосновения человеческой руки. 27-я стрит и Вторая авеню имеются и в Чикаго, и в Санта-Фе, и в Питтсбурге. Бизнесмен собрался открыть молочную лавочку или хлебную, или вообще любую. Надо было бы полагать, по традиции вещей, что бизнесмен обратится прежде всего в самоуправление за разрешением. Это неверно. Раньше всего он должен обратиться к районному бандиту, к рэкетчику. Он, бизнесмен, должен получить разрешение у районного бандита. Районный бандит, рэкетчик, должен решить, целесообразно или нецелесообразно открывать здесь молочную лавочку. У районного бандита на учете все районные лавочки, и, когда он давал разрешение на открытую уже в его районе молочную лавочку, он брал на себя заботы об устранении в его районе молочной конкуренции. Районному бандиту надлежит осведомиться, сколько намерен ему платить новый молочный торговец, — и надлежит взвесить, стоит ли закрыть старого торговца, предоставив права новому, или же не стоит новому торговцу давать разрешение.

Я был полусвидетелем дел районных рэкетиров. С разрешения рэкетира, был построен в наших местах в Нью-Йорке гараж. У американцев есть обычай оставлять по летам машины на улицах у подъездов. Дело было летом, вновь отстроенный гараж пустовал. Гаражевладелец разослал по своему району сообщение об открытии гаража. Гараж пустовал. Тогда приступил к делу районный рэкетир, который санкционировал построение гаража. Все камеры на автомобильных колесах каждую ночь были прокалываемы. Гаражевладелец разослал вторую серию открыток. Гараж оказался переполненным.

С молокоторговцами поступается аналогично. Когда старому молокоторговцу предлагается закрыть его торговлю ввиду того, что патент на этот район передан новому молокоторговцу, этот старый должен проворно убираться с места, ибо вместо шин у него проколот будет его собственный бок.

Штатные власти издают указы по поводу рэкетирования и создают особые суды. На первом месте, совершенно естественно, Чикаго. Чикаго создал рэкет-

ный суд. В особом акте указаны функции этого суда. Они поучительны — суд судит за:

«1) уничтожение взрывами имущества граждан,

2) причинение увечья лицам в результате взрывов,

3) преднамеренное вредительство домов,

4) сбор денег в виде штрафов,

5) бросание бомб,

6) конспиративные действия с целью производства незаконных актов — бойкота или шантажа,

7) производство или продажу взрывчатых веществ,

8) увоз с целью получения выкупа,

9) запугивание служащих и рабочих».

Совсем как в голливудском кино! — Исследователь американских бандитских дел К., скрывшийся за псевдоним единой буквы, пишет:

> «При муниципальных, штатных или федеральных выборах эти (рэкетные) банды несут «политически-государственные» функции. Эти банды берут на себя заботы о массовом избирателе. Мелкие торговцы, шоферы, служащие содовых и аптечных магазинов, мелкота большого города — платит дань банде: откажут ли они этой банде в маленькой любезности голосовать за такого-то республиканца или демократа!?» —

Все происходит совершенно так же, как в голливудских кино. Камеры ж на автомобильных колесах, по поручению рэкетира и по центу за прокол, — прокалывали районные мальчишки, насмотревшиеся кинокартин из бандитской и индейской жизней и наслушавшиеся историй о частной деятельности частных сыщицких контор Бернса и Пинкертона. И — уже не полусвидетелем, а своими собственными ушами — я знаю рассказ молодого коммунистического журналиста Т. Он вырос на этих самых нью-йоркско-детройтско-оклахомско-американских улицах. Мальчики их кварталов — «блоков», как по-американски называются кварталы, — мальчики были строго организованы в индейско-ковбое-бандитские шайки. У них было свое поле рэкетирования. Они организованно воровали апельсины с лотков. За рубашками, у сердец, они — осо-

бенно итальянские и испанские мальчики — носили ножи, оттачивая их для будущего. Они выполняли поручения старших, вроде прокалывания автомобильных камер. Каждый блок вел войну с соседними блоками, и объединения блоков происходили, подобно объединению индейских племен, когда иной раз уже несколько блоков объединялись для разных крупных дел, вроде воровства на демонстрациях в День Независимости и сшибания соломенных шляп с зевак 16 августа. В школу дети всегда ходили отрядами, дабы не быть избитыми в одиночку. И ножи из-за пазух появились на свет, когда мальчикам исполнялось лет по четырнадцати. Мой молодой друг Т. один из его класса окончил колледж и стал коммунистом. Остальные его одноклассники не добрались до колледжей. Один из его одноклассников кончил жизнь, убитый на электрическом стуле. Половина его товарищей стала бандитами-профессионалами, бутлегерами, рэкетирами. Они не выпали из американских законов кино и Ала Капона. Мой друг Т. пошутил, рассказывая свою историю: — он сказал, что если бы у друзей его детства не было лишних гривенников на кино, в коммунистической партии оказался б не он один.

Исследователь К. пишет о любезности голосовать за такого-то республиканца. Имею дополнить, что некоторые банки и предприятия пользуются бандитскими шайками вместо полиции для охраны своих имуществ. Имею сообщить, что бандитские шайки принимают участие в политической жизни, не только приказывая так, а не иначе, голосовать, но и иными способами. Например, известны случаи, когда не только партии демократическая и республиканская, но и Американская Федерация Труда нанимала бандитов для избиения коммунистических демонстраций. Друг друга ж партии республиканская и демократическая — кулаками бандитов — избивают регулярно, в порядке традиций. Следует вспомнить написанное многими страницами выше, где говорилось о «технологических» концертах и безработице: там строился мост, гораздо более грандиозный, чем Бруклинский, — мост от «технологического» индивидуализма в бандитизм.

Я не видел ни одной гостиницы в Америке, ни одного гостиничного номера — во-первых, тринадцатого, а

во-вторых, такого, в коем не лежала бы Библия. Если даже ванная не всегда имеется, то Библия — всегда абсолютно рядом с телефонной книгой. И совершенно по-американски естественно, что съезды республиканской в Америке партии, поставившей ныне в президенты Герберта Гувера, начинаются с молебствий господу Богу. Открываются съезды предпочтительно методистскими епископами, затем выступают с молитвами патеры епископальной и римско-католической церквей, а завершает молебствие еврейский раввин.

Ал Капон! — рэкетиры! — дела президента Гардинга не следовало б и поминать! Но нынешний президент Герберт Гувер был при Гардинге — в стране торговцев — министром торговли, правейше-правая рука, так же, как при Але Капоне правою рукою Ала Капона работал Гарри Гузик. Неизвестно, то ли Гардинг умер от простуды, то ли его отравили, то ли он отравился сам. Да и дела Гардинга полуизвестны. Но из полуизвестного известно, судами установлено и судами же запутано, — следующее.

Морской министр Дэнби и министр внутренних дел Фолл (президент Гардинг и — тогдашний министр торговли — нынешний президент Гувер — они ни при чем!) — минвнудел и морской министр сдали нефтяникам Синклеру и Догени в аренду и в эксплуатацию нефтяные земли Типот-Дома в штате Вайоминге и Эльк-Хильс в штате Калифорния, забронированные за государством для нужд военного флота; министрам Фоллу и Дэнби помогала «Стандарт Ойл компани». Под эти нефти и сбоку этих нефтей возникло фиктивное, сиречь в реальности не существующее, акционерное нефтяное общество «Континенталь Трейдинг компани». Три миллиона долларов этой «компании» были распределены между членами правительства. Двести тридцать три тысячи долларов в акциях найдены были у Фолла, они были заплачены ему за проданную им дачу. Министр почт — министр Гардинга — Вильямс Хэйс получил лишь семьдесят пять тысяч, — и то не для себя, но для передачи партии. Этот же Хэйс (почта!) передал некий пакет с акциями министру финансов Гардинга, миллиардеру и вождю республиканской партии Мэллону — также для внесения этого пакета, от имени Мэллона, в кассу республиканской партии.

(О Вильямсе Хэйсе надо сказать, что, ушед в отставку, он пошел работать в кино, так скажем, в качестве «морального» диктатора, где и работает до сих пор.) Миллион шестьсот тысяч долларов были внесены в кассу партии помимо министерско-партийных пакетов. Имя Гардинга — имя президента — свято, президент, как Бог, ошибаться не может: Гардинг от всех этих неприятностей не то умер в простуде, не то отравился, не то его отравили. Герберт Гувер — нынешний президент — был при Гардинге министром торговли. Он ни при чем, как и Гардинг. — —

Был назначен суд, которому надлежало разобраться во всем этом деле «в общем и целом». Суд не закончен до сих пор. Верховный суд сгоряча расторг сделку на нефть, как «мошенническую и подкупную». Это была предварительная мера. Суд до сих пор еще не разобрался «в общем и целом». Но в частностях — такой-то американский законный суд — оправдал Фолла и Догени. Это оправдание было отменено, ибо установлено было, что через контору вышеупоминаемого сыщика Вильямса Бернса были подкуплены присяжные заседатели. Но Синклер не был министром, Синклер был капиталистом, — и Синклер — таким же законным республиканским судом, как все прочие суды — оправдан! — —

Герберт Гувер — он ни при чем! — он не только не примешан к этим делам, но он даже ничего не знает об этом: ни разу, ни в одной речи, ни в одном выступлении он не обмолвился об этих делах! — он так же, должно быть, не знает, что разбор этого дела не кончен до сих пор, несмотря на многолетнюю давность, на быстрый и справедливый американский суд и несмотря на то, что дело это должно было бы разбираться под его руководством!

29

Белый дом — это такое же промышленно-капиталистическое предприятие, как и все прочие в Америке. Хозяин Америки — и главный ее ницшеанец — доллар. Бюджет Белого дома — семь миллиардов долла-

ров, бандитско-рэкетирско-бутлегерский бюджет — девять миллиардов долларов, — кто хозяин? — Казалось бы, бандиты, раз они богаче. Но это не верно. Хозяин — доллар, который, как известно, особенно в Америке, запаха не имеет. Белый дом в Америке есть такая же промышленность, как и все прочие в Америке, да в придачу еще никак не свежая политика. Из десяти американцев, которых я расспрашивал, девять отвечали:

— Уэлл, политика! — это грязное дело! — я им не интересуюсь. Щюр, боссы, которые занимаются политикой, занимаются ей не ради чьих-либо прекрасных глаз, не говорите мне об их честности! Щюр!

Американские газеты отличны от европейских. Европейские газеты, предпочтительно, являются газетами различных партий и содержатся этими партиями. Американские газеты есть газеты промышленных предприятий и содержатся этими предприятиями. Газете, которая выходит на средства резиновой промышленности, важнее всего, чтобы продавались шины для автомобилей и галоши. Прессе, поддерживаемой «Дженерал Моторс компани», существенно загнать в бараний рог Форда. Моргановской прессе надо укрепить моргановские дела против рокфеллеровских, рокфеллеровской — против моргановских. Что касается политики и партий, то партии и политика гораздо менее бизнесны, чем резина, автомобили, сталь, банки и прочее. И Морган, и Рокфеллер дают деньги на содержание и республиканской партии, и демократической, обеим сразу, этим двум партиям, заведующим политикой Соединенных Штатов. «Форд Моторс компани» так враждует с «Дженерал Моторс компани», что Форд дает только республиканской, а Дженерал — демократической.

Политика — плохой бизнес.

Некогда республиканская и демократическая партии имели различие. В годы гражданской войны Севера с Югом партия республиканцев работала с северянами, партия демократов — с южанами. Утверждалось, что республиканская партия есть партия северных промышленников, что демократическая партия есть партия финансового капитала, что так было и есть, — мол, и до сих пор в Нью-Йорке, в финансовом

центре, командует партия демократическая. Хрен редьки не слаще. По существу говоря, даже в годы гражданской войны, эти партии различались не по социальному своему существу, но тактически и территориально, — что не мешало тем же республиканцам, в дни окончательных побед Севера над Югом, поднимать в Нью-Йорке, как сказано, восстания против северян, в защиту демократического Юга. Ныне же эти две партии — два конкурирующие треста, — тресты, заведующие американской политикой, не отличающиеся даже тактикой, — тресты, строящие свои программы на отрицании программы конкурентов, на промахах конкурентов, на политиканстве, на территориальных традициях, на капиталистической конкуренции. И тресты не особенно бизнесные; рокфеллеро-морганы имеют обе эти партии у себя на содержании. Глубокоуважаемый мистер Котофсон, тот, у дочери которого в прошлом бородавка на глазу, а в будущем писательство, равно как и остальные восемь вместе с ним из десятка, скажет:

— Уэлл, политика! — это грязное дело! — я им не интересуюсь! — Щюр!

Американские газеты заботятся о «резине» (случайно ли!?), и в каждом номере газет читатель установит, что не говоря уже о резине! — спорту там посвящено вчетверо больше места, чем политике, внутренней вместе с международной.

В Вашингтоне имеются посреднические конторы (без вывесок, конечно), покупающие и продающие, в розницу и пачками, сенаторов, членов конгресса, республиканцев и демократов, правительственных чиновников и судей. Аппараты демократической и республиканской партий в дни, свободные от выборных кампаний, заняты единственным — распределением постов и должностей между членами своих партий. Делается это для защиты трех китов американской демократии — Библии, конституции и национального флага. От члена партии никак не требуются политические убеждения, — требуется аккуратно регистрироваться и — по формулировке сенатора мистера Пенроза — «стоять за своего собственного мерзавца». По американским понятиям в партии следует видеть не

принципы или программу, — но — источник существования. Для членов партии партия всегда облечена в реальные формы пищи, одежды, текущего счета в банке.

Все президенты большую часть своего времени и сил отдают не государственным делам, но — организации своей партии во всех 48 Соединенных штатах. Четыре пятых времени президента заняты обсуждением вопросов о должностях, начиная с должностей четвертого класса в почтовом ведомстве и кончая членами своего кабинета.

Есть книга, написанная американским журналистом Ф. Кэнтом, человеком никак не революционным. Книга называется «Political Behavior» — «Политические нравы». Книгу следует расценивать как учебное пособие и как справочник для буржуазных, ныне командующих, политических деятелей Америки.

Кэнт пишет, разбив, как полагается, книгу на главы, заглавия которых американски-лаконичны: «Повинуйся закону, и ты будешь побит», «Необходимо быть верным своей шайке», «Задевать интересы деловых кругов невыгодно», «Когда вода достигает верхней палубы, следуй за крысами», «Благосостояние уничтожает всякую критику», «Партия не ответственна за взяточничество в ее рядах», «Действительная сила — в руках пловцов», «Дайте избирателям хокум». И прочее.

Хозяевами партий Кэнт считает людей, состоящих

> «из участковых и районных исполнителей, из комитетчиков, или «капитанов», и из бесчисленного множества мелких чиновников, служащих государственного аппарата — муниципального, штатного и федерального».

В главе, которая называется «Жирные коты», Кэнт сообщает, что принадлежность к партии является нормальным, естественным путем на выборные должности,

> «единственный ключ к которым является в руках аппарата. Другими словами, первый шаг состоит в том, чтобы заставить организацию, — под которой подразумеваются лидер или лидеры аппарата, — выставить вашу кандидатуру».

Кэнт иллюстрирует это обстоятельство партийными судьбами президентов Куллиджа и Гувера. О Куллидже он говорит, что этот

> «никогда, ни при каких случаях не сделал ничего, что было бы противно его организации».

Кэнт иллюстрирует это обстоятельство другого порядка делами, тем, что

> «один из членов конгресса, богач одного из восточных штатов, ныне отбывающий уже седьмой или восьмой срок в палате представителей, регулярно и притом, конечно, секретно, помимо своего жалованья, предоставляет 10 тысяч долларов аппаратному боссу того города, в котором он живет. Это все, что он когда-либо делал. Ему никогда не приходится заботиться о своей кандидатуре».

Судьба этого конгрессмена приводит Кэнта к информации о «жирных котах». «Политика», как сказано, в Америке не считается большою честью,

> «это грязная игра, с которой благородные американцы не желают иметь ничего общего».

Быть торговцем эмалированной посуды иль производить на фабрике колбасу — не менее почетно, чем быть избранным — смотря по чину и рангу — на муниципальные, штатные и федеральные должности. Но возникают иной раз чудаки-богатеи, которых зудят почести мэра иль губернатора.

> «Такие люди известны в политических кругах под названием «жирные коты». Эти капиталисты имеют то, в чем нуждаются организации, — деньги. Их появление приветствуется организацией, как цветы в мае».

Кэнт информирует:

> «До сих пор ни один «жирный кот» еще не добился президентского поста, хотя в 1920 году, а

затем снова в 1928-м один или двое из них были очень близки к назначению в кандидаты. Но их достаточно много в конгрессе».

В главе «Что случается с кандидатом, который захочет быть смелым и искренним» доказывается, что смелым и искренним кандидатам в американском парламентаризме места нет, они всюду проваливаются. Кэнт аргументирует свое утверждение, в частности, президентом Куллиджем (выше говорилось о президенте Гувере).

> «От начала до конца своей кампании Куллидж не произнес ни одного звука, который мог бы задеть католиков или ку-клукс-кланцев, мокрых или сухих, мошенников-нефтяников или пламенных патриотов. Он строго придерживался принципа — защищать лишь то, что не подлежит (американскому) сомнению: режим экономии, снижение налогов, уменьшение задолженности, процветание страны, мир, Библию, национальную конституцию, закон о правах гражданина».

В главе «Партия не ответственна за взяточничество в ее рядах» сообщается:

> «... Масса рассматривает обвинения в мошенничестве, выдвинутые против господствующей партии элементами, не находящимися у власти, как на вполне естественное явление, как на составную часть игры. В массах существует убеждение, что лица, находящиеся у власти, берут, конечно, понемногу взятки, но то же самое будут делать и другие, когда они доберутся до тех же постов. И в действительности обвинения во взяточничестве часто вызывают со стороны публики сочувствие к обвиняемому. Средний избиратель думает при этом, что у других дело сходит более гладко, но он не верит, чтобы они были честнее обвиняемого во взяточничестве. Поэтому обвинение не приносит особого вреда попавшемуся «бедному парню». Наоборот, обратившись за под-

держкой к своим избирателям, он требует от них реабилитации. В своих речах он кричит о «заговоре с целью отнять от него его доброе имя», и в конце концов обвиняемый избирается большим количеством голосов, чем раньше. Если избиратели не могут переизбрать самого «бедного парня», например, в случае, если его посадили в тюрьму, они, с целью продемонстрировать свое сочувствие ему, избирают его жену. В качестве примера может послужить дело бывшего члена палаты представителей от Кентукки — Лангли. В то время, как мэр Лангли находился в тюрьме, избиратели его округа выбрали на его место в палате представителей его жену.

> Великолепное, всех поразившее молчание всей республиканской партии по вопросу о мошенничествах в нефтяной промышленности, то обстоятельство, что ни один из признанных лидеров республиканской партии — ни Куллидж, ни Дауэс, ни Юз, ни Гувер, ни кто-либо из остальных — не проронили ни одного слова в осуждение этих скандальных событий... все это несомненно очень сильно способствовало устранению всяких неприятных политических последствий этих преступлений».

В главе «Когда вода достигает верхней палубы, следуй за крысами» сообщается:

> «В применении к политической жизни это (эта поговорка) означает, что для человека, занимающегося политикой, глупо продолжать придерживаться своих убеждений после того, как они стали непопулярны. Ни один, желающий преуспевать, политик, а также ни одна политическая партия не может позволить себе твердо придерживаться своих убеждений, и они действительно этого не делают».

Глава «Задевать интересы деловых кругов невыгодно» своим собственным названием иллюстрирует свое содержание. Экспонаты, разбираемые Кэнтом, разуме-

ется, есть экспонаты американского обывателя, и Кэнт краток в формулировках:

> «Во-первых, никакие нападения на «плутократию», на «больших богачей», на «хищных капиталистов», «на Уолл-стрит», на «тресты», на «гигантские комбинаты»... не могут иметь успеха... Если кто-либо — в особенности женщина — владеет хотя бы одной акцией, она сейчас же начинает отожествлять свои интересы с интересами капиталистического класса и тайно противодействует всяким нападениям на последние.
>
> Мы превратились в нацию мелких держателей акций и облигаций.
>
> В стране имеется свыше 5 миллионов держателей акций одних только предприятий общественного пользования. Мелкий держатель неизбежно переходит психологически в ряды капиталистического класса. В нем исчезает всякий социалистический и большевистский дух».

Только что цитированное — это одна сторона дела, касающаяся всеамериканской воблы — обывателя, того, который расселен по всем Соединенным Штатам именно воблой, но который памятует об американском равенстве, о «хижинах», из которых происходят президенты и миллионеры, о демократии и о пионерских делах. О другой стороне дела — той, что «деловые круги» есть хозяева страны, стало быть, их «не трожь», — об этом Кэнт не пишет, хоть это и явствует из его книги, особенно из дальнейших глав.

В главе «Текущие расходы» Кэнт мягко сообщает:

> «Ни один президент не был выбран в нашей стране без того, чтобы его избирательная кампания не финансировалась хотя бы в такой степени, чтобы имелась возможность покрыть «текущие расходы».
>
> ...относительно продажных голосов. Я при этом имею в виду, главным образом, не тех избирателей, голоса которых можно купить за двухдолларовую и пятидолларовую ассигнацию. Не-

обходимо объяснить, что термин «текущие расходы» не касается так называемых законных расходов во время избирательной кампании — они не охватывают расходов на собрания, на музыку, рекламу, помещение, пропаганду, жалованье, почтовые и канцелярские расходы. Этот термин не охватывает даже и тайных сделок... например, сделок, гарантирующих кандидату поддержку со стороны различных газет. «Текущие расходы» — это расходы в день выборов».

«Действительная сила находится в руках пловцов», — сообщает Кэнт в главе под таким названием.

«Он (кандидат) может провести великолепную кампанию. Он может преподносить избирателям самые тонкие виды хокума и давать для них самые лучшие зрелища, — и все же, если в день выборов у него дело с избирательным фондом («текущими расходами») обстоит слабо, то с уверенностью можно сказать, что он провалится.

...о «текущих расходах». В каждом из ста пятидесяти тысяч участков, с четырьмястами приблизительно избирателей в каждом, всегда можно найти десять-двадцать мужчин, иногда также одну или двух женщин, рассматривающих день выборов главным образом как случай легко подработать. В прежние времена эти люди были известны под названием «пловцов». Впоследствии они превратились, согласно областной терминологии, в «работников», или «сторожей», или «вестников». Некоторые из них принадлежат к определенной партии, другим же — этих огромное большинство — совершенно безразлично, для какой партии работать, лишь бы им платили за это деньги. Демократические пловцы естественно обращаются в день выборов к демократическому участковому капитану; республиканские ж — к республиканскому. Участковый капитан, заключая сделку, говорит: — «Хорошо, уэлл, десять долларов за этот день, Джон, но ты должен в шесть часов быть в участке и привести туда всех твоих

> Джонсонов!» Все, что пловец должен сделать, — это доставить свое собственное семейство».

Двадцатая глава книги Кэнта называется «Повинуйся закону, и ты будешь побит». Ее не следует комментировать ввиду ясности ее заглавия и потому, что истинность этого положения наглядно вытекает из вышесказанного. В главе «Отряды отравителей» Кэнт рассказывает о принципах и практике клеветы, применяемой американскими — республиканскою и демократическою — партиями. Кэнт оговаривается фразой, которой может быть исчерпан его труд:

> «Честность в политике — неосуществимая мечта. Политика представляет собою игру... с бесчисленным множеством призов, начиная с самого важного в мире поста — президента Соединенных Штатов — кончая двухдолларовой ассигнацией, которую жадно ищет продажный избиратель в день выборов».

Для того чтобы оживить рассказ об американской политике, следует привести наглядные картинки.

Первая. Иллюстрирует «хокум», то есть всяческую чепуху, которая развлекает избирателей и устанавливает между кандидатом и избирателями теплые отношения.

— Войдя гордой поступью в переполненный зал, Хилл шел к находившемуся на трибуне столу, на котором, по его распоряжению, стоял графин с водою и стакан. Подняв графин, он начинал наливать воду в стакан, как будто для того, чтобы выпить немного воды. И вдруг он с драматическим жестом выливал воду в окно или бросал стакан об пол. — «Что такое?! — восклицал он. — Вода? — Мы не хотим воды в этом районе. Мы хотим пива, и если вы, ребята, пошлете в конгресс Джона Филиппа Хилла, то он достанет для вас пива!» — Тут он схватывал американский флаг (также заготовленный заранее), музыка начинала играть национальный гимн, и толпа сходила с ума от удовольствия.

Вторая. Рассказ участкового «капитана» о своих боях.

— Когда в субботу перед выборами я получил от окружного лидера для своего участка тридцать долларов вместо ста двадцати, то это явилось для меня тяжелым ударом. Я уже тогда понял, что дела идут не как следует, но лишь впоследствии я понял истинное положение дела. В день выборов, еще до девяти часов, я уже знал, что мы побиты, и притом сильно побиты. В этом участке была дюжина парней, все — демократы, которых я на каждых выборах нанимал за плату от двух до десяти долларов. Обычно они показывались на месте, где производились выборы, около шести часов. На этот раз мне лишь в девять часов удалось найти одного из них. Он был пьян и в прекрасном настроении. И у него-то я выведал правду. Оказалось, что он имел в своем кармане двадцать пять долларов республиканских денег. То же самое сделали все остальные из дюжины «вестников» моего участка. Впрочем, один или двое из них умудрились получить по пятьдесят долларов. Они никогда не видали таких денег, да и я тоже. Против таких денег бороться было невозможно. Они провели бы на выборах рыжего пса против апостола Павла!

Мистер Котофсон прав:

— Уэлл, политика! — это грязное дело! — не говорите мне об их честности — не станут же боссы заниматься политикой ради чьих-либо прекрасных глаз! щюр!

Прав и я, утверждая, что президенты избираются за взятку, что равнозначно утверждению, что Белый дом диффундирует с бандитами. Работа американских, ныне командующих, партий заключается только в одном — в проведении выборных кампаний. Так оно и есть на самом деле. Дальше для партий начинаются отдых и жизнь — они распределяют между членами посты и никак не постные куски, вроде нефтей Типот-Дома. Речь идет о деятельности партий — республиканской и демократической — партий американских капиталистов, промышленников и воблы — обывателя: стало быть, по партиям следует судить и об этих самых капиталистах, промышленниках и обывательской вобле. И американские эти партии — не партии, но — тресты, отличающиеся от треста, предположим,

текстильной промышленности, тем, что у текстилей мануфактура и мануфактурные фабрики, а здесь — властишка от мэра (иль судьи) города Кингмена до президента из города Вашингтона. Тресты эти — не особенно бизнесны: быть заводчиком и миллиардером почетнее, чем быть конгрессменом. Бандиты порядка Синклера и Ала Капона переплетают свои дела с Белым домом. Рэкетиры (и Ал Капон) озабочены всяческими выборами. Торговля алкоголем, бандито-бутлегеры имеют больший бюджет, чем бюджет Белого дома. Обыватель, прежде чем идти в мэрию, к законным властям, идет к районному бандиту. Есть царско-русский анекдот —

> купец третьей гильдии города Москвы Иван Фаддеевич, после интеллигентско-еврейских погромов 1905 года, в субботу перед Пасхой, попарившись в бане, причастившись, выпив рябиновки перед заутреней, на цыпочках зашел к себе в спальню, посмотрел в шкаф, под кроватью, — нет ли кого в комнате? — припер дверь на ключ, внимательнейше стал рассматривать физиономию в зеркало, бороду, нос и глаза. Он сказал, наконец, сам себе шепотом в зеркало:
> — Иван Фаддеевич! — прошептал он. — Мы с тобой одни. Признайся перед святой Пасхой, как на духу, — один из нас служит в охранке!

Чего доброго, этот анекдот применим и к американцам. Этак, под День Независимости, надравшись виски, американский гражданин на пятнадцатом своем этаже, приперев двери и выключив радио и рефрижератор, чтобы не мешали, в ванной комнате вопросит себя в зеркало:

— Уэлл, Джон! — Мы с тобой в четыре глаза. Признайся перед Днем Независимости, — бандит я или нет?!

30

Выше рассказано, как в Бронкском парке однажды журналист П. и я, мы встретили плачущую женщину, от которой ушел муж к женщине, пьющей вино, когда она, встреченная нами жена, была верной христианкой

и верной женой. Через неделю после той встречи, в праздник утром, пораньше, чтобы застать его дома, я приехал к П. Он жил один. Он отпер мне не скоро и был чуть-чуть смущен. От вечернего ужина в столовой у него остались два прибора, в кабинете лежала женская шляпка и некая туалетная подробность, также явно оставшаяся от вечера. То, что пришел именно я, как видно, успокоило П. Жестом он информировал меня о событиях. Я хотел было уйти. Он сказал, что делать этого не стоит. Он ушел на минуту в спальню. Через минуту за ним вышла та самая женщина, которую мы встретили в дожде в Бронкском парке. Она увидела меня, лицо ее стало горестно. Я предложил ей папиросу. Она отказалась со всей пуританской строгостью. Вдруг ее глаза наполнились слезами, и она заговорила, чтобы сообщить мне о последних событиях.

— С тех пор, как ушел муж, я ничего не знаю о нем. Он ушел, отказавшись от всего. Он ушел к женщине, которая курит табак и пьет вино. Почему он ушел! — Он ушел, и с тех пор остановилась жизнь. А я — видит Бог! — верная христианка, я верная жена и, конечно, я не курю и не пью.

Я посмотрел на некоторую туалетную подробность, забытую на диване, и на две недопитые рюмки около наполовину выпитого литра ликера, на табурете около дивана. Женщина перехватила мой взгляд. В святой, должно быть, простоте она села на диван, как раз на свои подробности.

— И что же муж? — спросил я.

— Ах, видит Бог, как я жду его! — сказала она, подняв глаза к небу.

Президенты — бандиты — доктор и полиция около той леди, с которой я мог бы получить стоимость автомобильного фонаря, разбитого об ее голову. Гипокритство! лицемерие!

В Америке есть экономисты и историки, которые утверждают, что американскому просперити последних лет очень много помогал сухой закон. Казалось бы, что линия рассуждений пойдет о трезвости, коя повысила производительность труда. Экономисты рассуждают иначе. Возникновение организованной контрабанды спиртом с ее миллиардными оборотами,

с ее сотнями тысяч работников, прямых и косвенных, именно это — сиречь бандитщина — сделало множество для процветания торговли и промышленности, для американского просперити. Экономисты предлагают вспомнить здесь об усиленном спросе на моторные лодки, о джуте для мешков, о лесе, о бутылках, о печатании аптечных ярлыков, кроме самих производящих, стандартизирующих, рационализирующих, продающих и пьющих. Такого порядка экономисты отрицательно относятся к утверждению, что нация после запрещения стала меньше пить и лучше работать, — тем паче, что до сих пор медициною не разрешен вопрос, что лучше и продуктивнее влияет на работоспособность, — бессуррогатный спирт или суррогаты, отправляющие питухов на тот свет.

Что касается вообще американских просперити, которых вместе с просперити от 1922 года до октября 29-го было пять, то главными причинами этих просперити некоторые американские экономисты выставляют вещи, не менее необыкновенные, чем «прохибишен».

Первое просперити началось в 1825 году. До тех пор Америка была просто деревней с деревнеобразными городами, в квакерско-пуританском благополучии.

Тогда выяснилось, что за Аллеганские горы перевалило множество новых людей, понаехавших из Европы после бурь французской революции и разгромов наполеоновских войн. Эти люди потащили за собою за горы в Средний Запад первые фабрики и заводы. За много лет до тех пор изобретенная Уитни хлопкоочистительная машина только теперь выросла в заводские корпуса. По стране стучали топоры новых строек. В том, 1825-м году мир оправился уже от наполеоновских войн, возродилась мировая торговля, в Европу пошел американский хлопок, в Америку поехали европейские машины. Кончилось это просперити в 1837 году, когда затихли топоры и толпы голодных готовы были бросаться куда угодно, хоть к черту на рога.

Чертом на рогах оказалось калифорнийское золото. Это было второе просперити. Оно началось в 1849 году, и жития его было до 1857 года. Его сделали люди с волосяными ошейниками вместо бород, промывавшие золото в железных ручных тазах, те самые, которые уничтожи-

ли форт Сэттера и настроили города под названиями Виски, Копи Дикого Янки, Портвейн и Сакраменто. За железными тазами этих старателей пошли железные дороги. Люди не первых храбростей предпочли пахать землю конными плугами и жать урожаи жнейками, чтобы не рисковать на золоте и продавать свои урожаи золотоискателям втридорога. Жития этому просперити было восемь лет. Страна дымилась заводами сельскохозяйственных орудий. Паровозы железных дорог и двигатели заводов кормились каменноугольными копями. Это просперити породило предпосылки гражданской войне. 1857 год взорвался банковскими крахами. Калифорнийское золото иссякло.

Судьбы разрешались гражданской войной. Судьбы гражданской войны известны. Новая, третья эра просперити началась в 1879 году, жития ее было четырнадцать лет, почила она в 1893 году. Кризис вместе с годами гражданской войны и послевоенный кризис длились тогда двадцать два года. Некий пастор Руперти записал для потомства, за два года до начала просперити:

> «Настоящее социальное положение Нью-Йорка менее всего представляет веселую картину. Отсутствие работы вызывает возрастающую бедность и учащает преступления. Количество не имеющих работы никогда не было столь велико, как теперь, и предположения никогда не были печальнее. Во всех восточных штатах такая же бедность. Судья одного большого города в Массачюзетсе нашел недавно городские тюрьмы недостаточными; он телеграфировал всем тюремным управлениям штата о предоставлении ему места, но повсюду получил ответ, что везде собственные тюрьмы переполнены! Везде изобилуют просящие милостыню бродяги. Таким образом, мастерские пусты, а исправительные дома полны. А между тем сюда ежемесячно тысячами приезжают иностранцы, большей частью без денег, без знания языка, без друзей. Ужасный «Томбс» — нью-йоркская городская тюрьма — переполнен. Если принять еще во внимание все более и более

> увеличивающуюся деморализацию чиновников, то наша общественная жизнь не представляет ничего утешительного. Политические партии возводят друг на друга самые тяжелые обвинения, и если одна отрешает от должности другую, то только для того, чтобы выжать из государственной губки более, чем предшественники».

Но вот эти тысячи иностранцев, без языка, без друзей и без денег, покидавшие Европу ради ее семидесятых годов, и создали третью эру. Эти люди заселили Америку до Тихого океана. Эти люди сдали в архив времен американское кустарничество и ремесленничество, отдав промышленность машинам. В тот час, когда тысячи переселенцев уперлись в покойствие Пасифика, вдруг смолкли фабрики и заводы, завулканизировали банки и по стране пошли небритые голодающие.

И опять спасло золото у черта на рогах Аляски, — спасли небритые, голодающие герои Джека Лондона и Иоганна Августа Сэттера. Под это золото отощавшие тресты стали разбухать заново. Под это золото страна осветилась электричеством, запутавшись в его медные провода. Загудели сигнальные гудки на меднорудных копях и на сталелитейных заводах. Новые и новые появились железнодорожные пути. Небоскребы перевалили за десятки этажей. Эта четвертая эра началась в 1898 году, ею встречен был двадцатый век, жития ее было девять лет, почила она в году 1907-м, когда в некий скверный день страна проснулась в ощущениях очень большого перепоя.

Итак, стало быть, из четырех просперити два были созданы переселенцами и два были созданы золотом. Итак, стало быть, если следовать за логикой утверждения, что прохибишен был одной из причин последнего просперити, то следует согласиться, что предшествующие просперити были случайностью! — Сей необыкновенный вывод никак не есть мой вывод, путем которого можно договориться, что и вся Америка есть не что иное, как случайность. Но такое утверждение я вычитал у американского ученого и радикала, — и это уже не случайность, ибо на самом деле, в долларовом своем ницшеанстве «парламентаризма» и «демократий», о

коих сказано выше, американцы, даже ученые, чувствуют себя в случайности. Именно поэтому Стюарт Чейз, радикал, по-нашему сказать кадет, публицист, отрицая прохибишен как одну из причин просперити, первою причиной просперити считает автомобиль. Чейз спрашивает:

> «Какие силы действовали после 1921 года, чтобы сделать наше просперити тем осязательным фактором, каким оно представляется нам?»

Чейз отвечает:

> «По моему мнению, самая мощная из этих сил, действовавшая в одиночку, был автомобиль. Автомобиль — это нечто, чего широкие круги действительно ждали с интенсивностью, доходящей до страсти. Эффект автомобиля был двоякий. Он стимулировал производство и залил страну известной видимостью процветания, казавшегося всеобщим. Другие периоды расцвета были вызваны иностранной торговлей или просачиванием золота в гущу населения. Стимулом нынешнего особенного периода является большой, шумный, суетливый, неуловимый предмет, снующий по всем дорогам. Вы можете видеть, слышать, обонять это чудовище на расстоянии нескольких миль. Около двадцати пяти тысяч несчастливцев в год по милости его даже отправляются на тот свет. За поразительно короткий срок непосредственный потребитель обогатился примерно пятьюстами миллионами лошадиных сил. С тех пор как существует мир, ни одна единица сосредоточенной мощности не была объектом такого массового спроса.
>
> Когда Генри Форд и рассрочка платежа снизили цену автомобиля настолько, что его покупка стала реальной возможностью, автомобиль стал объектом всеобщего вожделения, из-за которого трудятся, копят, готовы на любую борьбу.
>
> Автомобиль сулил три великих дара, дорогих человеческому сердцу: романтическую авантюру,

общественное положение и опьяняюще быструю езду (на этом же стимуле наживаются содержатели каруселей и американских гор). Автомобиль! Мой автомобиль! Ни один математик не сможет вычислить той суммы эмоционального импульса, какою были чреваты эти слова.

Мы просто физически наслаждаемся, — и это ощущение настолько универсально, что может почти сойти за биологическую норму, — когда несемся со скоростью 30 — 40 миль в час. И это ощущение нисколько не ослабевает с возрастом. Взрослые поддаются даже гораздо сильнее, чем дети. Без всяких оговорок, автомобиль — наиболее щекочущая нервы игрушка, какою homo sapiens играл когда-либо на этой земле. Щекотание нервов может быть еще усилено яркой раскраской, блестящей никелевой отделкой, маленькими металлическими патронами на шнурах, которые, когда их вытягивают из-под щита, накалены докрасна, нарядными стрелками, которые скользят по светящимся циферблатам, сиренами, которые оглушают пешехода до паралича, помпезно надутыми шинами. То обстоятельство, что многие из этих аксессуаров не выполняют никакой полезной работы, только усиливает радостное сознание обладания. Спрос на эти принадлежности колоссальный, и рядом с буйным расцветом автомобильной промышленности мы видим такой же буйный расцвет производства автомобильных принадлежностей. Чтобы поддержать щекотание нервов, когда новинка уже потеряла прелесть новизны, нужно все больше увеличивать скорость. А повышенная скорость, это значит — лучшие шоссе. Кто знает, какая доля миллиарда с лишним, который мы расходуем на наши шоссе в год, вызвана действительно необходимыми поездками и какая — погоней за более острыми ощущениями? Но когда игра пошла всерьез, на сцену выступила вся система социальных норм, а за нею агрессивная политика сбыта со стороны производителей автомобиля. Марка, цена, модель автомобиля стали как бы геральдическим символом со-

циального положения его владельца. Плотник, у которого свой «кадиллак», чем он хуже банкира, у которого такой же «кадиллак»? И вся жизнь становится сплошным целеустремлением вверх. Если мы задумываемся над такой мелочью, как покупка одной новой модели в год, то что скажут Джонсоны? — Мужественно мы подписываем новый договор на рассрочку.

Наконец, и это не менее важно, автомобиль, кроме радости быстрой езды и социального веса, дает еще какую-то романтику приключенчества, уход от однообразия, которое так характерно для современной жизни. Через холмы, вдаль... У нашего порога пульсирует автомобиль — и Северная Америка, вся, как на ладони, перед нами. Горы, каньоны... Пятнадцать лет назад, когда кто-нибудь хотел путешествовать по шоссейным дорогам, он переживал ощущения исследования новой страны. Его прошлое оставалось где-то позади, он отряхал пыль города от своих ног!..»

И сам же Чейз перебивает себя, восклицая:

«Увы! этого в наши дни уже нет. Двадцатью пятью миллионами машин город разлился по дорогам через всю страну. Было время, когда на автомобиле можно было как-то вырваться на волю. А как вы теперь вырветесь из этой шеренги, которая тянется от барьера до барьера на север, на юг, на восток, на запад?!»

Действительно, из конвейера американских дорог никуда не вырвешься! — и действительно, ездить по конвейерам американских дорог не менее утомительно, чем работать на конвейере у Форда! — Совершенно прав тот джентльмен, который придумывает, куда бы девать миллионы американским дуракам-богатеям, когда он утверждал, что американцы автомобилями подавились и автомобиль стал для американцев каторгой. Я могу засвидетельствовать опытом, что, если спросить у девятисот американцев из тысячи, едущих часов в девять вечера на автомобиле, — куда они едут? по какому делу? — эти

девятьсот индивидуалистов растеряются и на вопрос ответить не смогут: едут, чтобы ехать, влезли в конвейер дороги, управляют рулевой баранкой и — едут. Не сидеть же на месте, если есть машина! — И Чейз не прав, когда говорит, что двадцатью пятью миллионами машин разлился по полям город: не город, а завод, в бензинном удушье, обалделой напряженности конвейера, в полицейских правилах. Писатель Флойд Дэлл говорил мне, что машины у него больше нет: была у него машина, отличная, замечательная, два года на ней ездил, два года ничего не писал, установил, что по всей Америке одни и те же гостиницы, одни и те же дороги, одно и то же дорожное обалдение, и бросил автомобильную езду, предпочитает по надобности передвигаться сабвеями и такси, — сел за писание романов.

Я цитировал Чейза к тому, чтобы говорить о причинах последнего просперити. Летом 1931 года по Америке проходил кризис, самый страшный из всех бывших, возникший после пятой эры просперити. И я множество раз слышал следующие разговоры:

— Америка! гений Америки! Форд! гений Форда! Вы знаете, что система Форда применяется теперь повсюду — в ресторанах, даже у мелкого торговца, даже для гуляющих в парках. Это вечное искание новых форм и новшеств. Это — грандиозная лаборатория. Здесь все учтено и все выверено. Автомобиль и Форд — в первую очередь — создали последнее просперити. Чудаки хотели перехитрить Форда. Они хотели поддержать просперити, бросив в массы радио и рефрижераторы. Разве это может заменить автомобиль?! — Но Форд создаст новое просперити. Форд пишет, что мы еще недостаточно используем резину, он полагает, что дороги надо не асфальтировать, но делать из резины. Но если резина не поможет, Форд придумает другое. Он будет выпускать дешевые аэропланы в такой же цене, как его автомобили. Он будет выпускать их миллионами. Они будут снабжены вторым пропеллером на спине, при помощи которого они будут подниматься ввысь, без всякого разбега. Каждая крыша будет аэростанцией. Пространства исчезнут. Америка поднимается в воздух!.. Если не Форд, то во всяком случае так будет. Надо, необходимо надо придумать нечто

такое, что было бы равно автомобилю иль золоту Клондайка!.. Тогда настанет новое просперити.

Пока что Америка в воздух еще не поднялась. Я цитировал Чейза к тому, чтобы дать американскому экономисту слово о просперити, но получилось, что я характеризовал американца на автомобиле.

Оба вывода существенны.

Американский обыватель в легендах о пуританизме, о парламентаризме, в одиночестве американской демократии, в гипокритстве, в избушках дровосека, в стандарте он все это считает: слу-чай-но-стью! —

И американский обыватель в одиночестве демократии, в конвейерах дорог, в стандартах — в долларе, в долларе — хочет из этих стандартов — выр-вать-ся!

Слово — о'кэй — не случайно создано американцами, не только по безграмотности его происхождения. Американцы — спортсмены. У американцев есть поговорка: «keep smiling» — «храни улыбку», американские традиции требуют, чтобы американец всегда улыбался и был бодр. И совершенно верно: разорился американец на бирже — о'кэй, расшиб американец автомобиль — о'кэй, свернули американцу скулу в футболе — о'кэй, ограбили бандиты — о'кэй! — Действительно, это так, и так потому, что все случайно.

И я видел однажды, как американцы хотели вырваться из стандартов истинно по-американски. Это было в мае 1931 года.

Мы ехали от Далласа по пути к Батон-Ружу, к Миссисипи. За Далласом начались субтропические леса и негритянские плантации, — немногие места в Америке, где пусто, ибо этот угол Америки, по существу говоря, полузаброшен со дней гражданской войны. День был зноен, мы были утомлены, и с вечера нас не очень поразило, что то село, где мы ночевали, — Минибола, было забито людьми и автомобилями, необычными для полупустыни. Меня привела в удивление ночь.

Я проснулся в неурочный час от шумов в гостинице. Казалось, что в гостинице никто не спал, ходили по коридорам, хлопали дверями. Под окнами громко разговаривали. По шоссе рядом ежесекундно мчали автомобили со скоростью до ста километров, вспыхивали фонари из мрака, шипели рассекаемым воздухом и исчезали во

мрак. Автомобили шли в одну лишь сторону. Количество автомобилей у подъезда гостиницы за те часы, что я спал, утроилось. Помещения в гостинице явно не хватало, люди спали на воздухе в машинах и около машин. Ресторан при гостинице в первом этаже и аптека напротив торговали. В аптеке, по всем признакам, здорово пили. Я выкурил папиросу у окна, лег и заснул.

Когда я проснулся, гостиница была пуста, это было раннее утро. Машин около гостиницы не было. Но машины мчали мимо гостиницы с предельной скоростью, все в одну сторону, тысячи машин, колесо в колесо. Номера машин указывали, что машины съезжались со всех штатов, из самых дальних, так же как из близких, из Северной Дакоты, из Вермонта, Калифорнии и Флориды, даже из Канады. Машины были всех марок — «линкольны», «форды», «нэши», «шевроле», «крайслеры», «паккарды», «корды», «ройссы», «бьюики», — то есть мчали люди всех социальных пород. Машины поистине мчали, как коты из анекдотов, помазанные под хвостом скипидаром.

Мы включились в конвейер. Гонка была сумасшедшая. Но она длилась недолго.

Между городишками Глейдуотер и Лейквью машины стали. Дороги были загружены машинами окончательно. Машины не пускались по дорогам, ползли лишь перегруженные до отказа всяческим скарбом грузовики. Машины слезали с дорог на поля плантаций. Плантации были стоптаны. Машины, построившись рядами, превратили плантации в походные улицы. Плантации блистали лаком автомобилей, пестрели палатками и дымили примусами. Над плантациями торчали национальные флаги. Тысячи автомобилей устраивались на плантациях, чтобы жить.

В этих местах была найдена нефть. Неизвестно было, то ли она есть, то ли ее нет. Но акционерные компании уже возникали. Но земли у негров уже скупались, перепродавались, перепеперепродавались, росли в цене, падали, скакали. Человек, который сегодня заплатит, предположим, доллар, может завтра получить за него сто долларов. Человек, потративший сто долларов, может быть, будет через год миллионером, быть может, он разорится дотла. Но сюда ехали люди, чтобы прода-

вать, покупать, — богатеть! богатеть! — стать миллионерами! покупать земли и акции, полакции, четверть акции, сделать из доллара миллионы долларов! — Умеренные ехали, чтобы построить здесь ресторан, открыть отель. Негры были прогнаны отсюда, — они убежали от белых, — впрочем, я видел одного на бирже, он был в котелке и в визитке, несмотря на зной, он продавал свою землю, на его лице был страх.

Мы заехали своей машиной в кукурузу и пошли пешком в Глейдуотер... Инженеры на глазах у всех бурили землю. Лица людей, — вот этих, которые понаехали, чтобы стать миллионерами, — лица отображали только два чувства — страх и скупость. Было ясно, и этого не требовалось скрывать, что кто-то кого-то надувал. Экстренно, на грузовиках везли стандарты — гостиницы, коттеджи, офисы, рестораны и экстренно их складывали. Биржа поместилась под открытым небом, около сломанного заборчика. Вокруг биржи на развороченной земле возникали карусели, цирк, тир, лунапарк, проституция, предпочтительно негритянская. Экстренно рылись канавы фундаментов, стоков воды, новых дорог. Экстренно на новые места проводились газ, электричество, телефон. В небо вставлялись радиоантенны. Люди съезжались с семьями, с домами, с домашним скарбом. Экстренно возникало громадное место оседлости. Канавы и придорожные деревья были заставлены фургонами-квартирами. Негритянские деревни опустели. Люди съезжались, чтобы экстренно стать миллионерами. По всем видимостям, люди ехали, распродав все на прежних своих местах. Быть может, разорятся, быть может, размиллионятся! — Лица людей были страшны. Люди были сумасшедши и были в явном гипнозе. Люди не слышали друг друга. И среди них были очень спокойные люди, все знавшие, аборигены этаких дел, — столь же спокойные, как проститутки. Так было в свое время, надо полагать, в Новой Гельвеции Сэттера и на Аляске. Здесь творились, надо полагать, калифорнийские и клондайкские дела. Наш Исидор впал в горячку остальных, — он предлагал сейчас же продать автомобиль и купить акции, — его надо было убеждать, чтобы он поехал с нами и не остался здесь. Светило ослепительное солнце. Степенные инже-

неры возились около двух-трех нефтяных вышек, которые выкачивали из земли пробную нефть. Нефть! — доллар! — миллионы! — «свобода»! — Светило очень яркое и очень жаркое солнце. Лица, которые я видел на вытоптанных плантациях негров вокруг городишка Глейдуотера, — эти лица были искажены страшными выражениями страха, надежд и скупости, — и решимости, конечно, и храбрости, конечно! Разориться иль размиллиониться!.. О'кэй!.. Читателя следует просить перечитать Джека Лондона.

А в ста верстах от этих будущих миллионов — тишина полей, субтропические леса около Миссисипи да каторжный труд негров.

И я вспоминаю первые дни моего американского обалдения:

... — больше! больше! больше! десять центов ложка, записная книжка, носовой платок, чулок, ручка, чашка. стакан, зубная щетка, прочая, прочая, прочая — и механический гадальный аппарат! больше пейте! больше ешьте! слепните от реклам! задыхайтесь бензином! давитесь автомобилями, радио и рефрижераторами! И город, вместе с людьми, стал на дыбы, сошел с ума, полез под землю, полез на скалы домов, ревет, грохочет, задыхается, хрипит, спутав всяческие перспективы, ибо — больше! больше! больше! десять центов воротничок!

В чем дело? почему такая безвкусица?! почему — кроме всего остального — такая катастрофическая безвкусица?! — безвкусица удобств, безвкусица наслаждений, безвкусица мечтаний и чести — ужели потому, что все это — идеалы мистера Котофсона, который всячески хорошо живет, желает всячески хорошо материально жить, отлично знает свое кишечное дело и не умеет читать?! — ведь это почти ребячество — все самое большое: самый большой пароход, самый большой небоскреб, самый большой овраг, самая большая электростанция, самый большой тираж газет, самое большое количество выкуренных сигар, самое большое количество автомобилей — автомобили, автомобили, автомобили, до бреда, — самое, самое, самое, большое, большое, большое! и — десять центов воротничок. Судьба миллиардера Вулворта, того, который по всей Америке по-

настроил свои десяти- и двадцатицентовые магазины, — известна. Судьба — американская, одно очко из миллиона неудач. Мальчиком Вулворт служил в газете на побегушках. Он любовался в своих бегах витринами. Он мечтал: как было бы хорошо купить вон ту книжечку или вон тот галстук, как было бы замечательно, если бы его гривенников хватало на все, что ему хочется. Он бросил газетные бега и пошел с лотком, на котором всякая вещь стоила десять центов, превратив его, Вулворта, в героя мальчишек. Вулворт открыл киоск. Теперь Вулворт — миллиардер, у которого не только магазины по всей стране, но множество фабрик и заводов, производящих десяти- и двадцатицентовые стандартные вещи. О Вулворте сообщается, что он осуществил «мечту детства». Вулворт сообщает, что все его удачи построены на воспоминаниях детской зависти. Сейчас у него покупают вещи уже не дети. Воспеватели вулвортовской «мечты детства» причисляют Вулворта к лику американских святых, — но Вулворт, надо полагать, имел резон, когда он считался только с детскими инстинктами. Больше! больше! больше! и — десять центов! — По всей Америке — на вершинах Сиерра-Невады, в пустынях Колорадо, на Великих озерах, на морях и островах — торчит рекламный плакат «кока-кола», патентованного американского морса, достаточно паршивого, но сладкого: этот морс изобретен некоим аптекарем, он пьется на всех дорогах Америки — пять центов бутылка, — и аптекарь — миллионер. По всем Соединенным Штатам, и даже в Китае, и даже на Огненной Земле, продается американское мороженое «эскимо-пай», примечательное тем, что оно, завернутое патентованным способом, не тает ни при какой жаре, его можно неделями держать на солнце и экспортировать в Китай: мороженое чрезвычайно скверно, но оно — не тает, пять центов плитка, и русский еврей, изобретший это мороженое, — большой миллионер! больше! больше! больше! и — даже не десять центов, но — пять!

Я ехал однажды в русском дачном поезде. Молочная гражданка вынула из корзиночки сверток, развернула его и стала есть свиное сало с хлебом. Мужчина, сидевший против нее, был, надо полагать, голоден. Он

умиленно крякнул. Женщина жевала безразлично. Мужчина сказал иронически, чтобы утешить себя:

— Подумать только, какая детская мечта — есть в вагонах!

Действительно — «детская мечта»!

Мне по моему писательскому чину разные журналы в Америке предлагали писать для них рассказы. В Америке на беллетристические художественные произведения имеется стандарт: или роман размером не меньше десяти листов, или рассказ размером не больше четверти листа. Писать рассказы заново для американцев досуга у меня не было, несмотря на расценку этих до четверти листа рассказов от ста долларов до двух с половиною тысяч тех же долларов: я предлагал просмотреть ранее мною написанное и выбрать подходящее. У меня хранится письмо редакции одного из американских журналов (тираж — два миллиона), в коем сообщается, что ни один рассказ мой не подходит, ввиду того, что у меня персонажами являются или старики, или люди средних лет, а журнал печатает произведения только лишь про людей не старше двадцати — двадцатипятилетнего возраста. Оценка моих писаний — единственная за мою судьбу!

Не здесь ли возникает утверждение того, что Америка не имеет традиций, кроме одной традиции — традиции молодости?

И — автомобили, автомобили, автомобили — до бреда!

Кони-Айленд столкнул меня с некоим американцем. Мы, несколько соотечественников, шли и разговаривали по-русски. Перед нами стал чрезвычайно низкий кубареобразный человек с громадной сигарой во рту и в хорошем костюме. Он был навеселе. Он прищурил глаз, сорвавшийся с работ немецкого художника Гросса, и сказал хитро, с немецким акцентом, по-русски:

— Ну, што вы сказайт, — Аме-риш-ка!..

Это было очень неожиданно и смешно. Мы расхохотались.

— Я сказайт — Аме-риш-ка! — сказал он презрительно и прибавил тихо и грозно: — о'кэй!..

Случайно оказалось, что машины наши были рядом, и мы встретились вторично. Он вынул из заднего кармана фляжку, специально брючного, бутлегерского

формата, кои вообще носит с собою очень значительный процент американцев. Он предложил нам виски. Оказалось, он — немец по национальности, не последний в Нью-Йорке человек, а именно — рабочий-строитель по какой-то канализационной части. Он сообщил об этом сразу. Он кого-то поджидал, сидя на подножке своей машины. На спине его автомобиля был плакат: — «Налетай, малый, разве ты не знаешь, что в аду есть еще место?!» — Он выпивал из своей брючной фляжки и говорил:

— Я сказайт — А-ме-риш-ка, йес.. проклятый страна — Новый Свет, о'кэй!

Он выполнял американскую традицию — keep smiling — хранил улыбку. Откуда он знал русский язык, об этом толку мы не добились.

31

По миру ходят легенды о Форде. По миру ходят автомобили Форда. Эта книга, о'кэй, американский роман, так же насыщена Фордом. Форд описан не меньше, чем Шекспир. Форд клал один из краеугольных камней в последнее американское просперити. Форд пролился со своих заводов, как сообщено выше, даже в автоматические столовые и разлит конвейерами по всем американским дорогам и заводам.

Был я у Форда — о Форде даже скучно писать, так много о нем писано, и он, как всякий бог, американский в том числе, от рекламы только тускнеет, — а Форд — американский бог-спаситель. Божественные дела — не мои дела. И тем не менее я сейчас пишу о Форде.

Форд издал под своим именем множество книг, которые ходили по миру в качестве технических евангелий пуританской закваски. Оказывается, что книги Фордом писаны не были. Для меня, писателя, нет паскуднее дела, чем подписывание ненаписанного, — но дело не в этом. Дело в том, что Форд однажды привлек к суду газету «Chicago Tribune», укорившую Форда, так скажем, в неинтеллигентности. Форд пришел на суд свою интеллигентность восстанавливать судом. Дело

на суде обернулось так, что Форд вынужден был признать, что книг своих он не писал, даже о «его жизни и о его делах». Форд оказался кругом «неинтеллигентен». Газета по окончании процесса устраивала конкурс среди восьмилетних американских детей, в коем дети должны были ответить на те вопросы, на кои на суде не ответил Форд или ответил глупо. Дети отвечали на эти вопросы, касающиеся американских понятий «интеллигентности», в коих Форд недалеко ушел от мистера Котофсона, гораздо лучше Форда.

Форд — пуританин. Он не изменяет своей жене и не курит. Он — за сухой закон. Основные фордовские заводы находятся на родине Форда, в городишке Дирборне, в нескольких километрах от Детройта, в штате Мичиган, на берегу реки Руж, сиречь Красной. Форду принадлежат там поистине латифундии. Сам Форд живет за заборами и в тишине стражи и парков, куда никто не допускается, так что одному журналисту, которому Форд нужен был до зарезу, пришлось плавать к нему тайком через реку вместе со своим фото и, прежде чем напасть на Форда, обсыхать в кустах. Проживая в таинственности, Форд только раз в году появляется на своем заводе, среди рабочих, во имя американского демократизма, когда рабочие могут хлопать Форда — во имя этого же демократизма — по плечу и здороваться с ним: «Хэлло, Генри!» — Кроме заводов и мест для своего собственного проживания, Форд учредил аэродромы, музей, гостиницы и, в частности, публичный парк, названный по иронии судьбы Руж (сиречь красным) парком. Не только на заводах Форда, в цехах и на площадях завода, не только в местах проживания Форда, не только в его конторах, в музеях и на аэродроме, но даже в Руж-парке запрещено курить. Это запрещение не есть мера пожарной охраны, но мера гуманитарная. Форд не курит для здоровья. Форд против табака. Но раз ты на фордовской земле, — не кури в таком случае для твоего здоровья!

Форд — гуманист! В заводских больницах у Форда рабочие за лечение платят плату. Но Форд — философ! — и в больницах у Форда введена работа, продолжение заводской работы, расплата за которую скидывает стоимость лечения. К койкам больных прилажены

доски, изображающие станки, и больные навинчивают гайки на болты иль в тех же болтах укрепляют шурупы. Форд ввел эту работу по соображениям, конечно, философическим, дабы больные зарабатывали деньги, убивали время нравственно, улучшали сон, аппетит и быстрее поправлялись.

Пуританин Форд — за сухой закон. Жалованье рабочим Форд выплачивает чеками. Чеки разложены в конвертах. Так находит наилучшим Форд. От времени до времени на квартирах рабочих появляются фордовские агенты и просят показать им чековые книжки. Особенно часто это бывает с холостежью. Агент просит рассказать, как и куда потрачены рабочими деньги. Агент желает проверить, не тратятся ли деньги на алкоголь и проституцию. Если будет установлено, что на той неделе рабочий выпил за здоровье Форда, или установлено будет, что влюбленный рабочий (это ведь, поди, тоже проституция!) подарил своей невесте билет в кино, букет цветов и потратился с нею на поездку к Ниагарскому водопаду, — если нечто этакое будет установлено агентами фордовской нравственности, рабочий не получит следующего конверта с чеком и будет рассчитан по принципу миссис чертовой мамаши, как сообщалось выше. Форд не может допустить, чтобы у него были разврат и пьянство. Форд — за пуританскую нравственность!

И если помянута миссис чертова мамаша, то следует вспомнить здесь и украинского моего приятеля, который на фордовской квартире господа Бога под небом, недоумевал, каким образом у него было три автомобиля и не осталось ни одного?

Форд — моральный экономист. И Форд не признает Уолл-стрита, равно как сам он не занимается торговлей, но — изобретает. Форд не признает американской банковской системы. Он не берет и не дает денег под проценты, считая это антипуританственным. (Это очень существенно. Американские банки — короли капиталистического мира, хозяева земного шара — ничего не могут поделать со своим американским соотечественником — с Генри Фордом. Разве это не замечательный пример американской «случайности»!?) Миллиарды Форда — в его предприятиях, но наличие, «сухие» доллары, надо полагать, Форд держит где-ни-

будь в кубышке, раз он не кладет их в банки. Форд слишком «морален», вплоть до некурения и до насильственного внедрения нравственности. Но и у Форда иной раз не хватает сухих. Так было, когда он переходил с модели Т на модель А. Форд, как сказано, не торгует, он — только изобретает, усовершенствует, философствует и производит. Торгуют за Форда его диллеры, расселенные по всем штатам. Когда Форд переходил на модель А и у него не было наличных денег, он обратился к каждому из этих диллеров с просьбой дать ему в счет выпускаемых машин по тысяче долларов. Конечно, диллеры ему дали. Форд обошелся без банков. Эту комбинацию с диллерами Форд придумал не сам. Тот, кто предложил Форду эту диллерную комбинацию, был Фордом экстренно рассчитан со службы.

Форд — только производит. Надо отдать справедливость: фордовский завод в Дирборне уже не вещь, а обстоятельство — и неповторимое, и поразительное, куда более сложное и в то же время упрощенное, чем американские конвейеры дорог. Трубы завода «Хайленд-парк», основного фордовского завода, не имеют на себе ни единого мазка сажи: они подкрашиваются каждую ночь и белы, как седина и воротнички Форда. Заводские корпуса за заборами один от другого отстоят на километры, пешком пройти невозможно. Площади между корпусами превращены в лужайки зеленого газона, ежесекундно поливаемого механическим дождем. Нигде нет такого, чтобы в десяти (отмерено моими шагами) — в десяти шагах от доменного жерла зеленела газонная лужайка. Доменных же жерл против этого газона расположено штук пять, со всею многоэтажной сложностью доменного оборудования. По заводским полям между цехов, кроме автомобилей и автобусов, разъезжают поезда с паровозами «большевик». Паровозы были заказаны при Керенском для России, советскою властью приняты не были, скуплены Фордом и прозваны «большевиками». Существуют эти паровозы, как явствует из сказанного, сроки, равные срокам советской власти в СССР. Машинисты ездят на этих паровозах в белых перчатках и в белых кителях, и «большевики», сиречь паровозы, блестят, точно они сегодня утром выпущены из сборочного цеха.

В белых перчатках, не измазав их не только на лужайках газона и на паровозах, — в белых перчатках у Форда можно пройти по всему заводу. Форд любит чистоту, как пуританскую нравственность! — и у Форда все конвейеризовано.

Что, казалось бы, может быть безалаберней и грязней литейных, — тех, в которых зарождаются машины? — у фордовских инженеров на руках обязательно хронометры. По минутам, по секундам инженеры проверяют шихту, ее паспорта, ее накладные, ее химический состав. В литейной — чистота, сверкающая так, как могут сверкать кафель и сталь. Даже пол, устланный железными плитами, нашлифован и наканифолен. Рабочие, разбитые по специальностям, расположены на стейлоренных для них местах. Инженеры проверили шихту для новой завалки. Хронометры на руках инженеров — абсолютны. Печи вздрагивают лихорадкой расплавленного металла и стонут. Термометр показывает 1700 нагрева по приказу хронометра с руки инженера. И тогда — сигнал к работе. Рабочие движутся командою кранов. Кипящая, белая конвейеризованная сталь течет в конвейеризованные ковши. Командою конвейеризованных подъемных кранов, по хронометру с руки инженера, ковши понесли сталь к изложницам, и командою тех же кранов сталь полилась в изложницы. Печи берут новую шихту, пока жидкая сталь превращена в диски, маховики, поршневые кольца и пальцы, в части машины и пока рабочие считают отходы. В кротовых ходах изложниц стынут будущие части фордовских автомобилей. Они остыли. Они вынимаются конвейером по воле хронометра с руки инженера. Конвейер кранов относит их на платформы поездов, поданных паровозами «большевиками». Печи набухают температурой нового завала шихты. И тогда в цехе происходит гроза небесная: десятками шлангов моются потолки, стены, воздух цеха, механический дождь поливает цех, и пылесосы воют громами небесными, пожирая пыль и воздух. В цехе светло и воздушно, как в мае после грозы. Генри Форд, если ему вздумается, может отрогать цех, не замарав белых перчаток. Формовочная земля приготовлена наново. Хронометр на руке инженера ведет время к новому литью. Конвей-

ерный путь закончен. Инженер проверяет накладные и паспорта вновь поданной шихты. Начинается новая плавка.

Все тейлоризовано, все механизировано, все конвейеризовано — даже здесь, в литейном цехе, где зарождаются машины. Рабочий сходит здесь не за человека, но деталью к машине и времени. Все — на минутах и секундах. Кто-то из фордовских журналистов формулировал, и Форд выдает за свое утверждение, что между потерей материала, потерей человеческого труда и потерей времени имеется существеннейшая разница, ибо материал и потраченный труд (не этим, так иным рабочим) можно вернуть, но времени вернуть невозможно.

В литейном цехе зарождаются машины.

С «final assembly line» — с финального конвейера — сходят готовые машины. В этом цехе каждые пять секунд рождался новый автомобиль. Чего доброго, это уже не цех, а храм «науки и техники», граничащей с колдовством. Рождение автомобилей здесь можно наблюдать, совершенно не беспокоясь о чистоте белых перчаток. На конвейере длиною в четверть километра, в начале его возникает шасси автомобиля, краны снизу подают колеса, краны сверху подают мотор и радиатор, краны сбоку опускают на шасси кузов. Конвейер ползет удавом, размером в четверть километра. Когда до конца конвейера остается пять метров, в бензинный и водяной баки в моторе вливаются бензин и вода, приемщик садится в автомобиль, вспыхивает мотор, вскрикивает гудок, и автомобиль, рожденный, сбегает с конвейера на склады и на площадки поездов. В этом цехе всегда светло. В этом цехе шум электрических ключей, свинчивающих машины, и шипение электровоздушных красильных аппаратов кажутся музыкой. В том цехе мало рабочих и почти не видно инженеров с их хронометрами на руке. Здесь машины рождают машины. По стене вдоль конвейера в этом цехе проведена подвесная галерея, откуда, как в старинных монастырях, в одиночестве можно молиться по поводу рождения машины. Впрочем, посетители здесь, даже американцы, не молятся, но поражаются. Иные фордовские цеха туристы позажиточнее могут рассматривать сидя — с автомобилей, которые развозят туристов по цехам.

В этом цехе, на этой галерее надо стоять. Под это стояние и под рождение машины, действительно, приходят в голову всяческие несуразные мысли. И действительно, многие американцы там начинают вскрикивать:

— Америка! гений Америки — Форд! гений Форда! — Ведь все это, вот это самое рождение машины конвейером, — это применяется теперь повсюду, даже в ресторанах, даже у молочного торговца!..

В этом цехе поистине надо быть в белых перчатках.

Форд скупает свои старые автомобили, окончательно разбитые. Я видел, как эти автомобили умирают. По Ривер-Руж пришел пароход с такими стариками. Подъемные краны брали крюками эти автомобили за колени шасси, поднимали их в воздух, несли по воздуху к прессу. Не менее чем тысячетонный, надо полагать, пресс опускается на этих стариков. Старики вздрагивают, дергаются. Через минуту старики превращены в аккуратно-компактную плитку прессованного железа и стали. Автомобиль умер. Краны складывают штабелями эти плиты на поездные платформы. Краны волокут на смерть новых мертвецов. Здесь смерть автомобилей так же конвейеризована, как их рождение. И смерть зловещее рождения.

Заводские цеха у Форда отстоят друг от друга на километры. Но люди в цехах стоят друг к другу плечо в плечо, локоть в локоть. Этого требует конвейер, где работа производится, точно сказать, на ходу и где люди стоят локоть в локоть для того, чтобы успевать за конвейером, брать работу из-под локтя соседа слева и передавать ее под локоть соседа справа и успевать между этих локтей сделать положенное данному рабочему. Конвейер рассчитан по фордовской истине о том, что невозвратимо только время. Я знал одного рабочего, половина головы которого была лыса, — левая половина. Он был старым фордовским рабочим. Он работал в моторосборочном цехе. Над его станком проходила конвейерная цепь с запасными частями. От времени до времени он забывался, поднимал голову, разгибал спину и — запасные части, проходившие над его головой по конвейерной цепи, били его по левой половине его головы. Время сняло волосы с битой половины его го-

ловы. Станок этого рабочего можно было бы отодвинуть, но это на четверть секунды замедлило б движение конвейера. В том самом храме, где рождаются машины, я видел нескольких рабочих, катавшихся на роликах по чистоте пола около конвейера. Ролики — это их собственное изобретение. На обязанности этих рабочих лежит привинчивание автомобильных частей под колесами, под конвейером. Это свинчивание производится, конечно, электрическими ключами, но для того, чтобы пробраться к свинчиваемым частям, рабочие должны сгибаться в несколько погибелей, таким образом, что колени их оказываются у них под мышками. Так, с коленями по бокам груди, на роликах, чтобы двигаться по неподвижному полу за конвейером, рабочие работают восемь часов. Казалось бы, что можно приподнять конвейер в этом месте или сделать в полу углубление для этих рабочих, но — время, которое не повторяется! — Таких примеров можно привести десятки. Достаточно двух.

Достаточно двух примеров, ибо все они тонут в следующих справках. На фордовских заводах нет раздевален для рабочих, рабочие сваливают свою одежду куда попало. На фордовских заводах нет столовых для рабочих. В обеденный перерыв в цеха въезжают автомобили-палатки с сандвичами, с кофе в бумажных стаканчиках, с бульонами в таких же стаканчиках, и рабочие, постояв в очереди, едят свои обеды на корточках или просто на полу своих цехов. О том, что рабочие не могут покурить в отдых не только в цехах, но даже на воздухе, сказано. Чистота в цехах Форда — абсолютная, до белых перчаток.

О заботах Форда, чтобы рабочие не курили, не пили, не распутничали, когда нравственные агенты Форда проверяли чековые книжки рабочих, — сказано. Сказано, что Форд приучает рабочих к трудолюбию так усердно, что они работают у него даже в больницах.

Сказано, что Форд сам не торгует и даже не обращается к банкам, но — пуританствует, философствует, изобретает и — производит. Форд — американский бог-спаситель. О нем не стоило б и писать, потому что господа боги имеют достаточную уже рекламу и от рекламы тоже тускнеют. Знавал я в детстве своем неко-

его российского феодала, по имени Арсентия Ивановича Морозова, владетеля Богородско-Глуховской мануфактуры в городе Богородске, ныне Ногинске. Я учился тогда в богородском реальном училище, учрежденном на деньги Арсентия Ивановича. Арсентий Иванович, владевший и хозяйничавший громадной мануфактурой, имел до нас, до мальчишек, некоторое отношение. Кроме фабричных забот, заботился он еще о старообрядчестве, состоял церковным старостой богородской старообрядческой общины. Старообрядческая церковь находилась в лесу, в стороне от города. Ездил к себе в храм Божий Арсентий Иванович всегда верхом, с плеткой. У седла его подвязана была котомка. Если видел Арсентий Иванович на дороге беспризорный шпагат, потерянную подковку, он слезал с коня, подбирал веревочку или подковку, прятал их в котомку. Мы, мальчишки, подкарауливали этакие поездки Арсентия Ивановича. Иные умели так хорошо поклониться Арсентию Ивановичу, что он отвечал на поклон, спрашивал, кто родители, и давал гривенник на конфеты. Но самым выгодным было не кланяться. Арсентий Иванович налетал тогда коршуном, влетало тогда невеже нагайкой, отъезжал тогда Арсентий Иванович от невежи шагов сто на рысях, но обязательно всегда останавливал коня, поворачивал его, подъезжал к невеже и молча совал ему рублевую ассигнацию. Мануфактура у Арсентия Ивановича поставлена была отлично, пот из рабочих гнал Арсентий Иванович замечательно, но у половины богородчан он же перекрестил первенцев... Арсентий Иванович Форд имеет такую о себе литературу, что писать о нем даже скучно. Утешением мне служит то, что Арсентий Иванович Форд не подпишет моих о нем писаний, как он подписывал писания моих по профессии коллег. Писатель Арсентий Иванович Форд написал однажды книгу «Евреи» — гнуснейшую и глупейшую черносотенщину, — и сам же «писатель» скупал впоследствии книгу с рынка.

Арсентий Иванович Форд — оказывается — феодал, пуританин (вроде старообрядцев), и невежда, и самодур, как все феодалы, и «философ», как все невежды. Арсентий Иванович Форд — обыватель, невежда, малограмотный человек — оказывается — никак не выпадает из

американских законов Вулворта, кока-кола, «эскимоса», мистера Котофсона.

Разница между Арсентием Морозовым и Арсентием Ивановичем Фордом была лишь индивидуальная. Арсентий Иванович Морозов давал нам, мальчишкам, иной раз даже рублевки. Арсентий Иванович Форд знаменит своей скупостью, которая иллюстрируется следующим детройтским анекдотом. Форд, дескать, умер и предстал перед апостолами Петром, Павлом и прочими раехранителями. Те, как подобает, стали спрашивать его о его добрых делах — что, мол, делал на земле? — Форд информировал апостолов об автомобилестроительстве. Апостолы спросили:

— Ну, а что ты благотворительствовал? Кому давал милостыню? Оставил ли, подобно мистеру бутлегеру Скотту, денег детройтцам на памятники?

Форд порылся в памяти и вспомнил один лишь эпизод, когда он дал чистильщику сапог лишний никель. Сообщил эпизод апостолам. Апостолы пошли на совещание к Иисусу Христу и вынесли постановление: признать благотворительность Форда неудовлетворительной, вернуть ему его никель и отправить его во ад кромешный!

Но Форд — последний демократический феодал Америки, — ибо:

— ...больше! больше! больше! десять центов ложка, записная книжка, носовой платок, чулок! триста пятьдесят долларов «форд»! больше! больше! больше! — американские просперити!..

По автомобилю Форда модели А, — lux кабриолет-купе-конвертебэл, выпуска тридцать первого года, — по черному кузову проведена зеленая полоска, — почему такая безвкусица мещанского благополучия!?

Был я у Форда в Дирборне. Десять дней я проносил фордовский значок инженера, за который заплатил пять (или десять — не помню) долларов и который давал мне возможность ходить по фордовским чистотам и пуританству в страданиях от некурения. «Дженерал Моторс компани» побеждает Форда, ибо эта компания отказалась от фордовского «пуританства». Вечерами в городе Дирборне, в отеле Дирборна, в паршивеньком отеле, который, как и все в Дирборне, имеет на себе эту самую

зеленую полоску безвкусицы с фордовских кузовов, вечерами ко мне приходили соотечественники, товарищи, рабочие. Я слушал истории о миссис чертовой мамаше и о трех автомобилях. Меня возили в Детройт, чтобы показать памятник мистеру Скотту, притоносодержателю, над которым реет американский национальный флаг и который расположен рядом с памятником Шиллеру. Моими товарищами были рабочие, собиравшиеся ехать в СССР на Нижегородский автомобильный завод... как говорили, как говорили мы там в Дирборне об СССР!

1 июля 1931 года заводы Форда стали — по приказу кризиса. Сто тридцать тысяч рабочих пошли гулять по ветру.

К годовщине Октябрьской революции в 1931 году коммунистка Бетси Росс, праправнучка первой американской гражданки Бетси Росс, передала детройтской организации компартии красное знамя, сшитое ее руками.

— все время мне снился сон, все время я хотел восстановить фантазией и знанием те парусники, которые везли в Америку пионеров, — этакий кабот, этакие люди за столом в кают-компании, заросшие бородами, в свете чадных масленок, — ибо в Америку ехали с единым желанием — хорошо жить, всячески хорошо жить, каждый по своему пониманию, — и ехали со всех концов земли, убегая от гнета европейской тогдашней властишки, от голода, — сектанты, бандиты, авантюристы, мечтатели...

Этого сна я не видел. Время олицетворило хорошее житие в доллары. Время установило правила пионеров: делай, что хочешь, делай, как хочешь, лишь бы ты преуспевал.

32

Но время ж сделало то, что написано выше.

Тем не менее: Америка, это — страна, которая занимает только 6,5 процента площади земного шара, имеет только 7,2 процента населения земного шара, самая богатая страна в мире, капиталистический хозяин земного шара.

Эта страна имеет — эта страна участвовала в мировом хозяйстве (до кризиса):

90 процентами всех строящихся в мире автомобилей,

70 процентами добывающейся в мире нефти,

57,1 процента металлообрабатывающей промышленности мира,

50 процентами металлургической промышленности мира,

47 процентами химической промышленности мира,

и прочая, прочая, прочая, — везде на первом месте. Половина всех высших учебных заведений земного шара — в Америке. Америка, эти шесть с половиной процентов площади земного шара, потребляет электрической энергии ровно столько, сколько ее потребляет весь остальной земной шар. Вся Америка может в одно необыкновенное утро сесть на автомобили — вся до последнего человека, и вся Америка — поедет. Для этого не понадобится поднимать те автомобили, которые сплющены Фордом иль валяются по канавам дорог в назидание потомству. Больше чем половина, — три пятых, — всех телефонов в мире находится в Америке. За наше с Джо путешествие в Калифорнию, когда квартира в Нью-Йорке пустовала, а мы забыли внести телефонную плату, у нас был выключен телефон. Вернувшись в Нью-Йорк, мы абонировались вновь. Пришел монтер с новым аппаратом, снял мертвый аппарат и поставил его в угол, на его место наладив новый. Я занедоумевал, зачем нам новый аппарат, когда он совершенно таков же, как старый, и почему старый оказался в углу? Монтер сказал:

— А девайте его куда хотите. Стоимость аппарата включена в абонентную плату. Собирать выключенные аппараты для компании дороже, чем оставлять их у бывших абонентов.

При редакции того самого журнала, где не были напечатаны мои рассказы из-за пожилого возраста моих персонажей, имеется своя собственная, редакционная химико-технологическая лаборатория. Я был в ней. Действительно, это громадная белая лаборатория, разделенная на отделы, где работает до сотни химиков и технологов в белых халатах. В одном отделе исследуют технологию шерстяных, шелковых и искусственно-шелковых волокон, костюмов фирмы такой-то. В другом отделе исследуют химический состав конфет,

печений и сушеных фруктов таких-то. В третьем отделе исследуют прочность резины в шинах таких-то и прочую резину. Дело в том, что этот журнал в собственной лаборатории анализирует все товары, по поводу которых он дает объявления.

А в журнале «Либерти», который не установил американской честности, под каждым рассказом, статьей, заметкой пишется: «3 мин. 17 секунд», «67 секунд», «5 мин. 2 секунды», — то есть пишется, сколько минут и секунд должен потратить читатель, чтобы прочитать предлагаемые ему стихи, рассказы, «стори»...

На вытоптанные негритянские поля между городами Глейдуотер и Лейквью, где то ли будет, то ли не будет нефть, первым делом пролагали канализационные и водопроводные трубы, газ, электричество и телефон. Дома пока везли временные. Постоянные дома будут поставлены, когда на вытоптанных маисе и хлопке будут распланированы Ист, Вест, первые, вторые и прочие стриты и авеню (по-русски сказать, улицы и аллеи) и будут проведены газ, телефон, электричество, канализация, вода, и будут заасфальтированы улицы. Этакие заготовки городов, где нет домов и людей, но есть распланированные улицы в асфальте, водопровод и газ, я видел не только между Лейквью и Глейдуотер, но и в Калифорнии, и в штате Мичиган (неподалеку от Форда), и под Нью-Йорком.

О коровах, которые живут под радио и доятся электричеством, — рассказано.

И прочее, прочее, прочее.

Но дело не только в цифрах и статистике, — дело в темпах.

Беру справки из справочников наудачу.

Автомобильный завод «Дженерал Моторс компани» в Понтиаке. На заводе производятся автомобили марок «окленд» и «понтиак». Заводские цеха состоят общей площадью в 150 тысяч квадратных метров. Завод рассчитан на выпуск тысячи двухсот автомобилей в день. Через шесть месяцев, как впервые на пустыри пришли первые инженеры и рабочие, день в день через шесть месяцев завод был пущен в производство.

Стеклянный завод в Ланкастере. Сгорел дотла. Через пять дней после пожара компания заключила со

строительной конторой договор на постройку нового завода. Через четыре дня строители приступили к работе. Через тридцать рабочих дней завод был пущен в ход.

Гидроэлектростанция в Коневонго. Вторая по мощности в Америке, после Ниагарской. Мощность — 378 тысяч лошадиных сил. Высота падения воды — двадцать семь метров. Города Коневонго больше нет. На его месте озеро в тридцать пять квадратных километров. Ширина плотины около полутора километров. Семь турбин по пятьдесят четыре тысячи лошадиных сил. Расход воды — около ста семидесяти кубометров в секунду. Сооружение потребовало выемки около трехсот тридцати тысяч кубометров твердых пород, около ста шестидесяти тысяч кубометров песка и суглинков. Был построен железнодорожный мост и железнодорожная ветка. Максимум занятых рабочих — пять тысяч триста человек. Все строительство от начала до конца продолжалось два года без одной недели.

Небоскребы Крайслер и Эмпайр-Стейт — оба были построены — каждый в отдельности — меньше, чем в год, эти два высочайших в мире здания.

Нью-Йорк увеличил свое население за последние сорок лет в три раза. Чикаго увеличил свое население за последние сорок лет в шесть раз. Лос-Анджелес увеличил свое население за последние сорок лет в сто двадцать четыре раза. В Детройте население удваивалось каждые десять лет.

За последние сто лет в Соединенных Штатах:

Население выросло в	9 раз
Число жителей в городах с населением свыше 8 тыс. в	68 »
Обрабатывающая промышленность выросла в	707 »
Число веретен в хлопчатобумажной промышленности в	» 101 »
Добыча чугуна в	222 »
Добыча угля в	4289 »
Механическая двигательная сила в	35 000 »
Железнодорожная сеть в	11 400 »
Экспорт вырос в	68 »
Импорт вырос в	56 »
Национальное богатство выросло в	70 »

Производительность труда американского рабочего ныне в тридцать раз выше производительности труда китайского рабочего, в одиннадцать раз выше итальянского рабочего, в два с половиной раза превышает производительность труда немца. На каждого рабочего, работающего в американской промышленности, приходится, в помощь ему, четыре с половиною механических лошадиных силы.

На изготовление автомобильного мотора у Форда (в сутки их производится десятки тысяч) идет двадцать девять часов, — точнее — двадцать восемь часов пятьдесят минут, по следующему расчету:

1) разгрузка парохода с рудой, поступающей на завод	10 минут
2) превращение руды в чугун	20 часов
3) литье блока цилиндра	5 часов
4) обработка блока в механическом цехе (блок проходит сорок четыре операции)	1 час 40 минут,
5) сборка мотора и испытание его	2 часа
	Итого: 28 часов 50 минут.

За последние сто лет в Америке все удесятерилось, утроилось, утысячерилось. Но столетние справки не безлюбопытны. Павел Свиньин, соотечественник, был в Америке сто двадцать без малого лет тому назад. Он пишет:

«Европейская война была весьма благоприятна для американцев. Пользуясь ею, при помощи нейтральности своего флага, они распространили мореплавание свое и торговлю, обогатившись за счет всех наций, и, так сказать, целым веком подались вперед. С другой стороны, ограничение сей же торговли, невпуск товаров и амбарги возродили у них фабрики и мануфактуры, появление коих было столь значительно, что невероятно, чтоб когда-либо изделия прочих народов могли привести их в упадок, а известно, что англичане потеряли от сего на несколько миллионов фунтов стерлингов ежегодно вывозу своих товаров. Художники, выехавшие из Европы, соединили свои знания и способности с американскою предпри-

имчивостью и, ободряемые покровительствующими законами и свободою, превзошли, так сказать, самих себя. Не имея английских богатств для учреждения обширных заведений, и чтоб заменить некоторым образом дороговизну рук, которая там несравненно выше, нежели в Англии, американцы прибегали к усовершенствованию различных машин и сделали их простее и легче в действии. В сей части показали они особенно творческий ум, и во всем том, где нужда была изобретательницею, чрезвычайные успехи. Механические изобретения совершенно заменили в Соединенных областях человеческие руки. Там все делается машиною: машина пилит каменные утесы, работает кирпичи, кует гвозди и пр. Но ничто более не поразило меня столько, как стимбот (паровое судно), изобретение американцев, и чем более я рассматривал оное...

Стремительные перемены во всех частях и исполинские шаги земли сей к могуществу и процветанию в продолжение сих последних десяти лет сделали невероятными и самые справедливые подробности, написанные прежде сей эпохи.

Не надобно искать в Америке глубокомысленных философов и знаменитых профессоров; но зато удивитесь справедливому понятию последнего мужика в делах торговых и промышленных. Страсть к торговым предприятиям господствует во всех классах, и сие неминуемо рождает страсть к сребролюбию и другие проистекающие из него пороки; деньги божество для американцев, и можно сказать, что одно богатство земли и набожность поддерживают еще до сей норы их нравственность».

Так писал Павел Свиньин 117 лет тому назад.

Если в Германии сейчас чиновником является один из четырнадцати, то в Америке — один из тысячи. В Америке все, что можно видеть и не видеть, измеряется цифрами и всюду проставлены цены — на предметах искусства, вывезенных из Италии, Греции, Египта, Индии, Китая, на залах для выставок, на мостах. Даже на

церквах иной раз можно прочитать: «продается» и цена, — это в тех случаях, когда прихожане не выплачивали в срок положенного подрядчикам, и подрядчики продавали церкви на слом иль другим общинам: методистскую — католикам, католическую — евреям. В Америке надо трудиться, и физический труд рук следует помножать машиной на мозг, контролированные долларом. Речами в Америке не проживешь. Бог, подобно речам, равно как и всяческие другие «духовные» ценности, — не долларны в Америке, стало быть, не ценны.

33

Фордовские литераторы пишут, и Форд работает в пророка (мчать на автомобиле неизвестно зачем, — это — да, ценность!). Форд подписывает заповеди:

> «Не чти прошлого и не бойся будущего».
>
> «Наша деловая жизнь — это зеркало нас, как нации, наших хозяйственных достижений, и оно создает нам положение среди других народов».
>
> «Работа — это единственный наш руководитель. Это одна из причин отсутствия у нас титулов и званий (!)».

В Америке промышленная свобода и свобода для промышленников. Кока-кола, мороженое «эскимо», Форд. В Америке хорошо платили за труд, ибо он был дорог, он создавал внутренний емкий рынок, но в Америке также заботились, чтобы для труда оставалось поле: не только разбитыми вдоль дорог автомобилями и брошенными телефонными аппаратами, но и традициями, вроде следующей, когда 16 сентября всюду, в мусорных ямах, на Гудзоне, в вагонах сабвея, по всей Америке валяются брошенные соломенные шляпы, какова бы ни была погода. 16 мая вся Америка надевает соломенные шляпы. 16 сентября вся Америка снимает соломенные шляпы. 16 сентября все мальчишеско-индейски-кинодейские банды всех «блоков» объединены для уничтожения соломенных шляп, мальчишки вооружены палками с гвоздями на конце, чтобы срывать соломен-

ные шляпы. Мальчишки помогают машинам, но машины, экономящие время, развивают массовое производство, которое удваивает свою «эффективность» (американское словцо!) рационализацией. «Наша деловая жизнь — это зеркало нас, как нации!» — «технология» безработицы!..

Плакаты сообщают истины американской морали:

> «Время — деньги!»
>
> «Кто не работает больше, чем ему платят, тому не платят больше, чем он работает!»
>
> «Твой отрезанный палец не отрастет даже через сто лет!»
>
> «Несчастный случай — потерянное время!»

И в Америке к породе всячески знаменитых басов, баритонов, меццо-сопрано, скрипачей, пианистов надо прибавить математиков, химиков, физиков, конструкторов, инженеров. Их лекции воспринимаются как концерты. Они любимы, как тенора. Их речи и формулы передаются по радио. Математика, физика, химия окутаны в Америке эмоциями. Этого, в массовом масштабе, я нигде не видал на земном шаре.

34

Круг последних моих цифровых изложений касался американской техники, американских стандартов, американских высот, этой страны, которая занимает только шесть с половиною процентов площади земного шара, имеет только семь и две десятых процента населения земного шара и скопила богатств больше, чем половина земного шара. Когда говорят, что у Америки нет своей культуры (это говорят часто), — говорят неверно, — культура у Америки, своя собственная, — есть. Эта культура суть все то, о чем рассказано выше, — небоскребы, подземелья, мосты через реки, железные дороги через горы, автомобили, руды, каменный уголь, всяческие мировые рекорды. Эта культура — буржуазная культура. Америка не знала дворянской культуры,

равно как не знала и накладных на феодализм и дворянские регалии расходов. Америка северных штатов была враждебна феодализму. Если феодализм располагался было в южных штатах, он уничтожен гражданской войной.

На земле все проходит и ничто не вечно, равно как и ничто не проходит. Эта американская культура теперь выродилась в невозможность жить в Америке, ибо там можно задохнуться от бензинного пота, и человек не есть человек (хоть и считает себя индивидуалистом), но есть дополнение к конвейеру, ибо небоскребы, дома в двадцать этажей, улицы и автомобили там сошли с ума в анархии и лезут друг на друга, все спутав, равно как и Белый дом спутал свои функции с Алом Капоном и Догени; но эта американская культура сто лет тому назад, семьдесят лет тому назад была явлением положительным, прогрессивным, двигающим человечество вперед, — эта буржуазная, демократическая культура, скинувшая с ног своих кандалы монархических плесеней, дворянских регалий, феодальных склерозов. Эти плесени, регалии и склерозы в Европе кое-где существуют еще и до сих пор. Английский парламент одевается иной раз в парики средневековья и заседает в Вестминстерском аббатстве. Во Франции карета из замка Шамбор, с долины реки Луары, из того самого замка, где впервые Мольер ставил своего «Мещанина во дворянстве», — карета не доехала еще до Парижа с королем Шамборским; в замке ж Амбуаз, в той же долине Луары, который до сих пор принадлежит герцогам Орлеанским, похоронен Леонардо да Винчи; как не поклониться векам Вестминстера, Мольера и Винчи?! — и как не вспомнить Речь Посполитую, вспоминая о Шамборских! — и как не вспомнить «сумрачный германский гений», раскачнувшийся от Гете до Ницше и от Ницше до Вильгельма Второго, скованный ныне польским коридором!? — и как позабыть афинский форум, римский Колизей, египетские пирамиды?! — У Америки не было ни древности, ни средневековья. У Америки нет ни Мольера, ни Гете, ни Винчи, ни замков, ни соборов, ни развалин. Америка возникла в отряхновении от пыли этих развалин, соборов и замков, возникла, не нуждаясь в них. Америка бежала от шамборских

политессов. Америка не хотела голодать за счет постановок — у Шамборских впервые — «мещанинов во дворянстве», считая, что мещанин может обойтись и без дворянства. Америка строилась не под подати и под политессы балов в замках на скалах и в долинах Луары, но под стук топора дровосека. Здесь возникает американский примат материальной, вещной культуры над культурою гуманитарной, духовной. И все это сто лет тому назад было положительным в истории развития человечества, положительным, прогрессивным и революционным.

Следующие три исторических факта никак не следует сбрасывать с весов истории.

Первый. Американская война за независимость, американская Декларация Независимости 1776 года были набатным колоколом для демократических революций Европы, для Великой французской революции. Декларация Независимости впервые в истории человечества провозгласила принципы равенства граждан, свободы вероисповеданий, уничтожение феодальных привилегий. В американской войне против монархических регулярных английских войск дрались вооруженные крестьяне, рабочие и ремесленники, дрались за свою свободу, и они научили французскую революцию, как надо драться с войсками короля и королей. Ряд деятелей французской революции — Лафайет — получили революционное воспитание в войне американцев за независимость.

Ленин писал:

> «История новейшей, цивилизованной Америки открывается одной из тех великих, действительно освободительных, действительно революционных войн, которых было так немного среди громадной массы грабительских войн, вызванных, подобно империалистской войне, дракой между королями, помещиками, капиталистами из-за дележа захваченных земель или награбленных прибылей. Это была война американского народа против разбойников-англичан, угнетавших и державших в колониальном рабстве Америку, как угнетают, держат в колониальном

рабстве еще теперь эти «цивилизованные» кровопийцы сотни миллионов людей в Индии, в Египте и во всех концах мира».

Второй. Генеральный совет Первого Интернационала нашел нужным и возможным для себя приветствовать одну-единственную, тогда существовавшую, государственность, — Американские штаты, и Американские штаты сочли своею честью ответить Первому Интернационалу письмом Авраама Линкольна на имя Генерального совета. Первый Интернационал был в переписке с правительством Америки.

Но это не все. Подобно тому как ветер американской войны за независимость был одним из тех ветров, которые породили бурю французской революции, гражданская война оказалась одним из ветров, породивших Первый Интернационал. 28 марта 1863 года, в Лондоне, в St. James Hall'е был собран митинг английских рабочих, грандиозный рабочий митинг сочувствия северянам: этот митинг одновременно оказался подготовительной ступенью к организации Первого Интернационала. История гражданской войны в Америке здесь непосредственно переплелась с историей великой международной рабочей организации.

Генеральный совет Первого Интернационала, рукою и пером Маркса приветствуя переизбрание Авраама Линкольна на пост президента, в дни гражданской войны в Америке, писал:

> «...когда олигархия трехсот тысяч рабовладельцев впервые в летописях мира осмелилась написать на знамени вооруженного восстания «рабство», когда на том самом месте, где едва сто лет тому назад зародилась идея единой великой демократической республики, где вышла первая декларация прав человека и был дан первый толчок европейской революции XVIII века; когда именно там контрреволюция могла хвастать тем, что она систематически и основательно выбрасывала как ненужную ветошь идеи «эпохи составления старой конституции»... тогда рабочие классы Европы, еще прежде, чем

им это подсказало фанатическое заступничество высших классов за Конфедерацию помещиков (плантаторов Юга), сразу поняли, что мятеж рабовладельцев был набатом ко всеобщему крестовому походу капитала против труда и что для трудящихся не только их надежды на будущее, но и прошлые завоевания поставлены на карту в этой страшной борьбе по ту сторону океана».

Судьбы американской гражданской войны, судьбы американской революции оказывались судьбами мирового рабочего движения.

И факт третий. У рабочего класса есть свой прекрасный праздник, праздник молодости рабочего класса, праздник солидарности, праздник труда, праздник будущего — Первое мая. Этот праздник впервые был учрежден американским Орденом рыцарей труда, как романтически называлась одна из первых революционных организаций в Америке.

Все это — было! и все это — прошло!

Мне все время снился сон, я хотел восстановить памятью фантазии американских бородатых пионеров. Проще, оказывается, обойтись без фантазии, но со знанием.

35

Ряд обстоятельств стал фундаментом того, что являет ныне собой Америка или являла десять лет тому назад, ибо совершенно прав соотечественник Павел Свиньин, сказав, что «стремительные перемены земли сей сделали невероятными и самые справедливые подробности, написанные до сей эпохи». Америка делалась никак не белыми перчатками, хоть она и сделала ныне — и именно поэтому — Арсентия Ивановича Форда. Основные причины, сделавшие Америку, это — люди, время, американская конституция, положение Америки на земном шаре и земли самой Америки. Люди, время и американская земля привели Америку

к тому, что она есть сейчас, о чем рассказано и рассказывается.

Люди. Русская революция преобразовала слова, говорят — не он ушел, а его ушли. В Америку не только ехали, но и их ехали. Америка для Европы была не только убежищем недовольных, мечтателей, авантюристов, сектантов. В Америку не только бежали от европейских властишек, от средневекового склероза, от революций и контрреволюций. Но туда ехало европейскими властями, английскими в первую очередь, много ссыльных, уголовных, отверженных, для коих однажды добросердечная и сердобольная английская королева Анна прислала даже два корабля проституток. Властей — в те времена, когда Америка была английской колонией — было мало, и власти были плохие, и властей сторонились, и власти английские скоро были скинуты. Если действительно представить себе кабот в Атлантическом океане, который шел от Европы до Америки месяца полтора по воле ветра, и представить себе людей на каботе, безразлично, галерных ли, вольно ли едущих, сектантов иль ремесленников (крестьяне в то время не ехали, если не считать крестьянами кулацко-квакерствующих), то наверняка можно утвердить, что на ночь эти едущие под подушку клали себе топоры, причем топорами они владели лучше, чем, предположим, фузеями, причем ехали они — в Новый Свет. И наверняка можно сказать, что эти люди не очень-то охотно рассказывали свое прошлое. А прошлого их родов у большинства из них никак не было. Иными словами — в Америку ехал отбор европейских людей. А по тогдашним средневековым временам (ибо средневековье пребывало, по существу говоря, до революции Кромвеля и до Великой французской) это был положительный отбор. Люди приезжали на первобытную землю поистине с топорами дровосека, чтобы прорубать тропинки в первобытных лесах. Здесь выживали только те, кто умел бороться с природой, умел работать и делать, — иные мерли, и мерли жестоко, в поучение оставшимся в живых. Человек в первую, в решающую очередь должен был рассчитывать только на самого себя. Утверждение американцев, что счастье человека и его судьба только в его руках, зародилось в те време-

на. Богатейшая американская природа пошла навстречу этому утверждению. Делать людям в Америке приходилось все наново, ибо, кроме лесов да рек, да озер, да гор, да долин, да зверья, там ничего не было, а месяцы путей через океан не давали возможности везти из Европы все нужное. Люди ехали, убегая от Европы, от нищенства в первую очередь, люди хотели хорошо материально жить, — и труд от бондаря до лекаря был почетнее, чем труд судьи и мэра, недобрые памяти о коих остались еще от Европы. Эти, — такие люди, ехали в Америку не только в дни пионерства, но за всю историю Америки, до дней мировой войны, ибо только с мировой войны квотирована иммиграция в Америку, когда американцы почли, что им достаточно их собственного населения. Ведь только за последние сорок лет население Америки увеличилось в девять раз. Ведь до сих пор четверть нью-йоркского населения говорит по-русски, а если не по-русски, то по-польски иль чешски, потому что последняя волна переселенцев в Америку была именно из западных губерний Российской империи, из Восточной Германии, из славянской Австрии. Да ехали еще итальянцы. Эта последняя волна переселенцев отличалась от пионеров тем, что на них лежали лишние полтора века европейской цивилизации и выучки. Но ехали опять такие же, которые хотели хорошо материально жить. Об этой последней волне переселенцев речь впереди. Ныне люди в Америке, пионеры, выродились до всеамериканского обывателя.

Время и конституция. Люди, сделавшие Америку два века тому назад, по существу своему были демократами, ремесленниками в первую очередь. Эти люди не хотели быть мещанами во дворянстве, но хотели обойтись вообще без дворянства. Люди, не спрашивавшие о своем прошлом, естественно, отказались от регалий и традиций прошлого, и для них не важно было, кто ты, — эллин или иудей, германец иль галл. Люди, не очень распространявшиеся о своем прошлом и на тему так называемой совести, дабы не трогать гирь и подвалов этой так называемой совести, люди, приехавшие, вроде пуритан иль методистов, от церковного гонения, — те и другие сумели так устроиться, что до сих пор иной раз в одном и том же помещении молятся и

католическому, и методистскому, и лютеранскому, и еврейскому богам. Церковь в Америке — дело глупости каждого верующего, хоть и требуется при въезде в Америку, как это требовалось с меня, веровать в любого, но бога. Люди освободились от чинов и званий феодализма (кои до сих пор «графствуют» и «баронствуют» в Европе). Все это было революционно для тех времен. Американские фермеры шли на землю промышленниками, ремесленниками. Земного пупа они не вдыхали, но обрабатывали землю, чтобы есть, и предпочитали ее обрабатывать машиной, инструментом, чтобы меньше ковыряться в грязи. А если находили лучшие земли, тогда покидали старые без всяких философствований и пупов. Америка началась в то время, когда она не могла уже терять связи с миром, ибо в круговорот человечества был вовлечен весь земной шар, и Америка для Европы была примерно тем же, чем для русских крепостных мужиков была донщина, казачество, с тою лишь разницей, что для бегов на донщину требовались заячьи лишь пятки, а через океан не пронырнешь, и заокеанские беженцы должны были иметь рубли хотя бы на билет. Эта ж связь с миром существенна тем, что американцы всегда знали все последнее, что было в мире, под руками ж имели первобытность и, приручая первобытность, пользовались последним человеческим знанием мира. В Америке ничего не было. Бочонок оказывался не менее важным, чем Библия, ибо Библию можно было почитать и послезавтра, но до послезавтра без воды в жаркую погоду можно помереть. Америка ценила вещь и спешила. В Америке ничего не было, и в первую очередь не хватало рабочих рук, что создало, во-первых, такие условия, когда и в лесу, и в полях большинство рук оказалось рабочими, а во-вторых, американцы постремились заменить руки машиною. Все это делали без перчаток. Освобожденные от налогов и нахлебничества феодализма, освобожденные от военных налогов (о чем несколькими строками ниже), в богатейшей природе, американцы, мелкие буржуа, скапливали деньги. Американцы колонизовали первобытные земли не так, как тысячелетия тому назад их колонизовали первобытные люди, но как люди, пришедшие в первобытность с тысячелетиями челове-

ческих навыков и знаний. И Павел Свиньин прав: дороговизна рук была толчком к замене рук машиной. Павел Свиньин прав: «художники», сиречь инженеры, механики, строители, врачи, сиречь человеческий мозг, — были скупаемы американскими долларами. Но он и сам, этот человеческий мозг, ехал в Америку, в страну демократии и инициативы, ибо в те времена это было лучшим в мире и наиподходящим мозгу. Американцы, демократы, мелкие буржуа, люди, хотевшие хорошо жить, в первую очередь скупали тот мозг, который им облегчал труд, строя машины и вещи, и который помогал их здоровью. Философов американцам не требовалось, Павел Свиньин прав, и мистер Котофсон подтверждает. Впрочем, мистер Котофсон повез свою дочь обучаться у английских леди-писательниц: это последнее — лишь двадцать лет Америка позволяет себе роскошь, разбогатев окончательно, когда американцы норовили купить весь афинский Акрополь, чтобы перевезти его к себе в подарок от дяди тете, равно как закупили наших Шаляпина и Сикорского, авиатора. Америка была открыта вовремя. Законы американской демократии сто лет тому назад были революционными законами, помогавшими развитию американцев, — равенство прав, свобода совести, свобода национальностей. Мелкая буржуазия не очень прихотлива, но любит деньги и вместо масляного портрета любит вешать фотографию папы. Американская «свобода» демократии, анархия инициативы — до тех пор, пока Америка не была окончательно заселена и пока не хватало вещей — была положительна. В Америке не хватало вещей, и вещи делались. Америка спешила. Все это — было. Ныне ж Америка — об этом рассказано и рассказывается. Вещами, в частности, в Америке можно подавиться, а демократия уперлась в бандитизм.

Земля. Америка называется Новым Светом. Новый Свет хорошо упрятался за океан. Океан, по существу говоря, приручен лет семьдесят лишь тому назад. Даже в дни гражданской войны у англичан были коротки руки для того, чтобы как следует добраться до американцев. Американцы могли утверждать, что «Америка — для американцев», и жили без европейского бес-

покойства, хотя и спешили. Когда ж океан был окончательно взнуздан, американцы уже умели очень хорошо отливать свои собственные пушки и давно уже к тому времени посылали в Европу не только ром, но и пшеницу, и хлопок, и машины. Речь идет о географическом положении Америки на земном шаре. Оно ж освободило Америку от европейской чумы, здравствующей от дней средневековья до сих пор, — от войн. Америка почти не имела войн, они наперечет и все они удачны. Но самая удачная война хуже никакой войны, — и, по существу говоря, Америка стала иметь настоящую армию только с двадцатого века.

Не считать же за войны изничтожение индейцев! — в буржуазном лексиконе это называется «колонизацией». И эта колонизация в Америке продолжалась до самого двадцатого века, равно как иммиграция в Америку, — два обстоятельства, пополняющие друг друга. Американцам досталась чудесная страна, богатейшая и огромная земля чудеснейшего климата, чудеснейшего рельефа, чудеснейших водоразделов и рек, от субтропических ливней до таежных снегов. В этой земле и на этой земле есть все: леса, луга, степи, долины, горы, звери, рыбы, гады, земные залежи, минералы, руды. И Америка до самого двадцатого века росла, колонизуя самое себя, зародившись длинной полосой на берегу Атлантического и добравшись затем до Великого океана. Французы, колонизуя Африку, русские цари, колонизуя Сибирь, — вместе с землями получали и людей в первобытных социальных отношениях и понятиях, с коих ничего не возьмешь. Англичане, колонизуя Индию, вместе с землями получали людей в азиатском феодализме, с коим также возни немало. Американцы колонизовали пустые земли, отправляя на эти земли людей своей культуры и своих традиций. Об этих людях рассказано рассказом о судьбе Иоганна Августа Сэттера. Эти люди спешили. Эти люди отбрасывали все лишнее и ненужное. Эти люди тащили за собою железнодорожные пути и пахали землю машиной, но не плугом. Все это делалось никак не чистыми руками. У каждого — по справке Джека Лондона — за поясом был нож, но это не значило, что человек шел драться. А земли действительно были богаты, и человек спешил, человек

бежал от мили к миле, чтобы захватить больше и больше. Тогда именно возникла заповедь, присвоенная Фордом: «Не чти прошлого и не бойся будущего!» — Человек помнил традиции — хранил улыбку, о'кэй, счастье в твоих руках, все на этом свете счастливый случай, обернешься, станешь миллиардером, обернешься, станешь президентом. Только делай, — а делай, что хочешь, и делай, как хочешь, в этой стране демократов и труда, и — спеши. Эта поспешность осталась до сих пор не только тем, что Америка погнала себя автомобильной скоростью, но даже заводами, которые строят свое оборудование на два-три года, ибо через три года это оборудование устареет в конкуренции. Делай! спеши! — о'кэй! спорт! — земли были богаты, руки были свободны демократическими свободами, все измерялось случайностью, — и земля, и свобода, и случайность — в стихийном богатстве, в случайной случайности, в стихийной воле стихийного отбора человечества — стихийно вознаграждали сторицей. Так ко дням империалистической мировой войны американцы стихийно колонизовали самих себя, упершись в океаны.

Все это — было.

В двадцатый век Америка вошла никак не очень большим событием и ни в какой уже мере не хозяином капиталистического земного шара. В семидесятых годах прошлого века должно было говорить о великой демократии: в девяностых годах можно было еще говорить о демократии. Это была большая сельскохозяйственная страна, с хозяйством, предпочтительно, экстенсивным. Это была страна, промышленно неплохо оборудованная, но с балансом ввозящим.

Действительно, есть до сих пор чудаки, которые утверждают, что Америка, как была сто лет тому назад, так и теперь, — страна пуританская, демократическая и полная таких биографий, как Вулворта и Форда. Эти чудаки путают свою молодость с действительностью, когда утверждают, что Форд, дескать, помнит свои мозоли мелкого инженера, что председатель «Стандарт Ойл компани» — бывший тартальщик, председатель Пенсильванской (крупнейшей) железной дороги — бывший сцепщик, что председатель «Радиокорпо-

рейшн» — Сернов — могилевский еврей, газетный мальчик, а Эдиссон — механик маленькой мастерской. Все это так. Действительно, Америка до 29 октября 1929 года создалась в дни до этого срока от начала века, как действительно, что эти люди (или точнее их компании) создали теперешнюю Америку вместе с мистером Котофсоном и Арсентием Ивановичем. Все это так: но все это — было! — больше уже не повторится и не может повториться. И не только потому, что Эдсель Форд, сын Арсентия Ивановича, мозолей уже не знает, да не знает и рабочих. О нем речь впереди.

Впрочем, эту речь можно вымолвить и сейчас. В Нью-Йорке у меня есть приятельница мисс Маргарет Борк-Уайт, женщина, занимающаяся американскими делами, а именно тем, что она фотографирует фабрики, заводы, небоскребы, пароходы для того, чтобы ее фотографии печатались в качестве плакатов и реклам. Кроме того, она редактирует художественное оформление журнала «Фортуна» («Фортчэн» — по-английски). Мисс Маргарет Борк-Уайт — женщина в Америке знаменитая. Дважды она была в СССР и компанию ведет с народами просоветскими, работает же среди больших бизнесменов. Мастерская — ее «студио» — находится на шестьдесят первом этаже Крайслер-билдинга. С Джо мы однажды заехали к ней. В мастерской у нее мы застали человека, бывшего у нее по делу, американца, — но прямо сказать — француза. Мне фамилия его ничего не сказала. Глаза Джо засветились. Француз напал на меня, всунул мне свой адрес (Парк-авеню, улица миллиардеров), вынул из кармана пачку российских открыток и конвертов с эсэсеровскими штемпелями. Француз затребовал от меня:

— Расскажите толком, что такое у вас в СССР происходит!? — ничего не понимаю! — мой сынок уехал к вам. Как отец прошу, расскажите!

Джо разъяснил мне, почему глаза у него светились. Этот француз был миллиардером, собственником крупнейших текстильных фабрик в Пассейике, по природе своей американским фашистом. Несколько лет тому назад на его фабрике была забастовка. Джо в качестве журналиста ездил наблюдать эту забастовку и тамошние избиения полицией рабочих. И там случайно, в ней-

тральном литературном доме, Джо встретил сына этого француза. Сын был европейски уже, а не американски, полирован. Джо запомнил навсегда точную формулировку этого сына по поводу вождей забастовки.

— Если б мне попали в руки эти руководители, — сказал сын, — я б очень хладнокровно перестрелял бы их всех.

— Почему такая жестокость и активность? — спросил Джо.

— Я совершенно не намерен рассуждать о справедливости, — ответил сын. — Эти руководители хотят отнять масло от моего хлеба и лишить меня курицы к завтраку.

Классовая позиция формулирована очень ясно. Ну так вот, этот сын поехал в СССР, к Мейерхольду, чтобы у Мейерхольда учиться русскому театральному искусству.

Поколение Форда, тартальщиков и сцепщиков в председателях и миллиардерах, знало мозоли, оно умело спешить, как спешили пионеры, и оно умело каждые три года сменять заводское оборудование, оно стихийствовало удачами и конкуренцией, не стесняясь средствами. И опять — Павел Свиньин:

> «...Европейская война была весьма благоприятна для Америки, пользуясь ею при помощи нейтральности своего флага», —

Америка вышла на арену мирового цирка самым главным мировым циркачом после мировой войны. До войны Америку удовлетворял внутренний ее рынок. Во время войны Америка торговала с Антантой и с Согласием, наживаясь не меньше, чем на колонизировании самой себя. Америка всадила нож в спину Согласия, когда стало ясно, что гиря американских снарядов и американского (очень небольшого количества) человеческого мяса будет решающей на весах войны и очень процентной. И тогда Америка пожелала стать хозяином мира. Ей стало тесно на своем материке.

И с войны, несмотря на сельскохозяйственный кризис с двадцатого года, Америка процветала до 29 октября 1929 года. Американская демократическая конституция, отбор людей в примате труда и инициативы, свобода инициативы, время, когда американцы могли

скинуть лохмотья феодализма, положение страны на земном шаре и ее богатства, отсутствие войн возвращали американцам за дела их сторицею, и за последние сорок лет, до 29 октября, по восемь часов утра 29 октября 1929 года.

То, что было десять лет истинным, никак не есть истина для сегодня, — тем паче, в отчаянной, в стихийной конкуренции, тем паче, когда даже заводское оборудование строится с расчетом на три года. То, что было положительным полтораста лет тому назад — демократия, так называемая свобода инициативы — выродилось сейчас в бандитизм, о котором десять лет тому назад даже и не слышали. Национального флага, который теперь торчит повсюду, даже на собачьих кладбищах, до дней мировой войны также не торчало, ибо этот флаг символизует американский империализм. Свобода инициативы, американская заповедь, бывшая еще тридцать лет тому назад реальностью, ныне не существует, ибо Америка взята за горло банками в склерозе трестов и американцам дозволено ездить лишь до бессмыслицы по конвейерам дорог да поддуваться в Кони-Айленде, задыхаясь в публисити и рекламе. Американцы (которые, — как сто лет тому назад, вроде женщины в пуританских нравах из Бронкского парка) возразят мороженым «эскимо». А я встречался с человеком, американцем, который изобрел способ изготовления цемента из любой земли; его канализационные трубы, его цемент для постройки — лучше стандартного американского цемента, портативнее и стократ дешевле. Именно потому, что цементная промышленность трестирована в Америке и уперлась в фундаменты Уолл-стрита, равно как и Белого дома, — потому что изготовление цемента новыми способами должно уничтожить старую цементную промышленность, — этот изобретатель ходит в потрепанных брюках и боится уже не за изобретение свое, а за свою собственную жизнь, имея все основания полагать, что существование его не подходящее в теперешней Америке. Мороженое «эскимо» действительно можно было изобретать до тех пор, пока оно не было изобретено. Но теперь это самое эскимо нового гренландца не допустит, забронированное публисити, долларом и рэ-

кетирами. Американцы на лето уезжают в «кэмпы» — в лагеря, — по нашему сказать на дачи, — и проживают там в шалашеобразных хижинах. Это те, кто победнее. — Живут иной раз подобранные по национальностям. Знавал я такой кэмп! Избрали кэмпчане старосту, чтобы он заведовал их довольствием, человека не торгового. Через месяц этот человек отказался от старостве: во-первых, потому, что он стал богатеть, ибо оптовики стали делать ему подарки, во-вторых, потому, что его разъедали рэкетиры, а в-третьих, — он оказался в колдовстве, ибо товары он приобретал иной раз за пятьдесят процентов их стоимости, но и продавать их вынужден был по стандартным рыночным ценам, то есть перебирать лишнее со своих же друзей однокэмпчан, и поступать иначе не мог, ибо в противном случае на него свалилась бы вся тяжесть американского торгового законодательства. Тридцать лет тому назад Форд мог арсентиванчить. Теперь он этого не может. Именно это арсентиванство дало возможность безликой «Дженерал Моторс компани» обогнать Форда на «шевроле» и «бьюиках», на безликих и вооруженных банками, обезличенных Америкой. Бандиты, вместе с цементом упершиеся в Белый дом и в Уолл-стрит, — никак не есть явление случайное (как и вообще все американские утверждения о «случайности» — суть ерунда), — бандиты: это есть американская «демократия» сегодняшнего дня. И тот кризис, который сейчас идет по Америке сапогами с мертвецов, никак не следует расценивать кризисом, так сказать, циклическим, ибо это есть кризис всей капиталистической системы, созданный временем умирания капитализма. Не может, не может существовать страна, которая называется демократической, но которая существует бандитами и президентами за взятку, — пусть даже кризис 29 октября 1929 года не будет последним!

36

Замечательные дела делаются во поручение социологов! Однажды я остановился на Пятой авеню около витрины платьевого магазина. Там выставлены были мужская и женская одежная снаряда с подписью: «для

деревни», только и всего. Там были костюмы под баварцев. Там были костюмы русских моряков. У нас, для того, чтобы достать мордовский костюм, надо съездить в мордовскую деревню и убедить тамошних старух порыться в сундуках. Даже в Англии шотландский кустарный костюм привозят из города в деревню. Человеческая Америка уперлась в плотины моря, и человеческая волна пошла вспять, полезла на самое себя, самою себя стала давить. Нью-Йорк сошел с ума, обалдел, задыхается! переобувается, переоборудуется в сапоги с мертвецов и орет:

— больше! больше! больше!

Поучительнейшая вещь — социальная, так скажем, химия! — Американцы жгут пшеницу (мое, не трожь! индивидуализм! священная собственность! сосед — как хочет!), американцы ломают машины, и они сейчас — злейшая империалистическая страна, посылающая свои деньги по всему миру, чтобы мир захватить себе в руки. Американцы сейчас делают себе колонии, ибо «панамериканизм» есть не что иное, как колонизация остальной Америки. Американцы хотят рыть второй Панамский канал, чтобы окончательно завладеть американским материком и его морями. И — замечательная химия! — в Мексике, в Перу, на Кубе, в Аргентине американцы, те, которые бежали от европейского феодализма, хотят насадить феодализм, — и насаждают его. Сейчас следует говорить об американском одичании.

Все это было до 8 часов утра 29 октября 1929 года. К тому часу сошлось все. Человечество на земном шаре переросло буржуазные демократии. В первые тридцать лет после гражданской войны к порогу века, — еще не остановившаяся страна, молодая, как девятнадцатилетний ражий оболтус, — Америка смотрела уже за океаны, уже не глазами демократии, но империализма. На пороге века Америка уперлась в свои географические границы и пошла за них, но американские «случайности» были исчерпаны, а земли были заполнены людьми. Америка должна была «остановиться». Из анархии накоплений, из поспешного (и безвкусного) сваливания богатства в горы небоскребов должна была родиться организация хозяйства: но

она не может существовать при капитализме и в стране, опирающейся на принципы случайности и частного случая, где все частное — телеграф, железные дороги, пароходы, полиция, сыщики, университеты, церковь. Со дней начала века, со дней войны в особенности, Америка стала работать на земной шар: но земной шар сам догнивает в капитализме, а переоборудованное на машины мировое хозяйство породило сельскохозяйственный кризис, начавшийся в 1929 году, — опять-таки не циклический кризис, но кризис американской системы хозяйства, изжившей фермерство. Со дней войны начав вооружаться громадами армий, Америка хочет грабить мир: но в ней самой, на улицах Нью-Йорка и от Нью-Йорка до Портленда, от Портленда до Беллингема, до Тиюны, до Майами расползлось такое гнилье, что вянут даже бандитские носы, а нос Гувера сник до того, что он говорит о «двадцатилетке». В Америке кризис перепроизводства. В Америке двадцать миллионов рабочих. В Америке лопаются банки, останавливаются заводы, склады перезавалены товарами.

— больше! больше! больше!

и десять миллионов безработных, каждый второй рабочий имеет судьбу одеться в сапоги мертвеца, вместе со своими семьями.

Можно написать задачу для первого года обучения детей арифметике: как эти задачи пишутся? — «В амбаре лежало столько-то кило кофе; в городе жило столько-то людей» — и так далее.

Соотечественник Павел Свиньин прав: каждый первогодник разрешил бы эту задачу самым простым делением. Но в Америке такие задачи разрешаются тем, что излишки кофе высыпаются в море для — для поддержания кофейного рынка. А все вместе называется священным правом собственности, «демократией» и капитализмом, дай им американский бог здоровья! — Но арифметические задачи можно продолжать дальше. Были выше рассказы о лирическом бедном миллионере, который насчитал сорок-пятьдесят небоскребов. Сообщалось выше, что помер публисити-мэн Гарри Райхенбах, помер и оставил мемуары, сообщавшие о пятидесяти человеках, не больше, завладевших, заведовавших и командовавших всеми ста двадцатью

миллионами вкусов американского населения, когда эти пятьдесят обували, раздевали, одевали американцев, укорачивали и удлиняли женские юбки, раскрашивали мужские костюмы в индейские и электрические цвета, и прочая. Бедный миллионер лирически утверждал, что в Америке, в Нью-Йорке есть сорок-пятьдесят человек, которые подперты небоскребами в рост Нью-Йорка, они называются миллиардерами и они свободно предоставляют право остальным американским миллионам наслаждаться Кони-Айлендом. Населения в Америке — сто двадцать миллионов; подоходный налог берется в Америке с женатых, когда они зарабатывают больше двух с половиной тысяч долларов в год, а с одиноких — когда они зарабатывают больше тысячи пятисот долларов; на сто двадцать миллионов человек населения в самый лучший год последнего просперити, в год 1927-й, подоходный налог платило всего два с половиной миллиона человек; процентов девяносто пять из них зарабатывали до десяти тысяч долларов в год; и — только двести восемьдесят три человека получали (не зарабатывали, конечно) больше миллиона. В год наивысшего просперити капиталистов, в 1929-й, таких, получивших больше миллиона стало пятьсот одиннадцать, — но в тот же год стало десять миллионов безработных. Четверть американского национального дохода — восемнадцать с половиной миллиардов долларов — в тот просперитный год — пришлось на долю земельных собственников, акционеров и облигациедержателей, — то есть опять-таки на ничего не делающих. (Впрочем, в скобках, американцы гордились, что у них было двадцать миллионов банковых вкладчиков.) И вот арифметическая задача для первогодника из советской школы: «Было пятьсот одиннадцать человек, которые получали в год каждый в отдельности больше миллиона долларов денег, и было десять миллионов человек, которые ничего не получали» — и так далее. Задача также решается делением. Но это была б социалистическая арифметика. (Что же касается, в скобках, скобочной справки о двадцати миллионах американских акциедержателей, в том числе и рабочих, то и эта задача разрешается делением...) Капиталистические интегралы находят нужным писать орации о «техно-

логической» безработице, заливать Бродвей электрическим громом реклам и под носом людей в сапогах с мертвецов кричать:

— больше! больше! больше! больше! ешьте! больше! пейте! больше изнашивайте сапог и автомобилей — ибо в этом спасение капитализма!..

В Америке половина золотого запаса, накопленного людьми. Тысячи — тысячи! — американских банков полопались сейчас же вслед восьми часам утра 29 октября 29-го года. Летом 1931 года американские банки отказались брать вклады, ибо они ожирели в золоте и банкротились потому, что им некуда было девать золото, ибо их же миллионы людей, переобувшись в нищих, потеряли способность покупать —

— больше! больше! больше!

Сын, описанный выше, классовую свою позицию определил точно и ясно, когда говорил о масле для его хлеба и о курице к завтраку.

37

Павел Свиньин прав:

И сейчас надо говорить о рабочем в Америке, в этой стране, решающе созданой руками рабочего, ремесленника и кустаря, ибо ремесленником, а не крестьянином, здесь делался даже хлеб.

Два факта я сопоставлю сейчас.

Генеральный совет Первого Интернационала рукою и пером Маркса писал:

> «...для трудящихся не только их надежды на будущее, но и прошлые завоевания поставлены на карту в этой страшной борьбе по ту сторону океана».

Гражданская война со стороны северян велась рабочими, рабочие тогда решали судьбы Америки. Тогда возник праздник Первого мая. Судьбы Америки были тогда судьбою мирового рабочего движения. Это — было. Америка — страна, где самый большой процент рабочего населения.

На выборах президента, — факт второй, — когда был выбран мистер Гувер способами, изложенными выше, в 1928 году, — американский рабочий класс, говоря по существу, отсутствовал на выборах.

На первых страницах этого американского романа мною описан Кони-Айленд. Я сознательно скрыл там одно очень существенное обстоятельство, — именно то, что Кони-Айленд есть место развлечения и отдыха рабочих. Я однажды читал это описание Кони-Айленда моему другу, американскому коммунисту Т.

Он сказал мне:

— А вы не думаете, что это будет обидно американским рабочим, что вы так описываете их развлечения?

Я ответил ему вопросом:

— А вы не думаете, что я написал правильно и правдоподобно?

— Да, это описано правдоподобно, — ответил он.

И тогда я сказал следующее, что нахожу необходимым повторить и сейчас:

— Если мои братья делают глупости, — это мой долг писателя сказать им о их глупостях, ибо они — мои братья. Если они позволяют поддувать себя в то время, когда они же (ибо не господа же миллиардеры, на самом деле), своими собственными руками выкидывают кофе в море и жгут пшеницу в полях, когда они же, свалившись под доллар, голодают в очередях за божественной миской бобовой похлебки, — то это мой долг сказать им о том, что они плохо смотрят, ибо они — мои братья, ибо поддувание, равно как и кофе в море, не частное дело каждого индивидуума, но дело рабочего класса, ибо от этого самого поддувания до небоскребов Вулворта — не то, чтобы логический, а самый простой мост, построенный арифметикой на долларах и на кирпичах — арифметического расчета мост. Если мой товарищ, пролетарий, будет доказывать, что дважды два — даже не семь, а верблюд, — то это именно мое дело доказывать, что дважды два — не верблюд, не семь, а четыре. И об этом надо говорить безотлагательно, ибо вышеописанный американский сын очень хорошо усвоил свою классовую сущность курицы к завтраку, равно как хорошо научился покупать на доллар вождей американского рабочего движения.

В Вашингтоне, по сие число, каждый день, когда президент дома, от четверти первого до двух часов, каждый желающий американец может пройти в Белый дом и во имя принципов «демократии»: свободы, равенства и братства — поздороваться с президентом и услышать от него «хау-ду-ю-ду».

Делается все это очень просто: нужно записаться в приемной канцелярии и стать в очередь. Очередь идет к кабинету президента. У кабинета стоят два охранителя. В кабинете стоит президент. Очередь идет лентой. Жмут руки президенту, — «как вы поживаете?» — и выходят, знакомые с президентом, в следующую дверь. Если желающих познакомиться с президентом несколько и они являют собой делегацию, можно с президентом сфотографироваться. Делается это перед Белым домом, место президента в объективе фотографами изучено. Президент выходит из дома, когда группы уже рассажены, дело увековечивания делегации занимает у президента полминуты, не больше. Познакомиться таким образом — и даже сняться — может любой американский гражданин.

О небоскребных историях президентов из хижин дровосека, небоскребов Эмпайр: взяли «бойсы» да и свистнули в сотый этаж всяческих благополучий. О возможностях знакомства с президентами, конгрессменами, губернаторами и прочими властишками говорится всерьез, как всерьез говорится о том, что каждый американец может стать миллиардером иль президентом. Действительно, действительно есть такие, которые утверждают, что Америка как была сто лет тому назад, и прочее! Действительно, я встречал рабочих, которые утверждали американскую заповедь, что-де: — «кто действительно хочет найти себе работу, тот ее найдет в Америке».

Глаза рабочего запорошены историями Форда, Вулворта, эскимо, кока-колы, пенсильванского сцепщика, стандарт-ойльного тартальщика, историями людей, которые на пороге века были такими ж, как прочие Генри, Джоны и Джеки, и которые забили страницы всех газет и журналов. В Америке все — частное! — частный телеграф, частные железные дороги, частная полиция, частная церковь! — и всеамериканский галдеж газет убеждает, что дело каждого американца и рабочего, в частно-

сти, — его частное дело, его частная судьба, част-на-я. И я разговаривал с рабочими, которые думают, что судьба его — действительно его частная судьба, ибо он верит в идиотскую американскую теорию случайности. Эта ж «случайность», в галдеже о махнувших в небоскребы «бойсах» и о «частном» деле, создала такую «случайность», когда в Америке, в стране с многомиллионным рабочим классом, не было, почти не было и нет рабочего законодательства, и юридические нормы между рабочим и предпринимателем устанавливаются кодексом гражданских уложений, торговым правом.

В Америке, говорят, уважают труд. Я думаю, что в Америке гораздо больше уважают доллар, и безразлично, как он получен — хоть бандитизмом. Клерк мистер Джонсон был вчера клерком, сегодня он снял пиджак, надел синюю блузу и зарабатывает на два доллара в неделю больше, став рабочим: в американском общественном мнении он выиграл, ибо не важно, как ты зарабатываешь деньги, но важно, сколько ты зарабатываешь. Мистер Джонсон — чиновник, а мистер Джэксон — рабочий: мистер Джэксон больше зарабатывает, и он в своем мидл-тауне более почтенен, чем чиновник мистер Джонсон; он сидит на скамеечке у ворот с людьми более почтенными, с аптекарем из соседнего дрог-стори, с молочным лавочником, зарабатывающими столько же, сколько зарабатывает он; а чиновник мистер Джонсон не сидит с ними, потому что он меньше зарабатывает; и у мистера Джэксона на пятнадцать долларов дороже его автомобиль, чем у мистера Джонсона; и у него есть рефрижератор, а у мистера Джонсона рефрижератора нет. К их лавочке может подойти районный рэкетир, чтобы поздравить с добрым вечером и выкурить сигарету «Лакки-страйк» — «счастливый случай». Днем Джэксон был на заводе иль строил небоскреб, аптекарь торговал спиртом и кофеем, молочник торговал молоком и сливками, — это частное дело каждого из них.

На скамеечке, раскуривая трубки и сигареты, друзья, конечно, беседуют. Аптекарь Шиллер сказал молочнику Беккеру:

— Уэлл, вы из Германии, мистер Беккер. Даже у вас в Германии, в Баварии, до середины девятнадцатого

века был закон, когда только старшему сыну еврейской семьи разрешалось жениться, остальные же должны были оставаться в безбрачии. Германия считалась просвещенной страной, и я уже не говорю о русской царской Польше, откуда родом мои предки. Я приехал сюда. Я окончил фармацевтическую школу. Я ездил в Вашингтон представиться президенту, и он мне сказал: «Рад вас видеть!» — Мой отец был сапожником. Мои сестры до сих пор живут в Польше.

Молочник Беккер сказал:

— Я приехал в Америку со своими родителями, мою матушку мы выписали потом... Мне было девять лет, когда мы приехали, и я мыл посуду в трактире. Тогда в Германии был издан закон против социалистов, дурацкий закон! В Германии правили чиновники и дворяне, рабочие были людьми второго сорта, и мне некуда было податься. Мы были париями. Не скажу, чтобы моему отцу повезло в Америке, ему не выпало счастье. Но он скоро стал американцем и мог выбирать президента, сенатора и мэра города. Здесь я иду и просто подаю мой голос за лучшего из кандидатов, как гражданин, а в Германии каждое сословие голосовало отдельно и преимущество было дворянам. Моему отцу не повезло, ему не выпало счастье, нет!.. Но, по крайней мере, счастье было в его руках, и он, в горькой нужде, чувствовал себя гражданином, его нужда не связана была с политическим унижением.

Сказал Джэксон:

— Я и мой отец, мы родились уже в Америке. Мой дед приехал молодым парнем. Сначала он работал в Питтсбурге на каменном угле. Но тогда открылось калифорнийское золото, и дед пошел искать счастья в Калифорнию. Однажды он нашел старый высохший ручей, в песке которого за два дня и две ночи он намыл две тысячи долларов. Тогда ему надоела золотая лихорадка, он сказал себе: «О'кэй, я полазил по шахтам Питтсбурга, я пополвал на коленях в горах Калифорнии, теперь я стану фермером!» — Тогда в штате Индиана, около реки Огайо, раздавались запасные земли. Там, в этом штате, родились мой отец и я. Мой отец продал землю промышленнику, когда мне было десять

лет. На нашей земле построен завод. Мы переехали в штат Иллинойс, в Чикаго. Отец работал на бойнях.

Сказал молочник Беккер:

— Вы родились на ферме, а я долгое время был фермерским рабочим. Сначала я мыл посуду в ресторане. Когда ручное мытье посуды было заменено машинным, я стал боем при гостинице, прислуживал в коридоре и разносил записки. Поэтому, когда я подрос, я стал почтальоном. Когда почтовое дело в Нью-Йорке было переоборудовано, рационализировано и множество почтальонов было выброшено, я поехал в штат Флорида. Там не хватало рабочих рук, я встретил моих соотечественников по первой родине, вступил в их артель и стал красильщиком. Но артель послала меня в штат Висконсин за олифой. Там на ферме я встретил девушку, которая, слава Богу, жива и до сих пор, и которая стала моей супругою. Двенадцать лет я был рабочим у ее отца, пока не скопил денег и не открыл вот здесь нашего с супругою молочного магазина.

Биографии этих трех и их разговоры были слышаны мною от них самих. В тот вечер собеседования три приятеля могли пойти в кино или в спорт-клуб.

В воскресенье, вместе с женами и детьми, они пойдут в Кони-Айленд их местности. У всех троих у них, конечно, были свои чековые книжки и молочные (иль строительные) акции где-нибудь под подушкой.

Оказалось, что молочник Беккер, прежде чем стать молочником и найти свое счастье в молоке, был и трактирным мальчиком, и почтальоном, и красильщиком (то есть строительным рабочим), а мистер Джэксон, прежде чем стать строительным рабочим, в молодости доил коров.

Это последнее было возможно по двум причинам:

Во-первых, потому, что страна была — не остановившейся, идущей все время не только вперед, но и на новые места, в неожиданностях всяческих открытий, как всегда при открытиях, и в постоянной нехватке рабочих рук, — люди ж были отобраны жаждой как угодно, но во что бы то ни стало разбогатеть. Эта идущесть страны создавала нехватку рабочих рук. Руки делали вещи, делать вещи иной раз было выгоднее, чем сидеть

в канцеляриях. Через труд проходили даже пенсильванские сцепщики, а эскимос с молодости голодал. И нехватка рук руки предлагала уважать, как хороший бизнес. Рабочие в рассуждениях о «частном» деле не замечают, должно быть, что их «бизнес» давно превратился в «джаб».

Но есть и вторая причина, почему мистер Джэксон в молодости торговал молоком, а его сосед по скамеечке был рабочим. Недоставало рабочих рук, руки заменялись машиною, машины выросли в конвейеры, где не надо иметь какого-либо мастерства, но надо иметь умение нажимать лишь рычаг у машины в конвейере. На конвейере от рабочего не требуется никаких специальных познаний, но надо иметь некоторую общую грамотность, чтобы иметь общие представления об общей работе, чтобы соображать, зачем ты давишь на свой рычаг. Молоко ж доится также конвейером и продается волей рэкетира. Понятно, каким образом мистер Беккер был молочником. Вдвойне понятно, если вспомнить, что эта страна была идущею страной в легендах о случайности, да на самом деле в случайных калифорнийском и аляскинском золоте.

Выше обмолвлено было, что к иммиграции последних сорока лет, — тех лет, в кои Америка стала тем, чем она была до 8 часов утра 29 октября 29-го года, — что к этой иммиграции надо вернуться особо. Выше рассказано было и приведено цифрами, как зарабатывался кусок хлеба рабочими американскими и германскими. В расценку там брался рубль товарный. Если ж взять марки и доллары, то на круг германский рабочий зарабатывал столько марок, сколько американский рабочий зарабатывал долларов. Американское население за последние сорок лет увеличилось в девять раз.

Энгельс сказал однажды по поводу английской буржуазии:

> «Эта самая буржуазная из всех наций хочет, по-видимому, довести дело в конце концов до того, чтобы иметь... буржуазный пролетариат рядом с буржуазией. Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплуатирует весь мир, это...»

Это была ирония Энгельса — «буржуазный пролетариат», ибо Энгельс был свидетелем того, в частности, как английский пролетариат поддерживал американскую революцию гражданской войны. Но эта ирония никак не иронична для двух категорий людей, работающих в Америке на фабриках и заводах.

Американское население за последние сорок лет увеличилось в девять раз — никак не только за счет американской рождаемости. После первого расцвета Америки, после гражданской войны, в Америку поехали люди из Восточной Европы: русские, эстонцы, латыши, евреи, поляки, чехи, люди с Балкан, итальянцы, греки. Эти люди ехали из земель низкой культуры. Эти люди ехали из земель, где не было рабочей революционной традиции. Эти люди по психологической субстанции своей были мелкоевропейски буржуазны, в лучшем случае настроенные анархистски. Ехала беднота, сумевшая скопить трудные рубли на билет. Такие люди появились в Америке и после мировой войны, несмотря на квоты. Эти люди в Америке, очень большой процент (четверть Нью-Йорка говорит на славянских языках, самая большая колония итальянцев не в Риме, но в Нью-Йорке), пошли на фабрики и на заводы. Они не знали американских традиций. Они не говорили по-английски. Им давали второстепенную и черную работу, они лезли в рудники и шахты, они обшивали Америку, они стали у конвейеров. Эти люди ехали от своих восточноевропейских и итальянских городов и пригородов, наслушавшись об американских замечательностях.

И первою категорией «буржуазного пролетариата», оправдавшего иронию Энгельса, оказались янки, люди, уже рожденные в Америке и в американских традициях, с английским языком. Они были членами Американской федерации труда, о которой ниже. Они оказались боссами на заводах, форманами и мастерами. В их руках оказалась квалифицированная работа. В их руках оказались наиболее оплачиваемые отрасли труда и промышленности, — а ведь в некоторых отраслях промышленности, например в строительной, иные рабочие зарабатывали иной раз до тридцати долларов — до

шестидесяти рублей — в день. Они оказались в американских традициях «частностей».

А второю категорией энгельсовской иронии оказался очень большой процент тех самых, которые ехали в Америку. Очень большой процент (я видел их) этих людей, ехавших из малокультурных стран и без рабочей культуры, в тот час, когда он садился на пароход где-нибудь в Европе, в тот самый час вез в себе уже инстинкты буржуа. Ехала мелкая буржуа. Во многих случаях ехали одни мужчины, в расчетах о том, что в Америке для работы на конвейере не надо никаких специальных знаний, но надо общую грамотность. Это как раз и было у европейского мещанина. Люди ехали, наслышанные об американских заработках и чудесах. Им казалось, что они едут на готовое. В палубные досуги на пароходе через океан они рассчитывали (именно эти слова мне говорил некий поляк, оклахомский рабочий):

— Проработаю три года, буду во всем экономить, каждую копейку приберегать. В неделю заработаю тридцать долларов, пятнадцать сберегу. В месяц шестьдесят долларов сбережения. В год семьсот двадцать. В три года — две тысячи с лишним. Поживу уж как поскромнее, работать буду, как сукин сын, все соки из себя выжму. Две тысячи долларов по-американски — пустяковые деньги, а у нас (мы тогда Австрии принадлежали) это — десять тысяч крон, большой капитал. Проработаю, думал, три года, вернусь на родину и открою у себя в селе лавочку, женюсь на паненке.

— Ну, и выходило? — спросил я моего собеседника.

— У других выходило, у меня не вышло, — ответил мой собеседник.

Эти люди, приезжавшие из Европы, без знания языка, без американских традиций, в жажде накопления, во-первых, брались за любую работу и на самом деле работали, как сукины дети, — а во-вторых, не вмешивались в американские дела, не разбираясь в них, не зная ни языка, ни традиций и рассчитывая, что их хата с краю. Это была мелкая буржуазия в рядах пролетариата.

Промилль из них оборачивался в эскимоса иль предводителя «Радиокорпорейшн». Некоторые проценты скапливали доллары. Многие впрягались в лям-

ку американских рабочих, оседали, женились, жили до конца дней полуиностранцами и помирали под американским знаменем. Разнонациональность этих рабочих, конечно, не помогала их объединению. Форд, в частности, сознательно ставил около поляка немца, а около норвежца — итальянца.

Некоторый процент этих людей ломался в перенапряженности американских условий работы. Он шел тогда в гольтепу американских бродяг, пополнял всяческие американские подворотни, щели и нищету, поселялся в Нью-Йорке на Бауэри, на страшнейшей, позорнейшей в мире улице люмпен-пролетариата, — не желал ничего делать, ничего и не делая. И нет страны с большим количеством люмпен-пролетариев, чем Америка. И люмпенов там стократно, многотысячекратно больше, чем миллиардеров. Они называются там «трэмпами» — путешествующими босяками, бродягами.

Другой процент этих людей, ломаясь, ушел в бандитизм: имена Ала Капона — итальянца и его советника — Гарри Гузика — еврея — говорят сами за себя, равно как и судьба мелкого буржуа в бандитской шайке совершенно закономерна.

Третий же процент этих людей, которые ушли в революцию, — мелкий буржуа, протестующий против капитализма, — ушел в анархизм, отрицая все наголову. Анархистские и синдикалистские течения и были сильнейшими революционными в американском рабочем движении. Мой собеседник, слова которого приведены только что, был анархистом и желал он, по существу говоря, для всех земных жителей, и для американцев в частности, чтобы летели все и летело все к чертовой матери! По старой католической пословице, он хотел — из крестильной купели, из крестной чаши Америки вместе с грязной водой выплеснуть и ребенка. А очень бросаться Америкой не следует, потому хотя бы, что американцы (стало быть, рабочие) наделали много прекрасных вещей, — научились, стало быть, делать и умеют делать.

Этих, приехавших в Америку за последние сорок лет, тридцать четыре процента всего американского теперешнего населения. Но семьдесят процентов обще-

го числа рабочих в промышленности — угольной, стальной, нефтяной, машиностроительной именно этих, приехавших за последние сорок лет. Въезд в Америку был неограничен до 1917 года. В 1917 году конгресс установил тридцать пунктов, запрещающих въезд иностранцам, в первую очередь анархистам. В 1921 году конгресс принял закон о квотах. По этому закону в Америку допускалось не более трех процентов каждой национальности, проживающей в Америке. За норму для подсчетов этих трех процентов бралась перепись 1910 года. В 1924 году была точно установлена цифра имеющих право въехать в Америку — 153 714 человек в год. (Это последнее цифровое закрепление, наряду с пунктами 1917 года, имело, кроме всего прочего, нижеследующую политическую цель: по цифровому этому расписанию на Восточную Европу приходилось меньше десятка тысяч человек. Восточной Европе путь в Америку отрезан потому, что Восточная Европа заражена революциями. Вообще же ехать смогут родственники живущих в Америке, по их приглашению.)

38

Америка строилась никак не чистыми руками и никак не в белых перчатках, в коих ездили по фордовскому заводу — на паровозах-«большевиках» — машинисты. Есть жестокое правило, что живые забывают мертвых, а мертвые не могут рассказать о себе и своих делах, потому что они мертвы. Если бы послушать тех, которые шли по лесам и пустыням Америки, прокладывая первые дороги! — если бы послушать тех, которые умирали на этих дорогах с голоду?! — если бы послушать всех тех, убитых за Америку, расстрелянных в дни забастовок, скорченных в уголь электрическим стулом, сгнивших в тюрьмах Америки...

История американского рабочего движения — это история предательств американских рабочих, и предательств не менее страшных, чем средневековье. Мне известен разговор германского инженера Отто Моога с некиим американским общественным деятелем мис-

тером Чайльдсом; это было на пароходе через океан, в философический досуг под океанские просторы; речь шла о германской налоговой системе и об обложении германской тяжелой индустрии; мистер Чайльдс, общественный деятель, сказал:

— У нас такой дурацкий налог никогда не стал бы законом. Даже если бы социалисты имели большинство в конгрессе и сенате, они бы не могли провести такого закона. Мы бы просто подействовали деньгами на нужных людей, и в один прекрасный день они нашли бы в своих письменных столах акции автомобильных фабрик.

— Но ведь это взятка! — сказал инженер Моог.

— Ничего безнравственного в этом не было бы, — ответил мистер Чайльдс. — Я предостерег бы таким путем людей от глупости, вредящей им же самим: автомобили дали американским рабочим наибольшее количество работы и денег!

Разговор, — надо сказать, — и демократический, и республиканский, и океанский, равно как — и заокеанский!

В 1869-м в Америке возник Орден рыцарей труда. Орден был организацией тайной, построенной по принципу масонских лож (а стало быть, и мистическоватой). Программа работы Ордена также была полуизвестна, с анархическим уклоном. И тем не менее Черная пятница (день, когда на нью-йоркской бирже начался кризис 1873 года) подняла Орден рыцарей труда на хребет рабочего движения тех лет. В 1877 году по Америке прошла железнодорожная забастовка. Железнодорожникам помогли горняки. В Сент-Луисе власть перешла к рабочим, и рабочие образовали комитет безопасности. Это повторилось в ряде городов и городков. Впервые тогда за историю Америки поехали по Америке карательные экспедиции правительственных войск. В Чикаго были бои между солдатами и рабочими. В 1885 году опять была железнодорожная забастовка, и она победила тогда железнодорожного миллиардера Гульда. Этими забастовками и этим рабочим движением руководил Орден рыцарей труда. В 1879 году Орден вышел из подполья. В 1886 году он имел

730 тысяч членов. Но в том же 1886 году были следующие два события. В Чикаго, на заводах сельскохозяйственных машин Мак-Кормика, вслед за локаутом, возникла забастовка: на Сенной площади тогда в Чикаго в толпу была брошена бомба, был убит полицейский; никто, ни суд не могли установить, кто бросил бомбу, — но суд приговорил пятерых анархистов, ни в чем не повинных, к смертной казни через повешение, и четверо из них — Альберт Парсон, Август Шпис, Георг Энгель, Адольф Фишер — были повешены, пятый же, Луи Линг, покончил жизнь в тюрьме самоубийством. Этот суд и эти казни были белым террором. И в том же 1886 году вождь Ордена рыцарей труда, «великий мастер», как он назывался по орденской терминологии, непримиримый оратор и враг капиталистов, вышел из Ордена и — взял себе пост высокопоставленного правительственного чи-нов-ни-ка! — Вождь был куплен, солдаты были расстреляны. Орден распался.

Орден распался для своей же пользы, по соображениям мистера Чайльдса, того, который с парохода. Орден рыцарей труда был организацией путаной и мистической, но все же анархистской. И здесь же следует помнить третий факт 1886 года. Еще в 1881 году возникла Американская Федерация Труда, организованная Сэмуэлем Гомперсом, тем самым, который ухитрился прожить до 1925 года, почти полвека затуманивая мозги и одурачивая американских рабочих. В 1886 году Гомперс подобрал тех рабочих, которые искали объединения после распада Ордена рыцарей труда. От анархистского Ордена рабочие попали в организацию, которая (бряцая всем арсеналом американского демократства, равенствами и братствами, тем, что, «кто действительно хочет, найдет себе работу», — и прочая из американских заповедей) обещала реализовать иронию Энгельса и создать для американских рабочих быт «буржуазных пролетариев». Американская Федерация Труда утверждала, что социализм — это не американское дело. Американская Федерация Труда утверждала убийственность для американских рабочих борьбы с предпринимателями (ибо сами рабочие могут стать предпринимателями, а стало быть, в потенции есть уже предприниматели), и Федера-

ция за благо считала полюбовное, «человеколюбское» (Гомперс-человеколюбец!) соглашение с предпринимателями. Федерация Труда — не партия, это нечто вроде Федерации профсоюзов. Гомперс утверждал, что партии, да особенно социалистические, американскому народу вредны, — американскому «народу», равноправными членами коего рабочие суть по существу американской конституции (и даже могут стать миллиардерами иль президентом!), достаточно-де двух партий — республиканской и демократической, которые и без рабочих могут провести в конгрессе законы о рабочих нуждах. Гомперс повел за собою большинство организованных американских рабочих. Гомперсу помогали капиталисты. Гомперс убеждал предпринимателей распределить акции предприятий среди рабочих, работающих на предприятиях (чтобы рабочий получил гривенник прибыли с миллиардерского миллиарда). Гомперс убеждал рабочих покупать акции предприятий, в коих они работают, чтобы чувствовать себя «хозяевами» (и получать гривенник с миллиарда). Нет нужды объяснять, что Гомперс выступал с «рабочими требованиями» не где-нибудь, а — на съездах республиканской партии. Нет нужды объяснять, почему Американская Федерация Труда одобрила посылку войск на подавление китайской революции и на захват Никарагуа. И нет нужды объяснять, почему Федерация позаботилась, чтобы рабочие, ею объединенные, не шли к избирательным урнам самостоятельной силой.

Нет нужды говорить о прекрасной личной судьбе Сэмуэля Гомперса, обладавшего таким здоровьем, что без малого полвека он смог трудиться в таком изнурительном деле, как дело рабочих! — судьба мистера Гомперса — действительно настоящая американская судьба!

Нужды нет говорить о двадцати миллионах вкладчиков в американские банки, — это есть американская система. Но надо помнить, что добрый процент этих вкладчиков — рабочие! — они и вкладчики, и «участники в прибылях», они и акционеры! — Их миллионы, — так много, что двести восемьдесят три человека получали больше миллиона долларов в год так называемых дивидендов!

Я говорил выше о переписке Первого Интернационала с Авраамом Линкольном. Я умолчал о том, что в 1872 году, после разгрома Парижской коммуны, бюро Генерального совета Первого Интернационала переселилось в Америку, считая Америку наипремлемой для себя и наинужнейшим полем своей работы. Работа этого бюро породила в Америке рабочую партию, которая с 1877 года называлась Социалистической рабочей партией. На пороге века эта партия была левым крылом Второго Интернационала. Но на пороге ж века, в 1899 году, партия раскололась. Одна часть партии оставила прежнее свое наименование, в ней верх взяли лассальянские принципы. Другая часть, возглавляемая Хилкуитом, слившись с социал-демократическими американскими группами, сократила свое название, стала называться кратко — Социалистической партией. От Социалистической рабочей партии в 1905 году отделились анархосиндикалисты, создав Союз индустриальных рабочих мира и вскоре погибнув по тюрьмам. От Социалистической партии в 1919 году отделились коммунисты, создавшие свою партию, которая сначала называлась просто — Рабочей партией, а с 1927 года называется Коммунистической.

Факт! — факт, хоть и бред! — Десять процентов американских рабочих — негры. Дэллас, Милуоки — чьими руками они построены? — в Милуоки негритянская рабочая лига пригласила на свою конференцию милуокских социалистов.

Социалистическая партия ответила отказом, понеже негритянское рабочее движение не есть движение рабочее, но — расовое! — Факт! — факт, хоть и бред!

39

Итак: — в Америке больше половины всего золотого запаса земли, нарытого человечеством. В Америке половина всех высших учебных заведений земли. В Америке расходуется половина электрической энергии, обузданной на земном шаре. В Америке восемьдесят

процентов автомобилей земного шара. В Америке самые глубокие подземные норы муниципальных железных дорог и самые высокие в мире дома, задавившие, прорывшие и задушившие Нью-Йорк, в частности, так, что в нем нельзя жить. И прочая, прочая, прочая, чему посвящен весь этот — о'кэй, американский роман.

Итак: — в восемь часов утра 29 октября 1929 года начался кризис, который комментирован всем земным шаром, ибо Америка была хозяином капиталистического земного шара, и потому, что в Америке все — самое большое, непревзойденное, рекордное.

Все, что написано выше, все глаголы в этом, о'кэй, романе, надо поставить, переделать — по грамматике — в бывшее время: все это, кроме кризиса, — было. Соотечественник Павел Свиньин прав:

> «Стремительные перемены во всех частях и исполинские шаги земли сей — сделали невероятными и самые справедливые подробности, написанные прежде сей эпохи».

В восемь часов утра 29 октября 1929 года начался последний американский кризис, как записано в летописях.

В первые два подземно-вулканическо-социальпые (как уверяют американцы) — в первые два толчка, 29 октября и 13 ноября 1929 года, происшедшие на бирже Уолл-стрита, — Америка сброшена была в кризис. Биржа — это цифры. В дни от 24 октября до 13 ноября люди на бирже потеряли — потеряла биржа, исчезло в никуда — пятьдесят миллиардов долларов — сто миллиардов рублей, сумма, в два раза большая национального долга той же USA в 1920 году, когда у USA был самый большой национальный долг, сумма пятидесяти лет государственного бюджета императорской России, если взять за норму 1913 год, — сумма семи лет государственного бюджета Соединенных Штатов, если взять за норму тот же 1929 американский год. Акции «Дженерал Моторс» (автомобильной) компании, например, стоили на бирже 15-го, предположим, октября 4 (миллиарда!) 159 770 тысяч долларов, — 11 ноября они стоили 1 (миллиард!) 617 750 тысяч долларов, упав на 2 (миллиарда!) 542 020 тысяч долларов: два с по-

ловиною миллиарда долларов — пять миллиардов рублей — это два с половиною годовых государственных бюджета императорской России в 1912 и 1913 годах.

Ценные бумаги падали:

Наименование ценных бумаг	Цена		
	высшая	29 октября	13 ноября
American Foreign Power	199	55	—
Auburn	514	190	120
Westinghouse	299	100	—
Dupont	234	80	—
Int. Combustion	103	8	—
Webster Eisenlohr	113	4	—
United Corporation	75	24	19
United States Steel	261	167	150
General Motors	93	33	31
General Electric	403	210	186
John Manville	242	107	90
Houston Oil	109	26	—
Radio	114	26	—
Americ. Water Works	199	65	59

Приведено название четырнадцати сортов этих ценных и крупнейших бумаг: ровно семь сортов из четырнадцати 13 ноября, как видно из справки, на бирже уже не имели цены. Если поверить американским справкам, утверждающим, что в Америке было двадцать миллионов акциедержателей, то на круг, на каждого акциедержателя (акцие-, облигацие- и прочее) — на каждого приходилось две тысячи пятьсот долларов. Но биржа ж отметила (тикером!), что в те же землетрясительно-геологические дни на Уолл-стрите из рук в руки перешло 1 (миллиард!) 018 453 400 штук акций на астрономическую сумму в 125 миллиардов долларов. 125 миллиардов долларов — это семнадцать лет и восемь месяцев теперешнего американского государственного бюджета, — это больше, чем век (девятнадцатый, например) государственных бюджетов Англии, Франции, Германии.

Уолл-стрит пишется по-английски — Wall-street, — точный перевод значит — Валовая, Стенная улица.

Здесь некогда проходила нью-йоркская стена, когда Нью-Йорк принадлежал еще голландцам и назывался Нью-Амстердамом. От землетрясений Уолл-стрита закачались небоскребы и океаны, особенно в первые дни, особенно у «маржинистов».

«Маржина» — это ссуда, которую, по американской практике, при посредничестве бирже-профессионально-посредников, называемых брокерами, получали под акции желатели эти акции купить. Желатели называются маржинистами. Желатель имел две тысячи долларов, он занимал у брокера восемь тысяч долларов и покупал бумаг на десять тысяч долларов. Бумаги записаны на имя желателя, но хранятся у брокера. Брокер берет себе процент. Все ж прибыли и убытки с этих бумаг, вся ответственность за них лежит на желателе. Если бумага при сделке стоила сто долларов (из этих ста долларов желателю фактически принадлежит двадцать) и если эта бумага выросла в цене до ста пятидесяти долларов, — желатель на свои двадцать долларов зарабатывал пятьдесят. Если эта бумага упала со ста долларов до пятидесяти, желатель не только потерял свои двадцать долларов, но должен доплатить брокеру тридцать долларов, либо повеситься.

Уолл-стрит — кривая, старинная (единственная старинная в Нью-Йорке) средневековая улица. Уолл-стрит ощерился в небо и в океан клыками небоскребов, но биржа — двухэтажка, и небоскребы теряют свои пропорции, не нарушая стиля средневековой торжественности Стенной (и застенной) улицы.

Был октябрь месяц, — как начинаются иные романы. В Париже, в Монако начался сезон. В Египте пал зной и стали доступны для путешественников пирамиды. По океану из Америки шли пароходы. На пароходах работал тикер. Из Америки выезжали богачи, чтобы повидать пирамиды и посезониться в Париже, отдохнув сердцем в Монако и в европейской культуре. Когда пароходы подходили к Европе, сотни этих богачей знали, что у них нет своего собственного доллара, чтобы заплатить носильщику, ибо они были не только банкиры, но и должники. «Господин из Сан-Франциско», бунинский рассказ, возымел иную судьбу; корабли привозили к берегам трупы людей, американцев, не

умерших на пароходе, но застрелившихся потому, что они, американцы, вчера были миллионщиками, но нынче проснулись нищими, — эти господа из Сан-Франциско американской «случайности»!

В Нью-Йорке в те дни шли дожди. С океанскими выстрелами пистолетов самоубийц переплелись выстрелы нью-йоркских дождливых ночей.

За громами обвалов всегда наступает гробовая тишина. В этой тишине в кабинетах Уолл-стрита собрался совет банков, Джон Морган сел рядом с Куун Лэбом. Они сказали миру и Америке, что — следует успокоиться. Президент Гувер и министр финансов Мэллон (каменноугольные копи!) собрались в тишине кабинетов Белого дома. Они сказали Америке и миру, что — следует успокоиться, — во-первых, потому, что от кризисных землетрясений пострадали не все двадцать миллионов вкладчиков, во-вторых, потому, что биржевой кризис вызван главным образом чрезмерным притоком капиталов в биржевой оборот, в-третьих, потому, что с того момента, как биржевая спекуляция прекратилась, возможно рядом предприятий создать основу для нового «процветания», сиречь просперити.

Гувер и Морган предлагали тишину.

Я приехал в Америку именно в эту тишину. Это — уже сегодня. И я адресуюсь к поденщине сегодняшнего американского покойствия, предложенного Гувером, обещавшим ряд предприятий для основы будущего просперити. Я сознательно не систематизирую моих материалов, чтобы дать их в буднях обыденщины так, как вообще протекает каждое сегодня. Сегодня живет газетами. Пусть будут газеты, вырезки из них я вписываю в мой текст — так, как они попадали мне в руки.

Стимсон об иммиграции.

«Вашингтон. — После протеста государственного секретаря Стимсона и министра труда и иммиграции Дока сенатская иммиграционная комиссия решила пересмотреть билль сенатора Рида о запрещении иммиграции на два года, причем исключение будет предоставлено только ближайшим родственникам жителей Соединенных Штатов.

Стимсон и Док поставили на вид комиссии, что именно это исключение для родственников даст не-

справедливое преимущество иммиграции из Восточной и Южной Европы!

Стимсон советует сократить всю иммиграцию, по крайней мере, на 90 процентов».

Дочери американской Революции» напуганы красной опасностью.

«Бостон. — Конференция «Дочерей американской революции» постановила внести в конгресс билль о признании коммунистической партии вне закона, а также депортации всех коммунистов, уроженцев других стран. Миссис Гулд заявила на конференции, что в школах наблюдается падение патриотического духа и следовало бы учителей приводить к присяге в верности патриотизму».

Бывший член Всемирного Суда критикует.

«Нью-Йорк. — М-р Джон Бассэт Мур, бывший американский судья во Всемирном суде, выступил перед ассоциацией нью-йоркских адвокатов с жестокой критикой правительственного отношения к Советскому Союзу. Хотя он и не выступил с прямым требованием признания Советского Союза, однако он указал, что такое признание было бы в полном соответствии с американскими историческими традициями, ибо правительство Америки одним из первых признало режим Французской революции в конце XVIII столетия. Мур критиковал деятельность конгрессной комиссии Фиша по расследованию коммунизма в Америке, указав, что агитация, вызванная работой этой комиссии, получается как раз за коммунизм. М-р Мур полагает, что признание Советов и торговля с ними облегчили бы кризис».

За последние десять месяцев было 19818 банкротств!

«Задолженность 19 818 фирм, обанкротившихся за последние десять месяцев, выражается в сумме 744 млн. долларов».

Закрылся «Банк оф Юнайтед Стейтс («Банк Соединенных Штатов»).

«Банк имел 59 отделений в Нью-Йорке, 400 000 вкладчиков и около 203 миллионов долларов вкладов. Крупней-

шие американские банкиры совещались всю ночь о предотвращении дальнейшего кризиса. Штатные власти проверяют дела «Банка оф Юнайтед Стейтс».

Банк не открыл своих дверей вчера утром и весь день оставался закрытым. Толпы вкладчиков, взбудораженных паническими слухами о несостоятельности банка, начали стекаться к дверям его отделений еще позавчера вечером. Вкладчики стояли у дверей в очередях всю ночь. Были высланы усиленные наряды полиции. Утром на дверях отделений появилось извещение, что штатные власти по надзору за банками ведут расследование.

Всю ночь, кроме вкладчиков, не спали и крупнейшие нью-йоркские банкиры, обсуждавшие меры предотвращения паники в других банках.

Банк во всех его нью-йоркских отделениях насчитывает около 400 000 вкладчиков, главным образом мелких торговцев, кустарей, квалифицированных рабочих, домашних хозяек, лиц мелкого достатка.

Паника началась позавчера вечером в Бронксе после того, как один из тамошних мелких торговцев понес акции банка в свое отделение и предложил управляющему купить их обратно. Управляющий стал отговаривать торговца от мысли продажи акций. И этого было достаточно. Торговец пошел рассказать своим родственникам, друзьям и знакомым, что банк не может купить своих же собственных акций. В тот же час вкладчики побежали в отделения банка и стали требовать обратно свои вклады. Но судьба их уже изложена».

Вкладчики «Банка оф Юнайтед Стейтс» организуют комитеты.

«Вкладчики «Банка оф Юнайтед Стейтс», закрывшего свои двери несколько дней тому назад, организовали ряд комитетов и наняли адвокатов для защиты своих прав».

Мэр Вокер призывает вкладчиков не вынимать своих денег из банков.

«Напрасно публика беспокоится о своих сбережениях, переданных банкам, — говорит мэр города Нью-Йорка м-р Вокер, — финансовая система Соединенных Штатов обеспечивает сохранность депозитов.

Городское самоуправление вкладывает сегодня большую сумму в «Манюфакчуререс-Трест компани».

— «Манюфакчуререс-Трест компани» — из банков, из которых на прошлой неделе большое число лиц вынуло свои вклады. Этому банку по одним лишь краткосрочным векселям в течение последних дней пришлось выплатить 40 миллионов долларов».

Бой на Третьей авеню, Нью-Йорк-сити.

«Перед бесплатной благотворительной столовой, дом № 327 по Третьей авеню, в ожидании свободных мест собралось до 4 000 безработных, ставших в бесконечную очередь. Полиция стала наводить порядок. Были по обыкновению пущены в ход клобы. Причина ссоры безработных и полиции неизвестна. Движение на Третьей авеню боем безработных с полицией было задержано почти на час».

Промышленники снова требуют эмбарго на советский марганец.

«Вашингтон. — «Американ Манганиз Продюсерс Ассошиэйшен» обратилась к конгрессу с требованием эмбарго на советскую марганцевую руду, аргументируя тем, что продажа марганца со стороны Советов есть демпинг, который увеличивает американский кризис».

Обанкротилось шестьсот банков.

«По данным федерального резервного управления, в течение последних восьми месяцев обанкротилось 600 банков, располагавших вкладами на сумму 266 000 000 долларов. Только за последние два дня в штатах Арканзас, Кентукки, Миссури, Иллинойс и Айова обанкротилось или прекратило платежи 73 банка. За 1930 год всего было 1100 банковских банкротств на сумму 565 миллионов долларов».

Закрылся «Челси-банк» в Нью-Йорке.

«5 отделений в Манхэттене. 1 отделение в Бруклине. 14 миллионов долларов вкладов».

Закрылись 19 отделений «Банкерс-Трест-компани» в Филадельфии.

Вкладчик «Банка оф Юнайтед Стейтс» покончил жизнь самоубийством.

«Покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна десятого этажа, Давид Поляк, мелкий торговец.

Причина самоубийства — разорение в связи с банкротством «Банка оф Юнайтед Стейтс».

Борьба с девушками-курильщицами.

«Бостон. — Здесь образовалась лига борьбы с курением среди девушек. Председатель лиги — миссис Р. Вильямс».

Сенатор Фиш нашел виновного!

«Вашингтон. — Руководитель работ комиссии конгресса по расследованию коммунизма в Соединенных Штатах, выступая в конгрессе с речью заявил, что зачинателем американского коммунистического движения он считает Сэн Катаяму, повара, японца, ныне скрывшегося из Америки в Москву».

Новый министр труда обещает ликвидировать бандитизм в стране.

«Новый министр труда и иммиграции обещает, что он примет все меры к усиленной борьбе с преступным миром, который выдвинул целый ряд крупных имен, вроде Капона, Ротштейна и др., открыто ведущих свою преступную деятельность в стране. Ликвидировать это засилие бандитов министр намеревается излюбленным его средством, которое он применяет главным образом к рабочим, а именно депортацией иностранцев-бандитов».

Протестуют против запрещения иммиграции.

«Вашингтон. — Перед сенатской иммиграционной комиссией выступил ряд общественных организаций. Одна из организаций указала, что в 1929 году иммигранты послали своим родственникам в Европу 247 млн. долларов; если бы эти родственники приехали в Соединенные Штаты, эти деньги остались бы в стране. Один из конгрессменов пошутил, что это было до 29 октября. Комиссия одобряет запрещение иммиграции, как и будет докладывать конгрессу».

Пойман бандит Тони Вольпэ.

«Чикаго. — Иммиграционные власти арестовали Тони Вольпэ, рэкетира, являющегося самым большим бандитом после Капона. Власти намерены депортировать его в Италию, откуда он прибыл 25 лет тому назад».

Облавы на иммигрантов по приказу Дока.

«Нью-Йорк. — В нью-йоркском порту ведутся облавы на иммигрантов, которые отправляются на Эллис-айленд (Остров Слез)».

Депортация ненормальных иммигрантов.

«Бикон, Н.-Й. — Принято постановление о депортации всех психически ненормальных. Начальник маттиаванского госпиталя сообщил, что под его излечением таких ненормальных имеется 35% всего числа больных, а именно около 400 человек».

Признание полисмена, «стори» (короткий рассказ, правдивая история).

«У нас никогда не было столько работы, как теперь, — сказал кап. — И главное совсем не то, что люди, которые никогда не имели «криминэл рекорд», теперь превращаются в бандитов. Это понятно — у человека жена, дети, а жрать нечего. Нас смущают больше психологические моменты. Например. Подходит бой и спрашивает: «Где здесь спик-изи?» Вся психология заключается в том, что иной раз не решишь, — действительно ли он хочет выпить, и парню надо указать хорошее местечко, или он лезет на скандал, чтобы не мокнуть под дождем и переночевать в полиции? — Вчера, например, я ездил на мотоцикле в объезд, подъехал к посту приятеля, стоим, разговариваем, темно, ночь. Подходит парень, лет двадцати восьми, небритый, без пальто, спрашивает: «Где здесь спик-изи?» — Мой приятель сразу понял, в чем дело, он его легонько толкнул и сказал ему, чтобы проваливал, а то — арестует! — Он его совсем легонько толкнул, а тот не устоял на ногах и упал, и с земли говорит: «Вот этого я и хочу, чтобы ты меня арестовал!» — и в голосе слезы. Выяснилось, что весь день бой не жрал и спать негде».

Средства против безработицы.

«Детройт, Мичиган. — Яблоко, как известно, явилось первоначальным зачинщиком всех земных бедствий. Долгое время яблоко никакой исторической роли не играло. Ныне яблоку выпала историческая судьба быть спасителем Америки от кризиса. Правительство думает таким путем помочь безработным. Фруктопромышленники это правительственное начинание мистера Гувера поддерживают. Появились лозунги, полилась патрио-

тическая агитация за массовую покупку яблок на улицах у безработных. Городские власти во всех городах отметили на каждом углу улиц места для продажи яблок безработными. Ну, а когда яблоки все будут съедены!?»

Капон браком своей сестры пытается ликвидировать рознь между бандитами.

«Чикаго. — Здесь состоялась свадьба сестры бандита Капона, Мафальды, с одним из бандитских вождей, бывшим до сего времени во вражде с Капоном. Мафальде 18 лет. Она появилась в церкви, держа в руках букет из 400 лилий».

Гувер считает спасением от кризиса нормальный образ жизни и развлечений.

«Вашингтон. — В своем годичном послании к открывшемуся конгрессу президент Гувер заявил, что не законодательство, а только «нормальный образ жизни и развлечений» помогут борьбе с нынешним экономическим кризисом. Он указал, что федеральное правительство, все же, готово ассигновать 150 миллионов долларов на общественные работы для борьбы с наметившейся безработицей. Также Гувер советовал конгрессу усилить законы о депортации нежелательных иммигрантов. Во время чтения послания Гувера улицы вокруг Капитолия охранялись усиленными отрядами полиции, вооруженной винтовками на случай повторения демонстрации коммунистов».

Мюнисипал Лоджинг Хаус справился со своей задачей.

«На прошлой неделе был день, когда 2587 человек, из них 56 женщин и 11 детей, неожиданно обратились в городской приют для бездомных — Мюнисипал Лоджинг Хаус — за помощью. Это был самый большой день со дня возникновения приюта, но он справился со своей задачей. В тот же день эти безработные были накормлены в 27 пищевых станциях, называемых «брэдлайнс». Приют они получили в 17 миссиях и у девяти общественных организаций, мобилизовавших свои ресурсы для помощи безработным».

«Журналу «Янг уоркер» («Молодой рабочий») запрещена почтовая пересылка».

«Президенту подано требование о помощи безработным со 100 тысячами подписей».

«Объявлены банкротства 4 компаний «Банка оф Юнайтед Стейтс».

«Продавцы яблок при новой переписи не будут считаться безработными».

«В тюрьме Синг-Синг казнены на электрическом стуле 2 брата Болгеры, 19 и 20 лет, и Итало Фердинанди, 22 лет».

«Лесоторговцы Соединенных Штатов ополчились против СССР».

«Из-за кризиса уменьшилось число браков».

«Полиция охотится за преступным элементом среди иммигрантов».

«Будет устроено 9 шествий голодающих безработных».

«Ближайшая неделя будет отмечена массовыми шествиями голодающих безработных во всех частях страны».

Снаряжают экспедицию для розысков двуполого племени негров.

«Лос-Анджелес. — Доктор Артур Торранс, специалист по изучению тропических болезней, вылетел на аэроплане в Нью-Йорк, откуда ученый выезжает в Африку. Артур Торранс намерен сорганизовать в Африке экспедицию к озеру Чад. По предположениям ученого, вблизи этого озера проживает племя двуполых негров. Ученый едет в эту экспедицию уже третий раз. В 1924 и 1926 годах ему не удавалось пробраться к озеру Чад. Экспедицию финансирует Общество тропической медицины».

Вчера судили трех лидеров безработных.

«Вчера в суде около Томбс-тюрьмы состоялся разбор дела Сэма Несина, Роберта Лиссина и Джона Стона, трех активных лидеров движения среди масс безработных, добивавшихся улучшения положения, требовавших государственного социального страхования и закона о том, чтобы безработных не выкидывали на улицу из их квартир за неуплату аренды. Эти трое подсудимых были в свое время избраны 800 000 безработных, организовавших свои рабочие советы. Ко времени суда район был заполнен массами безработных и охранен полицией».

«Безработных продавцов яблок прогнали из фешенебельных районов Нью-Йорка».

Негры и белые безработные объединились.

«Шарлотт, Северная Каролина. — Свыше тысячи безработных объединились во время голодного марша к местному сити-холлу. Мэр города выдвинул против рабочих полицию, вооруженную палками от бейсбола, слезоточивыми бомбами и огнестрельным оружием. Полиция надеялась вызвать расовую вражду между белыми и черными рабочими. Это не удалось. Произошло столкновение. Полиция бросилась на негров. Белые рабочие вступились за своих товарищей-пролетариев. Рабочий Бинклэй обратился к рабочим с речью, призывая к классовой борьбе».

Стоящий в хлебных очередях покончил жизнь самоубийством.

«Деличио Дисчитог, 38 лет, получив уведомление от домохозяина, что он будет выселен за неуплату аренды, покончил жизнь самоубийством, отравившись газом. В предсмертной записке он писал, что «стояние в хлебных очередях — это медленная смерть от истощения», и просил его пальто передать какому-нибудь другому безработному».

Умерший прочтет свое завещание наследникам с экрана кино.

«Бирмингемский коммерсант Х. решил после своей смерти все же лично прочитать свое завещание наследникам. Коммерсант снялся в говорящем фильме читающим свое завещание, причем он заранее отметил в зале кресла для своих родственников, и загробная речь построена так, что завещатель к каждому наследнику обращается отдельно, по очереди».

За полное прекращение иммиграции в Соединенные Штаты.

«Вашингтон. — Иммиграционная комиссия при палате депутатов одобрила в принципе проект полного прекращения иммиграции в Соединенные Штаты на 2 года».

Ал Капон — благотворитель.

«Чикаго. — Ал Капон открыл брэдлайнс (точный перевод — «хлебная линия») для безработных, где вы-

дает хлеб и суп. Ал Капон кормит безработных три раза в день. Через его линию проходят до трех тысяч голодных. Существенно отметить, что по просьбе Ала Капона его брэдлайнс не охраняется полицией. Ни одного инцидента там не было».

Фиш прогрессирует.

«Сенатор Фиш, получивший громкую известность после дел своей комиссии, расследовавшей коммунизм в Соединенных Штатах, — комиссии, к слову сказать, которая чаще называется не Фиш-комиссия, но Фиш-комедия, — выступал вчера в Карнеги-холл, Нью-Йорк-сити. Вздохи симпатии раздавались со стороны слушавших, когда блюстители порядка бывают вынуждены самозащищаться от революционеров. Фиш говорил: «Коммунизм стоит перед судом истории, в такой же степени, как и капитализм. Капитализм может поучиться многому от социалистических опытов в Советском Союзе. Если капитализм хочет выиграть в борьбе за свое существование с коммунизмом, то он должен почитать свой дом, как это делают коммунисты». — Фиш требовал высылки всех красных и эмбарго для советских товаров. Один из оппонентов Фиша указал на нереальность предложений Фиша, аргументируя свое утверждение тем, что при высылке всех красных страна и капиталисты могут остаться без рабочих».

500 фермеров с ружьями в руках требуют хлеба.

«Штат Канзас. — 500 фермеров явились в город, вооруженные ружьями, с требованием пищи и одежды для жен и детей».

Самоубийство безработного.

«Филадельфия. — Покончивший самоубийством безработный Анатолий Вильсон, 21 года, оставил завещание, в котором просит продать его труп в университет для научных целей за 20 долларов и 18 долларов из этой суммы уплатить его кредиторам».

Преступники или мексиканцы!?

«Лос-Анджелес. — В мексиканских учебниках географии на карте Мексики изображены штаты Техас, Аризона, Калифорния и Нью-Мексико. Надпись гласит: «Это наша родина, несправедливо отнятая у нас Соединенными Штатами в войну 1846 — 1848 гг.».

Так думают по поводу этих земель мексиканцы. Но не так думают американские власти. Для них мексиканцы — иммигранты. Мексиканские колонии этих мексиканских штатов сейчас терроризованы волной арестов и депортаций мексиканцев в Мексику. Все время к границе Мексики движутся поезда с депортированными. Почти в каждом мексиканском селе ходят по рукам письма следующего содержания: «Я, Диего или Родриго такой-то, сижу сейчас в тюрьме там-то, и власти согласны меня освободить, если у меня будут деньги для билета до границы Мексики». Американские власти аргументируют эти депортационные расправы ссылкою на тот якобы факт, что среди мексиканских колоний изобилуют преступники».

«Полиция избила рабочих в Элизабете».

«Безработные требуют улучшения ночлегов».

«Новые законопроекты о запрещении иммиграции».

«Арестован нью-йоркский король бандитов Джек Дэймонд, обвиняемый в очередном убийстве».

Ходатайство безработных.

«Милуоки. — Безработные обратились в сити-холл с ходатайством передать им для прокормления семей суммы, ассигнованные городом на постройку новой тюрьмы. Городскими властями ходатайство отклонено».

Паника среди капиталистов.

«Джемс Мак-Дональд, глава американской Ассоциации иностранной политики, заявил на конференции пасторов в Нью-Йорке: «Главная опасность капиталистическому миру исходит не от коммунистической пропаганды или советского демпинга, а от того, что среди самих капиталистов нет лидеров, а есть паника, сомнения и неопределенность».

«Сегодня состоится ряд демонстраций безработных в Нью-Йорке».

«Гувер задерживает помощь безработным».

«Сегодня массовый митинг безработных в Мэдисон-сквер-гарден».

«В Оклахома-сити, штат Оклахома, толпа безработных в 1000 человек захватила склад со съестными припасами».

Леди-миллионерши помогают безработным — по телефону.

«Элизабет, Нью-Джерси. — Местные миллионерши, по предложению торговой палаты, придумали занятный способ помощи безработным. Дамы из общества звонят по телефону незнакомым, но богатым джентльменам, рекомендуются им по телефону и просят их сделать для них, для дам, любезность, а именно — дать заработок одному или двум безработным. Таким образом около 30 безработных получили постоянные вакансии».

Побоище у сити-холл.

«Нью-Йорк-сити. — Вчера около двенадцати часов дня на площади перед сити-холл, где происходил марш безработных, произошло побоище между рабочими и полицией. Марш безработных выделил своих делегатов, которые пошли к помощнику мэра Чарльзу Керригану. Безработные остановились, чтобы обождать своих делегатов. Полиция потребовала, чтобы демонстрация разошлась. Рабочие отказались. Последовало побоище. Произведены многочисленные аресты».

Король бандитов Джек Дэймонд оправдан и освобожден.

«Трой, Нью-Йорк. — Присяжные заседатели оправдали Джека Дэймонда, по прозванию «Длинноногий». Дэймонд обвинялся в пытках огнем и подвешиванием за ноги фермера Гровера Паркса. На основании вердикта присяжных заседателей, «король» немедленно был освобожден. За свою карьеру Дэймонд был арестован 25 раз, но каждый раз быстро выходил на свободу».

«Во время забастовки шахтеров в районе Питтсбурга, за июнь и июль месяцы 1931 года, арестовано 876 человек».

«Губернатор штата Род-Айлэнд мобилизует войска против бастующих ткачей».

«Ряд ночных грабежей в Нью-Йорке».

«Стрельба, убийства и ограбления в Джерси-сити».

«Шесть замаскированных бандитов ограбили поезд и скрылись».

Новые женские профессии.

«Вот одна из них. В больших магазинах существует особа, продавщица, опекающая жениха и невесту, устраивающих свой будущий дом. На обязанности опекунши лежит руководство покупками для людей, малоопытных в семейной жизни или не имеющих времени посвятить покупкам должное внимание. Опекунша руководит покупателями строго в их интересах. Она все выбирает для брачущихся: и обои для столовой, и даже ветку флердоранжа».

Интервью с м-р Алом Капоном.

«...Большевизм у наших дверей. Мы не должны допустить этого. Мы должны все организоваться против этого. Мы должны сохранить Америку безопасной и целомудренной. Если машины забирают работу у рабочих, надо для них найти нечто другое. Быть может, рабочий пойдет опять на поле, на землю? — Во всяком случае, мы должны заботиться о рабочем в период теперешних потрясений. Мы должны предохранить его от красной литературы, от красной заманчивости. Мы должны все сделать, чтобы ум его остался здоровым».

40

Газетный юмор!

Две рубашки.

«— Из-за вчерашнего краха автомобильной компании Цок-Цок я потерял свою последнюю рубашку.

— Но вы сказали то же самое десять дней назад при крахе аэропланной компании Клоц-Клоц.

— Да. Но то была последняя шелковая рубашка. Теперь я потерял свою последнюю полотняную».

Странное поведение.

«Доктор. — Когда вы заметили первые признаки помешательства?

Домохозяин. — Вчера, когда он пожелал мне уплатить за квартиру».

Скверные дела.

«Посетитель в ресторане. — Что это, голубчик, у вас так скверно пахнет?

Хозяин ресторана. — Что так скверно пахнет? — это мой бизнес так пахнет!»

Среди музыкантов.

«Пианист (к скрипачу). — Как ваши дела? — в связи с безработицей вы, должно быть, имеете много досуга для самоусовершенствования?

Скрипач. — Я так часто отношу мою скрипку в ломбард, что хозяин ломбарда играет уже лучше меня».

Конец депрессии.

«— Знаете, а ведь кризис уже кончился!

— Неужели!?

— Да, совершенно верно. Депрессия кончилась. Началась паника!»

Как найти улицу в Америке.

«— Скажите, как пройти до такой-то улицы?

— Поверните налево, отсчитайте две очереди безработных за бесплатным супом и поверните направо. Затем отсчитайте еще три очереди безработных и поверните налево. Там вы увидите ряд домов, из которых выселяют бедняков за неуплату квартирной платы. Это и есть улица, нужная вам».

41

Газетные вырезки можно увеличить сто- и тысячекратно. Да и надо увеличить, чтобы услышать ту тишину, которую предлагали Гувер и Морган. Комментировать эти газетные вырезки не стоит, они сами сказали за себя, — совершенно ясна мудрость Гувера, когда он в послании конгрессу утверждал, что «нормальный образ жизни и развлечений» — залог будущего американского просперити. Газетные вырезки показали, как американцы активно изживают кризис. Что касается американской тишины, то о ней рассказано в начале этого — о'кэй, американского романа: — американские врачи, исследовавшие влияние нью-йоркского шума на человеческий организм, утверждают, что шум от времени до времени становится необходимостью, и утверждают, что джаз порожден именно необходимостью шумов для человеческого организма. В начале ж романа рассказано, что на бойнях в Чикаго не механизировано только одно — предательство. Газетные вырезки о ма-

тематических концертах (которые проходят в тишину) выпущены мною сознательно. Но если газетные вырезки мною не комментируются, — это ни в коей мере не значит, что можно забыть обо всем том, что рассказано выше в этом — о'кэй, американском романе, — и в первую очередь не следует забывать, что все же Америка — самая богатая, самая сильная, наитехнически усовершенствованная страна, — самая, самая, самая — тысячи людей шагают сейчас по тишине Америки. Это не только марши безработных. Идут вразброд, в одиночку. Они всюду: и на «макадамизированных» трактах и на проселках, в прериях и в лесах, в городах и пустынях. Пути их встречаются, переплетаются, пересекаются. Они сами не знают, куда идут. Это — не трэмпы. Это — безработные и потерявшие голову. Иногда они ползут на «фордах», трещащих, как аэропланы. Иногда они плывут на плотах по Миссури и Миссисипи. Глаз их — как у того, в Калифорнии, который рыл давно вырытое золото. Они живут в пещерах, на пустырях, на Бауэри. По рассветам они роются в помойных ямах, ища объедки.

В лето 1931 года забастовали шахтеры штатов Пенсильвания, Огайо, Вест-Вирджиния, позднее к ним присоединились шахтеры штатов Иллинойс и Кентукки. Бастовало больше ста тысяч человек. Казалось бы нелогичным: забастовки в год рабочего голода и безработицы. Но логика реальных вещей указала шахтерам, что толковее бастовать и голодать, чем работать и голодать. Рабочие работали на шахтах только два дня в неделю. Шахтовладельцы (министр и вождь республиканцев Мэллон) ставили условием, чтобы рабочие делали закупки в шахтовых магазинах. За два дня труда рабочие не вырабатывали достаточно хлеба, голодали и лезли в петли долгов шахтовладельцев. Рабочие забастовали. Забастовало сто тысяч человек, ибо бороться и умирать — честнее, чем просто умирать. И эта борьба стала борьбою не на жизнь, а на смерть. В борьбу вступили женщины, старики, подростки. В Нью-Йорке, на Унион-сквере, в месте рабочих демонстраций, я был на демонстрации сочувствия шахтерам. Я видел, как говорила девочка-шахтерка, дочь шахтера, маленький человек лет тринадцати-пятнадцати. Она заволновалась,

когда поднялась на трибуну под тысячи глаз. Она начала с наивной вещи, — с того, что в их поселке закрыто кино, а поселок охраняется полицией, и она с подругой в праздник бегала тайком, мимо полиции, в соседний город, в кино, за десять миль, чтобы посмотреть кинокартину. Эта наивная вещь мне показалась страшнее ее страшного. А она рассказывала, как шахтеры были прикреплены к месту работы, как они вынуждены были все покупать в единственном на шахте магазине — и покупать не на деньги, но на медные бляхи, которые вместо денег выдавала компания.

Я приведу газетную вырезку, телеграмму из Питтсбурга:

«Питтсбург, Пенсильвания, 28 июня 1931. — К воскресенью подведена следующая статистика шахтерской забастовки и преследований шахтеров со стороны шахтовладельческой полиции. Убито шахтеров — 3. Тяжело ранено (с возможным смертельным исходом) — 19. Избито дубинками и отравлено газами — свыше 2000. Арестовано — 550».

Теодор Драйзер объезжал места забастовки. Он написал воззвание, названное им: «Я обвиняю». Драйзер рассказывал, что конные полицейские сгоняют шахтеров даже с тротуаров, совершенно запрещая ходить по «хозяйскому» асфальту улиц и дорог.

Было утро, знойное, как сковорода с плиты, и душное, как испорченная керосинка, нью-йоркское утро, гремящее всеми нью-йоркскими шумами, воняющее всеми нью-йоркскими запахами, защемленное небоскребами и политое солнцем. В то утро я ходил в дом 54 по улице Лафайета. Из окон этого дома видны — тюрьма, с одной стороны, и с другой стороны — суд. Далеко на улице, загибая в переулок, стояла очередь людей к этому дому. По улице полз конвейер автомобилей. Очередь пребывала в тишине. Я и Джо, мы вошли в этот дом. В казарме зала этого дома было ровно тысяча человек, таких же, как в очереди. Помещение было разгорожено канатами и загажено нищетой. В доме была тишина. Люди в доме стояли, сидели на окошках, сидели на корточках, сидели на полу. За столами скучали клерки. На каждом столе было по телефону. От времени до времени звонил телефон. Клерк, на столе которо-

го был телефонный звонок, вставал на стул с рупором в руке. Рупора не требовалось, ибо в казарме наступала немая тишина, такая, которая может быть только в ожидании. Клерк все же кричал в рупор:

— Нужен мастер для починки радиобуфета! два часа работы! пятьдесят центов час!

Я никогда не знал, что выражение надежды — есть жалкое, оскорбительное для человека выражение лица. Десятка три людей протягивали вверх руки, они не замечали, как отталкивают друг друга, — работа! надежда на работу! — И нет, должно быть, страшнее тона, чем тон человеческой мольбы, жалкий и унизительный для человеческого достоинства, — люди кричали клерку:

— Ради бога! — я хороший мастер!

— У меня семья!

— Честное слово, я хороший мастер, и у меня больная дочь!

Через двадцать минут другой клерк кричал от другого стола, также в рупор:

— Нужны двое для подрезывапия деревьев за городом! работы один день! полтора доллара в день!

Так повторялось семь раз в час. Так прошел час. Тогда первой тысяче безработных, которая была в казарме зала, предложили уйти из дома, чтобы уступить место тем, которые дожидались

Так ежедневно через контору по найму в доме 54 по улице Лафайета каждый день проходило восемь-девять тысяч человек. Работу здесь получило два-три процента всех приходивших сюда, работу сроком от суток до одного часа.

С нами вместе выходил с биржи прокарауливший свой час мужчина лет тридцати, в пиджаке, с шерстяным шарфом на шее вместо воротничка и без шляпы. Я пригласил его пойти с нами позавтракать. Это вне американских традиций. Он смутился. Он заотказывался. Он пошел с нами.

Вот уже полгода он ходит изо дня в день по улицам в поисках работы. Дважды он «покупал» работу, — то есть частная контора по найму давала ему работу с тем, чтобы половину заработка он отдавал конторе. Дважды он был в больнице, оба раза по одной и той же при-

чине — от голода. Один раз его подобрали в хлебной очереди, другой раз он упал на улице. Он помнит, что когда его подбирали на улице в карету «скорой помощи», полисмен тихо сказал санитару: «Голодающий» — и громко крикнул зевакам: «Ну, что вам здесь надо, разве вы не видели эпилептиков!?» — Последние ночи этот безработный проводил в сабвеях, и он ходил без шляпы, так как он не уплатил хозяйке за койку, и хозяйка, прогнав его, задержала все вещи.

Он сказал:

— Я всегда уважал частную собственность, но я не могу больше видеть, как люди едят, — глаза его повторили выражение того золотоискателя, которого я видел в Калифорнии, — этот человек был совершенно явно на краю физической катастрофы, — но также на краю и морального перерождения; он продолжал: — «Самоубийство, преступление, безумие, — я не знаю, — я хочу только одного — работы!»

42

И в этот же день я был у Теодора Драйзера. Он вернулся из Питтсбурга. Джо и я, мы приехали к нему в три. Это было за несколько дней до моего отъезда, и мы приехали к Драйзеру прощаться. По-летнему, вещи были убраны и квартира казалась пустою. Нам отпер Драйзер, никого, кроме него, не было дома. Мы сели в пустом его и громадном кабинете. Каждый раз, как я встречался с Драйзером, Драйзер поднимал тему о будущем социализма, — я думаю, он работал тогда над вещью круга этих тем. И в этот пустой день Драйзер вернулся к этой теме. Он поставил вопрос, который, по-видимому, он еще не разрешил и разрешал, для себя, по-своему:

— При социализме, при коммунизме, когда коммунизм пройдет по всему земному шару, останутся иль не останутся мерзавцы?

Драйзер — старик. У него совершенно старческие руки и совершенно старческая привычка держать в руках, аккуратно комкая, носовой платок. И у Драйзера совершенно молодые глаза. Драйзер — прекрасный

старик! Мы разговаривали через Джо. У нас была конституция, — через десяток моих фраз Драйзер говорил — «стап!» (точка), — и Джо переводил.

Я должен был отвечать на вопрос — будут или не будут при социализме мерзавцы? — Я говорил о социальных и биологических инстинктах, которые предрешают мерзавство в человеке. Я полагал, что социализм, уничтожив социальное неравенство, уничтожит мерзавство, связанное с этим неравенством, и социальные инстинкты будут перестроены в первую очередь. Я полагал, что очередь даже для ряда биологических инстинктов не за горами. Социальная медицина, равная для всех, обязательная для всех и профилактическая, рядом с грамотностью вообще и с социальной грамотностью в первую очередь, освободит человечество от эпилептиков, от туберкулезных и сифилитиков, перестроит здоровье человечества, — увеличит рост человечества, — перестроит биологию организма каждого индивидуума, создаст здоровую психологию здорового человека — и уничтожит, стало быть, биологическое мерзавство, связанное с мерзостью нездоровья, чахоток, чумы.

Драйзер, перебивая через десяток фраз, говорил:

— Стап! — слушал перевод, думал и спрашивал дальше: — Ну, а горбатые? — Ну, а затем? — посмотрите кругом, на земной шар, — человечество уже живет стотысячелетье и — какая мерзость!

Я предлагал вспомнить не стотысячелетье, но последнюю тысячу лет, или даже пятьсот, проследить время от средневековья до теперешних дней.

Драйзер сказал:

— Стап! — выслушал перевод и возразил предложением: — Зачем от средневековья и пятьсот лет? — возьмите полтораста лет Соединенных Штатов, — конституция прав человека и — такая мерзость, как в Питтсбурге!

Мы не договорились. Я верил и знал, что социализм освободит человечество от очень большого количества мерзости — социализм и будущее, ибо будущее человечества — социализм. Драйзеру это было не ясно, он не очень верил, и он лучше меня видел прошлое. Так пришел час обеда. В тот пустой день к этому часу

выяснилось, что и у Драйзера, и у нас обеденный час пуст. Мы решили обедать вместе. И Драйзеру, и мне надо было отлучиться по мелочным делам. Мы условились встретиться в ресторане, в стареньком французском ресторанчике на 47-й улице. Еще до своей поездки в Калифорнию я был в этом ресторане.

Мы с Джо приехали раньше Драйзера. И мы не нашли ресторана. Старые, трехэтажные дома на этой улице, целый квартал, исчезли, на их месте был пустырь, валялись битые камни. От ресторана уцелело одно лишь крылечко, — белая провинциальная каменная плита. Я сел на нее, чтобы ждать. Драйзер запаздывал. С пустыря вышел человек, сторож. Джо спросил его, — куда делись дома.

— Кризис, — ответил человек. — Дома оказались дешевле земли под ними. Их задушила рента. Хозяева их продали, чтобы не обанкротиться окончательно. Впрочем, один или два уже обанкротились.

Автомобиль Драйзера остановился прямо против отсутствующего подъезда. Драйзер привычно шагнул на камень крылечка. И только тогда он увидел, что он шагает в пустоту. И Драйзер заволновался, он вдвойне скомкал свой платок. Мы рассказали ему судьбу этих домов.

Драйзер внимательно рассматривал белый провинциальный камень крылечка, — такие камни есть повсюду — в Китае, в Турции, в России, в Англии. Ресторанчика не было.

Драйзер сказал мне:

— Вы говорите — будущее у социализма? и социализм перестроит инстинкты? — впервые в этом ресторанчике я был сорок лет тому назад.

Драйзер замолчал.

Человек с пустыря вставил свое словечко:

— На этом камне «Радиокорпорейшн» будет строить радионебоскреб, еще выше, чем Эмпайр-Стейт, о'кэй!

— Последний раз я был здесь неделю тому назад, — сказал Драйзер, — и в первый раз — да, сорок лет назад. Быть может, вы и правы о социальных инстинктах?

Это прощание с Драйзером было за несколько дней до моего отъезда из Америки. И я кончил мой

американский роман. О'кэй! — Направо и налево, на восток и запад от 47-й улицы располагался Нью-Йорк, остров Манхэттен. Когда Гудзон, чьим именем названа река, омывающая Манхэттен, подплыл к Манхэттену, навстречу ему вышли индейцы. Гудзон угостил индейцев водкой, которую индейцы называли огненной водой. Индейский вождь выпил больше остальных своих собратий, — выпил так, что тут же свалился в мертвый сон. Индейцы решили, что он умер. Но он проснулся после смерти, он сообщил, что был в блаженстве и побывал в потустороннем мире. Манхэттен водкой перешел от индейцев к европейцам, и на Манхэттене — как сказано — люди ухитрились побывать в раю. Если б тот райский индеец повидал теперешний Манхэттен — тот самый Манхэттен, где некогда с гранита он ловил рыбу! На самом деле, представить себе на минуту, что в эту скалистую от небоскребов местность, скалистую и изрытую пещерами, такими пещерами, что эти пещеры идут под Гудзоном, в эту местность, задохнувшуюся бензином без единой травинки на бетоне и железе, — волку, как сказано выше, страшно было бы на этих камнях, душно б стало от бензинного и каменноугольного удушья, — нервы волка расстроились бы от грохота города и от миллионов тех радиоволн, длинных и коротких, которые опутывали город, проникая через все, речами президента Гувера, математическими концертами и джазом, рекламой и информацией о забастовке в Питтсбурге. Это был уже вечер, когда мы распрощались с Драйзером. Бродвей захлебывался рекламою.

«Ундервуд — твоя машинка! — все! — больше ни слова!»

«Приобрети же наконец для твоего мальчика муку Canay!»

«Локки смягчает горло!»

«Как можно жить без рефрижератора?!»

— больше! больше! больше!

Рекламы гремели, орали, шарашили светом, обвалами света, бредом электрического света, всеми возможными и невозможными цветами и светами. По асфальту полз конвейер автомобилей. Электрические — с рекламных плакатов — автомобили лезли на небоскребы,

падали с небоскребов. Небоскребы замерзали рефрижераторами. В небе торчала красная электрическая женская юбка, вдруг она стала голубой. Но над нею вспыхнули слова:

«Не говори мне, что тебе никогда не улыбнулся случай!!!»

— Ну, а если, — ну, а если — — ну, ну, а если — вдруг — над всем этим — по самой середине неба — повесить плакат единственного немеханизированного с чикагских боен, с города Ала Капона — жирного, слезящегося, даже с обрезанными клыками — борова!?

43

4 июля 1776 года, в день объявления независимости Соединенных Штатов, в Филадельфии, американская женщина Бэтси Росс подарила Джорджу Вашингтону, первому американскому президенту, знамя, первое знамя Северо-Американских Соединенных Штатов. 7 ноября 1931 года, в Детройте, американская женщина Бэтси Росс, праправнучка первой Бэтси Росс, коммунистка, передала коммунистическое красное знамя детройтской организации коммунистической партии.

Камни и корни

Р о м а н

КОММЕНТАРИИ И ОБВИНЕНИЕ ПИСАТЕЛЯМ

1

Роман мог бы начинаться следующей главой.

Этакая глава могла б начинать романы во многих империях, королевствах и республиках 1932-го года, в штатах Северной Америки, во французских департаментах, даже в турецких губерниях.

Глава написана писателем средней руки.

... Весной такого-то года кабинет министров партии такой-то пал под давлением Верховного Тайного совета. К власти пришли кайцы [1]. Парламент был распущен на летние каникулы. В те дни, в продолжение сорока дней, было зарегистрировано столько-то банковских крахов, в результате коих миллиард и столько-то миллионов золотых таких-то денежных единиц, принадлежавших вкладчикам, исчезли бесследно. Финансовая паника вдвое увеличилась по сравнению с прошлым годом.

И только такой-то (он и мистер Смит, и месье Сальбеф, и Мустафа Экрэм-оглы, и геологический российский Карп Титович Попков), только один такой-то из

[1] То есть представители второй конкурирующей партии, отличающейся от первой утверждением русской пословицы о том, что хрен редьки не слаще.

города Скоттсборо всяческих префектур и губерний продолжал работать среди финансовой бури, едва скрывая перед посторонними улыбку самодовольства. В то время, когда нарикины (нувориши, скоробогатчики), нажившие деньги во время большой мировой войны, лопались один за другим, подобно мыльным пузырям, он, Карп Титович Сальбеф, все глубже и шире укреплялся в срединной части страны, распространяя свою деятельность и влияние до столичных центров финансового мира. Электроэнергетические предприятия, электротрамвайные дороги, рыбопромышленные и лесные концессии в колониях — все это служило предметом возрастания капиталов месье Попкова.

Его процветание совпало с выбором его в палату пэров, куда он прошел от своей префектуры в качестве крупного плательщика налогов. В палате мистер Экрэм молчал, от него нельзя было добиться ни звука. Даже газеты не интересовали его, и он не тщеславился, никак не заботясь о том, чтобы газеты оповещали о его существовании. Но на самом деле счастье повернулось к нему именно после того, как он стал членом верхней палаты, где он очень быстро свел знакомства с лицами правительственных кругов. Он очень скоро освоил секреты, каким путем приобретается монопольное право на организацию гидроэлектрического предприятия, как добываются концессии в колониях, и так далее. И именно эти секреты послужили неожиданным и необъятным источником благосостояния господина оглы Попкова.

Только в палате он познал об этих секретах, о том, что коммерсантам, занимающимся политикой, предоставлено широкое поле для легкой наживы.

Однажды он шепнул на ухо своему другу:

— Слушай, брат, я не знаю, что мне делать с массой моих прибылей. Не пожалей бросить в партийную кассу боссам на текущие расходы пятьдесят, сто тысяч, только не забудь попасть в верхнюю палату!..

Карп Титович имел двоих детей, дочь от законной жены, сына от мэкакэ. Дочь кончила год тому назад женский университет по факультету домашней науки. Ей суждено было получить мужа себе со стороны, который будет принят в род отца и будет наследовать богатства. Сын от наложницы не носил фамилии Карпа Ти-

товича. Он окончил гимназию и в этом году поступил на политический факультет государственного университета в столице. Жена оглы, по имени Мики, была хорошо осведомлена о существовании сына у мужа из утробы наложницы, но формально об этом ничего не знала. Мики, женщина старого закала, не могла представить себе незаконного сына от наложницы иначе, как сыном рабыни, и сын никогда не допускался в дом отца. Карп Титович, видя, что сын его очень способен, — в гимназии он шел не ниже третьего, — часто подумывал, не усыновить ли сына, чтобы сделать его своим наследником. Он хорошо знал истеричность Мики и до сего времени не вымолвил ни слова по данному вопросу. Мики ж мечтала о титулованном муже для своей дочери, о графе или виконте. Ее не оставляла также сладкая мечта, что, авось, и ее мужу, если дочь выйдет за графа, перепадет баронство.

По случаю тринадцатилетнего поминального дня о покойном отце оглы вернулся из столицы в родной город, где жили жена с дочерью. Мики, немного косоглазая, со старомодным пучком волос на голове, сидела за ужином перед мужем. Наливая алкоголь в посуду, протянутую мужем, Мики сказала:

— Папа, мне кажется, что пора бы уже вам получить звание барона. Какова, впрочем, цена барона в настоящее время? — Говорят, что барон де-Шево получил себе звание за полтора миллиона. Следовало бы и вам бросить такую сумму на это дело.

Тон разговора Мики был очень серьезен. Обычно несмутимый, оглы немножко смутился. Поставив невыпитый алкоголь, он ответил:

— То было старое время, когда «барон» давался за полтора миллиона. Теперь это не так легко. Но с орденом легче. Недавно мне посоветовали подумать над орденом первой степени Сокровища. Это не так дорого.

. . . .

И так далее.

Роман можно захлопнуть, не читая дальше.

Роман, кажется, начат автором глубоко средней руки, и словарь его, и манера строить сюжет, и сам сюжет, и типы — стандартны.

Читателю, прочитавшему в свое время Боборыкина, можно не читать Синклера Льюиса. Человеку, побы-

вавшему в земных пространствах, знание на глаз и на ощупь этих пространств, народов, живущих на этих пространствах, их историй и конституций дает право не дочитывать современных персидских стихов о помещичьих идиллиях, ибо они написаны идиллиями Пушкина, в его «Евгении Онегине», усадьбой Лариных, — иль не дослушивать рассказа о партиях Минсэйто («народного управления») и Сэйюкай («общества друзей политики») в Японии, ибо рассказы об этих партиях можно дополнить делами демократической и республиканской американских партий.

И следовало б написать роман, иль антологию, которые были бы построены так, как построена первая, выписанная выше глава. Этак в метельную московскую ночь, иль в бессонницу нью-йоркских ночных скрежетов, иль в бреде токийского нюбая бросить мысль и память в пространства и во время, построив на бессюжетности бессонницы сюжет!..

На самом деле помещичий быт теперешних персов и афганцев описан Пушкиным. На самом деле безработные, сидящие под заборами внешних валов Парижа, в переулках нью-йоркского Бауэри, на набережных Янцзы в Шанхае, ужинающие арбузом, одинаково ругают своих вчерашних боссов, одинаково не прочь поесть мяса. На самом деле разбогатевшие Мики на всем свете одинаково глупы. На самом деле Карп-Титычи Сальбеф-оглы по капиталистически-демократическим временам избираются в парламенты за взятку и жульнически богатеют везде одинаково. На самом деле социальная алхимия (иль химия) при равных социальных данных везде на земле, в пространстве и во времени, дает одинаковые реакции.

И роман, иль антология, под нюбайную муть, имели б первой фразой абзаца двадцатой какой-нибудь главы дела российского, старых времен, офицера, того, коий в тринадцатом году на пирушках певал офицерские свои песни, с припевом:

«И наделаем детей,
Офицеров и б......»

и заканчивались бы делами итальянских, румынских, прочих теперешних офицеро-фашистов, поющих, не-

бось, такие же поучительные песни. И в этой же главе историю теперешних китайских генералов вроде Фан Чжи-миня и У Пэй-фу можно рассказать историей шведско-германских генералов Тридцатилетней войны. Седьмая какая-нибудь глава наглядно б утвердила, что по тому, как на земле мужички чавось-небосят, почесывая себя во все отверстия, — по качеству чавось-небося каждой страны можно об этой стране судить.

Если бы главу, написанную выше, написал писатель-марксист (и здесь есть среднерукие), француз, американец иль китаец безразлично, то сюжетное развитие романа представить себе следует следующим образом.

Дочь выходит, конечно, за графа. Граф, конечно, дегенерат, дурак и бездельник с графским гонором. Университетская дочь несчастна. Оглы получил баронское звание. Мики счастлива. Барон-оглы преуспевает. Он дает взятки. Ему дают взятки. Покупает за бесценки и под нежность полиции человеческий труд, продает банки и вкладчиков, парламентские места, все. За вежливость у министров приобретает концессии. За сердце убирает с дороги, уничтожает мешающих людей. Барон Попков преуспевает на вулкане жесточайшего кризиса, за броней нечеловеческих безобразий. Барон Сальбеф озабочен лишь тем, что граф его дочери никуда не годен, титулованный идиот, он не сможет сохранить капиталов оглы и унаследовать его плодотворную деятельность. И барон Карп Титович окончательно решает усыновить своего сына. А сын — он учится на политическом факультете, изучает марксизм. Он руководит революционным студенческим кружком. Он — коммунист и молодой лидер. Он в революционном подполье, в рабочих пригородах, у бедноты, в социальной несправедливости, которую он помнит со дней своего незаконного рождения. Оглы вызывает к себе сына. Мистер Карп знакомит своего сына со своими делами. Сын едет на предприятия отца. Безобразия эксплуатации рабочих на фабриках отца заставляют сына порвать с отцом. У сына трагедия раздвоенности. Сын верен революционным идеям. Университетская дочь между тем несчастна при своем графе. Случайно она встречается с молодым лидером,

не подозревая в нем единокровного брата. Она любит. Она уходит от мужа. Она хочет быть ближе к неуловимому революционному лидеру. Романтическая история под Гамсуна. Объяснение. Но они узнают, что они — единокровные брат и сестра. Объяснение. Их руки вместе. Братство революционеров и революция — выше утех индивидуальной любви. Революционное движение нарастает. Оглы покинут детьми. Рабочие его заводов, его парламентские жульничества, его покинутые, купленные и проданные любовницы, — все ужасом берет его за горло. Первомайская демонстрация. Картина Репина «Какой простор!»

Если бы главу, написанную выше, написал писатель-фашист (среди таковых очень много среднеруких!), то —

Вышенаписанную главу написал японский писатель Тойохико Кагава. Переведена на русский язык она Сергеем Никодимовичем Сьодзи. Роман называется по-христиански: «Дни, когда возопиют камни». Роман печатался (и не закончен печатанием) в 1932-м году. По всем вероятиям писатель Кагава мира не объезжал, и роман его, написанный на японском материале, написан для японского читателя.

Оглы в романе именуется — Йоодзоу Фукадзава. Мики — так Мики и называется. Дочь именуется — Цуреко. Сын — Йосио.

У жены Мики на голове был марумагэ — национальный японский пучок, столь же традиционный, как пучки российских купчих, тот, который заставлял японских женщин спать не на подушках, а на скамеечках, подкладывавшихся под голову и поражавших Пьера Лоти. У дочери Цуреко (что значит — Цапля, — уважаемая птица) этого пучка не было, по фасону коего, по убранству, в России, Японии, Голландии и в прочих странах определялось социальное и половое положение женщин. У Цуреко этого пучка не было, как он отсутствует сейчас у большинства молодых японских женщин, оставив волосы все же длинными и зачесанными так, как причесывали волосы женщины в Европе перед мировой войной. Женские волосы срезаны в японских рабочих районах да у студенческой молодежи.

Цуреко окончила университет по домашнему факультету, и начало романа застало ее в чине председа-

теля любительского кружка молодых поэтов и поэтесс. В вечер существенных разговоров супруги с супругом о баронском звании и об ордене Сокровища первой степени выяснилось, что в поэтический кружок дочери приехал сэнсэй — учитель — столичный поэт подобно тому, как к московским купчихам приходили учительствовать символисты, как и до сих пор различные школотворцы хаживают по парижским, лондонским. венским, варшавским салонам, начиная от нью-йоркского Отто Кана. Сэнсэя поселили в саду, поговорили с сэнсэем о том, что наступил сезон цветения азалий, — и в этот же вечер решили дочь выдать замуж.

И — выдали. Выдали за барона Сэнбонги, не то биолога, не то физика, который в продолжение двухсот страниц романа молчит, как рыба, лирически собирается в туманную Германию, но едет на Карафуто, на Сахалин, на рыбнолесные концессии оглы, не с тем, чтобы изучать хозяйство Фукадзава, но для изучения никому неизвестных белых птиц. Барон — молчит, лиричен, изучает птиц, — стало быть, по Тойохико Кагава, тип положительный. У барона Сэнбонги есть брат. Тот активен. Тот появился в романе пьяным, вступив с отцом в мордобой, и исчез из романа, посаженный в долговую тюрьму за подделку векселя, классический аристократический тип, оползавший сотни романов.

Жених Сэнбонги найден был при помощи свата. Сватом был партийный — куда босс! — лидер! — лидер, выдуманной Кеньюкай (читай Сэйюкай!), господин Тойонари Тимура, Тимура-сан (и, собственно, не сан уже, а — сэнсэй) приехал получить с оглы пятьсот тысяч иен в партийную кассу на пополнение выборных расходов.

Сэнсэй Тимура поделился с Фукадзава новостями.

«— Знаете ли вы два новых способа в тактике скупки голосов?! Один из них — «тараймаваси» — «передача умывальника с рук на руки». Человек, конечно, наш человек, идет на баллотировку и опускает в урну поддельный, заранее заготовленный листок-бланк, а официальный листок, полученный им при входе в баллотировочный зал, он выносит из зала в кармане. На вынесенном листке — вне зала, конечно, — пишется имя и фамилия нашего кандидата. Бланк опускается вторым лицом, выносящим в свою очередь новый форменный

листок. И так далее. При этом способе каждый выборщик, приносящий чистый листок, вознаграждается пятью иенами... Как вам нравится!? Ха-ха!

«— Хм, это превосходно, — сказал Фукадзава.

«— Второй способ довольно прост. Человек пишет на листке фамилию кандидата и немедленно промокает написанное своею ладонью. Отпечаток на ладони предъявляется агенту кандидата, от которого немедленно следуют две иены.

«Фукадзава и жена его Мики, которые слушали все это с глубоким интересом, дружно расхохотались.

«— И вы, наверное, пустили таких немало? — спросил Фукадзава.

«Тимура ответил, расхохотавшись веселым басом:

«— Ха-ха!.. дураки ж те, которые нынче этого не делают!.. Ха-ха!..»

Поговорив таким политическим образом о справедливостях парламентаризма, обговорив партийную взятку, обговорив хищническое хозяйство на Карафуто, сиречь на Сахалине, где —

«... нет спасения, дельцами вырубается вдвое большее количество против того, что разрешается Сахалинским управлением, а следы заметаются лесными пожарами», — а поэтому, —

«... если рубить лес на Карафуто так, как он рубится сейчас, то, наверное, нам скоро придется бросить Карафуто. Да и рыбная ловля там становится все меньше. Единственная вещь там, на которую можно рассчитывать, — это каменный уголь. Тимура-сан, нельзя ли через вас выговорить более или менее выгодные условия у Морского министерства?... — только я не знаю, верно ли утверждение, что на Сахалине имеются залежи угля в два миллиарда тонн?..», — обговорив и это дело, совершенно аналогичное американскому гардинско-типотдомовскому нефтяному «трабл'у», парламентарии обговорили и миаи — по-российски сказать — смотрины, — на коем должны были встретиться барон Сэнбонги и Цуреко.

Миаи состоялся в Токио, в ресторане. Разыграно было, что женихи встретились случайно, сопровожденные родителями и сведенные Тимура. Как раз после этого миаи и бил брат жениха своего родителя-барона по физиономии.

Ресторан был шикарен и европейского стиля. Сидели не на полу, а на стульях. За стеной чествовали обе-

дом бельгийского посланника господина Альберта Бруние, там ожидался премьер-министр. Господин Тимура двоился между двумя обедами. Мики оживленно беседовала с баронессой-матерью о том, что род Сэнбонги происходит от рода Фудзивара, японских Рюриковичей, и о мон — о гербе рода Сэнбонги. Каждый род имеет свой мон. Монов — несколько десятков тысяч. Основных монов — восемьдесят. Оказалось — у Сэнбонги герб основной и состоит из пиона, а у Фукадзава — из трех дубовых листьев, совершенно незначительный и никак не основной.

Под эти пионо-дубовые разговоры дам, обсуждавших красоту гербов на кимоно и хаори, мужчины проводили время — в этом европейском ресторане — в масштабах уже пятигербовых, тех, где негде ставить пробу. Автор романа знакомит читателей с понятиями сооси и ряку.

Сооси:

«это многолюдные группы людей, появившихся после установления конституционного строя. Это — политические забияки, дельцы, пускаемые политическими партиями по различным темным делам, в достижениях преднамеченных целей не пренебрегающие никакими средствами, в том числе и грубой силой. Сооси работают под флагом патриотизма. Имеются также многие, которые, прикрываясь званием сооси, занимаются просто вымогательством» (примечание переводчика).

Ряку:

«сокращение слова рякудацу — грабительство: так именуется группа людей, занимающихся вымогательством под красивыми словами заботы о восстановлении прав неимущих» (примечание переводчика).

Пятигербовые дела:

«.. бой привел в комнату Фукадзава человека, похожего на сооси. Он был одет в кимоно и хаори из бумажной материи с пятью гербами... Увидя Тимуру, он вынул свою большую визитную карточку и обратился скороговоркой:

«— У меня к вам маленькая просьба. Прошу побеседовать со мной одну минуту.

«Тимура, приняв огромного формата визитную карточку, смотрел то на нее, то на вошедшего. На карточ-

ке было написано: «Тюгоро Ооки, председатель исполнительного комитета подготовительного собрания по учреждению политической партии Ниппон-Коккэн-то — японской конституционной партии». Прочитав карточку, Тимура понял, что визитер явился за деньгами.

«— Сегодня вечером у меня здесь два собрания, куда я должен явиться. Я очень занят. Нужно ли непременно сегодня иметь с вами разговор?

«— Да, я непременно хотел бы не позднее сегодняшнего вечера...

«Ответив так, визитер вынул из своего грудного кармана пакет и стал медленно его разворачивать.

«— Говоря откровенно, ваше превосходительство, среди неимущего класса в настоящее время идет подготовка к учреждению здоровой политической партии в контр левого коммунистического крыла. Из-за отсутствия средств нам приходится обращаться туда и сюда. Просили бы и вас немножко помочь, хотя я знаю, что неудобно обращаться при такой обстановке...

«Вынув из пакета тетрадь, он перелистал ее. Это была тетрадь для подписки пожертвований как общественных так и правительственных лиц. Тимура прочитал, что там подписались лидеры партии, как Ненъюкай, так и Коосей-то. Тимура сказал запросто:

«— Сегодня я не имею денег.

«— Достаточно вашей подписи. Я явлюсь к вам на квартиру.

«Жадный профессионал-ряку выразил на лице жадность и наглость, свойственные всем сооси. Тимура докучливо вынул бумажник из кармана, достал десятииеновую бумажку и положил ее на тетрадь.

«— Прошу этим довольствоваться.

«В это время вошел краснорожий человек в пиджаке, заросший густыми волосами. Он обратился к Тимура:

«— Ваше превосходительство, как долго мы не встречались! Я потерял занятие. В бедноте... Нельзя ли немножко мне одолжить? — Желаю ехать в Дайрен. Иен бы семьдесят на дорогу.

«Говоря так, он выставил свои большие, в большом градусе близорукости глаза сверху очков и собрал вертикальную складку между бровями.

«— Как знаете и вы, мне понадобилось много денег на выборы, — ответил Тимура. — Хотел бы для вас сделать, но у меня нет лишних иен.

«— Шутки шутите, — сказал человек в коричневом пиджаке и прибавил надменным тоном, производя давление на Тимура: — Этому, с пятью гербами, вы сделали одолжение, а следовало бы мне, потерявшему занятие.

«К этому времени вошел третий, остриженный по-французски, по-видимому газетный корреспондент.

«— Тимура-сан, там, в следующем этаже, в настоящее время идет подготовительный митинг по учреждению новой политической партии Коккэн-то в противовес левому крылу бедноты... Каковы ваши соображения по поводу этой партии?

«Корреспондент поставил карандаш на бумагу своего блокнота, ожидая слов Тимура. Тимура хорошо знал этого корреспондента. Он умело начал диктовать:

«— Вся политика вообще должна быть вполне легальной и строго сообразующейся с государственной структурой. Очень жаль, что молодежь настоящего времени увлекается идеями Европы и Америки и идет неудержимо по уклону налево. Я считаю большим счастьем, если образуется здоровая, легальная политическая партия неимущего класса в лице Коккэн-то...

«Довольствуясь этими словами Тимура, корреспондент исчез. Человек в пиджаке коричневого цвета сказал:

«— Большая разница с действительностью то, что вы сейчас диктовали. Это — группа бродяг, намеревающаяся создать партию с целью выжимать деньги и у буржуазного класса, и у бедноты. Я явился сюда с целью установить, какую резолюцию они сегодня примут. — Говоря так, он взял сигару из коробки, поставленной на столе, и закурил. — Хорошо, я давно не курил сигар!... — прошептал он и продолжал: — Ваше превосходительство, помогите мне путевыми до Дайрена!

«Он, не взирая на то, что в комнате присутствовали дамы, положил руки на стол, оборачиваясь спиной к дамам. Он бросил злобный взгляд на Тимура.

«— Если вы не дадите мне денег на дорогу, у меня не останется другого выхода, как умереть. Для меня уже не осталось никакого дела вообще. Я думаю убить когонибудь, а затем покончить с собою. Как вы думаете?

«Он вынул браунинг из кармана и положил его на стол.

«Баронесса Сэнбонги, Мики Фукадзава, племянница мадам Сэнбонги переглянулись и поморщились. Кандидат естествознания Йоситэру Сэнбонги (жених) сидел совершенно покойно, отвернувшись к окну... Цуреко строчила было стихи, записывая их в маленькую тетрадь фаунтин-пеном. Она бросила все это и подошла к Тимура, который медлил с ответом на слова человека в коричневом пиджаке. Она обратилась к этому человеку:

«— Сколько вам нужно, чтобы вы могли поехать в Дайрен?

«То обстоятельство, что молодая, красивая и нарядная женщина обратилась к нему неожиданно, застало вымогателя врасплох.

«— Да я полагаю, иен за тридцать можно достичь Дайрена. Но это действительная стоимость билета. За эти деньги нельзя получить ни еды, ни чаю... — ответив так, человек правой рукой откинул назад нестриженные лохмы волос.

«— Я дам вам столько денег. Вы поезжайте в Дайрен. И прошу не заниматься делом самоубийства посредством револьвера!..»

... Когда вожди и сваты остались одни после этих визитеров, они беседовали по душам:

«Баронесса Сэнбонги нежным голосом спросила, обращаясь к Тимура:

«— Всегда они так нахальны?

«— Нет, это еще ничего. Дашь немножко денег, иные, бывает, бросают их на пол, устраивая страшные сцены. В штабе нашей партии вы найдете таких в неисчислимом количестве. Эти элементы только этим живут.

«— Да, беда с ними иметь дело. Очень надоедливы, — сказал барон Сэнбонги, разглаживая свои усы.

«— Но тем, кому нестерпимы эти люди, им нельзя заниматься политикой, — сказал значительно Тимура. — Бываешь в учреждениях, больше половины визитеров являются такого рода просителями. А если не дашь, — злословие, угроза, печатание в газетах разных небылиц... Так мы все сдаемся и даем понемножку. Иначе нет исхода. Говоря иначе, эти элементы могут быть названы политическими паразитами.

«— Но мы не в праве слишком строго их критиковать, — сказал запросто Фукадзава. — В сущности го-

воря, и я, кто знает, может, являюсь одним из этих паразитов.

«— В таком случае у паразитов много сортов, — щуря нос, пристально глядя на Фукадзава, отозвался Тимура.

«— Если эти являются глистами, то мы должны быть названы солитерами, — опять запросто сказал Фукадзава.

«— Если так, то к чему я, например, должен быть приписан? — весело рассмеялся Тимура. — Наверное к дистома, ха-ха!..

«Все расхохотались удачной остроте Тимура. Явился слуга во фраке, молвил:

«— На обед к господину бельгийскому посланнику пожаловал господин премьер-министр и просит вас, господин Тимура...»

Так, за такими парламентскими разговорами, шел миаи, средневековейшая традиция смотрин, в России в частности, отмененная Петром Первым, но дожившая в быту вплоть до революции Семнадцатого года, а в Европе кое-где существующая и до сих пор, совместно с гербами.

Но речь идет о капиталистическом парламентаризме.

Барон Сэнбонги, кандидат естествознания, через сотню страниц романа, ездил на Карафуто, на Сахалин по воле тестя, для ознакомления с богатствами оглы и для изучения белой птицы.

Заехал по дороге на Хоккайдо, в Хакодате.

«То было место, где рядами стояли ночлежные дома, в которых останавливались люди, идущие на заработки или на Карафуто, либо на Курильские острова. Это составляло улицу рабочих. Двухэтажные дома из досок, покрытые оцинкованным железом. Одноэтажные бараки. покрытые досками. Дорога то горбами, то впадинами. Голые женщины. Толпа женщин около общего водопроводного крана».

«— Ну, как, было известие от мужа? — спросил неожиданно агент женщину, поддувавшую огонь на жаровне веером, совершенно раздетую, с одним широким поясом стыдливости.

«— Какое известие!? мы даже не ждем! — говорят, что поймано всего шесть штук сельдей. Нельзя ли получить немножко кредита от Общества?

«— Попробуй попросить. Там стоит молодой барин, сын председателя Общества, — агентом было сказано негромко, в тоне подстрекательства.

«— Хорошо, сейчас. Но вы знаете, что умер ребенок у Хидекичи-сан?.. Они вчера никак не могли похоронить, у них совершенно нет денег. Бедная Хидекичи-сан! — она плачет, что нет у нее извинения перед мужем, ей не на что даже известить его. Мы усердно просим в первую очередь помочь Хидекичи-сан!..

«Стоя у входа, они нашли женщину, занимавшуюся стиркой. Трое тихо подошли к ней...

«— Наконец... трудно было... жаль!.. говорят, еще не похоронен? — приветствовал агент.

«Та, даже не оборачиваясь к агенту, сказала:

«— Зинбей-сан, заведующий ночлежным домом, сделал подписной лист и обходит добрых людей. Думаю, сегодня можем похоронить.

«Агент заглянул во внутренность лачуги и не увидел там трупа ребенка, спросил:

«— А где же ребенок, который умер?

«— Разве вы не видите, я ношу его на спине. Вот этот, которого я ношу на спине, — мать ответила ясными, простыми словами, и она закрыла свое лицо передником. — Мне все еще кажется, что он не умер. Он уже не говорит. Вчера я заснула, обнимая его, бедного. Были бы у нас деньги, мы могли бы вылечить его в больнице. Отец работает на рыбалке, на Карафуто. Отец действительно любит своего ребенка. Я телеграфировала, но оттуда нет ни копейки... А нынче ребенок умер, и я вероятно буду брошена мужем...

«Небыстрорассудительный барон стоял молча. Йосио шепотом сказал ему:

«— Надо было бы дать на похоронные расходы.

Добряк-барон немедленно высказал согласие.

«— Да, конечно. Сколько надлежит оставить на похороны? — спросил он, обратившись к агенту. — Муж этой женщины работает на наших промыслах?

«— Да, у всех, здесь живущих, и у этой, и у той, которой нечего надеть. Мужья их работают на наших промыслах, и они кругом задолжали Обществу.

«Соседка, наблюдавшая за господами, подбежала к господам мелкими шагами и заговорила, спеша:

«— От души благодарим вас. Вот и похороны будут по-человечески, и ребенок может теперь попасть в рай...

«Скоро перед домом образовался забор голодных людей. Агент сообразил вывести отсюда господ к автомобилю...»

Исследователь какучо, то есть белых птиц, поехал дальше, на Карафуто. Ехали не дремучими лесами, как предполагалось, а песчаной пустыней обгорелых пней, ибо, как говорилось выше —

«лесорубы занимаются рубкой леса воровски вдвое или даже еще больше того, что им было разрешено. А во избежание суда за воровскую порубку леса, они жгут леса, чтобы не оставлять следов».

«Из-за того, что вырубаются леса и пускаются по рекам вплавь, горбуша и кета перестали заходить в реки. Отсюда, и полное уничтожение рыболовного дела на восточном берегу Карафуто».

Это — второстепенный мотив путешествия, в дополнение к белым птицам.

Второстепенным мотивом следует отзвучать и следующей цитате, хотя аргумент о переселении в Маньчжурию в силу перенаселенности Японии являлся японским козырем на заседаниях Лиги Наций:

«... по северной широте Карафуто расположен почти одинаково с Англией, а площадь Карафуто вам известна. Когда японцы привыкнут к местному земледелию, два или три миллиона их семейств легко могут прокормиться здесь».

Мотивчик начинает крещендировать в дополнение к голым женщинам и к мертвому ребенку за спиной матери следующими цитатами.

Приехали на промысла, на концессии, в колонии.

« — На каком заводе начат конфликт?

«— На заводе Экстор. Переговоры не увенчались мирным исходом. На Карафуто до сего времени мало случаев такого рода конфликтов. Как-то стыдно перед светом, но нам придется примириться, думая, что это — неизбежное зло нашего времени... Так вот, прошу вас исключить Экстор из числа осматриваемых вами предприятий, — он не исключает опасных последствий...»

Стало быть, осматривали предприятия благополучные.

«— ... эти рабочие в Уэсиба. Как вам известно по контракту, заключенному с нами, они не получают жалованья, но получают известный процент с улова. Раз, как

в нынешнем году, нет никакого улова, то, значит, у них нет средств добраться до места их отправления. Как быть? — к счастью большинство из них — люди из Хакодате. Десять иен вполне хватит им на дорогу. Не лучше ли теперь разойтись с ними? — или найти какой-либо иной способ для их утилизации? — конечно, им даны авансы, которые пропадут для Общества, если отказаться от этих рабочих, — но рыба не ловится. Вопрос о плане действий был по телеграфу передан директору Общества в начале прошлого месяца. Ответа нет...»

«Уэсиба оказалась маленькой деревушкой, стоящей на берегу в самом устье реки Хоронай-гава. Бараки, покрытые оцинкованным железом. Лодку привязали к берегу... Пошли к баракам... зашли в барак...»

« — Тайсио, — ваше превосходительство! — нельзя ли попросить разрешения оставить этого человека здесь на два-три дня? Он мой товарищ, он в прошлом году работал здесь, а в этом году он работает над укреплением берега. Он принужден искать убежища. Как видите, его там били. Он едва спасся. А его товарищ убит из-за того, что он будто бы слишком упорен. Говорят, его посадили в бочку от цемента со вбитыми гвоздями. И эту бочку катили с горы. Так он там был убит. Чудо, что этот, слава Богу, спасен. Пожалуйста, не откажите спасти этого человека!..»

«Начальник завода Абэ обратился с вопросом к рабочим:

«— Сколько человек между вами, которые желают вернуться домой?

«— Конечно все! — громко ответил молодой рабочий».

«... когда Абэ дал полтинник, то остальные с босыми ногами побежали к нему. Начальник завода начал убегать. Тогда все бросились к директору... Очередь дошла до барона, которого схватили за грудь. Сэнбонги струсил: он попал в такое положение первый раз в жизни...»

Завода Экстор барон не осматривал, так как там был «конфликт». На промыслах Уэсиба никаких конфликтов не было.

Свадьба была начата миаи, феодальным обычаем.

Барон Сэнбонги был принят в дом, усыновлен, средневековым образом.

Сын оглы, незаконный Йосио, студент политического факультета, рожден был от гейши, в средневековых традициях.

Сын не носил фамилии отца. Сын не был принят в доме отца. Мики была счастлива и официально ничего не знала о незаконном сыне, как полагалось это во всех странах и у всех народов. Мики считала сына от гейши сыном рабыни.

И следуют отрывки разговора отца с сыном, родившимся в средневековье:

«— Йоу, давно не видались! — сказал отец. — Ну, как? доволен университетом? — Говорят, нынче студенты вообще стали красными, — гарантирован ли ты!? — отец полил холодную воду на голову сына.

«— Но, папа, я думаю, что те студенты, которые принимают красную окраску, они, скорее, более честные. Они имеют точку своего поведения в известной позиции человечества...

Отец, занявший чинно место перед столом, покуривая сигару, был серьезен и слушал внимательно.

«— Но я сейчас только что слушал подробности от министра народного просвещения. Ведь это беда!.. Ведь это простые шпионы русских!.. Можно сколько угодно питать своеобразные симпатии к рабочему и бедному классу, но нельзя приниматься за такие дела, которые могут привести нашу страну — нашу Японию — к гибели!.. Ты причастен к потребительскому обществу студентов? — спросил отец тоном обличения, что с ним бывало редко.

«— Да.

«— А не возникло ли это учреждение по указанию из Москвы?

«— Нет, ничего подобного. Оно не более и не менее, как одна из чистых студенческих организаций.

«— Но, по словам министра, там за кулисами прячется рука левого направления?

«— Не могу отрицать. Но большинство студентов мыслит легально и думает достичь целей легальным образом.

«Отец бросил сигару в пепельницу. Его лицо было неудовлетворенно. Он взял веер, лежавший на столе, обмахнулся им, сказал:

«— Стало быть, короче говоря, потребительский кооператив студентов является агитацией, не признающей идей капитализма?..»

И следующий эпизод.

«Йосио вошел в свою комнату. Там он нашел студента Коокити Томита, центральную фигуру сеттльмента государственного университета, и девушку с остриженной головой.

«— Йоу! Томита-кун! товарищ Томита! — добро пожаловать! — приветствовал Йосио.

«Гость обратился к нему скороговоркой:

«— Кими, друг, мы явились с просьбой. Быть может, вам неудобно, тем не менее прошу держать эту девушку у вас скрытно в продолжение нескольких дней. Ее преследует полиция. Знакомьтесь. Она бросила высшую специальную школу в Коисикава на втором курсе. Ее крутит левое движение с места на место. Она в связи с лидером левой партии Исэ, который ныне проводит тюремную жизнь...»

Старые картины, облетевшие страницы писателей на всей земле!..

Но миаи был. И Мики счастлива.

И по роману разбросано множество феодальных пейзажей.

Само «усыновление», принятие в дом, в семью, в род барона Сэнбонги — средневековейшее, феодальнейшее занятие. В России так принимали в дом — в деревнях батраков, в городах — приказчиков. На всем свете, а сейчас особенно в Америке, «парвэню» гонялись и гоняются у американцев за титулованными именами.

У японцев есть правильная пословица: «Не будь усыновленным, если у тебя есть три горсти отрубей».

В Японии кланы сильны, как ганзейские гильдии.

В Японии женщина никогда — еще до сих пор — не принадлежит себе, освобождая себя так же с одной стороны, как в России во времена Софьи Перовской, а с другой — способами английского суфражизма. В Японии, если женщина выходит замуж, она принадлежит не мужу, но роду, и, если она разводится, вещи растаскивает напополам (или как?) род, а не муж и жена. (Уже за пределами романа Кагавы, в семье профессора Н. был такой процесс, когда дочь профессора вышла за-

муж за молодого художника, поехала с ним в Париж, овдовела в Париже, и отец ее вел после этого бракоразводный процесс с тем, чтобы его дочь из рода умершего мужа вернулась в род отца.)

В романе на улицах то закричат, навевая прохладу, продавцы золотых рыбок, то донесется монотонный свисток меняльщика рау, бамбукового чубука национальных японских трубок для курения. То заревут звуки чин-дон-я, шутовской процессии, рекламирующей корень жень-шэнь иль чайный домик, или кино такое-то, — их трое, чин-дон-я, два мужчины и одна женщина, они срамно одеты, они идут под громадными шутовскими зонтиками, они танцуют, орут, поют и наяривают в барабан, литаврами, на сямисэне.

Такими звуками оглашались улицы в России во времена горячих сбитней, в Европе в дни Семилетней войны, в год войны Алой и Белой розы. Такими звуками оглашаются до сих пор Пэйпин, Калькутта, Стамбул, Александрия, а в Лондоне, в Париже, в Берлине, Нью-Йорке они попрятались по карнавальным и ярмарочным неделям.

Средневековые города создавали невероятные шумы, невероятные профессии, невероятные отношения, и они жили особой породой средневековых людей и традиций. Средневековье теперь в старых городах столбовой дороги истории, оставив в назидание потомству замки среди городов да вестминстерские да сантпабловские известняки соборов, раздвинувшись перспективами электричества, трамваев, автомобилей, автобусов, американских магазинов, — отодвинулось в переулочки, где каждый сосед торгует тем, что сам производит, где рядом с бондарем пиявко-разводитель, а рядом с пиявко-разводителем делатель бамбуковых свистулек, где неизвестно, чем и как существуют люди, ибо похоже, что все они торгуют только друг с другом, живут только друг другом, соседо- и самопоеданием. Это: мещане, мелкая буржуазия, причем французское слово буржуа, равнозначное немецкому бюргер, и значит дословно — горожанин. Эти люди остервенело жмутся в своих переулочках, остервенело хранят свои традиции, боятся и не знают будущего, боятся, не знают и не понимают настоящего.

Такими переулочками занята большая половина Токио.

Таких переулочков очень много осталось в тех же Пэйпине, Калькутте, Стамбуле, Александрии.

Там делаются замечательные кустарные вещи, единственные, каждая не повторима. И там во мраке ночи, зацветающей азалиями, слышна средневековая песня:

> «Исэ-ва Цу-дэ моцу!
> Цу-ва Исэ-де моцу!
> Овари-Нагоя-ва сиро-дэ моцу!»
> (Провинция Исе держится портом Цу,
> Порт Цу держится провинцией Исе,
> Город Нагоя провинции Овари держится замком!)

В Токио, в районе Хондзё, на улице Нарихира-тё, в ночлежном доме для бедноты, жила гадалка. Люди на таких улицах разговорчивы и всегда знают, что у соседей в миске.

Лили дожди нюбая.

«— Доброе утро! сегодня опять скучный день! — приветствовала гадальщицу жена квартировавшего в соседней комнате продавца амэ, пшеничных конфет. На ней был мужской хантэн, короткий до ляжек, с открытым передом халат. Чтобы закрыть свой перед, женщина имела передник из грубого холста, полученный случайно у лавки, продающей сакэ. Передник у нее держался веревкой. Волосы ее, из-за долгого отсутствия помады, потеряли лоск, побурели, локоны повисли на щеки и шею. — Мы только что припасли амэ на целый иен, как начались дожди. Три дня мы не можем выходить, а по ночам целые нападения мышей... Но гадальщица — это дело прочное. Дожди — ничего. Будут клиенты, и вас не беспокоят вопросы пищи.

«Гадальщица, с маленьким марумагэ, пучком на голове, хотя и знала, что собеседница подтрунивает над ней, нашла нужным ответить вежливо:

«— Нет, везде одинаково. Мы уже три дня без дел. Дождь — для нас общий бич.

«Женщины зажигали свои очаги щепками, собранными на улице.

«— Еще два дня дождь, и у нас нечем кормиться. Остается только покончить самоубийством всему семейству.

«— Знаете, вот тот нищий, высшего класса, специалист по визитам к разным лицам, который жил у нас на втором этаже, он еще перед дождем говорил: — нет уже мочи кормиться, я намерен поступить в даровую больницу Йдзуми-баси, чтобы провести беззаботно два-три месяца. — И он уже в больнице.

«— Это еще ничего!.. Вы знаете, чернорабочие, которые тоже во втором этаже, — они придумали профессию визитировать по пустым, оставленным без присмотра квартирам, откуда они вытаскивают разные вещи. Очень доходное занятие... Эта партия, войдя в соглашение со старьевщиком с того угла, ежедневно выходит на работу...

«Мимо собеседниц прошла в дом молодая женщина. Она была одета в бумажное кимоно. На ее шее остались следы пудры. Жена продавца амэ, пристально поглядывая на огонь под котлом, прошептала:

«— И эта в последнее время выходит на улицу. Стоит сочувствия. Она с сыном от первого мужа. Мальчика она хочет отдать в хорошее училище. Но не имеет на учебники. Вот, с месяц, как она торгует собой. А муж уже полгода как потерял работу. Очень жаль!..

«— Мой муж уже восемнадцать лет не встает с постели, — сказала гадалка, — он разбит параличом...»

«Поговорив этак на этакие темы горьковской пьесы «На дне», приготовив мужу пищу на весь день, —

«...гадальщица пошла на работу. С дзэйтику, бамбуковыми палками для гадания, и с ханги, бамбуковыми дощечками для гадания, она вышла на дорогу Йосивара-кайдо, дорогу, ведущую в Йосивара, квартал публичных домов. В тесном переулке находился гадальный дом Такэмото-Тэммэйдо. В переулке густо пахло горелой моксой, чернобыльником. Этот запах объяснялся тем, что Рисуке Такэмото, хозяин гадального дома, занимался, кроме гадания, также лечением путем прижигания окю, моксой.

В приемной лежал молодой человек лет двадцати пяти, по-видимому приказчик. Огонь, переданный моксе курительной свечой, с розовым светом, приближался к спине молодого человека. Тело молодого человека рефлекторно сжалось еще раньше, чем огонь коснулся спины.

«— Жарко! больно! — воскликнул молодой человек.

«Молодой человек, страдая от боли, остановил дыхание, схватив голову обеими руками.

«В передней зазвонил колокольчик. На плечах доставили больного почками, глубоко стонавшего.

«Опять зазвенел колокольчик. Оказалась визитерша, молодая женщина с европейской прической, роскошно одетая. Она была в дождевике синего цвета и с зонтом в руке.

«— Чем можем служить? — спросила гадальщица.

«— Я просила бы посмотреть для меня эки (старинную, многосотнестраничную гадальную антологию).

«Гадальщица взяла увеличительное стекло и стала рассматривать линии руки пришедшей дамы. Затем она открыла эки и стала водить по письменам бамбуковой палочкой.

«— В душе вашей большое колебание... — сказала гадальщица. — Вы состоите в браке и вы питаете в себе неудовольствие настоящим вашим супругом...

«— Откуда вы все это знаете!? — воскликнула молодая женщина, глядя с выражением страха и удивления».

Йосио был сыном гейши. Мики считала его сыном рабыни. Мать Йосио умерла, когда ему было четыре года. Он рос у тетки, у старшей сестры матери, также гейши, которая так же, как мать Йосио, имела патрона. Она выбилась в люди и имела свой чайный домик, притоно-ресторан. Йосио жил в Токио в буддийском храме Рэндзодзи, ради экономии и в силу своей лиричности. Он читал «Историю материализма» Ланге и Паскаля. Первая женщина, к слову сказать, которую он знал, как женщину, была полуактриса, имевшая патрона, то есть содержателя. Тетка Йосио в провинции состарилась, ее ударил паралич, кредиторы отобрали ее чайный домик, жизнь сдала ее на свалку. Она написала племяннику, чтобы он помог ей, и она указала адрес единственной ее (и его со стороны матери) родственницы — гадалки с Йосивара-кайдо, прося и к ней обратиться за помощью.

Йосио пошел разыскивать гадальный дом Такэмото-Тэммэйдо. Там встретились трое родственников: старуха-гадалка и единокровные брат с сестрою. Судьбы их были разны.

Иные женщины на земле с высшим образованием, оказывается, ходят к гадалкам не только в Париже, Нью-Йорке и Буэнос-Айресе.

Но времена идут. Цуреко не сочла Йосио сыном рабыни, как считала ее мать Мики. Брат и сестра пошли бродить по городу и вечер докоротали в тишине храмовой квартиры Йосио.

Они говорили пустяковые вещи первого знакомства и осознания своего родства.

Они были в Асакуса.

Они говорили о нищих, об аотэндзё — о старшине, о старосте нищих, об их организации, традициях, быте, — о том, что давно рассказано в старинной английской «Трехгрошовой опере нищих», о том, как токийская полиция, в частности, — и пока — совершенно бессильна против этих нищих и тэкия — шарлатанов, соработающих с аотэндзё.

2

Страницы, написанные выше, комментированы писателем на материале писателя. Роман, написанный Тойохико Кагава, «Дни, когда возопиют камни» написан, как очевидно, на японском материале.

Абзацы цитировались, конечно, не для того, чтобы показать Японию, и комментарии к роману следует временно прервать, чтобы перейти к другому писателю.

«... Январь — месяц тигра, февраль — месяц зайца, март — дракон, апрель — змея, май — лошадь (к слову: о лошадях я проделал своего рода анкету, — спрашивал, кто и сколько раз ездил на лошадях: писатели Канэда и Сигемори ни разу в жизни не ездили на лошадях, никак, — лошадей в Японии почти нет и почти нет в сельском хозяйстве), июнь — овца, июль — обезьяна, август — петух, сентябрь — собака, октябрь — кабан, ноябрь — крыса, декабрь — бык. Двадцатилетия годов разделяются так же: 1926 год — тигра. 1926 — по-европейски; 2586 — по-японски, 15-й год эпохи Тайсё. Вспомогательными определениями годов являются также стихии огня, земли, воды, металла, дерева. И вот, если женщина родилась в год лошади и огня, она

непременно убьет своего мужа той таинственной фатальностью, которая родила ее в это сочетание; в прошлом, 925-м году, выросли девушки этого призыва, и в газетах обсуждалось, как с ними поступить, ибо жениться на них охотников было мало. И целые литературы есть гороскопов, выясняющих удобства и неудобства браков: мужчина, родившийся под знаком огня, имеет огненный характер, женщина, родившаяся под знаком дерева, имеет деревянный характер, — тогда им надо пожениться, ибо из дерева родится огонь; но — вода тушит огонь, — и тогда брак не может состояться... Все эти таинственные комбинации имеют под собою таинственные сочетания активных и пассивных сил.

«Сумерки, Хиноки-тьо, рокубантьо, Токио.

«Мы сидим вдвоем с профессором Йонэкава, тем профессором, который однажды, провожая мою спутницу, на ее предложение зайти посидеть, ответил: «наш великий учитель Конфуций не учил нас сидеть вдвоем с женщиной...»

«— А философия японского народа? — спрашиваю я его.

«— У японского народа не было своей большой философии, — отвечает профессор Йонэкава. — По мнению профессора истории философии Канэко, японский народ из всех философских учений берет практические сентенции. Профессор Канэко считает японской философией философию практицизма. Это один признак. Второй: философическое оправдание каждого индивидуума — стремиться к очищению и опрощению. Философия индивидуума указывает подавлять страсти, утвердить золотую середину. Разительно в японском народе, по мнению профессора Канэко, отсутствие мистицизма. И еще отличительна у японцев, в национальной японской философии, их умность, не рационализм, — умность: японский народ умен. Эта особенность является одним из факторов, давших возможность принять Запад и пойти его путем вперед. Японцы больше годятся для научно-прикладной работы, чем для обобщающе-философской. Канэко никак не считает честью японского народа отсутствие у него великой философии.

«Вечер, Хиноки-тьо, на стене висит плакат японской живописной выставки, шипит газовая плитка.

«— Синтоизм не имеет одного бога, но — много, — ибо источником божественности является поклонение предкам, предки ж накапливаются. В памяти японского народа очень много богов, которые только наполовину божественны, наполовину же человечны, человеческого происхождения. Высшее божественное существо — богиня солнца Аматэрасуомиками, она светила миру и шелководствовала. Но в божественность Аматэрасуомиками никто уже не верит. Забот о будущей жизни у японского народа — нет. Надо заботиться — только о настоящем, о живом, чтобы достойно прожить жизнь, быть достойным своих предков, — чтобы приготовить чистоту смерти. Тысячу двести лет тому назад в Японию проникла буддийская религия. Высшие круги, императорский двор приняли эту религию, сохранив и синтоизм. Но буддизм — не религия, а наука веры. Переводов с китайского буддийских книг не делалось, народ знает о религии из уст священников. Нирвана: стремление к вечному равновесию и покою. Для достижения нирваны надо отказаться от физических прихотей, от самого себя. Через отрицание самого себя — слияние с вечным миром, с вечным духом. Наука буддийской религии утверждает эфемерность бытия, непостоянность жизни и твердую каменность.

«— Но по мифологии синто все боги изображались очень страстными, так, что один дух погнался за женою, умершей в страстный момент, прямо в загробную жизнь, — мифология синто жива наряду с буддизмом. Европейско-христианская мораль учила о вечной активности впереди, мораль Востока учит о вечной пассивности.

«— Буддизм трансформировался сейчас в ряд сект. Крупнейшая — Синсю (настоящая вера). Родоначальники этой секты учили, что человеческий ум ограничен и не может довести до нирваны, — и надо возлагать надежды на волю Будды, в молитвах — Наму, Амидабуцу — одному из предвоплощений Будды. Секта Дзэн избрала путь строгого воплощения, что достигается сидением на пятках, сосредоточением мыслей до того, пока не останется ни одной мысли; люди секты Дзэн — постятся, аскетят; секта логику буддизма заменяет интуицией; эта секта была популярна среди самураев.

«Вечер, Хиноки-тьо, окончательно померк закат.

«— Но, все же, подлинная народная вера, о которой почти не знают европейцы, ныне здравствующая, идет мимо синто и буддизма, — Инйо-до — учение о пассивной и активной силах. Она связана с синто, она созвучит с китайскими учениями об извечном пассивном и активном. На глаз европейца эта вера состоит из суеверий. Все явления мира этою верой делятся на двоесилие мрака и света, луны и солнца, земли и неба, мужского и женского начал. Это учение глубоко вошло в быт. Секта Татикаварю, названная так по имени учителя, запрещенная в эпоху Мэй-дзи, здравствующая до сих пор, утверждает, что соединение начал бога Идзанаги и богини Идзанами, активного и пассивного начал (бог Идзанаги, стремясь за Идзанами, семенем своим накапал японские острова, так говорит предание), — соединение активного и пассивного начал есть высшее достижение нирваны, и путь к ней — путем совокуплений.

«... вечер, Хиноки-тьо. Мы прощаемся с Йонэкавасан, я провожаю его до порога. Над городом лиловое небо ночных фонарей. Неподалеку прошли трубачи, разрекламливающие кинематограф, пропела флейта бентошника, человека, играющего в рожок в знак того, что повез по улицам свою тачку с рисом для бедняков и рабочих, с горячим рисом, который можно купить и тут же съесть. И улица замерла в тишине, той тишине, которая есть только в Японии.

«Я тихо свернул в переулок и пошел на соседнее кладбище, в его тишину, заброшенность и печаль кладбищенских размышлений. Японцы сжигают трупы умерших и хоронят только золу, так велит буддизм. У ворот отгорел электрический фонарь, там под деревьями мрак. Знаю, вот против этой могилы стоит мисочка риса, и на нее положены хаси — палочки, которыми едят японцы: это для умершего. Знаю, что умершему японцу дается новое имя, то, с которым он отходит в вечность, которым не жил при жизни. Знаю, что к летоисчислению жизни каждого японца надо прибавить девять месяцев, ибо днем начала существования человека у японцев считается не день рождения, а день зачатия. И знаю, вон там, за той тропинкой, похоронена собака: любимых собак, кошек, лошадей — японцы хоронят вместе с человеком, также сжигая (и даже человеческие чины дают животным, ибо те быки, которые

возят повозку императора, имеют генеральские чины, — иначе, они не могут быть при дворе). Я иду в тишине тропинок. И я — ничего не понимаю. Я — европеец, знающий, что маршал Ноги и император Муцухито, умершие столь недавно, уже обожествлены и в честь их есть храм. Человек здесь на кладбище уравнен с собакою. У религии этого народа нет активного будущего, а есть пассивное ничто, то есть нет верования в будущую жизнь, а есть вот такие храмики, такой величины, как моя пишущая машинка. Я, европеец, ничего не понимаю. Мне мои друзья японцы говорят о том, что религия отмирает, что остались только обычаи, традиции. Мои друзья европейцы, поражаясь религиозным индиферентизмом японского народа, утверждают, что религия японского народа умерла, или ее никогда и не было, — в том плане понятий, как это понимается у нас, — Япония — безрелигиозная нация, нация, у которой умерла религия, но в умирании своем унесшая и живую философическую жизнь японского народа, философически создавшая такое положение, такую страну, где правят мертвецы. И тут, в этом месте, европейцы-идеалисты горячо утверждают, что весь Запад, вся западная культура, окончательно не нужная Японии, враждебная ей, чуждая, — взята японским народом, как маска, — японский народ замаскировался на столетье, чтобы броней Запада — этот же Запад откинуть. Поэтому, дескать, так болит голова от японской воли, конденсированной в шум гэта. Поэтому так ничего не понятно, ничего не прочтешь на лице японца. Я в этих рассуждениях — ничего не понимаю. В дебри их я пришел сейчас к тому, чтобы указать ту щель, в которой почерпают европейские писатели материалы для писания повестей о «метафизической» Японии...

«В Асакуса, у храма Каннон, всегда много молящихся, и в прохладе храма сидят священнослужители. Молящиеся кидают монеты и бьют в гонг, чтобы бог услыхал их молитву. Гадатели дают такие листочки бумаги, эти листочки надо привесить к сучьям деревьев около храма, тогда исполнится пророчество. В Уэно парке стоит памятник генералу Сайго, — этот памятник нельзя разглядеть: генерал Сайго также обожествлен, и он весь заплеван священными бумажками, — надо написать желание, разжевать бумажку и бросить ее в священный предмет. Памятник типичной европейской

скульптуры, поставленной человеку, противившемуся проникновению европейцев в Японию, — оказался священным предметом.

«Бог лисы! — богу лисы можно молиться, чтобы отнять у друга его, друговы богатства. Над Кобе в горах, куда надо сначала ехать на автомобиле, затем подниматься на элеваторе и дальше идти бесконечными тропами и лестницами, на Майю-сан, на вершине горы, — там расположен храм, посвященный богу лисицы. На обрыве скалы, высоко над океаном, среди многовековых сосен, возник целый город. В тишине гудит буддийский колокол. Чем дальше в горы, тем пустыннее и тише. И там стоят алтарики, заполненные лисами, фарфоровыми, фабричнейшего производства, по качеству выработки хуже десятикопеечных кукольных голов, продававшихся на ярмарках. Вечером в Кобе на базаре я купил себе за иену десять таких лис. Там же, на Майю-сан, — извечная тишина, прекрасное спокойствие и — прекрасная красота горного хребта, гор, долин, океана.

«Все это увязать так, чтобы концы вошли в концы, я не могу...

«Я иду по кладбищу, подсел к могиле лошади, мне перевели — любимой лошади. И тогда, я помню, я думал о том, что бытие определяет сознание, совершенно верно, но и сознание веков переходит уже в бытие».

(По поводу только что написанного советский японист Р. Ким написал глоссу, где —

«... подробно описывал и классифицировал всех собак-богов (инугами), чудесных змей, водяных отроков (карра), горных духов (тэнгу), барсуков-оборотней и волшебных лисиц, вера в которых, ввезенная в нарский и хайанский периоды из Китая, до сих пор необычайно распространена в Японии. Каждая провинция имеет своих чародейных монстров, объектов благоговейного поклонения, из коих наибольшей популярностью пользуется лисица. До сих пор в японских провинциях — в особенности в юго-западной части Хонсю, главного острова Японии, — семьи, подозреваемые в связи с колдуньей-лисицей, подвергаются бойкоту не только матримониальному, но и экономическому, ибо у них не покупают и не арендуют земельных участков, и стараются вообще не иметь с ними никакого дела. На острове Оки (в Японском море), когда производятся выбо-

ры в нижнюю палату, то конкурирующие кандидаты политических партий разделяются на сторонников лисицы и на противников ее. Вера в лисьи чары имеет в сегодняшней Японии миллионы адептов, и приступающему к изучению японской этнографии необходимо в первую очередь заняться этим вопросом».)

Цитаты продолжаются.

«Без заглавия справка. — Япония — страна, лучше всего опровергающая теории Шпенглера, ибо эта страна существует уже тысячи лет, сверстница Греции, племянница Ассирии и Египта».

«Две души принципов «наоборота». — Мы вливаемся в потоки людей, в шумиху улиц, звонки, крики, выкрики, тесноту. Шумиха улицы впирает нас под крыши вокзала, в перроны, в загородки у касс. Пригородный поезд высыпает из вагонов шумы гэта, разменивает людей. Вагоны полны. Это час, когда вышли вторые выпуски газет, — поезд трогается, и вагон затихает в поспешном шелесте газетных листов. Толпа в национальных костюмах, люди оставили гэта под скамьями, с ногами забрались на скамьи, и вагон шелестит газетными листами: невозможно представить баварца в шляпе с пером, иль рязанского крестьянина в национальном гречневике и с газетой. — Поезд мчит стремительно, движимый электричеством. — За окнами, в солнце, в пестряди, — те шалаши, которые называются японскими домиками, которым тысячелетье отроду и которые закутаны тесной сетью электрических, телефонных, антенных и прочих проводов. Мы едем в Токио-фука, примерно в наш берлинский Грюневальд, в парижский Булонский лес, в московский Серебряный Бор, к писателю Акита [1]. Мы слезаем, нас разменивает вокзал, нас везет рикша в лакированных колясочках на дутых шинах, на

[1] Глосса Кима. У японцев, как и у корейцев, псевдонимизуется только имя, фамилия — нет. Акита — это фамилия; настоящее имя драматурга — Тукудзо. Псевдоним — Удзяку — значит: воробушек во время дождя. Удзяку родился в 1883 году, кончил отделение английской литературы Васэдасского университета. Автор ряда великолепных детских сказок, — особенно хорош сборник «Детям Востока», — один из лучших драматургов, но его вещи, имеющие сильный пролетлитературный уклон, редко ставятся в больших театрах. В последние годы стал писать в экспрессионистском духе — лапидарный диалог, стремительное сюжетное развитие.

рикше халатик, раздувающийся по ветру, на спине халатика — красный круг, герб его цеха (у всех рабочих такие халатики, и у всех на спине знаки, гербы их цехов и фирм или родов).

«Улочками с трудом разъезжаются два рикши, фонари посреди улицы висят над головами, рябит в глазах от лака и золота вывесок. Тысячи велосипедистов, кажется, срослись со своими велосипедами. Мой рикша звонит в свой никелированный звонок. Затем мы идем пешком мимо столетних деревьев, мимо храма, в воротах которого корчат страшнейшие рожи чертоподобные боги, а из чайного домика у ворот слышится музыка сямисэна и пение гейши. Мы приходим к домику Акита-сан, мы открываем решетчатую калитку, и мой спутник, писатель Канэда, приветствует дом. Нам навстречу выходит девушка. Она падает на колени перед нами. Канэда-сан падает перед нею на колени. Я стою в растерянности, не зная, пасть мне на колени или, вообще, что делать? Мы снимаем наши башмаки и в одних чулках входим в домик, в этот таинственный японский домик, где стены сделаны из провощенной бумаги — сёдзи, — и эти сёдзи раздвигаются так, что у домика можно убрать все стены. В доме нет никакой мебели, пустые комнаты с хибати — камельком, никогда не потухающим, посреди комнаты, и с какэмоно — картиною в священном углу. Девушка вновь кланяется нам в ноги. Канэда говорит мне, что это — дочь Акита. По лесенке, стоящей почти отвесно, мы поднимаемся во второй этаж, в кабинет Акита-сан. Этот кабинет таков величиною, что пятерым там на полу лечь уже трудно. Стен в кабинете нет — все они до потолка завалены книгами. Акита сидит около хибати, греет над тлеющими углями свои руки. Кажется, он сидит зарытым в книги, и вот-вот книги его закопают в себе. Канэда-сан кланяется ему по-японски, земным поклоном. Мне Акита по-европейски дает руку. Акита — крупный японский писатель, драматург, и поэт, и философ. К нам вползает его дочь, вновь кланяется в землю, она похожа на кролика, потому что ноги ее все время подогнуты, чтобы ей пасть на колени, у нее — ни одного не круглого движения. На полу перед нами она расставляет чашечки с японским чаем и уходит, пятясь к лестнице. Мы сидим на полу около хибати, грея над

хибати руки, курим и пьем этот пустой чай, от двух чашек которого начинается сердцебиение. Хибати — это глиняная корчага, доверху насыпанная золой, в золе тлеют никогда не стухающие угли: хибати — единственный способ отопления, — хибати сохранился от веков, от тысячелетий, от кочевья. Акита показывает прекраснейшие книги, японские и европейские. Он показывает мне книги Арисима, его автографы, крупнейшего японского писателя, разрешившего узлы своей жизни смертью, повесившегося вместе со своей любовницей, чужою женой. Канэда передает мне содержание последней поэмы Акита «О лютых законах»:

«Лютые законы, глумящиеся над истиной,
Низвергнуть время настало!
Эй, поднимайтесь, смелее, рабочие, —
Наша победа близка!.. —»

«— в чем дело!? — кто сидит передо мною, около хибати, на полу, в этом шалаше, заваленном книгами!? —

«Наутро, на следующий день Акита заехал за мною, чтобы вместе идти в Цукидзи, в театр Осанаи-сана. С Акита пришла молодая девушка в английском выходном костюме. Она первая поклонилась мне и протянула руку, — «лэдис ферст!» — она заговорила по-английски, европиянка. Я смотрел недоуменно: я не узнал в ней той самой девушки, которая вчера кланялась мне в ноги и подавала белый чай. Акита-сан был в бархатном пиджаке с большим белым бантом, как часто европейские художники.

«И я думаю о старой и новой Японии.

«На глаз европейца, сына западной культуры, вся страна, весь быт и обычаи японского народа построены по принципу «наоборот», наоборот тому, что принято в Европе. В Японии почетно самоубийство, в Европе оно почитается позором. В Европе женщины — по крайней мере в идеалах — впереди, в Японии — позади. В Европе говорят — гражданин Петр Иванов, мистер Стивен Грээм, — в Японии сначала фамилия, затем имя, потом «сан». Тот жест, которым в Европе говорят — уйди от меня, — в Японии является жестом — подойди ко мне. В Европе пишут слева направо горизонтальными линиями, в Японии пишут справа налево вертикальными линиями. В Европе в опасных и неприятных случаях

лицо делается сумрачным и натянутым, — в Японии в этих случаях улыбаются; когда европеец задумывается, сосредоточивается, его лицо делается умнее, осмысленнее, — когда думает японец, на глаз европейца, лицо его глупеет. О настроении европейца и о состоянии его духа всегда можно узнать по его лицу, — лицо японца никогда не скажет об этом, не выдаст японца, — о состоянии духа японца можно узнать по его рукам, по их движениям, — руки европейца ни о чем не говорят. Японцы строгают фуганком, двигая им к себе, — европейцы строгают фуганком, двигая его от себя. У нас, если очень рассердятся, покроют матом, даже на английском языке, — у японцев самый высший вид оскорбления сказать — вежливейше — о том, что «я так глуп, что не могу понять моего собеседника», — дескать, собеседник тратит время на разговоры с дураком.

Все это примеры полуанекдотического характера. Но вот пример уже без всяких анекдотов. Психика европейца построена на утверждении будущего, строительства будущего, — психика японского народа построена на утверждении прошлого, этот их культ почитания предков, делающий страну страною мертвецов, страной, где командуют мертвецы. Студенты Токийского государственного университета, в анкете на вопрос, как они мыслят свое жизненное назначение, в подавляющем большинстве ответили, что они социалисты и хотят народить детей, достойных их предков. Как известно из любой книжки в Японии, самым чтимым в Японии являются дети, эта переходная ступень к отмиранию, где смерть почетна, как рождение. Психика японского народа построена на утверждении смерти, — страна, управляемая мертвецами!

«Япония презирает боязнь индивидуальной смерти. Те военнопленные, которые вернулись после русско-японской войны на родину, были преданы презрению, — эти, «не сумевшие найти времени распороть себе живот», — от них отказались их семьи. В шестнадцатом веке в Японию проникало христианство, которое было там запрещено. Христиан узнавали просто. Подозреваемым предлагали пройти по образу Богоматери со Христом. И христиане-японцы отказывались идти по образу Христа. Тогда их душили, распинали или бросали в кратеры вулканов. К слову сказать, о жестокости. Во

Владивостоке японцы в двадцатом году бросали русских коммунистов в паровозные топки.

«В морали европейских народов, несмотря на их присутствие, аморальными считались и почитаются — сыск, выслеживание, шпионаж: в Японии это не только почетно, но там есть целая наука сыска, называемая «синоби» или «ниндзюцу»[1]. Пусть каждый европеец знает, что, как бы он ни сидел на своих чемоданах, они будут просмотрены теми, кому надлежит. Здесь порождается легенда о том, что каждый японец за границей — обязательно государственный шпион».

«О иероглифах. — В японском языке нет звука «л». Оно заменено звуком «р». Фонетика японского языка не любит двух согласных рядом. Русское слово

---

[1] Глосса Кима.

«Синоби (ниндзюцу, дзиндзюцу) — искусство, сделавшись совершенно невидимым, незаметно проникать в неприятельский лагерь или в чужой дом: замаскировавшись, проникать на неприятельскую территорию и заниматься тайной разведкой». (Из толкового словаря японского языка «Гэнкай» профессора Оцуки. Изд-во «Хакубанкан», Токио, 1922, 18-е издание).

«Строго соблюдая церемонии, Киритаро обучил Дзирокити магическому искусству пяти способов делать себя невидимым; это искусство — ниндзюцу — теперь заметно поколеблено благодаря развитию точных наук, но все же до сих пор применяется; в прежние времена в периоды войны усиленно пользовались лицами, знавшими искусство это». (Из биографии великого вора-покровителя бедных Надзумикодзо Дзирокити, казненного в 1832 году. Изд-во «Йосикава-Кобункан», Токио, 1922, 473-е издание).

«Задолго до русско-японской войны японцы широко развили шпионаж не только на Дальнем Востоке, но и в Европейской России. Во Владивостоке, в Хабаровске, в Харбине, в Порт-Артуре многие рестораны, гостиницы, магазины и торговые конторы были переполнены японскими шпионами под видом прислуги. Русским в голову не приходило, какая огромная паутина японского шпионажа окутывала их везде на Дальнем Востоке. Мы не могли представить себе, чтобы японские офицеры генерального штаба лично работали в качестве шпионов под видом парикмахеров, приказчиков и даже домашней прислуги у русских генералов». (Из книги В. Латынина «Современный шпионаж и борьба с ним». Москва. 1925. Госвоениздат-во).

Владивосток японцы произносят Урадиосутоку. Вежливость и понятия о человеческих отношениях указывают японцам произносить имя и фамилию с приставкой «сан». Эта же частица «сан», приставляемая к каждому человеческому имени, а к другим, по нашим понятиям неодушевленным предметам, в случаях исключительных, — эта частица никак не есть нечто соответствующее нашему гражданину или английскому мистеру. Частица «сан» указывает, что собеседник, беседуя с вами, обращается не к вам, а к вашей тени, к вашему второму духу, не желая обеспокоивать вашей субстанции, дабы дух ваш почил по вашей воле, никак не омраченный собеседником.

«О иероглифах: — тем паче, что многое надо оставить на совести тех, которые утверждают, будто японцы и китайцы мыслят кроме европейских способов образами, словами, понятиями, прочее, — мыслят и иероглифами. Иероглиф Японии — точнее Ниппон — Страны Восходящего Солнца — к о р е н ь солнца.

«Иероглифическая письменность совершенно не варварственна, как многие думают. Дело в том, что если бы я, не знающий китайского, японского и испанского языков, и мексиканец, не знающий японского, китайского и русского языков, — если бы мы изучили иероглифическую грамоту, мы бы, без знания языков, сумели бы списаться и понять друг друга, — я, китаец, японец и мексиканец. Иероглифы не записывают звуки, но записывают понятия. Понятия ж у всех народов одни и те же, стол есть стол, как его ни назови. В японском словаре пятьдесят тысяч иероглифов. Курс средней школы — четыре тысячи двести. Курс начальной школы — тысяча восемьсот. В газетах — две тысячи пятьсот иероглифов. Изобразительных иероглифов — около трехсот. Квадрат, пересеченный горизонтальной чертой, — солнце; русское печатное «и», пересеченное двумя горизонталями — луна; иероглиф луны, поставленный рядом с иероглифом солнца, — яркий, светлый. Кривая палочка, подпертая другой маленькой кривой, — иероглиф человека. Две палочки под прямым углом, пересеченные округлой (рука, нога, грудь), — иероглиф женщины; два иероглифа женщины рядом — ссора; три иероглифа женщины рядом, — государственная измена. Иероглиф тюрьмы

изображается так: иероглиф слова, по бокам иероглифы собаки. Японцы взяли иероглифическую письменность от китайцев и употребляют ее и фонетически. Все фонетические иероглифы комбинированные. Фонетический иероглиф барана звучит так же, как океан, — поэтому, чтобы обозначить океан, пишут иероглиф барана и приписывают сбоку иероглиф воды.

«Кое-какие мои выписки звучат весело. Но уже не весело, а великолепно знать, что человеческим гением, гением Востока, создана такая изумительная грамота, знание которой при знании ее другими народами дает возможность обращаться с этими народами без знания языков, а при знании языков в эту же грамоту можно влить и живое слово. И, если бы пушки были изобретены не европейцами, а на Востоке, я уверен, что мы изучали бы сейчас эту иероглифическую грамоту, уничтожающую смешение языков, вместо того, чтобы корпеть над английским, немецким, французским.

«Утверждают, что люди Востока мыслят, кроме наших способов мыслить, еще и иероглифами. Если это так, то это только лишний плюс их мыслительного аппарата. Знаю, что чем культурнее японец, тем больше он прочтет в иероглифе, тем больше для него раскроет иероглиф. И знаю, что на Востоке есть вид искусства, непонятный нам, когда поэт или философ, или ученый создает такой новый комбинированный иероглиф, над которым можно сидеть часами в благородном изумлении, как над шахматным ходом, следить за линией, написанной тушью и кисточкой, вдыхать запах каракатицы (из коей добывается тушь) и открывать смысл человеческого гения в этих линиях и чертах.

«В Токио я был в храме императора Мэйдзи, того императора, который вывел Японию из феодализма, дал конституцию, разбил в 1904-м году россиян и умер в 1912-ом году, обстроившись храмами после смерти. В храме императора хранятся его кабинет и его письменные принадлежности. Эти письменные принадлежности совершенно таковы ж, как в кабинете профессора Йонэкава. Я рассматривал такие ж письменные принадлежности на почте, на станциях, в сельских трактирах и в столичных отелях. Везде они одинаковы: лакированная коробочка величиною в двухфунтовую шоколадную, в которой лежат — палочка туши, камень,

на котором растирается тушь, сосудик, в котором хранится вода, и штук пять разных сортов кисточек. Сидя на полу и пододвинув к себе столик высотою в нашу ножную скамеечку, держа на весу руку, японцы пишут своими кисточками свои иероглифы. Понятия чистописания и рисования у них сливаются. Сигэмори-сан, с которым я путешествовал на Синсю, каждое утро и каждый вечер посылал домой открытки; он писал их лежа. Я спросил, как он пишет свои книги? — Он ответил, что он всегда пишет лежа. В Японии всеобщая грамотность, там, кроме идиотов, все обязаны быть грамотными. При первой встрече все дают визитные карточки, при второй надо меняться автографами, изречениями, вежливым словом, написанными на бумаге. Я писал десятки изречений и на картоночках для танка, и на квадратных картоночках, предназначенных для изречений, и даже на какэмоно. Однажды в поезде, по пути из Токио в Кобе, ко мне подошел с такою карточкой проводник вагона, поклонился так, как кланяются японцы, руки на колени, в шипении, и попросил от меня, писателя, моего изречения и автографа моего имени. Когда где-нибудь в провинции открывается выставка или у какого-нибудь озера, куда зимой никто не ходит, собираются паломники природы, — тогда сейчас же там открывается почтовое отделение, закрывающееся вместе с выставкой и на дождливые дни... И всегда около почтовых отделений и на углах больших городов сидят такие люди, которые умеют красиво писать и красиво выражаться. Эти люди за иены пишут красивые иероглифы и очень вежливые слова... А в поезде по Сибири со мною ехал японский концессионер. Он выучил меня первым японским словам, тому, что благодарить надо так:

«— Домо-аригато-годза-имасу, —

«причем слово «аригато» значит спасибо, а «домо», «годза-имасу» ничего не значат, просто вежливые приставки. Можно сказать — аригато. Можно сказать — домо-аригато — это будет повежливее. Домо-аригато-годза-имасу — совершенно вежливо. Так вот этот концессионер от времени до времени склонялся над бумагой. Я добивался, что он пишет. Он скромно сообщил мне, что он пишет танка. Я просил перевести мне его танка. Одну танка я запомнил.

Вот она:

> «Мы перевалили Урал.
> Мы в Азии.
> Земля в снегу.
> На станциях русские
> Бегают с жестяными чайниками».

«Харакири. — Я был в доме маршала Ноги, в том доме, где он вместе с женою сделал себе харакири, в том доме, около которого теперь храм маршала Ноги. Этот дом теперь — достояние музеев. Храм около дома — достояние молящихся. Ноги — национальный герой. Ноги — это один из маршалов, побивших Россию.

«Таинственная, непонятная история! — Маленькая страна, населенная людьми с веерами, живущими в домах без столов и стен, поедающая рис и раков палочками, отождествляющими душу мужчины с цветком вишни, — страна, которая на глаз европейца всеми своими красивостями кажется театральной декорацией, да еще такой, которую видишь сквозь бинокль, приставленный объективами к глазам той стороной, которая уменьшает. У Японии была фантастичнейшая эпоха, когда с начала семнадцатого века на два с половиной столетья до середины девятнадцатого Япония заперлась для внешнего мира. В те столетья, когда земной шар пошел колесить океанами, Япония жила при двух монархах, при бессильных и божественных тэнно и при всесильных и земных сёгунах Токугава, запертая на своих островах, консервируя свои тысячелетья, свой феодализм, свои храмы и своих самураев. Все это было семьдесят лет тому назад, когда американский коммодор Пирри пушками, а русский адмирал Путятин страхом своей эскадры впервые «отперли» для мира Японию. С Путятиным, к слову, на фрегате «Паллада» был писатель Гончаров. Эпоха японского затворничества называется эпохой Токугава. Эпоха выхода в мир называется эпохой Мэйдзи. Императором Муцухито был уничтожен сёгунат, была дана конституция, были построены дредноуты. Эту эпоху японцы называют эпохой реставрации, — ее следует считать революционной эпохой. Одним из ближайших сподвижников императора был маршал Ноги. В дни, когда умер император Муцу-

хито, переименовавшись после смерти в Мэйдзи, накануне похорон — маршал Ноги совместно со своею женой сделал себе харакири. Это было в 1912-м году.

«Я проходил мимо парка и проулочка, ведущего в парк. Я пошел туда. Там стоит небольшой домик, поевропейски вроде тех, где по уездам живут врачи и агрономы. Там вокруг дома проложена галерейка, откуда видна внутренность дома. На глаз европейца — пустой дом. Ни одного стола, ни одного стула. Пол покрыт татами (циновками). Какэмоно на стене. Туалетный столик в комнате жены, такой, перед которым надо одеваться сидя на полу. Письменный стол маршала, такой, за которым надо писать сидя на полу. И все, больше ничего. В угловой комнате указаны места, где сидел маршал и его жена в момент, когда они сделали себе харакири. Там в углу трубкой свернуты циновки, залитые кровью маршала и его жены. Они перед смертью сидели на полу посреди комнаты, около хибати.

«Маршал и его жена перед смертью написали танка. Быль жизни маршала Ноги и его смерть — суть экстракт понятий японского самурайства о чести и правильности жизни. Маршал Ноги — национальный герой, патриот и гражданин своей родины. Обстановка его дома, тот быт, в котором он жил, — до аскетизма просты. И до аскетизма проста его смерть, ставшая над смертью. Вокруг дома маршала Ноги растут тенистые деревья, вишневые деревья, кои в Японии величиной с березу, цвет которых есть символ души мужчины. Вишневые цветы в Японии — делают себе харакири, то есть особым тонким ножом разрезывают себе живот!..

«Все это было утром. К часу приехал профессор Нобори и мы поехали на могилу сорока семи самураев. Там, опять под деревьями, стоят камни, сорок семь камней. Там бьет из земли ключ, в котором эти сорок семь обмывали отрубленную голову того, из-за которого эти сорок семь ронинов сделали себе харакири. Там есть музеек, где помещены остатки одежды этих самураев. У японцев ко всему музей и выставка, в этой стране мертвецов. Там у могил я не смог долго быть, у меня стала кружиться голова от дыма сандаловых курений, тлеющих перед каждой могилой, от этого синего дыма, которым очень пахнет Япония, от которого следует —

на мой нос — задыхаться. Сорок семь самураев поклялись отомстить за своего даймио, обиженного приближенными сёгуна, причем их даймио впал в немилость сёгуна или что-то в этом роде. Двадцать один месяц эти сорок семь человек искали случая убить обидчика их барина, нашли, убили — и не нашли нужным об этом скрывать, собрались вместе на будущей своей могиле, оповестили о своих делах, сдались на милость сёгуна и — все вместе, два месяца спустя — одновременно сделали себе харакири. Теперь они обожествлены. Их смерть — сюжет самурайских гордостей, романов, поэм, драм, кино. Около могил сорока семи самураев — маленькая ярмарчишка. Я там накупил лубков, изданных в память этих обожествленных людей, ставших в понятиях национального геройства в ряд с маршалом Ноги».

«Йосивара, ойран, гейши. — Я осматривал публичные дома и притоны Берлина, Лондона, Константинополя, Смирны, Шанхая. И везде в этих публичных домах и притонах одно и то же: окончательное обнажение всего, что принято человеком скрывать и что принято считать европейской честью. Там, в этих кварталах, главным образом в алкоголе и — решающе — в похоти, ставшей как алкоголь, до судороги доведено всяческое издевательство над человеческой личностью, там судорогой бродит испепеляющее проклятье, пороки, мерзость, сифилис и грязь.

«И я был в Йосиваре, в районе токийских публичных домов. Йосивара — точный перевод — счастливое поле. И никогда, ничто меня так не ошарашивало, как Йосивара, — совершенной для меня непонятностью. В этом районе все было залито светом. В тесноте улиц шли дети, школьники, что-то покупали и мирно разговаривали. Проходили матери. Под вишневыми деревьями, в шалашиках, торговали продавцы. Шли с работы и на работу мужчины. Было совершенно обыкновенно, только больше, чем следует, свету, только чуть-чуть теснее. И у домов, около хибати, выставленного наружу, грея руки и не спеша, сидели мужчины, посвистывая и пошипывая, те мужчины, у которых можно посмотреть фотографии ойран, проституток. Мы входили во многие дома, без водки, в тишине, мы разувались, нам в ноги кланялась пожилая женщина. В тишине дома мы

проходили в комнату, где нам приносили чай, мы садились на пол. И тогда проходили дзйоро, ойран, абсолютно вежливые, как все японки, совершенно трезвые, тихие, улыбающиеся.

«И вот то, что на улице совершенно обыкновенно ходят дети и торгуют торговцы, что эти женщины не пьяны, нормальны, вежливо приветливы, — это и было окончательно ошарашивающим, вселяющим в сознание такое, что мне, европейцу, указывало бо́льшую нормальность в смирнских тартушах и берлинских нахтлокалах, чем в Йосиваре.

«Только после землетрясения 23-го года упразднены празднества Йосивары, когда в Йосивару стекались тысячи людей, женщины из Йосивары, украшенные вишневыми цветами, шли процессией и всенародно здесь избиралась красивейшая ойран. Но первая лицензия, данная на постройку домов после этого землетрясения, дана была — Йосиваре. Тогда шумелось в газетах и установлено было, что Йосивара — общественно необходима для здоровья нации и для сохранения устоев семьи в первую очередь. Лицензии, выдаваемые государством на право проституции, есть статья государственного дохода, никак не аморальная. Все народное творчество имеет сюжеты, связанные с Йосиварой, — нет спектакля в классическом театре, где не было бы эпизода из бытия Йосивары. Каждый дом в Йосиваре имеет длинную свою и почтенную историю, свои исторические анналы. Город Фукуока гордится собою — тем, что в нем появилась первая проститутка. Она была самурайкой, могила ее чтится, и на могиле ее каждый год бывают торжества. Спрашивают девочку: «кем ты хочешь быть?», — и девочка отвечает: «женщиной из Йосивары!». Если бы я узнал, что я существую за счет сестры-проститутки, если б я не застрелился, то наверняка много бы мучился этим. Если бы я был японцем, это было бы в быту.

«Часть женщин в Йосивару идет по призванию, по склонности. Других туда продают отцы и мужья. Потом, выйдя из Йосивары, эти женщины или выходят замуж, или возвращаются к своим мужьям. Это никак не позор быть женщиной из Йосивары. Проституция очень часто бывает товаром, которым торгуют для поправления бюджета.

«Нация позаботилась, чтобы дело проституции было в хорошем состоянии. Частной проституции — нет. Проституция огосударствлена. В коридорах публичных домов висят, в абсолютном порядке, кружки с марганцовокислым калием. В витринах выставлены катетры, половые органы из папье-маше, проверенные медицинским надзором и полицией. Частнопрактикующим проституткам лицензии на проституцию не выдаются. Проститутки собраны в Йосиваре. Йосивара — имя собственное, присвоенное району публичных домов Токио, такие же районы под другими именами разбросаны по всей Японии.

««Пол» [1] упирается в метафизику. И недавно еще кое-где в Японии при храмах были жрецы — божественные проститутки. Кадр этих женщин возникал и по призванию и по рождению. Через них люди прикасались к богам. Тай-ю — высший титул проститутки. Буддийский первосвященник, глава Хонгандзи, женатый на принцессе крови, имевший титул Восседающего на тигровой шкуре, — имел право на Тай-ю, и в регламентные дни Тай-ю приезжала к Восседающему.

«К половому акту японский народ относится, как к священнейшему и естественнейшему делу, никак не позорному. У японского народа до сих пор сохранился фаллический культ. Ярчайше выражен в Японии мир мужской половой культуры. Мораль и быт японского народа указывают, что женщина никогда не принадлежит себе. Родившись, она есть собственность отца, потом мужа, потом старшего сына. И та женщина, судьба которой судила ей быть матерью, — есть только мать, ибо священнейшее у японского народа — дети. Она не должна крикнуть при родах. На свадьбе родители ей дарят нож и икру, — икру, чтобы она плодилась, как рыба, — нож, чтобы она знала подчинение мужу, путь от которого — ножом — в смерть. А в те дни, когда она беременна, она ведет мужа в Йосивару. Но женщина может быть бездетна, — тогда это повод или к разводу, или к тому, чтобы — жена же — озаботилась поисками наложницы, мэкакэ. Институт мэкакэ жив до сих пор, ряд министерских и парламентских деятелей имеют мэкакэ.

---

[1] Абзац написан по справке профессора Е. Г. Спальвина.

«Но у мужчины есть потребность в прекрасном, в вечной женственности в общении с умной женщиной, с другом-женщиной, товарищем-женщиной, советником, поучителем. Тогда он идет к гейше. Института, аналогичного институту гейш, нет в западной культуре. Там, в чайном домике, мужчину встретит прекрасная женщина. Она поклонится ему так, как требует этого искусство. Она проведет с ним чайную церемонию. Она будет с ним весела, беззаботна, остроумно и умно беседовать. Она споет ему старинную песенку, протанцует тихий и прекрасный танец, она сыграет ему на сямисэне и кото. На пороге чайного домика насыпана горка белой соли — символ чистоты и целомудрия. Веселые, улыбающиеся гейши нальют и вновь подольют сакэ, всяческой грацией уклонившись от своей чашечки. Однажды, узнав, что у меня болит голова, гейша сделала мне головной массаж. Она положила мою голову к себе на колени, мяла и гладила мою голову белыми своими ручками. И я встал с ее колен помолодевшим. Однажды (ведь японцы всегда и везде фотографируют, подобно американцам) в компании японских писателей мы снялись с гейшами. Я положил свою руку на плечо гейши. И наутро я увидел себя в газете — именно так, с рукой на плече женщины. Я было взволновался. И успокоился. Ибо сняться в такой позе с гейшей — честь, никак не «потеря лица». Гейша дает свою визитную карточку, имена гейш так же чтимы, как имена писателей.

«Я прихожу в чайный домик с моею европейской спутницей. Там, за домиком тишина и ночь. Здесь тихо и светло. Мы снимаем свою обувь. Друзья писатели заказывают ужин. Приносят горячее сакэ. Приходят гейши, эти женщины, похожие на цветы. Одна из гейш садится около меня, наливает мне сакэ. Я рассматриваю ее руку. Она смеется в смущении, прикладывает кулачок к виску, топорщит указательный палец наподобие рога и говорит плутовато, чуть-чуть недоуменно: «оку-сан...» — и усердно топорщит свой пальчик. Это значит, что в мою спутницу может вселиться злой дух, непонятный гейше, живущий только у европейцев, — дух ревности.

«Гейша — это женщина мира искусств, красоты и ума. К гейшам надо идти, чтобы касаться прекрасного.

Не менее прекрасны тайны пола. Но это уже не гейши: после гейш надо ехать к ойран. И было: мы были у гейш, с нами была моя европейская спутница, мы очень веселились, мы пели вместе с гейшами, писатели танцевали самурайские танцы и читали старинные баллады, — и сказали мне, чтобы в следующий раз я не брал мою спутницу, ибо такой прекрасный вечер преступно не кончить ойран, старые писатели недовольны.

«Быть гейшей — это призвание. И это — на всю жизнь. Быть гейшей — честь. И для того, чтобы быть гейшей, надо учиться с малых лет.

«Я был в школе гейш. Это было на берегу моря, и море уходило в лиловую тьму. В доме были только гейши, только женщины, молодые, средних лет, старухи. На сцене и на дороге цветов были девочки, от пяти лет, — будущие гейши. Они танцевали, пели, кланялись, разыгрывали пьеску. Старшие смотрели на свою молодую армию. Кроме школьной учебы, гейши должны уметь петь, играть на сямисэне, должны изучать чайную церемонию, изучать тайны вязания цветов со всеми символами. Должны постичь тайну искусства собеседовать.

«Веснами, в дни цветения вишни, этого национального цветка Японии, символа весны и мужской доблести, гейши объезжают все города, корпорациями в несколько сот человек. И в этих городах, в лучших театрах ломятся двери от тех, кто хочет посмотреть на действо гейш. О гейшах пишут в газетах, их имена славны. Великие, знаменитейшие гейши влияют на государственную политику. На интимные банкеты государственных деятелей приглашается не жена, а любимая гейша того, в честь кого дается банкет. Гей-ша — точный перевод — посвященная искусству.

«Иные гейши выходят в замужество. Например, государственный деятель эпохи Мэйдзи был женат на гейше. Иные, кроме патента на гейшество, берут патент на ойран, — тогда до конца дней они остаются в почетной свободной любви, эти единственные свободные в Японии женщины. Институт гейш в Японии очень древен, — и слово «гейша» — новое слово, ибо оно существует только с токугавской эпохи, ибо раньше гейши назывались сирабёси, что значит — белый, чистый тон.

«Это выдумка европейцев, что в японском языке нет слова любовь. Есть, в десятке вариантов. И выдумка европейцев, дальше порта не забиравшихся, — нелепица о срочных японских браках: японцы о таких не знают.

«Но совершенно не выдумка, что японский народ не стыдится обнаженного тела и естественных отправлений человеческого организма. В Икахо однажды, у сернистых источников, я услышал женский писк, присущий только европеянкам, — я пошел расследовать и установил, что к моей спутнице в ванну собирались лезть мужчины-японцы. У японцев нет понятия мыть лицо и руки так, как это делают европейцы. Они каждодневно обмываются с головы до ног. Поэтому в каждом доме есть бочкообразная деревянная ванна. Воду в ванну наливают такой горячести, что я в такой воде сварился бы. А поскольку у японцев все наоборот, — вытираются они не сухим полотенцем, а мокрым, тем самым, которым они мылись, которое служило мочалкой. В городах, где никак не убережешься от озорства европейцев, сейчас общественные бани разделены, женщины моются отдельно, но банщики в женских отделениях — мужчины. Уборные в Японии — общие, и помню, как фраппированы были моя спутница и миссис Гиршбейн, жена американо-еврейского писателя Перетца Гиршбейна, когда в театре заместитель Осанаи по Цукидзи Такахаси-сан, приведши их к уборной, со всею вежливостью французского языка предложил им в уборную проследовать, — они прошли сквозь строй мужчин к кабинам, — и через минуту Такахаси постучал им, сообщив, что мужчины, то есть мы, отправляются в ресторан.

«До сих пор еще невесту жениху приискивают родители, всячески беря на себя ответственность. Еще так недавно, во времена Токугава, тот нож, который родители давали невесте, был неминуемым порогом из дома мужа. Вдова называется — умерший человек. Теперь в самурайских и цеховых семьях этот же нож является и порогом для девушки, раньше воли отца отдавшей свое целомудрие. — Но за городом, в деревнях, до сих пор сохранился праздник пришествия покойников с того мира, — бон, — июльский праздник созревания ячменя. К ночи тогда зажигают на дворах фонарики, чтобы осветить дорогу покойникам. Люди в полях пляшут хороводы, в мугикокаси — в хороводе

«падения ячменя». И эта ночь свободна для совокупления сельчан. Если в эту ночь у девушки нет любовника, родители нанимают его, чтобы их дочь не была опозорена нелюбовью. И до сих пор, — утверждает профессор Е. Г. Спальвин, давший материалы для абзаца, — сохранился кое-где в деревнях обычай общего обладания девушкой до брака, когда только после брака девушка переходит в единоличное обладание мужу, — причем она за это платит обществу «первой ночью» в честь богини Каннон, богини милосердия.

«Тысячелетия мира мужской культуры совершенно перевоспитали женщину, не только психологически и в быту, но даже антропологически. Даже антропологический тип японской женщины весь в мягкости, в покорности, в красивости, — в медленных движениях и застенчивости, — этот тип женщины, похожий на мотылька красками, на кролика движениями. — Даже жены профессоров, европейски образованных людей, встречали меня на коленях. — Онна дайгаку — великое поучение для женщин — японский домострой — учит навсегда подчиняться отцу, мужу, сыну, — никогда не ревновать, никогда не перечить, никогда не упрекать. И в каждой лавочке продаются три обезьяны, символ женской добродетели: обезьяна, заткнувшая уши, — обезьяна, закрывшая глаза, — обезьяна, зажавшая рот. Так решили философию пола — буддизм, феодализм, Восток, — и это живо до сих пор».

«Дневники с Синсю. — ... Я проснулся на рассвете, и я не сразу понял, где я. Было кругом темно, и рядом пел петух, петуху отвечали другие петухи, и так же рядом пел соловей. Эти звуки были похожи на звуки русской деревни. Я осмотрелся. Сёдзи — бумажные стены — были сдвинуты, и верхушка их горела красными полосами восходящего солнца. Хибати потухнул, было холодно холодом апрельского рассвета. Рядом со мною на полу, на татами, на циновках, в кимоно спали Сигэмори и Канэда. И я понял, я в Японии, путешествую по Синсю, ночую в доме крестьянина-писателя Тития-сан. Я лежал так же, как Сигэмори и Канэда, в ватном ночном кимоно. На полу в полумраке были разбросаны книги, которые мы рассматривали с вечера.

«И я очень больно стал думать о том, что вот те петухи и соловей, которые разбудили меня, поют совершенно

так же, как петухи и соловьи в десятке тысяч километров отсюда, на моей родине, в России, — и почему так случилось, что люди говорят и живут по-разному? —

«Роса рассвета не задерживалась бумажными стенами, я двинулся, и на меня посыпались капли росы.

«Эти дни — очень странные дни. Японцы, даже мои друзья, не говорят нет — этого не допускают их традиции, и, когда надо сказать нет, они не понимают и не слышат меня. Мы идем из дома в дом, горами, в японских Альпах, в версте над уровнем моря, наш маршрут составлен японскими писателями, у нас для каждого дома есть письмо. Наш маршрут неизвестен полиции, полиция следит за нами в расстоянии версты. Поэтому нас встречают везде очень сердечно. Но через полчаса после нашего прихода в ворота вползает ину, собака. Хозяин куда-то уходит. И между нами и хозяином вырастает стена. Мне не говорят нет, но понятно, что оставаться здесь уже нельзя. И мы идем дальше. Тития-сан оставил нас ночевать.

«Все эти дни я жил, пил и ел по-японски, — и все эти дни я хотел по-японски думать и видеть. — Горные тропинки и горные трактиры — всегда прекрасны. У Янагисава-сан мы рассматривали японскую старину, и он подарил мне наконечники от древних стрел, еще айносских, кремневых, — и он водил меня на свои раскопки, к памятникам айнов, древнего народа, населявшего Японию. Там были солнце, сосны и бодрый с океана ветер. И Янагисава показывал мне вишневые карликовые деревья, в пол-аршина величиною и в десятки лет от роду. Очень долго, тоннелями, мостами через пропасти, прекраснейшими пейзажами — от заполдней до вечера — поездом мы ехали в Камисуа, к минеральным источникам, к гейзерам. Все было, как следует: на станции встретил шпик, сопровождавший передал нас ему, — в гостинице было много народу, — из гостиницы, когда открыты сёдзи, видны бассейны, где купаются люди в воде, выброшенной гейзером, мужчины и женщины, разделенные решеткой. За день было очень много солнца, пути и раздумий, — и мы заснули под рожок продавца и под пение гейш за стеной. Утром мы ели рис, суп из морских водорослей и соленые сливы.

«Вчера мы были в городе Комуро, туда мы ехали целый день горной железной дорогой. Мы остановились

в гостинице Ямосирокан — Горный замок. Гостиница стоит на развалинах замка. В вечерней ясности дымился вдалеке вулкан. Ходили к человеку, к которому было рекомендательное письмо от писателя Симадзаки, к местному корреспонденту токийских газет. Не застали дома. В пожарном депо в городке он развешивал картины, устраивал выставку. Назавтра в городке празднества в честь их прежнего феодала. Фамилия феодала — виконт Макино. Выставка приурочивалась к празднествам. Пошли, поехали на выставку, на рикшах, причем говорить рикша — неправильно, — надо говорить курыма. На выставке нас поили чаем. Заходили на почту. Все почты на земном шаре, должно быть, пахнут одинаково — сургучом и чиновничеством, и за стеной должен стучать Морзе. Шли по тихим улочкам, по удивительной этой японской тишине падающих с гор ручьев. Вышли на дорогу к вулкану, куда ходят молиться. Вернулись в гостиницу, в развалины замка. Феодал виконт Макино приехал с вечера, остановился в той же гостинице, где и мы, — на развалинах того самого замка, со стен которого так недавно — семьдесят лет тому назад — правили округом его отцы. В душе виконта я не копался. Прислужница, которая оказалась женщиной с высшим образованием, филологичкой, бегала от нас к виконту и рассказывала: — «пошел в бочку — приказал подать ужин — сакэ, — его жена потребовала себе пирамидона, очень разболелась голова». —

«Феодал будет завтра на общественном молении и на выставке. Затем он уедет в Токио, чтобы вернуться сюда через год.

«По обычаю японских гостиниц, нам дали гостиничные кимоно, — и по обычаю японцев не мыть руки и лицо, а мыться с ног до головы, мы пошли в бочку, вода в которой градусов на сорок пять по Реомюру. Вымылись. Наша прислужница забегала к нам в ванну, чтобы сказать, как хорошо поет феодал. В нашей комнате мы раздвинули сёдзи. За стеной замка, под обрывом расстилалась долина, небо очерчивалось горным хребтом, в долине и по горам горели электрические огни, — и только в Японии мною виденная была прозрачность, синего воздуха, такая синяя прозрачность, которая уничтожает перспективы, лаковая синь, лаковая

прозрачность. Во мраке пели птицы. Из-за угла гостиницы, с развалин наугольной башни, долетали слова женщины, очень нежные. По-японски, в кимоно, мы сидели на полу. Нам принесли ужин, сырой рыбы, супа из раковин, маринованной редьки, рису, сакэ — японскую водку. Приходил фотограф от местной газеты, фотографировал. Затем прислужница приносила громаднейшие папки бумаги, где расписывались все знаменитые гости этой гостиницы. Она показала нам танка, только что написанное феодалом. И тогда нам принесли подстилки и ватные ночные кимоно. Всю ночь пели птицы, в прозрачной сини было видно, как дымит вулкан, села роса, и долго не смолкал женский голос.

«Утром бродили по замку. На военном плацу ныне теннисная площадка, забитая детворой. Рисовые склады, богатство феодалов, развалины. Когда с тобою говорят без нет, тогда и да кажется неубедительным. Ужасно, когда ты не понимаешь, что с тобою творится и что с тобою будет, — и когда твоя воля обессилена. Полиция уже была и успела нагадить.

«Тогда пришел крестьянин и попросил к себе в дом. Его дом стоит триста лет. Его род всегда был родом слуг феодала. И мне показывают саблю, которой 600 лет, родовую саблю. В этот дом мы входим по всем японским правилам, скинув на пороге башмаки, поклонившись в ноги хозяину, который также, в ноги, поклонился нам. И прежде, чем осмотреть этот крестьянский дом, которому триста лет, на полу мы садимся за чай, за чайную церемонию. Священнейшее в доме и фундаментальнейшее, — то место, где хранится рис. Ни коров, ни лошадей в хозяйстве нет, и нет стойл для них, ибо их никогда не было. На кухне дым от хибати идет в потолок. Мне принесли книгу, чтобы я расписался в ней на память. Полиция пришла следом за нами, выросла стена, в которой нет подразумевается. Я ничего не понял. Мы ушли. Наш интеллигент больше уже не показывался. Опять пили чай на выставке, смотрели картины.

«И оттуда пошли старым самурайским шоссе, в солнце и ветре, и в запахе сосен, в деревню Осато, к писателю-крестьянину Тития. Поля обложены плотинами из камней, поля для риса, выверенные ватерпасом и охоленные руками. Многие нас обогнали велосипедис-

ты. Однажды мы обогнали корову, запряженную в двуколку. Полиция обогнала нас по дороге к Тития, и, все же, он принял нас, молчаливый человек с лицом философа и с руками рабочего. Мы поклонились его дому. Он провел нас в лучшую комнату. По дороге туда я расспрашивал про деревню Осато. Там шестьсот пятьдесят домов, три тысячи пятьсот человек жителей, три школы — первоначальная, реальное, гимназия, — дети учатся вместе, — шелкопрядильная фабрика, мыловаренный завод (мыло производится из личинок шелкопряда), — медоводство, — кролиководство, — электричество. Везде, везде в Японии в домах и на дворах полированная чистота. Посреди двора Тития красовался эмалированный писсуар, чтобы собирать мочу для удобрений.

«Полиция опередила нас. Тития принял нас. Остаток дня мы бродили по полям вокруг Осато, на кладбище, около храмов, у водопада. По-прежнему дымил вдали вулкан. Люди проходили мимо меня, считая меня пустым местом.

«И очень странный, должно быть, единственный в моей жизни был у меня вечер. Мы, — Тития, Сигэмори, Канэда и я, — мы сидели в доме Тития-сан у хибати. Тития был непонятен мне, как все японцы в первую встречу, которых я не умею понимать сразу. Мы говорили с ним через переводы Канэда и Сигэмори. Мы пили сакэ. Японцы после третьей чашечки сакэ багровеют, их глаза наливаются кровью. Тития показывал свои фотографии, книги и альбомы, где на память ему писали его друзья художники и писатели. Все было так, как должно было быть в Японии. И тогда в торжественности и строгости, в жесткости глаз, налитых кровью, Тития сказал такое, что я не понял сразу.

«Сигэмори и Канэда перевели мне:

— Отец Тития-сан был убит русскими, в Мукдене, в русско-японскую войну. Тогда, мальчиком, Тития поклялся отомстить за отца первому русскому, которого он встретит, убить первого русского, которого он встретит. И первым русским, которого встретил Тития, был — я. Он должен был убить меня. Но он — Тития — писатель, и я — писатель. Он, Тития, знает, что братство искусства — над кровью. И он предлагает мне выпить с ним братски сакэ, по японскому обычаю по-

менявшись чашечками, — в память того, что он — Тития — нарушил клятву.»

«Нехорошо прийти в дом, в тот дом, где твои соотечественники убили человека... Я проснулся на рассвете под пение петухов, в доме Тития. Вчера я написал ему — кисточкой, тушью — какэмоно о наднациональных культурах и о братстве. А сейчас, в этот соловьиный рассвет, я думал о том, почему соловьиный этот рассвет похож на наш русский, но говорим мы по-разному, когда птицы говорят одинаково.

«Я поднялся, раздвинул сёдзи. Над землей происходил фарфоровый японский рассвет. Роса тяжелыми гроздями умыла цветущее дерево магнолии. Магнолии пахли, как подобает, мертвецами. В кимоно, я всунул босые ноги в гэта, в деревянные скамеечки, на которых ходят японцы, и — один, без друзей и полиции, пошел к горам повстречаться с рассветом. Рядом шумел ручей. Внизу, под обрывом, клокотала река. Каменной лесенкой я прошел в рощицу азалий, сгорающих красною тяжестью своих цветов. Каменная тропинка вела на кладбище. За мною никто не следил, единственный раз в Японии. Вдалеке дымился вулкан. Направо и налево уходили горы. Рядом со мною были рисовые поля. Глубочайшая была тишина. Кладбище заросло печалью бамбуков. Около кладбища стоял храмик — величиной в нашу собачью будку, не больше. Я посидел у храма, покурил и пошел дальше, к платановой роще, без дороги, кустарниками. И там я увидел таинственнейшее в природе человека. В чаще деревьев около храмика стояла на коленях женщина, женщина обнимала клиноподобное каменное изваяние, лицо ее было восторженно. Она молилась. Я видел, как женщина поклонялась фаллосу. Я видел таинственнейшее в мире. Я не стал мешать женщине, этой женщине в бабочкообразном оби, японском поясе, на деревянных скамеечках, с непонятною для меня красотою лица.

«И тогда я думал, что надо написать рассказ, как Япония — затянула, заманила, утопила, забучила иностранца, точно болото, точно леший, что ли. Всем сердцем я хотел проникнуть в душу Японии, в ее быт и время. Я видел фантастику быта, будней, людей — и понимал, что вся эта страна, недоступная мне, меня засасывает, как болото, — тем ли, что у нее на самом деле

есть большие тайны, — или тем, что я ломлюсь в открытые ворота, которые охраняются полицией именно потому, что они пусты. Та тема, которую ставили себе все писатели, побывавшие в Японии, тема о неслиянности душ Востока и Запада, о том, как человек Запада засасывается Востоком, деформируется, заболевает болезнью, имя которой «фэбрис ориентис», что ли, и все же выкидывается впоследствии Востоком, — эта тема была очередною у меня».

. . . .

Страницы, написанные выше, написаны писателем неяпонцем, но, как очевидно, на японском материале. Писатель Тойохико Кагава, бесспорно, не подписал бы таких страниц. Страницы, выписанные выше в кавычках, написаны писателем Пильняком, Борисом Андреевичем, дай советский бог ему советского здоровья! — И изложены они в книге под названием «Корни японского солнца», написанной Пильняком в 1926-м году. «Корни» были комментированы в том же 26-м году советским японистом Р. Кимом, комментарии назывались: «Ноги к змее».

Писатель Пильняк 1932-го года доводит до сведения читателей, что его «Корни» — никуда не годятся.

Писатель Пильняк 32-го года просит читателей выбросить с их полок седьмой том его гизовского «собрания сочинений».

Что касается переводов этой книжки, Пильняк просит в первую очередь уничтожить ее японский перевод.

Книга, предлагаемая сейчас, комментарии к «Камням» и «Корням», обвинение писателям, начата цитатами писателей Тойохико Кагава и Пильняка.

Пильняк уничтожает свои «Корни».

Это нужно сделать за счет грамотности.

Это нужно сделать во имя уважения профессии писателя.

Это нужно сделать во имя уважения к Японии.

Писателей порядка Пьера Лоти, Клода Фаррера, даже Келлермана за его путешествие вокруг мира в шесть месяцев и, само собою, Пильняка «Корней японского солнца» — следовало б привлечь к суду за диффамацию, сделать бы им снисхождение по милосердию за

их безграмотность, в тюрьму на первый раз не сажать, но — лишить права публиковать свои вещи впредь до обретения грамотности, понеже литература есть дело общественное, но не паркетное.

Вместе с этими писателями следовало б на скамью подсудимых посадить и глубокоуважаемых ученых исследователей порядка профессора Е. Г. Спальвина и Лафкадио Хэрна и прочих, многим известных, путающих по учености своей, к примеру, за изучением какой-нибудь тысячелетней Мурасаки Сикибу тысячелетья с сегодняшним днем, и, кроме оной Мурасаки Сикибу, ничего не знающих толком.

Японцам не повезло (но сами японцы токугава-макиносских традиций об этом позаботились и заботятся до сих пор), — очень много наврали о Японии различные европейские писатели, ученые и путешественники.

На самом деле, этакий молодой морской офицер Лоти, человек красивый, воспитанный, прочитавший на своем веку штук сто пятьдесят романов да штук тридцать-сорок специальных книг, — приехал. Приехал и ищет необыкновенного. Злейшее средневековье, которого у себя под носом на родине он не заметил, здесь он принимает за последнее слово народной мудрости, придумывает различные «восточные» и «западные» души, шаманскую ерунду обувает бергсонианством, «крисчэнсайнсом», причем ни шаманов, ни Бергсона, ни крисчэнсайнсных англо-американских тощих вобло-вдов толком он не знает, — и прочее. У себя на родине он такого материала не возьмет, ибо на родине он прогрессист! — у себя он этакое средневековье порицает (с ограничениями впрочем, ибо — чем лучше буддийских бонз католические папы и папские нунции, их преимущества!?). Пьер Лоти, чего доброго, в этом месте сведет разговоры на индийских йогов, как на пуп премудрости. Своего домашнего он такого материала не возьмет и потому, что на домашнем этаком материале не поврешь вдоволь. Изловят. А горячие читатели и читательницы, читающие колониальные романы, бросят их книги за элементарностью, ибо на своем материале они желают Марселя Пруста и Джеймса Джойса.

Действительно, этакий герой, иностранец, поселяется на берегу «Пасифика». Его печаль уходит в дым вулкана. Его радость одинакова с вулканными зарева-

ми. Под его скалой дом рыбака. У рыбака дочь. Пояс ее кимоно — как бабочка. Она сама — как мотылек. Ее зовут или Хризантема или Сосновая Река. И прочее. А на самом деле кимоно у этой девушки с бабочками или отсутствует вообще, или, ситцевое, хранится для праздников. Отец ее вместе с соседом плавает в море, в жесточайшей нужде, ловит рыбу. А она с матерью в отливы — по воле нужды — или в старых штанах отца, или с повязкой на половых органах, а то и просто голая, собирает ракушек, чтобы кормиться. Кожа на руках ее толста и вся изранена покусами крабов. Волосы ее связаны, как попало, чтобы не лезли в глаза. Тылом ладони она стирает со лба пот, и к щеке ее пристала рыбья чешуя. Быть может, ее зовут Хризантемой иль Сосновой Рекой, но она замучена кабальным трудом и нищетой, от нее пахнет рыбой. И, вышед на берег, она и не глянет на иностранного писателя, с которым она не только не сможет сговориться, с которым ей вообще не о чем говорить, но который отдален от нее громадной социальной лестницей. Она, если она была в старых штанах отца, безразлично снимет их при писателе, выжмет из них воду, наденет их вновь, промоет в ямке среди прибрежных камней пойманных ракушек и крабов, рассортирует тут же — что на продажу, а что похуже себе на обед — и пойдет своею дорогой. А писатель поедет в Йосивару или в чайный домик, к гейшам иль к ойран, вынашивать поэтический образ колониальной дочери рыбака Хризантемы. Эти дети рыбаков показаны вместе с рыбаками, выше, в главах романа Кагава, как мать носила своего ребенка-мертвеца за спиной, — за спиной потому, что в Японии, так же, как в Китае, в Монголии, в Таджикистане, на Кавказе, в Персии, женщины носят детей на спине (замечательная деталь для писателя и его философских рассуждений обо всем, что угодно, кроме климата и кочевых прародителей!). Приехав в чайный домик, писатель соврет потом в своем романе, что в Японии существуют браки на срок.

Что касается женских кимоно, делающих женщин похожими на мотыльков, то крестьянская, рабочая, рыбачья Япония их носит только по праздникам иль не имеет совершенно. Эта Япония по теперешним време-

нам одевается, во-первых, как попало, а во-вторых, мужчины и женщины предпочтительно одинаково — в штаны, чтобы легче работать.

Что же касается вообще писателей...

Родился человек. Научился грамоте. Стал читать романы, читатель. Вырос и вдруг в один паршивый день установил, что думал, поступал, делал, чувствовал он не так, как указывали ему индивидуальные его особенности, но по воле литературных реминисценций. А сейчас, когда он это установил, ему стало ясно второе, еще более паршивое, — именно то, что за этими литературными реминисценциями свою индивидуальность он давно уже потерял. Если ж дело касается коллектива таких читателей и этот коллектив намерен от писателя знать что-либо конкретное, то такой читатель, начитавшись европейских романов о Японии, Японию наверняка потеряет.

Писатель подобен геологу или путешественнику в необитаемые, в неоткрытые земли. Геологу для того, чтобы стать геологом, мало одного желания. Такой любитель земных недр, ни рожна в недрах не смысля, может прийти в такие места, где золото россыпями лежит прямо на земле, под руками. Изыскатель начнет вкапываться в недра, потратит время и золотые россыпи закопает суглинками. Таких геологов надо гнать. Геологи, прежде, чем идти на изыскания, учатся. Геологи, изыскивая недра, вкапываются в них не пальцами, но машинами. Зря землю копать не стоит. И геологи, идя на изыскания, получают на то разрешения от сему соответствующих трестов, институтов и академий, посылаясь этими институтами на поисковые работы. И институты, кроме знания, вооружают геологов еще и техническим оборудованием, также вооруженным знанием.

С писателями надо поступать так же, как с геологами, ибо писатели могут напутать никак не меньше геологов.

И в советской литературе следует, предварительно учинив перерегистрацию и посократив писателей (с тем, чтобы подающих надежды перевести в класс учеников, заставить учиться и работать, а безнадежных лишить писательского звания), — переквалифицировав и сократив писателей, — следует создать Институт литературы,

Литературно-Разведывательный художественно-оборудующий институт, без диплома коего писатели не могли б носить звания писателя и печататься, по аналогии с горно-разведочными институтами, оборудующими разведывательную работу писателя. При этом, в этом институте при квалификации писателя, кроме умения писать и общей грамотности, от писателя должна требоваться моральная добросовестность, свойственная писателю и в общественных его делах, и в домашнем его обиходе. А то залезет геолог на самую середину Памира, где никто не бывал, и наврет, что видел там платину в кристаллах, — за геологом туда экспедицию пошлют, тракторы потащат, люди, верблюды и ослы будут мучиться. Геологи, как и писатели, должны быть честны, социально честны, равно как и с женой, и словом не должны блудить, как материалом на изысканиях.

При таких обстоятельствах Пьера Лоти не потребуется предавать суду за клевету. А если писатель (это и с геологами случается) ошибется, то его ошибка будет несчастным случаем и поводом к сожалению, но не к заушению. Ибо при наличии патента Литературно-Разведывательного института и при наличии писательской честности не будет сомнения в случайной досадности ошибки. И ошибок будет много меньше, хоть не ошибается только Бог, потому что его нет, мало ошибаются бездельники, почти не ошибаются трусы, а больше всего ошибаются геологи, потому что они открывают доселе неизведанное и потому что они никак не туристы, ездящие по открытым дорогам. Писатели-туристы, в частности ездящие в дилижансах, дормезах и вагонах Толстого, Достоевского, Бунина из Москвы на Днепрострой социализма, — едут туристически и никуда не доедут, ибо дилижансы и дормезы Толстого, Достоевского, Чехова, Лескова и Глеба Успенского, не говоря уже о Боборыкине, — не социалистические способы передвижения.

Немецкая бабушка рассказывала.

Каждую ночь с заднего крыльца шумахера Трэнклера выбегала свинья и бегала на католическое кладбище. А Трэнклеры были лютеранами, и вообще свиней у них не было. Бондарь Шлэгель решил проследить, куда ходит свинья, и сел в полночь у кладбищенской

ограды. Свинья заметила старика Шлэгеля и бросилась на него. Шлэгель защищался своею бондарной скобою. Свинья закричала человеческим голосом. А наутро все узнали, что у жены шумахера Трэнклера на лице от виска до подбородка громадная рана.

Чем свинья поучительнее лисы, богини хитрости?

Российская бабушка рассказывала.

О леших. О домовых. О том, как у них в деревне мужчины и женщины в старину вместе мылись и, прежде, чем вселялись в новый дом, справляли влазины, когда мать-хозяйка, в полночь, предварительно впустив в дом черных кота и петуха, трижды обегала вокруг нового дома, голая, нагишом, — а в соседней губернии у них заезжих мужчин старики-отцы клали спать с девками-дочерьми, особенно, если эти заезжие заезжали в особые числа и ночи.

Приехал бы японский писатель в Москву, пошел бы к воспитаннейшему человеку, писателю Владимиру Германовичу Лидину иль к мужественному писателю Леониду Максимовичу Леонову, стал бы у них спрашивать глупости о русской душе. У Лидина кабинет в старине, с террасой, на высоком этаже. Звезды. Ночь. Лидин человек обязательный. Леонов тряхнул бы кудрями.

— Ну, а религия, философия, метафизика русского народа? — спросил бы японский писатель.

Лидин смутился бы, ответил бы:

— Собственно говоря, русский народ не очень религиозен...

Леонов подтвердил бы.

— Но — тем не менее — не было ли случаев обожествления проституции? — не было ли фаллизма?

Лидин смущен. Все вежливости и воспитанности на земле, а не только в Японии, не позволяют резко говорить — нет.

— Мы уже сообщили, вообще... — сказал бы Лидин. — Вы знаете, у нас социалистическая революция... Но, если вы так интересуетесь...

Японский писатель в это время подумал бы:

« — ... йоу! — они не хотят говорить о самом главном и тайном! но я их выпытаю ж!..»

— По мнению Василия Васильевича Розанова, луковицеобразные русские колокольни несут в себе символ

фаллоса. Что же касается божественности проституток, то в честь одной из них, Марии Египетской, христианской святой, производятся церковные богослужения, и она патронирует женщин, названных в честь ее имени...

— Она — святая? — спросил бы японец.

— Да, в честь ее ангела...

— Стало быть, у вас не только обожествляются проститутки, но также обожествляются предки!.. Ну, а обожествление народа, его мессианство? — обожествление вождей, его — народа — героев?

Лидин — совершенно недоумевал бы.

— Мы уже сказали вам, что у нас социалистическая революция.

— Да — да! — воскликнул бы японский писатель. — Но народ, народ!? — Достоевский писал, русский народ — богоносец...

Лидин — воспитанный человек, к черту послать он не может. Лидин расстроился. Кабинет Лидина на высоком этаже. Над террасой Лидина — звезды. Направо и налево за крышами соседних домов лежит Москва. За Москвою лежат российские «неописуемые» места.

— По мнению русских философов Соловьева, Розанова, Бердяева, даже Константина Леонтьева... — говорит Лидин, недоуменно глядя на гостя, на Леонова, на звезды.

От этих разговоров Лидин с Леоновым обещали наутро отвести японского коллегу на Новодевичье кладбище, где могила Чехова вся исписана «Митей и Тоней в роковой их, самый счастливый в жизни, день». Это писание на памятниках не более осмысленно, чем плевание в генерала Сайго. Но, чего доброго, можно развести кисель философствований на тему о том, что в день рокового счастья все русские юноши ходят к памятникам писателей, чтобы расписываться на них, как в Загсе.

Средневековье, за досугом безграмотности, надумало очень много лисиц и свиней, божественных проституток и домашних ведьм. Идзанами и Идзанаги в родстве с российским Перуном, а Будда — со Христом, порох у всех у них одинаковый. Писатель Кагава, христианнейший писатель, в своем романе касательно богов ограничился тем, что жена рыбака, получив на похороны, уверилась в возможности сыновнего на эти

деньги пребывания в раю, — да тем, что поселил студента Йосио в храме, где за ним присматривала бонзанья, жена бонзы, по аналогии с попадьей, — да тем, что вокруг асакуского храма живут аотэндзё и тэкии — нищие и шарлатаны. Писатель Пильняк в 1932-м году, в Камакура, с японскими профессорами ходил по монастырям. Места великолепны. Кипарисовая тишина благоуханна. Храмы тысячелетни. Колокола и их звон также тысячелетни. Средневековье здравствует. Пришли в таинственную, прохладную и санталовую, сиречь ладанную, пещеру. Там друг против друга, двумя рядами сидело восьмеро оболтусов лет восемнадцати, с закрытыми глазами, семинаристы, поджали под себя ноги, как будды, положили руки на пуп, прижав ладонь к ладони, — совершенствовались, упражнялись, — должны были так сидеть от зари до зари, неподвижно, сосредоточивая мысли до того, чтобы не осталось ни единой мысли. В глубине пещеры, в земле был вырыт алтарик для божественных изваяний. Там стоял сиротливый, очень уважаемый и древний Будда. И там, в холодке, разместилась добрая батарея пивных бутылок, наимоднейшего японского Эбисубиру, сваренного по последнему немецкому рецепту, в ловкеньких блестящих ярлыках. Писателю Пильняку не известно, то ли это пиво притащено было совершенствующимися семинаристами, то ли поставил его сюда для прохладной сохранности бонза, — но и первая, и вторая вероятность совершенно отлично укладываются в быт и православных, и католических монастырей.

Люди средневековья, как и средневековые эпохи, были разъединены предрассудками, хатой с краю, отсутствием дорог, безграмотностью боязни, враждованием. В этой разъединенности каждый народ и о каждом народе полагали, что он особенный, придумывали души народов, одни молились богам, прикладывая ладонь к ладони, другие крестились ладонью, третьи двуперстием, четвертые руки складывали крест-накрест — но молились одинаковому хрену, который редьки не слаще. В этом отношении японцы ничем не отличны от арабов, англичан, афганцев, испанцев, русских. Японская частица «сан» указывает, что собеседник, беседуя с вами, вас не беспокоит, вашу господнюю субстанцию, — ну а русское «господин», также с господином корнем, о чем говорит, как думают японские филологи!?

Средневековье жило за малыми и великими, крепостными, китайскими и прочими стенами, придумывало за теснотой знаний и потребностей различные свои салтыки. Чем некультурнее народ, равно, как и отдельные люди, тем больше он жесток и физиологичен.

Средневековье женщину держало в рабстве, в бесправии и делало из нее, по социальному в первую очередь, а затем по физиологическому ассортименту, либо домашнюю ломовую скотину, либо хризантемную бабочку. Люди имеют паршивое качество — способность применяться, — недаром у россиян иной раз острили, что, мол, такой-то — человек, а не свинья, не сдохнет, вытерпит! Надо думать, что в европейском средневековье по праву «первой ночи» вновь обвенчанных девок не тащили к барину понятые волоком и девка не выла белугой: девушка, небось, выходила из-под венца в божьем трепете и обалдении, и к барину ее вели родители, кумы и сваты, торжественно, припомаженные постным маслом, а баринова барыня, небось, вздыхала с приживалками на лежанке, сколько, мол, барину мужики доставляют беспокойства и до чего-де много у барина дел. Инстинкт ревности — инстинкт социальный, в решающий степени. В средневековье женщины ревновать не смели, ревновать могли лишь мужчины. Рыцари доблестно ходили завоевывать господень гроб, в панцирях, и дома заковывали жен в панцирь пояса целомудрия, коий мужчинам, конечно, не полагался. По Европе до сих пор кое-где сохранились в качестве музеев средневековые публичные дома. Помещались они всегда за городской стеной в особом квартале. В нижнем этаже таллинского ганзейского публичного дома на Застенной улице, в коем с гордостью помнят, что его посетил российский император Петр Первый, в нижнем этаже под сводчатыми потолками, против камина, в который можно было класть по саженному бревну сразу, хранится решетка, куда надо было ставить шпаги, и остались до сих пор крюки, на которые вешались ботфорты. Средневековые джентльмены приходили в публичный дом, как в клуб, разувались, играли в кости, пили меды и пиво в степенном благородстве, а потом залезали в каморки второго и третьего этажей посовокупляться.

Чем все это отличается от судеб японской Йосивары, гейш, ойран? Гейши существуют для феодалов,

миллионщиков, тысячников и для их приказчиков и трубадуров, интеллигенции, в частности. Ойран существуют для сотельников. В деревнях — ни гейш, ни ойран, ни чайных домиков не полагается, — мужичишкам, японской материальной основе, — ни гейш, ни ойран не полагается. Мужичишкам полагается поставлять своих дочерей для гейш и ойран, — для городских тысячников и сотельников.

Действительно, женщины в Японии до сих пор пребывают средневековым обиходом бесправия. В «Корнях» есть жесточайшая фраза непонимания и жестокости, за которую только стыдно, — о том, что —

«... часть женщин идет в Йосивару по призванию, по склонности, других туда продают отцы и мужья, — потом, выйдя из Йосивары, эти женщины или выходят замуж, или возвращаются к своим мужьям...»

«По призванию» туда женщины идут так же, как «по призванию» занималась проституцией Соня Мармеладова. А насчет того, как продают туда женщин, следует рассказать японскую ж газетную вырезку. Корреспондент встретил в пригородном поезде старика. Старик был дряхл, убог и жестоко нищ, в ситцевой повязке на чреслах, в ситцевом халатике, босоногий, — на гэта в январе. Старик жесточайше плакал. Он был крестьянином. Он продал свою дочь в тот день в публичный дом, на три года, за полтораста иен. Дома ему с семьей нечего есть. У него вытащили воры его полтораста иен, стоимость его дочери, которую он растил семнадцать лет. Старик плакал о потерянных полутораста иенах и о дочери.

Писатель Лоти именно такую на срок продажу в рабство называл высокой мудростью брака на срок.

Пильняк в 32-м году наблюдал за судьбой девушки-студентки. Она была падчерицей в семье. В детстве она научилась играть на сямисэне. Она выросла хорошенькой.

Кризис взял за горло ее вотчима. И вотчим сообщил девушке-студентке, что он намерен отдать ее в чайный домик, достанет ей патент гейши и тем наладит свой бюджет. Традиции инертны вообще, и традиции средневековья в частности. Студент Йосио — сын гейши. Переводчик романа «Дни, когда возопиют камни» Сергей Никодимович Сьодзи, комментируя понятие «гейша», писал:

«Гейша — особый класс женщин-японок, молодых и пожилых. Они не актрисы, хотя обучены в музыке, танцах и играх; они не проститутки, хотя многие из них, особенно в последнее время экономической депрессии, падки на материальные искушения мужчин. Они приглашаются на пиршества, на обеденные собрания, на сходки секретных совещаний политических и коммерческих дельцов, чтобы дать этим собраниям характер и тон более мягкий, утонченный, с музыкой, танцами и играми. Гейши достаточно образованы, вышлифованы в отношениях с людьми. Они умеют поддержать разговор с мужчинами на любую тему, так воспитал их строй социальной истории Японии».

А в самом романе, в тексте писателя Кагава есть сообщение о том, что тетка Йосио, его воспитавшая, —

«... признала вредным для мальчика посещать ежедневно школу с той улицы, где сосредоточены дома гейш. Она пристроила Йосио к преподавателю английского языка гимназии, известному тем, что он глубоко преданный христианству человек...»

Сообщение хорошо напоминает российских, французских и прочих мамаш-бандерш, которые отдавали своих дочек — в соседний город, — в институты, а сыновей в духовные семинарии. Но дело не в этом. Тетушка —

«... в 1920-м году, — в год экономической паники, — когда ее патрон, разбогатившийся сделкой на железе, промахнулся и покончил с собою самоубийством, начала находить слезы в глазах своих на каждом шагу своей жизни».

Инерция традиций — страшная вещь!

Живет человек, каждую неделю у него флюсы, угол его квартиры прогнил, вместо замазки на рамах у него наклеились бумажные зебры, стекла зазебрились гумми-арабиком, за диваном у него скопилась гора окурков. Он может и зубы починить, и сменить жилье. Но — да как это, да Иван Павлович, друг-преферансист, живет на этой же улице, и аптека рядом!.. Студент Йосио, чего доброго, придет к той девушке-студентке, которую вотчим намерен снять с университетских работ для гейшевания (ведь он был на миаи сестры!), и будет рассказывать о своем детстве, о том, какая добрая и хорошая у него была гейша-мама, какая заботливая у

него гейша-тетя. Та ж, реальная девушка-студентка, — ох, как мучилась она, когда ее продавали! — сунулась было в подполье, ее изловили полицией, — она принимала яд, — и подчинилась. Стала в Японии еще одна молодая, красивая и культурная гейша.

В Токио, в порядке «Медвежьей свадьбы» Проспера Мериме показывалась кинокартина «Страна, куда приходят медведи». Действие происходило на Хоккайдо. Север. Мужественная природа. Помещик (Проспера ли Мериме? — не Гоголя ль? — не пушкинский ли Троекуров из «Дубровского»?) взял у крестьянина красивую жену, — убил мужа жены и говорил, что мужа задрали медведи. Прошли года. У убитого крестьянина вырос сын, женился, и опять помещик хотел взять у сына убитого его жену, как взял его мать. Психологическая драма. Сын убитого убил помещика и сказал, что его задрали медведи. Второго убийцу арестовали. Психологический сюжет.

Отец-нищий-крестьянин — вотчим студентки. Можно предложить японским писателям разработать следующий сюжет, имеющий место в действительности. Человек-негодяй, степенный, пожилой, глубокоуважаемый и глубокоуважающий самого себя, едет, высматривает, сватается за вдову с большою девичьей семьею, женится. Девушку покраше он подучивает и продает в гейши. Девушек так и сяк продает в публичные дома без учебы. Девушек, с лица не уродившихся, он продает на фабрики, также без учебы. Распродает хозяйство, деньги оставляет себе, разводится и едет в следующую губернию, женится заново.

Пильняк 26-го года писал в «Корнях»:

«... и абсолютная была чистота на этой фабрике, куда работницы и мы входили, сняв башмаки, в одних чулках: и на фабрике, на всей фабрике не было ни одного места, где человек был бы хоть на момент один сам с собою, уборные построены посреди двора и так, что там все видно: это и потому, что у японцев не стыдятся физических человеческих отправлений, и к тому, чтоб прядильщица не могла побыть одной, не могла бы потихоньку прочитать и написать письмо, ибо все письма, приходящие из-за фабричного забора, перлюстрируются, ибо без разрешения администрации

нельзя выйти за забор, ибо эта японская фабрика больше походила на тюрьму, где девушки запроданы на два, три года. Прядильщицы сами о себе поют такую песню:

> Если можно назвать прядильщицу человеком,
> То и телеграфный столб может расцвести, —

но дело сейчас не в этом...»

Нет, — именно в этом!

Японский бюджет — ситцевый бюджет, шелковый, — текстильный. Основная промышленность страны — первая промышленность — текстиль. Текстиль занимает без малого половину всех японских рабочих. Текстиль — ситец и шелк — составляет без двух промиллей семьдесят процентов японского экспорта. Текстиль — родоначальник японской промышленности. Самое большое количество предприятий в Японии — текстильных, — без малого девятнадцать тысяч, на десять тысяч больше, чем пищевых. По количеству переработанного хлопка Япония заняла на миру второе — после U. S. A. — место, обогнав Англию. Текстиль, наравне с армией, занимает в Японии то же место, что в Англии и Америке тяжелая индустрия.

52 проц. всего японского пролетариата — женщины. В текстильной промышленности женщин — 82 проц., — и в первую очередь девушек, ибо подавляющая масса работниц приходится на возраст от четырнадцати до восемнадцати лет, при этом 78 проц. работающих в текстиле никакой квалификации не имеет.

Текстильная промышленность в Японии, кроме всего прочего, является наивыгоднейшей, наряду с содержательством публичных домов, по одним и тем же с публичными домами феодальным причинам (не потому ли, относя пятьдесят процентов на средневековье, парламент дал после землетрясения 23-го года первую лицензию на восстановление публичных домов!?).

О феодально-крестьянских делах речь будет ниже.

Феодально-капиталистические японские дела голодом гонят крестьян с земли. Старика, продавшего дочь за полтораста потерянных иен, забыть нельзя. В текстиле, как в публичных домах, работают женщины, купленные туда за бесценок по феодальному праву, когда женщина не принадлежит себе и принадлежит старшему в роде мужчине.

Специальные на то агенты ездят по стране, степенные люди, охоленные традициями средневековья, рассказывают отцам, как хороши и добросердечны хозяева такой-то благородной фабрики, как хороши там условия для работы. Степенный хозяин будет следить за нравственностью и поведением, и воспитанием. Чтобы бездельничать — ни-ни! — чтобы баловать ходить в город — ни-ни! — папаша-хозяин позаботится, сводит когда для образования в кино, либо на ярмарку, прогуляется когда с ними в музей, поучит их злу городской жизни и уму-разуму. Ну, накажет иной раз для их же пользы. Дочка поработает года полтора-два, а потом вернется домой образованная и приданое себе припасет, денег ей тратить некуда, все ей сделает папаша-хозяин, кормиться она будет на фабрике, там будет и жить.

И — живут!

Живут таким образом, что —

> «Если можно назвать текстильщицу человекам,
> То и телеграфный столб может расцвести...»

Живут под арестом заборов.

Не бездельничают — работают с одним, двумя выходными днями в месяц по одиннадцати часов в сутки, зарабатывают ровно столько, сколько стоит аванс за них (иен 30 с головы!) да билет в третьем классе поезда от деревни до города и обратно.

Живут за заборами так, что даже в сортирах видны отовсюду.

И живут, работают и «воспитываются» так в среднем полтора года. Ибо в полтора года выматываются силы, в жесточайшем проценте пополняясь туберкулезом. Ибо за полтора года девушки сваливаются в проституцию, согласно токийской полиции, обследовавшей и установившей, что 70 проц. нерегистрированных проституток в токийских пригородах составляли бывшие фабричные работницы. Ибо другие за эти полтора года начинали осознавать свое классовое положение, бастовали, так, что — по информации Харада, японца, из его книги «Рабочие условия в Японии» —

«... после стачки в 1927-м году на мануфактурах компании Тойо в Осака рабочим стал даваться раз в месяц рис с мясом, как одно из достижений стачки (!)».

Победа, как видно, колоссальная, если помнить, что у папаши-хозяина есть право, хоть и не легальное, но легально существующее, если девушка убежит с фабрики, ловить ее и водворять на место полицией, а также, если девушка «провинится», и наказать ее «отечески», и вон прогнать.

В вышевыписанных цитатах есть фраза, касающаяся эпохи Мэйдзи:

«Эту эпоху японцы называют эпохой реставрации, — ее следовало бы считать революционной эпохой».

Не верно.

И не верно не только потому, что слова «революционная эпоха» ничего не говорят.

Мнение о том, что феодальная система правления в 1868-м году в Японии сменилась капиталистической, не подтверждается фактами. События шестидесятых годов Японии были вызваны не внутренней перестройкой социальных сил, но пушками американского коммодора Пирри и английскими торговцами, кои и «открыли» токугавскую Японию. «Реставрация» императорской власти никак не была лозунгом феодалов-западников против феодалов-японофилов. «Западниками» оказались сёгуны Токугава, уничтоженные императорскими «инсургентами» с тем, чтобы этим «инсургентам» идти тропою Токугава. Феодалы выбирали — быть ли им колонией, подобно Китаю, или быть самостоятельными. Если эпоха Мэйдзи была революцией, то она опередила революционеров.

Тут, к слову сказать, лежит разъяснение загадки, приводящей европейцев в недоумения, загадки того, каким образом японцы поставили памятник генералу Сайго, вождю японской Вандеи. Вандеи не было. Генерал Сайго был свой.

Здесь, ко второму слову, и о необычайном, божественном авторитете императора. Императоры много уже веков, и теперь в частности, никакой властью не обладали и не обладают, хоть и до сих пор, до самых последних дней в Японии существует не буржуазная, но монархическо-бюрократически-милитаристская концерно-сёгунская власть, в самые последние дни впадающая в дряхлость и в бессилие дряхлости.

Власть в Японии после эпохи «реставрации» осталась в руках феодалов и феодальных купцов.

Крестьяне остались пребывать в феодализме, подпирая ситцевый японский капитализм вышеописанной рабочей силой.

По миру много говорят об американских темпах. Японские темпы — куда интенсивнее и разительней. Чехов говорил, что рассказ без женщины, все равно, что без паров машина. Именно поэтому предлагаемое чтение и начато японскою женскою судьбой.

О женской судьбе рассказано.

Пильняк, приехав вторично в Японию, установил в ней большие перемены.

Если в 26-м году 98 проц. японских женщин ходили в национальном кимоно по городам, то теперь в Токио их только 50 проц. Если в 26-м году 90 проц. женщин носили национальную прическу, то теперь их не больше 20-ти. О Японии сейчас следует говорить, что она не европеизируется, но — американизируется. В 26-м году даже Гиндза, наиевропейско-американская улица в Токио, была национальной улицей. Сейчас она — улица интернациональная и больше всего напоминает европейские кварталы Шанхая 26-го года. Эта улица зловеще обросла переулочками баров, кафе, ресторанов, дансингов самого разъевропейско-американского пошиба. Там есть, конечно, и черные кошки, и Флориды, и бродячие собаки. В 26-м году фокстротов в Японии не полагалось. В этих, вокруг Гиндзы, барах обслуживают девушки в европейских платьях, с чеками у ремешка. Там есть европейские и американские алкоголи, — российская водка идет за ликер. Фокстроты там оглушают, как ни в одном Париже (Париж вообще становится провинциальным городом!), — и фокстротят в Токио во Флориде остервенелее, чем в нью-йоркском Гарлэме. Йосивара приходит в запустение, оставаясь только для приказчиков. Романы модных беллетристов переселились во Флориду. Проституция переселилась на prigиндзовые переулочки. И существует, примерно, на новых началах. Эти девушки из баров — никак не гейши, никак не ойран, ни дать, ни взять парижанки. Их не сотни, но тысячи. Жалования в барах они не получают, «работают» добровольно, су-

ществуя за счет чаевых. Среди них есть девушки с высшим образованием. Среди них есть девушки, лица которых всячески скрывают истину голода. Эти бары посещаются американскими дэнди японского происхождения, в пиджаках с такими прямыми плечами, что в каждое плечо положено по килограмму шелковой ваты.

В 32-м году Пильняк был приглашен на обед редакцией женского журнала «Ньонин Гэйдзюцу», редактируемого писательницей Хасэгава. В этом журнале сотрудничают исключительно женщины. И на обеде, кроме Пильняка и двух его переводчиков, были только женщины — писательницы, поэтессы, журналистки, художницы, работницы «Ньонин Гэйдзюцу». Было два или три черных кимоно, похожих на европейские сюртуки. Было несколько причесок «большевик», как называют французы женскую прическу, похожую на русскую — старую — казачью. Была одна российская косоворотка. Женщины говорили — или по-английски, или по-французски, или по-немецки. Были говорившие и полуговорившие по-русски. Легенда о том, что в Японии страшно распространен английский язык, — только легенда: не больше, чем до революции семнадцатого года в России французский, так же, как французский, с тем лишь отличием, что в Японии язык знали только мужчины. Судя по костюмам и по манере держаться на собрании были и американские спортсменки, и английские суфражистки, и французские почитательницы «Цветов Зла» Шарля Бодлера. Были и российские Софьи Перовские. В самом начале обеда организатором было сказано, что по независящим от собрания причинам просят в разговорах политических вопросов не касаться. Разговор пошел о положении женщин в Советском Союзе и о творчестве советских женщин. Говорили и о японских писательско-женских делах.

И на собрании была радикальная уже женская интеллигенция.

Весной же 32-го года была забастовка работниц-кондукторш токийской подземной железной дороги. Пильняк, конечно, этого не видел. Забастовки, конечно, есть нарушение общественного порядка. Полиция борется с ними, конечно, только из-за этого нарушения.

Забастовки поэтому в Японии принимают странные формы.

То вдруг забастовщики баррикадируются в кино и сидят там, принимая полицейские штурмы.

То вдруг — это массовым явлением прошло по японским фабрикам — залезает человек, рабочий, на заводскую трубу, всовывается в ее жерло и сидит там день, два, три. Во-первых, всем видно, что рабочие бастуют. Во-вторых, поди-ка, достань. В-третьих, попробуй-ка, затопи печь, сжарь человека. Родоначальником такого рода забастовок был рабочий Табэ. 11 ноября 1930-го года он влез на трубу фабрики Фудзи и просидел там без пищи, вообще без ничего, сто тридцать часов. О нем писали все японские газеты во всех выпусках: — «сидит», «еще сидит», «повернулся затылком к солнцу». Имя товарища Табэ — веха в рабочем движении.

То вдруг в деревнях японские крестьяне, конфликтирующие с помещиками, набирают мешки цикад и выбрасывают этих цикад на двор, в сад, в дома помещиков, предъявляя попутно требования о снижении арендной платы. Цикады верещали по помещичьим мозгам и стрекали их более усердно, чем ходатайства арендаторов.

Так — вот женщины-кондукторши окрутили вагоны поезда подземной железной дороги несколькими рядами проволоки, пустили по этим проводам ток высокого напряжения, и засели в бест вагонов, бастовать.

Эти — уже пролетарки.

Эти уже по дороге к социализму.

В день отъезда Пильняка из Японии, 18-го июня 1932-го года, в газетах был опубликован закон о том, что танцы разрешаются только до двенадцати часов ночи.

А в Цуруга, в этот же день, уже на пароходе, когда пограничнo-полицейские формальности были уже выполнены, Пильняк был уже на борту, а пароход не отходил в море, потому что пропал капитан, загулявший с вечера в связи с оборудованием в порту нового мола, — на пароход тогда поспешно вошла молодая японская женщина. Она была в белой европейской кофточке, в синей европейской юбке, в соломенной шляпке. Она пришла на пароход, прочитав в цуругской газете, что с

этим пароходом возвращается на родину советский писатель. Она была учительницей цуругской женской гимназии. Она называла писателя — сэнсэем, учителем. Она просила писателя передать привет его родине... — В порту женщины-грузчицы таскали на спинах кули с землею для нового мола. Были они в синих портках и синелицы под зноем субтропического солнца. И день был «изумительно» чудесен.

«...Япония презирает боязнь индивидуальной смерти...»

Харакири. Генерал Ноги. Бусидо.

В японских первоначальных школах, в первых классах, кроме всего прочего, преподают историю Японии, где рассказывается, что Япония проистекла от богов и император есть божий сын, — преподают иероглифы и — преподают японскую науку мораль, где рассказывают о Бусидо, о генерале Ноги, о харакири.

Следует опубликовать справку, полученную из японских же источников. Первоначальное обучение иероглифической грамоте длится шесть лет. В Японии больший, чем в других странах, процент слепых, слепорожденных и ослепших. Для слепых изобретена своя грамота. И слепорожденные, — ровно такой же комплекс знаний и грамоты, который зрячие дети обретают в шесть лет, — слепые получают в четыре года. Долбежка иероглифов оставлена от средневековья. Пример со слепыми детьми требует два дополнения. Дети обучаются иероглифам, чтобы обалдеть до Бусидо. Иероглифы оставлены для того, чтобы иностранцы меньше знали о Японии. Японцы токугава-макиносского сословия, как говорилось уже, предпочитают показывать иностранцам старинные храмы для гейш, — и любят поэтому писателя Пьера Лоти.

Что же касается иероглифов вместе с Бусидо и генералом Ноги, то они лишний раз иллюстрируют, что эпоху Мэйдзи не следует расценивать буржуазной революцией. Феодалы пронесли харакири от удельных времен до империи, не имея социальных причин к его уничтожению. Феодалы пролили в Японии человеческой крови и расписали свой разбой высокими моралями не меньше, чем европейцы подвигами Крестовых походов, дуэлей, дружиннической верностью, когда в Европе, в России, в Азии, вслед за умершим вождем,

вдогонку, шли не только их генералы, но жены, лошади и военные доспехи. Бусидо — это этика и эстетика самураев, требовавшая беспрекословного послушания и презрения к смерти. Харакири — один из параграфов Бусидо. Харакири по существу своему есть символ бесправия, этот ассортимент вспарывания живота вдогонку за сюзереном (называется — оибара!), — при поражении в бою (особое название), — при компрометантном поступке (свое название), — в качестве довода действием для образумления обалдевшего господина. Что может быть рабственнее? Недаром остряки острят, что и вообще-то Бусидо, чего доброго, было приведено в кодификацию и в кодифицированную красоту системы после 68-го года!..

Но кавалер второй степени Великого Чина, маршал граф Ноги вместе с женой сделал себе харакири «вдогонку» по весне 1912-го года. Не стоит опускаться в благоговейный трепет. Следует констатировать, что этот полководец, разгромивший одиннадцатидюймовыми мортирами порт-артурские форты, громивший Российскую империю и помогавший молодой русской революции, — следует констатировать, что в черепе этого хмурого солдата пребывали кромешный мрак и мракобесие средневекового фанатика (Ким. Змеи). Ныне он бог, что и соответствует богам.

С сорока же семью самураями дело обстояло сложнее. Их дела — исторический факт. Они — боги. Они действительно отомстили за своего барина, убив его обидчика. По историческим архивам известно, что сделали они себе харакири не потому, что сами так порешили, но потому, что они были приговорены к смертной казни через харакири и ждали приговора два месяца. Эту историческую справку полагается не помнить.

Японцы боятся смерти — так же, как все остальные люди. Не боятся японцы смерти так же, как не боялись ее немецкие, французские, английские солдаты под Верденом.

В Японии, особенно в национальных кварталах, очень хорошо умеют украшать магазинные витрины. Магазин весь на ладони. Посреди магазина, подогнув под себя ноги, сидит торговец, около хибати. Окон у магазина нет, просто раздвинуты сёдзи. Товар разло-

жен тут же. Дети в Японии — любимейшее (эта любовь, в скобках, много меньше проявлялась в эпоху Токугава, когда детей, особенно девочек, так же, как до сих пор кое-где в Китае, родители уничтожали новорожденными, — и присутствует до сих пор распродажей девушек по публичным домам и фабрикам). Детские магазины замечательны. Тут и карандаши всяческих сортов, и вечные ручки за полтинник, и автоматические карандашерезки, и самурайские сабли. И детские книги, множество книг. И восемьдесят процентов этих книг — журналов, листовок, плакатов — обязательно изображают, как японцы колошматят русских казаков, как Ноги расстреливает Порт-Артур, как писатель Новиков-Прибой тонет в Цусимском проливе и прочая, прочая, прочая, в каждой книге и в каждом номере. И изречения, вроде следующего, профессора Нитобэ Инадзо (Ким. Змеи):

«... сражения на Ялу, в Корее и Маньчжурии выиграли духи наших отцов, водящие нашими руками и бившиеся в наших сердцах. Они не умерли, эти духи, — духи наших воинственных предков».

И, кроме этого, обязательно замечательные рассказы из жизни самураев, приправленные бусидо.

И на витринах — не только детских лавочек — весной 32-го года были выставлены портреты — майора Куга и трех солдат. Эти — тоже без малого боги. Они — на всех витринах, на заборах, в трамваях, в журналах. Это — шанхайские герои.

Майор Куга пошел с отрядом японских солдат в атаку. Он был ранен. Он был взят в плен китайцами. Он был выменен у китайцев. Он вернулся на то самое место, где был ранен и взят в плен, и сделал там себе харакири.

Три японских солдата, вооруженные динамитом, ночью подошли к китайским проволочным заграждениям и взорвались, сами, чтобы взорвать проволоку.

Тот и те — герои. Когда газеты сообщили о доблестной смерти майора Куга, в газетах же появилось сообщение от семьи майора о том, что семья приняла весть о харакири — с удовлетворением.

Тот и те — герои.

Много позднее в газетах промелькнуло по поводу майора Куга, что он не был взят в плен, но сдался в

плен, а сделал харакири не по самурайской воле, но по суду, ибо приговорен был к смертной казни через харакири.

О трех же японских солдатах китайские газеты писали, что они взорвались, никак не геройствуя, но — не умея обращаться с динамитом.

Во всем мире писалось о поразительном мужестве японцев под Артуром, особенно в тех случаях, когда японские транспорты направлялись прямо ко входу в Порт-Артур, на совершенно явную смерть, и гибли, загораживая собою выход из порта. Время объяснило геройство. Во флоте шел спрос: кто хотел бы вернуться на родину? — этих, хотевших вернуться, собирали на транспорты. Капитану давали курс, говоря, что иным путем он не пройдет, ибо море заминировано русскими, и капитаны вели корабли, людей и себя на убой. Капитаны шли — по домам!..

На рубеже двадцатых и тридцатых годов получился веселый обычай воевать, не называя войн войнами. В 1932-м году Япония воевала с Китаем, захватив три северные китайские провинции. Японское правительство, в иллюстрацию сих новых традиций, уже после того, как Мукден, Чаньчунь, Гирин — все центральные пункты Маньчжурии — после разгрома китайцев — были уже захвачены, — опубликовало официальное постановление: считать происходящее в Маньчжурии — «событиями». Рассуждения о лицемерии вообще, об условности лицемерия — вообще поучительная тема.

3

У Пильняка в «Корнях» есть следующие рассказы.

«... взбушуются воды океана бурей, утихнет буря, — и волны лягут, вода сравняется. И — поелику земной шар есть шар, омываемый со всех сторон водами океана, — вода сравняется в шар. Вулканическая деятельность земли накидала на землю горы. Идут века, выветриваются горы, размываются водами, перекапываются человеком, заполняются долины лессами и песками. И — пройдут века, еще десятки веков — земля будет ровна, как лысина почтенного англичанина.

«Все уравнивается, и идеальная геометрическая форма есть шар, у которого нет никаких углов. Психическая и бытовая геометрии — всегда были, есть и будут построены на началах геометрии евклидовой.

«Поистине земной шар переживает сейчас эпоху окончательного узаконения геометрической формы шара. Ибо — не только пароходами, купцами, миссионерами, машинами и пушками, — но и знанием, знанием — окончательно изборожден земной шар. Ибо заборы и «великие стены» национальных культур рушатся под железным шагом знания, уравниваясь в знании и труде, расплескиваясь через эти заборы, не считаясь даже с антропологией европейца, негра, японца, полинезийца. И вот задача — посмотреть, как, какими силами Япония разрушает старые свои заборы и какими умениями сама перебирается через заборы иностранствий.

«Геометрическая форма шара. Сердце японского народа в старом, ум в новом. Пусть останется на совести тех, кто это утверждает, пусть сойдет за хороший образ утверждение, что японский народ надел на столетие маску. Армия, флот, фабрики, заводы, торговля — все это взято с Запада, и говорить о японских пушках, которых, к слову, я не видел, — это то же, что говорить о системах пушек английских, немецких, прочих. Медицину японцы целиком взяли европейскую, с немецкой фармацевтической записью, выкинув гадалкам жень-шени и лю-и. А заводы японцы строили так. Они выписывали из Германии и Англии машины и инженеров. Инженеры ставили машины и руководили ими. С инженерами заключали договоры на три, пять лет. Эти годы проходили, приходил срок договору. И в день срока англичанину или немцу у ворот завода очень вежливо предлагали пройти в контору. В конторе, на полу, за традиционным чаем дирекция благодарила инженера. Ворота завода были заперты для инженера навсегда. Там на его месте стоял японец, тот самый, который в течение этих лет безмолвнейше исполнял все требования инженера и был у него на побегушках. Инженер навсегда покидал Японию, чтобы всячески ее ругать.

«Геометрическая формула шара слагается из ряда элементов. Искусство всегда есть та «крыса», по кото-

рой моряки узнают, как течет корабль[1]. В Японии, во всем Токио существует только один театр европейского типа — Цукидзи, театр Осанаи [2]. Когда, вернувшись уже в Москву, я показывал фотографии Качалову и Лужскому, они, Качалов и Лужский, находили на этих фотографиях самих себя. Осанаи так ставил вещи Чехова, что взяты были не только декорации, но и мизансцены. Осанаи переиграл почти все постановки Художественного театра. В почтительнейшей рамке у него висит в театре Станиславский. Осанаи считал Художественный театр — лучшим в мире. И работа Осанаи в Японии равнозначна работе Мейерхольда в России (вот еще одно доказательство «наоборота», — ибо девяносто процентов театральной революции Мейерхольда — так же, как Осанаи у Запада, — взято Мейерхольдом у восточного театра). Театр Осанаи — революционный в Японии театр. Когда ж я пришел впервые на классический японский спектакль, в Кабуки, я понял, что многое я уже видел у Мейерхольда. Театр Осанаи — единственный в Японии европейский театр, — и множество есть театров в Японии классической японской трагедии.

«В Токио, на холме Кудан, при храме Ясукуни я видел н о — те религиозные мистерии, которые суть прародители театрального действа, а в Осака я был в кукольном театре, который также есть прародитель театра теперешнего. На н о артисты играют в масках. В кукольном театре играют куклы, величиною в человека, по сцене их двигают люди. И до окончательней-

---

[1] И роман Кагава тому свидетель!

[2] Глосса Кима. Осанаи Каору. Родился в 1891-ом году. Окончил литературный факультет Токийского университета. Автор ряда романов, новелл, драм и теоретических работ по театру. Организовал вместе с одним из лучших актеров японского классического театра Итикава Садандзи «Свободный театр», который наряду с театром проф. Цубуоти открыл новую эру в истории японского театра. В 1926 году Осанаи руководил театром Цукидзи в Токио. На сцене этого маленького театра ставились вещи Стриндберга, Газенклевера, Чехова, Метерлинка, Л. Толстого, Чапека, Пиранделло, Горького, Вильдрака, Кайзера и О'Нила. Три постановки Осанаи подвергались запрещению со стороны полиции. Осанаи умер в 1927-ом году.

ших пределов доведена условность театрального действа, когда зритель, отдавший в прихожей гэта, сидящий на полу, должен не видеть на сцене «никтошек», которые управляют куклами и помогают артистам, — и должен представить, что эти куклы и люди, говорящие и поющие голосами чревовещателей, говорят нормально. Н о и кукольный театр окончательно поросли сединою. Мне показывали на н о маски, которым пятьсот лет. В театрах же Эмбудзьо, Кабуки, Тэйкоку — в классических японских театрах — у каждого театра есть свой храм, храмик, где курится сандаловая смолка и где хранятся священные реликвии театра. А артист Утаэмон Накамура, знаменитейший артист, играющий женщин, восьмидесятилетний старик, — есть тринадцатый в роде артистической династии Утаэмонов. И при мне однажды в театре вышел на сцену старейший из династии артистов, с ним вышел молодой артист, молодой стал на колени, и старик оповестил, что старший в роде молодого умер, этот молодой берет имя умершего и будет честно нести его до конца своих дней. Около сцены в этих театрах выставляются плакаты, на которых написаны имена артистов и благодарность зрителям, посетившим театр.

«И кто знает, что вращающаяся сцена и «дорога цветов» (дорога цветов, в элементарном зачатии, имеется в России только у Мейерхольда, и ею пользовался Вахтангов в «Турандоте»), — что вращающаяся сцена, дорога цветов и использование прожекторного света — взяты европейским театром у восточного!? — причем у нас на сцене только один вращающийся круг, а в японском театре — два [1]. Женские роли в японском

[1] Глосса Кима. В 1668-ом году в театрике Каварасакидза впервые была устроена деревянная тропа, пересекающая весь зрительный зал, концом перпендикуляра упирающаяся в сцену. Тропа была предназначена специально для того, чтобы на ней раскладывали актерам подношения. Но вскоре на этой тропе стали шествовать и бегать по ходу действия, и она стала незаменимой и неотъемлемой частью сцены. Между прочим, в театре н о , театре Асикагской эпохи, фигурирует мост — хасигакари, который может показаться прототипом «дороги цветов». Ныне историками театра непоколебимо установлено, что мост не имеет никакого отношения

классическом театре играют мужчины. Там, за кулисами, в уборных Утаэмон Накамура, Канья Морита, Байко Оноэ, Косиро Мацумото, Содзюро Савамура — у этих знаменитейших японских артистов — перед уборной надо снять башмаки, надо поклониться артистам в землю. В уборных — аскетическая чистота, монастырская простота. Подушка перед зеркалом. На подушке артист. Сбоку хибати. На столике письменные принадлежности. Столик с гримом. Мацускуэ Оноэ, восьмидесятичетырехлетний человек, надписал мне на память иероглиф счастья, лучшую вещь, которую я вывез из Японии.

«Артисты гримируются так, что их грим похож на маски. Грим остался от веков масок. По гриму, по цвету грима, по тому, как подняты или опущены брови или углы рта, — зритель должен знать, какую роль — благородного человека или злодея, счастливого или несчастного, прочее — какую роль играет этот человек. Пусть грим будет ступенью в мир театральных условностей, рожденных веками японского театра. Ибо, как грим, костюмы, декорации, свет, — все условно и в этой условности абсолютно строго учтено. Каждый жест актера, манера его поступи, его движение, его голос — все в своей условности регламентировано. И — какая

к «дороге», последняя развилась совершенно самостоятельно. Уже во втором десятилетия XVIII века на японской сцене стали применяться технические ухищрения. История японского театра сохранила имя крупного сценического новатора в Эдо — Накамура Дэнсити, изобретшего движущиеся декорации и переворачивающиеся сценические коробки. Этот Всеволод Накамура делал полные сборы в театре своего имени — «Накамура-дза», показывая остроумные фокусы сценического оформления. В пятидесятых годах XVIII века все театры стали уделять острое внимание технике моментальной смены сцен, и здесь была поставлена проблема о верчении сцены. Вначале на самой сцене ставили площадку на колесах, и три-четыре никтошки медленно поворачивали ее, но в 1793 г. — в год французской революции — на японской сцене тоже произошел переворот. Один из оформителей догадался построить сцену наподобие карусели или волчка. Вскоре сцена весело закружилась, и стало навеки возможным мгновенно менять сцену и одновременно показывать два действия, происходящие в разных местах.

красота возникает вдруг в этой окончательной условности, где ничто не неучтено, где каждый жест, каждая интонация голоса, все выверено так, чтобы нести свои капли в копилку красоты. И как трудно после японского театра первый раз видеть европейский, где актеры слезли с котурн и ходят, кажется, как им Бог на душу положит, и ходят во мраке. Во мраке — потому, что такого количества света, который есть в японском театре, нет ни в одном европейском театре, ибо на сцену в Японии бросается столько света, что там можно кинематографировать.

«Я пришел в театр в два часа дня. Я уйду оттуда в десять вечера. Я погружаюсь в мир условностей, где восьмидесятилетний старик играет девушек, где пьесы даже современных авторов (Цубоути — современного японского Шекспира, как его там называют) берут сюжеты из токугавской эпохи бытия самураев, где абсолютная сентиментальность и красивость. На сцену в сопровождении никтошек — дорогой цветов — идет артист. Он идет так, как обыкновенные люди не ходят. По тому, что лицо его мелово-бело, я знаю, что это несчастный герой. По тому, что он в белых одеждах, я знаю, что он благородный, неправильно гибнущий герой. Он идет дорогой цветов минут пятнадцать — вечность в театральном действии. Все глаза устремлены на него. Но вправо от сцены на помосте сидят три музыканта. Они играют на сямисэнах, и один из них голосом, идущим из желудка, никак не естественным, рассказывает историю героя. Он кончит рассказывать к тому моменту, когда герой пройдет дорогу цветов и придет на сцену. Никтошки, провожающие героя, одеты в черное. Они в масках. Их надо не видеть, как они поправляют костюм на герое, как они из маленького чайника дают промочить ему горло, как они, к тому моменту, когда герой приходит на сцену, перетаскивают декорации. Их — не надо видеть, но я слежу за ними, чтобы уловить фокусы того, как они меняют на сцене — на глазах у зрителей — города и замки на морские берега и горные трущобы, — как их волей плывут сампаны и движется целый остров, декорации на котором построены во всех трех измерениях, — как они переодевают на сцене артистов. Я слежу за ними, за этими черными людьми в масках. Черными своими

халатами эти люди должны были бы разрушить красоту света и красок. И я не успеваю проследить за ними в этой самурайской пьесе, действие которой идет за сценой, о действии которой узнается из рассказа сямисэнщика, а на сцене видна только иллюстрация к этой длинной самурайской истории.

«Злой даймио уничтожает весь род своего вассала. Это рассказывает сямисэнщик. Один из сыновей вассала тайно учится в народной школе. Даймио посылает другого своего вассала убить этого мальчика. Сямисэнщик рассказывает, что этот второй вассал поклялся убитому вассалу сохранить жизнь его сына. Дорогой цветов идет вассал, посланный даймио на убийство. На сцене проходит — замок даймио, народная школа. Сямисэнщик рассказывает, что в этой же школе учится и сын идущего убивать. На сцене, пока герой идет по дороге цветов, показано, как мать ласкает своего сына. Все это кончается тем, что отец, чтобы сохранить, как он поклялся, жизнь сыну убитого вассала, вместо этого мальчика убивает своего сына. Он отрубает голову своему ребенку. Мать и отец тоскуют над головой сына. Всеми условными жестами и интонациями голоса отец передает страдания. Сямисэнщик уже молчит. И зрительный зал во мраке рыдает. И я чувствую, что и у меня в носу щекочет от этой наивной мелодрамы.

«Или: сямисэнщик рассказывает, а артисты иллюстрируют, как — в грозу, в молнию — княгиня-мать потеряла сына. Прошли годы. Мать, в тоске и обеднев, сошла с ума. Она ходила всюду, разыскивая сына, нищая старуха, и всюду рассказывала, как в грозу умер ее ребенок. Сын же ее не умирал. Он попал в буддийский монастырь, там рос и учился, и стал первосвященником города Нара. И там старуха-мать и сын-священник встретили друг друга. Сын узнал мать. Мать не узнала сына. И опять в этот момент, когда сын и мать плакали друг около друга, плакал и зрительный зал.

«На мой ум: только наивно. На мой глаз: удивительно, прекрасно, потому, что до Японии мне нигде не приходилось видеть такой продуманнейшей красивости, условности, доведенной до классики, рожденной н о, созданной династиями актеров, живущих за маленьким театральным храмиком.

«И для пропорции формулы шара: один европейский театр и десятки классических. Многие писатели, по моей анкете, никогда не ездили на лошадях, сразу с курума (рикша) пересев на автомобиль и электрическую дорогу. Приняв машинную Европу, нация японцев за последние семьдесят лет увеличилась в своем росте на два вершка, — нация, которая столетиями отсиживала ноги. И опять надо думать о наобороте и о шуме гэта. Если национальный шум Японии — шум гэта, то национальный запах Японии — запах каракатицы, ибо из каракатицы делается тушь, а каракатица — и свежая, и сушеная — продается в изобилии для еды, и на мой нос каракатицей пахнут даже санталовые курения. Студент Исида, с которым я познакомился в Японии и который со мной приехал в Россию, на мой вопрос — как он с русскими кушаниями? — ответил:

«— Спасибо, я привык, только, извините, я никак не могу привыкнуть к сметане».

«Сметанного понятия в Японии нет.

«Ну, а мы должны были привыкать жить совершенно без хлеба, есть каракатицу, маринованную редьку, горькое варенье, сладкое соленье, черепах, ракушек, сырую рыбу, сливы в перце, десятки кушаний за обедом, в малюсеньких лакированных мисочках, есть двумя палочками, сидя на полу. Пищу — мастерство кухни — тоже надо считать искусством.

«Всякое искусство — и искусство пищи, театра и живописи — все это есть те монументы, которые возникают надстройками над бытом и, перешед бытие, бытие утверждают. Мейерхольд — революционер западного театра. Осанаи — революционер восточного театра. Мейерхольд — в зависимости от восточного театра. Осанаи — в зависимости от западного театра, от Московского Художественного. Японские классические картины в императорском музее, написанные сотни лет назад, есть то, к чему сейчас стремятся революционнейшие, левейшие художники Запада, — есть последнее слово западноевропейского мастерства. А на выставке Национального живописного общества, где были выставлены полотна тридцати с лишним современных японских художников, только у четырех-пяти — у Сахара, у Тамака, у Такаяма, у Мураками — сохранилась старо-

японская манера письма. Работа остальных есть французский, голландский, немецкий классический Запад. Иль — американский плакат. Достижения этих последних — есть тот канон, от которого на Западе теперь освобождаются — во имя классической восточной живописи.

«Но вот существеннейшее: монументы возникают только тогда, когда фундаментом к монументам у нации есть материальные и духовные накопления. И работа Осанаи, работа художника Кавасима, их достижения стоят теперь на такой высоте, что Осанаи был бы желанным режиссером в европейском театре, а картины Кавасима нашли бы себе место на выставках парижского Салона».

Пильняк 32-го года не опровергает этой главы. Средневековье создавало, создало и оставило не только Рабле, шутки которого напоминают шутки японского классического театра, не только Шекспира, который очень попользовался б японскими классическими сюжетами, — но и этот классический японский театр.

Англичанин в классическом театре услыхал бы средневековую английскую историю о горбуне Лосторе. Немец прочитал бы на пилястрах театрального чайного домика германскую балладу. Покинутый родителями, ростом с мизинец, с иголкой вместо меча, ножнами которой служит соломинка, самурай, он приходит в Киото и женится на дочери министра, — разве это не европейский мальчик-с-пальчик?

Рыбак Урасима в сети поймал черепаху. Рыбак Урасима выпустил черепаху в море. В полночь женщина дивной красоты разбудила рыбака. Она повела его, — куда — об этом рассказано в «Тысяче и одной ночи», это перефразировано Пушкиным в «Сказке о рыбаке и рыбке», по деревням в России рассказывается об этом в сказке о царевне-лягушке.

Храбрый Сусаноо идет войной на дракона — змея-горыныча, поедавшего девушек, — и храбрый Сусаноо повторяет хитроумного Одиссея, опьяняя дракона чудодейным вином. Кольцо-невидимка — Сандрильона, российская Золушка.

Писательница Мурасаки Сикибу написала роман о похождениях знатного юноши Гэндзи Моногатори, —

японский Линьон не обладает терпеливостью и сентиментализмом европейского. Идиллии там кульминируют не воздыханиями, но актом совокупления, — но проистекает все это в сени кустов, при луне, в цветочных ароматах, и женщины балдеют в любовной томности не хуже европейских.

Месть. Материнское самоотвержение. Наказанные измены. Андромаха, продающая свою верность, чтоб приобрести верность мужа. Женевьева Брабантская. Принц, влюбленный в гейшу-куртизанку. Гейша-куртизанка, любящая принца, во имя своей любви, чтобы спасти от себя принца, отдающая себя тюрьме правосудия. Кальдерон. Шекспир. Даже Мольер. Даже чуть-чуть российский Островский. И, конечно, Сервантес — милейший Санчо-Пансо, донкихотейший Дон-Кихот. Самураи с честью и самураи без чести. Плутующие бонзы. Воры. Йосивара. Прелюбодеи. Чудесные беспутники. Честные купцы и купцы-разбойники, и купцы-новаторы и ростовщики. Сводни. Рогоносцы. Человечнейшая — и вселюднейшая — средневековейшая — японская в такой же мере, как и европейская — картина!

Следует заключить, что средневековье у японцев было хорошее, обстоятельное, отстоявшееся.

И следует рассказать коротко содержание пьесы крупнейшего современного японского писателя Кикути Кана (по глоссе Кима). Тоннель, о котором идет речь, существует в реальности на острове Кюсю. До появления этого тоннеля приходилось проходить, повисая над гулкой пропастью, мостом, который опоясывал отвес скалы. Многие путники, у которых был неудачливый гороскоп, низвергались в бездну этого моста. Один эдосский самурай, после невольного убийства своего владыки, проведший многогрешную юность, уставший от наслаждений убийств, обрил себе голову и, надев четки, пустился в странствие. Он пришел в деревню, около которой висел смертоносный мост. И он запылал желанием вооружить жителей окрестных деревень кирками и продолбить через скалу проход. Страстные речи пришельца ударились о скалу недоуменного изумления. Рёкай, так звали самурая, взял кирку и принялся за работу. Вид человека, колотящего по скале, был поистине жалким. Когда Рёкай через год, прорыв около двух

сажен, скрылся в скале, его почти все забыли. Через четыре года пробоина в горе была длиной в семь сажен. На девятом году глубина пещеры уже достигла 54 аршин. Стук кирки из дыры делался все глуше и глуше. Окрестные жители, не читавшие Шекспира, сказали себе: « — Если это и безумие, то довольно систематическое» — и стали понемногу помогать Рёкаю. Рёкай работал, неутомимый, ровный, безмолвный. На восемнадцатом году после начала работы Рёкай не мог уже ходить. Он мог только стоять на коленях и бить киркой. И тогда в деревню забрел один самурай, который, расспросив словоохотливых жителей о личности Рёкая, вдруг просиял и, схватившись за рукоять меча, бросился в пещеру. Добежав до места работ, он схватил полуслепого бонзу за шиворот и громко назвал себя. Он оказался сыном самурая, павшего когда-то от руки Рёкая. Сыну убитого пришлось, согласно велениям самурайского обычая, по достижении совершеннолетия, пойти разыскивать убийцу отца, чтобы выполнить акт священной мести. Он, наконец, пришел к цели. Помощники Рёкая камнями отогнали самурая и после долгих увещеваний вырвали у него согласие подождать до конца работ, до завершения тоннеля. Первое время самурай зловеще сидел в стороне, наблюдая за работающими, но через несколько дней решил присоединиться к ним, чтобы ускорить хотя бы на минуту приход сладостного мига — удара мечом по шее Рёкая. Самурай взял кирку и, став на колени рядом со смертельным врагом, неистово заколотил по камням. Самурай и бонза бок о бок, плечо в плечо, проработали ровно год и еще шесть месяцев, и в одну сентябрьскую ночь — как раз на двадцать первый год после первого удара — кирка Рёкая, звякнув, застряла в скале. Открылось звездное небо, огоньки деревень на горах и берег реки. Бонза бросил кирку, хрипло крикнул что-то и упал к ногам самурая, подставив свою голову под его меч. Но тот, потрясенный и смятенный человеческим подвигом, чудовищной победой человеческих рук, торжеством человеческого труда, молча опустился на колени, подняв рыдающего старика с земли, и обнял его. Так повествует Кикути. Если бы Кикути приехал в Москву и поучился хотя бы месяц в КУТВ'е, что на Страстной площади, он, вне всякого сомнения, написал бы еще раз

об этом тоннеле. Кикути отбросил бы в сторону мелодраматический сюжет с историческим бонзой и всепрощающим самураем и написал бы о том, как крестьяне нескольких деревушек провинции Будзэн двадцать с лишним лет непоколебимо боролись с каменной стихией, о том, как они ее великолепно победили!

Пьеса Кикути о Рёкае написана лет десять тому назад.

Пильняк 32-го года просит акцентировать, что классических театров в Японии десятки, кукольный театр и но — существуют. Театр Осанаи не погиб после смерти его основателя, окончательно превратившись в революционный театр, в коем разыгрываются не только революционные пьесы, но и революционные трагедии действительной жизни, вроде той, когда в дни пребывания Пильняка в Токио, в мае 32-го года, из помещений театра был разогнан съезд левых писателей, сопровожденный полицейскими арестами

Но Пильняк доводит до сведения, что к театру Цукидзи прибавилось еще несколько видов европейского театрального действа. Это в частности — пролетарская синяя блуза, рабочие районные театры.

И тоже в частности — Такарадзюку — нечто вроде американских бурлесков и европейских мюзик-холльных номеров. Это женская танцовщическая труппа, балерины, которые танцуют и пачкой по сто человек, и в одиночку. Они танцуют, естественно, в европейских платьях или — точнее — в европейском бесплатии, с ногами выше головы или с сотней ног. Сотней ног они изображают сопение паровоза. Двумя шеренгами полсотен ног они показывают, как японцы неверных и коварных китайцев поражают на полях Маньчжурии. Одинокие пары ног выше головы наслаждают одиночеством заглядывания под юбки. В Такарадзюку, как в Париже и Чикаго, при помощи ног не только возбуждается мужской половой инстинкт, не только подается искусство нового танца, — но и передаются политические новости.

Такарадзюку — дополнены барами вокруг Гиндзы, совершенно естественно.

Эстетическое рассуждение Пильняка о геометрической форме шара — пусть существует!

4

И есть у Пильняка в «Корнях» следующее.

«Исследователи строения земного шара говорят, что Японский архипелаг являет собой две складки вулканических цепей, пересекающие друг друга, из которых одна идет со дна океана, другая с Курильских островов, и что не исключена возможность, если обе эти вулканические системы будут действовать одновременно, — не исключена возможность того, что весь Японский архипелаг в громе (или, точнее, б е з з в у ч и и) землетрясений и вулканических катаклизмов исчезнет с лица земли, провалившись в море. В беззвучии землетрясения: при землетрясении 23-го года шум был так велик, что он не был слышен. Когда люди говорили друг с другом, они видели, что губы двигались кинематографически. В эти дни землетрясения, продолжавшегося четверть часа, на одной из площадей Токио умерло, сгорело, задохлось в дыму — сорок тысяч человек. Самым страшным было то, что люди — пролетарии, купцы, мужчины и женщины, министры, шедшие и ехавшие по своим делам, вдруг почувствовали, как потерялась их воля. Не кто-нибудь иной, а госпожа земля — кинула людей вверх, тряхнула о потолки и стены, швырнула к другим стенам иль вон на улицы. Тогда на токийских площадях люди сгорали и задыхались в течение трех дней.

«Первым движением японцев, которое было в момент землетрясения, это было — н е д в и г а т ь с я. В Иокогаме разорвало плотины. Вода из моря полезла на землю. Вода из озер заливала парки. Нефть из цистерн горела на воде. Был такой шум, что для человеческого уха он превратился в беззвучие. Министры потеряли свои квартиры. Тогда пришла ночь, полыхающая невероятными заревами. Министр Патек оказался в одном из парков, по грудь в воде. Там он встретил не то английского, не то германского посла. По грудь в воде посол и министр вели соответствующие их рангу разговоры и возмущались обстоятельствами.

«Той ночью между огней, по шею в воде с бумажными фонариками, ходили люди, выкрикивая:

«— Люди, кто может сказать о таком или таком-то, там-то работающем, принадлежащем к такому-то роду и носящем такое-то священное имя?!

«Так одни разыскивали других, дети отцов, отцы детей. И отцы, и дети, матери, мужья и жены, братья и сестры — не находили друг друга. Или находили друг друга. Отец нашел свою дочь. Они не бросились друг другу в объятия, нет. Они поклонились друг другу тем глубоким поклоном, которым кланяется японская вежливость, с руками на коленях и с шипением губ. Они поздравили друг друга добрым вечером. Они не коснулись друг друга.

«Первым движением японцев в землетрясение было — не двигаться, осмотреться, решить, о р г а н и з о в а т ь н е р в ы. Сорок тысяч человек погибли только на одной из токийских площадей. Вокруг горели кварталы. Людей засыпало горящими галками. Они стлевали в огне. Пожар кварталов съедал кислород. Люди обугливались от сжигающего жара. Кругом горели кварталы. Людям некуда было уйти. — Когда, после пожаров, оставшиеся в живых пришли раскапывать мертвецов, эти живые увидели, что мертвецы умерли, обуглились — в совершеннейшем порядке, строгими шпалерами. Живые под мертвецами нашли живых детей. Взрослые, организованно, обугливаясь, умерли без паники, почти без паники и — во всяком случае, обугливаясь, — углем своих тел спасали детей. Люди обугливались стоя.

«В беззвучии кинематографа в Токио и Йокогаме раскалывались многоэтажные дома, рассыпались, падали вниз. Из расколов, из щелей летели люди, кастрюли, хибати, куски людей.

«Япония еще не окончательно отлила свою форму. Восточные ее берега все время поднимаются, западные — уходят в море. В Токио, в Асакуса, там, где стоит храм Каннон, на памяти человечества было морское дно. Мне показывали деревушку, домики которой наполовину опущены в воду, домики не разрушены, как музейный обиход: десяток лет тому назад они были простой деревушкой, земля под ними уходит. Фудзисан, гора, о которой знает каждый человек в мире, и она каждое десятилетие меняет свои очертания. Земля Японских островов, тех островов, на которых живет тысячелетия японский народ, — эта земля движется всегда, постоянно, каждую минуту. Эта земля сотрясается грохотом вулканов. На эту землю в эти грохоты вулканов набрасываются волны океана, чтобы дать но-

вый кусок земли или отнять. На этой земле народ живет тысячелетия. Я летал над Японией от Токио до Осака. Японский архипелаг — красивейшее в мире место, красивейшего моря, красивейших гор, дорог, пагод, храмов, пейзажей, зеленей, голубизн, оранжевостей, тишины: все это совершенно верно. Но оттуда, из высот, с тысячи метров над землей, было видно, как эти японские горы выпирают из голубого моря. Сверху это — черный, злой камень, или вылезший из глубин, помимо его воли, или — тоже помимо его воли — просыпанный с неба, — злой камень, не нахожу другого слова, — страшная земля, изорванная обрывами и водопадами, разметанная камнями, лысыми вершинами, — злобная желтая земля, желтая, как лицо иссохшего старика-японца. Следовало бы недоумевать, — как у этого солнечного, корней солнца, всегда приветливо улыбающегося народа, народа, душу самурая отождествляющего с цветком вишни, — как у этого народа могут быть такие страшные, чертоподобные, ужасные боги, покоящиеся в их храмах? — тем паче, что каждый умерший в Японии переселяется в полубогов. С самолета из-за туч эта страшная земля была совершенно похожа — была судорогой чертоподобных японских богов, страшная, ужасная земля.

«23-го марта 1926 года, в 3 часа 20 минут я впервые испытал землетрясение. Было все очень просто. Был подземный толчок. Чуть качнулся, заскрипел и зазвенел стеклами дом. Чуть качнулись вещи на моем столе. Чуть качнуло меня.

«За все недели и месяцы моего пребывания в Японии очень и очень много разговоров, которые велись со мной японцами, начинались фразами:

«— а вот до землетрясения» —

«— а вот после землетрясения» —

точно землетрясения суть исторические эры. Да так, в сущности, и есть для японцев.

«Тогда, 23-го марта, я принял землетрясение не в плане поломанных костей и сожженного человеческого мяса. Тогда, в ту минуту, когда меня толкнуло не чем иным, как госпожой землей, не остывшей еще от космических действий вселенной, — я повеселел на момент от прикосновения к космосу, к тому великому и незнаемому и таинственному, что именуется Земля, что

именуется космическими силами. И мне стало торжественно. Я — бессилен перед гражданином космосом. Но гражданин космос был у меня в гостях. Это он толкает меня сейчас. Это я — участник, пусть пассивный, космических работ!.. — У источников горячих ключей, около гейзеров, наблюдая за дымом вулканов, я всегда торжественно думал о космосе, еще не остывшем для этих островов.

«Но землетрясений было много.

«Однажды нас тряхнуло на улице. Улочка качнулась справа налево, сверху вниз, очень похоже на то, как получается на фотографических снимках, если, снимая, толкнули аппарат. Ноги заплелись в беспомощности. Правда, у толпы первым движением было — не двигаться. Зазвенела и посыпалась посуда в соседней лавочке. Черные, пуговицами, вишенки глаз семилетней девочки раскосились в страшной, недетской сосредоточенности.

«И вот, каждое новое землетрясение никак не приучивало меня к себе, никак не делалось привычным. С каждым новым землетрясением все меньше было торжественности в мыслях о космосе. И уже не от мозгов, а со спины, от позвонка, приходил совершенно обыкновенный страх, самый разобыкновенный шкурный страшишко, — перед этим «гражданином» космосом, с которым ничего не поделаешь и который каждую минуту может тебя так тряхнуть, что ты вместе со всей Японией не найдешь себе места во вселенной.

Я жил в Японии — месяцы. Японский народ живет по соседству с этим космосом — тысячелетия. Стало быть, должен привыкнуть к нему и привыкнул? Стало быть, научился бороться с ним, обходить его, приспособлять к нему свой быт? — Ломанные кости и испепеленные, обугленные человеческие десятки тысяч не даются даром. Легенды японского народа о божественности его происхождения рождены вулканами?

«Социологам надо иной раз посидеть на краешке кратера дымящегося вулкана, посмотреть космическую дыру кратеров и — никак не поплевывать на социологию, рожденную вулканами».

«... Причины, давшие Японии возможность капиталистически развиться:

1) Наука и техника, готовые из Европы.

2) Дешевый труд.

3) Удачные японо-китайская, японо-русская и мировая войны.

4) Жесткая таможенная политика (в связи с войнами) по отношению ввоза и протекционизм по отношению к национальной промышленности».

«... Главным конкурентом Японии на Дальнем Востоке являются Соединенные Штаты. Япония готовит плацдармы для войны с Америкой. Но Япония сидит под пятой американцев, ибо единственное богатство Японии — шелк-сырец — покупается только Америкой — 40 проц. всего японского экспорта. Это в частности. Железо японцы ввозят, вырабатывая ½ проц. того, что вырабатывают U. S. A.».

«... Япония — нищая страна, страна нищего камня, шалашей вместо жилищ, бобовых лепешек вместо хлеба, тряпок вместо одежды, деревяшек вместо обуви.

«Я смотрю направо и налево. И я вижу — удивительнейшее, до сих пор незнаемое мною. Я вижу, как японцы освободились от вещей, освободились от зависимости перед вещью. Народ создал свою архитектуру, которая определена бытом неостывшей земли, грибообразные дома без единого гвоздя и с бамбуковыми стенами, когда японский домик строится в два дня и в японском доме нет ни одной лишней вещи, вообще нет вещей в европейском понятии вещь, ни стула, ни шкафа, ни кровати, — одно хибати, будда, пара какэмоно: весь свой скарб японец может снести на плечах. Хибати сохранился от тысячелетий. Оби, тот пояс, который красивою бабочкой висит на спинах женщин, есть рудимент постели, кои носились женщинами на спинах. (Ойран носили постели на спинах еще в семидесятых годах позапрошлого века, — матери носят до сих пор детей на спинах, работая с ними, с детьми, за плечами, в полях[1].

«Живая Япония есть страна мертвецов. Завет японца прожить жизнь так, чтобы быть достойным предков,

---

[1] Матери, работающие в полях с детьми за спиной, оказывается, оби и кимоно не носят, — смотри вышележащие справки. — Примечание 32-го г.

дощечки с именами коих стоят в алтариках, — завет синто — религия этого безрелигиозного народа. Японский народ даже в свою безрелигиозную религию, каждый японец в отдельности внес правило, что всегда, какие бы ни были обстоятельства, пусть надо отказаться от куска хлеба, он должен найти правильный путь, пусть кривой, но всегда такой, который приведет к назначенной цели. Они перехитрили европейцев, этот единственный на земном шаре цветной народ. На площадях землетрясений народ умирал организованно. Я видел однажды, как пожарные лезли на горящую стену, чтобы свалить ее, — было совершенно ясно, что они погибнут под горящими обвалинами, которые собою они хотели повалить; они были совершенно деловиты, они погибли, свалившись вместе со стеной, — толпа приняла это как должное. Народ создал такой язык, на котором нет слов брани. Народ создал такую манеру обихода, которая обязывает к вежливости. Японская мораль не позволяет женщинам кричать во время родов, и они не кричат, а когда во время родов кричала жена одного из русских дипломатических работников, об этом писалось в газетах. Вы никогда ничего не узнаете от японца по выражению его лица, — выражение лица японца с о з д а н о, а не возникло, — так же создано, как освобождение от боязни индивидуальной смерти. Каждый раз, когда я говорил с японцами, даже с моими друзьями, даже в часы отдыха и прогулок, у меня разбаливалась голова. За последние сорок лет нация японцев повысилась в росте на два вершка: это с д е л а н о. У японцев есть понятие — сибуй, — трудно перевести — оскоминный вкус, отказ от вещи, доблесть простоты, доведенной до оскомины. Сибуй упирается в Бусидо, — в ту честь, которая указывает не иметь денег, быть преданным и доблестным, не бояться смерти и не иметь потребностей. Сделанная психика японцев никак не похожа на психику европейцев. И еще о сделанности. Надо быть врачом, чтобы сказать, чей антропологический тип — японца или европейца — более совершенен. Но без качества врача можно утверждать, что тип японца более «сделан», чем тип европейца, более отстроен. И в Англии, и во Франции, и в Германии, а в СССР наипаче — есть и рыжие, и беловолосые, и черноволосые, и сероволосые, всех цветов. В Японии — все черноволосые. Иноволосых —

нет. Эта особенность распространяется и на все другие антропологические особенности.

«В июле в Японии пойдут дожди. Они будут идти неделями подряд, в страшной жаре. Они не будут испаряться, все превратив в болото. Все будет покрываться плесенью, все будет истлевать в плесени и гнили. Солнце будет палить сквозь банные клубы пара в плесени, в многонедельном удушье, когда ни днем, ни ночью нет человеку отдыха. А в ноябре пойдут с океана ветры, тайфуны, принесут холодную изморозь и туманы, «петербургскую» погодку, когда в японских шалашах за хибатями сидеть — занятие невеселое. Пусть на глаз туриста Япония очень красива.

«У каждого народа есть свой шум.

«Улицы Лондона чопорно шелестят, там не гудят даже рожки автомобилей, толпа там движется с медленной скоростью грузов. В России, в годы революции, национальным шумом были грохоты пушек вдали, шепот в переулках и песнь идущих красноармейцев на площадях. Америка сопит автомобилями и воет джазом рекламы.

«В Японии три шума. Тишина, безмолвие храмов и парков. Шум падающего водопада, шелестящего ручейка в деревне. И — человеческий шум г э т а.

«Гэта — это деревянные сандалии, скамеечки, которые японцы надевают на ноги, выходя на улицу. В гэта японцы едут на велосипеде. В гэта детишки прыгают на одной ноге. Гэта прикреплены к ноге двумя бечевками, продетыми между большим и остальными пальцами. Шум гэта тверд, как кость, как голый нерв. Шум гэта страшен на ухо европейца, когда гэта скрипят деревом по асфальту.

«Шум каждой нации имеет свой смысл. Человеческий шум Японии: это костяной шум гэта.

«Автомобиль идет по улицам, залитым солнцем, цветами, пестрыми кимоно женщин, шумом трамвайных, автобусных, автомобильных рожков, простором площадей перед императорским замком, гамом американских билдингов Гиндзы и Нихон-басси (японские билдинги этажей по семь. Примечание 32-го г.), — окончательной теснотой национальных кварталов. И всюду главенствующий шум — шум гэта. В Уэнопарке, — так же, как в Хибия-парке, как в Сиба-парке в Токио. Здесь в тени деревьев затаились национальный

музей, храмы, чайные домики. Здесь под обрывом зарастает священными лотосами озеро. На острове среди озера — синтоистский храм. И здесь — в этот солнечный весенний день — тишина, пустая тишина, вроде той, что на Поочьи бывает в бабье лето.

«Мы едем к озеру Хаконэ. Поезда подходят к перрону каждую минуту, разменивают людей и мчат дальше. Поезд мчит мимо Йокогамы, по берегу моря, под горами, под горы. Мы едем до японо-библейской Одавары. Там мы берем автомобиль. И автомобиль несет в горы. Мы едем древнейшей дорогой самураев, путем из Киото в Эдо (нынешнее Токио), обросшим преданиями тысячелетий. Автомобиль лезет в горы, около обвалов, над обвалами, под обвалами — древним путем, соединяющим восточную и западную Японию. Там, внизу, обрывается со скал река. Направо, налево с гор свисли трубы, зажавшие воду для того, чтобы ее энергия превращалась в белый уголь. Через обрывы перекидываются висячие мосты, по ним в горы уходят электрические поезда. Сначала идут леса бамбуков, затем платанов, японской сосны, лиственниц, кедров, криптомерий, просто сосны. Дальше идет ель. И еще дальше — каменные остуженные голые громады. Оттуда, с этих громад, можно шутить о том, что там за океаном видна Америка. И здесь наверху лежит снег, водопады выложили свои логовища льдом и холодом. Электрическая дорога повисла внизу висячим мостом, уперлась в скалу и ушла под камень, в тоннель. И тогда нам открылось озеро несравненной красоты, с водами, как небо в грозу, пустынными и прозрачными, как русский сентябрь. И в озере опрокинулся Фудзи-сан, раздвоившись, ставший над горами и опрокинувшийся в ледяных водах озера. Фудзи-сан — священная гора — покойствовал, величествовал над окружающими горами и над нами, в белом своем плаще снегов. У озера, где путь самураев огибает озеро, стоят ворота, — граница между западной и восточной Японией. Тут рядом кладбище, таинственные японские могильные камни. Тут совсем недавно, только несколько десятков лет тому назад, средневековая застава спрашивала прохожих, — куда и зачем они идут мимо этой заставы?

«Мы мчали автомобилем в горах под, над и около обрывов, через пропасти, от жаркого весеннего утра до

морозного зимнего дня, от бамбуков до елей и голых скал. Тоннелями и цепными мостами мимо нас уходила дорога, местная дорога, построенная только к тому, чтобы связать горных жителей с долиной и чтобы вывозить с гор леса. Я смотрел кругом и — кланялся человеческому труду, нечеловечески человеческому... Я видел, что каждый камень, каждое дерево охолены, отроганы руками от долин до отвесов обвалов. Леса на обрывах посажены — человеческими руками — точными шахматами, по ниточке. Это только столетний громадный труд может так бороться с природой, бороть природу, чтобы охолить, перетрогать, перекопать все скалы и долины. Это только огромный труд может перекинуть через пропасти мосты и врыться тоннелями в земные недра на десятки километров. Это только человеческий труд может так зажать в трубы стихии воды, горные водопады, чтобы превратить их в белый электрический уголь. Все, куда ни кинь глазом, где ни прислушайся, все говорит об этом труде, об этом организованнейшем труде. Шесть седьмых земли Японского архипелага выкинуты из человеческого обихода горами, скалами, обрывами, камнями, — и только одна седьмая отдана природой человеку для того, чтобы он садил рис. Рис может расти только в воде. Все долины Японии разрезаны полями величиной в среднюю нашу комнату. Земля на этих полях выверена по ватерпасу, чтобы вода на ней стояла ровно. Каждое такое поле по краям огорожено насыпью, чтобы не стекала вода. И все поля, все эти комнатовеличинные учреждения для проращивания риса соединены между собой сложнейшей и требующей окончательной внимательности оросительной системой. Вся Япония долин выверена по ватерпасу. — Ох, сколь это сложнее, чем европейская триангуляционная — на бумаге — выверка земли!

«Японская земля очень красива еще не остывшая от вулканов, та земля, которая человеческому труду отдала только одну седьмую часть себя, — пусть так. На самом деле чудесны глазу японские пейзажи вулканов, бухт, гор, островов, озер, закатов, сосен, пагод. Природа Японии — нищая природа, жестокая природа, такая, которая дана человеку — на зло. И тем с большим уважением следует относиться к народу, сумевшему обратать и возделать эти злые камни, землю вулканов,

землю плесени и дождей. И — за всей экзотикой и красивостью, за всеми поездами, миллионнотиражными газетами и прекрасными книгами — Япония — нищая страна, эта вулканическая держава. И понятно, почему японцы живут в шалашах, — понятно, почему едят ракушек, одеваются в тряпки, ходят босые на деревяшках, — это вулканическая держава организованного нищенства, нищественнейшего экзистенцминимума. И — тем с большим уважением следует относиться к японскому народу.

«Национальные богатства государства создаются рудами железа и прочих металлов, каменным углем, нефтью, — тяжелой индустрией. Япония не имеет ни своего железа, ни каустики, ни нефти. Ее уголь не коксуется. У Японии нет ничего, что обыкновенно, в стальной наш век, определяет национальную мощь государства. И тем не менее, Япония — великая держава.

«Мистер Смит из Шанхая, американский гражданин, так говорит о Японии:

«— Так это ж не страна, а черт знает, что такое! — говорит мистер Смит. — Ведь все они — жулики и невежды, хоть и все время улыбаются. И — каждый японец — идиот. Это — черт знает, что такое! — а как соберется пять японцев, с ними не столкуешься, переговорят.

«— А — если десять?

«Мистер Смит молчит.

«— Десять японцев вместе — обжулят кого угодно в мире, — говорит сердито мистер Смит. — Но вы смотрите! — восклицает мистер Смит. — Это же не страна, а черт знает, что такое, у них же ничего нет!.. — Ведь это форменные нищие!.. — у них же все плесневеет, костюма нельзя хорошего привезти.

«Япония — великая держава. Япония не имеет ни железа, ни химсырья. И я вижу: то место, которое в Англии занимает кардиффский уголь, в Японии заменяется нервами, волей, организованностью. Нервы и воля японского народа и его нищенство есть та необыкновеннейшая рента, организованностью своей создающая национальное богатство и национальную мощь. Этого я не видел ни у одного народа. Я слушаю

шум гэта, костяной шум обуви. И этот шум есть для меня символ воли и нервов японского народа, нервов, сжавшихся до того, что они стали, как дерево бамбука.

«Старые народы, имеющие многовековую культуру, многовековый быт, — затруднены в новаторстве. У таких народов их быт, их обычаи, их мораль и их культура, законсервированные веками, теряют гибкость, теряли способности к новаторству. И нации более молодые их обгоняли именно благодаря своей молодости и гибкости, к новаторству способные. Так было с Египтом, Вавилоном, Грецией, Римом, Индией, Китаем. Казалось бы, так же должно было бы быть и с Японией, сверстницей Греции. Япония нашла в себе силы стать молодой страной, — силы, указывающие, что у этой страны — очень много молодости.

«Какие это силы?

«Я смотрю быт и обычаи японского народа, его этику и эстетику. Быт и обычаи поистине крепки, как клыки мамонта, — тысячелетний быт и обычаи, и сознание, перешедшее уже в бытие. И то, что в Японии все грамотны. И то, как организована японская воля. И этот тысячелетний быт, создавший свою особливую мораль, не оказался препятствием для западноевропейской конституции, заводов, машин, пушек.

«Какие это силы?

«Развитие духовной и материальной культур, оказывается, не идет рука об руку. Далеко ли от Платона и Аристотеля, философов и мыслителей европейской древности, оазов человеческого духа вообще во все эпохи, — далеко ли от них ушли Кант, Гегель, Толстой? — и можно ли с этими нашими днями сопоставить век Платона, век ручного труда и войн кулаком и камнем — с веком заводов, металлургии, электричества, железных дорог, авиации, радио? — Ребенок, он родился ничего не зная, ему десять лет. Ему показали автомобиль. Он ничего не знает о том, сколько человеческого труда и гения было затрачено на создание этой машины. Он в три дня научился управлять этой машиной. То, что достигнуто материальной культурой — культурой вещей — прежних веков, он принимает как норму, от которой надо идти дальше, и воспринимает устройство автомобиля с таким же трудом, как устройство сохи. И другое. Ребенок. Для того, чтобы достигнуть

культурного уровня его отцов, чтобы иметь право идти дальше в духовной культуре, он должен потратить тридцать лет, он должен потратить долгие годы. Толстого он может изучить не тем, что прочтет о нем, а только тогда, когда прочтет самого Толстого. И — сколько бы Толстых он ни прочитал, сколько бы научных дисциплин ни изучил, сколько бы ни проповедывали ему отцы — он по-своему расшибет себе лоб о любовь и ненависть, по-своему определит свое место под луной, создав свое оправдание своего места и своего назначения. И он все должен накопить сначала — от дикаря до Толстого и Платона. Ибо наследие предков, культура предков — биологическим путем передает культуру отцов — даже не промиллями, но меньшими единицами богатств. И тогда, когда материальная культура делает шаги по европейской сказке сапогами-семиверстами, — культура духовная тянется черепахою. В Америке колоссальная материальная культура, — но культура духовная там еще в пеленках, только сейчас встает на ноги. Черепаха духовной культуры японского народа заползла далеко.

Ни одного Вестминстера и собора Парижской богоматери в Японии — нет, — ее храмы крыты соломой. Теперешние японские фабрики и заводы — не старше пятидесяти лет. Раньше заводов и фабрик в Японии не было. Японский быт упирается в землетрясение. Землетрясения освободили японский народ от зависимости перед вещью и убрали вещь. Народ опростался от вещи волей, не остывшей еще от вулканической деятельности земли. Японская материальная культура трансформировалась в волю и в организованные нервы, — жизнеспособнейшая культура «разумности», умеющая бороться даже с невзгодами вулканов. Япония — островная страна, — своей историей знает эпоху Токугава, когда Япония на два с лишком века заперлась от всех остальных народов мира. Это дало Японии чрезвычайно высоко напряженный национальный инстинкт.

«И еще одна предпосылка. Естественно: когда строят завод, его лучше строить по последнему слову техники, — и не всегда, когда есть уже старый завод, пусть отстающий от должного уровня техники, есть возможность его перестроить, ибо издержки на его пе-

реустройку не покроют тех преимуществ, которые даст новый завод перед старым. Это обстоятельство ставило очень многие отрасли производства во многих старых странах на колени перед молодежью.

«Я поставил себе вопрос:

«— Какие силы японского народа дали ему возможность, единственному народу на земном шаре не белой расы, стать великой державой, стать в ряд великих держав? —

«И я отвечаю:

«— Вулканы.

«У Японии не было своей материальной культуры, — и была старая, проверенная веками, духовная культура, — проверенная веками и вулканами, выправленная волей и нервами. Известняки и склероз материальной культуры не связывали руки японского народа (так, например, как они связали руки Китаю). Островная психика была подчеркнуто националистична, старая духовная культура и воля — нашли силы противостать европейцам. Дешевый труд и тот принцип, что новый завод всегда строится по последнему слову техники, — дали право японцам бороться с европейцами. И решающим фактором в этой борьбе были воля и нервы Японии, рожденные вулканами».

...По поводу землетрясения 23-го года следует (Змеями Кима) сделать несколько дополнений. Есть классическая японская поговорка, состоящая из четырех имен существительных: «землетрясение — гром — пожар — отец». Она перечисляет квадригу наиболее грозных для японца явлений, расположенных в нисходящей градации. После землетрясения 23-го года японские социалисты, в чьих рядах вместе с катастрофой большое опустошение произвели жандармы и полицейские, пустили в обращение новую поговорку: «дзисин — кэмпэй — кадзи — дзюнса», — что значит: — «землетрясение — жандарм — пожар — полицейский». В обоих случаях на первом месте по грозности стоит землетрясение. Великое землетрясение 23-го года избрало своими жертвами пять восточных префектур во главе с Токийской. В одиннадцать часов пятьдесят минут утра 1 сентября 1923-го года земля в

этих пяти префектурах внезапно прыгнула вверх на четыре вершка, а через несколько минут на побережье Камакуры, Дзуси, Кодзу с мощью, закачавшей вселенную, хлынул вал с Тихого океана, зеленая водяная стена в несколько сажен высотой. Земля стала извиваться и прыгать, как обалдевший дракон. С 12-ти часов дня 1-го сентября до 12-ти часов дня 2-го сентября сейсмологами было насчитано восемьсот пятьдесят шесть толчков. Со 2 по 3 сентября — двести восемьдесят девять судорог. После первых толчков в городах, во главе с Токио и Йокогама, заполыхали пожары, и жители этих городов оказались перед двумя бессмысленными стихиями, а жители прибрежной полосы восточных провинций — перед тремя. В Токио сгорело заживо 56.774 человека, утонуло в каналах, реках и прудах 11.222 человека и было раздавлено домами 3.068 человек. Этот бунт безобразия стихий уничтожил двадцатую часть национального богатства Японии.

Следует привести следующую таблицу:
Газета «Дзи-Дзи»:

Дата катастрофы	Пострадавшие районы	Число разрушенных домов	Количество жертв
11/XI — 1855	гор. Эдо	50 000	6 757
14/III — 1872	Ивами, Хаката	4 049	537
28/X — 1891	Мино, Овари	225 000	7 273
22/XI — 1894	Ямагата	10 000	726
15/VI — 1895	Три северные провинции	13 066	27 122
31/VIII — 1896	Сев. провинц.	10 000	789
1/IX — 1923	Восточн. провинц.	558 049	91 344
23/V — 1925	Кита-Тадзима	1 700	387
7/III — 1927	Кита-Танго	26 607	2 992
26/II — 1930	Каногава	6 322	295

Японцы и американцы.

Эти две страны похожи друг на друга, как летучая мышь на буйвола. Эти две страны похожи друг на друга, как японский бонза на велосипедиста, — и так же, как американский дядя Сэм на японского студента.

Американские буйволы сели в автомобиль с тем, чтобы отвезти из городов по деревням — наряду с «деревенскими» платьями, придуманными в городах, — самоновейший «капиталистический феодализм», эти люди, возникшие в бегах от средневековья и имевшие только две традиции — традицию молодости и традицию отсутствия традиций.

Японцы все еще едут на курума. Везет их курумайя, человек, а не машина. И загружены они на курума так, что их вместе с курумайей не видно из-за этих завалов традиций, преданий, поверий, феодальных реминисценций средневековья. Они едут из провинции в город. Они до суматошливости спешат. Иные из них теряют терпение, — они выпрыгивают, выскакивают из-под багажа, через оглобли курумы, через голову курумайя, — они бегут вперед. И тогда оказывается, что в них, пусть они стары, молодости никак не меньше, чем у американцев.

Деревенская Япония до сих пор похожа на Китай. Из всех стран на земле городская Япония больше всего похожа на Америку, на U. S. A. И больше всего интересуется Америкой эта страна — императорские японские соединенные штаты феодало-империалистов. Недаром эти две страны, Корни Солнца и Юнайтед Стейтс, так сердечно любят друг друга вот уже много лет. Не случайно Америка «открыла» Японию для мира, предопределив эпоху Мэйдзи пушками коммодора Пирри!..

Как досадно, как досаднейше досадно Пильняку 32-го года за недоязычие Пильняка «Корней»! — в главах о шуме гэта и о вулканах, где Пильняк «Корней» ставил себе вопрос, каким образом «языческая» Япония стала мировой державой, — в этих главах есть косноязычнейше и неграмотно выраженные истины.

То американское строительство, коим щетинятся в небо Токио, Осака и прочие японо-американские города, — это в очень большой мере не оправдано географическим расположением Японии на земле. Землетрясение 23-го года унесло двадцатую часть японского национального богатства: на Японию феодальную, на Японию деревень в этом разорении выпал всего один процент. Деревенская Япония столетиями приспособ-

лялась к землетрясениям бумажными домами, отсутствием вещей, организованной нищетой. «Господин Космос» бил в решающую очередь привезенное из-за океанов, — многоэтажные дома, тяжелые фабрики, нефтяные цистерны, — и шел пожарами коротких замыканий, самовозгораний светящего газа, разлитого бензина. Феодальная Япония провинциальных городов и до сих пор живет в отказе от вещей. Империалистическая Япония наряду с билдингами вещами обзаводится усерднейше. Тут к слову и месту будет вспомнить старое, во всех странах повторявшееся правило о том, что, как всюду, в Японии, ценя национальные свои вещи, пусть их немного, — европейские — международные, капиталистические — вещи зачастую употребляют так же, как российский мужик однажды употреблял зубную щетку для расчесывания бороды.

На обрывах кавказских, альпийских и сиерра-невадских гор и их отрогов целесообразнейше разводить виноград. На севере живут голубоглазые блондины. Голубоглазые германцы, выехавшие из Германии на Нижнее казако-татарское Поволжье, за полтора века монгольского солнца почернели, как киргизы, скулы покрыв азиатско-желтым загаром. На севере Сибири найдено небольшое племя, охотники. Охотники сами себе лили пули из доморощенного свинца. В их пулях оказалось свинца пятьдесят процентов, серебра — тридцать и — двадцать процентов платины. Платина эта не добывается, ибо прежде чем ее добывать, надо построить дороги, притащить машины, послать людей и людям создать человеческую жизнь. Но в том же Советском Союзе в те же советские дни облазали все пустыни и горы, очаровываясь и разочаровываясь хондриллой, в поисках каучуконосов. Мысль понятна и не нова. Климатические условия, географические являются очень решающими коррегаторами человеческой жизни, человеческого экономического состояния и человеческих устремлений, — даже антропологии. В песках пустыни рыбу ловить бессмысленно, ибо ее там нет. На океанских водах пшеницу сеять не стоит, ибо в воде пшеница не произрастет и потонет.

Средневековье отрывало страны друг от друга всяческими стенами. Средневековье имело досуг.

Древневековье катастрофически, решающе зависело от природных соизволений и должно было их слушаться. Средневековой Японии не приходилось трудиться великими китайскими стенами — их заменяло море.

Японцы позволили себе средневековую роскошь — на два с лишком столетия затвориться от мира, как мечтало каждое средневековье. Японское средневековье было средневековьем, так скажем, хорошим, длинным, степенным, неспешащим, от древности подслушавшим вулканы. Вулканы сделали крепкие нервы. Жестокая природа, нищая природа научила трудиться. Феодальная консервация за 200 с лишним лет анабиоза забила крестьян — второе сословие — до вежливости и терпения, до терпения безразличия. В то же состояние была приведена и целая половина человеческого рода — женщины. Феодальным идеалам помогла островная территория Японии.

Но в дни, когда к островам приплыли американские и европейские пушки, — японцев выручили — те же вулканы. Следующим образом. Пирри пришел в Йокогаму весной 1853 года. Путятин пришел в Нагасаки осенью 53-го года. Через пять лет после этих визитов японцы «заключили» со всеми странами, с американцами, русскими, англичанами, французами, голландцами, пруссаками, ползавшими тогда по земле колониальным разбоем, такие «договора», как китайцы, в коих китайцы «благополучествуют» до сих пор, — договора о консульских судах и экстерриториальности иностранцев, о монопольной торговле, о пошлинных гарантиях и прочее, ничем от Китая неотличимое. Но — в том же 853-м Россия, Англия и Франция занялись на два года высокополезным делом Севастопольской кампании, после коей Россия приступила «к несчастью» освободительных реформ, а англичане с французами, во-первых, — склокой между собой, а во-вторых, — внедрением в Китай. Победительствовала Англия. Соединенные же Штаты, в успехе калифорнийского золота добравшиеся до Хакодатэ и Симоды, вдруг впали в гражданскую войну Северных и Южных штатов, надолго отодвинувшую заботы Белого дома о благополучии Тихого океана и о справедливостях на нем.

Японцы имели передышку. В тихоокеанских водах хозяйничали англичане. И эти ж англичане задушили

б японцев, и им помогли бы американцы, если б англичане не прослышали, что японский император, вернувшись из божественного в человеческое состояние, пятым пунктом своей первой человеческой речи за всю тысячелетнюю историю не сказал бы:

«— Новые идеи будут заимствоваться со всего света, и слава империи от этого выиграет!»
— и если бы, наряду с этой очень неглупой фразой, англичане не узнали б с достоверностью, что японцы — просто нищие. Англичане первые отказались от неравных договоров с Японией. И англичане первые заключили союз с Японией.

Европейским державам в международных делах, и Англии, владычице морей, в первую очередь, неплохо было иметь на водах Дальнего Востока хорошего сторожа — против России, против Германии, да также и против Америки, хоть против Германии и России Америка полублокировала с англичанами. Японцы оказались слишком бедны, чтобы их стоило и можно было б целесообразно грабить. Японцы оказались не так глупы, чтобы не стать на полстолетия английскими сторожами. Император сказал, и японцы — на пустое место — потащили к себе европейские штаны, шкафы, комоды, стулья — в гораздо меньшей степени, чем винтовки, пушки, порох, дредноуты, вообще военную промышленность. Неравные договора, расторгнутые англичанами в первую очередь, жили до конца XIX века. И они — бывают парадоксы — помогли экономическому росту Японии. Отсутствие высоких пошлин, оговоренное договорами, удешевляло европейские товары — и раньше всего машины, станки и фабрики. Ограниченная ж деятельность консульств, оговоренная также договорами, помогала свободно трудиться японским купцам и промышленникам. Национальный бюджет Японии строится на ситце. Самое крепкое, что есть в Японии, — это армия.

В Японии — даже в баронских замках — за эти последние годы — в национальном их обиходе — вещей не прибавилось. То же хибати. Те же какэмоно. Те ж бумажные стены, и стены, и двери, и окна одновременно. Шкафы в японских домах поместиться не могут. Стулья на татами ставить бессмысленно. Татами остались на окраинах городов, по всей провинции, — по всей Японии, в сущности. Шкафы и комоды потащили

за собой европейские этажи, лифты, швейцаров с галунами, грумов. Они уровняли улицы для автомобилей. Они поселились в столицах, в больших городах. Пословица гласит — дзисин — кэмпэй — кадзи — дзюнса — землетрясение и прочее, в 23-м году унесшее двадцатую часть национальных богатств Японии, тряхнув Токио и Йокогаму. Японцы забыли о том, что их земля негодна для тяжелой индустрии!?

Пушки коммодора Пирри! — к тем временам токугавский режим создал уже богатейших купцов, знатно торгующих до сих пор. Крестьяне имели сотни восстаний, иногда многотысячными толпами сразу, в остервенении благоприличий нищеты. Ронины — самураи-дружинники, — хоть они и носили две катана, японские сабли, — переселились в города, чтобы на перекрестках у храмов и перед сёгунскими приказами писать молитвы и прошения, чтобы сочинять романы и поэмы о прекрасном прошлом, — чтобы актерствовать, — чтобы учиться на врачей, — понемножку превращались в интеллигенцию.

Японский писатель Игрэкава (от слова «игрэк») говорил Пильняку в майскую ночь 32-го года, дня через два после майских событий:

— Я с очень большой охотой написал бы повесть о генерале Араки. Вы знаете этого человека большой воли, старинной закваски, японского полковника настоящей самурайской чести. Вы знаете те армейские силы, которые вывели этого рядового и незнатного генерала на пост военного министра, в положение сильнейшего человека империи — этого человека, о котором в газетах пишут, что он каждое утро занимается самурайскими упражнениями с катаной, с нашей национальной саблей. Это — армейские капитаны, ваши Максимы Максимовичи, покрашенные у нас самурайскими традициями. Вы помните обстоятельства, так характерные для Японии, при которых генерал Араки пришел в министерство. Перед его приходом было арестовано 70 человек офицеров его группы. Они, конечно, освобождены, ибо эти аресты показали правительству силу Араки. Араки пришел в министерство победителем. Он пришел в правительство с решениями самурайской катаной разрубить все узлы наших социальных противоречий, кризиса, крестьянского вопроса, — с решениями воевать. Мемо-

рандум барона Танака был его евангелием. Он не прочь был бы воевать со всем миром сразу. Генерал Араки пришел в министерство и, став министром, прочитав секретное досье, ознакомившись с донесениями контрразведки, — министр Араки понял, что его мечты — есть только мечтанья. 15 мая, в час двадцать минут ночи, группа офицеров, из тех, что кидали бомбы и убили Инукаи, приезжала к Араки на дом. Этот ночной визит никак не похож на проявление дружеской заботы о генерале. Газеты сообщили, что генерала не было дома. К министру Араки приезжали люди, которые хотели того же, о чем мечтал генерал Араки.

Не повторилось ли с генералом Араки то же, что с Японией, в дни смены сёгуната на императорскую власть?

Под пушками американцев, русских, англичан сёгунат заключал договора с обладателями пушек. Это было вокруг 58-го года, за десять лет до гибели сёгуната. Сёгуны приняли иностранных консулов и послов.

«Реставраторы», восставшие против сёгуната, поднимали страну лозунгами:

— За реставрацию императорской власти!

— Против сношения с иностранцами!

— Против сёгуна, друга иностранных чертей!

Императорские «инсургенты» били династию Токугава именно за признание иностранцев. Если эпоха Мэйдзи (точный перевод — эпоха просвещения) была революцией, то революция опередила революционеров. Через пять лет после Пирри американцы «перезаключили» договор с сёгунатом, открыли новые порты Канагава, Нагасаки, Ниигата, Хиого, установив право экстерриториальности для американцев. Самурайство ответило террором против сёгуната. Убили премьера Наосукэ Ии. В Эдо, в токугавской столице, в нынешнем Токио, разгромили и сожгли американское и английское консульства. Били «заморских чертей», стреляли по их кораблям. Англичане вместе с американцами, французами и голландцами послали соединенную эскадру, — погромили порты, разумно, конечно, корабельной артиллерией, — взяли контрибуции миллионов в пятнадцать долларов, — наказали виноватых скоро, право и милостиво. «Инсургенты» закричали еще громче:

— Долой иностранцев!

— Долой сёгунат!

— Да здравствует реставрированный император!

Были междоусобные бои, возглавленные клановыми вождями, самурайские бои между кланов. Южные кланы при помощи осакских купеческих рублей победили северян вместе с сёгунатом. Осакских купцов, этих японских ганзейцев, родоначальников нынешних демократов, — во-первых, никак не надо забывать, а во-вторых, они очень боялись превратиться в компрадоров, в лакее-купцов для иностранцев.

Власть оказалась в руках «инсургентов». Императорствовать стал император. И в первой своей человеческой речи император говорил, на открытии государственного совета — даири:

«— ...мы, император, клянемся... будет введена система совещательного собрания, и все меры будут приниматься в согласии с общественным мнением... предрассудки и вредные обычаи древних времен будут покинуты, и справедливость явится единственной мерой поведения в будущем... новые идеи будут заимствоваться со всего света, и слава империи от этого только выиграет...»

Кланоначальники и самураи, осакские и эдоские ганзейцы слушали речь императора с удовлетворением, эти, давшие императору власть. Кланоначальники превращались в юнкерствующую бюрократию. Самураи мечтательно видели впереди дорогу интеллигенции, оседланную бусидо. Эдоские ганзейцы, подпертые властью, подпершие власть, разбавленные самурайскими сооси и кланоначальническими промышленниками, капитализировались, становились демократией, водили мечтами свои корабли на всех морях. Император переселился из Киото в Эдо, в сёгунскую столицу, в сёгунский замок, переименовав Эдо в Токио. Клан Тёсю взял на себя заботы об армии, на феодально-капиталистический откуп, поставлял вождей и переорганизовывал, европеизировал солдат и пушки, кормясь на них. Клан Сацума взял себе в откуп моря и морской военный флот. Правительство откупилось от даймио и самураев, заплатив им, вместо натурального средневекового риса, выкупные, отступные, сразу, единовременно, деньгами. Эти феодалы, ставшие капиталистами, сразу получившие большую

деньгу, но оставившие за собой аристократические припуки, — рублем стакнулись с купчишками, титулами и «сердцем» остались в кланах. Они первые, побывав в правительстве, организовали оппозицию, образовав партии, родоначальницы нынешних Сэйюкай и Минсэйто, запросив парламент. Партии родились из кланов Тоса и Хидзэн, но поддерживаются рублем и концернами Мицуи и Мицубиси, японские парламентарии. Пошли реформы. Уравнение «четырех сословий» освободило самураев от двух мечей и косички на голове на все четыре стороны в свободные профессии, в торговлю, в промышленность, на землю. Император высказал пожелание достигнуть в Японии всеобщей грамотности. В 1872-м году возникла первая газета. В 77-м году открыт первый университет. Реформы административного управления, суда, денег. Телеграф. Почта. Железные дороги. Пароходство. Европейская медицина. Начинания и обстоятельства были совершенно разумны, прогрессивны и справедливы, — ибо — чем японцы хуже англичан и русских? — Темпы и реформы были колоссальны. Они шли из дворца. Страна баррикадировалась пошлинами, правительственным покровительством, правительственной промышленностью, правительственными идеями. Работали солдаты, купцы и иностранные инженеры. По миру поехали люди, чтобы собирать со всего света «новые идеи». Темпы были колоссальны. Города и дороги строились заново. В первобытном состоянии осталась одна лишь деревня, которой ничего не перепало от Мэйдзи, кроме новых налогов, прессуемая и феодальными традициями, и борзым капитализмом. Иностранный капитал за бедностью Японии в деревни не заглядывал. Иностранные займы отправлялись на военные заводы. Япония очень быстро освоила германо-американскую технику правительственного управления. Япония сразу научилась у европейцев внешне экспансировать, начиная с 74-го года, когда японцы по тому же методу, как англичане и американцы лет за 15 до этого их самих, «наказали» «виноватую» Формозу, ныне принадлежащую Японии и называемую — Тайвань. Тогда же японцы начали «мирно» проникать в Корею. На свои провинции японцам денег не хватало. Японские ганзейцы очень быстро осознали, осознав себя единым целым. Они никак не были оппозицией его величеству, — они

были оппозицией его величества, — и то очень недолго, эти ганзейские американцы, американские демократы. Они запросили власти. Они удовлетворились прусским парламентом и американскими партиями, с теми караваями, которые дала им власть. Парламент был дан. Англия была другом, отказавшись от экстерриториальности. Китайцы были побиты. Англия стала твердым другом, заключив военный союз. Российский император был бит. Рабоче-крестьянский, женский, детский труд был каторжно дешев. «Колониальные» колонии были рядом. Феодальные иены капитализировались и концентрировались. Капитализм феодально монопольствовал. Крестьяне разорялись. Демократия — соосиствовала. Япония европеизировалась. Прогрессивная Азия становилась жандармствующей Европой. Неравные договора были сброшены, — за счет вулканов и в благодарность феодально-клановому капитализму, очень неглупому, сумевшему освободить «язычников» от белого рабства до — до жандармского состояния.

Конец мировой войны был принят в Японии национальным бедствием!

Впрочем всеобщая грамотность...

Темпы! Темпы!

Японский парламентаризм теснейше живет с японским феодало-кланством. О японском парламентаризме можно не рассказывать, отослав к рассказам об американских делах, одев американца в японский фольклор. Фольклор дорисует общий пейзаж. Не стоит искать преимуществ хрена Минсэйто — Сэйюкай перед редькой американско-республиканской. Следует вспомнить начало романа писателя Кагава, совершенно справедливое, — «Дни, когда возопиют камни». Американская — то бишь японская — демократическая партия постоянных членов не имеет. Членских взносов не собирает. Управляется боссами, которые все могут, и оргтраспредствует при помощи сооси. Доходы партии покрываются распределением мест, постов, концессий. Расходы партии покрываются взятками и воровством. Воровать для партии, — с тем, чтобы половина ворованного залипала по частным карманам, — никак не позорно. Субсидировать партию — даже правительственным министерским организациям — совершенно де-

мократично. Места продаются и покупаются — места членов парламента, губернатора, министра, — равно как баронские звания и медали, — по священным традициям феодально-парламентаризма[1].

Американская — то бишь японская — демократическая партия пала вслед за убийством премьера. Новое министерство создано партией конституционных коллег, но в столичном муниципалитете остались демократы. Надо было распределять муниципальные места по рукам коллег. Коллеги уперлись в конституционных демократов, которые имели большинство в столичном муниципалитете. Раньше всего следовало свалить демократического мэра. Это делалось просто, на заседаниях гласных в муниципалитете. Гласные — коллеги вместе со своими сооси, устроили мэру парочку кошачьих концертов, понаставили десятка два членских фонарей под глазами, свернули набок дюжину членских скул, красноречиво и кроваво обвинили мэра в ротозействе, изломав всю муниципальную мебель. Вообще ломать муниципальную, равно как и парламентскую мебель, своращать скулы и скромно выражаться — это есть достояние всех демократических неприкосновенностей. Голова у мэра цела осталась случайно. Мэр подал в отставку. Первый шаг был сделан. Теперь следовало придумать способ роспуска парламента и назначения новых выборов. Министерство внутренних дел, которое уже переснастилось на конституционных коллег, послало ревизию. Ревизия установила, что, пункт первый, — полгода тому назад муниципалитет разрешил постройку новой андергрундной линии, получил от строителей полтора миллиона иен за аренду подземных недр, миллион провел по книгам, а пятьсот тысяч — по своим собственным фуросики (по-японски) или бумажникам (по-американски), — пункт второй — красильные предприятия столицы требовали с муниципалитета компенсацию за убытки в связи с переменой фасона вывесок, компенсацию получили и половину ее вернули отцам в знак благодарности, — пункт третий, пятый, множество. Демократы в после-

[1] Смотри об этом в книге Пильняка «О'кэй, американский роман» и в прочих сему соответствующих справочниках.

дний день своего существования выдали разрешение на открытие новых двадцати пяти баров, получив за то благодарность вечным правом пребывания в оных и натуральным их пользованием, — назавтра были распущены, человек десять из них посели по кутузкам недели на две. Газеты неистовствовали возмущением. Назначены были новые выборы. Заработали боссы и сооси.

О работе боссов рассказывал лидер Тимура. Лидера Тимура Пильняк видел в Токио в 32-м году, обедал с ним.

В старину сооси встречались на больших дорогах, чаще в одиночку, изредка артелями, иной раз в лохмотьях, но всегда с гордым видом и с катаной наготове, эти отважные самураи, эти ронины, на которых девушки из Йосивары смотрели с восхищением, которые часто замышляли смерть врагам, но чаще отыскивали себе господина. Теперь по летам они ходят в канотье и в европейских костюмах, эта порода сооси. Они не разбойники и не кондотьеры. Сооси — так скажем — почетная стража парламентаризма. Они ломают стулья на заседаниях. Они охраняют и рекламируют кандидатов. Они охраняют избирателей, воруют их друг у друга, воспитывают, пасут. Иному избирателю некогда пойти поизбирать, да и неохота, — он и улизнул бы от своих священных демократических прав, если бы не сооси. Под конвоем сооси избиратели ходят к избирательным урнам, защищенные от других, которые эскортируют других избирателей. Сооси бьют иной раз избирателей. Сооси дают им иены. Сооси клевещут на конкурирующих депутатов. Сооси выкрадывают секреты чужих партий. Соосями командуют партийные боссы — «капитаны». Капитанами командуют — лидеры.

Лидер Тимура описан писателем Кагава.

Писатель Пильняк был приглашен однажды в японский артистический дом на обед. К обеду неожиданно приехал человек, о котором прошептали, что он — он друг министров, в его руках судьба парламента, в его воле карафутские концессии и международная политика. Он перегружен работой создания нового кабинета министров. Он — все может сделать. Это был высокий по-японски, сухощавый и подвижный старик,

в сером шелковом кимоно с громадным — поистине министерским — портфелем. Ему было отведено почетнейшее место, под какэмоно. Он сел за стол на пол первым, и он усердно пил сакэ. Он был очень весел, дружелюбен, подвижен. И сакэ его любило, по японской поговорке. И обед, выражаясь неточно, получился ералашным, — из-за веселья господина лидера. За обедом был единственный европеец — Пильняк. Господин лидер занимался тем, что поражал Пильняка. Он предложил Пильняку написать несколько слов на память и дал ему свое перо. Пильняк развернул автоматическую громадную ручку. Из ручки стремительно выскочил черт на проволоке. Господин лидер рассыпался, раскололся, покатился смехом. Господин лидер передал Пильняку коробочку вроде тех, в каких хранятся у европейских дам бриллиантовые кольца и сережки, обделанную бархатом. Пильняк стал открывать, открыл, и — вдруг коробочка выстрелила, как пугач. Господин лидер взорвался смехом. Господин лидер в веселейшем смехе и гордости показывал всем, как заряжается пистоном эта коробочка, и просил всех по разику стрельнуть из нее. Господин лидер предложил Пильняку закурить из его портсигара. Пильняк взял сигарету, и — все сигареты выскочили из портсигара, превратившись в длинную палку. Господин лидер блаженствовал хохотом, растирая себе от удовольствия голые стариковские колени, вылезшие из-под кимоно. Господин лидер подсунул Пильняку под локоть бумажную змею. Министерский портфель господина лидера был неисчерпаем. Господин лидер подарил Пильняку и змею, и портсигар, и автоматическую ручку, сердечно радуясь тому, что Пильняк был поражен. Тросточкообразные сигареты, стреляющая коробочка, автоматические перья с чертями так разблагодушили господина лидера, что он повез всю мужскую компанию после обеда в чайный домик к гейшам для самурайских танцев, причем сам господин лидер был первым танцором. Господин лидер, любимый сакэ, обещал устроить Пильняку визу, позвонить министру внутренних дел — и, само собою, ничего не сделал.

Все это — совершенно естественно — вещи совершенно европее-американские. Речь идет о парламента-

ризме. Если бы в Японии была республика, то ее правительственный режим можно было бы не изучать, отослав к американцам. Но в японской конституции ни слова не говорится о парламентаризме и ни словом не поминается понятие «кабинета министров». Кабинеты министров в Японии, как известно, заняты главным образом игрой в чехарду. Япония — империя, император которой происходит от бога и породил все японское племя. Американские буйволы развозят ордена и титулы на скорострельных автомобилях из столиц по провинциям, голые от традиций. Японская летучая мышь едет на курума, задавленная орденами, в таком количестве примет, богов и чертей, от которых европеец впадает в философию потомственного философа Хомы Брута. Японские «инсургенты» от 15 мая 1932-го года, подписавшие свои прокламации «офицерами армии и флота, друзьями рабочих и крестьян», в первом абзаце распроклиная капиталистов, в последнем абзаце, как раз перед подписью, восклицали:

« — Да здравствует император!»

Пильняк 32-го года убежден, что этот крик так же искренен, как вскрики инсургентов 68-го года и как мечты генерала Араки за сутки до министерского кабинета. Речь идет о власти. За 1932-ой год по тюрьмам в Японии расселось 7 тысяч коммунистов. «Офицеры армии и флота, друзья рабочих и крестьян», здравствуемые императором, — недовольны капиталистами и убили премьера Инукаи, подранив хранителя государственной печати, феодала и мракобеса, старейшего в клане Сацума, лорда Макино. Араки был выдвинут на министерский пост капитанами. Армия по-прежнему в руках клана Тёсю. Военные корабли обшаривают Тихий океан, сильнейшие на нем по-прежнему под командой клана Сацума. Армия и флот — сильнейшее в этой стране ситцево-государственного бюджета. Армия и флот заменяют в Японии тяжелую индустрию. Император никогда (теперешний император слывет за отличного энтомолога, сортирует мотыльков и также изучает породы риса), — император никогда в Японии не владел реальной властью. Именно поэтому он так популярен. Император феодальных японцев действительно популярен так, как ни в одной другой стране, реставрированный освободитель, синтоистский бог. Ев-

ропейцы называют японского императора — микадо — выдуманным словом, ибо слова микадо в японском языке не существует, даже отдаленно созвучащего. Император по-японски — тэнно. Микадо по-японски — европейское вранье.

За императором и за министерской чехардой, за кабинетами и парламентом, существовал конституцией непредусмотренный Генро, инсургентский исполком 68-го года, от которого не помер только один принц Сайондзи. Генро был всемогущим. Сайондзи до сих пор утверждает премьеров. И существовал, и существует конституцией предусмотренный верховный тайный совет. Его название определяет его смысл. Он состоит из 26 стариков. Эти 26 пожизненно назначаются императором и председательствовались членом Генро. Эти двадцать шесть остались от клана нового средневековья. Писатель Кагава начал свои «камни» фразой:

«Весной пал кабинет Вакацуки под давлением верховного тайного совета» —

Кабинет министров существует по воле принца Сайондзи, последнего Генро. Палата пэров, верхняя палата парламента, существует по воле тайного совета. В ней пожизненно сидит человек тридцать принцев, человек тридцать маркизов, человек двадцать графов, человек шестьдесят виконтов, человек семьдесят баронов, и председательствуется она принцем Токугава, который был бы шестнадцатым сёгуном его династии, если бы сёгунат его династии существовал.

Но верховная власть не здесь. Хранитель государственной печати лорд Макино — он старейший в клане Сацума, он крупнейший банкир и промышленник, — и он теснейший друг единственного Генро, принца Сайондзи. Верховная власть хранится вместе с государственной печатью.

Принц Токугава, он древен. Пильняк был в 32-м году с визитом у принца Токугава. Он, древний Токугава, кроме палаты пэров, председательствует в Пан-Пасифическом клубе, в клубе японо-американского взаиморасспознавания и взаимного понимания. Он вышел к Пильняку — в приемную свою гостиную — всеми веками японского сёгунатства и американским джентльменом, человек в веках и в визитке. Сёгунат жив в

японском правительстве 32-го года не только сёгуном-американцем, членом тайного совета и председателем верховной палаты принцем Токугава. Сёгунат первый «признал» европее-американцев. Сёгунат предуказал путь японцам. Путь сёгуната, признавшего европейцев, оказался историческим путем Японии. Сёгунат до сих пор, чего доброго, сильнее парламента, парламентаризма и демократии, правительственной японской демократии! — и не существует ли сёгунат в Японии до сих пор — императоро-концерно-сёгунат?!

Поистине рассуждения о геометрической формуле шара, о переплескивающихся национальных границах — имеют резон! — шум гэта в Японии заглухает, за шумом машин и парламентаризма, — не поэтому ли вулканы бьют в первую очередь по городам?!

У средневековья была замечательная традиция условностей, лицемерия, гипокритства, пронизавшая быт от дома до правительств. Голых королей полагалось видеть одетыми по штату. Собирались люди в гости. Хозяин готовил, что получше. Гостям хотелось наесться до отвалу. Хозяин говорил, — простите, мол, нечем вас угостить, так кой-какие пустяки, — точно вчера и третьего дня он ел и больше, и лучше. Гости кобенились, что-де сыты, забыли, да и пообедали дома. И цветы нюхали, точно всю жизнь этим делом только и занимались. По всему человечеству прошла этакая ерунда, как парики и иерихонские прически. Ехали в те же гости и прели под париками, стаскивали их с головы до поры до времени, съезжали они у них при танцах и драках с головы туда и сюда. Людовик XIV назывался королем-солнцем, — у него из-под парика вши на приемах ползали. Грабила одна страна другую страну, — называлось это войнами, и Лиги наций обсуждали: законно или незаконно происходит грабеж, на основании договоров либо нет?!

Средневековый режим условностей, лицемерности расцветал по многим причинам. Лицемерность в частности возникала производной от забитости, от подозрительности, созданных всяческой полицейщиной. И они вырабатывали «терпение». Человеческая личность, стесненная в правах познавания и в праве иметь свою мораль, ограниченная в своем труде, законсервирован-

ная традициями и каменностью власти, — не единственный ли у нее, не наилегчайший ли у нее путь — путь отречения и самопожертвования? не заключалась ли гордость средневекового японца в том, что он гордо носил ярмо, которого стряхнуть не мог? вплоть до ярма смерти, ибо и жизнь не принадлежала средневековому японцу! Если так называемая нравственность «народа» состояла у средневековья в покорном подчинении политической воле правителей, то японцы — куда обошли любой европейский народ!.. — при таких обстоятельствах иной раз действительно человеческая личная жизнь начиналась только со смертью: умер отец — старший сын стал жить по своей воле, умер старший брат — второй брат стал хозяином, — женщин личная жизнь не касалась.

Шум гэта!

У японцев есть поговорка:

— «слово сёгуна подобно поту, раз вышел, назад пот не возвращается».

5

В «Корнях» есть следующие рассказы:

«... японцы низкорослы, смуглолицы, черны, крепко скроены. Психическая организация японцев действует на европейца чрезвычайно утомительно. Японцы не любят, когда европейцы говорят на их языке. И европейцы, проживая иногда по нескольку лет в Японии, не научиваются различать индивидуальных черт японского лица. Все лица кажутся им на одно лицо. Индивидуальность стирается. Она стирается и манерой японцев ничего не выражать лицом. У японцев есть манера вежливости шипеть при разговоре, кланяясь и при еде, шипеть, втягивать в себя воздух, как делают европейцы, обжигаясь. И мистеру англичанину начинает иной раз казаться, что он сидит за обеденным столом или беседует с японцами, когда для него стерта индивидуальность японцев и они шипят, как растревоженный муравейник, эти маленькие люди конденсированной воли и непонятного языка, — европейцу начинает совершенно ясно казаться, что перед ним не люди, а людеподобные — сделанные — муравьи...

«Европеец — американский гражданин мистер Смит или Райт из Шанхая — презирает Японию. Он говорит с величайшим презрением:

«— Это, черт знает, что такое, каждый японец — обязательно идиот, а пять японцев вместе — такие наглые жулики, что с ними ничего невозможно сделать, и они тебя вокруг пальца обведут. Это же не страна, а черт знает, что такое!

«Никак не разделяя мнения мистера Райта о Японии, тем не менее я очень его понимаю. В общежительном отношении эта страна — европейцу неудобна. Зимой в этой стране холодно и сыро. Летом в этой стране неимоверно жарко и — опять сыро, так сыро, что все пиджаки мистера Смита и его ботинки покрываются плесенью. Нельзя достать настоящего сливочного масла, ибо такового нет, и невозможно получить настоящего хлеба, ибо, как европейцы не разбираются в тридцати способах варения риса, так и японцы не имеют толкового понятия о качестве хлеба. Ветчину европеец должен есть в консервах, привезенную из Австралии, квартиры, такой, чтобы не дуло с пола и из окон, в Японии найти невозможно, ибо, хотя там и строят европейские коттеджи, все равно они строятся на японский лад, картонными фонариками, в которых все дрожит и отовсюду дует. Все европейцу в Японии дорого, ибо японский табак ему непривычен, а на английский — баснословные пошлины. Ибо у европейца такие потребности, которых нет у десяти японцев. Ибо — даже в универсальных магазинах — две цены: для японцев и для иностранцев.

«Но все это мелочи перед тем основным, что решает все, — перед тем, что в Японии не уважают европейца, белого человека. С ним совершенно вежливы и совершенно вежливо спрашивают на границе, кто у него бабушка, и неукоснительно просят развязать его чемоданы, — а затем в вагоне (он едет в первом классе, по вагонам идет бой-сан из вагона-ресторана, раздавая билетики на обед) мистер Райт, негодуя, видит, что в вагоне-ресторане сначала перекормят всех японцев, даже третьеклассников, и только потом позовут его, первоклассника. И накормят, черт знает, какой белибердою, подделанной под английскую кухню. Но и этой белиберды дадут такое количество, что мистер Райт

поднимается из-за стола голодным, в горькой обиде от голода и от того, что его не уважают.

«Мистер Смит остановился в Токио в Империал-отеле, иначе он «потеряет лицо». За номер платит двадцать семь иен в сутки. И ему отовсюду дует. И его не уважают. И кругом него стена вежливейших лиц, — не лиц, а масок, через которые мистер Смит ничего не видит.

«Мистер Смит приехал заключить торговую сделку, и он ее заключит, — но непременно так, что он будет надут. Мистеру Райту вечером скучно, но в театр он не пойдет, ибо в тех местах, где японцы плачут, ему хочется спать. В ресторан он не пойдет, ибо никаким рублем его не заставишь кушать каракатицу. Хорошую девушку, гейшу из чайного домика, которая любила бы мистера Райта и была бы страстной, мистер Райт достать не может в этой, по его понятиям, развратной стране, — ибо хорошая японка не пожелает иметь интимных дел с европейцем, от которого — на нос японцев — кисло пахнет, а в Йосивару пойти — вся охота пропадет, как только он увидит, что там такая спокойная деловитость и институтственность, что даже выпить нельзя.

«И мистер Смит раздумается о землетрясении. И ночью, когда на самом деле будет маленькое землетрясение, он выскочит в коридор из своего номера мертвецки бледным, без подштанников и с туфлей в руках.

«И мистер Смит презирает Японию, ее камни, ее народ — чистосердечнейше, искреннейше. И если мистер Райт к тому же писатель, он пишет тогда — книги! — книги, интересные только тем, что в них можно проследить расовую ненависть европейца-англичанина к японцу.

«— Это же, черт знает, что такое, — говорит мистер Райт: — это же муравьи, термиты, которых даже землетрясения не унимают!.. Это же, это же, — и мистер Смит в страхе и недоумении склонен предаться метафизике! — —

«Я сразу открываю карты потому, что у меня нет ничего, кроме окончательного недоумения и ощущения окончательного идиотства перед японской полицией, — и ничего нет, кроме благодарности и уваже-

ния и даже виновности, — перед японской общественностью.

«... О полиции.

«В японских театрах есть такие «никтошки», которых надо не видеть, но которых все видят и которые в своей невидимости — тоже — играют. Сами японцы своих секретных агентов называют «ину» — собаками. Так вот эти «никтошки-ину», никтошние собаки, много мне крови испортили.

Китай был мне увертюрой. На китайской границе у меня отобрали все книги, взяли даже Флобера «Саламбо», издание 1897 года: большевистская зараза. В Харбине на моей лекции, когда я открыл рот, чтобы говорить, подошел ко мне китае-офицеро-полицейский чин и сказал, дословно, следующее:

«— Гавари — нельзя. Мала-мала пой, мала-мала танцуй. Читай нельзя.

«Я ничего не понял. Мне перевели: полиция запрещает мне говорить и читать, но разрешает танцевать и петь. — Звонили по властям, волновались, недоумевали. Некоторые советовали даже лекцию мою читать мне нараспев. Петь лекцию я отказался. Этакий добрый Китай: стоит, смущенно улыбается, вежливый, ничего не понимает и все объясняет в сотый раз:

«— Гавари нельзя. Мала-мала пой.

«Так и разошлись ни с чем.

«... Удивительнейшая, прекраснейшая на глаз страна — Корея, Страна Утренней Ясности, как она называется по-корейски, пустынная страна гор, долин, голубого моря. В вагоне, кроме нас, ехали японские офицеры, синяя весна благословляла землю. Мы сидели в обсэрвейшэн-кар, в стеклянном вагоне, прицепленном к концу поезда для того, чтобы из окон его можно было обозревать красоты, поистине прекрасные. Мы сидели на терраске обсэрвейшэн-кар, грелись мартовским солнцем, любовались белыми одеждами корейцев, точно вся Корея — некий средневековый, бело-одеждый монастырь. Корейцы, высокие, стройные, в белых одеждах, трудились над рисовыми полями. В вагоне-ресторане бои подавали медленно, в этом солнце и тепле после голубых и отчаянных маньчжурских морозов. Впереди, к ночи, предстояли Фузан, Цусимский пролив, — наутро — Япония, Симоносеки.

«Мои дела начались с Фузана. В тот момент, когда я шел за безмолвным носильщиком, мне в глаза вник и меня остановил низенький человек, в шляпе, в европейском пальто, сидящем на нем так же, как на мне сидело бы кимоно.

«— Ви — русский, ви говорите по-русски, ви грамоцный? — спросил он меня сурово, по-русски.

«— Да, я русский, — ответил я.

«Тогда он стал вежливым, поклонился в пояс, зашипел и сказал:

«— Ви — Поруняку-сан? Ви японский визит? Я ситар в газете.

«Он разыграл, что случайно читал обо мне в газетах, поэтому знает.

«— Ви писи-писи? — ритерацура?!

«— Да, литератор, пишу.

«Чемоданы мои были где-то. Ину повел меня на пароход, он, видите ли, гуляет, и он очень любезен. Организованность у японцев прекрасная, мои чемоданы без меня уже лежали в моей каюте. И сейчас же за мной в мою каюту вошел ину, без всякого конечно спроса. Сел, вынул листок бумаги. И, — без всякой любезности, с катастрофически-идиотской скукой, с трудом, как если бы я иероглиф, — стал писать.

«— Ви Пируняку-сан? Ви грамоцный? Ви писи-писи ритерацура?

«Допрашивал, как во всех на земном шаре участках. Объяснял, что он «полицейский», агент особых поручений при фузанском губернаторе. И стал со мной разговаривать о том, о сем, ловить, не зная языка, расселся удобнее, собака. Я стал соображать, что он проплывет со мной в моей каюте до Симоносек, сказал ему:

«— Вы бы ушли отсюда, здесь женщина едет, ей надо переодеться.

«Когда никтошка не хочет отвечать, он делает вид, что не слышит и не понимает.

«— Вы, что же, поедете со мной до Симоносек?

«— Нет, там вас другой порицейский встретит.

«Мой ину ушел с парохода последним. С ним я встретился еще раз, возвращаясь из Японии. Он встретил меня, как старого знакомого. Он был гораздо живее, совсем хорошо говорил по-русски, беседовал о «ритерацуре», спросил:

«— Как вам японская пориция?

«Я ответил чистосердечно, что японская полиция произвела на меня впечатление идиотское. Он рассмеялся и сказал:

«— Да, знаете, соверсенно собасья дорзность!..

«Цусимский пролив — прекрасен. И пароходы у японцев там ходят отличные. И в третьем классе на пароходах, сообщил мне мистер Смит, общая для мужчин и женщин купальня[1]. В Симоносеках встретили меня — уже не один, а с полдюжины ину. В шипении и в отчаяннейшей, непреклоннейшей вежливости одни записывали мою биографию, другие диктовали мне «объявление», в коем «я», нижеподписавшийся, обязался не нарушать японских правил общественного порядка и не заниматься коммунистической пропагандой. Под надзором ину я ходил в сортирчик. Ину повел меня в ресторан. Ину взял мне билет. Несколько ину всадили меня в пустой вагон, где лежали мои чемоданы. Рыться в вещах ину, шипя из уважения к вещам, могут гениальнейше, по способу Синоби.

«Я был совершенно трезв, но я сам себе казался тем кинематографическим пьяным, который спасается от сорока полицейских. У меня не было ничего нелегального, все документы у меня были в порядке, ехал я по приглашению японской общественности, по приглашению японских газет. Меня обыскали, перерыли мои вещи, ко мне приставили конвой. Все мои действия и желания предупреждались ину, ину даже решил за меня, что я хочу есть. Со мной ехал Викторин Попов. К нему тоже приставили ину, обыскали, только не брали «объявления». Мистер Смит, которого только обыскали и опросили, в нашу сторону и не смотрел.

«В ресторан ввалилось человек пятнадцать корреспондентов. Есть же интернациональное братство работников пера. Я взвыл от полиции перед ними. И тут я впервые научился различать индивидуальность японских лиц по тому, как опускали в молчании свои головы корреспонденты. Корреспонденты-фотографы просили ину отойти. У меня в бред разрослись слова, с которыми ко мне обращались по-русски ину:

---

[1] В 1932-м году на пароходе между Владивостоком и Цуруга общей купальни Пильняк не заметил, но писсуар для матросов был на деке и отдельной женской уборной не было.

«— Ви русский? — ви грамоцный? — ви писи-писи ритерацура?»

«Ину посадили нас в поезд. Поезд понес нас в красоты Японии, в эту невероятную для глаза прелесть, в зеленые рощи, в созревающие апельсины и в такую глубь синих заливов моря и синего неба, и синих гор, — что — — передо мной сидел ину. Ину дал мне свою визитную карточку, — «чиновник особых поручений при симоносекском губернаторе». Ину пытал меня, фантастически арестованного человека. Я не понимал, что такое произошло, по какому поводу я арестован. По наивности я спрашивал об этом ину, они отмалчивались, не слыша. Через каждые два часа ину менялись. Так было до Токио.

«В Токио мы приехали утром. Часа за два до Токио, еще раньше Йокогамы, в моем купе собралось такое большое количество японцев, что я был вынужден с ними перейти в вагон-ресторан. Я ничего не понимал. Теперь я знаю, что те, кто выехал вперед встретить меня, были подлинными моими и русской литературы друзьями, представители различных общественных организаций и газет. Пусть простят они меня: я тогда не понимал, кто полиция и кто не-полиция. Представители общественных организаций мне сказали, что на вокзале мне организуется встреча.

«Ну, и встречу ж мне организовала полиция!

«Впоследствии я узнал, что общественным организациям разрешено было меня встретить, но не разрешено было со мною говорить. Разрешено было встретить молча. И около нашего вагона выстроилась шеренга полиции, уже настоящей полиции, в форме, при пистолетах. На меня набросились фотографы, заполыхал магний, от которого слепнут глаза. А в это время подходили люди, молча жали руки, передавали визитные карточки и отходили в сторону. Понять ничего возможности не было. Затем по команде полиции мы тронулись к выходу. Тут уже поистине я потерял все, волю, понимание, вещи, друзей. Я ехал в одном автомобиле, вещи в другом. Кто платил носильщикам, за автомобили — не знаю. В одной гостинице нам отказали, в другой тоже. В третьей, когда тащили мои чемоданы, я видел, как спешно в два соседних номера вселялись ину, а внизу у портье размещался наряд полиции.

Видел, как репортеры воевали с этой полицией, чтобы проникнуть ко мне. Мне подсунули листок бумаги с вопросами о прабабушках, написанными по-английски. В волнении я стал писать по-русски, — заметив, хотел было начать снова. Мне сказали, что в гостинице живет русский, сибирский атаман Семенов, — он переведет.

«Тут я бросил мои чемоданы и побежал доставать автомобиль. Мой переводчик, который все время был спокоен и успокаивал меня тем, что так, как со мной, в Японии поступают со всеми уважаемыми иностранцами, — вытащил за шиворот от шофера ину. Я поехал в наше полпредство, к полпреду В. Л. Коппу. И перед Коппом я взмолился, чтобы он меня спас. В тот же день я переехал на дипломатическую квартиру к секретарю полпредства Л. И. Вольфу. В тот же вечер японской полицией был занят особняк перед нашим домом, перед моим жильем, — и полиция оттуда выехала вместе со мной. В. Л. Копп писал в японское министерство иностранных дел; ему ответили оттуда, что полиция приставлена ко мне, — «чтобы со мной ничего не случилось, охранять меня от опасностей».

«Мне объяснили, что полиции бояться нечего, ее можно даже бить, ину. Моя спутница вскоре привыкла к своему ину, звала его Петей, и он таскал из лавочек ее покупки. У меня же много раз болела голова от этих никтошек, которые считали себя вправе поступать иной раз так: — я сидел у приятеля, на улице шел дождь, был двенадцатый час ночи, — в дверь постучали, — мой никтошка, сняв шляпу, в позе из европейской оперы, обратился ко мне:

«— Пируняку-сан, я обращаюсь к вашим человеческим чувствам. На улице идет дождь, уже поздний час. Пожалуйста, ступайте домой, где я смогу передать вас другому полицейскому, а сам обсохнуть...

«И почти ни разу я не существовал без полицейского надзора в Японии. Круглые сутки ни на минуту меня не оставляли никтошки-ину, в городе, в полях, в горах. Когда я летал из Токио в Осака на аэроплане, никтошки расстались со мной на аэродроме, проводив меня головами, задранными вверх, — и осакские никтошки в Осака первые встретили меня густой сетью. Ничего более идиотственного и нелепого, чем эти никтошки, я на своем

веку не встречал, эти собачьи рожи, так и ждущие кирпича. Ничего более оскорбительного для Японии, как эти никтошки, в Японии я не встречал.

«И, — чем идиотственней были эти никтошки, собаками ходящие за мной, — тем большее уважение вызывают в моей памяти люди японской общественности, потому что всех японцев, приходящих ко мне, потому что каждого японца, приходившего ко мне, полиция записывала, и каждого японца, выходившего от меня, допрашивала, — допрашивала, никак не стесняясь меня, ибо, если я выходил с моими друзьями-японцами, все равно их сейчас же отзывали в сторону, задерживали и мотали их души. С рядом писателей я так и не мог встретиться, ибо полиция даже к их домам приставила ину.

«А около моего дома была лирическая картина. Мой дом стоял на углу, в тесном переулочке, заросшем тенистыми деревьями. И на другом углу был разобран забор. В заборных щелях, около хибати, грея руки и кипятя едово, сидели — очень мирно — ину. Я выходил в палисадничек, смотрел на них. Они кланялись и улыбались, очень вежливо.

«... И — о японской общественности.

«За час до Кобе, по пути в Токио, ко мне пришли представители осакских газет. За два часа до Токио мне пришлось переселиться из своего купе в вагон-ресторан, чтобы беседовать с людьми, встречавшими меня. На станции в Токио — безмолвно — я пережал десятки рук. И в этот день, несмотря на то, что я и полиция окончательно обалдели в погонях за гостиницами, — полиция в погоне за мной, я в бегах от полиции, — через полицейские заставы ко мне пришли Акита, Сигемори, Канэда, — они пришли от Нитиро-гэйдзюцу-кьокай, от Японо-Русского литературно-художественного общества, — поздравить меня и пригласить к себе, и моей спутнице они принесли цветы. В эти дни во всех газетах была моя физиономия, и через полицейские заборы никли ко мне корреспонденты газет. И в газетах едчайше издевались над полицией. На второй день моего приезда я был уже сотрудником крупнейшей японской газеты «Осака-Асахи-симбун», газеты с полуторамиллионным тиражом, и сотрудником социалистического журнала «Кайдзо» (на аэроплане «Асахи» я

летал над Японией). Меня переприглашали все японские театры и художественные объединения. В театре Осанаи я чувствовал себя таким же своим человеком, как за кулисами дружеских московских театров. А картину Эндосана, подаренную с выставки, я повесил в лучший мой угол. Мое время взяло у меня Нитиро-гэйдзюцу-кьокай, посвятившее мне и моему приезду девятый номер своего журнала, — общество, по отношению к которому у меня нет ничего, кроме глубочайшей благодарности: оно, взяв мое время, не побоялось полезть на рожны полиции, возило меня на Синсю[1], в Коганэи, устраивало банкеты, Сигемори и Канэда были постоянными моими переводчиками.

«Вот декларация Нитиро-гэйдзюцу:

---

[1] На Синсю Пильняк осматривал ткацкую фабрику, ту, где девушки сравнивают себя с цветком телеграфного столба. Полиция прозевала поездку Пильняка на фабрику, и у Пильняка записано:

«...тогда началась сумятица. Зарявкал автомобиль, — мы должны были ехать на хутор, но мы оказались в новой гостинице, не в той, где ночевали. Тут же по непонятным причинам оказались наши чемоданчики. Мы совершенно недавно завтракали, — а тут на столе оказался обед, которого есть мы не хотели и времени которому не было. Кроме нас, за столом оказались посторонние люди, которых я не приглашал. Я ничего не понимал. Вежливость мне не позволяла перейти иа истинно-русский язык. Все делалось и очень поспешно, и очень медленно. И во всяком случае очень методично. Из-за стола, что вообще считается неприличным, меня вызвали на улицу, к озеру, фотографироваться. — —

«И все это кончилось тем, что меня замертво везли на вокзал, в поезд, в Токио. И, мучаясь отчаяннейшими болями в желудке, я хотел только одного: скорее приехать в тот дом, который я считал своим, в полпредство, чтобы говорить порусски и быть среди своих соотечественников. Я не знаю, но мне кажется, что меня отравила полиция, чтобы ликвидировать мою настырность в поисках деревенской Японии и японского быта. Так или иначе, без всяческих дураков, в поезде тогда я, в полубреду, думал уже не о том, как может заболачивать Восток, а о том, как выпирает он, выталкивает из себя пробкой из квасной бутылки, к чертовой матери всех, кто сует нос, куда не следует, — и у меня ко всему — всяческая — пропадала охота,

«Так закончилась моя поездка в Синсю».

«Россия после Октябрьской революции 1917-го года показала себя во всей своей сущности, и новое творческое искусство ее привлекло к себе внимание всего мира. Само собой разумеется, что изучение этого нового искусства имеет огромное значение. В то время, как наши так называемые насадители культуры склонны с пренебрежением относиться к развитию современной жизни, наша молодежь из одного угла Дальнего Востока устремляет свой пытливый взор к новым течениям мысли всего мира, и немудрено, что она самым серьезным образом интересуется также и русским революционным искусством. Как орган, который мог бы содействовать изучению этого искусства, нами было организовано Японо-Русское литературно-художественное общество. Цель общества заключается не только в устроении собраний, издании печатных трудов и организации лекций, но и в установлении непосредственных связей между литературным миром России и Японии путем командирования членов общества в Россию и приглашения советских художников и литераторов в Японию. Однако для успешного осуществления этой цели прежде всего необходимы взаимное понимание и дружба. Только при таких условиях мы надеемся на возможность целесообразного изучения искусства обеих сторон и на вытекающее отсюда культурное сближение их. Культурное же сближение обоих народов, как мы в том глубоко уверены, принесет крупную пользу не только обеим странам, но и всему вообще миру».

Учредители Японо-Русского
литературно-художественного
общества.
Токио, март 1925 г.».

«Я перелистываю книги, только те, в коих сделаны пометки по-русски, ибо по-японски я могу читать только свою фамилию, — и эти книги совсем не все, переведенное и написанное в Японии.

«Выписываю, — переведены:

«Блок, Белый, Брюсов, Каменский, Мандельштам, Полетаев, Есенин, Эренбург, Обрадович, Колоколов, Орешин, Клюев, Князев, Маяковский, Пастернак, Владычи-

на, Демьян Бедный, Рюрик Ивнев, Александровский, Герасимов, Кириллов, Мариенгоф, Хлебников, Вс. Иванов, Зощенко, Яковлев, Федин, Замятин, Буданцев, Касаткин, Лидин, Ляшко, Никитин, Новиков-Прибой, Сейфуллина, Соболь, Шагинян.

«Театр Осанаи-сан издает свой журнал, посвященный главным образом русскому театру. Симфоническое общество Ямада-сана издает журнал, посвященный главным образом русской музыке. У меня хранятся шесть томов профессора Нобори-Сьому [1]. Вот названия этих томов по порядку, названия, выписанные по-русски рукой Нобори-сана: 1. «Мое впечатление от Советской России». 2. «Театр и балет революционной эпохи». 3. «Утренний период новосоветской литературы» (в этой книге, кроме общих статей, даны характеристики следующих писателей: Вяч. Иванова, Брюсова, Кузьмина, Сухотина, Блока, Маяковского, Пастернака, Мариенгофа, Эренбурга, Федина, Вс. Иванова, Пильняка, Толстого). 4. «Первый сборник новосоветских искусств» (посвященный живописи). 5. «Пролетарский театр, кино и музыка».

«Японцами сделано гораздо больше нас для изучения нашего искусства, — гораздо больше даже того, что сделано нами для изучения японской культуры и японского быта. Когда японцы что-нибудь делают, они делают это очень упорно. Японская государственность заботливейше отгораживается от теперешней России всякими способами, и в частности книги, посылаемые почтою в Японию, даже заказною, туда не доходят; это тоже только на мельницу японской общественности. Я по приглашению, полученному через наше полпредство, был на выпускном акте Токийского института иностранных языков. Там собрался дипломатический корпус посмотреть, как японская молодежь учит ино-

---

[1] (Глосса Кима). Сьому — псевдоним: «Рассветный сон». Родился в 1878 г. Один из лучших переводчиков Тургенева, Толстого. Достоевского, Чехова, Горького, Куприна. В последнее время переводит большие критические работы, в частности сейчас перелагает на японский все опоязовские опусы и «А все-таки она вертится» Эренбурга. В 1923 г., в конце лета, приезжал в Москву, но, пробыв несколько дней, спешно поехал обратно по получении первых телеграмм о гибели Токио, где он оставил свою семью.

странные языки. И перед нами прошли студенты, говорившие директору института прощальные речи на русском, немецком, французском, испанском, португальском, китайском, индусском, малайском, английском языках. Юноши, которые окончили институт по русскому отделению, приехали уже в Россию и будут здесь совершенствоваться в языке и изучать Россию лет по восемь: и они будут знать Россию.

Я — тоже европеец, сын страны, чуждой Японии. Я только что рассказал, как меня встретила Япония, — и о том, как Япония встречает Россию. То, что было со мной, слагается из ряда элементов и — выбрасывает ряд элементов.

«У меня очень часто в Японии болела голова от нервного перенапряжения, от непонимания того, что со мной делалось, от насморков: я тоже европеец, сын чужой страны. И ину добились конечного многого: в укромных местах я сидел над записями и книгами, чтобы разобраться в этих укромностях, но я ни разу не исхитрился побывать в рабочих районах, на рабочих собраниях. Однажды я побывал на фабрике, и о том, как я поплатился, об этом я рассказал. В укромных местах я узнал, что два года тому назад на площади Терономон студент Намба первый раз за всю историю Японии стрелял в принца-регента, ведущего род свой от богини солнца Аматэрасу, — студент Намба, бросивший университет для рабочих казарм. Этого мира японская полиция не дала мне увидать.

«Я читал роман Эгути. Такие романы писались у нас в 1904 году. Газетный работник ушел в подполье, в революцию, он связался со студенчеством, и он, и студенты его дружества, и его любовь были очень одиноки, одинокий кружок, никак не сумевший связаться с рабочими, с действующими силами. И попустому, в благороднейшей любви к абстракциям и боли, они пошли в тюремные бредни. — Фарфоровым чашкам телеграфного столба, конечно, трудно расцвести!»

Рассуждение о цветении телеграфных столбов — вещь страшная. Вообще ж вышеприведенные рассказы «Корней» надо расценивать как фотографию, со всеми фотографическими недостатками.

О японской интеллигенции говорилось уже и будет говориться. И фарфоровые цветы телеграфных столбов могут цвести.

В ряду полицейских дел надо вспомнить цитату «Корней» о том, что —

«... в морали европейских народов, несмотря на их присутствие, аморальными считались и почитаются — сыск, выслеживание, шпионаж: в Японии это не только почетно, но там есть целая наука, называемая синоби или ниндзюцу».

И так далее, сопровожденное цитатами из японского словаря и русского специалиста по шпионажу В. Латынина, подобранное Р. Кимом.

Цитату можно дополнить рядом японских материалов. Громкой памяти генерал и премьер Танака писал в своем «стейтменте», что он, до русско-японской войны, в Санкт-Петербурге (Куприн, как гласит предание, с него писал своего Рыбникова), — молодой офицер Танака, практиковавшийся в русских полках кавалерийскому искусству, обучался танцам в ряде танцевальных школ, через танцклассы разбрасывая свою шпионскую сеть. Нынешний наместник Маньчжурии (официально — посланник в Чанчуне) барон Муто в своем стейтменте, вдогонку генералу Танака, сообщил недавно, что он — офицером генерального штаба — был поваром у коменданта крепости Порт-Артура. И прочее.

О японском шпионаже пишется множество.

О японском полицейском пишутся целые научные исследования, — об этом омавари-сан — «господине туда-сюда» (точный перевод — ходящий вокруг), как на японских улицах называются постовые, по аналогии с мерзкой памяти российским городовым. Каждый, побывавший в Японии, может рассказать анекдоты не худшие, чем у Пильняка от 26-го года. Утверждают преданность японцев полиции. И утверждают, что каждый японец — шпион; бои, прачки, лавочники, врачи, журналисты, адвокаты, генералы, адмиралы, — все! — Одни это объясняют мистическими особенностями японского национального характера. Другие — страшным национализмом. Третьи — историческими традициями. Еще до эпохи Токугава, в японских деревнях возникли, наподобие русским крестьянским «мирам», административно-хозяйственные организации, по

пять дворов в каждой, со своими старостой и печатью. Назывались эти миры гонингуми. Гонингумиане обязаны были платить налоги миром в круговой поруке, оказывать мирянам помощь в беде и — следить за поведением каждого из мирян, все в круговой поруке. За грехи гонингумианина отвечал весь гонингуми. Токугавская эпоха, эпоха идеального полицейского строя, довела полицейское состояние до совершенного блеска и лакировала его двести пятьдесят, без малого лет, вогнав шпионаж в японскую плоть всеяпоно-гонингумийских масштабов. Так говорят. Омавари-сан в Японии непременный член национальных переулков. Он предсказывает погоду. Он обучает детишек самурайству. Он выпивает на похоронах. Он объявляет, когда надо чистить перед нюбаем татами. Он — господин, ходящий вокруг туда-сюда — ни дать, ни взять российский XIX века классический будочник.

Что же, фотографии Пильняка от 26-го года следует расценивать очень просто. В 26-м году в Японии была средневековая полиция, средневековых навыков, и только. И у средневековых японцев было свойственное их возрасту отношение к полиции. Еще раз — и только.

Но Пильняк 32-го года отрицает уходящее в легенду подтверждение того, что вся Япония предана шпионажу и все японцы обязательно шпионы. И не только по одному логическому утверждению того, что всякий шпионаж, даже японский, даже в средневековых отношениях, обязательно вызывает контршпионаж.

Что касается самой полиции, то к 32-му году она очень европеизировалась. Шпика, явно приставленного, Пильняк видел всего один лишь раз. Спутница Пильняка по женскому своему инстинкту в 26-м году поступала правильно, посылая Петю в лавочку. И Пете было легче. И Пильняк в 32-м году поступил по принципам спутницы. Он подсел к гороховому пальто (и в Японии они гороховые!), спросил чистосердечно:

—Вы говорите по-русски?

Тот чистосердечно ответил:

— Да!

— Кто же вы будете? — спросил Пильняк.

И тот ответил сердечно, гордо, выпятив губы, шепотом:

— Шпиен.

Побольше бы таких шпионов, сорвавшихся со средневековья!

Но этот случай был единственный. На чемоданы Пильняка набрасывались незаметно. Ни его, ни его гостиницу не насиловали. Двигаться не препятствовали.

В Москве визу Пильняку дали всего на месяц, когда вообще визы японцами даются на год. В Москве Пильняка успокоили, что конечно виза будет ему продлена на месте, в Токио. Пильняк понял, что японцы намерены проверить его поведение, прежде чем дать иль не дать визу. И Пильняк двинулся в одиннадцатитысячекилометровый путь. Приехал, через неделю стал хлопотать о продлении визы перед главной полицией. Ему сказали, что виза будет продлена. Он успокоился. В день, когда месяц его визы истек, Пильняк не выехал из Японии только по той случайности, что его не поймал полицейский телефон, ибо в продлении визы ему было отказано, и полиция ловила его телефоном, чтобы попросить о выезде. Пильняк просил ходатайствовать за него советское полпредство. И сам написал ходатайство господину японскому министру внутренних дел. Советский генеральный консул ездил в министерство иностранных дел. Советскому генеральному консулу было обещано продление визы. Пильняк был полууспокоен. Через десять дней Пильняк получил отказ в продлении визы от господина министра внутренних дел. В этот же день советский генеральный консул получил от японского министерства иностранных дел уведомление, что, ввиду того, что господином советским генеральным консулом точно не указывался срок, желательный для продления визы господина Пильняка, ходатайство господина консула конечно удовлетворено и виза господину Пильняку продлена на две недели. Одним словом, Пильняк должен был сложить свои чемоданы в 48 часов и выехать за пределы Японии.

Это — куда умнее, чем в 26-м году! — Пильняк знал, что продление его визы зависит от его японо-полицейской благонадежности, — и Пильняк не знал даже часа своего отъезда из Японии. И это — куда «капиталистичнее»! — и это, также, никак не опровергает утверждения того, что японская государственность есть государственность полицейская.

Что же касается утверждения всенародно-японского шпионства, то это утверждение, надо полагать, не будет справедливо по отношению к студенту Намба, который, по всем вероятиям, полиции не докладывался, стреляя в принца-регента, — и не будет справедливым по отношению к тем офицерам и юнкерам, «друзьям рабочих и крестьян», как они подписывали свое воззвание, убившим 15 мая 1932 года премьер-министра Инукаи и кидавшим по Токио бомбы не по любовным чувствам, надо полагать, не с разрешения полиции, хоть они, эти «друзья рабочих и крестьян», были и офицерами, и фашистами, и монархистами.

И не только по отношению к этим неверно утверждение всеяпонского шпионажа. О японцах надо сказать, что именно этот полицейский режим, шпионско-доносицкий, создал колоссальное уменье у японцев конспирироваться и очень утвердил различные Моисеевы заповеди. Если японец дал честное слово, он его сдержит так же и при тех же обстоятельствах, как любой европеец и американец.

У Пильняка в 26-м году то и дело болела от Японии голова. Пьер Лоти, Лавкадио Гэрн, Анри Бельсон напутали о Японии так, что Пильняк в 26-м году приехал в Японию с настроениями вроде тех, что были у философа Хомы Брута перед его путешествиями ко гробу паненки в полунощную церковь, описанными известным русским ученым Николаем Васильевичем Гоголем в его глубоко-научном и философском труде «Вий». Между 26-м годом и 32-м у Пильняка лежали шесть советских лет и северное полушарие земного шара от Токио через Париж — Нью-Йорк до Лос-Анджелеса и обратно.

И Пильняк в 32-м году, приехав в Токио и встретив старых своих приятелей и знакомых, думал о них без философского тумана Хомы Брута, — люди и люди. Зная ж японские полицейские обычаи, зная по газетам, что многие его знакомые писатели, которые в 26-м году допрашивались до и после свидания с Пильняком, а в 32-м — просто сидели по тюрьмам, — зная об этом, встречаясь с уцелевшими от тюрем знакомыми, Пильняк говорил с ними попросту, по-товарищески, по-человечески, как он говорил с русскими, французскими, американскими людьми.

Пильняк говорил и спрашивал примерно следующее:

— Я знаю ваш полицейский режим. Я знаю политическую напряженность между нашими странами. Я знаю события Шанхая и Маньчжурии. Мы оба знаем это в одинаковой мере. Я знаю ваши дружеские чувства ко мне. Вы знаете мои дружеские чувства к вам. И я ни в какой мере, именно во имя нашей дружбы, не хочу создавать вам каких-либо неудобств. Мне понятно, что нет никакого удовольствия видеть у себя постоянных визитеров из полиции. Я говорю о том, что, если вам неудобно встречаться со мной, — мои чувства к вам не изменятся, если вы прекратите со мной встречи.

И Пильняку отвечали по существу и попросту. Несколько человек сказали, — да, им опасно встречаться, и они не встречались. Другие сказали, — да, им опасно бывать в гостинице, но они могут встречаться в публичных местах. Третьи просили поселиться подальше от советского полпредства, куда им опасно ходить. Четвертые, а среди них были и третьи, и отчасти вторые, говорили, что, если встречи будут затруднены, они предупредят. Пятые ж, которых Пильняк не видел за эту поездку, через первых, вторых, третьих, четвертых передавали Пильняку приветы и объясняли свои невстречи полицейскими заборами.

Пильняк выехал из Москвы в Токио 23 апреля 32-го года, в дни, когда особенно густо повисли над Дальним Востоком гнилые тучи войны, готовые разразиться громами пушек и удушливых газов. Визные дела Пильняка рассказаны. Тем не менее Пильняк читал лекции в университетах, печатался в японских журналах, ходил на китайские банкеты и — пребывал подчеркнуто-советским писателем и гражданином.

Совершенно неверно, что каждый японец — шпион! — и колоссальный японский полицейский режим существует не потому, что он пришел и существует вместе со средневековьем, но именно потому, что не каждый японец — шпион.

В. Латынин, специалист по шпионажу, в своем труде писал:

«... Еще до русско-японской войны» — — и так далее, парикмахеры, лакеи, лавочники — офицеры

японского генерального штаба, — купринский рассказ «Штабс-капитан Рыбников» — теперешний японский наместник Маньчжурии господин Муто — —

Япония эпохи Мэйдзи, конечно, проделала колоссальный путь, это единственная пока на земле, кроме стран СССР, «цветная», «языческая» страна, в шестидесятых годах прошлого века стрелявшая еще стрелами луков, к эпохе мировой войны ставшая мировой «великой» державой. Для шестидесяти миллионов человек, живущих на Японских островах, конечно, эти годы от шестидесятых до сегодняшних, — освобождение от «белого» человечества, европейская медицина, удачные войны, — большой переход к лучшему будущему, расцвет, успех. Утверждение европейцев и убеждение самих японцев в том, что Япония древняя страна, — неверно. Япония — очень, чрезвычайно молодая страна, с очень молодой историей. Ибо историю теперешнего человечества надо считать от развалин средневековых замков, отодвинув все остальное в доисторию. Эпоха Мэйдзи — начало японской истории.

В 32-м году Пильняк был приглашен в замок к барону X, японскому дипломату, банкиру, реставратору, промышленнику, сподвижнику императора Муцухито. Пейзаж и дорога были чудесны. Поливал нюбай, этот японский июньский дождик «созревания персиков» и бреда для европейцев, когда то ли облака опустились на землю, то ли земля поднялась на облака. Безоблачное небо светило солнцем и — моросил дождик, садился на лицо и на одежду и парил людей, двигавшихся в жарчайшем и липком российском древних времен банном полке. Ехали на поезде с кислым свистком. Уезжали в чудесность гор. На полустанках за проволокой перронов, в мокром зное, цикады стрекали уши крапивой звуков. Приехали. Автомобиль пошел дальше в горы, заехал за забор в лес.

Этот лес и был замком, раскинувшимся от подошвы до вершины горы, со множеством домов, хижин, шалашей, храмов, служб, ферм, плантаций — средневековья, — феодальное владение. Навстречу вышел очень бодрый, очень подвижный и не очень маленький старик, которому восемьдесят четыре года. За локтями господина барона стояли две молодые, лет по восемнадцати, красавицы в ярких кимоно. Господин барон был

в тяжелой визитке, в тугом пластроне. Крахмальный воротник с черным галстуком лежал вокруг его желтой, как воск, сухой из морщин и сухожилий шеи очень плотно. Белые от времени глаза господина барона были веселы. Он весело зашутил. Он попросил пройти в дом, пропустил вперед гостей и бодро зашагал, точно шел на ходулях. Из ушей у господина барона росли белые волосы, аккуратно подстриженные. Мослы его ступней в лаковых туфлях выступали столетием. За господином бароном пошли две девушки. Сначала он принял гостей в европейском дворце, сделанном по всем европейским правилам, в гостиной. На столе лежала папка писем, только что присланных со штемпелями Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Калькутты. Прислуживали девушки. Господин барон предложил прогуляться по замку, по горам и по другим шалэ. Он шел по горам со своими подогнутыми и тем не менее ходулешагающими ногами быстрее и привычнее его гостей, совсем не задыхаясь, поразительно бодрый старик, этот человек-эпоха.

Господин барон охотно рассказывал.

Та-то таинственная и потаенная хижина под криптомериями построена в честь принца такого-то, где барон принимал принца за чайной церемонией. На той-то солнечной площадке, над обрывом, с пейзажем на долину рисовых полей и на океан, он принимал российского и американского послов за месяц до русско-японской войны. Здесь, около этого водопада и прудика с золотыми рыбками, он впервые услыхал о мировой войне, которая должна была начаться через две недели, и высказал свое мнение.

На самой вершине горы был храм, казавшийся оставшимся от тысячелетий, храм, посвященный императору Мэйдзи, отцу и покровителю господина барона.

Второй отдых был в японском дворце, сёдзи которого на самом деле остались от тысячелетия, в котором красавицы приготовили чай, сладости, сигары. Господин барон чуть-чуть отдыхал, в хорошем расположении духа. За спиной его стояли две очень красивые восемнадцатилетние девушки, храня его носовой платок и ожидая его распоряжений.

С русским писателем барон говорил о России. Солнце и нюбай парили до умопомрачения. Цикады стрекали уши до головной боли. Руки господина баро-

на, восковые, состояли из одних мослов. Господин барон, вспоминая, чуть-чуть прикрывал узкие свои глаза, затем они делались веселыми, хитрыми и добрыми.

— Я был на вашей родине, да-да, — когда это было? — Я — да-да, — я заезжал туда из Парижа в прошлом веке, кажется, в восьмидесятых годах, да-да, на коронацию императора Александра III... как ужасно тогда ушел император Александр, — Благословенный, не так ли? — но моя судьба вообще связана с Россией. Мой отец был мелким чиновником на одном из маленьких северных островков. Это было еще в эпоху Токугава, задолго до эпохи реставрации. На этот остров море иногда заносило русских рыбаков, и мой отец знал несколько русских слов. В пятидесятых годах часто уже стали появляться около берегов Хоккайдо американские и русские суда. И именно потому, что мой отец знал несколько русских слов, правительство сёгуна перевело его в Хакодате. Мне было тогда, да-да, восемь лет.

— ...да-да, я был боем у первого американского консула в Японии, мне было четырнадцать лет, я научился у него английскому языку...

Господин барон замолчал, щурясь на солнце, на океан, на половину-третьего дня.

— ...когда во Францию поехала первая японская делегация, я поехал тогда в первый раз в Европу. Я не был в штате миссии, я прислуживал ее членам. Но в Шанхае у нас умер штатный сотрудник, произошло передвижение в чинах, и я получил первый чин... да-да. Мы ехали в полном самурайском наряде, в наших национальных мужских прическах, в париках, в парадных кимоно и хаори, каждый с двумя саблями. Наполеон Третий нас встретил военным парадом, да-да... И получился смешной конфуз. Нашей миссии было предложено сесть на коней, чтобы вместе с французским императором проехать мимо полков и принять парад. Мы сели на коней, чтобы не потерять лицо, да-да. Мы плохо владели ими. Не знаю, случайно ли, или это было придумано французами: лошади для нас были собраны из разных полков лейб-гвардии, и, как только прогудели военные сигналы, эти кони маршмаршем разнесли нас по своим полкам... да-да... Вы знаете, что первый лифт, который был устроен в Париже, был в русском посольстве на рю де-Греннэль? — Там также произошел смешной конфуз. Мы были при-

глашены к русскому послу. Нас роскошно приняли. Мы прошли по замечательным коврам, постланным по посольскому двору от самой улицы. Мы вошли в вестибюль. Еще два шага, да-да... и наш посол оказался за решеткой!.. глава нашей миссии схватился за саблю, решив, что мы попали в плен. Члены делегации, не успевшие оказаться за решеткой, также были готовы схватиться за мечи. Клетка с главой нашей миссии поползла вверх. Он признавался потом, что готов был сделать себе харакири, а когда дверь клетки открылась, он боялся выходить из нее, чтобы не попасть еще в какую-нибудь ловушку... Да-да, это был лифт, первый во Франции лифт: да-да, ваши императоры никогда не были нашими друзьями...

Господин барон вспомнил, что перед ним сидит русский писатель. Он на момент прикрыл глаза, они выглянули из седых ресниц старческими и добрыми.

— Да-да... но я больше всего люблю Россию, Америку и Россию. У вас в России нет уже императоров, я слышал. В 1925-м году я должен был поехать в Москву к господину Калинину, в связи с рядом наших экономических проектов, для обретения взаимного понимания. Но я немножко стар, да-да... Я удалился теперь от государственной работы... Одно время я увлекался чайной культурой. У меня есть свои плантации. Моего чая нет в продаже. Я каждый год посылаю его в подарок императору, дарю моим друзьям, да-да, и пью сам... Я увлечен теперь вопросами национального питания. Я ставлю лабораторные опыты. В Европе едят хлеб. В Азии едят рис. Центральная Азия, Россия, Балканы едят баранину, которой почти не едят на севере Франции, на Скандинавах, в Англии и совсем не едят в Юнайтед-Стейтс. Человечество вообще употребляет пищи больше чем следует. В Японии все больше и больше обостряется рисовый вопрос, да-да... Я изучаю рационы для нашей бедноты, чтобы это было самым дешевым и наиболее полезным, да-да... Я ставлю лабораторные опыты на кроликах.

Писатель полюбопытствовал посмотреть эти опыты. Опять пошли по горе. Пришли на площадку, завитую плющом, диким виноградником, залитую нюбаем и солнцем. К скале прилепились два дома. Один — национальный, грибообразный, под соломенной, рисовой соломы, крышей. Другой — баракообразный, временной по-

стройки, европейский, под цинковым железом. Вошли в барак. Там, в клетках, сидели штук восемьдесят кроликов. Девушки вышли из-за локтей господина барона, чтобы открывать клетки. На широкой скамье, заменяющей лабораторный стол, стояли аптечные весы, лежали книги и справочники. Кролики, главным образом, были тощи. Ничего особенного не было. Вышли обратно.

—А что в этом доме? — полюбопытствовал писатель.

Глаза господина барона на момент закрылись, затем они выглянули из седых ресниц старческими и спокойными.

В национальном доме, грибообразном и под соломенной крышей, на татами рядами сидели за пяльцами женщины, в возрасте лет от четырнадцати до тридцати, человек шестьдесят. Женщины пали в ноги господину барону и его гостям. Женщины вышивали на шелку аистов для сёдзи и ширм, гору Фудзи, сосны. Женщины вышивали на полотне европейской гладью. Это была маленькая кустарная фабричка, — такими, надо полагать, были российские крепостные и европейские феодальные девичьи.

— Это моя школа, — сказал господин барон. — Дети и женщины бедных крестьян приходят ко мне учиться мастерству... да-да.

Пильняк видел живого феодала, человека эпохи Мэйдзи. Господин барон начал свою судьбу без баронского титула, боем у американского консула. И он заканчивает свою судьбу Соломоном, ибо он, подобно Соломону, песчился (не от слова песок, а от библейского слова песчись) о благе народном и для продолжения своей благостной жизни окружил себя девственницами. Эпоха Мэйдзи создала много таких людей. Такие люди — делали эпоху Мэйдзи. Теперешние дни Японии таких людей не делают, не смогут сделать, ибо эпоха — не та. Встреча с господином бароном — поучительна вообще.

Но в частности Пильняк ее вспомнил в связи с цитатой В. Латынина. Офицеры эпохи Мэйдзи могли быть боями у русских офицеров, тому свидетельство в действе господина барона и в истории с российским лифтом. Офицеры теперешней эпохи не смогут быть боями, тому свидетельством заботы господина барона о разведении кроликов и его рукодельная школа.

Цитаты ж Пильняка о напряженнейшем японском национализме, правильные для эпохи Мэйдзи, устарели для теперешних дней, — тому свидетельством дальнейшие главы.

6

Пильняк 32-го года вел записную книжку.

Приехал в Цуруга. Всю дорогу, выехав из Москвы 23 апреля, когда газеты были очень щетинисты, не имел никаких сведений о политических новостях. Дул сильный ветер, теплый и очень резкий. Советское консульство, которое было на самом берегу, однажды в бурю снесло ветром, разнесло по морю. В пустом ветре мертвого городишки, в ветреной тишине, поразили крики ястребов. Их было очень много, они летали иной раз стаями. Выяснилось, что ястреба в Японии так же чтимы, как голуби в России и Италии. В орденской японской системе есть орден Золотого Ястреба.

В Цуруга проведена мобилизация запасников в Маньчжурию, — мобилизация цуругской дивизии. За сутки до объявления мобилизации округ являл собой толпище экстренно заболевших и желавших лечиться, а на станции, в переселении народов, исчезли билеты. Первая газетная новость в Цуруга — выстрел Горгулова, газеты сообщали о зверстве большевиков.

Гостиницы, кроме американских, все и везде одинаковы. На пороге надо разуваться, когда европейская обувь очень сиротливо выглядит среди рядов гэта. На пороге в пояс кланяются хозяин и служанки. Голоса служанок похожи на скрип европейских провинциальных дверей. Перед порогом сад с такими ж фонарями, как в храмах, вытесанными из камня в рост человека, покрытыми мхом, среди карликовых деревьев и искусственных скал над озером метра в два размером, в котором плавают золотые рыбки. Лестницы полированы, как у европейцев рояли. Прислугу надо звать — через бумажные стены, где слышен каждый шорох, — ударами в ладоши. И прислуга отвечает протяжно и жалобно: «хайй!».

Ямагата — отель в Токио — точный перевод — горноподобный — считается «резидентским» отелем, отелем для приезжающих пожить неделю-другую. Отель совершенно пуст, по приказу кризиса. За окнами обрыв, овраг. Хибиа-парк, деревенский пейзаж, полошатся насекомые и птицы в своем семейном гаме. И каждое утро надрывается под горой граммофон одной и тою же пластинкой — «Дубинушкой» Шаляпина, — «эй уухнееэм!».

Наем детей в нищенство — по договорам с родителями, — подобно найму в публичные дома и на фабрики. Беспризорники, малолетние бандиты, дети с улицы, — выгнаны голодом и развалом семьи.

Около Мито. Подземные — в пещерах — ночлежки. Целые деревни выкинутых кризисом.

Токио. По каналам в городе, неподалеку от дворцовых каналов, — подобно Кантону, — в лодках живет беднота. В 26-м году этого не было. Полиция идет навстречу: под ночлежки на каналах приспособлены баржи.

Пословица: «Сберегая керосин, прогадаешь на детях».

Газетные рассуждения. На приколе в порту стоят — по приказу кризиса — первоклассные океанские корабли. Предлагается на них открыть американские дансинги и бары.

Продажа волос — женских причесок — для покупки риса. Продажа крови для переливания. Продажа тела в университетские морги. Человек не хочет уходить из тюрьмы, просится в тюрьму, делает мелкие

преступления, чтобы быть в тюрьме. Семейные самоубийства по социальным причинам. отец, мать, старики, дети, весь род. Самоубийства со-спар. Двойные самоубийства. Очень частое бытовое явление. По поверьям токугавской эпохи, двое влюбленных, умерших вместе, оказываются вдвоем на лепестке лотоса.

Газеты уже несколько дней разрабатывают этакую двойную смерть. Трупы бедного студента и буржуазной девушки вскрыты. Девушка оказалась девственницей. Студент был из очень бедной, из никакой семьи.

Полпредский сотрудник, говоривший по-японски, в поезде на Никко, подслушал разговор двух гимназисток. Они ехали в Никко, чтобы там броситься со скалы, ибо одну из них школьное начальство заподозрило в потере девственности —

Цветы «Эдо» — страховые поджоги.

Армия спасения.

Били армеек спасения, офицерш и солдатш, за — за агитацию против публичных домов. Стало быть — армия спасения, англо-американская штучка, в Японии имеется.

Рассказ соседа. Две англичанки-спасительницы офицерши-диакониссы разагитировали девушку, сироту, сделали ее христианкой и армейкой спасения. Окрестили, попели псалмы, поселили с собою, давали ей в месяц 10 иен. Жили и радовались. И увидели однажды у девушки припрятанными погребальные священные дощечки, те, на которых написаны синтоистские имена предков. Офицерши-спасительницы очень остервенели и потребовали — или утопить дощечки, или они не будут платить жалованья, 10-ти иен. Девушка бросила души своих родителей в реку. Это видели. Соседи возмутились святотатством. Спасительницы, отработав свой срок, собрались и уехали в Англию. Перед отъездом они разочаровались в девушке. Они поздравляли ее с истинным Христом. Девушка плакала, она говорила о том, что ее бойкотируют. Она просила немного денег, чтобы уехать куда-нибудь в провинцию, ибо в Токио она сможет найти себе место только в публичном доме. Спаситель-

ницы впали в ужас от этаких босых разговоров ужасного существа, потерянной девушки. Они прогнали ее вон. Сосед говорил, девушка улыбнулась, поклонилась англичанкам по-японски в ноги и отправилась в Йосивару. Но ее не взяли даже в Йосивару, святотатку, ибо ее там могли встретить соседи, ибо соседи тогда перестали бы приходить в сии публичные места.

Спасительно!

32-й и 31-й годы. Десять процентов всех японских человеческих смертей — самоубийства.

Текстильная промышленность. Голодовка в качестве разновидности забастовки, — голодовка в женских рабочих казармах. Съезд крестьян-родителей текстильных работниц. Их, вместо самих ткачих, протесты. Толпы родителей около заводских ворот, где за воротами голодают, бастуют дочери. Полиция. Газетная корреспонденция.

Шесть татами — три семьи — нормальная рабочая жилая площадь. «Блохи величиною больше рисового зерна». Первое место среди городов мира по туберкулезу — у Токио. В Токио чудесные громадные парки — «дикие» леса и болота с дикими утками.

Японское открытие: «университеты — фабрики безработных».

По специальности находят заработок люди с высшим образованием только 20 процентов. 50 приблизительно процентов таких людей вообще никакой работы не имеют. Эпоха Мэйдзи, когда высшее образование обеспечивало место не ниже губернатора, кончена. Теперь, в лучшем случае, университет дает место сельского старосты. Общее высшее образование работает впустую по воле и в результате общественно-государственной системы, понятно. Жажда образования — громадна.

Высшие школы переполнены. Студенты одеты немногим лучше рабочих, волосаты, как русские шестидесятники, между собой говорят, примерно, так:

— Тебе нравится Канэко-сан?

— Да, она уже прочитала старика Меринга.

Студенты русских факультетов — отсев, за последнее время главным образом полицейский, со всяческими «благонадежностями», — и тем не менее — большевики, разбойники.

На такси — в любой конец Токио (Токио сейчас — самый большой по площади город на земле) — полтинник, пол-иены. Шофера-студенты — не редкость. Шофера спят и вообще живут в такси, — бытовое явление. Ночью в такси часто пахнет спальней. На каждой машине всегда два шофера. И всегда газеты и книги.

Начальник полиции — содержатель публичного дома. Газетная истина.

«Харакири ныне заменяется петлей или газовым краном, — замечает начальник токийской полиции, отмечая значительный рост самоубийств на почве безработицы и истощения. — За первые шесть месяцев 1932-го года покончило самоубийством в Токио свыше тысячи человек. Число самоубийств увеличивается каждый месяц».

Сэйнэндан — допризывники полупринудительного порядка, в полувоенной форме. Пожар. Подожгли допризывники, чтобы нарядиться в форму. Газетная истина. Ходят с американским пробором и здороваются по-американски, с японским произношением, где «л» заменяется «р»:

— Хэрро!

Обязательный союз запасников — продолжение армии, дополнение к полиции — блюстительная функция.

«Наука и преступление». Журнал. Совершенно европейская похабщина. Синоби и Пинкертон.

В парламенте на столах нет чернильниц, — убраны, дабы ими не бросались. Бросаются плевательницами. Гости с хоров принимают в прениях горячее участие, и их перед входом в парламент обыскивают. Были случаи, когда депутатов выносили с заседаний на носилках. Полиция в помещении парламента, в зале заседаний и на хорах, стоит спиной к председательствующему, но не лицом, — дабы лицом быть к публике и быть готовым каждую секунду спасать и спасаться. Парламентская полиция специальная — умеющая дзюдзитить, рукопреть.

Голос выборщика — от иены, смотря по надобности и по местности. Таксированная плата за «уступить дорогу».

История японского парламентаризма начата историей железнодорожных скандалов. Сейчас — сахарное дело. Крах. Расхищение. Дутые начинания. Банкротства. Замешаны: налоговый департамент, министерство финансов, прокуратура, суд и вожди обеих партий. Поскольку в «деле» обе партии — дело выяснить невозможно. Газеты витийствуют. Дутая перекупка земли. Дутые дороги. Скупка дутых дорог правительством.

Премьер-министр Вакацуки (тот, что был до Инукаи) судился по публично-домовым делам.

Когда театр Кабуки во главе с актером Садандзи вернулся из Москвы на родину, в Токио, на первом спектакле на сцену бросались, разбрасывались по зрительному залу свертки с живыми змеями. Фашистили. Порицали сочувствие большевикам.

Верхняя палата. «Кенкюкай» — организация баронов. «Косейкай» — организация виконтов.

«Кокусуйкай» — общество национальной чистоты. Фашистско-цеховая организация. Большой процент

полурабочих. «Оябун» — «мастер» в феодальном смысле слова. Мастера имеют своих оябун, и так далее до верхушки, до «большого мастера» — «дай-оябун». Самурайствуют. Штрейкбрехерствуют. Нанимаются бить, кого прикажут. Минсэйтовцы нанимают, чтобы бить сэйюкайцев. Сэйюкайцы — минсэйтовцев. Бьют первомайские демонстрации. Зарабатывают неплохо.

Газета «Асахи» и др. от 1-го июня 1932 года.

«Давление на Про-бунка ренмэи (пролетарская культурная лига) продолжается такими же темпами, как и раньше. 29 мая арестовано 30 человек представителей пролетарского театра. 31 мая арестовано шесть человек представителей издательского отдела Союза Пролетарских Художников и конфискована литература».

Газета «Дзи-Дзи» от 1-го июня 1932 года.

«Недавно арестовано семь человек представителей Дзенкио (левый профсоюз Японии), которые после ареста руководителей этой организации организовали столовую, вокруг которой группировали своих членов и собирали средства».

Текстиль. Вербовщики девушек-девочек работниц ездят по провинции с кино, рекламой, проспектами. Конкуренция.

В деревнях, во время беспорядков и стычек с полицией, орудием борьбы служит гэта, также такэяри, — заостренный бамбук — бамбуковые пики.

На круг по всей Японии, на человека в деревне, на день, добавочное к рису питание обходится меньше золотой копейки — около полутора сен.

Газетная статья по поводу «волны преступлений», все увеличивающейся.

Демонстрация рыбаков. Дороговизна земли в Токио создала концессию по отнятию, как в Голландии и Бельгии, земли у моря. Рыбаки демонстрируют против того, что их сгоняют с воды, где они и прадеды с испокон веков ловили рыбу.

Газетные заметки.

В ряде мест и в ряде случаев на мелких предприятиях — так скажем — исчезали вывески. Хозяева задерживали жалованье рабочим. Хозяева устраивали сберегательные кассы, удерживая заработки рабочих. В некие паскудные дни рабочие приходили к своим фабрикам. У ворот толпились ояьбуны из Общества национальной чистоты. На воротах существовала новая вывеска. За воротами был новый хозяин. Это значило, что старый хозяин смылся, что фабрика перепродана и — новый хозяин ничего не знает о прежних хозяйственных расчетах прежнего хозяина с рабочими.

Был случай, когда рабочие залезли на крышу фабрики и сидели там, забаррикадировавшись с лозунгом на плакате:

«Отдайте нам наши деньги!»

Родовое клановое начало. Родовая порука. Скрытая от статистики безработица, когда потерявший работу в городе идет к брату, к отцу, к дяде — иль в другой город, или в деревню. Родовая порука не позволяет отказать пришельцу. Пришелец будет принят даже тогда, когда те, к кому он пришел, голодают. Пришелец будет помогать роду. Будут голодать вместе.

Задолженность деревни — около 6 миллиардов иен — растет ежегодно на полмиллиарда. Баланс сельского хозяйства, стало быть, пассивный. Работа дочерей в бардаках и на фабриках — уравнение баланса. Некий экономист додумался и предлагал через газету, как са-

мое выгодное, — удобрять рисовые поля рисом же. Ибо все остальные удобрения монополизированы и безбожно вздуты в цене.

Газетные сообщения.

В ряде мест и в ряде случаев в деревнях арендаторы, не уплатившие помещику арендную плату (арендная плата доходит до 50 процентов стоимости урожая, в товарных исчислениях), — арендаторы судом сгоняются с полей. Арендаторы тогда протестуют. Арендаторы против постановлений суда приходят на землю, безмолвно, дабы нельзя было найти «говорунов», становятся на рабочие места и безмолвно, без видимой команды, дабы нельзя было найти «зачинщиков», все сразу поднимают и опускают кирки, приступая к обработке своих участков. Это — разновидность бунта.

Положение мелких собственников — не лучше арендаторского. Денежные налоги и их сроки заставляют продавать рис тотчас же после урожая, и в урожайные годы дело обстоит хуже, чем в недородные. Цены на рис и спрос падают, надо бегать и умолять, чтобы продать урожайный рис. Аренда берется в процентном отношении к урожаю, но берется — деньгами.

Неуплата долгов — явление не только деревенское, но всеяпонское. Недоимки растут повсюду.

Газетные сообщения.

В ряде сельских районов врачи и акушерки разъехались из-за неуплаты жалованья. В ряде районов сокращение — и жалованья, и количества учителей. В некоторых местах — восстановление натурального обмена.

Волна крестьянских «мораториумов» — коллективной неуплаты долгов. В связи с этим сельские постановления: детям в школы не ходить, всем селом, дабы оставить одних детей помещиков, которые пусть и платят налоги. Надо помнить, что первоначальное обучение в

Японии — обязательно. Кое-где в деревнях возникли «пролетарские» школы, помимо правительственной системы, с выборным учителем, безвозмездным. Одна из деревень ходатайствовала перед правительством о том, чтобы ее не считали деревней, распустили б, ибо эта деревня не могла платить общинных налогов и не хотела ни школ, ни больницы, ни почты. Одна из деревушек организовала союз по ограничению рождения детей. Председателем союза стал старшина. На членские взносы покупались предохранительные против беременности средства и давалось вспомоществование забеременевшим на аборты, хоть аборты и воспрещены законом.

Газетные корреспонденции.

Ростовщик наложил арест на 72 дома сразу в одной деревне. Полиция помогла правозаконному человеку отобрать весь рис у деревни, отправив деревню в голод.

Газетные сообщения о самогонщиках — гонят целыми деревнями.

Газетные сообщения о краже риса.

Полицией установлены факты организованного детского воровства. Дети воровали, чтобы кормить родителей. Дети воровали потому, что ответственность за кражу — детская — меньше родительской.

Ряд газетных статей о ряде голодающих мест на севере и в центре Японии, в коих сообщается о том, что в ряде деревень население питается рыбными жмыхами, теми жмыхами, которые обыкновенно употребляются на удобрение земли.

Газетные сообщения о помещике. Сошел с ума. Не получив арендной платы. Не имел риса. Пришел срок платить поземельный налог. Сошел с ума. Землю продать невозможно, ибо никто не покупает.

Деревня, сложившись иенами, выписала для всех женщин пессарии — презервативы, надевающиеся на шейку матки. Газетная корреспонденция.

Корейский рис удвоил рисовый кризис метрополии. Ввоз корейского риса запрещен. Примерно так же обстоит дело с фушуньским каменным углем. В парламенте поднимался вопрос о запрещении его ввоза в метрополию. Надо полагать, будет запрещен.

Поговорка: «Хороший урожай — большое несчастье».

Рекордный процент несчастных случаев в горной промышленности — у японцев. Газетные справки. Пожар в копях. В копях было до сотни рабочих. Пожар затушен радикально; закупорен доступ воздуха, пожар потухнул вместе с задохнувшимися людьми. Охрана труда, совершенно естественно, отсутствовала.

В Токио шла пьеса аналогичного сюжета. На сцене внизу задыхались рабочие, наверху мучились родственники.

В 26-м году коммунистическое движение выглядело, главным образом, студенчески-интеллигентским. По газетным отчетам 1-го мая 32-го года, во время демонстраций были арестованы 1200 человек. Демонстрации происходили не только на улицах. Служащие кино забастовали в честь 1-го мая, забаррикадировавшись в ряде кино-помещений, и дрались с полицией чем попало — мебелью, зонтиками, гэта. Коммунистическое движение громится ежегодно: стало быть, ежегодно растет.

При министерстве внутренних дел организован департамент по религиозным делам. Раньше его не было.

В институте иностранных языков — забастовка. За сутки до забастовки я читал там лекцию о советской

литературе. Разговоры с профессорами. Студенческая шкала: марксисты — спортсмены — бонвиваны (пьют в кафе и барах с кельнершами) — зубрилы — фашисты. Военизация школы: не только военная подготовка, но и собирание фашистской молодежи, их кружки. В массе студенчество уклоняется от военного обучения. Ряд удостоверений об окончании военного образования — как в старину в России фальшивые удостоверения о говении. Университетская инспекция открыто связана с полицией. «Сикэн дзигоку» — точный перевод — экзаменационный ад, — «десять заповедей». Японский классицизм, вместо европейского греко-латинского, изучает китайский «камбун» — «чистый текст» и историю древней литературы. «Борьба с опасными мыслями». Забастовки в учебных заведениях — явление бытовое.

Газеты «Осаки», «Иомиури» и др. от 16-го июня 32-го года.

«После ареста писателя Фудзимори Сэйкити, который был задержан 8/VI немедленно после возвращения из Германии, выяснилось, что он начиная с весны 29-го года передал на восстановление коммунистической партии около 800 иен. Деньги передавались через Курахара, Огава и других. Прокурор токийского окружного суда немедленно составил протокол относительно нарушения закона об общественном порядке в спокойствии и поместил Фудзимори в тюрьму. Фудзимори известен в Японии, как руководитель лиги пролетарских писателей».

Газета «Асахи» и др. от 16 июня 32-го года.

«15/VI в Институте иностранных языков в Токио, в связи с забастовкой, устроенной учащимися, арестовано одиннадцать студентов, заподозренных в левых тенденциях. Указанные учащиеся оказались руководителями забастовки и связанными с марксистами. Ожидаются дальнейшие аресты».

Иные фашистские организации принимают религиозную окраску. Раньше этого никогда не было. За церковь взялись, как папа за капитализм.

Газетная корреспонденция.

В связи с маньчжурской кампанией приговорен судом к отсидке буддийский бонза, — за продажу амулетов, освобождающих от воинской повинности.

Газетная корреспонденция.

Такасима. Человек сто солдат ворвались в офицерское собрание и избили офицеров.

Дезертирство из армии.

Раненые на родину не допускаются, лечатся и выздоравливают на стороне.

«Мертвая» агитация. По деревням развозят урны с пеплом убитых — в Цуругском округе — нагойцев, в Нагойском — цуругцев.

Самоубийства солдат в армии. Самоубийство военного пилота со-спар: он и она разбились с самолетом, сознательно.

Демонстрация по принципу «Потемкина».

В помещениях армейских казарм: новый сторожевой пост в сортирах, ибо сортиры превращаются в агитпункты плакатов, прокламаций и собраний.

Крестьянский голод на севере главного острова начался с осени 31-го года. Правительственные рисовые запасы гниют на складах.

Отказы идти в атаки под Шанхаем. Роты. Батальоны.

Запасные 14-й дивизии, собравшись по мобилизации, начали бить квартиры офицеров. Их распустили. Суд.

Шанхайские события. Разговор с японцем А.: командование не оценило сил противника, не учло стратегического положения, бессмысленно теряло людей, показало устарелость маневренной тактики и вооружения, — покачнуло авторитет непобедимости.

Солдатский состав армии — на восемьдесят процентов крестьянский. Офицерский состав: 50 процентов мелкой буржуазии, 20 — военная среда, 20 — зажиточное крестьянство. Самурайские традиции. Разрыв между старым клановым высшим командованием, генералитетом, сложившимся в эпоху русско-японской войны, и рядовым кадровым офицерством, не имевшим возможности продвигаться дальше капитанов из-за отсутствия больших войн, то есть больших смертей, когда офицерство обыкновенно быстро продвигается в чинах. Капитанское офицерство, связанное с мелкой буржуазией и крестьянством, совершенно естественно, переживает кризисное состояние вместе со всей страной.

Генерал Араки именно связан с этим капитанским офицерством, с фашистской мелкой буржуазией. Разговор с писателем В.:

— Перед приходом генерала Араки в министерство было арестовано 70 человек офицеров группы Араки, — почему они не были преданы суду и были освобождены? — спросил я.

— Потому, что к власти пришел Араки. Расправиться с этими семьюдесятью — это значит расправиться со всем офицерством.

«— Армия (подразумевается офицерство) сейчас превращается в партию, в политическую партию» — не острота, но факт.

Программа «партии»:

1. Борьба с партиями и партийностью, с «парламентаризмом» взяточничества и воровства, все-купли и все-распродажи, с коррупцией.

2. Борьба за национальное правительство и «национальную чистоту».

3. Борьба за улучшение положения крестьянства, рабочих, мелкой буржуазии, путем переложения налогового пресса на капиталистов, — иль даже конфискации имуществ концернов, для раздачи беднякам.

4. Укрепление армии, усовершенствование вооруженных сил.

5. Твердая внешняя политика. Овладение Маньчжурией. Твердые договора с Манчжоу-го. Война с Китаем и СССР. Несчет с Лигой наций.

Маньчжоу-го. Маньчжурские события. Разговоры о социализме.

Д.:

— Я думаю, часть офицерства имеет программу завоевания Маньчжурии, конфискацию имущества капиталистов для того, чтоб построить в Японии императорский социализм.

Е.:

— Вы знаете, что японские социал-демократы поддерживают правительство в вопросе маньчжурских событий, ибо они полагают, что овладение маньчжурскими естественными богатствами, японская эмиграция в Маньчжурию, рациональная организация труда маньчжурского населения, — все это поможет японскому рабочему классу, а стало быть, приблизит наступление социализма.

Визит к министру народного просвещения господину Хатояма.

Господин Хатояма считает, что человечеству следовало бы создать всемирное министерство народного образования ибо: того требует эпоха. Господин министр просил меня передать Стране Советов, как перевел переводчик, что он, господин министр, знает, что некоторые японские круги относятся враждебно к СССР, — но он и его партийные друзья всемерно будут заботиться о дружбе между Японией и СССР и о взаимной как экономической, так и культурной сработе, ибо человечество должно разрешать коллизии не войнами, но экономическим и культурным взаимным пониманием. Господин Хатояма один из лидеров партии сэйюкай.

Встреча с Кикучи Каном. Крупнейший японский писатель. В кимоно и гэта. С лица похож на российского Всеволода Иванова. Очень сдержан. Встретились в ресторане. Очень молчалив. Говорили о странах и о литературе.

Кикучи Кан:

— Политические, экономические и международные дела привели Японию в тупик.

Вопрос Кикучи Кану:

— Что хорошего в современной японской литературе?

Ответ Кикучи Кана:

— Ничего хорошего.

И после паузы — о том, что он, Кикучи Кан, — представитель японской буржуазной литературы, — что (с чуть заметной, быть может показавшейся, иронией) — у пролетарских писателей цели, конечно ясны.

Вопрос Кикучи Кану:

— Что надо посмотреть в Японии?

Ответ Кикучи Кана (чуть-чуть строго):

— Нечего смотреть в Японии.

Кикучи Кан:

— Япония так дальше существовать не может.

Содан — магическое, клановое, родовое слово, наслаждение ума отдохновения души. Надо ли переделывать ванну, или выдать замуж дочь, купить кролика, переменить татами, начать или кончить торговлю, съездить к святым, — надо собрать содан, — собрать своих друзей, сокклановцев, сородичей, чтобы вместе обсудить эти вопросы, сидя вокруг хибати и раскуривая папиросы иль трубки, сбрасывая в хибати пепел и прикуривая от хибати. Первым высказыванием инициатор собрания излагает суть дела, за ним часами, по существу, говорят остальные, обязательно очень глубокомысленно. Соданят по поводу нового граммофона иной раз часов семь подряд.

Анатолий, племянник, воспитывающийся в Японии у профессора Йонэкава с тем, чтобы в СССР был лиш-

ний хороший японовед, проживающий там уже четыре года, от своих восьми до двенадцати, на вопросы по-русски: — «ты не устал? тебе не холодно? — ты не голоден?» — на вопросы, построенные «ты не», — отвечает: — «да!» — Да — по-японски и по принципу наоборота.

К слову о Толе. На границе в анкете был вопрос: — цель вашего визита в Японию? — ответил: — писательские дела и встреча с племянником. В Токио, при вселении в гостиницу, полицейские чины очень вежливо советовали пребывать в Японии не в качестве писателя, но в качестве дяди «Тори-чан», предаваться родственным наслаждениям в перманентном родственном состоянии.

Похоронная процессия. Мертвец не лежит, но сидит в ящикообразном гробу с головой между коленями, как в утробе матери. Перед гробом идет отряд солдат и монахи, в белом, несущие золотые лотосы. Около гроба несут цветы и блюдо с едой. Сзади идут люди во фраках, у каждого в петлице по белой бумажной розетке. Дальше ползут автомобили и курума. Вошли в парк. Прошли аллеи вишневых деревьев. Гроб поставили на стол, обставили горшками со священным сандаловым курением. Бонзы в митрах, похожие на российских батюшек, голосами российских батюшек запели псалмы, то проглатывая слова и ритмы, то растягивая их до скуки. Десяток бонз с бритыми головами уселись вокруг гроба по-буддийски на колени, завыли флейтами, отбивая такт гонгами и тамбуринами. Затем процессия двинулась в крематорий. Хоронили виконта.

Поездка в Никко.

«Из гроба вставал барабанщик».

В Никко гробницы первых Токугава, первого Токугава — Иэясу. Пословица гласит: «Кто не побывал в Никко, тот не видел Японии». Поездка совпала с годовщиной смерти Иэясу, и из гроба вставали барабанщики. Люди из старых кладенцев достали старинные дос-

пехи, оставшиеся от токугавских дней, панцири, мечи, луки, пики. Под поистине вековыми криптомериями, в средневековой прозрачности, в пустоте и благоуханности горного воздуха, шумящего падающей водой, люди, несколько тысяч чудаков, распределились по кланам и по доспехам. Возникли из древности полки, надевшие доспехи своих предков. Полками командовали даймио. Средневековые дружины здравствовали. Полки в зеленых, красных, синих латах, в кольчугах с мечами, без кольчуг с луками и колчанами, по роду оружия, в музыке свирелей и флейт, среди средневековых храмов, возглавленные даймио на священной белой лошади, полковыми и ротными шеренгами ходили кланяться могилам своих сюзеренов, первых Токугава. Полки состояли из тех, в родах которых осталось старинное обмундирование. Каждый полк в отдельности был вооружен и одет одинаково. Полки шли торжественно. Средневековье было сейчас. Путь полков шпалерами обставляли школьники и зрители, приехавшие на поминки Токугава.

Фантазия японцев усердно поработала на склонах никкских гор. Храмы расположились по горам, как мухоморы. Издали они на самом деле похожи на мухоморов в киновари грибообразных крыш. Храмы обвязаны японо-билийскими канатами из рисовой соломы. В храмах пусто и тихо, под храмами в криптомериях, в пагодах, течет горная река. Перила лестницы, ведущие к могиле Иэясу, заросли густейшим влажным мхом. Хвойный воздух синь от полумрака гор и криптомерий. Кругом пагоды. И там могилы. Камень. Гератический журавль, сидящий на черепахе. Тени. Молчание. Деревенская простая бедность.

Комментировать — не стоит, эти полки, восставшие из гробов, очень пригодившиеся бы «Корням».

Сюжеты для рассказов с «японской рекомендованной психологией».

1. Молодой офицер под Шанхаем спас молодую японскую девушку от пуль. Девушка, совершенно естественно, восхитительной красоты. Офицер отвел ее к

купцу-отцу. Отец предложил руку девушки офицеру. Офицер отвечал торжественно, что душа, обреченная на смерть, не может связывать себя призрачными узами.

2. Любовник пробрался в дом мужа, чтобы отрубить ему голову. Отрубил, притащил домой и установил, что в темноте он отрубил голову любовницы, но не ее мужа. Он потрясен. Он прибежал к мужу, пал к его ногам вместе с головою любимой, каясь и прося наказания. Муж заключил:

— Как я могу наказать человека, который так любил и любит?!

3. Удивительное путешествие в Васобиойэ — японского Гулливера.

Море унесло его на сампане из Нагасаки. Он был прибит морем к неведомому острову Вечной молодости и Вечной жизни. Обитатели этого острова, где в три тысячи лет умирало не больше одного человека, заняты были, главным образом, мечтой о смерти и изобретениями способов отправиться к праотцам. Столы людей были уставлены ядами и отравленной пищей. Стены домов были украшены мертвецами и картинами смерти. Эти люди пребывали в остервенелом обалдении от жажды умереть. И — не умирали, как окаянные, наказанные жизнью.

4. «Зеркало есть душа женщины, как сабля есть душа самурая».

Человек, бедный человек, подарил зеркало своей жене. Жена умирала и умерла. Перед смертью мать отдала зеркало дочери. Мать сказала маленькой дочери:

— Твой отец наверное женится вновь, у тебя будет мачеха. Смотрись в это зеркало, — я буду там всегда.

И девочка смотрелась в зеркало. Мать смотрела на нее из него сначала горестно, затем грустно, затем нежно, любяще, внимательно, затем мать и дочь сладостно плакали. Шли дни и годы. Лицо матери делалось все яснее, и на улыбки девочки оно отвечало короткими улыбками счастья сознания того, что мертвая мать и живая дочь — одно и то же.

5. Факт из жизни. 20/XII — 32. «Токио — Асахи». «Самоубийство подпоручика Нисио. Нисио в качестве

командира взвода 19-го полка попал в плен вместе с майором Куга. 10 декабря он покончил с собой при помощи фамильного меча. 8 декабря он простился с матерью, сказав ей: «— Я послезавтра направлюсь к Куга. Я хотел бы искупить свой позор красивой, мужественной смертью. Простите, что я причинил вам столько тревоги, не выполнив долга сына. Мой дух будет охранять страну и ваш дом».

По сообщению газеты, вся семья знала, что Нисио собирается умереть. Все беспокоились только об одном; чтобы он умер, как подобает военному, а не вешался и не топился.

Интервью с братом Нисио: «— Брат хорошо сделал, что умер. Мы установили престиж перед всеми. Я очень рад, что он умер с улыбкой, без мучений, проткнув себе горло фамильным мечом».

В данной газетной справке существенно отметить, что Нисио покончил с собою без малого через год после майора Куга. Военными властями к харакири он приговорен не был. В харакири его загнали быт и родственники.

Сюжеты очень пригодились бы «Корням».

7

Итак, все, что написано выше, совершенно естественно, написано по поводу писателей Кагава и Пильняка, — да и написано на их материале.

Цитаты. Газета «Миако» от 6 июня 1932-го года:

«Недовольство крестьян всей страны, жизненные условия которых оказались в противоречии с той работой, которую они выполняют, и на которых давит долг в размере 7 миллиардов иен, вылилось наружу во время заседаний чрезвычайной сессии парламента. В Токио появились ходоки из различных губерний, в первую очередь из Нагано, Ибараки, Ниигата и т. д., с ходатайством о помощи. Со дня появления в Токио они ежедневно обходят представителей правительства, министров и вождей партии. Они просят о принятии срочных мер к оказанию помощи деревне. В число требований крестьянских ходоков входит:

«1. Срочное проведение мораториума крестьянской задолженности.

«2. Обеспечение производственных расходов на сельскохозяйственную продукцию.

«Переговоры с представителями правительства вносят только разочарование в сердца крестьянских ходоков. Но, если крестьянские требования закончатся ничем и представителям крестьянства придется вернуться в деревню с пустыми руками, то есть опасение, что крестьянское движение перейдет в следующую фазу и примет более глубокий и серьезный характер. В настоящее время ведется подготовка к тому, чтоб под крестьянскими заявлениями собрать подписи солдат и подписи союза запасных с тем, чтобы такое заявление было передано императору».

Газета «Асахи» от 7 июня 32-го года:

«...Донесение чиновника министерства земледелия, ездившего по деревням префектуры Ниигато... в уездах Китагама, Хара, Накагамакара и Уонума у крестьян стало обычной пищей то, что предназначено для удобрения, — тук и пр... Дети продаются за цену от 100 до 400 иен».

Газета «Джапан Адвертайзер» от 8 июня 32-го года:

«Вчера в Токио прибыла группа крестьян из префектуры Нагано, представители как арендаторов, так и собственников, с прошением о том, чтобы парламент принял меры для улучшения положения крестьян. Они беседовали со спикером нижней палаты Акита. Они просили также работников минвнудела, чтоб полиция была снисходительной. Они обратились к доктору Баба, президенту ипотечного банка, с просьбой установления моратoриума по всем крестьянским делам. Они беседовали также с представителями столичных газет.

«По рассказам этих крестьян о положении в Гока, одной из деревень префектуры Нагано, имеющей семьсот крестьянских дворов и сто землевладельцев, в настоящее время владельцы не пытаются даже собирать причитающуюся им в натуре (рисом) арендную плату. Раньше они пробовали делать это, и деревня Гока была известна своими конфликтами между арендаторами и землевладельцами, — теперь они ограничиваются толь-

ко практическими вопросами. Собирание арендной платы не практикуется. Молодежь, объединенная пожарной дружиной, становится все более и более радикальной. В деревне нет риса и пшеницы, и другие съестные припасы на исходе. Все находятся в одинаковом положении. Люди, считавшиеся ранее богатыми, — сейчас уже перестали быть таковыми. Они уже не получают арендной платы, и даже арендные конфликты прекратились. В городе Уэда, одном из районов шелководства, школы должны кормить около 10 процентов детей, или 500 человек в день. Между Маруко и Уэда имеется трамвайная линия. Сейчас трамваи останавливаются между своими конечными линиями редко: ни у кого нет денег на проезд в трамвае. Ездят только пассажиры, пользующиеся бесплатным проездом. В Маруко имеется 25 дымовых труб, но сейчас дым идет только из одной. С тех пор, как крупнейшая шелкомотальная фабрика закрылась в конце мая, город фактически опустел. Местечко Нагакубо Синмаци, в северной части Нагано, известно как единственное место в Японии, где проститутки днем занимаются кормлением шелковичных червей. Нынешней весной они занимались только червями. В городе имеется десять публичных домов, и, хотя два или три продолжают оставаться открытыми для посетителей, таковых не находится.

«В заключение глава этой крестьянской группы Саки Хироси сказал:

«— Мы ни в каких подробностях не преувеличиваем. Даже в дни сёгуната Токугава крестьяне были в состоянии иметь в запасе некоторое количество пищи. Нынешнее правление является тиранией. Если положение будет предоставлено своему естественному ходу развития, то наша система самоуправления будет разрушена. Власти должны выдвинуть коренной план смягчения бедствий крестьянства.

«— Мы понимаем серьезность экономического и финансового тупика — ответил спикер нижней палаты Акита, — лично я не могу ничего сделать, чтобы помочь вам, но, как спикер нижней палаты, я сделаю все, что в моей власти».

И — таблица.
«Население занятое в (исчислено в тысячах):

Отрасли	Хозяева	Служащ.	Рабоч.	Всего	Проц.
Сельское хозяйство	5155	12	8961	14 128	50,5
Рыболовство . .	205	4	348	557	2,0
Промышленность .	1307	315	4103	5725	20,5
Торговля	1677	404	1106	3187	11,4
Транспорт . . .	268	140	639	1037	3,7
Прочие отрасли . .	1090	638	1650	3378	11,9
Итого . . .	9692	1513	16 807	28 012	100,0

Половина японского населения занята в сельском хозяйстве.

Еще таблица:

Распределение земельных богатств (одно те равно 0,992 га):

Размеры владений	Число владельцев в тысячах
Более 50 тё	4,3
От 10 до 50 тё	46
От 5 " 10 "	115
От 3 " 5 "	228
От 1 " 3 "	889
От 0,5 до 1 "	1.218
Менее 0,5	2.479

К 2 479 000 крестьянских хозяйств, имеющих половину тё, надо прибавить полтора миллиона безземельно-арендаторских хозяйств. Арендатор уплачивает различными податями — не пятьдесят процентов урожая, как на круг вообще крестьянство, но — восемьдесят. Комментировать эти обстоятельства следует вышеприведенными справками из газет и — следующими справками. Даты газетных справок следует помнить.

На первом месте в сельском хозяйстве японца стоит рис, с прочими зерновыми культурами, пшеницей и ячменем, — да шелководство. Рис в национальном балансе давал два с половиной миллиарда иен, шелковод-

ство — 570 миллионов, — две трети всего сельскохозяйственного баланса Японии. Тысяч двести крестьянских хозяйств занимались разведением шелковичного червя. Тысяч сто крестьянских хозяйств разматывало коконы и шелководствовало по бумажным своим избам.

Государственный бюджет Японии, как говорилось уже, — текстильный, ситцевый, шелковый, — растительный. В японском вывозе на первом месте стоит шелк, решающе вывозимый в Американские Штаты, да текстиль. В 1928 г. шелка было вывезено на 742,6 миллиона иен, — текстиля — на 654,2, — итого на 1 396 800 000 эн из 1 972 000 000, то есть 69,8 процента всего японского экспорта. В том же 28-м году вывоз был: в Соединенные Штаты — 859 000 000 эн, в Китай — 539 000 000 иен, то есть на сумму в 59,7 процента всего японского экспорта.

С Китаем Япония ныне в войне, которую приказано считать «событием», по принципам средневекового ношения париков.

С Америкой — — с Соединенными Штатами. — — — Основная статья японского экспорта — шелк. Основная статья японского экспорта — экспорт в Соединенные Штаты. Основная статья экспорта в Соединенные Штаты — шелк.

Поэтому опять газетные справки.

«Асахи», «Нити-Нити», «Дзи-Дзи» и др. от 29 мая 1932:

«О положении на шелковом рынке.

«... Все газеты уделяют чрезвычайно много внимания вопросу о ценах на шелк и перспективам шелковой промышленности, ввиду продолжающегося резкого падения цен и общего ухудшения на рынке шелка. Одной из причин, вызвавших беспокойство среди кругов, связанных с шелковой промышленностью, является то, что состоявшееся заключение договора между японским правительством и американской компанией о продаже всех японских запасов шелка пока не реализовано, так как американская компания неожиданно потребовала исправления некоторых пунктов договора».

«Правительство по этому вопросу пока не высказало своего окончательного мнения. В Токио созвана всеяпонская конференция представителей шелковой промышленности. На конференции присутствует свыше 400 делегатов».

«Асахи», «Дзи-Дзи», «Хоци» и др. от 1 июня 32-го года:

«В Токио приехал директор компании Асахи-шелк, который является посредником между японским правительством и американской компанией. Директор компании имел длительное совещание с представителями минземлеса и директором Спэси-банка, где он в ответ на требование о выполнении заключенного договора, ссылаясь на политические перемены в Японии, потребовал исправления некоторых пунктов договора».

«Асахи», «Нити-Нити», «Дзи-Дзи» и др. от 3 июня 1932:

«Вопрос о реализации договора между японским правительством и американской компанией о продаже шелка остается нерешенным. Это оказывает большое влияние на дальнейшее резкое снижение цен. Для ускорения разрешения указанного вопроса 2/VI премьера Сайто посетила делегация в составе председателя всеяпонского центрального шелководческого союза виконта Макино, председателя всеяпонской федерации шелководческих союзов барона Фудзимура и председателя федерации шелкопрядильных союзов Имай Госуки».

Все газеты:

«Вчера, 5 июня, несмотря на праздничный день, ввиду важности вопроса, состоялось чрезвычайное заседание кабинета министров относительно расторжения договора, заключенного между японским правительством и американской компанией на продажу всех запасов шелка, ввиду требования со стороны покупателя исправления некоторых пунктов договора.

«Основные пункты решения кабинета:

1. На основании общего согласия обеих сторон, заключивших договор на продажу в Америку всех запасов шелка, указанный договор расторгнут» — —

Итак, стало быть, договор порван.

История с шелком — вещь порядка иллюстративного. В 1928-м году кипа шелка стоила 1300 иен. В январе 32-го года та же кипа стоила 520 иен. В мае она стоила 415 иен. В 1928 г. иена стоила половину американского доллара. После 15 мая по банковским расценкам 100 иен стоили 31 доллар, а на черной бирже, с рук на руки, настоящими долларовыми бумажками, японцы рассчитывались — главным образом бессребренные са-

мураи — сотнеиенной бумажкой за 22 долларных бумажки. Цены шелковых кип исчислены в иенах.

Американцы — вообще друзья японцев, начиная с дружеских пушек коммодора Пирри, кончая барами. Японцы помнят дружескую помощь американцев в Портсмутском договоре с императорской Россией. Японцы помнят «джентльменский договор» 1907 года, джентльменски намекнувший Японии, что она — желтая раса. Японцы помнят сердечную помощь американцев в оккупации Советского Дальнего Востока и в отказе японцев от Двадцати-Одного китайских Пункта. Англичане, американцы и японцы знают, что американцы на Вашингтонской конференции 22-го года помогли японцам навсегда порвать военный союз с Англией, давнишний, тесный, многолетний союз, после которого Япония осталась сама при себе, при французах, у которых нету дел на Тихом океане, да при поляках, обладающих портом Гдыня. На той же конференции были уничтожены «специальные интересы» японцев в Китае. Японцы помнят, что в 23-м году высший американский апелляционный суд еще раз джентльменски напомнил японцам об их желтой расе, запретив японцам натурализоваться в Америке. Японцы имели в Китае, в Маньчжурии друга — Джан Дзо-Лина, которого они ж низвергли и с сыном которого они воюют. Япония помогла другу-мракобесу против национальных революционных войск Китая, посылая своих солдат. Япония, надо полагать, помнит, каким антияпонским бойкотом ответил Китай, — и помнит, как помогали китайцам Юнайтед-Стейтс, — так помогали, что вместе с выводом солдат из Китая, вместе с убийством Джан Дзо-Лина должен был пасть японский премьер-министр Танака, тот, который написал меморандум. Многое японцы помнят и знают, касающееся сердечной любви к ним американцев.

Японцы в частности знают также и то, что войска из Шанхая в мае 32-го года были выведены — не по воле японцев, но по воле американцев, — недаром вслед о приказе отвода войск случилось 15-е мая, — недаром вслед за 15-м мая американцы разорвали шелковый договор с Японией, — недаром глаза японских офицеров и дула морских пушек свирепо смотрят в Тихоокеанский Восток!

Недаром политические заправилы по миру, с красно-синим карандашом в руках, спокойно рассуждают:

— а) или японцы нападут на Америку до 36-го года, —

— б) либо американцы разгромят японцев в 36-м году, —

понеже к 36-му году будет переоборудован американский флот.

Недаром японцы прут и прут — в долги, в кризис — в Маньчжурию, чтобы закрепить тылы для войны 36-го года, — лезут в квашню бобовых маньчжурских пространств и партизанства, и в сердечное освирепение всего Китая (даже Лиги наций!), — того, экспорт в который, после Америки, составляет вторую крупнейшую японскую статью дохода.

Но речь идет о писателях. Глава начата крестьянскими доходами. У японцев, кроме шелка, есть злаки. Поэтому — опять газетная таблица.

... Производственные расходы на один тан обрабатываемой площади:

Наименование расходов	На 1 тан заливн. земли	На 1 тан сухой земли	Среднее
Стоимость семян	0,45 иен.	0,48 иен.	0,46 иен.
Стоимость удобрений. . .	—	—	—
а) собств. производства . .	7,30 »	6,83 »	7,09 »
б) покупных	2,46 »	3,15 »	2,77 »
Зарплата наемных рабочих .	13,10 »	11,91 »	12,56 »
Зарплата членов семьи . .	1,72 »	1,04 »	1,41 »
Амортизация с.-хоз. орудий, материалов, строек . .	2,00 »	2,17 »	2,04 »
Себестоимость . .	27,03 иены	25,52 иены	26,33 иены

«Таким образом, средняя себестоимость одного коку выражается, принимая во внимание среднюю урожайность на один тан, в сумме 14 иен 33 сены. К этой сумме надо прибавить арендную стоимость земли, в среднем 2,03 иены на тан, и различные обложения, приблизительно 33 сены, — итого сумма производственных расходов одного коку выразится в 16 иен 68 сен.

«Эти цифры надо сопоставить с ценами хлебной биржи. 7/VI сего года цены на оптовом рынке были 4,80 иены за сто кин, то есть приблизительно — 10 иен 50 сен за одно коку».

Комментарии излишни.

Токугавская эпоха знает многотысячелюдные крестьянские восстания. В 1918 году так называемые «рисовые бунты» повели за собой до 10 миллионов человек японских крестьян и охватили две трети территории Японии. Ходоки из Нагано, как цитировано, —

«... просили также работников мининдела, чтобы полиция была снисходительней»... «Молодежь, объединенная пожарной дружиной и союзом молодежи, становится все более и более радикальной»... «Даже в дни сёгуната Токугава крестьяне были в состоянии иметь в запасе некоторое количество пищи»... «Есть основание, что крестьянское движение перейдет в следующую фазу и примет более глубокий и серьезный характер».

Все отрасли японского хозяйства, — кроме сельского, конечно, поставляющего рис ниже себестоимости и женщин в дополнение к себестоимости риса, — все отрасли японского хозяйства синдицированы с божьей помощью парламентаризма. Хозяева — концерны Мицуи, Мицубиси, Сумитомо, Ясуда, Окура, прочие. Мицуи и Мицубиси — первые.

Мицуи вырос из старой феодальной трехсотлетней осакской, осакско-гильдейско-ганзейской фирмы. Мицуи командует банками и страховыми компаниями, горной промышленностью, металлургической и машиностроительной, электрической, химической, текстильной, пищевой и торгует всем, имеющимся на земле, в своих универсальных билдингах. Его капиталы подсчитываются в 1 260 000 000 золотых иен. Торговый его оборот, на год, достигает полутора миллиардов иен. Мицуи торгует со всем миром, он хозяйничает в японской международной торговле.

Мицубиси родился в 1870 году мелкой торговой фирмой. Мицубиси командует банками, судоходством и судостроением, городской недвижимостью, тяжелой промышленностью и торгует всем, имеющимся на земле, в своих универсальных небоскребах. Его капиталы подсчитываются в 600 000 000 золотых иен. Торговый его оборот, на год, достигает миллиарда иен.

Тот и другой командуют машинами, тяжелой промышленностью. Они первые. За ними третьими идут — Сумитомо, Ясуда, прочие. Но все вместе они — сильней государственного капитала. В 25-й, в успешный год, инвестированные в промышленность миллионы и миллиарды иен располагались так:

Отрасли	Гос. капитал в млн. иен.	Частный капитал в млн. иен.
Металлическая пром-сть . .	220	206
Машиностроение	137	593
Текстильная пром-сть . .	4	1131
Проч. пром-сть	108	3859
Жел. дороги	2500	585
Прочие виды транспорта . .	—	673
Итого	2969	7047

Если выкинуть 2 500 000 000 и 585 000 000 железнодорожных иен, то государственные иены 469 000 000 останутся позади концернированных частных — без 7 000 000 — на 6 000 000 000 иен, — на шесть миллиардов!

Мицуи и Мицубиси — куда ганзейцы! — куда английские купцы из Лондон-Сити! — это самоновейшие американцы. Чтобы знать их размах, их принципы, их оборудование, надо спосылать любопытствующих на нью-йоркский Уолл-стрит. Куда японским кропперам до Мицу-Мицубиси! — они: впереди государства!

И они командуют (совершенно по-американски) партиями Сэйюкай и Минсэйто. Сэйюкай на содержании у Мицуи. Минсэйто на содержании у Мицубиси. Это — по о'кэй-американским правилам — не мешает, само собою, Мицубиси подкармливать сэйюкайцев, а Мицуи — минсэйтовцев, по американо-японским, и всемирным, начатым от вигов и тори, с Алой и Белой розы, демократическим, парламентским правилам.

Партии в руках Мицу-Мицубиси.

Парламент в руках Сэйю-Минсэй-кай-то.

Но:

Название кабинета	Состав кабинета	Дата прихода к власти	Срок нахождения у власти	Причина ухода
2-й кабин. Окума (Хидзен)	Досикай[1]	16/IV — 14	2 г. 5 мес.	Скинуты войной военн. группировками
Тарауци (Тьосю)	Тьосю и бюрократы	9/X — 16	1 » 11 »	Скинуты рисовыми бунтами
Хара	Сэйюкай	29/IX — 18	3 » 1 »	Убит
Такахаси	Сэйюкай	13/XI — 21	1 » 6 »	Кризис
Като	Верхняя палата	12/VI — 23 —	3	Умер
2-й кабин. Ямамота	Санума (бюрократы и Кокусин-крабу[2]	2/IX — 23 —	4 »	Покушение на императора
Кайоура	Кэнкюкай	7/I — 24 —	4 »	Скинут парлам. коалицией
Като	Коалиционный (Кэнсэйкай, Сэйюкай и Кокусин-крабу)	11/IV — 24	1 » 8 »	Умер
1-й кабин. Вакацуки	Кэнсэйкай и Кэнкюкай[3]	28/I — 26	1 » 4 »	Финансовый крах
Танака	Сэйюкай	20/IV — 27	2 » 3 »	Убийство Джан-Дзо-Лина
Хамагуци	Минсэйто	2/VII — 29	1 » 10 »	Убит
2-й кабин. Вакацуки	»	30/IV — 31 —		Свергнут военной бюрократ.
Инукан	Сэйюкай			Убит

[1] Досикай, Кэнсэйкай, Минсэйто — одна и та же партия, менявшая названия.

[2] Кокусин-крабу — организация средней городской буржуазии и технической интеллигенции, близкая к Минсэйто.

[3] Кэнкюкай — организация верхней палаты.

Мировая война была счастьем!

Сэйю-Мицу-кай-биси цвели, как арбуз в июле Пароход, ходивший из Йокогамы в Сан-Франциско и. обратно, окупал свою стоимость. Тихоокеанско-азиатские воды остались без колонизаторского присмотра. Китайцы подписывали Двадцать Один Пункт — или иначе — двадцать одно требование. Золото росло в японских банках, как грибы в августе. Балансы предприятий росли, примерно, так же, как в электрической промышленности, где 762 миллиона иен 19-го года выросли до 2 869 000 000 тех же иен 28-го года. Конец мировой войны пришел, как перепойное утро, как смерть, как разорение. И парламент занялся чехардой. Сэйюкай и Минсэйто, иенные властители, иенновые победители, начали делиться властью с кланами и виконто-принце-баронной верхней палатой.

Сказано уже, — в городе — капитализм, а в деревне — феодализм.

В парламенте — парламентаризм, а власть — —

Колоссальнейшие в Японии темпы!

И все течет в Японии с тою же быстротой, с коей курума были сменены велосипедами (в 26-м году японцы как раз переживали эту велосипедную эпоху), с коей велосипедисты меняются автомобилями.

Все течет в Японии, кроме текстильного бюджета, и все меняется, кроме армии в дополнение к текстилю, занимающей в Японии то же место, что во всех остальных странах положено для тяжелой индустрии. Японская армия не меняла своих вождей, клано-сацумо-тьосьных, подобно чехарде парламента. Армия не знала поражения, прошед победами через Формозу, Китай, Россию и в мировой войне — до — до Шанхая? — В стране, в которой все двигается, даже земля, в которой земля закалила нервы, насоздав легенды, — а ведь действительно иногда сознание переходит в действительность! — легенды о прелести смерти, — в этой стране создалась чрезвычайно подвижная, чрезвычайно маневренная армия, с совершенно неподвижным командованием, непобедимым командованием, столетним командованием, полубожественным командованием, — армия, как землетрясение, армия, как шум гэта. К общеизвест-

ным истинам обращаться не стоит. Евангелия общеизвестности — энциклопедические словари — сообщают, что японская армия, японский военный флот — отличны. Американцы ждут 36-го года, чтоб подстроить кораблищ и побить японцев. Военные расходы в японском государственном бюджете стоят, совершенно японски-естественно, на первом месте, — это, в мирное время, — без малого полмиллиарда иен, когда на просвещение, на здравоохранение, на судопроизводство и вообще на юстицию идет всего 167 миллионов; — когда к военным расходам надо прибавить погашение долгов и проценты по ним, миллионов триста, — когда администрация, полиция и двор, армейские помощники, стоят 200 миллионов; — когда в статье транспорта, промышленности и сельского хозяйства (сельское хозяйство!) проставлены четыреста миллионов, также добрый кус отдающей армии; — когда по сути дела на социально-культурные нужды остается процентов 20 — 25 государственного бюджета.

Армия! — Тяжелая индустрия — армия. Единственное неменяющееся — армия. Давшая мировое значение Японии — непобедимая армия. Опора императорского двора за каналами посреди Токио, опора божественного императора, Генро, лорда хранителя печати Макино, тайного совета — армия. Детские книжки — о победах — о геройстве — армия. Самурайские сказки — о победах — армия. Построение социализма у социал-демократов, через Маньчжурию, — армия.

И армия — поистине партия, сильнейшая в Японии, управляемая императором, который катастрофически популярен именно потому, что у него нет и никогда не было власти.

Н-но — —

8

Писатель Кагава! христианнейший писатель Тойохико Кагава![1] Главы ваших «Камней», которыми начата эта книга о корнях и камнях, — совершенно верные

[1] Т. Кагава занимает особливое положение в японской литературе, — христианский писатель.

главы. Вы — христианский писатель — вы знаете судьбы Мэйдокай и Оомото. Мэйдокай — это религиозное общество Светлого Пути, образовалось в 1928 году. Во главе его были профессор Киси и медиум — кореянка Ко-Тай-гю. Общество имело три тысячи последователей. В доме профессора был священный алтарь, и профессор проводил сеансы по сношению с духами мертвых, по определенной таксе, — полиция вмешалась в это дело и запретила нелегальную связь с тем светом. И в Оомото — в учении о Великой Основе — также стояла во главе неграмотная баба, объявленная святой. Патроном секты был Дегучи Ванисабуро. Движение охватило не только крестьян, но и интеллигенцию. В составе оомотоистов были адмиралы, адвокаты, профессора. Секта купила газету, так же, как в Америке секта Кришен-Сайонс, — организовала богословскую академию. За неосторожные высказывания о земной власти секта подверглась разгрому, и Ванисабуро был присужден к нескольким годам тюрьмы. Отбыв срок наказания, он решил снова поднять движение Великой Основы, но на этот раз не на тесных островах Японии, а на материке. После того, как началась война в Маньчжурии, Ванисабуро 2-го ноября 31-го года выехал из Киото в Мукден и стал там готовить унию с китайскими даосами, чтобы создать «мировую ассоциацию красного светильника». Он предполагает распространить это учение до всей Маньчжурии и дальше, на Запад. — И вы, Тойохико Кагава, знаете, как 23-го августа 31-го года на аэродроме Тоиаран синтоистские жрецы города Куруме и уезда Мацуэ провели молебен о ниспослании полной безопасности авиаторам. Восемь бонз на больших пассажирских самолетах аэротранспортной компании совершили полеты над городом Куруме для очищения воздуха от злых духов. Оглы-Фукадзава, его жена Мики, его друг Тимура — это не только японские типы. Их дела, равно как и дела барона Сэнбонги с его женой и белой птицей, — не только европейские и японские дела, — равно как и дела женщины с ребенком-мертвецом на спине, и дела мужей на Хоккайдо. Для вас, христианнейший писатель, совершенно естественно и значимо, куда идут ваши люди и ваши дела. А поэтому — —

О том, как пришел к власти генерал Араки, — рассказано.

Его приход, кроме всего прочего, красноречив тем, что генерал Араки — не тьосю и не генерал, в сущности, но капитан. Все течет в японских темпах, течет, оказывается, и армия.

29-го апреля, в праздник, в японский царский день, японское военное командование Шанхая собралось праздновать праздник. Было очень торжественно, и в торжественность ворвался гром бомбы, разорвавшейся среди японских генералов. Главнокомандующий японскими войсками в Шанхае генерал Сиракава был ранен смертельно. Это было гораздо большим «поводом» «наказать» китайцев, чем те поводы, кои привели в Шанхай японские войска.

Генерал Араки зловеще высказался: о «мерах»...

10-го ж мая японский кабинет министров постановил: о вывозе всех сухопутных японских войск из Шанхая, ни словом не обмолвившись о «наказании» за смерть генерала Сиракава.

14-е мая было субботой. С утра приехал Толя, в ученической форме, с медными пуговицами, с открытыми коленями, в фуражке с ученическим значком. Я спросил его:

— Ты не замерзнешь в автомобиле? Мы поедем к Фудзи-сан.

— Да, не замерзну, — ответил он.

Мы поехали наслаждаться природой. Мы ночевали около озера Асиноко, которое европейцами обыкновенно называется Хаконэ, — плавали ночью на лодке, спали по-японски в кимоно на татами, просыпались на рассвете, чтобы видеть Фудзи, опрокинувшееся в воде озера. Утром и днем автомобиль пронес несколько сот километров вокруг Фудзи, мимо Пяти озер. Фудзи в громадном воздухе, от этих прекрасных озер, было чудесно. Воздух и день на самом деле были громадны и прекрасны. Открытые стены деревенских отельчиков, — жареные, как шашлык, угри приветствовали старинной Японией. Однажды в горах, на перевале, откуда Фудзи-сан купался и в синем небе, и в океане одновременно, — в далеком синем океанском горизонте, — мимо проехали автомобили с японскими офицерами, на заднем ехала молодежь. На нашем автомобиле был дипломатический флажок, — и молодежь обдала нас криком, козырьками у рук:

— Хэрроо! — это «хэрроо» показалось почему-то вызовом, хотя лица юнкеров были весело-радостны и приветливы.

День, воскресный день, прошел в воздухе, пространствах и прозрачности. В Токио вернулись затемно. И город встретил необыкновенными прожекторными огнями. На перекрестках стояли полицейские машины и кучки господ амовари. Полицейские автомобили вспыхивали прожекторами, слепя глаза встречных шоферов, и амовари грабили глазами пассажиров. Из-за этих прожекторов, из-за автомобильного бега казалось, что вдруг по улицам, по толпе проносился ветер, сносивший толпу на сторону, хотя ветра не было. Мы приехали в полпредство. Привратник по-всегдашнему отпер для машины ворота. Компания разошлась по дружеским квартирам, чтоб принять ванны и затем встретиться за ужином. Толя пошел в ванну первым.

Тогда, очень быстро поднявшись по лестнице, один из спутников, говорящий и читающий по-японски, с листком «гогая» — экстренного газетного выпуска, — прошел быстро к внутреннему телефону и позвонил полпреду:

— Александр Антонович, только что вышел экстренный «Нити». В министерскую квартиру премьер-министра, сняв с пути полицейскую охрану, вошли четверо неизвестных в военной и военно-морской форме. У господина министра Инукаи были посетители. Молодые офицеры ворвались в кабинет. Господин Инукаи просил их обождать. Офицеры стреляли в упор. Пули попали в правый висок и в нос премьера. Новости передают по радио. Включите радио.

Говоривший не успел принять ванны после дороги, под глазами и на ноздрях, рядом с загаром, легла пыль.

Это была страшная ночь. Гогаи выходили каждую минуту. Газетчики, продающие гогаи, бегут с ними, звеня связкой бубенцов, как в старину в России и в ганзейских городах звенели тройки. Газетчики кричат сиротливо-пронзительно, задыхаясь:

— Гогаааай! Гогааайй!

Всю ночь кричали гогаи. Всю ночь сыпались новости.

— Покушение, бомбы, револьверы.

— Юнкера и мичманы, офицеры армии и флота.

— В пять часов дня двадцать минут были совершены покушения на премьер-министра Инукаи. В пять двадцать была брошена бомба, ранившая полицейского, в министра двора Икки. В пять двадцать — — в хранителя государственной печати лорда Макино. В пять двадцать — — В пять двадцать — —

— Бомбы были кинуты в здание главного полицейского управления, в здание исполкома Сэйюкай — —

Мы поехали по городу, посмотреть улицы. Город притих, засыпанный метелью гогаев, охрипшее радио. Радио на перекрестке прохрипело:

— ...осадное положение...

Улицы убрали с себя автомобили. Мчались лишь прожектора полицейских машин да ползли машины с дипломатическими флажками. Перекрестки щетинились полицией. Правительственные здания погасили огни и щетинились штыками.

Радио прохрипело в уши проходившего автомобиля:

— ...в одиннадцать часов тридцать пять минут его превосходительство господин премьер-министр Инукаи Цуёси скончался от тяжелых ранений...

Следующая радио-глотка:

— ...происходил родом из города Окаяма... родился в 55-м году...

Опять радио-воронка:

— ...дипломатический корпус, в связи... об отмене банкетов и приемов...

Возвращались в полпредство. Опять ездили по городу. Город не спал той ночью. Новости гогаями и радио рождались каждые пять минут. И, потому, что новости рождались каждые пять минут, казалось, что вот в эту самую минуту где-то взрывается бомба, куда-то врываются люди, где-то люди умирают.

— Захвачены электротрансформаторы в Табата, дающие энергию для Токио. Неизвестные в форме — — пытались погрузить Токио во мрак. — — Обнаружено повреждение трансформатора Иодобаси...

— В таких-то, таких-то, таких-то, районах люди в военной форме, разъезжая на автомобилях, разбрасывали прокламации, подписанные «офицерами армии и флота, друзьями рабочих и крестьян».

— Брошена бомба в здание банка Мицубиси.

— Ранен Нисида — — взрыв бомбы — — неизвестные скрылись от погони полиции в помещении глав-

ной жандармерии. На требование полиции о выдаче скрывшихся начальник жандармского управления ответил отказом.

— Радио из префектуры Сантима — — разрушена высоковольтная — —

— Несколько морских и армейских офицеров ворвались в квартиру одного из лидеров фашистско-террористической организации Сэйсанто — господина Нисида. В него произведены два выстрела. Нисида ранен в грудь. Нисида находился долгое время под арестом, в связи с убийством Иноуэ и считался предателем среди ряда сторонников Сэйсанто[1].

Брошена бомба в главного камергера двора адмирала Судзуки.

— В час двадцать минут ночи на квартиру военного министра его превосходительства генерала Араки явилась группа офицеров, но не застала его дома, так как господин министр выехал во дворец к императору.

Так прошла ночь.

Всю ночь — сиротством российских троек — кричал гогаями замолкший в бессоннице Токио. На рассвете за окном Яматага-отель запел соловей и чуть толкнуло землетрясение.

16-е продолжало звонки гогаев, бессонницу прошлой ночи. Заседал тайный совет. Кабинет министров «принял решение» и обратился к императору с ходатайством об отставке. Судзуки стал во главе Сэйюкай, сменив убитого вчера Инукаи, и полагал в интервью, что он будет премьером после Инукаи.

Газеты ждали приезда принца Сайондзи.

И целая неделя прошла в смятении.

— Это было восстание? — Нет. Восставшие не убивают министров, но арестовывают их. Эти не умели даже перерезать электрических проводов.

В газетах от 15 мая было интервью Накано Сейго, собирателя японских фашистов. Накано Сейго говорил:

« — Тупик, в котором находится ныне Япония, должен быть устранен решительными мерами. Правительство Инукаи не в состоянии сделать это. Политика Инукаи ничем не отличается от политики Сидэхара. — —

---

[1] Сэйсанто — фашистская организация.

Странно, что японское правительство неоднократно заявляло о том, что оно не имеет ничего общего с созданием нового государства в Маньчжурии. Япония не может допустить ни при каких условиях поглощения Маньчжурии Китаем — — Япония должна занять непоколебимую позицию».

— Восемнадцать морских и армейских офицеров, участников покушения, добровольно явились в жандармерию.

— Инукаи убит некиим Кавакаси, членом Лиги Кровного Братства, приверженцы которой убили десятого февраля сего года лидера Минсэйто Иноуэ и пятого марта — Дана, руководителя Мицуи.

— Товарные и фондовые биржи закрыты.

— В отставке полицейское начальство.

— Араки? — Араки! — Он уходит в кадровый состав армии!

17 мая.

— Баронские и виконтские группы верхней палаты считают весьма вероятным, что участники террористических актов действовали из побуждений подлинного патриотизма.

— Правительство Инукаи не поняло «политического кризиса, перед которым оказалась Япония в связи с маньчжурским инцидентом», — мнение адмирала Кото.

— Асахи: — «Несомненно, что заговор порожден возмущением пороками, присущими существующей системе партийных правительств».

— Военные круги — за оставление Араки в правительстве.

— Военные круги уведомили генерала Араки, что военные отказываются от участия в правительстве, если оно будет сформировано Сэйюкай или Минсэйто.

— Террористические акты связаны с отзывом войск из Шанхая.

— Падение японских ценных бумаг на Уолл-стрите.

— Судзуки полагает, что организация правительства будет поручена Сэйюкай.

18 мая.

— Тайный совет: «Ни одна партия не в состоянии разрешить». — —

— Позиция военных кругов: — «Армия уверена, что Судзуки назначит членов кабинета с целью создания национального правительства». — —

— Сайондзи еще не приехал.

И так далее.

19. 20. 21.

Военные круги. Совещание военных кругов. Тайный совет. Принц Сайондзи. Программа Судзуки. Углубление экономического кризиса.

«— Правительственный кризис привел почти к полной остановке экономической жизни в стране».

Лидеры верхней палаты высказались против Араки, опустившего армию в дисциплине до безобразия 15-го мая. Лидеры верхней палаты высказались за Араки.

Молодые офицеры, юнкера и мичманы, герои 15-го мая, связаны с Лигой Кровного Братства, с организацией молодых офицеров и с группой Смертников — крестьян. Предполагалось потушить в Токио свет, перестрелять министров, взорвать банки, партии и полицию. «Лига» связана с молодыми офицерам армии и флота. «Смертники» — крестьянская молодежь. Пильняку довелось говорить с одним из профессоров академии генерального штаба. Несколько участников 15-го мая учились у профессора. Профессор говорил, что эти юноши были лучшими учениками, достойными экзальтированными юношами, джентльменами и верными учениками бусидо, эти «офицеры армии и флота, друзья рабочих и крестьян». Они хотели бороться с мракобесием партийного продажничества, лорда Макино, фирм Мицуи и Мицубиси. Они были верными слугами императора и огненными поклонниками империи. Так же писалось и в газетах.

В газетах не писалось, но об этом говорили в городе — и об этом надо рассказать, чтобы передать атмосферу Токио, — о том, что назначение кабинета министров отложено было принцем Сайондзи из-за двух солдат. Два солдата тащили по улице и по военным своим делам пулемет, приустали и остановились — совершенно случайно — отдохнуть в тени против дома принца Сайондзи. На два дня задержалось назначение кабинета министров из-за этих двух случайных пулеметчиков!

22-го мая принц Сайондзи назначил премьер-министром генерал-губернатора Кореи, члена верхней палаты, виконта Сайто. В этот же день сообщалось, что принц Сайондзи принял генерала Араки и генерал Араки высказывался в том смысле, что « — нельзя целиком осудить действия молодых офицеров, участвовавших в покушении 15 мая, ибо они были возмущены обстановкой и тенденциями, характеризующими поло-

жение страны». — В интервью газетам виконт Сайто сообщил, что он никак не ожидал того назначения, которое он получил. Сайто сообщил, что им будет составлен национальный надпартийный кабинет. Газеты сообщили, что выбор пал на адмирала Сайто в результате стремления к компромиссу. Сайто не принадлежал к партиям.

«— Выдвижение Сайто на пост премьера встречено крайне сдержанно биржей. В банковских кругах относятся так же настороженно к правительству Сайто, предсказывая недолговечность его существования».

«— В кругах верхней палаты категорически высказываются против кандидатуры Араки на пост военного министра».

Генерал Араки дал интервью:

«— Сегодня, двадцать шестого мая, исполняется 56 лет со дня моего рождения. Этот день является поворотным пунктом в моей жизни. С сегодняшнего дня я буду новым Араки. Пули летают над нашими головами, мы живем в период толчков землетрясения, почва колеблется под нашими ногами, везде орудуют пожары. Очевидно, что теперь не время для споров. У нас есть, на что жаловаться. Как я уже сказал, огни пожаров горят вокруг нас. Прежде всего, мы должны их погасить. Наши братья умирают, и мы должны их спасать. Армия и флот должны объединиться и принести императору успокоение. Они должны спасти 80-миллионное население Японии. Незначительные интересы не должны в их работе играть роль. Я подвергался большой критике. Я слушал лекции о том, как должен вести себя человек моего положения. Теперь, когда я решил опять вернуться к своему посту, мои критики начнут опять атаку. Они будут меня обвинять в том, что я безразлично отношусь к национальной морали. Но я надеюсь доказать, что нет универсальных моральных уложений. Зло является следствием того, что один пытается забрать чужую собственность, чтобы ее передать другим. Нансю Сайго, Иосио Оиси, Хэйхатиро Осио, генерал Ноги, Хидэёси Тоётоми и Йэясу Токугава имели свои собственные правила, чтобы управлять своими поступками. Невозможно ожидать от меня, чтобы я действовал так, как Сайго или Оиси. Оиси не носил траура во время смерти его владыки. Во время смуты он уходил в веселые кварталы Киото и наслаждался. Его прежние друзья обвиняли его, но он не обращал внимания. Он считал необходимым де-

лать то, что ему диктовали его принципы. Сопротивляясь правительственным войскам в Сирояма, Сайго остался верен себе. Я не имею, конечно, никаких намерений соперничать с ними, но все, что я должен делать, — это следовать моим собственным принципам. Народ может меня обвинять. Я должен относиться безразлично к тому, что будут говорить. На моем пути лежит шаткий мост. Я знаю, что это опасно, пока я буду проходить по этому мосту. Если я свалюсь в воду, я утону и приду в ложе своего рока. Дорога, лежащая передо мной, не узкая. Я могу потерять свой путь, но я буду в состоянии достигнуть своей цели. Если человек уверен в победе, победа останется за ним. Не будет никаких изменений в политике армии по отношению к Маньчжурии или Монголии и в других вопросах, как результат перехода власти к кабинету Сайто. Я имею решимость не отстраняться от тех задач, которые стоят передо мной. Я имею намерение встретить все вопросы, но теперь еще не время осуществлять их».

«В кругах верхней палаты категорически высказываются против кандидатуры Араки на пост военного министра».

В ночь с 15-го на 16 мая, в час двадцать минут, на квартиру генерала Араки приезжали неизвестные в военной форме, — они не застали генерала, — генерал был во дворце. — Они хотели стрелять в генерала? — неизвестно. — Но по ночам с дружескими визитами, после бомб, разбросанных по городу, — не ездят.

Все газеты от 3-го июня сообщают:

«2-го июня в адрес влиятельных лиц верхней палаты были присланы письма, подписанные «Братством крови молодых офицеров». В письмах указывалось о том, что Сайто, Макино и Вакацуки будут убиты. Эти письма внесли большое возбуждение среди правительства, членов верхней и нижней палат. Полиция и жандармерия приняли меры к розыску».

Генерал Араки остался на посту военного министра.

Все это рассказывается вам, Тойохико Кагава, — вам, гораздо лучше россиянина знающему Японию. И это рассказывается не потому, что все течет в Японии. Генерал Араки слишком зелен для лордо-виконтов из верхней палаты, — он слишком зрел для молодых «друзей

рабочих и крестьян», которые не умеют резать электрических проводов. Это говорится по поводу литературы и к вопросу о молодежи. И следует цитировать «Дни, когда возопиют камни», судьбу героя — студента Йосио, незаконного сына оглы-Фукадзава. Это говорится о методе мышления. Вы рисуете судьбу идеального юноши, христианнейшего студента, христианского социалиста. Эти юноши экзальтированы и благородны, как в старину в России институтки, все совершенно верно. Если бы они умели, они бросили б Токио во мрак, они б перестреляли министров и партийных вождей, взорвали б полицию, банки, — ну, а дальше что? — ведь даже генерал Араки, капитаном пришедший в министерство, стал министром, но не капитаном. Они б поехали всем скопом, позвав с собой рабочих и крестьян, к императору? — они не читали о российском 9-м января!.. — Но, быть может, император их принял бы? — они б стали вместе с императором осуществлять свои идеалы? — Они б полезли войной на весь мир? — и стали бы саранчою для мира? — Не вышло бы, даже англичане тогда б объединились с американцами и уничтожили б Японию! — Они б разделили богатства Мицу-Мицубиси всем поровну? — чего доброго, они думают, что на круг таким путем придется иен по семьдесят семь на человека? — Не выйдет, капиталы Мицу-Мицубиси в промышленности. Реально растащить их — это растащить по гайкам фабрики, заводы, корабли и железные дороги. Бессмысленно. Эти молодые люди от 15-го мая — Араки совершенно прав — заслуживают снисхождения: люди, возмущающиеся мин-кай-тами парламентского взяточничества, продажности, лицемерия и предательства, мракобесием Макино, полицейской благодетелью, банкирским разбоем, феодальной деревней, — эти люди заслуживают снисхождения. Но никакого снисхождения не заслуживает, как сказано о писателях и геологах, безграмотность. Безграмотность этих молодых людей — пусть она еще раз подтвердит необходимость писательской грамотности. Пусть эти юноши связаны с крестьянством, пусть они бусидоски иль христиански, как Йосио, целомудренны. Именно это христо-бусидо, в частности, никуда не годится. И не только потому, что человечество не может расти вспять, как человек не может вернуться в утробу матери. Бог — царь — народ: христианский национализм — национальный социализм —

социализм под тэнно и богом! — безграмотно, не выходит, — кончается 9-м января.

Йосио —

«чувствовал в душе какое-то неотразимое желание порвать всякое отношение с политикой вообще». — —

9

В «Камнях, которые возопиют», изложено:

«— Какая радость для студентов нашего времени! Нынче одно слово «студент» заставляет представлять себе сборища марксистов. Но, оказывается, есть молодежь и иной масти» — —

Йосио соработает с офицершами армии спасения, принимает участие в «полевых битвах», то есть проповедях на перекрестках токийских улиц.

Йосио убежден:

«относительно насущной необходимости бросить свое старое и возродиться в жизни бога» — —

«все ни к чему до тех пор, пока у людей не пробуждается настоящее человеческое сознание, под маской которого работает в настоящее время лишь сознание своей собственной выгоды и собственной прихоти».

А поэтому:

«ему чудилось: больше, быть может, можно найти смысл человека, если все бросить и заниматься чисткой уборных».

«В мире все материально. Весь мир есть чистый механизм. Все — абсурд!..».

Чистить уборные можно по-разному: в том числе уборные парламентаризма. Йосио гулял со своей сестрой. К его сестре пристал «рабочий», «пролетарий», —

«человек лет тридцати, с коротко остриженной головой, неприятной манерой. От него пахло сакэ. Он был одет в старый черный пиджак. Вымогательски он спрашивал денег:

« — В Токио нельзя найти работы. Прошу вас дать мне денег!..»

«Толпа зрителей собралась около красиво одетой женщины, разговаривавшей с рабочим в разодранной одежде».

По тексту нельзя понять, — то ли описывается не рабочий, но шарлатан, то ли автор склонен безработных

рабочих считать шарлатанами, — во всяком случае, христианин Йосио, нашедший бога, герой романа, —

«схватил руку рабочего приемом дзюдзицу» — по христианским правилам.

Рабочий изображен шарлатаном, кажется, не случайно. Йосио — христианин и герой романа. Товарищи по университету привели к нему подпольщицу, скрывающуюся от полиции. Они легли спать на разных футонах в студенческой комнате Йосио. Она рассказывала о своих подпольных делах.

«Рассказами подобного рода Йосио был начинен уже давно. И для Йосио все это, собственно, не представляло особого интереса. Йосио уже начал не отвечать на ее рассказы. Он собирается заснуть. Тогда Нацуко тянет футон Йосио и не дает ему засыпать.

— Давайте поговорим еще немножко. Расскажите и вы что-нибудь.

Не получая ответа со стороны Йосио, она сунула обе свои ноги в постель Йосио. Йосио молча наблюдал за странными действиями Нацуко. Тогда, видя, что Йосио молчит, она начала всем своим телом влезать в постель Йосио. Тогда Йосио уже не чувствовал никакой силы притягания, видя эту остриженную девушку с чересчур наглыми приемами.

— Прошу вас, идите туда. Мне страсть как хочется спать. Дайте мне спать! — Йосио хотел прогнать ее обратно в ее постель.

— Мне скучно, дайте мне заснуть здесь вот, так.

Нацуко все держалась в постели Йосио. Он встал и пошел в уборную. Он вернулся и опять лег в постель. Тогда она рукой манит его, чтобы он приблизился к ней. Но тогда перед глазами Йосио встала фигура ангела Фра-Анжелико. У него никак не появилось желания увлечься любовью к этой стриженой девушке».

Ужасно развратно! и ужасно характерно для революционерок! — и ужасно тонко подмечено, — как во всех фашистских романах, — о стриженых волосах!

Но это не все. К Нацуко приходила товарка, — страшное дело, — актриса, девушка, которую —

«отец собирался продать в гейши, но она, прочитав рекламы в газетах, полетела в Токио и выступает в ревю Асакуса.

Она возбудила весьма хорошее впечатление у Йосио при первой встрече. У нее волосы были так же стриже-

ны, как у Нацуко, но у нее не было ничего приторно-неприятного, что чувствовалось в Нацуко».

Однако, —

«разговоры между ними (между товарками) касались насчет приборов, связанных с вопросом об ограничении беременности».

Поистине «левые» разговоры!

Йосио —

«не мог даже представить себе, как между девушками левого направления в такой полной мере производятся исследования по данному вопросу».

И Йосио пришел к феодальным выводам!

«... — вот почему, — думал Йосио, — Нацуко могла выступать вчера так активно... женщина, таким образом, совершенно свободно производит игру над мужчинами, свободно ловя все новых и новых мужчин. У мужчин же, наверное, больше боли и досады в момент бросания их женщинами, нежели той радости, какую они вкушают при первой встрече любви». — —

Неверно, христианнейший коллега Кагава! — Ваши кондукторши подземной железной дороги, опутавшие себя током высокого напражения, чтобы бастовать, тоже стрижены, а Йосио, который уже задавал рабочему способами дзюдзицу, после таких рассуждений, надо полагать, окажется в Лиге Кровного Братства, дабы быть «другом» рабочих и крестьян.

Коллега Кагава! — вы знаете лучше россиянина обо всем, что рассказано выше в этой книге, — вы лучше россиянина знаете вашу историю. Вами в этой книге корней и камня доказывается, что Пьера Лоти и Бориса Пильняка следовало бы отдать под суд за диффамацию. И вы должны знать — должны знать, чтобы ваши романы были совершенны, — историю развития человечества.

По «Змеям» Кима: —

Япония № 1 императорско-феодально-мицу-сэйюкай-ная, во второй половине XIX века, пролетала в течение сорока лет тот путь, по которому белые державы ковыляли в течение четырех столетий. Япония № 2, Япония пролетарско-революционная, которая начала свою настоящую историю с 1918-го года, побила рекорд Японии № 1, пройдя столетний путь европейских рабочих до образования коммунистической партии в четыре года. Каждый, кто проследит, поймет сокровенный смысл таких фактов, как каракозовский выстрел Намба,

выступление мелконадельников в префектуре Ниигата, сибаурская стачка, победы левого фронта профсоюзов — Хёгикай — и так дальше, — и поймет, что дело не в арифмометре, показывающем внушительные цифры, а качестве этих цифр и в беге сгустившегося времени.

Неестественно быстрый рост не проходит даром. Он всегда с патологическими казусами. Япония № 1, имеющая супердредноуты, газеты с миллионным тиражом и Мицу-Мицубиси, одной ногой стоит в средневековье. Вы знаете, не стоит вспоминать, — распарывание животов, кровавые рецидивы походов Хидэёси на Корею, бывших в конце XVI века, культ лисиц, Йосивару и прочее. И Япония № 2, упираясь в первую четверть XX столетия, не может наполовину выкарабкаться из конца XVIII века. Профессорша лондонского экономического института миссис Повер, приезжавшая несколько лет тому назад в Японию вместе с Б. Ресселем, попала в интернат для работниц при одной из токийских фабрик, в квартале Хондзё. Изумленно оглянувшись и зажав нос, ученая миссис сказала, что она видит воочию английскую фабрику эпохи промышленного переворота.

Это — женщины-ткачихи, текстильщицы, хребет японской промышленности, залог японского просперити. Нужны гомерические усилия, чтобы этих, брошенных в XVIII век, безропотных невольниц раскабалить в класс и в людей. Это будет сделано — людьми и временем. Это делается. Сейчас же пока 10 процентов всего фабрично-заводского пролетариата Японии — дети, подростки до 15 лет. Коллега Кагава, возьмите какое-нибудь описание жизни детей на английских фабриках второй половины XVIII века, смягчите немножко углы эпитетов, сократите несколько цифр, выбросьте несколько междометий, вместо названий Манчестер, Бостон, Стокпорт поставьте названия японских городов, и у вас получится интересная, изобилующая свежими фактическими данными, повесть — «О положении детского труда в сегодняшней Японии». Вам очень поможет в этом Чарльз Диккенс.

До 1918 года было до-бытие. Настоящая история, плотная, туго набитая фактами и связанная, идет с 18-го года.

До-история состоит из отдельных разрозненных событий, всплесков, отрывочных выступлений. Первые рабочие союзы, созданные стараниями энтузиастов-интеллигентов, вернувшихся из Америки, появились в

последнем десятилетии XIX века. То был героический период деятельности идеалистов, энергичных пионеров и непреклонных безумцев. Вот они — первые члены японского пролетарского пантеона. «Японский Роберт Оуэн» — Сакума Тэйити. Первый организатор союза рикш, впоследствии казненный, — Окуномийа Накадзима Хандзабуро — автор и режиссер первой японской стачки на Гавайских островах, зачинщик крестьянского движения в Маэбаси, самоотверженный чудак, окрещенный «сумасшедшим».

Первая в истории Японии рабочая демонстрация состоялась 10 апреля 1898 года. В восемь часов утра восемьсот рабочих собрались в помещении организации, повернулись в сторону императорского дворца, прокричали троекратное бонзай в честь сына неба и, надев головные уборы, специально сшитые к этому дню, пошли стройными рядами в парк Уэно под пение первой в Японии рабочей песни, — в парк, где полицейских было больше, чем деревьев. В этот день ответственным распорядителем демонстрации был один юноша, незадолго до этого возвратившийся из Америки, где он блестяще окончил университет со званием бакалавра. Вскоре этот юноша встал наряду с анархистом Котоку в первых рядах японских революционеров, а после начала полицейского террора вынужден был эмигрировать. Теперь этого юношу, уже старика, можно часто видеть тихо шагающим по Тверской. Он — непременный член Исполкома Коминтерна. Зовут его — Сэн Катаяма.

В этот памятный день на улицах Токио впервые зазвучала песня, которая начиналась так:

Даже гора Фудзи, что высится в небе, —
Это только глыба комьев земли.
Товарищи по работе, настало время, —
Возьмемся за руки,
Вместе — наступать иль отступать.
Будем биться крепкими рядами.
Ну-ка, перегони гору Фудзи
В своей крепости и связанности.
Если жарко взяться, что-нибудь да выйдет.
Если жарко взяться, что-нибудь да выйдет.

Эти рабочие организации были эфемерны. Они рождались в результате отчаянных усилий и лопались

при первом тычке полицейского пальца иль после первого провала стачки. В это же время когорта революционеров во главе с Котоку и Катаяма пробивала себе дорогу сквозь стену полицейских и охранных столетий. Скрипящие тюремные ворота становились добрыми старыми знакомыми и университетами.

В 1910-м году принц Кацура, премьер-министр, генерал, не видавший ни одного боя, решил уподобиться богу Сусаноономикото, некогда отсекшему разом все головы у зловредной гидры. В июне этого года 26 революционеров во главе с Котоку и его женой Канно Суга были внезапно схвачены. В январе следующего года, после приговора верховного суда, с ними степенно расправились. 12 — в их числе чета Котоку — были удавлены. В Японии смертная казнь производится при посредстве особой машины «косюдай» — горлодавилки, в которой смерть наступает не раньше, как через пятнадцать минут. Еще 12 были присуждены к каторге на всю жизнь. Один из них сошел с ума. Причины ареста и расправы неизвестны, ибо в печать попало только несколько туманных и кратких, как танка, сообщений о том, что — «Котоку и его товарищи были накануне невероятного преступления, которое, буде оно осуществлено, покрыло бы их извечным позором».

Котоку и его товарищи готовили убийство императора.

Все это вам известно, коллега Кагава. Ликвидация 24-х и политический террор достигли цели — революционное и рабочее движения были стерты с лица земли.

Вместо них в 1912 году адвокат Судзуки робко организовал, оглядываясь на нахмурившего брови минвнудела, Общество Дружбы — «Юайкай» — рабочий союз с вегетарианской программой. В почетные советники был приглашен промышленный даймио — барон Сибудзава. Благодаря удачливой звезде союзник просуществовал до 1918-го года, и затем он вдруг стал быстро разбухать, как отрок Момотаро из вашей сказки, коллега Кагава.

Август 1914 года. Война на белом Западе. Вступление Японии в войну. Штурм Циндао. Отчаянное обогащение Японии. Рынки. Военные заказы. Нарикины — скоробогатчики — растут, как бамбуки после ливня. Рис, то есть жизнь, — жизнь, то есть рис, — дорожают. Революция в России. Вторая. Газетные телеграммы о Рейнине, то есть Ленине. Учащение пульса в интеллигентских

кругах. Дальнейший подъем риса. Одно сё — около двух литров — двадцать копеек. 21, 22, 25. Совет депутатов уже в Урадзио (Владивосток), в 36-ти часах от Цуруга. Рис: 26 — 28 — 30. Студенты читают статьи Кропоткина и речи Рейнина. Зенит войны. 32 — 35 — 39.

1918-й. Он может смело стать рядом с 1848-м, 1871-м и 905-м, на одну ступеньку ниже их величеств — 1793-го и 1917-го.

Коллега Кагава! — перечитайте автобиографический роман одного из рабочих лидеров — Асо — «Расцвет». Первые страницы этой книги посвящены 918-му году. Особенно сильно идейное возбуждение среди товарищей Йосио, у студенческой молодежи. Сообщение о двух революциях в России производит так же впечатление на молодую Японию, как некогда вести о парижских коммунарах на русских идеалистов. Токийские студенты начинают организовать кружки — копии кружков Каракозова, Чайковского, Долгушина и других. Эти кружки — Общество новых людей, Союз народников, Союз творцов, Общество расцветного народа. В этих кружках круглые сутки сидят над социалистическими и анархистскими книгами, особенно над Лениным и Кропоткиным, разбирают случайно добытые декреты правительства Советов, спорят о сроках японской революции и в заключение читают «Новь» или «Отцов и детей». Среди молодежи мода — отпускать волосы до плеч, зачесывать их назад и носить русскую рубашку. Многие перебираются в рабочие кварталы, другие едут в деревню платить долг своим младшим братьям. Неслыханная вещь — лучшая часть выпуска Токийского императорского университета в 18-м году отказалась от бюрократической карьеры и пошла в ряды рабочих организаций. В 1918 году до хрипоты спорили в синих от дыма деревянно-бумажных комнатушках о «решающих сроках».

Рис дошел до 45 сен, а потом, немного подумав, вдруг в первые дни августа скакнул до 50. Август был зноен и душен.

3 августа. Кабинет генерала Тератури объявляет о посылке войск в Сибирь для — для «восстановления порядка».

5 августа. Главная обсерватория предупреждает об урагане, идущем с юга.

6 августа. В городе Тояма толпа голодных женщин начала громить рисовые магазины. Тоямки дали знак.

По всей Японии начались бунты городской и деревенской бедноты, бунты, бушевавшие весь август и в последний раз вспыхнувшие ярким пламенем на угольных копях Кюсю. Правительству, только что пославшему несколько дивизий для покорения русской революции, пришлось двинуть полки пехоты и жандармерии против японцев. 10 000 бунтовщиков были загнаны в тюрьмы. Число убитых не установлено, ибо трупы убитых такими войнами — не считаются.

Коллега Кагава, вы помните этот рисовый август, который потряс Японию. После него, как после землетрясения, выбрасывающего на поверхность океана вулканические острова, не так ли, на поверхности японской социальной жизни вырисовалось аграрное и рабочее движение, 1918-й — высшая точка забастовочной кривой. Тогда начались первые организованные выступления мелконадельников против аграриев, стачки и локауты на полях.

Рост «Общества дружбы» — рост всех рабочих союзов — рост рабочего фронта. Адвокат превращается в лидера рабочих. Он начинает держать себя увереннее при встрече с бароном. И барон находит нужным купить адвоката и ухаживать за ним. Адвокат полнеет. В 919-м к имени «Общества дружбы» прибавляется название — «Федерация труда». С адвокатом повторилась американская история Сэмуэла Гомперса.

1920 год. Социалистическая лига. Молниеносный разгон.

Конец войны. Германия — локаут. Государство нарикинов в панике. Массовые самоубийства банков и фабрик. Депрессия. Депрессия растет. Депрессия свирепеет. Имеющих больше 500 000 иен в Японии — только 2 тысячи человек. Японская пословица — «загнанная крыса кусает кота».

Вы помните, ночью 1 сентября 23-го года, после великого землетрясения, лишенные крова токийцы столпились на пустырях, в парках и переулках, смотрели издали на горящие кварталы, по которым носилась колесница бога Кагуцути, японского Ильи-пророка. Подземные толчки продолжались беспрерывно. Мрак походил на тушь. Люди чувствовали себя беспомощнее метерлинковских слепцов. И тогда среди них заметно родились жуткие слухи о том, что правительства нет, что все министры раздавлены и что на Токио дикой оравой прут корейцы, которые, вкупе с японскими революцио-

нерами, захватят власть и начнут уничтожать уцелевших. Древний ужас охватил всех. В эту ж ночь начали формироваться отряды самообороны. И под гром землетрясения началась расправа с «левыми». Надо быть справедливым — это правда, что полиция и жандармерия спасли много левых от верной смерти, принудительно интернировав их в участки. Но не во всех участках удержались от сладостного соблазна. Жандармский капитан Амакасу не вытерпел этой невообразимой пытки и собственноручно задушил веревкой вождя японских анархистов Осуги, его жену и его девятилетнего племянника. Два больших трупа и один маленький трупик были брошены в колодец во дворе жандармского штаба. Этакие полицейско-жандармские грехопадения случились еще в ряде мест, например в Камэидо, где была изрешечена пулями куча юношей-коммунистов и вожаков рабочих союзов. Корейцев не щадил никто — ни люди с пуговицами, ни кимано. Безоружных, не говорящих по-японски корейцев дружно, трудолюбиво истребляли, как в конце XVI века, во время корейского похода Хидэёси.

Великое «землетрясение» нанесло оглушающий удар левому флангу японской общественности и рабочему движению, но — «после ливня твердеет земля», по японской пословице.

После ливня твердеет земля!.. — «Змеи» Кима закончены. —

Хийоримиха — по-японски значит «следящие за погодой», погодники. Съезд федерации труда в феврале 1925 года, съезд погодников, — прогнал красных. Ушедшие подняли красный флаг Хёгикай — Совета Рабочих Союзов.

Левые Хёгикая вместе с левыми Крестьянского союза организовали в том же 25-м Рабоче-Крестьянскую партию. Вы помните, коллега Кагава, — минвнудел разогнал эту партию. Тогда погодники с правыми Крестьянского союза стали организовывать свою «Рабоче-Крестьянскую партию». Минвнудел благословил. Минвнудел, наряду с построениями банков и партий, хорошо научился у американцев и принципам «организации» министерского рабочего движения!

Красный флаг открыто был поднят в 25-м году Советом Рабочих Союзов. Но компартия существует в Японии с 22-го года, нелегальная, конечно, ибо при императорах, происходящих от солнца, — куда уже коммуниз-

му!.. Компартия, стало быть, не существует в Японии. Поэтому 10 апреля 25-го года правительство издало приказ о роспуске Хёгикай и Пролетарского юношеского союза, прочих, — организаций, связанных с коммунизмом. В ночь 15 марта было арестовано до тысячи человек коммунистов. Император тогда издал указ, карающий коммунистическую деятельность — смертной казнью. Аресты идут каждый год, каждый месяц, вы знаете об этом, коллега Кагава. После ливня твердеет земля!.. коммунистической партии в Японии — нет?

А рабочие? — эти, тридцать процентов коих работает по сие число больше двенадцати часов в сутки. Эти, где семьдесят процентов женщин-работниц моложе девятнадцати лет, но восемьдесят процентов рабочих текстиля — женщины. Эти, зарабатывающие от рубля сорока до восьмидесяти копеек в день. — О них, о их делах следует рассказать, чтобы помянуть их геройство, никак не похожее на бусидосское, и чтобы дополнить ваши, Кагава-сан, цитаты из «Камней».

Вы помните, Кагава-сан. Маленький уездный городишко. Завод. Полторы тысячи рабочих. «Конфликт». Стачка. Штрейкбрехеры, спасители нации и ее чистоты, с ножами и пистолетами. Избиение стачечников, — и штрейкбрехерами, и полицией. Предприниматель упорен. Полиция арестовала сотню рабочих. Месяц борьбы. Два. Пять. Рабочие выгнаны из своих домов. Город разбился на два класса. Борьба «города» и рабочих даже в школе согнала с парт детей рабочих, несколько сот ребят. История стачки, избиений, голода — стала известна за городом. Рабочие были так правы, что не только реформисты, но даже промышленные общества склонялись признать правым право рабочих. Рабочие обращались к губернатору, к правительству. На шестом месяце один из реформистских лидеров даже бросился на вокзале в Токио под ноги императору, передав ходатайство о помощи рабочим Император не пошел по пути 9 января, — он просто ничего не сделал, умыв руки. Вы помните, Кагава-сан, эта забастовка длилась семь месяцев и четыре дня, — вы скажете, что рабочие тогда только полупобедили?

Или другая история. Осака. Текстильная фабрика. Женщины. Четыре тысячи пятьсот человек. Против них и предприниматели, и власть, и газеты, и священные традиции старины. Фабричный двор, где были заперты бастующие, их казармы (где обыкновенно спали две работ-

ницы на одной постели, первая, когда работала вторая, вторая, когда работала первая) были забаррикадированы полицией, охраняемые, как охраняются кварталы, пораженные чумой. Водопровод был выключен от арестованных бастующих. Были заперты даже уборные. Мерзавцы по ночам — голыми врывались к женщинам, чтобы избивать их. Так женщины держались, бастуя, три месяца. Предприниматели победили, Кагава-сан? — все стачечницы под полицейским конвоем, по этапу, разосланы были по родительским своим деревням и домам.

Кагава-сан, поистине:

> «Если можно назвать прядильщицу человеком,
> То и телеграфный столб может зацвести».

Кагава-сан, я думаю, что этим женщинам-девушкам, семьдесят процентов которых моложе девятнадцати лет, и тем рабочим, которые только полупобедили, надо помочь раньше, чем христианским юношам. И надо помочь знанием и осознанием права. Они уже рождены у японских работниц, чему свидетель только что рассказанное. Кагава-сан, такая помощь — тоже дело писателя.

У Пильняка 32-го года был раздумчивый разговор с профессором X. Профессор X. никак не был ни коммунистом, ни сочувствующим коммунистам. Он был вдумчив.

Пильняк спросил:

— Как вы думаете, будут японцы воевать с СССР? — и когда это будет?

— Не думаю, — ответил профессор. — Вообще нам лучше было бы разобраться в наших внутренних делах, чем заниматься войнами. Чего доброго, эти войны... — профессор помолчал, подумав, — эти войны... вы знаете положение наших безработных рабочих, наших крестьян, нашего правительства. Наши генералы думают, что, воспользовавшись мировым развалом кризиса, когда всем не до Японии, — что они захватом Маньчжурии ликвидируют наш развал... Чего доброго, эти войны превратят Японию в восьмую Советскую республику.

Кагава-сан, — слушайте историю! — писателям нашей эпохи нельзя обходить историю и нельзя отставать от нее. Ваши главы, комментариями коих начата эта книга, — совершенно правильные главы. Совершенно естественно, Кагава-сан, что в организации литературно-разведочного художественно-оборудующего института

вы рады были бы принять участие. Этот институт должен будет апробировать и миросозерцание писателя, считая миросозерцание грамотностью.

10

В 26-м году Пильняк писал друзьям письма, отрывки из них:

«... ты спрашиваешь, как я себя чувствую в Японии? Кроме того, что все кругом меня таинственно и чудесно, что каждый новый день несет мне новые невероятности, которые я осмысливаю величайшими головными болями, — кроме всего этого, слагающегося из вещей, лежащих перед моими глазами, — мои ощущения, мое состояние в этой таинственной стране определяется еще тем, что я оказался глухим и безграмотным человеком.

«Поистине я безграмотен. Я не могу написать письма и надписать адрес на конверте. Я не могу прочитать ни одной вывески, даже названия улиц, и, стало быть, я не умею написать адрес того дома и той улицы, где я живу, то есть я не знаю, где я живу. Нечего говорить о газетах, где даже статьи обо мне я воспринимаю, как дикарь, — тем, что там напечатана моя фотография. Но у безграмотного, и у меня в частности, развиваются свои способы ориентации. Я, как волк в лесу, хожу улицами не по печатным приметам, а по приметам домов, световых реклам, перекрестков.

«К тому же я и глухо-нем, ибо я не могу сказать ни одного слова и не понимаю, что говорят мне. На улицах я вынужден говорить знаками, как говорило человечество десятки тысяч лет тому назад. Но и тут меня преследуют всяческие трудности. Ибо мой европейский жест японцы понимают как раз наоборот. Я говорю жестом — поди сюда, и человек уходит от меня.

«Все же я преодолеваю улицы и прочие расстояния. Не надо много фантазии, чтобы представить, каких трудов все это стоит, когда язык и грамоту я должен заменить глазами и когда до смысла вещей я перелезаю через заборы переводов. Мне иногда начинает казаться, что мои глаза заболевают. И очень часто к вечеру мой мозг оказывается изжеванным, как тряпка, которая перестиралась сто раз».

«... я поехал в Японию не только потому, что я хочу рассказать о Японии в России, и не только потому, что в

Японии я хотел рассказать о России. Основная цель моей жизни — писательство, — формование тех эмоций и образов, которые прошли через мое сердце и через мой ум, — формование их в рассказах и повестях. Писатель над бытом и временем, прорываясь через них, должен стремиться к тому, чтобы его творения рассказывали не только сегодняшний день. Я должен сказать, что мое путешествие в Японию, вне зависимости от тех знаний, которые я приобрету знанием Японии, — дало мне огромный короб таких эмоций и переживаний, какие не сможет дать ни один университет, ни сотни прочитанных умнейших книг.

«И ничто не статутно на этом шаре земли, где живу я и человеческая цивилизация. Жизнь земного шара очень дряхла, если есть такие культуры, как «восточная» и «европейская», такие, которые тысячелетия жили, не зная друг о друге. Жизнь людей земного шара — очень молода, ибо еще так много надо сделать человечеству, чтобы человек Москвы понял человека Токио и чтобы эти двое поняли человека с реки Конго. В Японии я окончательно почувствовал и понял тот путь, то новое переселение народов, правд и верований, в которые пошли народы и правды в это столетие, когда весь земной шар отправился сливаться общностью знаний и общностью культур, осуществляя геометрическую формулу шара» — —

Выписей из писем достаточно. Из всех стран, виденных мною, Япония больше всех сохранила свою национальную культуру — и больше очень и очень многих стран Япония готова выйти из-за заборов национальной своей культуры на большую дорогу — культуры не национальной, а всечеловеческой, — а, стало быть, и социалистической. Забастовки на трубах фабрик и в Институте иностранных языков — это только примеры. И только пример, что все японцы ходят в кимоно и в кимоно читают газеты. Двести тридцать с лишним лет тому назад, при Петре I, когда Россия принимала Запад, одно из первых, что она приняла, это были — платья, манера держаться в обществе, прочее: национальная одежда в России совсем исчезла, и, если она где-нибудь сохранилась, она указывает, что туда никакая культура не заглядывала, сохранив там, господи, благослови, каменный век. И того, что случилось со мной, когда я в Японии оказался глухо-немым и безграмотным, с японцами — не случается: писатель Акита собирался в Россию, и он

изучал русский язык. Если японец приедет в русскую Россию, он будет знать русский язык. Люди на земле идут по пути слияния общечеловеческих знаний. Рабочие Японии всячески готовятся к этой дороге.

И еще цитата, последняя:

«... На рассвете меня разбудили. Мои ину сидели уже в автомобиле. По пустым улицам автомобили понесли нас в редакцию «Токио-Асахи». В редакции спал на столе в кимоно сотрудник, говорящий по-русски. Моих собак собралось внизу штук уже десять. Шоферы в гараже разводили третий автомобиль. В тишине, которая казалась древней, шествовало утро, смоченное росой. Разместились в автомобилях. Два ину, делая вид никтошек, сели на сиденье передо мною. Узкими улочками, тенистыми дорогами, рисовыми полями, деревушками — мы поехали на аэродром, за сорок километров от Токио. Фудзи-сан предстал перед нами еще с автомобиля — розовая в солнце снеговая пирамида, опоясанная облаком.

«... роса садится на ботинки. На старте стоят два самолета. Один из них унесет меня в воздух. На нем я полечу над Фудзи, над морем, над японскими горами. С другого будут фотографировать меня в воздухе для газет. Я здороваюсь с человеком — пилотом Осима — с человеком, которого я вижу в первый раз и, должно быть, последний, — который унесет меня в воздушные стихии. Самолет — двухместный биплан. В войну 1914 — 1918 годов такие аэропланы употреблялись в качестве истребителей. Самолет — рабочий, немолодой, такой, который давно стал уже возчиком газетной корреспонденции «Асахи-Симбун» из Токио в Осака. И я лечу на нем из Токио в Осака вместе с газетной почтой. Начальник аэродрома отдает мне свои кожаные штаны. Я надеваю два пальто, шлем, креплю над моими очками очки-консервы. Каждые сто метров в высь теряют температуру на один градус. И там, в высоте двух тысяч метров над землей, я буду в страшном ветре и морозе, в зиме. Мое место — место наблюдателя — открыто всем ветрам. Фотограф стреляет в меня аппаратом в тот момент, когда я влезаю в кожу штанов, завязывая их над пиджаком под мышками. Я лезу в кабину. Я привязываю себя ремнем к скамеечке. Я осматриваюсь в новом моем жилище, в том, где я проживу Японию в полете. Тросики хвостового оперения, руля глубины, ответственнейшего рычага управления са-

молетом, открыто идут около моих колен. Я знаю: если в воздухе я коснусь их, порву их, помну, — машина неуправляема, нам останется только камнем лететь вниз. И я соображаю, что двигаться мне нельзя: это совсем не то, что барином лететь в «юнкерсе». Под ногами у меня отверстие, такое, в которое я буду с воздуха видеть все, что будет у меня под ногами. Пилот садится в свою кабину. Мне говорят, что второй самолет поднимется в воздух следом за нами. Когда тот самолет будет около нас и мне махнут рукою, я должен подняться из кабины, чтобы меня было видно, ибо меня будут фотографировать в воздухе. Механик пустил пропеллер.

«Я вижу только голову пилота. Черным покойным глазом, птичьим глазом, он взглядывает на меня, спрашивая — готов ли? — Я отвечаю ему улыбкой. Мои собаки стоят кругом, смотрят, вытянув носы. Мы бежим по аэродрому. Земля рвется из-под нас. Земля качнулась под нами. Мы в воздухе. Земля стала набок, аэродром поплыл вниз. Пропеллер ревет. Ветер бьет в лицо и плечи. Люди, стремительно уменьшающиеся, машут нам с земли. Мои ину задрали головы и также машут руками. Я тоже хочу помахать, — и ветер хочет оторвать мою руку. Но рядом с нами возникает новый рев. В десяти саженях от нас налево я вижу другой самолет. Мне машут оттуда. Я отвечаю. С того самолета стреляют в меня фотографическими пленками. Все это длится несколько секунд, потому, что минуты в воздухе равны часам земли: не только потому, что в минуту самолет проходит почти столько же, сколько человек в час пешком, но и потому, что в стихиях воздуха нервы напряжены в стократ крепче, чем на земле. Мы раскланиваемся, и последний самолет ласточкой оборачивается назад.

«Я один. Я один потому, что за воем пропеллера ничего не слышно. Я один потому, что человеку, который сидит впереди меня, даже если бы я и мог крикнуть, я ничего не могу сказать, ибо он не знает моего языка. Птичий его покойный глаз взглядывает на меня, я улыбаюсь ему. Я один со стихиями. Широчайший простор моря и гор под нами. Только один Фудзи-сан рядом.

«Я один со стихиями. Каждая минута полета равна часам земли. У меня бесконечное количество часов. Я очень знаю упоение полета, — упоение стихиями, упоение борьбы со стихиями, с неподчиняемым, с непознанным. Полет для меня — неизъяснимейшее наслаждение, которое невозможно передать словами. Пропеллер

рвет воздух. Мимо нас, мимо моего лица рвется и орет ветер, стихия, которую мы покоряем. Земля внизу — земля долин, похожая на шахматные доски, земля гор, точно горы кто-то просыпал с неба, — земля внизу живет своей жизнью. Домики кажутся спичечными коробочками. Города — географическими картами. Горы — теми горушками, которые строятся в луна-парках. Когда с большой высоты на самолете идешь быстро вниз, — звенит в ушах, чувствуешь, как по жилам, густея, бежит кровь, чуть-чуть мутнея: стало быть, чем выше идешь в беспредельности, тем спокойнее кровь, нет никакого звона и есть одно лишь неизъяснимое наслаждение полета.

«Я один — мы — аэроплан, пилот и я — мы одни в стихиях. Земли и горы внизу — не в счет. Мы не можем даже сесть на землю, ибо там, в горах, нет такого места, где могли бы мы сесть, не разбившись. И тут, в этих стихиях, рядом с нами, — по-прежнему величественный в снегах, в спокойствии, прекраснейший Фудзи-сан. Только с неба я увидел, как величественен он, в белом спокойствии снегов величествующий над всем остальным, опоясанный облаками, скрывший свою вершину от людей земли и видный только нам, летящим в небе.

«Я один. У каждого должно быть поклонение перед человеческим гением, перед человеческим трудом и умом, перед тем величественным в человеке, что дает ему право покорять стихии, побеждать стихии, подчинять их себе. Самолет — величественнейшее, прекраснейшее изобретение человеческого труда и ума. Здесь, в стихиях, нас двое: пилот и я. Сегодня я увидел его впервые, — должно быть, больше я никогда не встречу его. Я ничего не знаю о нем. Я ничего не могу сказать о нем. И, все же, я знаю: пилот Осима — здесь, в стихиях воздуха, — мне б р а т. В том братстве, когда человек человеку брат потому, что оба они ч е л о в е к и. Около меня проходят тросики руля глубины. Стоит немножко мне задеть их, и мы полетим вниз, в лепешки сырого человеческого мяса — или печеного, если от трения с воздухом вспыхнет самолет. Стоит зазеваться пилоту, неправильно нажать руль, — и мы полетим вниз, в смерть. Наши жизни связаны опасностью смерти — наши жизни связаны здравием жизни — и мы — братья, связанные жизнью. Пилот поглядывает на меня птичьим глазом. Я отвечаю ему улыбкой. Я покоен: впереди меня сидит брат-человек.

«И так я думаю не только об этом нашем полете. В том полете земного шара, в тех его путях, которыми мы живем сейчас, — не только Осима-сан и я — братья в праве на жизнь, — но именно в том праве должны братствовать и народы. По воздуху нас несет самолет. Наши жизни связаны самолетом. Мы летим по воздуху волей человеческих труда и гения, подчинивших стихии машинам: это только поле для размышлений, где нету конца, ибо человеческий гений, облеченный в труд и машину, конца не знает, побеждающего мир.

«... облака заволакивают землю. Мы летим над облаками. На моменты земля исчезает внизу, закутанная облаками. И вот момент, который я запомню навсегда, как прекраснейшее. Земли под нами — нет. Там облака. Мы над облаками. Над нами синее небо и бесконечно-прекрасный свет. И — кроме нас — над облаками — Фудзи-сан. Мы и Фудзи-сан — над облаками, над землей — таинственный, метафизический для японцев Фудзи-сан и мы, залетевшие за Фудзи волей человеческого гения. Непознанные силы природы, мистически олицетворяемые японским народом в образе Фудзи-сан, и человеческий гений труда — встретились за облаками, чтоб побрататься с красотой.

«Есть упоение в полете!..

«Мы вылетели в восемь часов пятьдесят минут. Мы вылетели золотым утром, в солнце и в сини далей. Бегут минуты, которые здесь, в высоте, кажутся часами. Ветер свистит, орет и рвет. Фудзи уже позади. Мы летим над долиной, идущей от Фудзи к бухте Суруга, к сини моря. И вдруг наш самолет становится набок. Мы скользим на крыло вниз. Ветер воет над головой и звенит в ушах. Но мы уже кинуты ветром вверх, встаем на дыбы. Сердце в неизъяснимом блаженстве. И опять земля стала к нам боком, боком мы летим над землей, небо слилось под ногами у горизонта с морем, — за небо нам стали море и горизонт. Земля поправила под ногами свое положение. Ветер рвет, орет, мешает дышать. Ветер швыряет, бросает, кидает самолет. Вверх, вниз, направо, налево. Ремень на моем животе то делается в вес моего тела, то тело невесомо, то давит тело на сиденье, точно хочет его продавить. Я понимаю: мы попали в полосу разнобойных воздушных течений. Я понимаю, почему пилот уходит все в высь и в высь. Там меньше опасности, если самолет будет опрокинут ветром. Нам сейчас опасна только земля. Если мы заденем за нее как-нибудь неловко, не успев выправить

положение, — тогда — смерть. Мы в громадной высоте над землею. Холод бежит по лопаткам и леденит руки. Стихии ветра опять кидаются нами. Я сжимаю мышцы, чтобы держаться. Я вижу покойный, птичий глаз пилота.

«Мы вылетели золотым утром широких далей. Я смотрю кругом. Далей уже нет. Не только море, которое слилось с небом, но и земля ушла в синюю мглу, спряталась под облака, слила с небом свои горизонты. Мы летим над морем — над Великим — Тихим океаном. Океан под нами, — и глаз обманывает, точно небо обернулось вокруг нас: небо внизу, небо слева, небо над нами, — и только справа небольшой кусок земли, гористой, там, куда достигает глаз, и похожий на тучи там, где глаз теряется во мгле. Мы идем выше и выше. Мы пролетаем сквозь сырость облаков, рвемся через облака. Эти «вечные странники» — тут, рядом окутывают своей холодной сыростью. Самолет рвется через них. Мы над облаками. Земля прорывается внизу так же, как небо, когда смотришь на него в облачный день с земли. Это тут, в этом месте я поздоровался с Фудзи-сан, поклонившись его красоте. Ветер рвет. Ветер кидается облаками и самолетами. Земли не видно. Я судорожно в морозе сжимаю руки. Мы вырываемся из-за облаков. И невероятное зрелище я вижу на земле, такое, которое кажется олицетворением Японии. Под нами идут тучи. Тучи льют дождями. И земля под тучами — она черна, она зловеща, черная в черных тенях облаков — страшная, злобная земля, изорванная горами, долинами, разметанная камнями, полыхающая в свинцовых тучах молниями, страшная земля, похожая на чертоподобных японских богов. Мы летим в лохмотьях дождевой тучи. Ветер и тучи кидают самолет безо всякого толка. И опять можно думать о непонятности Японии для европейца, о тех двух силах, которые сохранили в Японии чертоподобных идолов и кинули наш самолет за облака. Птичий глаз пилота покоен.

«Но — думать уже трудно. Мышцы немеют от холода и напряжения. Самолет уже беспрестанно мечется ветром. Мне на земле сказали, что мы пролетим два — два с половиной часа. Я слежу за временем. Мы летим уже два часа с половиной. Я вынимаю карту, сверяю те затуманенные тучами и облаками клочки земли, которые видны, — и ничего не понимаю. Кажется, мы сделали только полдороги, если залив под нами есть бухта Исе, — или — это уже бухта Осака? — но самолет от

моря сворачивает на землю. Я ничего не понимаю. Я прячу в карман часы и карту, чтобы вновь неметь от оцепенения в новом шторме воздушных волн.

«Я вновь смотрю на часы. Мы летим уже три часа двадцать минут. Я ничего не понимаю. Я вижу: мы летим к горному перевалу. По вершинам гор идут облака. Чтоб перелететь через эти горы, надо подняться над облаками, ибо в тучах лететь невозможно, ибо в тучах с разлету можно налететь на горы. Тучи и облака стали страшною стеною вокруг нас.

«И — тогда последнее величественнейшее ощущение — там, за горами, за тучами. Вопреки всем моим понятиям об авиации, самолет стал, повиснул в воздухе. Я понимал, что лететь — некуда, ибо полет в облаках все равно, что полет с завязанными глазами. Но как пилот сделал, чтобы самолет остановился? — Я понял это только потом, когда мне объяснили на земле, что пилот повиснул в воздухе штопором и что — тогда мы были в гибели. Пропеллер ревел, выл мчащийся ветер. Но тучи стали неподвижны. Прежде они летели мимо нас стремглав, — теперь они только потихоньку, медленно ползли вверх? Я понимал, что творится невероятное. И природа, должно быть, поняла это же, ибо самолет перестал болтаться. Груды туч щемили нас. Я посмотрел на часы, мы летели четыре часа. Я убрал часы, чтобы больше уже не смотреть на них. Мне очень хотелось покурить. Я понимаю, что мы в руках природы, только госпожи стихии, сколько б мы ни стояли на месте: бензин ведь пределен, и, если тучи не разойдутся, все же вынуждены мы будем идти — и вперед, и вниз. Птичий глаз пилота был покоен.

«И вдруг: качнулись тучи, раздвинулись две громады облаков, в щели между ними стала видна золотая в солнце земля. И камнем, стремительно кинулись мы в эту щель, к земле, за горный перевал.

«Через четверть часа была Осака. Птичий глаз пилота улыбнулся мне. Я весело улыбнулся ему. Пилот рукою указал вперед. В синей мгле в долине я увидал город. Горный хребет был позади. Мы пролетели над феодальным замком и сели на аэродром.

«Окоченевший, с истомленными мышцами, под выстрелы фотографов и в руки осакским шпикам, веселейший, я вылез из кабины. И первое, что я спросил через переводчика, обращаясь к пилоту, было:

«— Какой надо считать сегодняшнюю погоду?

«Пилот ответил:

«— Мы попали в воздушную бурю!

«Я знаю, что пилот Осима, с которым я никогда больше не увижусь, есть — мой брат, с которым мы вместе крестились правом на жизнь. Я знаю: та машина, на которой мы летели, несовершенна, маломощна, — но, во-первых, эта машина вошла в будничный обиход, она перевозит газету «Асахи», служилая, как любой экипаж, — и во-вторых, пусть она маломощна, с братом Осимою я полечу куда угодно» — —

. . . .

Пусть эта запись будет концом книги.

Пилот Осима разбился, упав с воздуха.

Следует на прощание поговорить с читателем и с писателем.

Читатель! Главы Пильняка состоят из цитат «Корней» и комментариев к ним. Если вам, читатель, цитаты «Корней» покажутся более «поэтичными» и «эмоциональными», — стыдитесь, читатель, и вместе с писателем позаботьтесь о грамотности.

И на самом деле, советским классикам и ортодоксам, Сейфуллиной, Николаю Огневу, Леониду Леонову, молодым талантам из хедера Марселя Пруста, давно надо было бы написать не публицистические комментарии к японцам, но отличный роман, множество отличных романов, в коих не надо было бы дочитывать современных персидских стихов о помещичьих идиллиях, ибо они написаны Пушкиным в «Евгении Онегине», иль о японских оглы, ибо они описаны Боборыкиным, Синклером Льюисом и Тойохико Кагава. Этак в метельную московскую ночь, не тратя времени на нью-йоркские скрежеты и на токийские нюбаи, Николаю Огневу б бросить в ненадобность отошедшие Киндяковки и скомментировать Союз Социалистических Республик, цементируя его социальной химией, его настоящее, его дорогу. Его дорога единственная. Его дорога пока не повторена никем. Его дорога будет повторена всем человечеством. Его дорога сметет все кагавские христианства.

Николай Огнев, Леонид Максимович Леонов, Всеволод Вячеславович Иванов, Сергей Федорович Буданцев, — товарищи-геологи?!

Лавна, Кольский фьорд.
4 января — 8 февраля 1933 г.

КОММЕНТАРИИ

РАССКАЗЫ

Пространства и время. Впервые появился в журнале «Новый мир» (1934. № 3), вошел в сборник «Рождение человека» (М.: Гослитиздат, 1935).

Собачья судьба. Впервые появился в журнале «Новый мир» (1934. № 4), вошел в сборник «Рождение человека» (М.: Гослитиздат, 1935).

Рассказ о двадцатом годе. Впервые появился в журнале «Новый мир» (1934. № 5), вошел в сборник «Рождение человека» (М.: Гослитиздат, 1935).

Камень, небо. Впервые появился в журнале «Новый мир» (1934. № 12), вошел в сборник «Рождение человека» (М.: Гослитиздат, 1935).

Большой шлем. Впервые был опубликован в журнале «Новый мир» (1934. № 11). Вошел в сборник «Рождение человека» (М.: Гослитиздат, 1935). На заседании Президиума правления Союза писателей 28 октября 1936 г., на обсуждении творческого отчета Пильняка весь сборник и в том числе «Большой шлем» подверглись жесточайшей критике. Л. Сейфуллина выступила на защиту Пильняка: «Большой шлем»? Это прекрасный рассказ. Если вы считаете его средним, то я не знаю, что бы вы назвали хорошим». Е. Усиевич: «В этой груде, которая появилась за последние два года, был неплохой рассказ, — это «Большой шлем». Когда Пильняк возымел идею объективной действительности, то там мы встречаем вычурность, а в этом рассказе «Большой шлем»

вычурности нет. Он написан человеческим, простым языком» (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. ед. хр. 75. Л. 64 — 143).

Рождение человека. Впервые рассказ появился в журнале «Новый мир» (1935. № 1), затем в сборнике «Рождение человека» (М.: Гослитиздат, 1935)

РОМАНЫ

О'кэй (Американский роман). Роман написан по впечатлениям от поездки в США в 1931 году. Носит документально-автобиографический характер. Впервые был опубликован в журнале «Новый мир» (1932. №№ 3 — 6), отрывки публиковались в газете «Вечерняя Москва» под названием «В стойлах Голливуда» (1932. 21—23 апреля) и «Тишина не вернется» (17—18 августа). Отдельным изданием вышел в 1933 году (М.: Федерация). В романе подробно описаны поездка Пильняка в США, его работа в Голливуде и путешествие по Америке (См. также: Флейшман Л. Фримен и Борис Пильняк // Материалы по истории русской и советской культуры. Станфорд, 1992. С. 158 — 219). В Америку Пильняк ехал через Париж. Его старый друг Ю. Анненков вспоминал: «Борис уезжал из Парижа в Америку.

— Ненадолго, — сказал он мне, — скоро в Коломну.

— Не торопитесь, — ответил я. <...>

Поцеловавшись с Пильняком, я едва успел выбежать из руссейшей «Нормандии» на пристань Нормандии подлинной.

Я — с пристани, Пильняк — с парохода помахали друг другу руками. Так мы расстались навсегда» (Анненков Ю. Дневник моих встреч. М., 1991. С. 297).

Камни и корни. Роман написан по следам поездки Пильняка в Японию в 1932 году. Впервые появился в журнале «Новый мир» (1933. №№ 4, 7 — 8), отрывками в газете «Вечерняя Москва» (1933. 10 мая) под названием «Уничтожение корней», «Легенды с примечаниями» (1 июня), «Встречи и заметки» (19 июня). Отдельным изданием вышел в 1934 году (М.: Советская литература). Роман был написан вслед за первым романом писателя о Японии «Корни япон-

ского солнца» как ответ на обрушившуюся на него за роман критику, за его взгляд на Японию и выраженное уважение к древней культуре этого народа. Второе произведение, как предполагалось, должно было быть исправлением предыдущих огрехов, однако, как всегда, Пильняк остался верен себе и, полемизируя в романе с критикой и цитируя первое произведение, продолжал иронизировать и настаивать в романе «Камни и корни» на своем.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Пространства и время 7
Собачья судьба 10
Рассказ о двадцатом годе 13
Камень, небо 17
Большой шлем 39
Рождение человека 65

Романы

О'кэй. Американский роман 91
Камни и корни 341

Комментарии 540

БОРИС АНДРЕЕВИЧ
ПИЛЬНЯК

Собрание сочинений
в шести томах

ТОМ ПЯТЫЙ

Редакторы *О. Замшева, Ю. Семенькина*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *Л. Платонова*
Корректор *Л. Курносенкова*

Изд. № 0403148.
Подписано в печать 24.09 03 г.
Формат 84×108[1]/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печать высокая.
Усл печ. л. 28,56. Уч.-изд. л. 29,15.
Заказ № 0314460.

ТЕРРА—Книжный клуб.
115093, Москва, ул. Щипок, 2.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.



